



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



1

1

1

1

1

1



БИБЛИОТЕКА „СЪВЕРА“

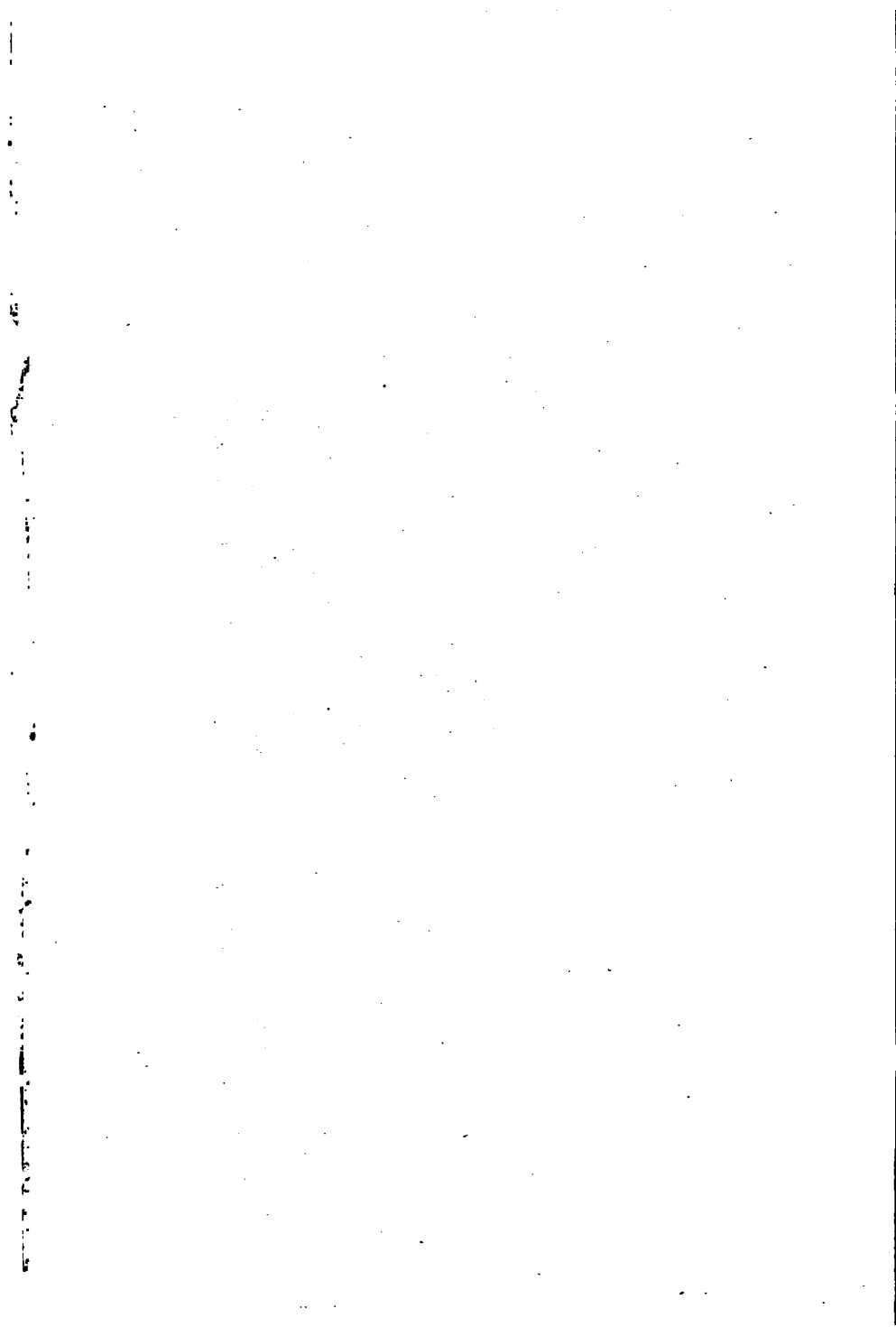


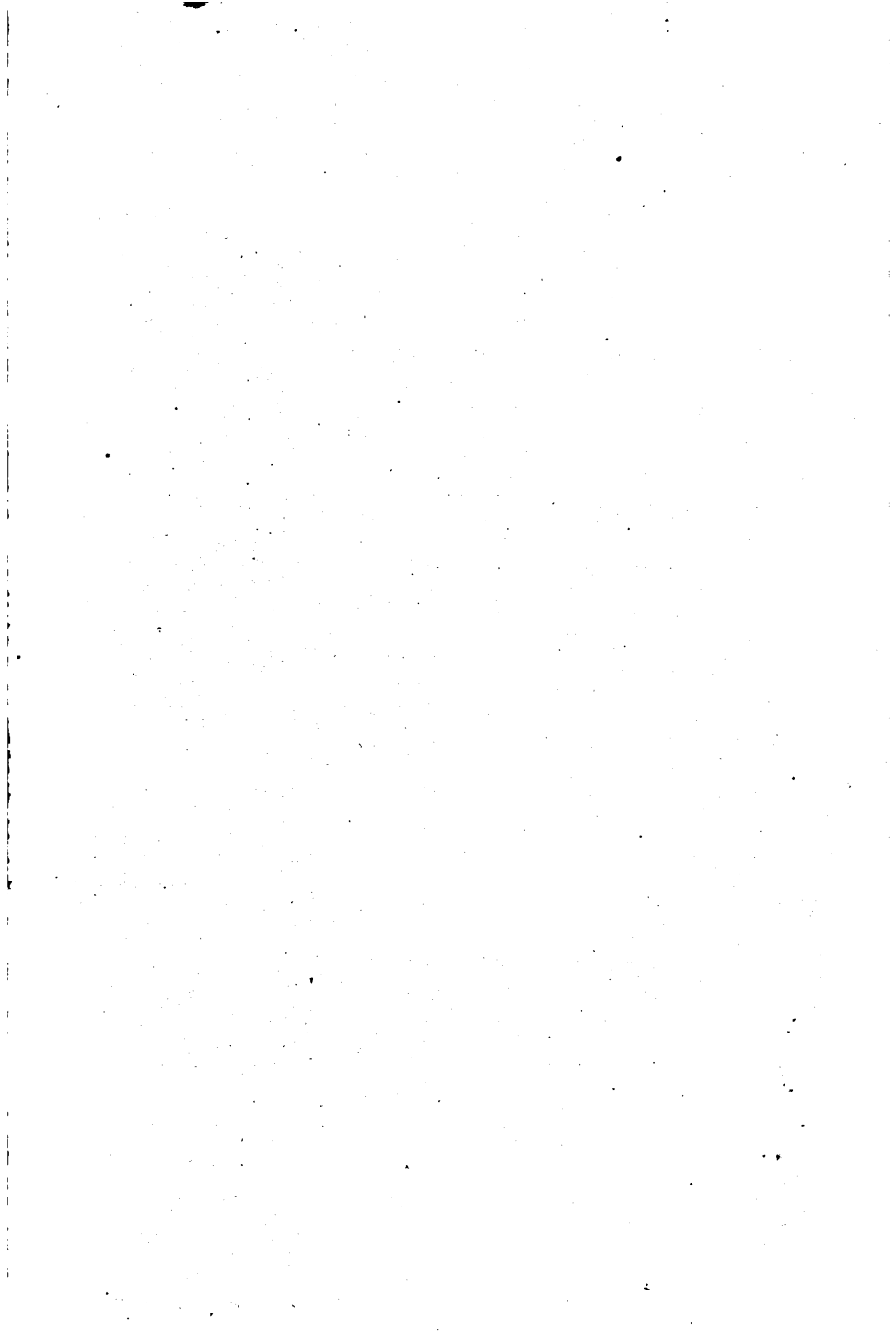
C. L. del.



LENGUONE

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

I.
НАШЪ ОДИССЕЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

II.
СИЛА ВѢРЫ

БЫЛЬ.

— — — — —
.Томъ IX.

— — — — —
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Н. Э. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30-го апрѣля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка, 95.

Нашъ Одиссей.

I.

Бѣгство изъ плѣна.

Это было въ послѣдній годъ прошлаго столѣтія.

Въ бурную, дождливую лѣтнюю ночь, въ Марсели, когда весь городъ спалъ, и даже часовой на башнѣ замка, обхвативъ руками ружье и прислоняся спиной къ стѣнѣ подъ навѣсомъ широкаго каменнаго крыльца, то тыкался носомъ въ колѣни, то вскидывалъ назадъ сонную голову въ тяжеломъ киверѣ,—въ это самое время, подъ этою самою башнею, къ морскому берегу торопливо и осторожно прокрадывались какія-то тѣни.

Если-бы часовой не спалъ и если-бы порывы горнаго вѣтра съ дождемъ не заглушали шаговъ пробиравшихся къ морю тѣней, то онъ услыхалъ-бы осторожный, взволнованный говоръ этихъ тѣней, и говоръ на незнакомомъ ему языкѣ.

Говорили по-русски.

— Я, ваше благородіе, и ковшикъ захватилъ.

— Зачѣмъ онъ тебѣ?

— А водицы придется испить въ морѣ, ваше благородіе.

— Что ты! Да развѣ морскую воду можно пить?

— А какъ-же, ваше благородіе?

— Да она горькая и соленая: ее и скотина не пьетъ.

— Какъ-же мы-то, ваше благородіе? Что-же мы будемъ пить въ морѣ?

У меня и семинуту въ горлѣ пересохло.

— Да онъ все припасъ—и харчей положилъ, и боченокъ воды въ лодку вкатилъ.

— Ну, слава Богу, ваше благородіе. Хоша они и собаки, а вотъ напелся-же добрый человѣкъ.

Таинственные тѣни были уже у самого моря. Если бы часовой не спалъ, то, при свѣтѣ на мгновенно выглянувшей изъ-за тучъ луны, онъ различилъ-бы, что на берегу моря копошилось тѣней двадцать, а то и всѣ тридцать.

Тамъ, въ затишьи гранитной набережной, чернѣлась большая рыбацкая лодка, и въ нее-то торопливо усаживались таинственные люди. Последний изъ нихъ, отвязавъ лодку отъ желѣзнаго кольца набережной, самъ быстро вскочилъ въ нее, сѣлъ у руля, и лодка съ помощью восьми веселъ, словно огромная черная птица, заныряла въ волны, то вскакивая на гребень валовъ, то исчезая за ними. Сѣверный вѣтеръ все болѣе и болѣе уносилъ ее отъ берега.

Впереди ничего не было, кромѣ непрогляднаго мрака бурной южной ночи, да слышенъ былъ шумъ моря, а позади, уже на довольно далекомъ разстояніи, кое-гдѣ мерцали огоньки: то Марсель глядѣла на удалявшуюся лодку и, казалось, недружелюбно слѣдила за таинственными бѣглецами.

Это и были бѣглецы, взятые въ плѣнъ французами 10-го сентября 1799 года въ битвѣ при Цюрихѣ и заключенные въ марсельскій замокъ.

Случай помогъ имъ бѣжать изъ плѣна. Но куда бѣжать? На французской землѣ ихъ поймають. Оставалось только море—и этому бурному морю бѣглецы ввѣрили свою жизнь.

Бѣглецы усердно работали на веслахъ, и когда одни гребцы уставали, ихъ тотчасъ-же замѣняли другіе, и ревнивые огоньки, слѣдившіе за ними съ берега, какъ глаза враговъ, съ каждымъ часомъ мигали все слабѣе и слабѣе, и только одинъ громадный глазъ, необыкновенно ярко мигавшій, казалось, кричалъ бѣглецамъ въ шумъ вѣтра съ моря: „я все вижу! отъ меня не уйдете!“

Этотъ страшный глазъ былъ—рефракторъ маяка.

— Ваше благородіе! а до нашего моря еще далече?—прервалъ общее молчаніе голосъ того, что позаботился захватить съ собой ковшикъ.

— До какого до нашего?—спросилъ тотъ, что сидѣлъ у руля.

— Да наше море, ваше благородіе, что въ Астрахани.

— Какой ты, братецъ, Петровъ, дуракъ,—былъ отвѣтъ.

— Точно такъ-съ, ваше благородіе!

И опять ничего не слышно, кромѣ шума моря.

Такъ прошла вся ночь. Къ утру облака куда-то угнало вѣтромъ и небо очистилось. Безпрѣдѣльность и угрюмость моря стала яственнѣе: и прямо, куда неслась жалкая лодка, и вправо, и влѣво—ничего кромѣ воды и неба. Только тамъ, откуда бѣжала лодка, у самого горизонта выползали изъ моря прибрежныя горы да чуть-чуть бѣлѣлись какія-то зданія. То была Марсель.

Вскорѣ на востокъ показалась розовая нелоса, которая разгоралась все болѣе и болѣе, и когда багровое солнце медленно выплыло изъ моря, то и послѣдняя узкая линія земли, вмѣстѣ съ Марселемъ, погрузилась въ море.

Солнце освѣтило усталыя и угрюмыя лица пловцовъ.

У руля сидѣлъ мужчина лѣтъ за пятьдесятъ. Въ давно небритой бородѣ и на курчавой головѣ, черныхъ какъ вороново крыло волосъ, уже извивались серебряныя нити сѣдины. Смуглое, мужественное лицо изобличало его родину: это былъ чистый кавказскій типъ—типъ горца. Черные глаза его теплились необыкновеннымъ добродушіемъ.

Тотъ, что утащилъ изъ крѣпости ковшикъ для морской воды, былъ чистѣйшій типъ русака изъ среднихъ или сѣверныхъ губерній—съ нѣсколько вздернутымъ носомъ, какимъ-то расплывающимся профилемъ, точно скудная русская природа не осилила додѣлать ему профиль, выточить его. Это былъ рослый и широкоплечій дѣтина, рыжеватый, весь въ веснушкахъ, съ густою гривой нечесанныхъ никогда волосъ и съ дѣтски-невиннымъ выраженіемъ сѣрыхъ глазъ.

— А что, ваше благородіе,—обратился онъ къ сидѣвшему у руля:—мы, кажись, маху дали.

— Какъ маху дали?—встрепенулся тотъ.

— Да кажись бытто не туда попали.

— Почему не туда?

— Да какъ-же-съ, ваше благородіе! Вѣдь мы скоро объ небо стукнемся. Не лучше-ли намъ держать назадъ, ваше благородіе? Тутъ дальше ходу нѣту.

— Что ты мелешь? Рехнулся, что-ли, со страху?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе! Я не трусь. У меня Ягорій, да только собаки французы его отняли, какъ меня въ страженіи пришибло.

— Правда, я самъ знаю, что ты храбрый и умный солдатъ,—согласился сидѣвшій у руля:—а теперь вотъ вздоръ мелешь.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! извольте сами посмотрѣть: конецъ свѣта—рукой подать; скоро объ небо стукнемся.

Добрякъ никогда не бывалъ въ открытомъ морѣ, и теперь опускавшійся, казалось, въ воду горизонтъ онъ принялъ за конецъ свѣта.

Сидѣвшій у руля оглянулся назадъ и, не видя за собой даже отдаленныхъ признаковъ земли, перекрестился.

— Слава Богу!—сказалъ онъ крестясь:—вотъ мы и на волѣ.

— Слава Богу!—повторили другіе.

— Хвала Богу и громовнику Ілію!—отозвались третьи.

— Ну, а теперь, братцы, пора и передохнуть немножко и ѣдой подкрѣпиться,—продолжалъ сидѣвшій у руля,—а тамъ подумаемъ, куда намъ дальше плыть. Положите весла, братцы,—обратился онъ къ гребцамъ,—пускай немножко посохнутъ.

Казалось, онъ былъ главою этой таинственной группы бѣглецовъ. Гребцы вынули весла изъ воды и положили къ сторонѣ.

— Кто изъ васъ, братцы, умѣетъ править лодкой?—спросилъ рулевой.

— Я, господине, я! — отозвалось вѣскольго голосовъ: — море — наша майка.

— Ну, такъ который-нибудь возьмите руль.

Къ рулю подошелъ горбоносый и смуглый молодецъ, по типу напоминавшій черногорца или иллирійца. Онъ взялъ руль и умѣлою рукою сталъ править лодку прямо на полдень. А тотъ, который прежде сидѣлъ у руля и котораго называли „господиномъ“ и „ваше благородіе“, открылъ небольшую дверцу въ носовой части палубы и вынулъ оттуда мѣшокъ съ провизіей. Развязавъ мѣшокъ, онъ сталъ вынимать оттуда небольшіе продолговатые хлѣбцы и раздавать своей командѣ.

— Дня на три хватитъ, — сказалъ онъ, приподнимая мѣшокъ одною рукою: — а тамъ какъ Богу будетъ угодно: можетъ и пристанемъ къ какой-нибудь землѣ.

— Только-бы, ваше благородіе, не къ собакамъ французамъ, — проворчалъ рыжеватый, уписывая свою порцію хлѣба. — А хлѣбъ отъ у собакъ важнѣй: — не чета нашимъ сухарямъ съ хрустомъ да съ плѣсенью.

— Такъ-то такъ, братъ, Петровъ — задумчиво отвѣчалъ „господинъ“: — хлѣбъ хорошій, бѣлый, а все-же вотъ мы отъ французскаго бѣлаго хлѣба бѣжимъ къ черному русскому сухарю съ плѣсенью.

— Оно точно, ваше благородіе...

Хотя отъ ночной бури не осталось и слѣда, однако съ сѣвера продолжалъ дуть ровный вѣтеръ и лодку качало порядочно. На общемъ совѣтѣ порѣшили поднять парусъ, чтобъ и качки избѣжать, и силы гребцовъ собирать на всякій случай — на случай полнаго штиля.

— Кто умѣетъ управлять парусомъ? — спросилъ „господинъ“.

— Я, господине, умѣвамъ править, — отозвался горбоносый: — я био рыбаремъ у своемъ землѣ.

Дѣйствительно, горбоносый взялъ парусъ въ свое управленіе; парусъ надулся и лодка помчалась быстро по волнамъ, силою ровнаго хода уменьшая силу качки.

Такъплыли бѣглецы цѣлый день. Съ ранняго утра надъ лодкою вились чайки, оглашая воздухъ жалобнымъ крикомъ; то онѣ спускались на море, то снова поднимались въ воздухъ; но по мѣрѣ удаленія пловцовъ въ открытое море, надъ ихъ головами все рѣже раздавались птичьи голоса, а наконецъ къ полдню и совсѣмъ умолкли. Море сдѣлалось еще угрюмѣе, словно мертвая пустыня. Только иногда изъ воды показывались темныя спины дельфиновъ и снова погружались въ море.

— Владычица! что это такое! — испуганно прошепталъ рыжеволосый, когда въ первый разъ у самой лодки вынырнуло невѣдомое для него чудовище и съ какимъ-то сапомъ кувырнулось въ море.

— А то, брате, морска свинья, — отвѣчалъ горбоносый.

День уже клонился къ вечеру, а земли нигдѣ и признаковъ не было видно. Жутко становилось одинокимъ пловцамъ. Куда мчалась ихъ жалкая лодочка? Что ее ожидаетъ тамъ, за этимъ таинственнымъ рубежомъ, за горизонтомъ? — этого никто не зналъ.

Скоро на море опустилась ночь. Луна еще не восходила, и хотя въ небѣ мерцали звѣзды и небо было величаво прекрасно, но тѣмъ мрачнѣе и угрюмѣе казалось море и тѣмъ страшнѣе его невѣдомая глубина.

Въ теченіе дня управленіе парусомъ нѣсколько разъ переходило отъ горбоносаго къ „господину“ и отъ него обратно къ горбоносому. Въ теченіе дня они и спали по очереди, чтобъ сберечь силы и бодрость на ночь. Теперь же, ночью, лодкою правилъ одинъ горбоносый, а всѣ остальные спали, сбившись въ одну кучу около мачты, чтобы согрѣвать другъ друга, такъ какъ ночь была холодная.

Ночь тянулась безъ конца. Впереди изъ мрачной бездны медленно выплылъ кровавый дискъ луны. Отъ него безконечною полоскою потянулись по морю такіе же кровавые блики, которые скоро превратились въ широкую серебристую ленту. По сторонамъ море стало еще мрачнѣе. Чтобы не дремать, горбоносый завелъ тихую, заунывную пѣсню. Ему вспомнилась далекая родина. Гдѣ она? Въ которой сторонѣ? Онъ и самъ этого не зналъ. Въ послѣдній разъ онъ видѣлъ вершины родныхъ горъ, когда французская канонерка застигла ихъ въ родномъ морѣ, во время забрасыванія въ него сѣтей,—и отвезла въ полонъ, въ далекую сторону. И на его родную хижину смотреть этотъ мѣсяцъ... А что жена? что дѣти? Живы-ли?

А ровный вѣтеръ все надуваетъ парусъ и мчитъ лодку невѣдомо куда.

II.

Ужасное море.

Второй разъ солнце выплываетъ изъ моря, и на этотъ разъ оно еще багровѣе, чѣмъ было вчера.

Это уже второй день бѣгства, но признаковъ близости земли все не видать. Однообразіе и пустынность моря подавляющія. Сколько жалкая лодка ни мчалась впередъ, а все казалось, что горизонтъ убѣгалъ отъ нея, не открывая глазамъ бѣглецовъ ничего, кромѣ этой томящей душу безбрежности, и попрежнему лодка не выходила изъ центра этого заколдованнаго круга.

Лица бѣглецовъ становились все унылѣе и сумрачнѣе. Къ довершенію всего, къ вечеру второго дня вѣтеръ усилился такъ, что парусъ едва выдерживалъ, и лодка летѣла какъ пущенная изъ лука стрѣла. На пловцовъ, изъ которыхъ большинство никогда не бывало на морѣ, напалъ страхъ. Они боялись, что вѣтромъ опрокинетъ лодку, и просили, со слезами умоляли убрать парусъ.

Парусъ былъ убранъ и гребцы сѣли за весла. Но отъ этого качка еще болѣе усилилась, весла выбивало изъ рукъ и лодку заливало волнами. Гибель казалась неизбежною. Несчастные пловцы напрасно поднимали руки къ небу.

Но двое или трое изъ нихъ настояли вновь поднять парусъ, и дѣйствительно—подъ парусомъ лодка хотя и полетѣла опять съ поразительной быстротой, но качка уменьшилась и лодку не заливало водой.

Къ ночи вѣтеръ упалъ, и пловцы считали себя спасенными; но земли все не было видно. Наступила вторая мучительная ночь. Луна взошла еще позднѣе. Лодка продолжала плыть все по тому же направленію. Пловцамъ казалось, что они проплыли уже тысячи верстъ, а конца морю все не было.

Въ третій разъ солнце выплыло изъ моря—наступилъ третій день плаванія. Отчаяніе и ужасъ бѣглецовъ увеличились, когда утромъ, раздѣляя провизію, они замѣтили, что ея не достанетъ и на день. Боченокъ съ водой тоже издавалъ уже звукъ пустой посуды. Пришлось дѣлить и хлѣбъ и воду на ничтожныя порціи, которыя не утоляли голодъ, а только раздражали его.

И этотъ мучительный день прошелъ, а земли не было. Снова наступила ночь. Голодные и отчаянные всѣ скучились около мачты вповалку: авось хоть сонъ дастъ успокоеніе или пошлетъ смерть. Но въ душѣ каждого таилась надежда: утро дастъ имъ утѣшеніе; восходящее солнце освѣтитъ спасительный берегъ.

Но солнце поднялось все надъ тѣмъ же безбрежнымъ моремъ! Это былъ уже четвертый день блужданія по заколдованной, грозной стихіи. Не оставалось уже ни крошки хлѣба, ни капли воды. Впереди стояла голодная смерть съ ея ужасными муками. Это сознавалъ каждый.

— Смотрите! смотрите! вонъ что-то бѣлѣется!—послышался радостный голосъ.

— Гдѣ?... гдѣ?

— Вонъ впереди—въ лѣвой сторонѣ.

— Да, да... не парусъ ли?

— Да то чайки—не парусъ.

— И то слава Богу—земля близко.

Радостныя, безсвязныя восклицанія, казалось, наполнили всю атмосферу, окружавшую злополучныхъ пловцовъ.

На горизонтѣ дѣйствительно бѣлѣлось что-то. Чѣмъ дальше, тѣмъ становилось явственнѣе, что это былъ парусъ. Онъ, казалось, выросъ прямо изъ воды, все увеличиваясь, но такъ медленно, что казалось, стоялъ на одномъ мѣстѣ. Надежда придавала силы несчастнымъ скитальцамъ, и они съ небывалой энергіей принялись работать на веслахъ, несмотря на то, что попутный вѣтеръ хорошо надувалъ парусъ.

Съ каждой минутой становилось явственнѣе, что навстрѣчу, нѣсколько наперерѣзъ, идетъ корабль. Скоро отчетливо вырисовалось на горизонтѣ, что корабль идетъ подъ всѣми парусами. Видны были не только паруса, но даже весь остовъ громаднаго линейнаго корабля.

Но видятъ-ли онъ жалкую лодку?

Вотъ онъ становится на линіи, на самомъ курсѣ лодки. Вотъ онъ переходитъ эту линію, подвигаясь правѣе, къ западу.

Съ лодки начинаютъ кричать. Всѣ голоса сливаются въ одинъ отчаянный крикъ, въ какой-то вопль. Но можетъ-ли быть слышенъ этотъ вопль на кораблѣ за шумомъ парусовъ, за свистомъ рей и снастей, за плескомъ и шипѣньемъ волнъ, разсѣкаемыхъ грудью великана?

А корабль все подвигается западнѣе и западнѣе. Вотъ онъ начинаетъ удаляться.

Ни крики, ни вопли не помогаютъ. Съ лодки начинаютъ махать чѣмъ попало. Но и это бесполезно. Корабль забираетъ все дальше и дальше.

— Мати Божа! ратуй насъ!

— О! куку мене! куку мене!—раздаются разноязычные вопли.

— Батюшки, уходить! Никола чудотворецъ!

Корабль дѣйствительно уходилъ, не замѣтивъ мелкой лодки. Отчаяніе овладѣло пловцами. Они хотѣли силою вырвать парусъ изъ рукъ горбоносого и догонять корабль на веслахъ. Горбоносый не давалъ. Началась борьба, которая чуть не стоила всѣмъ жизни. Лодка накренилась на бокъ, зачерпнула бортомъ и чуть не пошла ко дну. Это образумило несчастныхъ. Болѣе опытные изъ нихъ и разсудительные убѣдили остальныхъ, что за кораблемъ гнаться бесполезно, что онъ летитъ какъ птица, а что если они будутъ продолжать плыть туда, откуда шелъ корабль, то ясно, что тамъ они найдутъ землю и свое спасеніе.

Скоро отъ корабля осталась только свѣтлая точка.

Еще болѣе глубокое уныніе овладѣло несчастными, когда лодка, оставшись снова одинокою въ безбрежномъ морѣ, продолжала свой прежній курсъ.

Прошелъ и четвертый день, а земли все не было. Голодъ все болѣе и болѣе вступалъ въ свои права.

Наступила пятая ночь, мрачнѣе всѣхъ предыдущихъ. Несчастные опять скучились около мачты, но теперь уже cadaго изъ нихъ терзалъ другой, тайный страхъ. Они начали бояться другъ друга; болѣе слабый сторонился отъ болѣе сильнаго. Это уже было чувство чисто звѣрское—боязнь болѣе сильнаго звѣря. А что какъ голодный сосѣдъ задушитъ тебя соннаго и станетъ пожирать твое тѣло? И каждый въ душѣ сознавалъ, что и самъ онъ способенъ на это.

Мучительна была эта ночь, мучительнѣе всѣхъ прежнихъ, потому что не принесла никому даже сна. Едва кто задремывалъ, какъ невидимый голосъ будилъ его ужасными словами: „не спи — задушать“. Но и эта ночь прошла.

Насталъ пятый день. Солнце ничего не принесло, кромѣ ужаса. Кругомъ—то-же море, то-же безжалостное небо. На лицахъ несчастныхъ отражалось уже что-то особенное, нечеловѣческое, дѣйствительно звѣриное. Злоба была написана на этихъ лицахъ, видимо сосредоточиваясь на одномъ лицѣ,

на томъ, кого называли „господиномъ“: онъ подбилъ всѣхъ бѣжать изъ марсельской тюрьмы. Въ этотъ пятый день бѣдствія случился эпизодъ, который могъ кончиться трагически для всѣхъ, но, въ концѣ концовъ, хотя на нѣкоторое время даль если не удовлетвореніе пожиравшему всѣхъ голоду, то по крайней мѣрѣ пищу разгоряченному воображенію голодающихъ.

Въ числѣ находившихся въ лодкѣ бѣглецовъ былъ одинъ австрійскій плѣнный солдатъ, хохликъ изъ Галичины. Это былъ тихій, молчаливый субъектъ, всегда державшійся нѣсколько въ сторонѣ. И здѣсь онъ, повидимому, избѣгалъ своихъ товарищей по несчастію. Всѣ угрюмо молчали. Вдругъ рыжеватый дѣтина, который сначала боялся, что изъ лодка скоро „объ небо стукнется“, какъ звѣрь съ рычаніемъ бросился на хохлика и началъ душить его за горло.

— А, чортовъ хохоль! ты жуешь — у тебя есть что жрать, а мы дышаемъ!

— Ой, ой! — стоналъ придавленный за горло галичанинъ: — ратуйте! Онъ дѣйствительно что-то жеваль.

— Покажь, что у тебя во рту.

Всѣ столпились около борющихся, возбужденные, злобные, и моментально должна была завязаться общая свалка, если-бы не вступился тотъ, котораго называли „господиномъ“.

— Петровъ! что ты дѣлаешь! — закричалъ онъ: — пусти его!

— Онъ что-то жретъ, ваше благородіе.

— Пусти его!.. или я тебѣ весломъ голову размозжу!

Петровъ неохотно повиновался. Его жертва поднялась со дна лодки блѣдная, дрожащая.

— Ты что жеваль? — спросилъ его „господинъ“.

— Шкуратокъ... постолы, — былъ робкій отвѣтъ.

И дрожащими пальцами онъ вынулъ изо-рта какую-то коричневую массу, сильно пережеванную, и показалъ ее всѣмъ. Это былъ кусокъ кожи, нѣчто въ родѣ обгрызка сыромятнаго ремня. Оказалось, что, убѣгая ночью вмѣстѣ съ товарищами, онъ сунулъ себѣ за пазуху сохранившіяся у него послѣ плѣна кожаняны изъ сыромятной кожи „постолы“, въ которыхъ онъ привыкъ ходить у себя на родинѣ, въ горной Галичинѣ, будучи пастухомъ. Кожу этой-то обуви, еще почти новенькой, онъ и жеваль, стараясь хоть этимъ обмануть пожиравшій его внутренности голодъ.

— Ишь, чортовъ хохоль! — проворчалъ Петровъ: — надо ихъ, ваше благородіе, подуваниъ на всю артель.

И постолы тотчасъ-же были разрѣзаны на мелкіе кусочки и розданы всѣмъ находившимся въ лодкѣ. Несчастные люди принялись жевать эту ужасную пищу: все-же имъ казалось, что они ѣдятъ!

Наступила шестая ночь. И эту ночь никто не спалъ. Хотя у каждого оставалась еще въ душѣ личная боязнь за себя, та боязнь, которая всѣмъ имъ закралась въ душу въ предыдущую ночь, — что вотъ-вотъ озвѣрѣвшій

отъ голода сосѣдъ задушить тебя соннаго и станеть пожирать, однако теперь уже у каждаго явственно слагалось убѣжденіе, что для спасенія всѣхъ надо пожертвовать однимъ, что другого выхода нѣтъ, что или всѣ они неизбежно передушатъ другъ друга, кто кого осилить, и сѣдять задушенныхъ, или, чтобъ избѣжать этого худшаго, надо начать съ одного. Но съ кого? Кто укажетъ на того, кто долженъ сдѣлаться жертвою для всѣхъ? Эти вопросы вставали въ душѣ у каждаго, но отвѣта на нихъ никто не находилъ. Кто на нихъ отвѣтитъ? — кто рѣшитъ? Одинъ отвѣтъ грызъ душу каждаго: рѣшить долженъ жребій. Но это-то и страшно было высказать. Жребій—слѣпое, бессмысленное орудіе. Это понималъ каждый. — „А если мнѣ выпадеть этотъ жребій?“ думалось всѣмъ имъ въ одно и то-же время. И всѣ они глубоко сознавали, что каждый изъ нихъ думаетъ именно объ этомъ. Когда солнце шестого дня глянуло имъ въ очи, каждый изъ нихъ прочелъ это въ глазахъ у всѣхъ.

„И этотъ о томъ-же думаетъ, и этотъ, и этотъ--всѣ!“

Развѣ ждать, пока одинъ умретъ съ голоду, и съ перваго мертваго начинать?—Но ждать нельзя. Въ ожиданіи могутъ всѣ помереть.

Потомъ мысли каждаго обратились къ тому состоянію, въ какомъ онѣ находились въ утро пятаго дня. Всѣ мысли и всѣ глаза устремились на одного.— „Зачѣмъ жребій, когда вотъ онъ одинъ во всемъ виноватъ! Съ него и надо начинать; подкрасться, накинуться, задушить — и провизія готова“.

— О Боже! слышите!—вдругъ раздался голосъ того, чья участь была рѣшена въ душѣ каждаго:—слышите, братцы?

— Что... что такое?

— Голосъ чайки!—я слышу...

— И я слышу, ваше благородіе.

— Вонъ она, я вижу... Вонъ, вонъ бѣлѣть.

— Една, друга—млого (по-сербски „много“) —млого чайки.

— Молитесь, братцы, земля близко—мы спасены!

Всѣ упали на колѣни. Это была горячая молитва. По щекамъ у всѣхъ текли слезы, и вмѣсто тупого, звѣринаго выраженія на лицахъ, затеплилось умиленіе въ глазахъ, въ каждой чертѣ.

— За весла, братцы,—тамъ земля.

— За весла!.. Видите, море гладкое какъ зеркало.

Изнуренные, ослабѣвшіе, теперь они снова почувствовали въ себѣ силу, и въ бирюзовую поверхность моря стройно опускались весла и такъ-же стройно поднимались, роняя брильянтовые капли въ бирюзовое море.

Чайки кружились надъ лодкою и жалобно кричали, но теперь крикъ ихъ казался крикомъ привѣта, радости, спасенія.

Пловцы мужественно встрѣтили седьмую ночь. Но едва солнце погрузилось въ море и насталъ мракъ южной ночи, прежнія муки снова воскресли и въ душу прокрадывался холодъ смерти. Что всего

болѣе привело ихъ въ отчаяніе, это то, что чайки неизвѣстно куда исчезли.

„Нѣтъ чаекъ — потеряли землю“, — сверлило у каждого на сердцѣ.

И опять мысль каждого возвращалась къ тому ужасному рѣшенію, которое всѣмъ казалось неизбѣжнымъ.

— Али опять, ваше благородіе, сбились? — тихо, съ какою-то тоскою въ голосѣ, спросилъ Петровъ.

— Какъ сбились?

— Да землю-то потеряли опять, кажись.

— Почему ты думаешь?

— Да чайки-то, ваше благородіе, пропали.

— Напротивъ, на ночь они улетѣли къ своимъ гнѣздамъ. Утромъ мы увидимъ ихъ опять, да и землю увидимъ.

— Дай-то Господи!

Настало утро — седьмое утро рокового плаванья. Чайки дѣйствительно снова показались. Показалось солнце, но уже не прямо изъ моря, а изъ какой-то длинной, туманной полосы.

— Земля! земля! — раздался радостный крикъ у руля.

Туманная полоса была земля. Скоро на горизонтѣ вырисовались какія-то высокія, стройныя деревья съ зонтичными вершинами. То были пальмы.

III.

В ъ А л ж и р ѣ.

Разсказанное въ предыдущихъ главахъ — не вымыселъ. Разсказъ описывается на историческомъ событіи, записанномъ около 80 лѣтъ тому назадъ морскимъ офицеромъ, извѣстнымъ Владиміромъ Броневскимъ, въ его интересной книгѣ — „Записки морского офицера, въ продолженіе кампаніи на Средиземномъ морѣ подъ начальствомъ вице-адмирала Дмитрія Николаевича Сенавина отъ 1805 по 1810 годъ“ — книгѣ, ставшей въ настоящее время библіографическою рѣдкостью.

Во второй части своихъ „Записокъ“, говоря о томъ, какъ русская эскадра, крейсируя въ Средиземномъ морѣ, въ 1806 году, 27-го ноября, пристала къ порту Каліари въ Сардиніи, авторъ приводитъ въ своей книгѣ „Приключеніе плѣннаго русскаго офицера“.

„Лишь только положили якорь у стѣнъ Каліари, — говоритъ Броневскій, — какъ нѣкто бѣдно одѣтый, истомленный, пріѣхалъ съ берега и, взошедъ на шканцы, съ радостнымъ взоромъ перекрестился и дурнымъ русскимъ выговоромъ сказалъ: „Слава Богу! кончились наконецъ мои несчастія“. Послѣ сего, онъ спросилъ о капитанѣ и подаль ему бумагу. Министръ нашъ (въ Сардиніи) предлагалъ оную — явившагося изъ плѣна санктпетербургскаго драгунскаго полка поручика Степана Яшимова принять

на фрегатъ, для доставленія его къ адмиралу. Я ввелъ его въ какую-компанію и представилъ бывшимъ тамъ офицерамъ. Будучи родомъ изъ Кизляра, онъ почти забылъ и съ большою трудностію объяснялся по-русски, мѣшая слова турецкія, французскія и итальянскія. Мы старались его обла-скать и въ первый-же день общими силами снабдили его всѣмъ нужнымъ. Яшимовъ скоро ознакомился съ нами и съ новымъ родомъ своей жизни; въ короткое время отличною остротою ума и веселымъ расположеніемъ духа заслужилъ онъ отъ всѣхъ любовь и почтеніе. Служа при главной квартирѣ князя Рѣпина, Потемкина, и бывъ покровительствуемъ графомъ Орловымъ, онъ хотя и не имѣлъ порядочнаго воспитанія, но особенный навыкъ въ обхожденіи дѣлалъ его весьма пріятнымъ въ бесѣдахъ. Продолжительное несчастіе не помрачило его любезности, и опытъ 50-лѣтняго старика привлекалъ къ нему общее уваженіе. Приключенія его въ теченіе семи лѣтъ, которыя рассказывалъ онъ намъ со всею откровенностію, хотя имѣютъ нѣчто въ своемъ родѣ необыкновенное, но, судя по характеру его, онныя конечно не выдуманы имъ, и потому я предлагаю ихъ въ томъ видѣ, какъ слышалъ отъ него“ (ч. II, стр. 186—187).

Далѣе Броневскій сообщаетъ, что „Яшимовъ служилъ въ первую кон-федерацкую войну, въ обѣ турецкія и послѣднюю польскую, наконецъ 10-го сентября 1799 г. подъ Цюрихомъ, получа двѣ раны, взятъ былъ въ плѣнъ и отведенъ въ Марсель. Не стану,—продолжаетъ онъ,—повто-рять того, что онъ претерпѣлъ на дорогѣ; кто по несчастію былъ въ ру-кахъ французовъ, тотъ знаетъ, какъ они обращаются съ плѣнными. Генера-лъ Д... (кого Броневскій разумѣетъ—я не знаю) прибылъ въ Марсель для пополненія своего польскаго легіона русскими солдатами. Для сего не давали имъ положенной порціи хлѣба, изъ казармъ или лучше изъ тюрьмы нигде не выпускали. Убѣждая, угрожая, общая и благодѣяніемъ спосо-бомъ муча и томя голодомъ, принуждали какъ благодѣяніе принимать службу. Непокорныхъ-же продавали, какъ невольниковъ, въ Испанію. Не щадили даже офицеровъ. Яшимову также предложено было поступить въ польскій легіонъ. Онъ нашель случай видѣть генерала Д..., жаловался на дурные поступки, смѣло сказалъ ему правду, и, будучи огорченъ отвѣтомъ генерала, назвалъ его измѣнникомъ отечества, былъ брошенъ въ тюрьму и отданъ подъ военный судъ. Не ожидая слѣдствій своего неблагоразумія и неумѣстной горячности, Яшимовъ рѣшился бѣжать. Предлагаетъ быв-шимъ въ одной съ нимъ тюрьмѣ 30-ти австрійскимъ солдатамъ, въ томъ числѣ былъ одинъ русскій, и всѣ съ радостію соглашаются. Яшимовъ устѣлъ убѣдить тюремнаго стража, который изъ единого состраданія не только далъ имъ способъ къ побѣгу, но въ пристани приготовилъ имъ лодку, и несчастные въ полночь при проливномъ дождѣ на рыбацкой лодкѣ, сами не зная куда, пускаются въ море“ (тамъ-же стр. 187—188).

Откуда и начинается наше повѣствованіе.

Мы оставили бѣглецовъ въ виду показавшейся на горизонтѣ низмен-ной полосы земли и высокихъ, невиданныхъ ими прежде деревьевъ.

Хотя земля казалась близко, но надо было употребить еще нѣсколько томительныхъ часовъ, чтобы добраться до берега. Чѣмъ далѣе двигалась лодка, тѣмъ большая неизвѣстность окутывала смущенныя мысли бѣглецовъ. Какая это земля? Почему она не похожа на все, что они видѣли прежде? Какія это деревья?

На послѣдній вопросъ, и только на послѣдній, могъ отвѣчать одинъ Яшимовъ: это была тотъ, котораго называли „господиномъ“ и „ваше благородіе“. Онъ видѣлъ эти деревья на рисункахъ, въ книгахъ, въ описаніяхъ путешествій.

— Это пальмы, — отвѣчалъ онъ на вопросы своихъ товарищей по заключенію.

— Пальмы! ишь ты, въ первой вижу, ваше благородіе, — удивился Петровъ.

— Да, пальмы, — повторилъ Яшимовъ. — А ты ѣдалъ когда-нибудь финики? — обратился онъ къ Петрову.

— Финики? Какъ же, ваше благородіе, — ѣдалъ; и финики ѣдалъ, и изюмъ, и коломенскую пастилу ѣдалъ.

Яшимовъ невольно улыбнулся, услышавъ сопоставленіе финиковъ съ коломенской пастилой.

— Ну, такъ вотъ на этихъ самыхъ деревьяхъ, на пальмахъ, и растутъ финики, — сказалъ онъ.

— А какая-жъ это будетъ земля, ваше благородіе, что финики родитъ? — спросилъ словоохотливый солдатикъ. — У насъ вонъ, на Дону, арбузы, а тутъ вонъ финики.

— Думаю, — отвѣчалъ Яшимовъ, — что земля эта, должно быть, Африка.

— Африка? Мудреная земелька, ваше благородіе. А чья она будетъ?

— Не знаю.

— Православная, примѣромъ, будетъ, али нѣмецкая?

На этотъ вопросъ Яшимовъ отвѣта не далъ. Вниманіе всѣхъ привлечено было тѣмъ, что они видѣли. А теперь они явственно видѣли, что на берегу что-то бѣлѣется — точно стѣны и башни. По мѣрѣ движенія лодки, бѣглецамъ все отчетливѣе представлялись, дѣйствительно, и стѣны и башни. Еще ближе — и стали видны дома, такіе странные, какъ будто бы безъ крышъ и безъ оконъ.

На высокой башнѣ — это уже явственно видно — развѣвается красное, точно кровавое знамя. Видно даже на этомъ кровавомъ полотнищѣ изображеніе руки, держащей обнаженный мечъ.

— О, я вѣмъ, господине, въ какву страну долѣзалисмо, — съ изумленіемъ сказалъ горбоносый.

Онъ былъ изъ иллирійскихъ славянъ и взятъ французами въ плѣнъ на морѣ, на рыбной ловлѣ. Звали его Васою Петковичемъ.

— Какая же это страна, Васа? — спросилъ Яшимовъ.

— Варварія, господине, — отвѣчалъ Васа: — корсерска страна; такіе цервени барьякъ съ рукомъ и ятаганомъ я глядаю у корсеровъ.

Не радостно было это извѣстіе: несчастные бѣглецы видѣли, что изъ одной бѣды они попали въ другую — отъ французовъ къ африканскимъ корсарамъ. Но городъ былъ такъ близко, а передъ пожирившимъ ихъ голодомъ даже смерть была не страшна, если она и ждала ихъ въ этомъ городѣ.

Нервно, торопливо гребли несчастные. Вотъ, вотъ земля. Видно, какъ бѣлая морская пѣна набѣгаетъ на песчаный берегъ. У воды играютъ голые ребятишки. Видны даже ихъ лица—такія смуглыя, почти черныя.

Еще ближе—и ребятишки, испуганные видомъ незнакомцевъ съ бѣлыми лицами, съ такими лицами, какія они видѣли только у привозимыхъ изъ-за моря невольниковъ,—съ крикомъ побѣжали къ городскимъ воротамъ.

Лодка ткнулась въ пологій берегъ. Первый выскочилъ на берегъ Петровъ и, размахисто перекрестясь, бросился цѣловать землю.

— Кормилица! мать сыра-земля! — бормоталъ онъ, глотая слезы:— вотъ ужъ не чаять...

Прочіе бѣглецы, выбравшись на берегъ, тоже припадали къ землѣ лицами и поливали ее радостными слезами.

Вдругъ въ городскихъ воротахъ показались люди, вооруженные саблями, кинжалами и пистолетами, съ темно-бронзовымъ цвѣтомъ кожи, бородатые, съ чалмами и бѣлыми покрывалами на головахъ. Они видимо сѣшшили къ нашимъ бѣглецамъ. Завидѣвъ ихъ, Яшимовъ сказалъ:

— Не бойтесь, братцы,—я буду съ ними говорить: я знаю и по-турецки, и по-арабски.

Люди въ чалмахъ приближались.

— На колѣни становитесь, братцы, — командовалъ Яшимовъ:—одну руку къ сердцу, другую ко лбу.

Всѣ стали на колѣни и сдѣлали то, что имъ было приказано.

— Ля-илляхъ иль Аллахъ, Мухамедъ расуль Аллахъ!—громко воскликнулъ Яшимовъ.

— Аллахъ керимъ! Аллахъ акберъ! — отвѣчали ему люди въ чалмахъ.—Кто вы и откуда?

— Мы бѣдные невольники,—отвѣчалъ Яшимовъ (разговоръ шелъ на арабскомъ языкѣ):—мы семь дней блуждали по морю и три дня ничего не ѣли. Мы думали, что померемъ съ голоду, но Аллахъ по своему милосердію отвратилъ отъ насъ смерть.

— Хвала Аллаху! Въ немъ прибѣжище смертнаго, —сказали люди въ чалмахъ.

— И пророку его хвала! — прибавили другіе.—У кого же вы были въ неволѣ?

— У французовъ, у Наполеона,—былъ отвѣтъ.

— У Наполеона! Да низринетъ его Аллахъ въ пучину бѣдствій!

— Аллахъ керимъ!—говорили другіе. — Аллахъ послалъ намъ странниковъ — хвала Аллаху! Въ коранѣ сказано: „правовѣрный! прими странника въ домъ свой, не спрашивай кто онъ, но прежде всего накорми его,

и если его томить жажда, то утоли его жажду холодною водою." А наши гости три дня не бѣли.

— Мы помираемъ съ голоду,—подтвердилъ Яшимовъ.

— Идите-же за нами,—повторили люди въ чалмахъ:—наши дома—ваши дома. Да будетъ благословенъ этотъ день! Аллахъ керимъ! Аллахъ акберъ!

IV.

Иснущеніе.

Прошло нять лѣтъ.

Ночь на алжирскомъ берегу Средиземнаго моря. Темна африканская ночь, но всплывшій гдѣ-то далеко, надъ Сахарою, мѣсяцъ серебрить сверкающую фосфорическимъ свѣтомъ морскую пѣну, медленными приливами набѣгающую на песчаный берегъ Африки. Меланхолическій свѣтъ этого мѣсяца льется и на мачты и на реи колыхающагося у берега корабля и на длинный, тонкій стволъ ружья стоящаго у шканцевъ часового араба въ красной фескѣ, и на зубчатая стѣны крѣпостной башни, и на тихо повисшее надъ башнею кроваваго цвѣта знамя съ рукою, вооруженною мечемъ.

Въ узкое окошечко башни виднѣется огонекъ.

Башня стоитъ у небольшого залива, недалеко отъ Алжира. Это — лучшая гавань алжирскихъ корсаровъ, куда они заводятъ взятые въ плѣнъ корабли.

Въ среднемъ этажѣ башни довольно просторная комната, стѣны которой всѣ обвѣшаны оружіемъ. У стѣнъ — низкіе турецкіе диваны. Полъ устланъ циновками изъ пальмовыхъ листьевъ. На невысокомъ столѣ, покрытомъ персидскою богатою шалью, канделябръ о трехъ свѣчахъ освѣщаетъ разбросанныя бумаги.

На одномъ изъ дивановъ полулежитъ мужчина съ сильной просѣдою въ красивой черной бородѣ и медленно, задумчиво втягиваетъ и также задумчиво выпускаетъ изъ подъ посѣдѣлыхъ усовъ тонкія струйки дыма тихо шипящаго наргиле. Голова его обвязана громадною бѣлою чалмою. Одѣяніе на немъ — одѣяніе алжирскаго корсара: широкія шальвары, остроконечныя, съ загнутыми носками, красныя сафьянныя, шитыя золотомъ ичиги, куртка съ золотыми позументами, а за широкимъ зеленымъ поясомъ сверкаютъ дорогою оправою кинжалы и пистолеты.

Противъ него, на подушкѣ, брошенной на циновку, поджавъ по-восточному ноги, сидитъ тоже немолодой мужчина, тоже, повидимому, корсаръ, хотя проще одѣтый, но съ русой, рыжеватой бородой.

— Ну что, ваше благородіе? — говоритъ этотъ послѣдній на чистомъ тульскомъ или костромскомъ русскомъ нарѣчій.

— Ахъ, Петровъ! Какъ не надоѣстъ тебѣ называть меня вашимъ благородіемъ! — прерываетъ его курящая наргиле чалма: — вѣдь ты давно знаешь, что я для тебя другъ и товарищъ.

— Простите, Степанъ Симонычъ,—улыбнулась феска:—привычка.
— Да, правда,—вдохнула чалма:—вонъ мы и къ Африкѣ привыкли.
— Да, точно,—вдохнула и феска.
— А что-то теперь у насъ на Руси подѣлывается? Ухъ, какъ далеко она!

— Гдѣ не далеко—и воронъ костей русскихъ не занесетъ сюда.
— А вонъ насъ занесла неволя.

Феска оглянулась кругомъ и ближе пододвинулась къ дивану.

— Ну, что,—тихо спросила она:—прочли эти бумаги?—феска указала на столъ.

— Прочелъ.

— Кто-жъ они будутъ?

— Да нашъ братъ, христiane.

— А съ какихъ мѣстовъ?

— Изъ Далмаціи, тамошніе славяне.

Феска придвинулась еще ближе. Ясно было, что она собиралась поговорить о чемъ-то тайно.

— Вотъ что, Степанъ Симонычъ,—начала она почти шепотомъ:—нече утромъ я былъ на базарѣ въ Алжирѣ, такъ тамъ сказывали, что вечеръ пришла въ Алжиръ одна здѣшняя шебека, а ходила она въ море, какъ водится, на разбой. Такъ сказываютъ, что шебека самую малость не попала въ нашѣмъ въ полонъ.

— Какъ нашѣмъ?—удивился Яшимовъ (это былъ онъ въ чалмѣ).

— Московъ, говорятъ, гнался за ними,—пояснилъ Петровъ.

— Откуда-же тутъ взялись русскіе?—еще болѣе удивился первый.

— Даъ сказываютъ, ваше благородіе, что русскіе корабли все море заполонили,—отвѣчалъ послѣдній:—русскіе да аглицкіе—все это супротивъ Наполеона и турокъ. Дакъ знаете, что я вамъ скажу? Вотъ мы теперь здѣсь, въ этой бусурманской землѣ, и въ холѣ и въ роскоши. Вы вотъ и до чиновъ ужъ дошли, и самъ дей васъ жалуетъ — чаушемъ сдѣлалъ, комендантомъ крѣпости. А все поди, чай, по родной землѣ скучаете. Шутка: шестой годъ маемся.

— Да, Петровъ, самъ ты знаешь, что я тоскую по Россіи,—со вздохомъ сказала Яшимовъ.

— Вижу, вижу, Степанъ Симонычъ,—продолжалъ Петровъ:—кажись, чего-бы намъ скучать? У меня вонъ и семья есть—хоша она, жена моя, и бусурманка, а любить меня, да и дѣтишки у меня есть. Въ достаткѣ живу—и эти самые финики ѣмъ, и хлѣбъ здѣшний, и кофей, и баранины сколько въ душу влѣзетъ. А все нѣтъ-нѣтъ да и вспомнится родная деревня. Иной разъ во снѣ ее, матушку деревню, увидишь, такъ весь день ходишь самъ не свой. Вотъ и у васъ тоже молодая жена, незаконная, правда, подъ вѣнцомъ не была, какъ и моя тоже, а все-же она какъ есть жена.

— Такъ что-жъ?—перебилъ его Яшимовъ.

— Да то, Степанъ Симонычъ, что родная сторона вамъ дороже жены.

— И то правда. Что-жъ изъ этого?

— Да то, что теперича случай есть уйти намъ отселѣ домой.

— Какой случай?—еще болѣе удивился Яшимовъ.

— А бригантина христіанская, что нонѣ пригнали наши разбойники.

— Какой-же въ ней толкъ?—спросилъ Яшимовъ, недоумѣвая.

— Вотъ что, ваше благородіе,—еще понизилъ голосъ Петровъ:—я все обдумалъ. Вы говорите, что взятые на бригантинѣ люди — наши православные?

— Да, православные,—былъ отвѣтъ.

— И сидятъ они здѣсь подѣ вашимъ ключемъ.

— Точно, подѣ моимъ.

— Такъ вотъ что, ваше благородіе,—рѣшительно сказалъ Петровъ:—попроцаемся съ нашими женами—пуцай ихъ живутъ на здоровье. А мы выберемъ ночку потемнѣй, да выпустимъ изъ-подѣ замка нашихъ полоняниковъ, да съ ними, на ихъ бригантинѣ, и махнемъ домой.

Мысль эта видимо поразила Яшимова. Онъ даже приподнялся съ дивана. Но по лицу его замѣтно было, что въ немъ происходила борьба.

Въ это время за дверью послышался шорохъ и въ комнату вошла закутанная съ ногъ до головы женщина. Это была жена Яшимова. При видѣ ея, Петровъ всталъ и почтительно приложилъ руку къ сердцу.

V.

Прощаніе съ Фатьмой.

Снова ночь на алжирскомъ берегу. Попрежнему во мракѣ ночи неясно рисуется темный силуэтъ башни, а надъ нею треплется въ воздухѣ алжирское кровавое знамя; но цвѣта его нельзя различить. Попрежнему у берега виднѣется темный остовъ корабля. Это—далматинская бригантина, недавно захваченная въ морѣ алжирскими корсарами.

Въ одномъ изъ узенькихъ окошекъ башни попрежнему мигаетъ огонекъ, но только ярусомъ выше. Луна еще не всходила.

Комната, изъ которой выходить къ морю свѣтъ огонька—это спальня жены Яшимова. Комната также вся уставлена диванами, но только на стѣнахъ, завѣшенныхъ богатыми коврами, не видать оружія. Зато есть зеркала въ бронзовой оправѣ и столики, уставленные флаконами для духовъ и разными принадлежностями женской уборной. Матовый свѣтъ разливается по комнатѣ лампа подѣ розовымъ абажуромъ.

У одной стѣны—богатая кровать съ балдахиномъ и кисейными занавѣсками. На кровати, на продолговатыхъ бѣлыхъ подушкахъ, покоится прелестная женская головка. Полуприкрытая розовымъ одѣяломъ, спускается съ кровати маленькая смуглая ручка съ розовыми ногтями.

Молодая женщина спитъ. Слышно ея ровное дыханіе.

У изголовья на колѣняхъ стоитъ Яшимовъ и съ любовью, но грустно, глядитъ на спящую.

Вдругъ за окномъ въ ночномъ воздухѣ пронесся тихій, протѣжный крикъ ночной птицы. Яшимовъ вздрогнулъ и перекрестился. Крикъ птицы снова прорѣзалъ сонный воздухъ. Яшимовъ съ тревогой оглянулся. Правая его рука поднялась, и онъ съ выраженіемъ глубокой нѣжности на лицѣ перекрестилъ спящую женщину.

Въ душѣ его происходила борьба, въ этотъ моментъ болѣе сильная, чѣмъ тогда, когда въ первый разъ Петровъ подаль ему мысль бѣжать изъ Алжира на взятой въ плѣнъ корсарами далматинской бригадинѣ. Теперь, стоя на колѣняхъ передъ дорогимъ ему существомъ, онъ, подобно умирающему, переживалъ всю свою жизнь: далекое, милое и туманное какъ сонъ дѣтство у подножія величественныхъ горъ Кавказа, походы и воинскія тревоги въ зрѣломъ возрастѣ. Жилъ-ли онъ тогда для себя, жили ли сердцемъ? Нѣтъ, онъ не жилъ. Онъ никогда не зналъ ласкъ женщины — близкаго, дорогого существа. А тамъ — плѣнъ, бѣгство, ужасные семь дней мыканья по морю. Только тутъ, въ Алжирѣ, среди пиратовъ, онъ почувствовалъ всю сладость и нѣгу жизни, все очарованіе любви и ласкъ любимого существа.

Эту милую Фатму, одну изъ первыхъ красавицъ гарема, дей подарилъ ему въ жены. Но любить ли она его такъ, какъ онъ полюбилъ ее? Правда, она его ласкаетъ; при малѣйшемъ съ его стороны порывѣ нѣжности, она отдается ему вся; она скучаетъ и плачетъ, когда его не видитъ. Но не любовь-ли это рабыни къ своему господину? Она и называетъ его господиномъ даже въ порывѣ самыхъ страстныхъ ласкъ.

Какъ оторвать отъ сердца и бросить это дорогое существо, нѣжное, наивное какъ ребенокъ? Но онъ осилить себя — оторветъ съ кровью большую половину своей души. Онъ будетъ тосковать по ней — онъ это знаетъ. А она? Если она, брошенная такъ предательски, будетъ страдать по немъ? За что-же онъ ей дастъ эти муки?

И онъ снова крестилъ эту милую головку.

„Пусть чистыя небесныя силы хранять ее, хоть она и не моей вѣры. Будь счастлива, дорогое дитя. Забудь меня. Я не стою твоихъ слезъ — я бросаю тебя для моей далекой родины“.

— Саббъ, саббъ, — шептала розовыя губки спящей.

Онъ готовъ былъ броситься и расцѣловать этого прелестнаго ребенка-женщину; но онъ вспомнилъ, что на немъ лежитъ нравственный долгъ — спасти десять плѣнныхъ далматинцевъ, взятыхъ пиратами вмѣстѣ съ захваченною ими бригадиною.

— Саббъ, саббъ...

Въ это мгновеніе въ воздухѣ въ третій разъ пронесся крикъ ночной птицы. Это былъ условный знакъ. Яшимовъ, закрывъ лицо руками, всталъ и, не оглядываясь, быстро удалился.

VI.

Смерть товарища.

Когда Яшимовъ сошелъ къ берегу, тамъ уже стояла лодка, готовая отчалить, а въ ней—выведенные Петровымъ изъ тюрьмы девять плѣнныхъ далматинцевъ со шкиперомъ бригантины, и неразлучный спутникъ и другъ Яшимова—Петровъ.

Яшимовъ вошелъ въ лодку, и она тихо поплыла къ бригантинѣ. Надо было торопиться, потому что приближалось утро. Вѣглецы безъ всякаго шума взошли на бригантину и, къ счастью, нашли поставленнаго на ней часового, молодого алжирца, спящимъ на свернутомъ спиралью каватѣ. Ему тотчасъ-же зажали ротъ, связали руки и ноги, и словно мѣшокъ снесли внизъ, въ трюмъ, и тамъ заперли.

Все это было продѣлано молча, и необыкновенно быстро.

Но пока успѣли обрубить якорь и поднять паруса, на берегу поднялась тревога. При утреннемъ, только-что занимающемся свѣтѣ, алжирцы увидѣли, что на бригантинѣ творится что-то необыкновенное, и потому, сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, чтобы поднять на ноги небольшой гарнизонъ крѣпости, комендантомъ которой былъ Яшимовъ, быстро спустили на воду двѣ лодки и съ крикомъ „Аллахъ! Аллахъ!“ понеслись къ бригантинѣ.

Съ берега дулъ слабый вѣтеръ и бригантина двигалась тихо. Алжирскія лодки настигали ее. Вотъ онѣ подѣ бортомъ. Какъ ловкіе пираты, алжирцы необыкновенно быстро сѣдѣли съ бригантиной и полѣзли на abordажъ.

Яшимовъ почти въ упоръ выстрѣлилъ въ алжирца, который первымъ вскочилъ на бригантину. Съ пробитымъ черепомъ молодой пиратъ свалился въ море.

— Бей! коли! руби ихъ, окаянныхъ!—кричалъ Петровъ, бѣшено махая саблей.

— Алла! Алла!—лѣзли на бортъ пираты.

Нѣкоторые изъ нихъ были отбиты и попадали въ воду. Яшимовъ почувствовалъ, что ему точно что обожгло ногу.

— О! куку мене!—закричали вдругъ далматинцы и бросились къ другому борту бригантины, словно испуганныя овцы.

Было, впрочемъ, чего испугаться. Въ пылу схватки ни Яшимовъ, ни Петровъ не замѣтили, что отъ берега отчаливаетъ разомъ нѣсколько лодокъ, полныхъ пиратами. Противъ такой силы, конечно, бригантинѣ нельзя было устоять.

Въ эту минуту Яшимовъ увидѣлъ, что отъ лѣваго борта бригантины убѣгаетъ подѣ парусомъ баркасъ. Это спасались бѣгствомъ далматинцы.

— О-охъ!—простоналъ Петровъ, слѣдуя за нимъ.

— За мной, Петровъ! въ яликъ!—крикнулъ Яшимовъ.

Не успѣли алжирскія лодки сдѣлать и половину разстоянія, отдѣлявшаго бригантину отъ берега, какъ легкій яликъ съ Яшимовымъ и Петровымъ уже мчался подъ парусомъ въ открытое море. Алжирцы, увидѣвъ это и догадавшись, что бѣглецы совсѣмъ бросили бригантину, уже не стали ихъ преслѣдовать, какъ потому, что за легкимъ яликомъ подъ парусомъ имъ было не угоняться въ открытомъ морѣ, такъ и потому болѣе, что бригантина все-таки оставалась ихъ добычею попрежнему.

Избавившись отъ погони, Яшимовъ только теперь, при восходѣ солнца, замѣтилъ, что съ его товарищемъ творится что-то неладное. Петровъ лежалъ на днѣ ялика навзничъ. Лицо его было мертвенно блѣдно.

— Что съ тобою?—испуганно проговорилъ Яшимовъ.

— Умираю, ваше благородіе...

— Какъ! ты раненъ?

— Да... вотъ... И Петровъ показалъ рукою на грудь.

— Ты раненъ въ грудь?—не своимъ голосомъ спросилъ Яшимовъ, подходя къ товарищу.

— Да... Мустафа...

— Господи!

— Кланяйтесь... родной... землицѣ... Помолитесь... Съ бусурманкою жилъ...

Жгучая боль проникла въ душу Яшимова отъ этихъ словъ умирающаго.

„Бусурманка—Фатьма... Никогда, никогда ужъ не видѣть ее“.

Но онъ тотчасъ-же опомнился. Передъ его глазами умиралъ его другъ. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами, которыхъ вѣки, какъ и губы судорожно вздрагивали...

Лицо умирающаго вытянулось, стало какъ-бы восковымъ, а остеклѣлые глаза неподвижно устремлены были въ пространство... Петрова не стало. Яшимовъ стоялъ на колѣняхъ и молился.

Предаваться горю было, однако, некогда, да и не безопасно. Алжирцы могли одуматься и, оснастивъ свои лодки парусами, погнаться за измѣнникомъ, бывшимъ ихъ начальникомъ и чаушемъ, столь недостойно ихъ обманувшимъ.

Оставивъ трупъ товарища лежать въ томъ положеніи, въ какомъ достигла его смерть, Яшимовъ направилъ свою лодку въ открытое море и отплылъ на такое разстояніе отъ алжирскаго берега, что его едва было видно.

Тогда уже, когда онъ увидѣлъ себя въ полной, по крайней мѣрѣ относительно, безопасности, онъ рѣшился отдать послѣдній христіанскій долгъ товарищу, такъ безвременно погибшему. Онъ снова сталъ на колѣни и долго молился, стараясь не глядѣть въ лицо умершему, котораго открытые глаза, казалось, выражали безмолвный укоръ небу.

Умирающихъ на морѣ обыкновенно и хоронятъ въ морѣ—завиваютъ въ мѣшокъ или въ парусину, привязываютъ къ ногамъ пушечное ядро

или ную тяжесть и спускают за бортъ. Предстояло то-же сдѣлать и съ тѣломъ Петрова, но у Яшимова не было ни мѣшка, ни парусины и никакой тяжести, даже камня, и потому онъ, поцѣловавъ жертвеца въ лобъ, перекрестилъ въ послѣдній разъ и, съ трудомъ приподнявъ со дна лодки, осторожно спустил въ море, внизъ ногами.

Тяжело и страшно стало Яшимову даже оглянуться на то мѣсто, гдѣ мертвецъ исчезъ подъ водою, и онъ, приспособивъ парусъ, направилъ лодку на востокъ, вдоль африканскаго берега.

VII.

Въ гостяхъ у пирата.

Теперь только, когда Яшимовъ увидѣлъ себя совершенно одинокимъ въ безбрежномъ морѣ, на мелкомъ яликѣ и безъ малѣйшаго запаса пищи,— только теперь онъ задумался надъ своимъ положеніемъ, которое казалось безвыходнымъ.

Что ему предпринять? Куда направить утлую лодчонку? Гдѣ искать спасенія? Не въ Алжиръ-же возвращаться, хотя тамъ ждало его покинутое имъ дорогое существо. А переплыть Средиземное море на крошечномъ яликѣ безъ пищи и воды—объ этомъ было бы безуміемъ и думать.

Онъ рѣшился добратся до Туниса. Цѣлый день его яликъ съ надутымъ попутнымъ вѣтеркомъ парусомъ скользилъ по волнамъ на востокъ, вдоль алжирскаго берега. Весь день онъ ничего не ѣлъ и не пилъ. Душу его удручали тяжелыя думы — и горестъ о погибшемъ другѣ, и тоска по покинутомъ дорогомъ существѣ, которое теперь стало ему еще дороже, и неизвестность будущаго. Раньше, когда они съ Петровымъ рѣшились бѣжать изъ Алжира на далматинской бригаantinѣ, у него была надежда когда-нибудь добраться до родной земли. Для нея онъ оторвалъ отъ своего сердца самое дорогое, что онъ имѣлъ въ жизни — любовь и ласки любимой женщины; тогда за синими морями, далеко-далеко, воображенію его рисовалась милая Россія. А теперь все это потеряно имъ—и любовь, и счастье, и надежда.

Лѣвая нога его ныла отъ боли. Въ отчаянный моментъ схватки съ алжирцами, на бортѣ бригаантины, алжирская пуля пронизала ему на вылетъ лѣвую ногу выше колѣнки, не задѣвъ, впрочемъ, кости, и хотя онъ наскоро перевязалъ ее, но перевязка сдѣлана была такъ дурно, что рана воспалилась и боль была невыносима.

Но вотъ прошелъ этотъ мучительный день, солнце погрузилось въ море и вскорѣ насталъ мракъ. Теперь можно было пристать къ берегу, и бѣглецъ направилъ свою лодку въ небольшой заливъ, освѣщенный букетами пальмъ, которыя онъ замѣтилъ на горизонтѣ при закатѣ солнца, отразившаго послѣдніе лучи на зонтичныхъ вершинахъ африканскихъ великановъ растительнаго царства. Изъ-за пальмъ и небольшого возвышенія,

надъ которымъ эти деревья господствовали, видя къ небу синій дымокъ. Значить, жилье недалеко. Но это алжирское жилье. Бѣглецу изъ Алжира приходилось придумывать, за кого себя выдать и чѣмъ объяснить свое появленіе здѣсь на берегу моря.

Но безвыходность и смерть, глянувшая въ очи, изобрѣтательнѣе самой нужды.

Едва Яшимовъ, уже во мракѣ, присталъ къ берегу и вышелъ изъ ялика, какъ тотчасъ-же сталъ нагружать спасую его лодку камнями-валунами, которыми устѣянъ былъ морской берегъ. Когда яликъ нагруженъ былъ такъ, что едва держался на водѣ, Яшимовъ, войдя въ воду, оттолкнулъ его и, держась руками за оба его передніе борта, сталъ отталкивать дальше и дальше отъ берега. Саженахъ въ 20 или 30-ти отъ берега онъ остановился, накренилъ яликъ нѣсколько на бокъ, такъ что въ него залилась вода, накренилъ на другой бокъ—и яликъ моментально пошелъ ко дну. Даже верхушки мачты не осталось на поверхности.

— Прощай, другъ,—тихо сказалъ Яшимовъ:—ты меня спасъ, а я тебя утопилъ.

Потомъ онъ поплылъ обратно къ берегу. Вода ручьями текла съ него, когда онъ очутился на землѣ. Море тихо плескалось на низменный берегъ. Онъ обернулся. Невдалекѣ вырисовывались стройные силуэты пальмъ.

— Господи, помоги!—набожно перекрестился бѣглецъ, и пошелъ по направленію къ пальмамъ. Здѣсь берегъ нѣсколько возвышался, и когда Яшимовъ поровнялся съ пальмами, впереди, невадалекѣ, блеснулъ огонекъ. На огонекъ и пошелъ онъ.

Скоро онъ различилъ въ темнотѣ низенькую стѣну и очертанія арабской хижины. Изъ ея маленькаго оконца выходилъ свѣтъ. Это и былъ замѣченный имъ раньше огонекъ. •

Подойдя къ открытымъ дверямъ хижины и увидѣвъ въ ней присутствіе людей, Янимовъ произнесъ подобающее случаю арабское привѣтствіе. Изъ хижины ему отвѣчали тѣмъ-же и пригласили войти.

Янимовъ вошелъ. Въ довольно просторной квадратной комнатѣ, на низкомъ диванѣ, покрытомъ кошкою изъ верблюжьей шерсти, сидѣлъ старикъ. Около него лежали пальмовыя вѣтви и до половины сплетенная изъ нихъ корзина. На цыновкѣ, у ногъ старика, сидѣли дѣти—мальчикъ и дѣвочка, которымъ, вѣроятно, не было и десяти лѣтъ. На низкомъ очагѣ горѣлъ огонь.

При входѣ Яшимова мальчикъ и дѣвочка вскочили и удивленно смотрѣли на него.

— Кого Аллахъ прислалъ въ мой шатеръ?—спросилъ старикъ.

— Саиба, дѣдъ,—отвѣчали разомъ дѣти:—онъ мокрый.

— Саиба!.. мокрый саибъ?—удивился старикъ и поднялся на ноги:—развѣ Аллахъ послалъ дождь жаждущей землѣ?

Съ знаками восточнаго привѣта Яшимовъ приблизился къ старику,

который оказался слѣпымъ. Старикъ протянулъ одну руку пришельцу, а другую положилъ ему на плечо.

— Да, мой гость мокрый, — сказалъ онъ; — а я и слѣпъ, и глухъ — не слыхалъ, какъ Аллахъ поилъ жаждущую землю изъ небеснаго фонтана.

— Нѣтъ, ага, — отвѣчалъ Яшимовъ: — Аллахъ не открывалъ сегодня небесныхъ фонтановъ: я вымокъ въ морской водѣ.

— Какъ-же саибъ попалъ въ море? — спросилъ старикъ.

— По волѣ Аллаха, — который спасъ меня отъ рукъ невѣрныхъ — да будетъ благословенно имя его! — отвѣчалъ Яшимовъ, стараясь говорить витѣватую рѣчь.

— А развѣ гиуры близко? — встрепнулся старикъ.

— Нѣтъ, ага, они теперь далеко, хвала Аллаху! Я сейчасъ все разскажу.

— Хорошо, саибъ, — успокоился старикъ, — только пусть саибъ сейчасъ раздѣнется и просушить у моего очага свою одежду. А ты, Халиль, подай саибу мой лучшій плащъ, — обратился онъ къ мальчику, который, равно какъ и дѣвочка, не спускалъ глазъ съ пришельца.

— Аллахъ да наградитъ тебя! — съ чувствомъ сказалъ Яшимовъ, — а ты, малютка, выйди на минутку: женщинѣ не подобаетъ видѣть голое тѣло мужчины.

Дѣвочка сверкнула бѣлыми какъ кипень зубками, улыбнулась и юркнула за дверь, которая, какъ предполагалъ Яшимовъ, вела на женскую половину.

Пришелецъ тотчасъ-же раздѣлся, развѣсилъ мокрое платье у очага и облачился въ бѣлый, широкій бедуинъ, перевязавъ предварительно свою рану.

— Саибъ раненъ, — сказалъ мальчикъ, глядя на ногу пришельца.

— Раненъ? — переспросилъ старикъ.

— Да, пулею въ ногу, — отвѣчалъ Яшимовъ, — но пуля гиура не повредила кости.

— Хвала Аллаху! — оживленно заговорилъ старикъ; — все-же эта рана — ее надо залѣчить. Халиль! — обратился онъ къ мальчику, — поди къ матери, пусть она дастъ тебѣ заживной пластырь для раны саиба.

Мальчикъ юркнулъ на женскую половину, а старикъ усадилъ своего гостя на верблюжью кошку и сѣлъ противъ него на цыновку, поджавъ подъ себя традиціонно ноги. Скоро возвратился мальчикъ и принесъ кусокъ зеленой липкой массы. Яшимовъ зналъ уже свойство и употребленіе этого африканскаго пластыря, приготавлиаемаго изъ листьевъ алоэ и какой-то ароматной смолы, и наложилъ его на рану и на всю воспаленную часть ноги.

— Теперь, Халиль, подай саибу и мнѣ наргиле, — приказалъ старикъ. Мальчикъ быстро исполнилъ приказаніе дѣда.

VIII.

Отводъ глазъ слѣпца.

— Я — чаушъ ясноблестательнаго дея алжирскаго, да хранить его Аллахъ и да пошлетъ ему столько лѣтъ, сколько въ его стадахъ коней и кобылицъ,—началь Яшимовъ, потягивая дымъ изъ хрипящаго наргиле.— Третьяго дня его ясноблестательность изволилъ приказать мнѣ отправиться съ секретнымъ порученіемъ къ его ясносвѣтлости бею тунисскому на особо снаряженной и вооруженной шебекѣ. Первый день нашего плаванія, хвала Аллаху, былъ благополученъ, хотя противные вѣтры и замедляли ходъ шебеки. Ночью Аллахъ отвратилъ отъ насъ лицо свое...

— Да будетъ благословенно имя его!—набожно вздохнулъ старикъ:— онъ самъ знаетъ, куда вести правовѣрныхъ.

— Аллахъ керимъ!—съ притворной набожностью воскликнулъ Яшимовъ.— Ночью напалъ на насъ инглизъ.

— Инглизъ! проклятая собака!—не вытерпѣлъ старикъ:—пусть Аллахъ пальцемъ помѣшаетъ мозги инглиза и ослѣпнѣтъ очи его!

— Аллахъ акберъ!—повторилъ Яшимовъ въ тонъ старика.

При этомъ онъ замѣтилъ, что наверху стѣны, за которою находилось женское отдѣленіе, осторожно чья-то рука приподняла занавѣску, и въ отверстіе блеснуло нѣсколько глазъ. Яшимовъ догадался, что это выглядывали оттуда женщины, и продолжалъ свой рассказъ.

— Инглизы атаковали мою шебеку на огромномъ, стонущемъ линейномъ кораблѣ, и хотя мы и храбрые алжирцы, отважно сдѣлавшіеся на abordажъ, отчаянно защищались и многихъ гяуровъ убили...

— Хвала Аллаху!—не вытерпѣлъ старикъ.

— Хотя,—продолжалъ Яшимовъ,—у гяуровъ былъ убитъ самъ ихъ капуданъ-паша...

— Капуданъ-паша!—вскочилъ старикъ, страшно ворочая слѣпыми глазами:—хвала Аллаху и его пророку! Да награждать они лучшими гуріями того правовѣрнаго, который убилъ капудана-пашу. Кто убилъ его, саябъ?—спросилъ старикъ.

— Мнѣ помогъ Аллахъ это сдѣлать,—скромно отвѣчалъ Яшимовъ.

— Тебѣ, саябъ? Дай-же поцѣловать ту руку, которая отправила въ адъ проклятую душу гяура.

И старикъ, взявъ руку Яшимова, поцѣловалъ ее. Его примѣру послѣдовалъ и маленькій Халиль. Вслѣдъ затѣмъ изъ женской половины прибѣжала дѣвочка, а за нею вошла сгорбленная старуха, и обѣ поцѣловали руку у своего интереснаго гостя.

— Тогда,—продолжалъ Яшимовъ,—на нашу шебеку гяуры ударили другимъ линейнымъ кораблемъ. Я былъ раненъ въ ногу пулею на вы-

летъ. Нѣкоторые изъ моей команды были убиты, другіе ранены, въ томъ числѣ и я, и взяты въ плѣнъ вмѣстѣ съ шебекою.

Старикъ горестно покачалъ головой.

— Я иллахъ иль Аллахъ, Мухамедъ расуль Аллахъ!—какъ-бы про себя пробормоталъ онъ.

Дѣти не сводили глазъ съ рассказчика; старуха возилась у очага, перевѣшивая на другой бокъ сушившееся у огня платье Яшимова, а нѣсколько прелестныхъ глазъ продолжали скеркать изъ-за занавѣски женской половины.

— Всю ночь и слѣдующій день насъ, плѣнныхъ, держали въ тюрьмѣ,— продолжалъ Яшимовъ,—но въ тюрьмѣ было такъ душно, что за день нѣкоторые изъ моей команды, раненные, умерли...

— Да наградить ихъ Аллахъ прекраснѣйшими гуріями въ своемъ раю,— пробормоталъ старикъ.

— Я тоже притворился умирающимъ, и меня къ вечеру вынесли на палубу. Я увидѣлъ, что инглизъ держитъ путь на востокъ — или къ Тунису, или къ египетскимъ берегамъ. Корабли гяуровъ шли вдоль алжирскихъ береговъ, и я видѣлъ, что земля не далеко. Когда-же совѣмъ стемнѣло, я бросился съ борта прямо въ море. Я хорошо плаваю и могу долго пробыть подъ водою. Я такъ и сдѣлалъ. Погрузившись въ море, я старался, подъ водою, уплыть подальше, и когда я вынырнулъ на поверхность, корабли были уже далеко впереди. Гяуры, конечно, подумали, что я утонулъ. Но Аллахъ сохранилъ мою жизнь.

— Хвала Аллаху!

— Потомъ я поплылъ къ берегу,—продолжалъ Яшимовъ.—Я издали видѣлъ ваши прекрасныя пальмы и огонекъ. Этотъ огонекъ и привелъ меня въ домъ твой, почтенный ага.

— Это не былъ огонекъ моего очага,—серьезно сказалъ старикъ,—то былъ глазъ Аллаха.

— Хвала Аллаху и его пророку! — съ своей стороны воскликнулъ Яшимовъ.

Между тѣмъ платье его высохло, и онъ снова одѣлся. Тогда въ эту комнату, гдѣ они сидѣли, изъ женскаго отдѣленія вышли двѣ молодыя женщины съ подносами, на которыхъ лежали куски жареной баранины, овечій сыръ, хлѣбъ, поджаренный рисъ, свѣжіе финики и зеленые, длинные рожки банановъ. Поставивъ передъ гостемъ подносы, женщины также поцѣловали у него руку и молча удалились на свою половину.

Съ жадностью голоднаго волка Яшимовъ накинулся на вкусныя кушанья, хотя и старался сдерживать проявленія мучившаго его голода. Лучшіе кусочки онъ предлагалъ вертѣвшимся около него мальчику и дѣвочкѣ, а когда далъ имъ по серебряной монетѣ, то восторгу ихъ не было конца. И изъ-за занавѣски прекрасныя глаза смотрѣли на него еще съ большей благосклонностью.

IX.

Красавица Хамсинъ.

Хотя на нынѣшній день обстоятельства и счастливо сложились для нашего бѣглеца, однако, завтра-же они могли измѣниться къ худшему, и даже непременно должны измѣниться. Теперь уже, конечно, вѣсть объ измѣнѣ и бѣгствѣ одного изъ приближенныхъ къ дею чаушей достигла Алжира. Можетъ быть, уже сегодня отправлены гонцы во всѣ стороны для поимки измѣнника. Завтра-же утромъ гонцы могутъ явиться сюда, и тогда бѣжавшему чаушу не избѣжать казни.

Во что-бы то ни стало, надо скорѣе бѣжать отсюда, и конечно въ Тунисъ—въ Алжиръ оставаться невозможно.

Но какъ бѣжать? какой найти предлогъ? Завтра-же все селеніе, въ которомъ онъ теперь скрылся на ночь и гдѣ онъ нашелъ такой радушный пріемъ,—завтра-же все селеніе сойдется посмотреть на такое важное лицо, какъ чаушъ, довѣренное лицо ясноблестательнаго дея.

Въ ночь онъ обдумывалъ свое критическое положеніе и только къ утру уснулъ, потому что пришелъ, наконецъ, къ наиболѣе, какъ ему казалось, подходящему рѣшенію. Надо купить хорошую лошадь и, подъ предлогомъ скорѣйшаго исполненія тайнаго порученія дея, скакать въ Тунисъ.

Чуть свѣтъ онъ уже на ногахъ. Но и старикъ уже сидѣлъ на цыновкѣ и говорилъ молитву, покачиваясь и кланяясь на востокъ. Яшимовъ долженъ былъ послѣдовать его примѣру, и тоже сталъ молиться.

По окончаніи моленія и обычныхъ восточныхъ привѣтствій, старикъ заговорилъ о предметѣ, который особенно беспокоилъ бѣглеца.

— Саибъ долженъ успокоить ясноблестательнаго дея,—сказалъ онъ.

— Чѣмъ успокоить, почтенный ага? — спросилъ Яшимовъ не безъ внутренней дрожи.

— А вѣстью, что, благодаря милости Аллаха, саибъ избѣжалъ рукъ гауровъ. Пусть саибъ пошлетъ въ Алжиръ гонца съ этой вѣстью.

— О, нѣтъ, почтенный ага,—изворачивался нашъ бѣглецъ: — гонецъ только можетъ обезпечить ясноблестательнаго дея.

— Почему-же такъ думаетъ саибъ?

— А потому, почтеннѣйшій ага, что теперь ему ничего неизвѣстно о гибели шебеки, а когда онъ узнаетъ объ этомъ, то это доставитъ его великому сердцу тревогу. А когда я лично, по исполненіи возложеннаго на меня порученія, предстану передъ его свѣтлыми очами и все объясню, тогда Аллахъ ниспешлетъ въ его сердце спокойствіе.

— Такъ,—согласился старикъ: — какъ-же саибъ исполнитъ это порученіе?

— Я сейчасъ долженъ ѣхать въ Тунисъ, и потому сейчасъ-же дол-

женъ достать здѣсь лучшаго скакуна, на которомъ-бы я могъ скорѣе достигнуть Туниса.

— Лучшая кобылица стеней Алжира будетъ сейчасъ приведена саибу.

— А бѣгъ у нея хорошій?

— Она—быстрѣе вѣтра пустыни.

Но тутъ Яшимовъ вспомнилъ, что у него нѣтъ ни кинжала, ни сабли, ни пистолетовъ и никакого другого оружія, кромѣ трехграннаго стилета, который онъ вынулъ изъ груди погибшаго товарища. Надобно было подумать и объ оружіи, и онъ тотчасъ-же заговорилъ объ этомъ со своимъ хозяиномъ.

— Но мнѣ, почтенный ага, не одинъ конь нуженъ,—сказалъ онъ.

— Что-же еще нужно его милости саибу?—спросилъ старикъ.

— Гяуры отобрали у меня оружіе,—отвѣчалъ Яшимовъ.—Я долженъ для предстоящаго пути вооружиться съ головы до ногъ. Мало-ли что можетъ случиться дорогой!

— Саибу дѣло говорить — надо хорошенько вооружиться,—сказалъ старикъ.—Хотя всемогущій Аллахъ и лишилъ меня зрѣнія — да и пора: я слишкомъ долго созерцалъ красоты его творенія,—однако, онъ не отнялъ у меня оружія. Саибу самъ можетъ видѣть его на стѣнѣ.

Дѣйствительно, Яшимовъ давно уже поглядывалъ на прекрасное вооруженіе, въ красивой симметріи развѣшанное на стѣнѣ.

— Я дарю мое вооруженіе благородному саибу,—продолжалъ старикъ:—для слѣпца оно бесполезно, и защитить меня могутъ мои сыновья.

— Много Аллахъ послалъ сыновей почтенному агѣ? — спросилъ Яшимовъ.

— Шесть молодцовъ.

— Гдѣ-же они теперь?

— Въ морѣ, на благородномъ промыслѣ.

„На грабежѣ“, подумалъ Яшимовъ:—„странствуютъ“.

Но надо было торопиться.

— Чѣмъ-же я отблагодарю почтеннаго агу за такой дорогой подарокъ?—спросилъ онъ.

— Доброй памятью о старикѣ и его гостепріимствѣ,—отвѣчалъ тотъ.

Яшимовъ горячо пожалъ руку великодушному хозяину.

— А гдѣ я долженъ искать кобылицу, о которой говорилъ благородный ага?—спросилъ онъ.

— Сейчасъ саибу услышитъ топотъ ея копытъ у дверей моего дома.—Халиль!—крикнулъ старикъ.

На зовъ его изъ женской половины сейчасъ-же прибѣжалъ вчерашній востроглазый арабченокъ, скаля бѣлые зубы.

— Бѣги, внучекъ, сейчасъ къ Абдуль-Ибрагиму,—обратился къ нему старикъ:—пускай ведетъ сюда кобылицу Хамсинъ, осѣдланную лучшимъ сѣдломъ —да скорѣй!

Мальчишкѣ стрѣлой вылетѣлъ за дверь.

— Она горяча как хамсинъ и быстра как хамсинъ *), — сказалъ старикъ, — оттого Хамсиномъ ее и назвали.

Черезъ нѣсколько минутъ дѣйствительно послышался топотъ лошадиныхъ копытъ, и въ открытую дверь показалась голова и роскошная грива бѣлой, какъ горный снѣгъ, красавицы.

Х.

Лицомъ къ лицу со львомъ пустыни.

Заря только-что занимается. Величественно и прекрасно африканское утро — утро пустыни. Солище еще не выкатилось изъ-за горизонта, но восточная окраина неба уже золотится.

Въ этой холмистой песчаной пустынѣ, кое-гдѣ какъ-бы вскрапленной безобразными кустами гигантскихъ кактусовъ да одинокими букетами пальмъ, виднѣется единственное живое существо — одинокій всадникъ на бѣломъ конѣ. Это повидимому бедуинъ, хорошо вооруженный и по всей вѣроятности отправляющійся въ далекій путь. Кромѣ длиннаго тонкаго копыя, двустволки, перекинутой за спину, и кинжаловъ съ пистолетами, торчащихъ за широкимъ пестрымъ поясомъ, у путника черезъ сѣдло перевѣсились переметныя, ярко-пестрыя сумы и кожаный бурдюкъ съ водою. Бедуинъ держитъ путь на востокъ.

Бедуинъ этотъ былъ Яшимовъ. Онъ ѣхалъ въ глубокой задумчивости. Вдругъ ему послышались какъ-бы слабые, отдаленные раскаты грома. Онъ съ удивленіемъ началъ прислушиваться и осматриваться кругомъ. Откуда-бы быть грому?... На утреннемъ небѣ ни облачка, да африканское небо и не часто видитъ этихъ воздушныхъ странниковъ. Слабые раскаты повторились... Что-бы это было?

Тутъ только онъ замѣтилъ, что Хамсинъ насторожила уши и вся дрожитъ. Громовые раскаты послышались снова и теперь онъ различилъ, что это не раскаты грома, а очень знакомые всѣмъ африканцамъ звуки. На зарѣ они особенно внушительны.

То было рыканье льва — царя этой угрюмой пустыни. Живя пять лѣтъ въ Африкѣ, Яшимовъ успѣлъ хорошо прислушаться къ этой страшной музыкѣ пустыни и не разъ лично имѣлъ дѣло съ хвостатымъ и гриватымъ пѣвцомъ Африки.

Но гдѣ онъ? Куда направляетъ свой путь? Въ это время онъ обыкновенно ходитъ на водопой и ревомъ своимъ привѣтствуетъ восходящее солнце. Этотъ ревъ очень хорошо знаютъ всѣ звѣри Африки, и едва слышать его, тотчасъ со страхомъ убѣгаютъ прятаться. И одинъ-ли онъ

*) Африканскій звойный вѣтеръ — „самумъ“ или „хамсинъ“.

...или со львицей? Если не одинъ, то это было
...масть это, какъ вдали на песчаномъ холмѣ ясно
...голова чудовища съ громадною гривой обра-

...рыканье; левъ повернулъ голову—и, казалось,
...онъ увидѣлъ добычу. Видно было, какъ онъ
...и лошадь увидала его и испуганно захрахала. Те-

...какъ въ лихорадкѣ.
...успѣлъ приблизиться къ кактусамъ, левъ сдѣлалъ два
...прыжка. Яшимовъ понялъ, что спастись невозможно, и надо
...Онъ зналъ хватки страшнаго звѣря, зналъ и его плохую
...царь звѣрей порядкомъ-таки глуповатъ. На эту глу-

...и разсчитываетъ охотникъ.
...идя навстрѣчу къ пальмѣ, онъ слѣзъ съ лошади, которая продолжала
...и желѣзною цѣпью привязалъ ее къ стволу пальмы, по ту сто-
...противоположную тому мѣсту, откуда могъ приблизиться левъ.
...лошадь испуганно рвалась и билась; но желѣзная цѣпь держала ее.
...Самъ-же Яшимовъ тотчасъ засѣлъ за кустъ кактуса, вынулъ изъ ноженъ
...клинжалъ, приготовилъ пистолеты, и, осмотрѣвъ курки пистолетовъ и дву-
...стволки, дуло послѣдней просунулъ сквозь кустъ, въ отверстіе между ко-
...лючими листьями кактуса. Въ это отверстіе ему хорошо видно было
...звѣря.

Теперь левъ, уже совсѣмъ недалеко, ползъ на брюхѣ съ ужимками
...кошки, подкрадывающейся къ воробью или къ голубю. Звѣрь воображалъ,
...что добыча не видитъ его и подкрадывался. Еще нѣсколько шаговъ и онъ
...сдѣлаетъ свой страшный прыжокъ прямо на добычу.

У Яшимова болѣзненно сжалось сердце, когда онъ слѣдилъ за этими
...движеніями ужасной кошки. Онъ слѣдилъ за движеніемъ ея мускуловъ и
...положеніемъ ногъ. Вотъ-вотъ ужасная кошка начинаетъ какъ-бы сжи-
...маться, выпячивать спину, подбирать ноги. Лицо звѣря подергивается
...конвульсіями... Вотъ-вотъ...

Грянулъ выстрѣлъ, и страшное животное сдѣлало этотъ ожидаемый
...прыжокъ, но не сюда, не на добычу, а вверхъ—и опрокинулось. Въ одно
...мгновеніе оно поднимается и дѣлаетъ новый прыжокъ; но на полетѣ его
...встрѣчаетъ новая пуля—прямо въ лобъ—и страшное животное падаетъ
...на землю, конвульсивно корчась и окрашивая песокъ пустыни кровью.

Яшимовъ выскакиваетъ изъ своей засады и въ затылокъ льва, у са-
...мой гривы, всаживаетъ огромный клинжалъ по самую рукоятку.

Тутъ только Яшимовъ замѣтилъ, что убитое имъ чудовище—необы-
...чайныхъ размѣровъ. И теперь только онъ почувствовалъ, что его бьетъ ли-
...хорадка.

Онъ упалъ на колѣни и, закрывъ лицо руками, молился безъ словъ.

XI.

Въ Тунисѣ—на невольничьемъ рынкѣ.

На четвертый день послѣ утомительнаго переѣзда по пустынѣ и по рѣдкимъ оазисамъ съ селеніями, передъ нашимъ путникомъ, въ синей дали, стали отчетливо вычерчиваться на горизонтѣ стройныя иглы минаретовъ, куполы мечетей и домовъ и бѣлыя стѣны, осыянные кое-гдѣ пальмами: то былъ Тунисъ.

Яшимовъ выѣхалъ теперь на большую караванную дорогу, гдѣ уже было больше движенія. Попадались и одинокіе путники, пѣшіе и конные; по сторонамъ дороги паслись стада овецъ и верблюдовъ; караваны верблюдовъ, глухо звеня колокольчиками, тянулись то къ Тунису, то отъ Туниса. Влѣво, за песчаными холмами, разстилось голубое море, которое и пугало своею безбрежностью, и неводно приковывало къ себѣ взоръ: тамъ, за этимъ бирюзовымъ моремъ и за этою синею далью постоянно витали грустныя думы нашего путника.

За этими думами онъ и не замѣтилъ, какъ очутился у самыхъ воротъ города. Одѣтый въ костюмъ, въ какомъ ходили всѣ побережные жители Алжира и Туниса, Яшимовъ свободно въѣхалъ въ городъ. Городъ былъ для него незнакомъ, но ничѣмъ не отличался отъ другихъ городовъ Африки, и Яшимовъ, хорошо ознакомившійся съ городами Востока по Алжиру, скоро добрался до центра этого шумнаго африканскаго муравейника — до базара. Тутъ онъ легко отыскалъ „ханъ“ — нѣчто въ родѣ постоялаго двора, и остановился въ немъ.

Четырехдневное путешествіе верхомъ, часто подъ палящимъ солнцемъ, порядкомъ истомило его, а отсутствіе горячей пищи и питанье въ пути почти однимъ варенымъ рисомъ да финиками довели его до того, что онъ очень отощалъ. Отощало немало и его бѣлоснѣжная красавица—Хамсия. Лошадь тотчасъ-же поставили въ прохладную конюшню, гдѣ не было мухъ, и задали ей корму, послѣ хорошей выводки по двору. Яшимовъ-же заказалъ себѣ рисовую съ кайенскимъ незрѣлымъ перцемъ и съ молоденькими креветками похлебку и хорошій шашлыкъ.

Подкрѣпившись и отдохнувъ, онъ сталъ обдумывать свое положеніе. Что ожидаетъ его въ Тунисѣ? Что онъ будетъ тутъ дѣлать? О поступленіи на службу къ дею, подобно тому, какъ онъ служилъ въ Алжирѣ, онъ и думать не хотѣлъ. Если тамъ, достигнувъ въ пять лѣтъ почти положенія вельможи-начальника одной изъ крѣпостей Алжира, онъ бросилъ все, даже прелестную и любимую имъ жену, и очертя голову пустился въ море, въ невѣдомый путь, то здѣсь онъ зачахнетъ съ тоски по роднѣ. Надо во что бы-то ни стало найти средство бѣжать и отсюда. Но какъ, на чемъ бѣжать? Онъ долго объ этомъ думалъ и остановился на единственномъ ра-

— Нѣтъ, милое дитя, я бѣжалъ сюда изъ Марсели—я былъ въ плѣну у французовъ, и вотъ уже пять лѣтъ въ Африкѣ, тоскую по Россіи, не знаю, какъ и попаду въ нее.

— О!—бросилась къ нему дѣвушка:—возьмите и насъ съ собой! Выкупите насъ! Папа вдвое, втрое отдастъ вамъ за насъ.

Изумленіе тунисцевъ—продавца и покупателя—возросло по мѣрѣ того, какъ Яшимовъ продолжалъ разговаривать съ плѣнною дѣвушкою. По костюму и даже по облику они видѣли въ незнакомцѣ своего человѣка, только говорящаго на незнакомомъ для нихъ языкѣ; но когда они увидѣли, какъ бросилась къ нему дѣвушка и какъ ея маленькій братъ сталъ цѣловать у незнакомца руку,—они сообразили, что это какой-нибудь важный паша изъ Московъ и что онъ вѣроятно много отсыплетъ за хорошенькую плѣнницу. Продавецъ-пиратъ торжествовалъ, особенно когда Яшимовъ обратился къ нему съ вопросомъ: какую цѣну онъ проситъ за эту дѣвушку и за ея брата?

Пиратъ заломилъ неслыханную цѣну. Яшимовъ видѣлъ, что бесполезно было бы торговаться, такъ какъ если-бъ жадный продавецъ даже вдвое и втрое сбавилъ противъ запроса, то и тогда онъ не могъ бы заплатить,—и онъ грустно опустилъ голову, не смѣя даже взглянуть въ лицо тѣмъ, которые отъ него ждали спасенія.

— Что же? нельзя выкупить? не продаетъ?—спросила несчастная.

— Бѣдная вы моя!—отвѣтилъ Яшимовъ.—Онъ запросилъ за васъ такую цѣну, что если-бъ я и себя продалъ вмѣстѣ со всѣмъ, что у меня есть, то и тогда не достало бы.

— Боже мой! Боже мой!—ломала руки дѣвушка.

— Утѣштесь, дитя мое!—успокаивалъ ее Яшимовъ, самъ сознавая въ душѣ, какъ бесполезно было это успокоеніе.—Скажите, по крайней мѣрѣ, фамилію вашего батюшки: если, Богъ дастъ, я вырвусь изъ этой проклятой земли, то первымъ долгомъ я сочту побывать на островѣ Корей и сказать вашему батюшкѣ, гдѣ вы и что съ вами, чтобы онъ зналъ по крайней мѣрѣ, что вы живы. А тогда, повѣрьте, онъ употребитъ всѣ усилія, всю свою власть, чтобы, освободить васъ изъ плѣна. Вѣрьте, дорогое дитя, что русское правительство вмѣшается въ это дѣло, и адмиралъ Сенявинъ, который теперь крейсируетъ съ русскимъ флотомъ въ Средиземномъ морѣ...

— Онъ былъ въ Корей въ то время, какъ насъ взяли въ плѣнъ,—сказала дѣвушка, въ которой слова Яшимова пробуждали надежду.

— Вотъ видите,—продолжалъ Яшимовъ.—Сенявинъ, узнавъ, гдѣ вы, немедленно отправить сюда эскадру, чтобы требовать вашей выдачи, и въ случаѣ сопротивленія—прикажетъ бомбардировать Тунисъ. Вѣрьте мнѣ, дитя мое.

Но самъ онъ не вѣрилъ тому, въ чемъ старался увѣрить дѣвушку.

— Когда же вы ѣдете домой?—нѣсколько успокоенная, спросила дѣвушка.

— Да какъ только придетъ въ Тунисъ какой-нибудь христіанскій корабль. Какъ же фамилія вашего батюшки?

— Азаровъ, Николай Ивановичъ.

— Хорошо, я буду помнить... Не приходите только въ отчаяніе, бѣдное дитя,—ждите.

Но въ душѣ онъ сознавалъ всю неосновательность того, о чемъ говорилъ. Развѣ плѣнная дѣвушка останется въ Тунисѣ? Кто поручится, что этотъ безжалостный покупатель не завезетъ ее въ Марокко, чтобы продать въ гаремъ мароккскому султану, или въ Каиръ, въ Дамаскъ? Богъ знаетъ, что ожидаетъ дѣвушку и ея брата-ребенка, который теперь, тоже нѣсколько успокоившись, ѣлъ рахатъ-лукумъ и съ довѣріемъ смотрѣлъ въ глаза Яшимова.

Не рѣшаясь присутствовать при концѣ возмутительной сцены продажи несчастной дѣвушки и ея брата, Яшимовъ сталъ съ ними прощаться.

— Куда же вы?—встрепенулась дѣвушка.

— На пристань, искать христіанскій корабль.

— Какъ же васъ зовутъ? Мы будемъ молиться за васъ.

— Моя фамилія Яшимовъ, Степанъ Симоновичъ. Господь да хранитъ васъ!

Онъ торопливо удалился. Дѣвушка крикнула ему вслѣдъ:

— А моего хозяина зовутъ Абдъ-эль-Нубаръ! помните это!

И она снова залилась слезами.

„Хозяинъ!“ болѣю прозвучало въ ушахъ Яшимова это слово. Дочь консула, такая прелестная, можетъ быть никогда не знавшая горя, беззаботная, счастливая еще такъ недавно,—и вдругъ ея уста должны произносить это ужасное слово: „хозяинъ“! Нѣтъ—еще горше: онъ не хозяинъ, а господинъ ея, неограниченный владѣлецъ, который можетъ продать ее, какъ послѣднюю собаку...

И онъ торопливо затерся въ толпѣ.

ХП.

На тунисскомъ корсарѣ.

Но христіанскій корабль все не появлялся въ тунисской гавани. Да и какой христіанскій корабль понесетъ къ пиратамъ?

Дни проходили за днями, а Яшимовъ все напрасно поглядывалъ на море, напрасно ждалъ спасительнаго корабля. Скоро у него вышли всѣ деньги, оставшіяся отъ сбереженій въ Алжирѣ. Приходилось продавать красавицу Хамсинъ—и онъ ее продалъ тамъ-же, на невольничьемъ рынкѣ, гдѣ тогда продавали русскую дѣвушку и ея маленькаго брата. Теперь уже ихъ больше не выводили на рынокъ: должно быть продали. Но куда? Встрѣтившаяся ему на рынкѣ та отвратительная старуха, что присутство-

вала тогда при торгѣ, на вопросъ Яшимова—куда продали русскую дѣвушку и ея брата, отвѣчала, скаречно ослабившись:

— Мальчика въ Египеть, а красавицу увезли къ султану, въ Тетуанъ: тамъ хорошо ей будетъ; тамъ въ гаремѣ красавицы жемчужный пловъ ѣдятъ, а шашлыкъ имъ дѣлають изъ молодыхъ страусовъ.

Скоро и тѣ деньги, которыя были выручены отъ продажи коня, были прожаты Яшимовымъ, и онъ долженъ былъ питаться отъ поденной работы. Выходилъ онъ каждое утро на пристань и тамъ нанимался на какой-нибудь корабль—таскать бревна, привозимыя изъ другихъ странъ для безлѣснаго Туниса, тюки хлопчатой бумаги, желѣзо, камень. Эта непривычная работа подъ палящими лучами африканскаго солнца такъ истощала его, такъ разбила всѣ его члены, что онъ поневолѣ долженъ былъ искать другой, болѣе легкой работы.

Но какая-же другая работа могла отыскаться въ Тунисѣ, кромѣ пиратства? И Яшимовъ поступилъ въ пираты, потому что въ это время снаряжалась въ море военная шебека о 16-ти пушкахъ для корсарской экспедиціи, и въ числѣ знакомыхъ пиратовъ, поступившихъ на шебеку, былъ и Адбъ-эль-Нубаръ, бывшій владѣлецъ дѣвицы Азаровой и ея маленькаго брата.

Тяжело было Яшимову рѣшиться вступить на эту дорогу—сознательно стать морскимъ разбойникомъ, съ единственною и исключительною цѣлью или профессіею—грабить и убивать христіанъ, выслѣживать въ морѣ христіанскіе корабли и, послѣ кровавыхъ схватокъ, уводить въ плѣнъ. Но что-же ему дѣлать? При этомъ, впрочемъ, его поддерживала тайная надежда: авось, въ то время, когда ихъ шебека пристанетъ къ берегу какой-нибудь христіанской страны, чтобы ограбить какую-нибудь деревенку или захватить въ плѣнъ ея обывателей, — авось ему удастся ускользнуть незамѣченнымъ и остаться на берегу христіанской земли. Эта мысль оживила его, придала бодрости его упавшей энургіи. Все-же не въ этой проклятой Африкѣ! Состоя пиратомъ на шебекѣ, въ случаѣ даже непосредственной схватки съ христіанскимъ кораблемъ или же въ случаѣ нападенія на христіанское поселеніе, онъ всегда можетъ уклониться если не отъ участія въ нападеніи, то во всякомъ случаѣ отъ прямого убійства. Наконецъ, можетъ, какъ ему казалось, представиться такой случай, когда жертва пиратскаго наслія охотнѣе предпочтетъ смерть, чѣмъ плѣнъ и позоръ или постыдную жизнь въ гаремѣ какого-нибудь дикаго сластолюбца. И при этомъ ему невольно вспомнилась Азарова, которая даже не догадывалась о всей глубинѣ ожидавшаго ее позора: невинная дѣвушка боялась только неизвѣстности и плакала о папѣ и мамѣ.

Наконецъ, шебека вышла въ море.

Одинъ день смѣнялся другимъ, а пиратское судно все скиталось по морю, не находя добычи. Пираты догадывались, почему море казалось теперь такимъ пустыннымъ, мертвымъ—хоть-бы одно христіанское судно! Разбойники знали, что у береговъ Франціи, Италіи, Далмаціи и въ гре-

ческомъ Архипелагѣ крейсируютъ двѣ грозныя христіанскія флотиліи — англійская и русская. Имъ хорошо было извѣстно, что значить тягаться съ такими великанами, какъ линейные корабли, вооруженные могучими пушками или съ юркими канонирками, безпрестанно шныряющими по морю. Они очень хорошо помнили, какъ еще недавно двѣ пиратскія шебеки настигнуты были недалеко отъ береговъ Сициліи англійскимъ кораблемъ, и въ нѣсколько минутъ одна шебека, вся пробитая ядрами, пошла ко дну вмѣстѣ со всѣмъ экипажемъ, а другая, благодаря только быстротѣ своего хода, за что и называлась „Вихреми“, — успѣла ускользнуть.

И шебека „Тимса“, что значить „крокодилъ“, на которой находился теперь Яшимовъ, не разъ видѣла на горизонтѣ бѣлые паруса, но подъ этими парусами ясно обрисовывались исполнскіе профили линейныхъ кораблей, и шебека спѣшила спастись бѣгствомъ къ берегамъ Африки.

Какъ-то разъ вечеромъ шебека бросила якорь въ виду какой-то неизвестной Яшимову земли. Что это не была Африка, онъ былъ вполне увѣренъ, такъ какъ солнце садилось не въ море, а за горами, заслонявшими собою горизонтъ. Но былъ-ли это материкъ Европы, или-же какой-нибудь островъ въ Средиземномъ морѣ — онъ не зналъ.

При видѣ покрытыхъ зеленью береговъ и живописныхъ холмовъ, при видѣ всего этого чарующаго ландшафта земли, которой Яшимовъ не видѣлъ уже болѣе мѣсяца — вода, одна вода кругомъ, да небо — и ничего болѣе! — при видѣ этой земли, совсѣмъ не похожей на берега Африки, у Яшимова въ сердцѣ заговорила безумная радость. Такъ вотъ наконецъ то, о чемъ онъ столько лѣтъ тосковалъ, что, казалось, навѣки было закрыто для него! — и такъ близко, такъ заманчиво близко!

Въ эту ночь Яшимову пришлось стоять на часахъ въ первую вахту.

Днемъ была буря. Не разъ шебекѣ приходилось вступать въ бой съ грозными тифонами. Экипажу приходилось много работать и теперь, когда наступила ночь, утомленные пираты заснули мертвымъ сномъ.

Не медля ни минуты, Яшимовъ спустилъ съ шебеки веревочную лѣстницу, какъ кошка перебрался при помощи этой лѣстницы къ ялику, подвѣшенному недалеко отъ воды, тихо спустилъ его по блоку на воду — и въ нѣсколько минутъ былъ уже далеко отъ шебеки. По мѣрѣ того, какъ утопалъ во мракѣ чорный остовъ корсара, очертанія земли становились явственнѣе.

И вотъ онъ у берега. Онъ слышитъ, какъ прибрежныя волны, сверкая фосфорическими искрами пѣны, шепчутся съ береговыми гальками, то выбрасывая ихъ на берегъ, то увлекая въ море.

Еще взмахъ веселъ, и яликъ врѣзался въ берегъ, шурша гальками и валунами. Яшимовъ прыгаетъ. Ноги его ощущаютъ подъ собою европейскую землю!

Онъ быстро удаляется отъ моря, стараясь даже не оглядываться. Изъ-за берегового уступа въ глаза ему мелькнулъ огонекъ. И здѣсь, какъ тамъ, въ Африкѣ, онъ идетъ на огонекъ. Но здѣсь онъ не видитъ пальмъ,

какъ видѣлъ тамъ. Тутъ какія-то другія деревья, невысокія, но съ кудрявыми вершинами.

Огонекъ все ближе и ближе. Залаяла собака. Но этотъ лай не останавливаетъ путника—онъ приближается къ хижинѣ, увитой темной зеленью. Собака бросается на него—онъ защищается прикладомъ ружья.

Огонекъ замигалъ, скрылся и показался въ дверяхъ.

— Кто тутъ?—послышался женскій голосъ.

Яшимовъ узналъ итальянскую рѣчь, къ которой слухъ его нѣсколько привыкъ во время итальянскаго похода Суворова, въ войскѣ котораго служилъ и Яшимовъ.

— Buona sera!—отвѣчалъ онъ, приближаясь къ двери и выходя на огонь:—я христіанинъ.

— Езусъ-Марія!—испуганно вскрикнула женщина, отступая.

Ее поразилъ страшный видъ пришельца. Она не разъ видѣла корсаровъ, грабившихъ берега ея родины, и теперь въ пришельцѣ она узнала корсара.

— Корсары! корсары!—отчаянно закричала она.

На крикъ ея выбѣжали мужчины въ красныхъ колпакахъ и съ ружьями и пистолетами въ рукахъ.

— Я не корсаръ,—говорилъ Яшимовъ, дѣлая крестное знаменіе и бросая на землю ружье, пистолеты и кинжалы:—я христіанинъ, я русскій офицеръ, я былъ въ плѣну у корсаровъ, и теперь убѣжалъ отъ нихъ. Misericordia! misericordia!—поднялъ онъ руки къ небу.

Люди въ красныхъ колпакахъ, повидимому, успокоились.

— А скажите, добрые люди, гдѣ я? Какая это земля?

— Корсика.

Яшимовъ бросился на колѣни.

— Господи!.. Нынѣ отпускаеши, Владыко...

Онъ не могъ продолжать—слезы душили его.

XIII.

Улиссъ у Калипсо.

Черезъ нѣсколько дней мы уже видимъ нашего Одиссея въ крѣпости Бонифачіо.

Корсикавскіе рыбаки, къ которымъ онъ попалъ послѣ побѣга съ корсарской шебеки, на другой-же день отправили пришельца къ коменданту этой крѣпости, такъ какъ деревня ихъ находилась недалеко отъ Бонифачіо.

Комендантъ крѣпости, маленькій сѣдой французъ, узнавъ, что онъ русскій офицеръ и притомъ бывший когда-то врагомъ Франціи, сражаясь противъ нея въ рядахъ русскихъ войскъ, принялъ мнимаго корсара не особенно любезно.

— Eh bien, monsieur, vous êtes, nom de Dieu, un Ulysse.

Яшимовъ ничего не отвѣчалъ. Онъ, надо сказать правду, не зналъ совсѣмъ, кто такой былъ этотъ Улиссъ.

— Чего-же вы хотите?—спросилъ комендантъ, довольный своей острою.

— Я прошу васъ, господинъ комендантъ, отпустить меня въ Россію,—отвѣчалъ Яшимовъ.

— О!—улыбнулся веселый французъ:—вы знаете, мосе Улиссъ, куда вы попали?

— Я на Корсикѣ, господинъ комендантъ,—былъ отвѣтъ.

— О, нѣтъ, Мосе Улиссъ находится на островѣ madame Калипсо.

Яшимова поразило это.

— А мнѣ сказали, что это Корсика,—бормоталъ онъ.

— О, нѣтъ, нѣтъ! Развѣ мосе Улиссъ не знаетъ мадамъ Калипсо?

— Не знаю, господинъ комендантъ.

— О! въ такомъ случаѣ я васъ представляю ей... Вы читали „Телемака“? Вѣдь русскіе офицеры всѣ знаютъ „Телемака“.

— А я, господинъ комендантъ, не знаю: я не учился въ шляхетскомъ корпусѣ.

— Жаль, а то-бы вы знали мадамъ Калипсо. Впрочемъ, я вамъ скажу: мадамъ Калипсо ни за что не хотѣла отпускать отъ себя мосе Улисса. Не отпуска и я васъ, мосе Улиссъ. Вы мой плѣнникъ.

Яшимовъ грустно опустилъ голову. Опять плѣнъ, опять неволя.

— Но вы не беспокойтесь, мосе Улиссъ,—я не посажу васъ въ тюрьму,—успокаивалъ его французъ. — Я беру васъ въ мой гарнизонъ солдатомъ.

— Но вѣдь я офицеръ, господинъ комендантъ,—возразилъ Яшимовъ.

— Я вѣрю вамъ, мосе—въ свою очередь возразилъ французъ.— Но вѣдь и Улиссъ былъ царь острова Итаки, а потомъ, знаете, что съ нимъ было?

— Не знаю, господинъ комендантъ.

— Царь Улиссъ свиней пасъ. Поняли?

— Понялъ,—пожалъ плечами Яшимовъ, которому горько было слушать насмѣшки болтливаго француза.

— Ну, такъ я васъ дѣлаю не свинопасомъ, а солдатомъ... Я самъ, мосе, солдатъ, и горжусь этимъ званіемъ!—пѣтушился сѣденькій болтунъ.

Въ тотъ-же день съ Яшимова сняли одѣяніе корсара и нарядили въ мундиръ французскаго солдата.

Опять для него потянулись дни неволи.

XIV.

Вѣсти о Фатъмѣ.

Яшимовъ былъ опредѣленъ матросомъ въ флотскій экипажъ, исключительно предназначенный для преслѣдованія морскихъ разбойниковъ, которые, несмотря на крейсировавшіе у европейскихъ береговъ Средиземнаго моря англійскія и русскія эскадры, нерѣдко на своихъ легкокрылыхъ шебекахъ налетали на Сардинію и Корсику изъ своихъ разбойничьихъ гнѣздъ — изъ Туниса и Алжира, и опустошали берега этихъ острововъ.

Казалось, что судьба злостно, разсчитанно, съ послѣдовательною жестокостью преслѣдовала его, словно Немезида древнихъ злополучнаго Ореста. Онъ убѣгалъ отъ ненавистой Африки, а она сама, казалось, гналась за нимъ. Онъ ненавидѣлъ море, на которомъ извѣдалъ столько горя и лишений, а море само шло ему навстрѣчу, съ его бурями и тифонами. Онъ цѣною глубокихъ страданій добылъ себѣ свободу отъ пиратовъ, а теперь съ ними только и имѣлъ дѣло.

Все лѣто небольшая корсиканская флотилія крейсировала у береговъ острова, и не проходило недѣли, чтобы ей не случалось вступать въ бой съ алжирскими и тунисскими корсарами.

Однажды флотиліи этой удалось окружить одну небольшую алжирскую шебеку. Видя, что уйти ей нельзя, она на всѣхъ парусахъ помчалась на самую неповоротливую корсиканскую бригадину, на которой находился Яшимовъ, и очутившись у нея подъ правымъ бортомъ, вцѣпилась въ него своими красными баграми и присосалась къ бригадинѣ, словно огромный октоподъ къ бревну. Въ одно мгновеніе пираты какъ кошки бросились на abordажъ и на палубѣ бригадины завязалась отчаянная рукопашная. Между тѣмъ съ другого своего борта и съ кормовой части шебека сыпала картечью по другимъ судамъ, обступившей ее со всѣхъ сторонъ корсиканской флотиліи. Но силы были не равны. Корсиканскія пушки скоро сбили у шебеки мачту, перебили реи, подѣлали громадные пробойны въ надводной и подводной части корсара. Между тѣмъ матросы корсиканской бригадины успѣли поперерубить всѣ багры пиратовъ, прикрѣплявшіе шебеку къ правому борту бригадины, — и корсаръ быстро погружался въ море.

Отчаянные разбойники знали, что въ плѣну ихъ ожидаетъ жестокая казнь, и потому не просили пощады и не искали спасенія, но вмѣстѣ съ своимъ кораблемъ погружались въ море, окрашенное ихъ собственною и корсиканскою кровью.

— Аллахъ керимъ! Аллахъ акберъ! — кричали фанатики, погружаясь въ воду и поднимая руки къ небу.

Одного пирата, ближе всѣхъ стоявшаго у борта погибшей шебеки, корсиканскій матросъ успѣлъ зацѣпить багромъ за куртку и вытащилъ его изъ

моря на бортъ бригантинъ. Фанатикъ извивался какъ рыба на крючкѣ и сидѣлся своею кривою саблею перерубить багоръ. Но это ему не удалось, и его какъ акулу вытащили на палубу. Но такъ какъ онъ все сидѣлся вырваться и прыгнуть въ море, то его связали и прикрѣпили къ мачтѣ, но такъ, чтобы онъ могъ сидѣть.

Яшимовъ подошелъ къ нему--и отступилъ съ испугомъ.

— Абу-Талебъ!—прошепталъ онъ.

Пиратъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него, и черные глаза его сверкнули.

— Сабъ-эль-Яшимъ!—пробормоталъ онъ.

Они узнали другъ друга. Плѣнный пиратъ, котораго Яшимовъ называлъ Абу-Талебомъ, служилъ въ гарнизонѣ той небольшой крѣпости въ Алжиріи, комендантомъ которой, около года тому назадъ, былъ этотъ самый Яшимовъ, или, какъ его тамъ величали, чаушъ Сабъ-эль-Яшимъ. Яшимовъ, слѣдовательно, былъ его прямымъ начальникомъ. Послѣ его бѣгства вмѣстѣ съ далматинскими славянами, Яшимова считали погибшимъ въ морѣ, тѣмъ болѣе, что черезъ нѣсколько дней послѣ ихъ побѣга трупъ неразлучнаго спутника и друга эль-Яшима, Петрова, прибило волнами къ берегу, недалеко отъ той-же крѣпости, а бѣжавшіе далматинцы, послѣ нѣсколькихъ дней плаванія по морю на утлой лодчонкѣ, измученные и умирающіе съ голоду, снова пристали къ берегамъ Алжиріи и были алжирцами снова взяты въ плѣнъ.

И вдругъ этотъ погибшій „сабъ-эль-Яшимъ“—на корсиканской бригантинѣ!

Съ глубокимъ волненіемъ глядѣлъ Яшимовъ на этого плѣннаго разбойника. Если-бъ онъ попытался дать отчетъ въ своихъ чувствахъ, то понялъ-бы, что при видѣ знакомаго лица въ душу его закралось радостное чувство. Въ этотъ моментъ все прежнее было забыто. И пять лѣтъ подневольной жизни гдѣ-то на краю свѣта, въ разбойничьемъ гнѣздѣ, и тоска по родинѣ, лишенія и страданія этого послѣдняго года—все заслонилось какимъ-то свѣтлымъ образомъ, какъ будто-бы этотъ милый образъ отражался теперь на этомъ черномъ разбойничьемъ лицѣ. Сначала это было какъ-бы несознанное ощущеніе; но оно скоро стало сознательнымъ.

„Онъ видѣлъ ее—онъ можетъ сказать что-нибудь объ ней“.

— Али-Абу-Талебъ!—повторилъ Яшимовъ дрожащимъ голосомъ. — Ля-илляхъ иль-Аллахъ, Мухамедъ расуль Аллахъ!

Пиратъ молчалъ, дико озираясь по сторонамъ.

— Не бойся меня, Абу-Талебъ,—продолжалъ Яшимовъ:—я постараюсь дать тебѣ возможность бѣжать.

Ихъ окружили другіе матросы и съ любопытствомъ прислушивались къ незнакомой рѣчи Яшимова.

— Развѣ этотъ разбойникъ тоже русскій?—спрашивали они.

— Должно быть, русскій.

— Синьоръ Джакома (такъ итальянцы передѣляли по-своему Яшимова):—вы говорите съ нимъ по-русски?

— Нѣтъ, синьоры, я говорю съ нимъ по-алжирски: вѣдь я пять лѣтъ жилъ въ Алжирѣ,—отвѣчалъ Яшимовъ.

— А, per Вассо! мнѣ-бы поскорѣ хотѣлось видѣть его повѣшеннымъ.

— Да, интересно посмотрѣть, какъ эта акула будетъ плясать въ воздухѣ.

— Жаль, что другихъ не выудили изъ воды: былъ-бы у насъ хорошій карнавалъ.

Но Яшимовъ не обращалъ вниманія на эту болтовню матросовъ. Ему хотѣлось поговорить съ плѣннымъ пиратомъ.

— Потерпи, Абу-Талебъ,—сказалъ онъ:—Аллахъ поможетъ намъ.

Пиратъ молчалъ.

— Ты давно изъ эль-Кяфиръ?—спросилъ Яшимовъ.

— Три раза мѣсяцъ золотилъ рога свои, какъ я не видалъ эль-Кяфиръ, — отвѣчалъ наконецъ плѣнный, тронутый тѣмъ, что ему помянули его родину.

— А дѣти твои здоровы?—снова спросилъ Яшимовъ.

При воспоминаніи о дѣтихъ лицо разбойника отуманилось.

— Были здоровы,—сказалъ онъ:—а теперь не знаю.

— Не печалься, Абу-Талебъ,—утѣшалъ его Яшимовъ:—ты ихъ увидишь... А что было послѣ того, какъ я ушелъ изъ эль-Кяфира? — перемѣнилъ онъ разговоръ.

— Сначала саиба искали, а потомъ порѣшили, что его акула съѣла,—отвѣчалъ пиратъ.—Какъ-же саибъ попалъ сюда?

— Изъ эль-Кяфиръ я перебрался въ Тунисъ и тамъ поступилъ къ корсарю,—сказалъ Яшимовъ.—Но проклятые гяуры-инглизъ потопили нашу шебеку, а меня взяли въ плѣнъ,—поддѣлывался онъ подъ симпатію пирата.

— И не повѣсили?

— Какъ видишь.

— И ты надѣешься бѣжать?

— Я бѣгу и вмѣстѣ съ тобой.

Какъ ни былъ хитеръ африканскій шакалъ, но и у него надежда вырваться изъ плѣна помутила природную проницательность.

— А что случилось съ моей Фатьмой послѣ меня?—спросилъ наконецъ Яшимовъ.

Этотъ вопросъ онъ первымъ желалъ задать пирату, но не рѣшался.

— Съ Фатьмой?—переспросилъ пиратъ:—о, Фатьма глупая баба!

— Почему-же?—удивился и встревожился Яшимовъ.

— Дура все плакала и не понимала своего счастья,—отвѣчалъ Абу-Талебъ.

— Какого счастья?

— Не хотѣла воротиться въ гаремъ его ясноблестательности, — да хранить его Аллахъ!

— Почему-же, почему не хотѣла?

— Все ждала саиба.

— Меня?

— Да, саиба—такая глупая. А когда ей сказали, что саиба акула съела, она, дура, взяла да и утопилась въ морѣ.

— Утопилась!—Смертная блѣдность покрыла загорѣлыя щеки Яшимова.— О Боже!—воскликнулъ онъ по-русски.—Бѣдное дитя!

Но онъ пересилилъ себя и продолжалъ спрашивать далѣе.

— А нашли ея тѣло?

— Нашли: я ее вытащилъ живехонькую.

— Такъ она не утонула?

— Пробковое дерево вода не беретъ, это саибъ самъ знаетъ,—былъ отвѣтъ:—море не принимаетъ бабъ—баба нечистое животное.

— Гдѣ-жъ она теперь?

— У матери. Я хотѣлъ взять ее къ себѣ въ жены, такъ и ко мнѣ не пошла. Совсѣмъ глупая дѣвчонка!

У Яшимова отлегло на душѣ:—эта душа ликовала оттого, что по немъ тосковала бѣдная дѣвочка, которую онъ самъ-же бросилъ.

XV.

Изъ Корсини въ Сардинію.

Цѣлый годъ Яшимовъ оставался на Корсикѣ все въ томъ-же положеніи матроса, и всякій разъ, когда ему приходилось встрѣчаться съ комендантомъ Бонифачіо, болтливый старикъ не упускалъ случая, хотя добродушно, бросить въ плѣннаго русскаго стрѣлу остроумія.

— Ah, bonjour, monsieur Ulysse! Что подѣлываетъ мадамъ Калипсо? Помните: „Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse...“

Но скоро на бѣднаго Одиссея нагрянула новая бѣда. Можетъ быть читатель не забылъ, что когда Яшимовъ находился въ плѣну въ Марсели, туда прибылъ генераль, имени котораго Броневскій почему-то не обнаружилъ, назвавъ фамилію генерала начальною буквою — Д. ... Прибылъ онъ въ Марсель для вербовки русскихъ плѣнныхъ въ свой польскій легіонъ, и когда онъ хотѣлъ принудить Яшимова поступить въ этотъ легіонъ, то Степанъ Симоновичъ назвалъ генерала измѣнникомъ, за что и попалъ подъ военный судъ и въ острогъ. Изъ этого острога онъ и бѣжалъ, а черезъ семь дней очутился въ Алжирѣ.

Этотъ польскій генераль Д..... явился теперь и въ Бонифачіо, чтобы снова охотой и неволей вербовать солдатъ въ свой польскій легіонъ. Яшимову грозила неминуемая бѣда. Комендантъ крѣпости, болтливый французъ—въ этомъ Степанъ Симоновичъ былъ увѣренъ—непремѣнно скажетъ генералу Д....., что у него подъ командою имѣется плѣнный русскій офицеръ—мосе Улиссъ, и тогда генераль пожелаетъ его видѣть, а увидавъ,

узнаетъ, что это тотъ самый грубіянь, который еще въ Марсели, шесть лѣтъ или болѣе назадъ, въ глаза обозвалъ его измѣнникомъ.

Что оставалось дѣлать Яшимову? Опять бѣжать!

Недолго думая, Яшимовъ покупаетъ себѣ одѣяніе итальянскаго рыбака и ночью пробирается къ той деревенькѣ, гдѣ, болѣе года тому назадъ, онъ вышелъ на берегъ послѣ побѣга съ тунисской шебеки.

Но дорогой его беретъ раздумье. Въ этой деревенькѣ онъ можетъ быть узнавъ и выданъ. Тогда онъ, оставляя въ сторонѣ эту деревню, идетъ дальше, и къ утру достигаетъ другого рыбацкаго поселенія. Одинъ изъ рыбаковъ, развѣшивавшихъ свои сѣти для просушки, взялся за небольшую плату перевезти его въ своей лодкѣ на ту сторону узкаго пролива, отдѣляющаго Корсику отъ Сардиніи.

Дорогою старый рыбакъ разговаривалъ и хвастался тѣмъ, что въ молодости онъ былъ въ Римѣ и видѣлъ папу, а въ послѣдніе годы часто ѣздилъ съ рыбою въ Аяччіо и продавалъ рыбу матери Наполеона, который теперь сталъ императоромъ и „завоевалъ весь свѣтъ“.

— Ну, не весь еще,—возражалъ Яшимовъ.

— Такъ скоро весь завоюетъ,—утверждалъ старикъ.

Онъ рассказывалъ о скупости матери Наполеона, которая торговалась съ нимъ изъ-за какой-нибудь сотни сардинокъ, „какъ послѣдняя драчка“, и „часто обчитывала“.

— Выйдешь отъ нея, а на ладони не хватаетъ либо сольдо, либо двухъ-трехъ чентезими. А самъ молодой синьоръ Буонапарте такимъ смотрѣлъ заморышемъ, что будь онъ простой рыбакъ—его-бы и въ солдаты не взяли, а развѣ взяли-бы только козъ пасти. А теперь вонъ онъ какой: говорить королямъ руки не подаетъ.

Въ это время Яшимовъ замѣтилъ, что впереди что-то особенно бурлила и пѣнилась вода.

— Что это такое?—спросилъ онъ своего Харона.

Тотъ долго приглядывался, а потомъ и говорить:

— Либодельфины на сардинку охотятся, либо ремора съ акулой сражается.

— А что это за ремора?—спросилъ Яшимовъ.

— Это такая рыба, которая всѣхъ рыбъ побѣждаетъ.

— Что-жъ, развѣ она очень велика?

— Нѣтъ, не велика—не больше одного метра длины, да ужъ очень у нея на затылкѣ зубья страшные. Какъ настигнуть она акулу да вопьется этими зубьями въ брюхо акулы, такъ та мечется-мечется, пока не обезсилитъ совѣмъ, и потомъ выплываетъ вверхъ брюхомъ. Тутъ ее и бери, какъ дохлую корову. А ремора такъ впивается въ нее, что ужъ не можетъ оторваться, и сама попадаетъ къ намъ на веревку. Говорятъ, она такъ сильна, что можетъ на ходу остановить лодку; но она этого не дѣлаетъ. На что ей наша лодка?

Вдругъ на поверхность моря всплыло громадное тѣло, въ нѣсколько сажень длины и необыкновенной толщины.

— Ба-ба!.. такъ и есть!—радостно воскликнулъ старикъ: — это мое счастье.

— Что такое?—спросилъ Яшимовъ:—это акула?

— Она, она, рогъ Вассо! Да и ремора на ней.

Морское чудовище конвульсивно билось и пѣнило море, а на немъ извивалась змѣей другая, маленькая рыба, не длиннѣе большой стерляди. Это и была ремора, погубившая и акулу и себя.

Старый рыбакъ направилъ лодку къ самому чудовищу и сталъ колоть его желѣзнымъ остриемъ своего багра.

— Не даромъ я видѣлъ сегодня во снѣ Мадонну и святого Джузеппе,—бормоталъ онъ, нанося удары акулѣ и ея маленькому, но смертельному врагу.

Черезъ полчаса они подплывали къ зеленому берегу Сардиніи, волоча за собою по водѣ богатую добычу.

XVI.

Гибель корсара.

И вотъ герой нашъ въ Сардиніи.

Но что онъ будѣтъ дѣлать здѣсь? чѣмъ будетъ кормиться? На Корсикѣ, всего вѣроятнѣе, ждала его висѣлица, или болѣе благородная смерть—отъ двѣнадцати пулъ корсиканскихъ матросовъ. Ему не простили-бы тамъ ни его побѣга изъ марсельской тюрьмы и увода съ собою около тридцати человекъ другихъ плѣнныхъ, ни дерзости его противъ генерала Д... Здѣсь-же что ожидало его? Жалкое, нищенское существованіе бродяги. Онъ не зналъ никакого ремесла, отъ котораго могъ-бы кормиться. Рыбаки не приняли-бы его въ свою артель, потому что онъ не могъ внести въ общій инвентаръ артели ни своихъ рыболовныхъ сѣтей, ни своей лодки.

Трудъ поденщика онъ испробовалъ уже въ Тунисѣ и убѣдился, что не для него эта египетская работа: слишкомъ жидки мускулы у него для тасканія бревенъ и камней, слишкомъ хрупки кости.

Приходилось снова идти въ солдаты. Но надо выдумывать и исторію своего внезапнаго появленія въ Сардиніи. Не съ неба-же онъ свалился, не акула же принесла его въ своей пасти къ берегамъ этого цвѣтущаго острова.

И герой нашъ является къ начальнику мѣстной береговой команды. Командиръ отряда, молодой, сильно загорѣлый капитанъ, услыхавъ отъ пришедшаго къ нему въ костюмѣ рыбака незнакомца, что онъ русскій офицеръ, принялъ его вѣжливо и попросилъ садиться.

— Но какъ-же вы попали въ Сардинію, г. офицеръ,—откуда?—спросилъ онъ.

Яшимовъ подробно разсказалъ всѣ свои приключенія.

— А какъ-же вы попали на корсаръ?—спросилъ капитанъ.

— Я просто нанялся на шебеку „Тимса“.

— А, „Тимса!“—весело сказалъ капитанъ:—я знаю эту разбойницу: я не разъ гонялся за ней; но она необыкновенно увертлива, хотя и называется „Крокодиломъ“ (Тимса). Какъ же и когда вамъ удалось бѣжать?

— Третьяго дня,—сочинялъ Яшимовъ.

— Какъ! она, бестія, здѣсь? вскочилъ сангвиническій итальянецъ.

— Нѣтъ, господинъ капитанъ, третьяго дня вечеромъ, пользуясь темнотой, она бросила якорь недалеко отъ Бонифачіо. Въ эту ночь, на первую вахту, я былъ часовымъ, и когда всѣ на шебекѣ уснули, я отъезжалъ яликъ и скоро достигъ берега Корсики.

— Въ одеждѣ пирата?

— Да, господинъ капитанъ.

— И васъ не убили?

— Нѣтъ, господинъ капитанъ: рыбаки, въ хижину которыхъ я попалъ, узнавъ, кто я, приняли меня радушно и помогли мнѣ найти костюмъ рыбака, въ которомъ я и имѣю честь вамъ представиться.

Яшимовъ всталъ и церемонно, по военному, вытянулся.

— Очень радъ, господинъ офицеръ. Но почему вы не остались въ Бонифачіо?

— Вамъ извѣстно, господинъ капитанъ, что Россія находится теперь въ войнѣ съ Наполеономъ, а Корсика принадлежитъ Франціи...

— Понимаю, понимаю,—перебилъ его капитанъ:—тамъ вы попали бы въ военно-плѣнные. Чѣмъ же я могу быть вамъ полезенъ?

— Я прошу васъ, господинъ капитанъ, принять меня въ вашу команду съ чиномъ офицера.

— Я очень радъ,—отвѣтилъ капитанъ, — принять васъ, подъ свою команду, но на предоставленіе вамъ чина офицера въ сардинской арміи—я, къ сожалѣнію, не имѣю права.

И нашего Одиссея зачисляють въ сардинскій флотъ—матросомъ.

Капитанъ, сангвиническій синьоръ Векки, повѣрилъ словамъ Яшимова, что тунисская шебека „Тимса“, эта bestia, какъ онъ называлъ ее, которая уже нѣсколько лѣтъ беспокоила прибрежное населеніе Сардиніи и Корсики и всегда ускользала отъ итальянскихъ крейсеровъ, что эта bestia опять появилась у самаго пролива, отдѣляющаго Сардинію отъ Корсики. Не выдавъ „Тимсы“ никогда и не зная ея примѣтъ, а слыша только отъ рыбаковъ, что она будто-бы похожа на крокодила, синьоръ Векки радъ былъ случаю, столкнувшему его съ русскимъ офицеромъ, который лично находился на этомъ легендарномъ корсарѣ и знаетъ его примѣты, а потому и можетъ способствовать поймать этого неуловимаго разбойника.

Въ тотъ же день, переодѣвъ Степана Симоновича изъ рыбака въ матроса, синьоръ Векки снарядилъ свою флотилію, и, взявъ съ собою Яшимова на свою канонирку, а другія суда и лодки разославъ на поиски за „бестіей“, испортившей ему столько крови, къ вечеру самъ пустился на поиски.

Передъ заходомъ солнца къ канониркѣ подошла одна лодка, бывшая на поискахъ, и находившійся на ней старый боцманъ доложилъ, что къ сторонѣ пролива они замѣтили подозрительный корабль, но только подъ русскимъ флагомъ.

— А какой конструкціи?—спросилъ Яшимовъ.

— Корпусъ длинный, съ острымъ носомъ,—пояснилъ боцманъ.

— А на носу ничего не замѣтно?—снова спросилъ Степанъ Симоновичъ.

— Замѣтно что-то длинное, какъ будто голова огромной ящерицы.

— О, это и есть „Тимса!“—обрадовался Яшимовъ.

Онъ самъ не думалъ, что его выдумка окажется правдой. Говоря капитану, что онъ бѣжалъ съ тунисскаго корсара только третьяго дня, онъ сознательно лгалъ, ибо бѣжалъ съ него не третьяго дня, а еще въ прошломъ году. И вдругъ его ложь подтверждается!

— Да, господинъ капитанъ, это непременно должна быть „Тимса“,—обратился онъ къ синьору Векки, почтительно прикладывая пальцы къ шляпѣ съ широкими полями:—этотъ корсаръ потому и называется „Тимсой“, что у него на носу огромная голова крокодила: „Тимса“ по-арабски и значить „крокодилъ“.

— О, *maladetta bestia!*—радостно воскликнулъ синьоръ Векки:—теперь она отъ меня не уйдетъ.

Тотчасъ-же на мачтѣ взвился сигналъ—„къ сбору“, и небольшая флотилія начала стягиваться къ канониркѣ.

Когда всѣ суда были въ сборѣ, капитанъ сдѣлалъ всѣ распоряженія къ предстоявшей облавѣ на нильскаго крокодила, распредѣливъ суда такъ, чтобы корсаръ никуда не могъ проскользнуть и чтобы, въ случаѣ его нападенія на болѣе слабое мѣсто, прочія суда спѣшили на выручку атакуемаго. Хотя наступила уже ночь, однако капитанъ приказалъ огни на судахъ замаскировать.

Теперь маленькая флотилія раздѣлилась и двинулась въ обходъ крейсера, а капитанская канонирка вмѣстѣ съ двумя вооруженными пушками катерами двинулась прямо по тому направленію, гдѣ долженъ былъ, по показанію боцмана, дрейфовать тунисскій корсаръ.

Движеніе совершалось въ необыкновенной тишинѣ. Черезъ полчаса съ канонирки стали замѣчать впереди какую-то темную массу, плавно и чуть-чуть замѣтно качавшуюся на поверхности моря. Это и была „Тимса“. Днемъ прикрывшись русскимъ флагомъ, она дерзко лавировала у входа въ проливъ между Корсикой и Сардиніей, а на ночь легла въ дрейфъ, чтобы сторожить добычу, которая могла-бы показаться изъ пролива.

Вдругъ въ ночномъ мракѣ блеснулъ огонекъ и въ то-же мгновеніе грянула пушка, отъ которой, казалось, вздрогнулъ сонный воздухъ. За первымъ ударомъ послѣдовалъ второй, третій. Корсаръ, повидимому, не ожидалъ такого дерзкаго нападенія, и сталъ отвѣчать на канонаду нападающихъ только тогда, когда получилъ нѣсколько пробоевъ въ подвод-

ной части и сталъ наполняться водой. Къ довершенію его бѣдствія, нападающій противникъ былъ не таковъ, котораго можно было-бы принять на abordажъ—самое могучее средство, къ которому всегда прибѣгаютъ пираты въ борьбѣ съ большими кораблями.

А тутъ обсыпала его ядрами какая-то мелочь, которой и не видать въ темнотѣ. Ядра корсара перелетали черезъ головы нападающихъ, которые подошли подъ самый бортъ „Тимсы“ и поражали ее въ упоръ.

Пробитая во многихъ мѣстахъ, шебека быстро погружалась въ море.

Послышалось отчаянное „Алла“!—и пираты какъ кошки съ борта шебеки стали прыгать прямо на палубу канонирки.

— На abordажъ! на abordажъ!—кричали они на своемъ разбойничьемъ языкѣ (Яшимовъ понималъ его) и падали прямо на палаши сардинскихъ матросовъ.

Матросы ихъ прикалывали и сбрасывали въ море, а нѣсколькихъ чело-
вѣкъ успѣли перевязать.

Когда маленькая флотилія синьора Векки, скучившаяся около „Тимсы“, по сигналу, озарилась огнемъ, то огни эти освѣтили ужасную картину: „Тимса“, какъ-бы въ послѣдній разъ захлебнувшись, скрылась подъ водою.

И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ секундъ мертвой тишины, послѣдовавшей за катастрофой, раздались слова никому непонятной рѣчи:

— Абдъ-эль Нубаръ! ты-ли это?

За этими словами послышалось какое-то гортанное рычанье, а потомъ опять слова невѣдомой рѣчи:

— Бѣдный Абдъ-эль Нубаръ! А все это Аллахъ послалъ тебѣ за ту русскую дѣвушку и ея брата, которыхъ ты безжалостно продалъ въ неволю.

И снова рычанье.

Всѣ обернулись на невѣдомую рѣчь и рычанье и увидѣли, что непонятныя слова говоритъ никому неизвѣстный матросъ, только сегодня приведенный капитаномъ на канонирку, и говоритъ ихъ, обращаясь къ связанному у мачты пирату, который въ безсильной злобѣ порывался броситься на говорившаго, но его не пускали веревки.

— Evviva vittoria! evviva!—радостно воскликнулъ капитанъ.

— Evivva! evviva!—подхватила вся флотилія.

XVII.

Нанонецъ-то среди русскихъ.

Побѣда, такъ легко одержанная надъ грознымъ корсаромъ маленькою флотиліею синьора Векки, благодаря указаніямъ Степана Симоновича, сдѣлала то, что одинъ изъ счастливцевъ былъ вознесенъ на высоту почестей, другой—извлеченъ изъ омута бѣдствій.

Когда вѣсть о гибели грозной „Тимсы“ дошла до столицы Сардиніи, до Кальяри, король тотчасъ-же назначилъ капитана Векки на высшій постъ по морской службѣ, съ переводомъ всей его команды въ Кальяри. Вмѣстѣ съ капитаномъ, конечно, былъ переведенъ въ Кальяри и Яшимовъ.

Здѣсь онъ узналъ, что тутъ находится русскій министръ-резидентъ Лизакевичъ, который могъ возстановить потерянные нашимъ героемъ во время его невольныхъ скитаній по бѣлу свѣту (потерянные, впрочемъ, только фактически, но не *de jure*) гражданскія права.

Съ разрѣшенія сеньора Векки, Степанъ Симоновичъ явился къ Лизакевичу въ формѣ сардинскаго матроса и просилъ доложить министру, что у его превосходительства просить аудіенціи русскій офицеръ. Лизакевичъ ничѣмъ не былъ занятъ въ это время и тотчасъ-же вышелъ въ приемную. Увидѣвъ вмѣсто русскаго офицера какого-то сардинскаго матроса, министръ остановился въ недоумѣніи.

Лизакевичъ могъ ожидать встрѣтить у себя въ приемной русскаго офицера; въ этомъ не было для него никакой неожиданности, такъ какъ въ гавани Кальяри стоялъ въ это время русскій фрегатъ „Венусъ“, одинъ изъ фрегативъ эскадры адмирала Сениавина. „Венусъ“ былъ командированъ Сениавинымъ съ острова Корсика въ Сицилію и Сардинію за порохомъ, и 27-го ноября 1806 г. бросилъ якорь въ Кальяри.

— Мнѣ сказали, что меня желаетъ видѣть русскій офицеръ,—заговорилъ Лизакевичъ по-итальянски, съ недоумѣніемъ глядя на Яшимова.

— Я и имѣю честь быть офицеромъ русской службы, ваше превосходительство,—отвѣчалъ этотъ послѣдній по-русски, но видимо несвободно.

— Офицеръ русской службы!—съ немѣлкимъ недоумѣніемъ произнесъ министръ:—почему-же вы въ такой униформѣ, государь мой? (Лизакевичъ тоже говорилъ теперь по-русски).

— Я, ваше превосходительство, семь лѣтъ былъ въ плѣну, и только благодаря случаю и милости Божіей попалъ въ Сардинію, гдѣ меня и зачислили во флотъ матросомъ.

— Какъ-же ваша фамилія, государь мой?—спросилъ министръ.

— Яшимовъ, ваше превосходительство,—Степанъ Симоновъ.

— Яшимовъ! господинъ Яшимовъ! Да не вы-ли состояли при главной квартирѣ князя Потемкина-Таврическаго?

— Я, ваше превосходительство.

— Такъ я васъ зналъ! Ахъ, какъ вы измѣнились! Боже мой, какъ я радъ!

И Лизакевичъ горячо обнималъ человѣка, котораго давно считалъ погибшимъ.

— Ахъ, Боже мой! Гдѣ-же вы были? Расскажите! Пойдемте въ кабинетъ,—волновался министръ.—Вотъ истинно воскресшій изъ гроба!

И они вошли въ кабинетъ, окна котораго выходили на море и на гавань.

— Садитесь, да вотъ сюда — поудобнѣе... Боже мой! Боже мой!

Сколько съдвинь! Не хотите-ли сигару? Кофе? Да, да! кофе! Эй, Пётр! Пожалуйста кофе — да поскорѣй! Ну-ну, говорите-же... Ахъ, Боже мой! Гдѣ-же состояли вы послѣ смерти Потемкина?

— Я дѣлалъ съ Суворовымъ итальянскую кампанію, потомъ бралъ Чортовъ мостъ, и съ Массеной мѣрялись въ Швейцаріи, да тамъ-же, подъ Цюрихомъ, я былъ раненъ и попалъ въ плѣнъ.

Подали кофе, и Яшимовъ началъ свою Одиссею.

— Ахъ, Боже мой!—часто прерывалъ его Лизакевичъ.—А! и яничаромъ у алжирскаго дея были! Въ фескѣ, въ чалмѣ! И дѣвочку бросили! Ахъ, Боже мой! И Алжиръ, и Тунисъ, и эта бѣдненькая крошка Азарова... Ахъ, подлецы! Такъ Абдъ-эль-Нубаръ попался?

— Попался, ваше-превосходительство.

— Ахъ негодай!... и такую дѣвочку... благородныхъ родителей... и бѣднаго мальчика... вотъ негодай! Давно-бы пора раззорить это разбойничье гнѣздо... Вѣдь, представьте себѣ, государь мой,—даже подъ стѣнами Кальяри появляются эти дерзкіе каналы! А особенно эта „Тимса“... Молодецъ, право, этотъ Векки—доканалъ таки „Тимсу“... Я видѣлъ его на аудіенціи у его величества—пресимпатичная рожица—и еще такой молодой... Такъ вы еще не были на „Венусъ“?

— Не былъ, ваше превосходительство. Я только вчера узналъ, что здѣсь есть русскій министръ, и вотъ сегодня-же и явился къ вашему превосходительству,—сказалъ Яшимовъ, вставая.

— Нѣтъ, нѣтъ, куда-же вы, государь мой?—заторопился министръ:—я васъ не пушу—вы у меня завтракаете, а потомъ я васъ на „Венусъ“. Вонъ посмотрите, какая красавица наша „Венусъ“!

И Лизакевичъ показалъ на гавань. Тамъ, въ сторонѣ отъ другихъ кораблей, на красивомъ фрегатѣ полоскался въ воздухѣ русскій флагъ.

XVIII.

Безутѣшная мать.

Яшимовъ, какъ взомель на фрегатъ „Венусъ“, такъ ужъ и не сходилъ съ него. Капитанъ и офицеры фрегата очень полюбили его послѣ того, какъ, сидя вечеромъ въ каютѣ-компаніи, онъ разсказалъ имъ о своихъ скитаніяхъ по бѣлу свѣту. Имъ казалось, что они слушаютъ одну изъ восточныхъ сказокъ: отъ его разсказа дѣйствительно вѣяло глубокимъ Востокомъ.

Кончивъ порученіе, фрегатъ держалъ путь къ острову Кореу, гдѣ въ то время находилась наша главная квартира.

Степанъ Симоновичъ душой стремился къ этому острову. Онъ зналъ, что тамъ оплакиваютъ тѣхъ бѣдныхъ дѣтей, которыхъ онъ видѣлъ на невольничьемъ рынкѣ въ Тунисѣ. Ему хотѣлось хоть чѣмъ-нибудь утѣшить несчастныхъ родителей, хоть сказать имъ, что онъ видѣлъ ихъ дѣтей жи-

вами, что говорилъ съ ними и привезъ отъ нихъ поклонъ изъ далекой неволи.

Яшимову, на другой день по прибытіи въ Корей, указали виллу Азаровыхъ на берегу моря.

Подходя къ виллѣ, онъ увидѣлъ на верандѣ, подъ тѣнью навѣса, немолодую даму въ глубокомъ траурѣ. На колѣняхъ у нея лежала раскрытая книга, но она, повидимому, забыла о книгѣ: глаза ея грустно глядѣли на разстилавшееся передъ нею голубое море.

— Это сама Азарова, — тихо сказалъ Яшимову его спутникъ, молодой морякъ.

Это былъ Владиміръ Броневскій, будущій авторъ „Записокъ морского офицера“. Броневскій служилъ на „Венусѣ“, и со времени поступленія на этотъ фрегатъ Яшимова они очень подружились.

— Я не знаю какъ и сообщить ей печальную вѣсть, — также тихо сказалъ Степанъ Симоновичъ: — сердце обливается кровью.

— Вѣрю, мой другъ; но лучше ей знать, что ея дѣти живы, хоть и въ неволѣ, чѣмъ думать, что ихъ давно пожрали акулы: она увѣрена, что барышня и мальчикъ, любившіе лазить по скаламъ, гдѣ гвѣзда чаекъ, сорвались въ море и утонули.

По каменнымъ ступенькамъ они взошли на веранду.

— Здравствуйте, почтеннѣйшая Марія Николаевна! — издали сказалъ Броневскій, кланяясь дамѣ.

— Здравствуйте, Владиміръ Ивановичъ, — отвѣчала дама, вставая навстрѣчу гостямъ: — я видѣла вчера, какъ входилъ въ гавань вашъ фрегатъ, и подумала о васъ.

— Благодарю васъ. А вотъ позвольте представить вамъ моего друга, Степана Симоновича Яшимова.

— Очень рада, очень рада... прошу садиться. Благополучно-ли плавали?

— Плавали не всегда благополучно, — улыбнулся Броневскій: — но, слава Богу, благополучно возвратились. А вы все грустите, добрейшая Марія Николаевна?

— Какъ-же не грустить, государь мой? Сами знаете, какъ велико мое несчастье.

— Но оно меньше, чѣмъ вы думаете, — загадочно сказалъ Броневскій.

— Какъ меньше? Какое-же горе для матери можетъ быть ужаснѣе, какъ потеря любимыхъ дѣтей?

— Но они не совсѣмъ потеряны...

— Какъ не совсѣмъ? Пора ужъ убѣдиться, что ихъ нѣтъ на свѣтѣ... второй годъ...

И Азарова приложила платокъ къ глазамъ.

— Ваши дѣти живы, сударыня, — благодарите Бога! — съ чувствомъ сказалъ Броневскій.

— Что вы сказали? — испуганно вскочила Азарова: — живы?.. мои дѣти живы?

— Живы, сударыня,—и вотъ Степанъ Симоновичъ привезъ вамъ поклонъ отъ нихъ.

— Боже мой!—она пошатнулась; но Броневскій поддержалъ ее.

— Успокойтесь, ради Бога!

— Успокойтесь, сударыня,—робко проговорилъ и Яшимовъ:—я видѣлъ вашихъ дѣтей.

— Господи Боже!—несчастная женщина бросилась къ нему и схватила его за руки:—говорите, гдѣ они? Боже мой!.. они живы!

— Ради Бога, успокойтесь! Я все расскажу вамъ.

Яшимовъ осторожно подвелъ ее къ плетеной кушеткѣ и усадилъ. Слезы полились изъ глазъ бѣдной матери.

— Благодарю тебя, Господи!—тихо сказала она и перекрестилась.— Гдѣ-же вы ихъ видѣли?

— Къ сожалѣнію, очень далеко,—съ грустью отвѣчалъ Яшимовъ,—въ Тунисѣ.

Азарова, повидимому, не могла сообразить того, что ей говорили. Глаза ея выражали и недоумѣніе, и испугъ.

— Боже мой! какъ-же они туда попали?

— Ихъ украли тунисскіе пираты.

— Но какъ?.. гдѣ?.. Боже мой!.. украли!

— Да, сударыня, ваша дочка сама мнѣ это говорила: она сказала, что съ братомъ они играли или лазили на берегу моря, вечеромъ, недалеко отъ вашей виллы, и пираты неожиданно напали на нихъ и увезли на свой корсаръ.

— О, Боже, Боже! теперь я понимаю!—плакала несчастная мать:—вечеромъ, послѣ заката солнца, Юля и Петя отправлялись обыкновенно вонъ туда (Азарова указала на скалистый берегъ), гдѣ чайки владутъ яйца. Послѣ заката солнца чайки сидятъ на гнѣздахъ, и вотъ Юля и Петя и отправлялись туда смотрѣть на чаекъ, а иногда и ловить ихъ на гнѣздахъ... Ахъ, Боже, Боже!.. Въ это время, значитъ, ихъ и украли.

— Вѣроятно. Такъ мнѣ и m-lle Julie говорила.

— Что-же они тамъ дѣлаютъ? Скажите, какъ-же вы ихъ тамъ видѣли, гдѣ?

Яшимовъ рассказалъ.

— Что же съ ними будетъ? Господи!—плакалась несчастная, ломая руки:—что они съ ними сдѣлаютъ?

— Вѣрьте, сударыня, что съ ними обращаются хорошо, ласково—это въ ихъ расчетахъ—я это знаю по опыту—я у этихъ варваровъ прожилъ болѣе пяти лѣтъ. Я знаю, какъ они обращаются съ плѣнными женщинами и съ дѣтьми: „это,—говорятъ они,—дорогой жемчугъ, съ нимъ надо обращаться бережно, лелеять его, а то дорогія жемчужины потускнѣютъ“. Вѣрьте мнѣ, сударыня.

— Но Юлю навѣрное продадутъ въ гаремъ,—говорила Азарова, утирая глаза.

— Вѣроятно. Но и этого не бойтесь, сударыня,—я знаю, могу васъ увѣрить—ее не тронуть,—успокоивалъ ее Степанъ Симоновичъ.—Когда я былъ въ Алжирѣ, я заслужилъ довѣріе деа и онъ подарилъ мнѣ дѣвушку изъ своего гарема, въ жены мнѣ,—и повѣрьте сударыня... извините... Фатъма была...

Азарова, казалось, не слушала его.

— Я утѣшилъ Юлію Васильевну и вашего мальчика,—продолжалъ Степанъ Симоновичъ:—я сказалъ имъ, что вы ихъ выкупите... Выкупить всегда можно...

И Азарова поспѣшно побѣжала въ комнаты, крича: „Василій Петровичъ! Василій Петровичъ“.

XIX.

Россійскій Геркулесъ.

Грустные возвратились наши друзья отъ Азаровыхъ на свой фрегатъ. Степанъ Симоновичъ, однако, утѣшалъ себя тѣмъ, что принесъ родителямъ вѣсточку о ихъ дѣтяхъ, и хоть вѣсточка эта была горькая, но все-же отраднѣе знать, что дѣти живы, хотя и въ неволѣ, чѣмъ думать, что ихъ нѣтъ уже на свѣтѣ.

На фрегатѣ они застали, между прочимъ, знаменитаго „россійскаго Геркулеса“, какъ тогда называли извѣстнаго силача. Лукина, Дмитрія Александровича, который состоялъ въ чинѣ капитана 1-го ранга и командовалъ однимъ изъ линейныхъ кораблей эскадры Сенявина.

Это былъ невысокій, но плотный мужчина, дѣйствительно съ геркуле-совскими плечами, необыкновенно добродушнымъ лицомъ и мягкими, ласковыми глазами. Глядя въ глаза этого необыкновеннаго человѣка, можно было съ увѣренностью сказать, что онъ „и мухи не обидитъ“.

Лукинъ пріѣхалъ на фрегатъ „Венусъ“ съ радостной вѣстью.

— Господа капитанъ и офицеры!—началъ онъ, здороваясь съ капитаномъ „Венуса“ и офицерами.

— Bravo! — перебилъ его Броневскій: — ты начинаешь какъ Петръ Великій: „господа сенать“!

— Да, господа капитанъ и офицеры!—повторилъ Лукинъ, добродушно улыбаясь своею мягкою улыбкой: — или лучше — господа „Венусъ“! — я принесъ вамъ радостную вѣсть. Полученъ приказъ: „присутствіемъ россійскаго флота въ Архипелагѣ лишить Константинополь подвоза съѣстныхъ припасовъ съ моря!“

— Ура!—какъ одинъ воскликнули всѣ офицеры.

— Ура!—повторили матросы.

— На-дняхъ-же идемъ запираеть форточку, въ которую дышетъ Стамбулъ, запираеть Дарданеллы.

— Ура! ура!—гремѣло по всему фрегату.

— И драться на-кулачки съ турецкимъ флотомъ,—продолжалъ Лукинъ.

— Не дай Богъ кому попасть подъ твой кулакъ,—замѣтилъ ему Броневскій.

— Ты говоришь серьезно?—спросилъ Лукина капитанъ „Венуса“.

— Конечно. Сейчасъ отъ Дмитрія Николаевича—при мнѣ и приказъ вскрывалъ. Сегодня-же будетъ объявленъ по всей эскадрѣ,—отвѣчалъ Лукинъ.

Яшимовъ только вчера познакомился съ Лукинымъ и съ перваго-же взгляда полюбилъ его. Столько доброты и простодушія было на лицѣ у этого богатыря, что Степану Симоновичу никакъ не хотѣлось вѣрить, чтобы у этого добряка было столько силы, какъ о томъ онъ слышалъ рѣшительно со всѣхъ сторонъ. Объ этой силѣ рассказывали чудеса. Скучающіе англичане нарочно изъ Лондона пріѣзжали на Корёу, чтобы взглянуть на Лукина и тѣмъ хоть на нѣсколько часовъ разогнать свой сплинъ.

И Лукинъ былъ дѣйствительно необыкновенный добрякъ. Онъ никогда не вердился на самыя несдержанныя выходки товарищей.

Въ своихъ „Запискахъ“ Броневскій говоритъ о немъ: „Дмитрій Александровичъ Лукинъ всегда былъ отличный морской офицеръ; храбрый, дѣятельный и искусный воинъ, притомъ благородный, ласковый, строго справедливый и всѣми подчиненными любимый и уважаемый. При удивительной тѣлесной силѣ, онъ былъ кротокъ и терпѣливъ: даже будучи разсерженъ, онъ никогда не давалъ воли рукамъ своимъ. Опыты силы его производили изумленіе; трудно, однако-жъ, было заставить его что-либо сдѣлать; только въ веселый часъ и то въ кругу коротко знакомыхъ иногда показывалъ оные. Напримѣръ: съ легкимъ напряженіемъ силъ ломалъ подковы, могъ держать пудовыя ядра полчаса въ распростертыхъ рукахъ; шканечную пушку въ 87 пудовъ со станкомъ одной рукой подымалъ на отвѣсъ; однимъ пальцемъ вдавливалъ гвоздь въ корабельную стѣну. При такой необычайной силѣ былъ еще ловокъ и проворенъ; бѣда тому, съ кѣмъ-бы онъ вздумалъ вступить въ рукопашный бой. Подвиги его въ семь родѣ, съ прибавленіемъ рассказываемые, прославили его наиболѣе въ Англіи; тамъ съ великимъ стараніемъ искали его знакомства; и въ Россіи — кто не зналъ капитана Лукина? Словомъ, имя его извѣстно было во всѣхъ европейскихъ флотахъ, и рѣдко кто не слышалъ какого-нибудь любопытнаго о немъ анекдота“.

На радостяхъ капитанъ „Венуса“ приказалъ подать шампанскаго.

— Откуда оно у васъ?—удивился Лукинъ.

— Прямо изъ Шампаньи,—улыбнулся Броневскій.

— Призъ взяли,—пояснилъ капитанъ:—партія шампанскаго предназначалась для генерала Бертье, а мы перехватили судно, слѣдовавшее подъ австрійскимъ флагомъ,—и вотъ у насъ шампанское. Я и адмиралу презентовалъ нѣсколько ящиковъ.

— Хорошъ гусь!—укоризненно покачалъ головой Лукинъ:—Сѣнявину—такъ нѣсколько ящиковъ, а Лукину—пишъ.

— Да я и тебя награжу, дружище,—сказалъ Развозовъ, капитанъ „Венуса“.—бери сколько потащишь; мы цѣлое судно захватили.

Подали шампанское.

— Штопоръ!—скомандовалъ капитанъ.

— Зачѣмъ?—возразилъ Лукинъ, и вынулъ изъ принесеннаго служителями ящика бутылку:—стаканы приготовить!

Стаканы разставили на подносѣ. Тогда Лукинъ взялъ двумя пальцами бутылку за горлышко и придерживая ее лѣвою рукою, правою, двумя пальцами, отломилъ засмоленную головку бутылки вмѣстѣ съ пробкою, какъ будто-бы она была восковая. Пробка полетѣла за бортъ. Шампанское полилось въ стаканы.

— Фу ты, дьяволъ!—не утерпѣлъ Развозовъ:—вмѣсто штопора—пальцы!

— Ай да Митя!—обнялъ богатыря Броневскій:—видите, господинъ янычаръ, то-бишь саибъ эль-Яшимъ, господинъ чаушъ алжирскаго дея?—обратился онъ къ Яшимову.

— Вижу и изумляюсь!—отвѣчалъ этотъ послѣдній.

Онъ дѣйствительно первый разъ въ жизни видѣлъ подобное проявленіе физической силы у человѣка.

То-же было и со второй бутылкой, и съ третьей. Воодушевленіе офицеровъ росло по мѣрѣ того, какъ Лукинъ бросалъ за бортъ пустыя бутылки. Всѣ обнимались, цѣловались. Но болѣе всѣхъ бушевалъ на радостяхъ Броневскій и все приставалъ къ Лукину.

— Митя! сознайся, другъ: вѣдь у тебя тутъ—тово?...—и Броневскій указалъ на голову.

— Можетъ и тово,—отшучивался богатырь.

— Нѣтъ, ты ужъ сознайся, другъ Геркулесъ,—приставалъ Броневскій:—природа подшутила надъ тобой,—вѣдь да?

— Ахъ, отстань, дурачокъ!

— Ну, Митя, другъ!—не сердись.

— Да онъ никогда въ жизни не сердился — я знаю его такимъ съ самаго корпуса,—замѣтилъ Развозовъ.

— Ну, такъ я хочу его хоть разъ въ жизни разсердить,—не унимался Броневскій:—только чуръ не драться,—обратился онъ Лукину.

— Съ такой-то пиголицей слону драться!—замѣтилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Слону!—настаивалъ Броневскій:—про этого слона еще въ корпусѣ сочинили:

Надъ Лукинымъ природа подшутила:

Слоновью силушку дала

И человѣчій мозгъ слоновымъ подмѣнила,

Да и слоновій-то потомъ отобрала.

Дѣло было къ вечеру. Офицеры кутили на палубѣ и сидѣли на складныхъ табуреткахъ у гротъ-мачты. Декламируя стихи, Броневскій подошелъ къ Лукину и пальцемъ постучалъ объ его лобъ.

— Пустенько, Митя?

— Пустенько, Володя,— отвѣчалъ богатырь добродушнымъ голосомъ.

Но не успѣли пирующіе опомниться, какъ что-то мелькнуло въ воздухѣ. Вслѣдъ затѣмъ раздался взрывъ хохота.

— Браво! браво, Лукинъ!

— Браво, Броневскій!

Оказалось, что едва послѣдній и Лукинъ сказали „пустенько“, какъ въ воздухѣ мелькнули сапоги задиры Броневского, и онъ, перелетѣвъ черезъ головы офицеровъ, дрыгая въ воздухѣ ногами, растянулся на натянutoй надъ вахтою парусинномъ тентѣ. Это забросилъ его туда Лукинъ, во мгновение ока, не причинивъ ему ни малѣйшаго ушиба.

— Прощайте, господа,— всталъ Лукинъ, чтобы уходить.—Прощай, Володя!—крикнулъ онъ Броневскому, барахтавшемуся на высокомъ тентѣ и ворчавшему:—ахъ ты чортъ! ахъ ты медвѣдь! уродина!

Всѣ смѣялись, пожимая Лукину руку.

— А что-жъ шампанское?—обратился послѣдній къ Развозову:—вели тащить сюда ящикъ. Сколько подыму—столько и унесу.

Принесли два громадныхъ ящика, окованныхъ желѣзными прутьями, со скобками на крышкахъ, для удобства подъема ихъ блокомъ при погрузкѣ. Подъ каждымъ ящикомъ было по четыре матроса, да и тѣ съ трудомъ передвигали ноги.

— Ставь сюда,— командовалъ Лукинъ.

Поставили. Богатырь подошелъ, взявъ правою рукою за желѣзную скобу крышки—и поднялъ ящикъ, взявъ лѣвою рукою другой—и тоже поднялъ.

— Шлюпку!—крикнулъ онъ и направился къ трапу.

— Стой, окаянный! пропадешь, сорвешься въ море!—останавливалъ его Развозовъ.

— Прочь! не мѣшай!... мое шампанское!

Яшмовъ только развелъ руками.

XX.

Бой въ Дарданеллахъ.

Утро 10-го мая 1807 года. Русская эскадра стоитъ у острова Тенедоса, а противъ нея, ближе къ Дарданелламъ—турецкій флотъ.

Мертвая тишина царитъ среди флотилій, стоящихъ другъ противъ друга враговъ. Только вѣтеръ отъ нордъ-оста шумитъ въ снастяхъ и реяхъ.

Вѣтеръ этотъ былъ благопріятенъ для турокъ, но они почему-то не рѣшались атаковать русскихъ.

— Проклятый вѣтеръ!—проворчалъ сквозь зубы Развозовъ:—чего они ждуть?

— Дуракамъ счастье, да они не умѣютъ его взять, болваны!—сердито проговорилъ и Броневскій:—будутъ ждать, пока вѣтеръ подуетъ намъ въ руку.

— Идутъ, идутъ!—послышались голоса.

— Это брандеры! Берегитесь!

На адмиральскомъ кораблѣ взвился сигналъ: „Венусу“ вступить подъ паруса.

„Венусъ“ исполнилъ команду. Боковой вѣтеръ надувалъ паруса.

— Есть! есть! есть!—отвѣчали на команду.

— Это не брандеры!—послышались вновь голоса:—флаги австрійскіе!

И дѣйствительно, оказалось, что это были австрійскіе корабли, которые и были пропущены русскою эскадрою для слѣдованія въ Триестъ.

Опять началось томительное ожиданіе. Русскому флоту судьба не посылала ни малѣйшаго вѣтерка, а турецкіе корабли при попутномъ стояли словно въ мертвомъ штилѣ.

Прошло еще два часа.

Вдругъ на адмиральскомъ кораблѣ раздался выстрѣлъ.

— Слава тебѣ, Господи!

— Сигналъ!... сняться съ якоря!—гремѣть рупоръ Развозова.

Казалось, что во всей русской флотиліи произошло нѣчто сверхъестественное. Яшимовъ, въ первый разъ присутствовавшій при началѣ правильнаго морского сраженія цѣлыми эскадрами, стоялъ, пораженный изумленіемъ передъ торжественностью момента. Ему казалось, что гигантскіе, высокіе какъ дворцы, двухъ и трехъэтажные корабли превратились въ какихъ-то исполинскихъ чудовищъ, которыя расправляли множество крыльевъ, готовясь летѣть. Громадные паруса невидимою силою поднимались къ мачтамъ, къ реямъ, и гиганты вздрагивали и неслись впередъ. Море кипѣло.

Яшимову казалось, что турецкая эскадра, на которой ни одинъ парусъ не былъ поднятъ, грозно ждетъ врага, чтобы встрѣтить его убійственнымъ огнемъ. Но вскорѣ и на ней взлетѣли паруса, и вся турецкая флотилія понеслась къ Дарданелламъ, подъ прикрытіемъ своихъ крѣпостей, грозныя и мрачныя башни которыхъ высились у входа въ проливъ—и на европейскомъ, и на азіатскомъ берегу.

Вдругъ онъ увидѣлъ, что на адмиральскомъ кораблѣ взвился новый командный сигналъ.

— Нестъ всѣ паруса и напасть на непріятеля каждому по способности!—перевелъ этотъ нѣмой сигналъ на человѣческій языкъ звучный рупоръ Развозова.

Особенно сильное впечатлѣніе производили эти нѣмые командные сигналы, которые отъ времени до времени раздвѣргались невидимою силою на стѣнѣ корабля „Твердый“.

Вслѣдъ за сигналомъ корабли полетѣли еще быстрѣе. Тѣмъ быстрѣе убѣгали къ проливу турецкіе корабли. Одинъ изъ нихъ отклонился въ

сторону, влѣво,—и вдругъ на стѣнѣ адмиральскаго корабля развернулся новый сигналъ: „Венусу“ атаковать отдѣлившійся корабль.

Послѣдовала команда—и „Венусъ“, весь вздрогнувъ, полетѣлъ за турецкимъ бѣглецомъ при шумѣ всѣхъ распущенныхъ парусовъ и свистѣ вѣтра въ реяхъ.

Вскорѣ бѣглець былъ настигнутъ, „Венусъ“ открылъ огонь—и бой закипѣлъ по всей линіи. Грохотали пушки, клубы дыма застилали корабли, паруса и небо. „Селафайлъ“, „Ретвизанъ“, „Рафайлъ“ и „Сильный“, врѣзавшись въ турецкую флотилію, поражали ее съ обоихъ бортовъ. „Селафайлъ“ догналъ стоцупечный корабль капудана-паши, далъ ему залпъ въ корму, и когда тотъ, пораженный этою неожиданностью, сталъ переходить на правый галсъ, чтобъ скрыться отъ убійственнаго огня, „Селафайлъ“ черезъ фардевиндъ опередилъ его и снова напалъ съ кормы. „Уриилъ“ такъ быстро пролетѣлъ мимо турецкаго вице-адмиральскаго корабля и такъ близко, что своимъ такелажемъ сломалъ у него утлегарь.

Корабль „Твердый“, адмиральскій, устремился на турецкій адмиральскій корабль, и врѣзавшись между „Сейдъ-Али“ и „Бекиръ-Беемъ“, поражалъ и того и другого съ обоихъ бортовъ. Когда тотъ и другой, пробитые ядрами, съ истрепанными въ клочья парусами, заволакиваемые дымомъ, скрылись изъ глазъ Яшимова, онъ увидѣлъ, какъ Сенявинъ, сдѣлавъ поворотъ, атаковалъ капудана-пашу такъ близко, что корабли чуть не сцѣпились реями. Капуданъ-паша не выдержалъ молодецкой атаки адмирала и на всѣхъ парусахъ устремился въ проливъ, подъ свои крѣпости и пушки. За нимъ помчалась вся остальная турецкая флотилія. Бѣгство было полное. Но русская эскадра гналась по пятамъ: ободряемые успѣхомъ, наши корабли, которые теперь казались Яшимову положительно живыми исполинами, то спускались, то приводя, то убирая, то прибавляя парусовъ, поражали бѣглецовъ вдоль всей линіи.

Среди залповъ орудій слышались иногда взрывы „ура!“, ревъ рупоровъ, крики команды и отчаянные вопли поражаемыхъ.

Наступила ночь. Флоты смѣшались во мракѣ, въ самомъ узкомъ проходѣ пролива. Обѣ крѣпости открыли канонаду, въ темнотѣ поражая мраморными и гранитными ядрами и враговъ, и друзей. Зрѣлище было ужасное, адское, со всѣхъ сторонъ брызгали огненные фонтаны, на мгновенье освѣщая только ближайшіе предметы—паруса, мачты, части бортовъ, закопченные лица матросовъ, флаги, рен—и снова мракъ, и снова огненные снопы, снова залпы, крики и стоны.

Звонкіе рупоры разнесли по флотиліи новую команду Сенявина:

— Поднять на мачтахъ по три фонаря!

Огненные точки засвѣтились на вершинахъ мачтъ. Оглушительное „ура“ пронеслось по флотиліи.

Но и турки подняли фонари на своихъ мачтахъ—и тогда снова все смѣшалось: свои били своихъ, гранитныя и мраморныя ядра съ турецкихъ крѣпостей сыпались на ихъ-же корабли.

Вдругъ на адмиральскомъ кораблѣ потушили фонари. Яшимовъ первый замѣтилъ это, потому что „Венусъ“ сражался на одной линіи съ „Твердымъ“.

— Что случилось?

— Убиты!... убиты!... ядромъ голову разможило!

— Боже! Кто убитъ?

Битва кончилась, но никто не зналъ, гдѣ адмиралъ. Адмиральскій корабль словно въ воду канулъ. Тревога охватила всю эскадру. Съ корабля на корабль руноры разносили страшный вопросъ:

— Гдѣ адмиралъ?... не видѣли-ли адмиральскій корабль?

— Не видѣли!... нигдѣ нѣтъ!

Начало свѣтать. На блѣднѣющей съ востока полосѣ неба, надъ кораблемъ „Сильнымъ“, медленно, печально поднялся наполовину съ флагштока брейдъ-вымпель.

— Боже! Смотрите: сигналъ на „Сильномъ“...—весь блѣдный прошепталъ Броневскій.

— Капитанъ-командоръ убитъ! Игнатьева не стало!—пронеслась печальная вѣсть по эскадрѣ.

Но еще болѣе страшная вѣсть скоро огласила флотилію. Первый замѣтилъ несчастіе Броневскій, потому что онъ обязанъ былъ наблюдать за сигналами.

— Адмиральскій корабль! адмиральскій корабль выходитъ изъ пролива!—проговорилъ онъ, и еще болѣе прежняго поблѣднѣлъ.—Но на стеньгѣ нѣтъ флага... Степанъ Симоновичъ! у васъ зрѣніе хорошее—видите вы флагъ адмирала?

— Не вижу,—смущенно проговорилъ Яшимовъ.

Капитанъ Развозовъ, вахтенный лейтенантъ, всѣ офицеры смотрѣли въ зрительныя трубы, смущенные, съ дрожащими руками, блѣдые, боясь высказать тревожную мысль.

— Неужели убитъ?... Отчего нѣтъ флага?

Матросы повысыпали на шканцы. Всѣ глаза были устремлены туда, къ адмиральскому кораблю. Нѣтъ флага!

„Венусъ“ поспѣшилъ къ адмиральскому кораблю. Вотъ онъ уже у самаго борта „Твердаго“. Надо, по правиламъ, рапортовать; но капитанъ фрегата не рапортуетъ. Въмѣсто того, Развозовъ спрашиваетъ:

— Здоровъ-ли адмиралъ?

— Слава Богу!—отвѣчаютъ съ „Твердаго“.

Но на фрегатѣ не вѣрятъ. Тогда въ галлерей показывается самъ Севявинъ.

Никогда еще такой могучій взрывъ радости не встрѣчалъ любимаго адмирала.

— Урра! урра!—гремѣло въ воздухѣ.

Адмиралъ сдѣлалъ знакъ, что хочетъ говорить, но радостные крики матросовъ, какъ перекатная волна, неслись со всей эскадры, заглушая его голосъ.

Сенявинъ опять сдѣлалъ знакъ. Но „ура“ гремитъ и гремитъ, какъ вода въ прорванной плотинѣ.

Адмиралъ улыбнулся, поклонился и ушелъ. „Ура“ не смолкало.

XXI.

Бой у Аэона.

По свидѣтельству Броневскаго („Записки“, III, 65), дарданельская битва стояла туркамъ трехъ кораблей и до 2,000 человекъ убитыми.

„Капитанъ-паша, Сейдъ-Али,—говоритъ Броневскій,—удавилъ вице-адмирала и двухъ капитановъ на кораблѣ своемъ. Спустя нѣсколько дней послѣ сраженія, онъ принялъ вице-адмирала очень ласково, но лишь вышелъ онъ изъ каюты, въ мигъ былъ задавленъ. Поступокъ сей покажется сначала слишкомъ жестокимъ; но входя въ причины, оный не есть таковъ, и напротивъ—въ немъ заключается доброе намѣреніе. Турки думаютъ иначе о исполненіи смертныхъ приговоровъ, и говорятъ, что лучше умереть нечаянно, нежели продолжительно страдать въ ожиданіи опредѣленной казни. Въ Турціи не объявляютъ преступникамъ о рѣшеніи ихъ судьбы, и, выводя его изъ тюрьмы на казнь, обыкновенно объявляютъ милость, прощеніе султана; а такъ какъ многіе въ самомъ дѣлѣ получаютъ оныя, то осужденный, вмѣсто страха, конечно, мучительнѣйшаго самой смерти, надѣется, радуется, и вдругъ, безъ торжественнаго шествія на эшафотъ, безъ грознаго приготовленія, нечаянно умерщвляется, и необходимая смерть, опредѣленная закономъ, тѣмъ самымъ, по возможности, облегчается“.

Хотя Яшимовъ не принадлежалъ къ составу экипажа фрегата „Венусъ“, однако въ сраженіи у Дарданеллъ принималъ непосредственное участіе: то онъ помогалъ артиллеристамъ, подавая имъ снаряды и порохъ, то вмѣстѣ съ матросами поднималъ и опускалъ паруса, то помогалъ Броневскому въ передачѣ сигналовъ и распоряженій команды.

Болѣе дѣятельное участіе принималъ онъ въ послѣдовавшей черезъ нѣсколько недѣль битвѣ въ виду аеонскихъ монастырей, гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ самъ капуданъ-паша, Сейдъ-Али, съ его адмиральскимъ кораблемъ о 120 пушкахъ—„Мессуда“ или „Величество падишаха“.

Было чудное лѣтнее утро, когда „Венусъ“, посланный съ вечера на рекогносцировку, остановился противъ Аэона, въ ожиданіи—не покажутся ли со стороны острова Лемноса или Имбро турецкіе развѣдочные корабли. Весь массивъ горы рисовался необыкновенно отчетливо. Съ „Венуса“ еще не видно было солнца, но первые лучи его уже золотили вершину горы, гдѣ когда-то высился, весь изъ мраморныхъ колоннъ и портиковъ, дивный храмъ Аполлона, а теперь въ лучахъ восходящаго солнца блестятъ главы и кресты другого храма—храма другихъ вѣрованій. Съ каждой секундой линія свѣта спускалась отъ вершины все ниже и ниже, освѣщая бѣлыя стѣны монастырей, куполы, кресты, сверкавшіе на солнцѣ растопленнымъ

и лучезарно брызжащимъ золотомъ. Вся гора представляла исполинскій амфитеатръ съ облыми террасами, которыя въ совокупности составляли какъ бы одну дивную, гигантскую лѣстницу, ведущую на небеса. Неудивительно, что поэтические греки времени Гомера на вершинѣ этой горы воображали видѣть небо, а на немъ—лучезарнаго Аполлона. Неудивительно также, что гора эта грознымъ видомъ своимъ пугала дикаря Ксеркса, который хотѣлъ прорыть ее, чтобы не мимо чудной горы, увѣнчанной храмомъ греческаго бога, вести свои дикія полчища на поэтическую Элладу.

— Ахъ, какъ я понимаю художественный порывъ Александра Македонскаго, который хотѣлъ всю эту гору превратить въ исполинскую, невиданную міромъ статую, въ видѣ всадника на конѣ, на каждой рукѣ котораго, на ладоняхъ въ нѣсколько квадратныхъ верстъ въ объемѣ, выстроить по городу. Такого колоссальнаго замысла не могло бы вмѣстить въ головѣ и воображеніе Сезострисовъ египетскихъ, — говорилъ Броневскій, задумчиво созерцая величественную панораму.

— А помнишь,—замѣтилъ капитанъ фрегата, Развозовъ, худой и длинный съ просѣдью брютетъ,—помнишь, когда въ прошломъ году, во время солнцестоянія, мы бросили якорь у острова Лемноса?

— Еще-бы! Тогда за Аеономъ заходило солнце, и тѣнь отъ вершины Аеона упала прямо на носъ милѣйшаго Кузьмы Ивановича.

Кузьма Ивановичъ былъ совсѣмъ молоденькій морякъ съ необыкновенно длиннымъ носомъ.

— А сколько будетъ верстъ?—спросилъ Яшимовъ.

— Носу Кузьмы Ивановича?—засмѣялся Броневскій.

— Нѣтъ, отъ Аеона до Лемноса.

— А столько-же, сколько отъ носа Кузьмы Ивановича до Аеона.

Всѣ засмѣялись, въ томъ числѣ и привыкшій къ не всегда удачнымъ остроумамъ Броневскаго Кузьма Ивановичъ.

— Сто верстъ отъ моего носа или отъ Лем-носа до Аеона,—сказалъ онъ, подражая Броневскому.

— Корабли! корабли! — раздался сверху, съ вахты, звонкій голосъ вахтеннаго лейтенанта.

То показалась изъ-за Лемноса, у мыса Ликодіи, голова турецкой флотиліи. Едва „Венусъ“ направилъ свой бѣгъ къ русской эскадрѣ, чтобы донести Сенявину о появленіи турецкаго флота, какъ съ адмиральскаго корабля тоже былъ замѣченъ непріятель и немедленно данъ былъ сигналъ: „начать бой!“

Вѣтеръ былъ попутный и наши корабли понеслись на непріятельскій флотъ попарно: „Рафаилъ“ съ „Сильнымъ“, „Селафайлъ“ съ „Уриломъ“, „Мощный“ съ „Ярославомъ“. Неслись они въ грозномъ безмолвіи, не дѣлая ни одного выстрѣла.

Турецкій флотъ построился въ линію и тотчасъ-же открылъ убійственный огонь. Его ядра градомъ сыпались на нападающихъ, обивали и рѣшители ихъ паруса, пробивали борты и реи. Но русскіе не отвѣчали, и

только уже на разстояніи пистолетнаго выстрѣла послѣдовалъ громъ палбы со стороны нападающихъ. Русскіе корабли врѣзались въ самую линію турецкаго флота и поражали непріятеля и съ праваго и съ лѣваго бортовъ. „Рафаилъ“, разбивъ въ клочья всѣ паруса на кораблѣ капуданъ-бея, перебивъ всѣ реи, такъ что величественный „Седель-Бахръ“, или „Оплотъ морской“, торчалъ въ облакахъ дыма, словно остовъ мертвеца, съ голыми деревьями вмѣсто мачтъ и снастей, самъ исчезъ въ этихъ облакахъ.

„Скорый“ и „Мощный“ съ „Венусомъ“, врѣзавшись между трехъ турецкихъ флагмановъ, громили ихъ обоими бортами. Сенявинъ, стоя на вахтѣ „Твердаго“, обсыпалъ жестокимъ огнемъ гигантскій стодвадцатипушечный корабль самаго капудана-паши.

Съ флагмана „Анкай-Бахре“ („Величество моря“) шальное ядро пролетѣло мимо Яшимова и подкосило стараго артиллериста, наводившаго пушку. Яшимовъ замѣнилъ упавшаго.

Вдругъ послышался съ сѣбѣдняго корабля чей-то отчаянный крикъ:

— Батюшки! капитана убили!

— Лукинъ, Лукинъ убить!—подхватили другіе голоса:—ядромъ голову раздробило!

Прикрывшись дымомъ своихъ выстрѣловъ, адмиральскій корабль капудана-паши, поражаемый съ „Венуса“ и „Мощнаго“, обратился наконецъ въ бѣгство, стараясь пристать къ Аѳону. За адмиральскимъ побѣгомъ послѣдовало полное бѣгство всего турецкаго флота.

Держался только одинъ непріятельскій флагманъ — это корабль капуданъ-бея, „Седель-Бахръ“, хотя и представлялъ изъ себя лишь остовъ, — такъ онъ былъ избитъ. Но когда „Селафайлъ“, подойдя къ нему подъ самый бортъ, готовился или взорвать или потопить его своими залпами, съ накрытой трупами палубы „Седель-Бахра“ послышались вопли о пощадѣ.

— Аманъ! аманъ!

Съ „Селафайла“ тотчасъ-же явился офицеръ, чтобы взять адмиральскій флагъ у плѣннаго корабля. По трунамъ и по лужамъ крови его провели къ адмиралу, къ Бекиръ-Бею.

— Я отдамъ флагъ только самому адмиралу!—гордо отвѣчалъ старикъ лейтенанту Титову на предложеніе отдать флагъ.

Три раза Титовъ уходилъ и три раза напрасно возвращался за флагомъ.

— За что русскіе такъ на меня разсердились, что всѣ били только мой корабль?—спросилъ наконецъ капуданъ-бей.

— За то, ваше превосходительство,—отвѣчалъ Титовъ, что вы лучше и храбрѣе всѣхъ дрались.

Отвѣтъ этотъ такъ понравился старику, что онъ улынулся, погладилъ свою серебристую бороду и любезно подаль флагъ.

XXII.

Въ виду развалинъ Трои.

Несмотря, однако, на двукратное пораженіе турецкаго флота, въ тылу русской эскадры оставалось нѣчто, что беспокоило Сениавина и что острякъ Броневскій называлъ „умнымъ зубомъ падишаха“.

— Одинъ этотъ зубъ только и остался во рту у его султанскаго величества, — говорилъ онъ, разгуливая съ Яшимовымъ по палубѣ „Венуса“: — вырвемъ этотъ зубъ — тогда полѣзай прямо въ ротъ его султанскому величеству: не укуситъ.

Этотъ „умный зубъ“ султана была крѣпость на островѣ Тенедосѣ, въ которой сидѣлъ турецкій гарнизонъ и которая была главнымъ ключемъ въ воротахъ Дарданелль.

Сениавинъ сдѣлалъ распоряженіе о взятіи этой крѣпости. Онъ отрядилъ къ ней часть своей эскадры, — именно: корабли „Ретвизанъ“ и „Рафаилъ“ и фрегатъ „Венусъ“ съ нашими друзьями.

Увѣчанный куполами храмовъ, Аевонъ бросалъ отъ себя гигантскую тѣнь на востокъ, по направленію къ Лемносу и Тенедосу, когда три поименованные корабли приблизились къ послѣднему острову съ той стороны, которая обращена была къ троянскому берегу.

Съ грустной задумчивостью глядѣли теперь на этотъ берегъ наши друзья, сидя на шканцахъ „Венуса“. Только вчера они похоронили своего геркулеса, капитана Дмитрія Александровича Лукина. Никто такъ не смѣялся надъ нимъ, конечно добродушно, при жизни, какъ Броневскій, и никто такъ горько какъ онъ не плакалъ, цѣлуя могучія, но холодныя какъ мраморъ руки мертваго русскаго богатыря. Раздробленная ядромъ голова мертвеца была густо обмотана чернымъ флеромъ, отъ котораго ярко отдѣлялся лавровый вѣнокъ героя, возложенный на раздробленную голову Сениавинимъ подѣ траурныя, глухіе, словно могильныя, залпы всей русской эскадры и подѣ печальный перебой барабановъ. Строгія, задумчивыя лица матросовъ выражали глубокую скорбь.

Траурною дымкою, казалась, подернуть былъ теперь печальный берегъ, на которомъ стояла когда-то Троя. Съ „Венуса“ его было хорошо видно. Жалкія, обезображенныя части городскихъ воротъ, такія же жалкія, осиротѣлыя колонны и груды камней — вотъ все, что осталось отъ безсмертнаго Иліона. Да и это не городъ Пріама, погибшій въ пламени, не его печальные остатки — ихъ давно, тысячи лѣтъ назадъ, вѣтромъ разнесло. Осталось только мѣсто, гдѣ стоялъ Иліонъ — его мѣсто, его горизонтъ, на которомъ виднѣется отуманенная Ида, его небо, съ котораго взирали равнодушные боги на обреченный въ жертву запустѣнія городъ, его Скамандеръ, поившій когда-то своими холодными струями героевъ, утомленныхъ битвою. Вонъ и теперь его воды изливаются въ его море — въ море Иліона,

но воды Скамандра пьютъ не герои Иліона, а турецкіе солдаты, двадцатитысячный корпусъ которыхъ раскинулся на берегу троянскаго моря, укрывая его бѣлыми и пестрыми шатрами. Остались цѣлы три кургана, что насыпаны были надъ могилами Ахиллеса, Патрокла и Аякса; они печально глядятъ на проходящіе мимо нихъ вѣка и тысячелѣтія: для нихъ эти вѣка—одинъ день, мимолетный мигъ вѣчности.

Такъ съ грустью думалъ Броневскій, указывая своему другу на троянскій берегъ.

— А здѣсь, на Тенедосѣ,—продолжалъ онъ,—было сборное мѣсто грековъ, осаждавшихъ Трою. Здѣсь бродилъ старецъ Несторъ и хитрый Одиссей здѣсь обдумывалъ планъ коварнаго обмана осажденныхъ. Здѣсь звонко стучали топоры и визжали пилы, гремѣли молоты, изготовляя деревяннаго коня, погубившаго градъ Пріама. Какъ грустно все это! Такъ и кажется, что надъ тѣмъ печальнымъ берегомъ все еще витаютъ безутѣшныя тѣни Гекубы и Андромахи и слышится пророческій плачъ Кассандры о предложенной безжалостными богами гибели ея родного города.

Они перешли къ другому борту. Передъ ихъ глазами какъ бы прямо изъ волнъ голубого моря выходили мрачныя стѣны крѣпости. Зубцы стѣнъ, зіяющія отверстія бойницъ, угловатые изломы стѣнъ и башни и надъ самою грозною изъ нихъ, треплущееся въ воздухѣ тяжелое знамя съ полумѣсяцемъ на яркомъ полотнищѣ,—все это невольно приковывало взоръ. Нѣсколько лѣвѣе видѣлись бѣлыя террасы домовъ—городъ, отдѣленный отъ крѣпости ровомъ и площадкою у самыхъ крѣпостныхъ воротъ. Правѣе, за крѣпостью, высилась крутая гора съ болтающимся на вершинѣ ея воздушнымъ телеграфомъ. Вотъ задумчивыя группы темныхъ, грустныхъ кипарисовъ, которые, кажется, шепчутся, грустно шепчутся надъ могилами правовѣрныхъ.

Ночью подошли и другіе корабли эскадры.

Необыкновенно тихая была ночь. Слышно было даже, какъ въ городѣ и въ крѣпости лаяли собаки.

Настала полночь. Въ крѣпости и въ городѣ зашѣли пѣтухи. Имъ откликнулся фрегатный пѣтухъ, Петька съ „Венуса“, изъ своего курятника, и вызвалъ дружный смѣхъ готовившихся на завтра къ бою матросовъ.

— Ну, братъ, Петька, маху далъ—это не наши, а турецки пѣтухи.

— Что-жъ что турецки! Онъ свою службу знаетъ, — завсегда на вахтѣ.

— Да и за турецкими курами не плохъ: самъ я видѣлъ...

За приготовленіями къ бою незамѣтно прошла ночь. Стала блѣднѣть восточная окраина неба, тамъ, за троянскимъ берегомъ, за могильными холмами Патрокла и Ахиллеса. Шатры турецкаго лагеря на томъ же берегу вырисовывались все яснѣе и яснѣе. И Тенедосъ скоро выступилъ изъ туманной мглы. Крѣпостныя стѣны, башни, бойницы, цидатель и яркое полетнище султанскаго на ней флага—все это разомъ бросилось въ глаза

Яшимову и Броневскому, когда утромъ они вышли изъ каютъ на палубу. Видны даже были на берегу, около города и крѣпости, темныя точки турецкихъ пикетовъ.

XXIII.

Встрѣча съ Фатимой.

Съ разсвѣтомъ „Венусъ“, „Мощный“ и „Корсаръ“ продвинулись ближе къ острову и открыли огонь по турецкимъ береговымъ пикетамъ. Ядра падали такъ мѣтко, что когда разсѣялся пороховой дымъ, то оказалось, что берегъ весь очищенъ отъ пикетовъ.

Въ отвѣтъ на русскую канонаду, въ свою очередь, заговорила крѣпость. Ближе всѣхъ кораблей къ берегу стоялъ „Рафаилъ“, и на него направила огонь крѣпостная артиллерія. То тамъ, то здѣсь вспыхивалъ бѣлый дымокъ и вслѣдъ затѣмъ гремѣлъ ударъ, повторяемый гулкимъ эхомъ горъ, и въ море, не долетая до корабля, падало чугунное или мраморное ядро, рассыпая бѣлыя брызги.

Всякій разъ, когда ядро падало въ море, не достигая цѣли, матросы смѣялись.

— Душа коротенька!—не доплюнуть...

— Это, братъ, не рахатъ-лукумъ жрать.

Съ „Рафаила“—же дѣйствовали такъ удачно, что рѣдкое ядро не наносило урона неприятелю.

— Что! скучно?... попробуй еще!—острили артиллеристы.

— Чиханула!.. ай-да-ну!.. въ самую центр!

Между тѣмъ къ берегу двигались на веслахъ катеры съ десантомъ. Плавно и мѣрно взвивались надъ водою тонкія лопасти веселъ и дружно тѣнили бирюзовое море. На одномъ изъ катеровъ виднѣлось строгое, задумчивое лицо Яшимова.

Нѣсколько легкихъ шлюпокъ съ албанцами и греками-идриотами, подплывъ къ самому берегу, быстро сбили своими мѣткими выстрѣлами передовые турецкіе посты и тѣмъ очистили мѣсто для высадки регулярныхъ войскъ, которые быстро вышли на берегъ, также быстро выстроились въ двѣ стройныя колонны и подъ мѣрный бой барабановъ двинулись впередъ. Одна колонна изъ 900 человекъ козловскаго полка, подъ командою полковника Подейскаго, съ четырьмя полевыми орудіями, пошла влѣво, горами.

Къ этой колоннѣ присоединился и нашъ Степанъ Симоновичъ, у котораго на душѣ сегодня было особенно мрачно. Но онъ не боялся смерти. Столько разъ она глядѣла ему въ лицо—и онъ сталъ смѣло глядѣть въ ея очи. „Что-жъ, если и убьютъ?—по крайней мѣрѣ на виду у своихъ. Умереть такъ, какъ умеръ тотъ незабвенный герой съ добрыми дѣлами

глазами и мощными мускулами—славная, завидная смерть. И для чего жить?.. для кого?—Его почему-то и на родину больше не тянуло.

Вторая колонна изъ 600 рядовыхъ 2-го морского полка, подъ командою полковника Буаселя, тоже съ четырьмя пушками и шестью фальконе-тами, двинулась вправо, по морскому берегу.

При первой колоннѣ находился контръ-адмиралъ Грейгъ, при второй—самъ Сенявинъ, который и распоряжался всѣми ея движеніями.

Впереди колоннъ наступали албанскіе стрѣлки, идріоты и охотники изъ регулярныхъ войскъ и матросовъ. Къ охотникамъ примкнулъ и Яшимовъ.

Маіоръ Гедеоновъ, отряженный отъ первой колонны, повелъ стрѣлковъ и охотниковъ въ гору, на которой укрывались турки. Въ числѣ первыхъ съ крикомъ „ура!“ взойшелъ на гору Яшимовъ.

— Урра!—перекатилось по всему отряду, и поражаемые мѣткими ударами турки бѣжали.

Въ то-же время колонна Буаселя, достигнувъ шанцевъ, атаковали за-сѣвшихъ тамъ турокъ своими стрѣлками, между тѣмъ какъ легкія орудія, управляемыя морскими офицерами, въ томъ числѣ и Броневскимъ, отважно подвезены были на картечный выстрѣлъ, и градомъ чугуна осыпали не-пріятеля. Колонна Подейскаго, заглушая громовымъ „ура“ грохотъ кано-нады съ крѣпости, на штыкахъ врывалась уже въ предмѣстье, въ то время, когда вторая колонна, ударивъ штурмомъ на ретраншементъ, взяла его послѣ жестокаго боя, вырвавъ изъ рукъ ошеломленнаго врага пять знаменъ.

Оставивъ городъ, турки кинулись въ крѣпость, но на мосту черезъ ровъ и на площади у самыхъ воротъ крѣпости ихъ встрѣтили залпы подоспѣвшихъ орудій, и поражаемые съ тыла штыками, несчастные, не успѣвшіе добѣжать до крѣпости, съ криками отчаяніе кидались въ ровъ.

Оставшіеся въ городѣ турки защищались въ домахъ.

— Братцы! тутъ хорошенькая турчаночка!—послышался возгласъ изъ одного дома.

Яшимовъ бросился на этотъ возгласъ, боясь, чтобы солдаты не сдѣ-лали насилія надъ беззащитною женщиной.

Вся закутанная покрываломъ, какая-то женщина уткнулась въ уголъ турецкаго дивана и, повидимому, прятала ребенка, который плакалъ подъ покрываломъ, а два солдатика, весело заливаясь, силились стащить съ нея это покрывало.

— Да покажись, молодка,—мы тебя не съѣдимъ.

— Якши, якши, красавица... да ты не бойся.

— Братцы, что вы дѣлаете?

Солдатики смущенно отступили. Передъ ними стоялъ незнакомый офи-церъ.

— Мы ничево, ваше благородіе, мы ее не трогали.

— Мы, ваше благородіе, пошутили.

Совсѣмъ растерянные, они все пятились къ двери и наконецъ исчезли. Женщина, дрожа всѣмъ тѣломъ, продолжала жаться въ уголъ дивана. Яшимовъ заговорилъ съ ней по-турецки, успокоивая ее.

По мѣрѣ того какъ Степанъ Симоновичъ говорилъ, женщина осторожно поворачивала къ нему лицо, все закрытое покрываломъ. Потомъ часть покрывала раздвинулась на лицѣ настолько, чтобы оставить щель для глазъ.

— Не бойся-же, найдемъ со мной — я дамъ тебѣ защиту, — продолжалъ Яшимовъ.

Вдругъ съ головы турчанки спало покрывало и она, всплеснувъ руками, бросилась къ ногамъ Степана Симоновича.

— Мой господинъ! мой повелитель! — заговорила она по-русски, хотя съ восточнымъ акцентомъ.

Съ изумленіемъ и испугомъ Яшимовъ отступилъ назадъ. Передъ нимъ на коленяхъ стояла его маленькая Фатъма и ломала руки.

— Мой господинъ! мой женихъ! мой Степа!

— Фатъма! ты-ли это?

— Я, я! твоя Фатъма...

Яшимовъ поднималъ ее съ полу и одной рукой придерживалъ за талію — такъ дрожала она. Бѣдная женщина съ рыданіемъ прильнула губами къ его рукѣ.

— Какъ ты попала сюда, бѣдная? — съ глубокимъ волненіемъ спросилъ Степанъ Симоновичъ.

— Онъ купилъ меня у матери, — всхлипывала несчастная.

— Кто онъ?

— Мой мужъ.

Ребенокъ съ дивана протягивалъ къ ней ручонки.

— Это твой? — глухо спросилъ Яшимовъ.

— Мой.

XXIV.

Она рѣшилась.

„Непріятель заключился въ крѣпость, — говоритъ въ своихъ „Запискахъ“ Бровевскій: — по оной немедленно открыли пальбу изъ полевыхъ орудій и изъ малой крѣпосцы. Сраженіе симъ кончилось, но перестрѣлка съ крѣпости и въ предмѣстіи еще продолжалась. Турки въ домахъ защищались упорно; греки-же, съ семействами своими скрывшіеся въ своей части города, съ довѣренностью вышли и отведены въ безопасное мѣсто. Скоро и турки потребовали пощады, и имъ не отказано было въ возможной помощи. Для гречанокъ поставлены были палатки и караулъ, дабы не допускать до нихъ любопытныхъ. Три турчанки, попавшія въ плѣнъ

(въ томъ числѣ и Фатьма), отвезены на адмиральскій корабль, и сіе вниманіе, какъ увидимъ впослѣдствіи, принудило турокъ скорѣе сдаться“.

Дѣло было такъ.

По занятіи города Тенедоса русскими войсками и по заключеніи турокъ въ крѣпость, Сенявинъ, желая избѣгнуть напраснаго кровопролитія и продолжительной осады, приказалъ предложить плѣннымъ туркамъ — отнести его письмо къ командиру крѣпости; но всѣ они отказались: ихъ тамъ убили-бы за то, что они отдались живыми въ плѣнъ. Кромѣ того, они объявили, что гарнизонъ крѣпости на коранъ поклялся защищаться до послѣдней крайности.

Когда вѣсть эта дошла до плѣнныхъ турчанокъ, Фатьма рѣшилась пожертвовать собою и отнести письмо въ крѣпость. Она, знала, что пойдетъ на вѣрную смерть, такъ какъ всякую женщину, попавшую въ плѣнъ къ гиурамъ, турки считаютъ обезчещенною и оскверненною и безъ жалости убиваютъ. Фатьма знала это — и все-таки рѣшилась.

Принявъ такое рѣшеніе, она просила доложить объ этомъ адмиралу и только позволить ей раньше повидаться съ „ея господиномъ“, для котораго она теперь раба и невольница“, потому что онъ взялъ ее въ плѣнъ.

Сенявинъ приказалъ позвать Яшимова. Тотъ явился. Фатьма, почтительно поцѣловавъ его руку, сказала:

— Позволь мнѣ, мой повелитель, умереть за добрыхъ русскихъ.

— Зачѣмъ? — удивился Степанъ Симоновичъ.

— Ты меня не убилъ, какъ я того заслужила, такъ пусть меня убьютъ наши: я общала вашему непобѣдимому гази-капудану-пашѣ отнести его письмо въ крѣпость.

Испугъ и горестъ отразились на лицѣ Степана Симоновича при этимъ словахъ.

— Отпусти меня, господинъ, — снова цѣлуя руки его, сказала молодая женщина: — я нечистая, я заслужила смерть.

Яшимовъ зналъ восточныя предрасудки и глубокую непоколебимость въ нихъ восточной женщины: предназначенная въ жены одному, она отдалась, хотя невольно, другому, своему теперешнему мужу, и потому первый ея повелитель долженъ былъ, по ея понятіямъ, убить ее какъ нечистое животное.

— Хорошо, — сказалъ дрогнувшимъ голосомъ Яшимовъ, — только я самъ научу тебя, что сказать гази-капудану.

И онъ сталъ учить ее, сказавъ предварительно по-арабски: „повторяй за мной и хорошенько запомни каждое мое слово“.

— Слушаю, господинъ.

Еще въ Алжирѣ, чтобы не позабыть родной рѣчи, Яшимовъ въ теченіе года училъ свою „Фату“ по-русски, и понятливая, какъ вся арабская раса, дѣвочка быстро усвоила себѣ обиходную русскую рѣчь.

— Говори, — началъ онъ, садясь на складной табуретъ: — великодушный христіанинъ!

— Великодушный христiанинъ,—повторила Фатъма, качая на рукахъ ребенка.

Сама еще ребенокъ, она казалась дѣвочкою, играющею въ куклы.

— Милостивое твое покровительство и призрѣніе къ твоимъ невольницамъ, ими не ожидаемое,—продолжалъ Степанъ Симоновичъ подбирать вычурныя фразы, а Фатъма за нимъ повторяла.

Когда рѣчь была кончена, Степанъ Симоновичъ началъ ее снова и повторилъ до конца. Фатъма ее заучивала, и уже за третьимъ разомъ сказалъ ее почти всю.

Затѣмъ она снова начала повторять и наконецъ совсѣмъ запомнила.

Яшимовъ подошелъ къ ней, задумчиво и грустно посмотрѣлъ въ ея дѣтски-наивныя глазки, погладилъ черную, съ вьющимися волосами головку.

— Совсѣмъ ребенокъ! —шепталь онъ со слезами на глазахъ.—Ты ни въ чемъ неродо мной неповинна.

Фатъма, придерживая одною рукою ребенка, бросилась на полъ каюты и припала губами къ сапогамъ Яшимова. Онъ поднялъ съ полу этого ребенка-женщину, горячо, много разъ поцѣловалъ ее и нерекрестилъ.

XXV.

Подвигъ Фатъмы.

Сенявинъ принялъ Фатъму на палубѣ адмиральскаго корабля въ торжественной обстановкѣ. При аудіенціи присутствовали не только всѣ офицеры корабля „Твердый“, но и нѣкоторые и съ другихъ кораблей эскадры.

Фатъма, закутанная покрываломъ съ головы до ногъ, подошла къ адмиралу, держа ребенка на рукахъ; потомъ, опустившись на колѣни, поцѣловала у Сенявина руку и нагнула голову ребенка, чтобъ и онъ своими розовыми губками прикоснулся къ этой рукѣ. Сенявинъ съ улыбкой погладилъ курчавую головку мальчика, котораго видимо заняли „игрушки“ на груди важнаго старика.

Фатъма встала и, не открывая покрывала, совершенно по школьному отбарабанила серебристымъ голоскомъ:

— Великодушный христiанинъ! милостивое твое покровительство, призрѣніе къ твоимъ невольницамъ, ими не ожидаемое, побудило меня предложить тебѣ мою услугу. Я берусь...

На этомъ словѣ она запнулась; Яшимовъ подсказалъ ей.

— Я берусь отнести письмо твое къ пашѣ,—снова затараторила она:—хочу убѣдить непреклонныхъ нашихъ мужей, что мы во врагахъ нашихъ друзей, какихъ едва ли имѣемъ между правовѣрными. Знаю, что приѣмлю на себя слишкомъ трудную обязанность; знаю, что едва-ли повѣрятъ моему свидѣтельству о поступкахъ твоихъ, великій начальникъ христiанъ, во... но...

Она опять запнулась. Добродушная усмѣшка скользнула по губамъ адмирала, а Броневскій скорчилъ самую ехидную гримасу, переглянувшись съ Развозовымъ.

— Но,—продолжала Фатъма,—но не колеблюсь; сими предположеніями моими надѣюсь по крайней мѣрѣ ослабить несправедливое предубѣжденіе противу васъ, и въ знакъ благодарности, въ возмездіе милостей твоихъ къ плѣннымъ, обрекаю себя за всѣхъ прочихъ на вѣрную смерть!

Она выпалила все это, ни разу не передохнувъ, а потомъ, вѣроятно боясь забыть конецъ своей сантиментальной рѣчи, сочиненной сантиментальнымъ-же Степаномъ Симоновичемъ,—она снова стала на колѣни и, положивъ своего прелестнаго малютку къ ногамъ Сенявина, отмахала какъ попугай:

— Оставляю тебѣ дитя мое залогомъ драгоценнѣйшимъ для матери. Если Богу угодно лишить меня жизни въ сей день,—будь ему отцомъ, наставникомъ и покровителемъ, научи его, твоей вѣрѣ, да возможетъ онъ подражать тебѣ и быть достойнымъ твоихъ попеченій...

Она встала и хотѣла тотчасъ-же идти, но ребенокъ потянулся къ ней и заплакалъ. Тогда Сенявинъ взялъ его къ себѣ на колѣни и скоро развлекъ своими блестящими аксельбантами.

На минуту въ немъ явилась нерѣшимость. Старикъ стало жаль этой дѣвочки-матери. Онъ зналъ восточные обычаи, зналъ, что турки всѣхъ попавшихъ въ плѣнъ женщинъ считаютъ обезцѣненными и обыкновенно убиваютъ, — и въ немъ теперь проснулася жалость и къ этому ребенку-матери, и къ ея крошкѣ.

Адмиралъ въ нерѣшимости взглянулъ на офицеровъ. Яшимовъ стоялъ блѣдный, Броневскій смотрѣлъ на него жалостливо, Развозовъ хмурился.

— Лучше, ваше превосходительство, пожертвовать одною жизнью, чѣмъ многими,—сказалъ онъ тихо.

Сенявинъ подалъ Фатъмѣ роковое посланіе. Она быстро схватила его и, не взглянувъ на ребенка, изъ боязни уступить материнскому чувству, торопливо пошла къ трапу. Тамъ уже ждала ее шлюпка съ матросами.

Увидавъ, что мать уходитъ, ребенокъ снова расплакался, протягивая къ ней ручонки; но она не оглянулась.

Такъ какъ во все это время съ прочихъ кораблей продолжалась канонада по крѣпости, то Сенявинъ приказалъ прекратить пальбу и велѣлъ дать знать, посредствомъ трубы, осажденнымъ, что желаетъ вступить съ ними въ переговоры; но изъ крѣпости ничего не отвѣчали и продолжали стрѣлять.

Шлюпка съ Фатъмой отчалила отъ корабля.

— Вы прежде знали эту женщину?—обратился Сенявинъ къ Яшимову, стоявшему въ грустной задумчивости.

— Такъ точно, ваше превосходительство,—еще въ Алжирѣ: ее пода-рилъ мнѣ дей въ знакъ милости.

— Какъ-же она попала на Тенедось?

— Когда я бѣжалъ изъ Алжира, ее купили у матери,—купилъ настоящий ея мужъ, находящійся въ Тенедосѣ.

— И это вы ее научили по-русски?

— Я, ваше превосходительство.

Шлюпка между тѣмъ достигла берега. Видно было, какъ развѣвалось въ воздухѣ бѣлое покрывало Фатьмы, когда она поднималась къ шанцамъ, а потомъ вступила на площадь.

— Ахъ, негодяи!—вырвалось у Броневскаго:—они стрѣляютъ въ нее!

Дѣйствительно, съ ближайшаго къ ней бастіона сдѣлано было нѣсколько выстрѣловъ, къ счастью, неудачныхъ. Но маленькая героиня не струсила. Она подняла вверхъ письмо и, махая имъ въ воздухѣ, смѣло шла къ крѣпостнымъ воротамъ. Ворота отворились—и маленькая фигурка Фатьмы исчезла въ нихъ.

XXVI.

Она побѣдила.

На эскадрѣ водворилась тишина. Канонада смолкла. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали результатовъ оригинальнаго посольства.

Крѣпость не показывала никакихъ признаковъ жизни: тамъ было тихо, какъ въ могилѣ.

Сенявинъ начиналъ уже сильно раскаиваться, что послалъ бѣдную женщину на вѣрную смерть. Ребенокъ между тѣмъ, не видя матери, плакалъ, и сѣдому адмиралу приходилось съ нимъ нянчиться. Наконецъ его отослали къ двумъ плѣннымъ турчанкамъ, которыя находились въ особой каютѣ.

Яшимовъ переживалъ жестокія мученія. Въ его душѣ образовались два теченія, взаимно противоположныя. Тамъ, въ Алжирѣ, въ ночь своего побѣга, когда онъ стоялъ на колѣняхъ у постели своей милой спящей дѣвочки, въ душѣ его почувствовалось могучее движеніе уйти изъ 'постылой неволи, все бросить, бросить даже это милое дитя и плыть за это постылое море—туда, домой. И пока Тунисъ и Алжиръ не остались у него за спиной, какъ минутный сонъ, какъ страшный кошмаръ,—это движеніе продолжало господствовать въ душѣ. Но едва онъ очутился на палубѣ русскаго судна, едва къ нему воротилась увѣренность, что она не въ неволѣ—какъ въ его душѣ возникло теченіе обратное: туда опять въ неволю, къ ней. Теченіе это стало возникать еще раньше, именно тогда, когда взятый у береговъ Корсики пиратъ Абу-Талебъ сказалъ, какъ послѣ исчезновенія Яшимова изъ Алжира Фатьма убивалась по немъ, день и ночь плакала и даже хотѣла покончить съ собой. Потомъ сила этого движенія росла и росла, такъ что уже здѣсь, въ Архипелагѣ, Степанъ Симоновичъ, по свидѣтельству Броневскаго, „искалъ смерти“. И вотъ, это прежнее счастье вновь найдено—и вновь потеряно уже навсегда.

— Идешь! идешь!—раздался вдруг радостный возглас Броневского.

— Да, ворота открыли. Это она!—подхватили другие голоса.

— Слава Богу!—облегченно вздохнул Сенявинъ.

Дѣйствительно, ворота крѣпости открылись и оттуда вышла группа турокъ, среди которыхъ бѣлѣла фигура Фатмы. Въ воротахъ, рядомъ съ Фатмой, стоялъ самъ паша Тенедоса, комендантъ крѣпости. Турки видимо спорили о чемъ-то, обнажали сабли, а паша что-то горячо говорилъ имъ.

— Вѣрно убить хотѣть, негодни!

— Да, но паша, кажется, не даетъ.

Скоро Фатма отдѣлилась отъ группы и быстро пошла къ берегу. За нею слѣдовалъ пожилой турокъ въ зеленой чалмѣ. Они сѣли въ ожидавшую Фатму шлюпку съ адмиральскаго корабля и отчалили отъ берега.

— Принесите мнѣ ея сына,—сказалъ Сенявинъ окружающимъ его.

Ребенка принесли, и Сенявинъ, взявъ его на руки, подошелъ къ борту корабля и, показывая на приближавшуюся шлюпку, говорилъ:

— Мама, мама—смотри, мама ѣдетъ.

Ребенокъ узналъ мать и протягивалъ къ ней ручонки. Фатма быстро взбѣжала по трапу на палубу и, рыдая, упала на колѣни передъ Сенявинымъ. Адмиралъ подаль ей ребенка.

„Разставаясь съ нимъ (съ сыномъ)—говорить по этому поводу Броневскій, — когда шла къ смерти, она не плакала; но теперь, свершивъ свой подвигъ, чувства матерней горячности замѣнили въ душѣ ея всѣ другія; стоя на колѣняхъ, она рыдала, занималась однимъ сыномъ, коему расточая ласки, до того забылась, что сбросила съ себя покрывало и, казалось, никого вокругъ себя не замѣчала“.

Въ крѣпости посольство Фатмы произвело эффектъ. Когда комендантъ прочелъ принесенное ею письмо и она рассказала ему о томъ, какое уваженіе оказалъ Сенявинъ къ ихъ обычаямъ, то, тронутый великодушіемъ врага-христіанина, онъ собралъ военный совѣтъ, на которомъ рѣшено было послать къ адмиралу довѣренное лицо съ извѣщеніемъ, что крѣпость сдается на волю побѣдителя, оказавшаго почтеніе женщинамъ правовѣрныхъ. Онъ самъ проводилъ Фатму до воротъ. Его солдаты, увидавъ, что плѣнницу, по ихъ мнѣнію обезчещенную, не убили, а еще съ почтеніемъ опять отправляютъ къ невѣрнымъ, съ криками негодованія выскочили за ворота, чтобы схватить и тутъ-же убить ее.

— Смерть нечистой женщины!—кричали они.

Но комендантъ удержалъ ихъ.

Когда сопровождавшая Фатму изъ крѣпости зеленая чалма вошла на палубу адмиральскаго корабля и увидѣла, что самъ адмиралъ подаетъ плѣнницѣ ея ребенка,—чалма растерялась отъ неожиданности. Но, сразу уразумѣвъ весь трагизмъ того, что она увидѣла, чалма съ знаками глубочайшаго почтенія приблизилась къ Сенявину и, приложивъ руку къ сердцу, сказала:

— Благодарю пророка, что лично узнаю твое великодушіе. Ты писалъ,

что желаешь отпустить насъ съ имуществомъ домой. Мы признаемъ себя побѣжденными и великодушнѣмъ, и силою твоею, и не можемъ требовать отъ тебя болѣе того, что ты предложилъ намъ. Утверди условія однимъ твоимъ словомъ—и крѣпость твоя!

Зеленая чалма снова низко и почтительно склонилась.

— Я утверждаю мои условія моимъ честнымъ словомъ,—сказалъ Сенявинъ, подавая руку изумленному и очарованному чалмоносцу.

И тотчасъ-же адмиралъ приказалъ изготавить закрытыя шлюпки для перевоза на троянскій берегъ съ Тенедоса и съ адмиральскаго корабля всѣхъ турчанокъ, какъ находящихся на кораблѣ (Фатьма и двѣ другія, взятія въ плѣнъ), такъ и укрывшихся въ крѣпости.

Это послѣднее распоряженіе Сенявина привело зеленую чалму въ совершенное умиленіе. Онъ билъ себя въ грудь и поднималъ руки, восклицая: „Аллахъ-керимъ! Аллахъ-акберъ!“ Затѣмъ онъ обратился къ Сенявину:

— Великодушный газі! Зная твои права какъ побѣдителя и зная, что не легко отказаться отъ столькихъ прекрасныхъ женщинъ (онъ взглянулъ на Фатьму, возившуюся съ своимъ ребенкомъ какъ съ куклой), я не смѣлъ ходатайствовать о ихъ освобожденіи; но ты самъ ихъ возвращаешь намъ; повѣрь, что мы сумѣемъ отплатить твое великодушіе и постараемся дѣломъ доказывать тебѣ нашу благодарность.

Когда шлюпки были готовы, Сенявинъ вынесъ изъ адмиральской каюты богатое ожерелье и, подавая его Фатьмѣ, сказалъ:

— Возьми это, добрая женщина, на память о русскихъ. Если мы и причинили много вреда вашему городу, то мы это дѣлали не своею волею: мы исполняли свой долгъ. Воспитывай и ты своего сына въ правилахъ долга,—заклучилъ онъ, погладивъ ребенка по головѣ.

Фатьма цѣловала у старика руку, но едва-ли многое поняла изъ его рѣчи.

Но идя къ трапу, она припала горячими губами къ рукѣ Яшимова и горько заплакала; это были слезы восточной женщины, слезы невольницы, не имѣющей права даже любить, ибо у нея одно только право—принадлежать тому, кого она считаетъ своимъ повелителемъ. И тамъ, на родинѣ, она была раба, хотъ и любила добраго русскаго господина,—раба она и здѣсь. Но Степанъ Симоновичъ не смѣлъ даже поцѣловать ея руку—это было не въ обычаяхъ Востока. Онъ только украдкой пожалъ ее.

Шлюпка съ плѣнницами и съ зеленой чалмой быстро удалялась отъ корабля. Яшимовъ тоскливо провожалъ ее глазами. Одинъ только Броневскій замѣтилъ, какъ изъ этихъ глазъ выкатились двѣ чуть замѣтныя слезинки.

Вдругъ отъ борта удалявшейся шлюпки отдѣлилось что-то бѣлое, словно огромная чайка съ распластанными крыльями, и ринулось въ море камнемъ. Оттуда послышались крики испуга.

— Что это?.. Кто-то бросился въ море?

— Фатъма бросилась въ море!.. бѣдная!

Въ тотъ же мигъ у лѣваго борта адмиральскаго корабля мелькнуло что-то темное и послышался плескъ.

— Человѣкъ упалъ въ море!—крикнулъ кто-то.

— Яшимовъ бросился... Шлюпку! шлюпку!—отчаянно кричалъ Броневскій.

У самаго корабля всплыла черная голова Степана Симоновича. Онъ плылъ къ той шлюпкѣ, которая увозила плѣнницъ. Но силы видимо ему измѣняли: прыгнувъ съ корабля, съ значительной высоты, онъ расшибся объ воду. Онъ двигался все медленнѣе и медленнѣе. Онъ уже совсѣмъ исчезалъ подъ водой. Но въ это время багоръ спасательной шлюпки зацѣпилъ его за платье, и Яшимовъ былъ втащенъ въ шлюпку. Онъ былъ безъ чувствъ.

Фатъма утонула.

Но этимъ не кончились бѣды и скитанья нашего злополучнаго Одиссея.

По заключеніи Тильзитскаго мира съ Франціею, эскадра Сенявина должна была возвратиться въ Петербургъ. Но едва она, а вмѣстѣ съ нею и нашъ Одиссей, вышла въ Атлантическій океанъ и выдержала ужаснѣйшій штормъ, какъ узнали, что Англія объявила Россіи войну и ея флотъ ищетъ эскадру Сенявина, чтобы или взять ее въ плѣнъ, или истребить. Тогда эскадрѣ пришлось прятаться въ Лиссабонскомъ портѣ.

Яшимовъ былъ снова въ плѣну, хотя у своихъ и среди друзей. Жизнь ему окончательно опостылѣла и онъ снова искалъ смерти. Но гдѣ ее найдешь? Не въ дулѣ же своего собственнаго пистолета—это было бы малодушіемъ. Такую смерть онъ нашелъ бы и въ Африкѣ, притомъ менѣе постыдную, хотя бы въ когтяхъ у того льва, котораго, въ пустынѣ, онъ поджидалъ за кустомъ кактуса, подъ гигантскою пальмою.

Когда слухи о войнѣ съ Англіею подтвердились, „Венусъ“ изъ Лиссабона командированъ былъ обратно въ Средиземное море для отысканія тамъ эскадры капитанъ-командора Баратынскаго, а равно для извѣщенія его о томъ, куда ему идти для соединенія съ главнымъ флотомъ. „Венусъ“ долженъ былъ зайти также и въ Палермо къ русскому резиденту и въ Корѳу съ разными порученіями.

Отправился съ „Венусомъ“ и нашъ Одиссей. Былъ онъ и въ Гибралтарѣ, у береговъ Сардиніи и Корсики, гдѣ когда-то имѣлъ дѣла съ своими алжирскими и тунисскими сослуживцами, съ пиратами Абдъ-эль-Нубаромъ и Абу-Талемомъ. Былъ и въ Палермо, гдѣ англичане застучали-таки „Венусъ“, который едва не взлетѣлъ на воздухъ вмѣстѣ съ нашимъ Одиссеемъ.

Вотъ что мы находимъ у Броневскаго о послѣднихъ дняхъ нашего несчастнаго героя:

„Онъ во все время оставался на нашемъ фрегатѣ, терпѣлъ съ нами равную участь; изъ Лиссабона былъ съ нами въ Палермо и, наконецъ, изъ Триеста отправился сухимъ путемъ въ Россію. Въ Лембергѣ, когда колоннѣ должно было выходить, Яшимова не нашли на его квартирѣ;

искали по всему городу, и не было никакого о немъ слуха. Хозяинъ дома сказывалъ, что онъ ночевалъ у него одну ночь, на другой день утромъ просилъ какъ можно скорѣе исправить его пистолеты, и въ полдень, получивъ оныя, болѣе не возвращался. Въ городѣ же носился слухъ, что одинъ русскій офицеръ въ трактирѣ поссорился съ двумя польскими уланскими офицерами, прїѣхавшими въ отпускъ изъ Варшавы. И такъ весьма вѣроятно, что несчастный Яшимовъ убитъ на поединкѣ.

„Въ недалекомъ разстояніи отъ Радзивилова, въ селеніи Колки, квартировалъ с.-петербургскій драгунскій полкъ. Я, любопытствуя знать, точно-ли онъ служилъ въ семъ полку, нашелъ одного рейтара, который очень его помнилъ и служилъ пять лѣтъ въ его эскадронѣ“.

К о н е ц ъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

главы:	стр.
I. Бѣгство изъ плѣна	3
II. Ужасное море	7
III. Въ Алжирѣ	12
IV. Испытаніе	16
V. Прощаніе съ Фатьмой	18
VI. Смерть товарища	20
VII. Въ гостяхъ у пирата	22
VIII. Отводъ глазъ слѣпца	25
IX. Красавица Хамсинъ	27
X. Лицомъ къ лицу со львомъ пустыни	29
XI. Въ Тунисѣ—на невольничьемъ рынкѣ	31
XII. На тунисскомъ корсарѣ	35
XIII. Улисъ у Калипсо	38
XIV. Вѣсти о Фатьмѣ	40
XV. Изъ Корсики въ Сардинію	41
XVI. Гибель корсара	45
XVII. Наконецъ-то среди русскихъ	48
XVIII. Безутѣшная мать	50
XIX. Россійскій Геркулесъ	53
XX. Бой въ Дарданеллахъ	56
XXI. Бой у Аеона	60
XXII. Въ виду развалинъ Трои	63
XXIII. Встрѣча съ Фатьмой	65
XXIV. Она рѣшилась	67
XXV. Подвигъ Фатьмы	69
XXVI. Она побѣдила	71

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

СИЛА ВѢРЫ

БЫЛЬ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2 Мая 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К°“. Спб., Фонтанка 95.

СИЛА ВЪРЫ.

I.

Два путника.

Въ послѣднихъ числахъ іюля 1667 года, къ Густынскому монастырю, что на Удаѣ, подѣ Прилуками, манджосовско-боршенскимъ шляхомъ пробрались два путника съ котомками за плечами.

Это были молодые люди, по одеждѣ напоминавшіе монастырскихъ послушниковъ. Черные длиннополые кафтаны, напоминавшіе подрясники, подпоясаны были широкими шелковыми поясами—у одного краснымъ, а у другого—синимъ. За поясомъ у перваго торчала ручка пистолета и сбоку болталась сабля довольно внушительныхъ размѣровъ. На головахъ у путниковъ—у перваго сивая барашковая шапка, у другого—соломенный „бриль“—украинская широкополая шляпа.

Поднявшись въ гору, ближе къ Боршнѣ, путники остановились, чтобы передохнуть въ тѣни старой, развѣистой вербы, росшей у дороги.

Видъ на долину Удая съ этого мѣста былъ великолѣпный. Сѣверную даль замыкали темные лѣса Замостья, тянувшіеся до самаго Заѣзда, богатыхъ маестностей прилуцкаго полковника Горленка. Вся низина, орошаемая вьющимся, какъ сѣрая змѣя, Удаемъ, пышно блистала на солнцѣ то яркою зеленью поемныхъ луговъ, то группами роскошныхъ вербъ, то стройными рядами пирамидальныхъ тополей. Внизу, подѣ горою, отступя къ лугамъ, высились къ небу стройныя колокольни и башни монастыря, обнесеннаго бѣлою каменною оградой съ прорѣзями бойницъ, отражавшихся въ зеркалѣ водъ тихаго Удая. По лугамъ разбросанными группами паслись монастырскія стада.

— Какая благодать—это мѣсто—тихое пристанище! — сказалъ одинъ изъ путниковъ, черноволосый юноша съ большими сѣрыми глазами, задумчивыми и кроткими, какъ у дѣвушки.—Вотъ бы гдѣ постричься!

— Эхъ, Данило, Данило! стыдись это говорить! — возразилъ другой путникъ, плечистый бѣлокурый молодой человѣкъ, вооруженный пистолетомъ и саблею. — Ты не Юраско Хмельниченко. Да и тотъ, сказываютъ, бѣжалъ съ Малборгу и чернечій клобукъ подъ лавку бросилъ.

— Говорять, бѣжалъ. Ахъ, я не забуду никогда, какъ онъ въ санѣ архимандрита, служилъ однажды всюнощную въ Софійскомъ соборѣ. Это было, почитай, наканунѣ того дня, какъ его и митрополита Іосифа Тукальскаго ляхи въ Малборгъ заточили. Я былъ тогда еще хлопчикомъ по двѣнадцатому году. Помню и никогда не забуду этой всюнощной. У Юрія, говорятъ, когда онъ гетмановалъ послѣ отца, была невѣста. А когда Юраско и Тетеря были разбиты Ромодановскимъ и Сомкомъ Якимомъ да Васюкою Залотаренкомъ подъ Переяславомъ, то по Украинѣ прошла чутка, что Юраско палъ въ битвѣ. Чутка сія дошла и до его невѣсты. Почитая его давно въ неживыхъ, она часто служила панихиды по душѣ на брани убіеннаго Юрія. И вотъ единожды прилучилось ей быть въ Кіевѣ съ своею матерью. Утромъ она отправила панихиду по убіенномъ Юріи, а вечеромъ пришла въ Софійскій соборъ къ всюнощной. На этотъ самый разъ и служилъ всюнощную архимандритъ Юрій-Гедеонъ. Слышитъ она дѣвица знакомый голосъ, а лица не видитъ — изъ алтаря голосъ слышится. И вдругъ онъ выходитъ изъ алтаря съ кадиломъ... „Слава святѣй, единосущѣй“... Она смотритъ, узнаетъ его — и, аки подрѣзанный косою колось, падаетъ безъ чувствъ. Своими очами я видѣлъ, какъ выносили изъ храма бѣдную отроковицу.

— Какъ-же она не знала, что Хмельниченко живъ остался и въ чернецы постригся? — спросилъ бѣлокурый товарищъ говорившаго.

— Не мудрено — многіе ли знали это? Да и нынѣ — правда ли то, что онъ бѣжалъ изъ Малборга, или то слухъ токмо, молва народная?

— И то правда. Вонъ и нынѣ прошли вѣсти съ Запорожья, якобы тамошняго голота, козаки пропойцы утопили стольника Лодыжинскаго, посла его царскаго величества.

— Слышалъ и я это, — сказалъ черноволосый путникъ. — Горе нашей бѣдной матери Украинѣ, ежели и его царское величество на насъ прогнѣвается. Вонъ съ того боку Днѣпра шарпають ее татары съ Галгю-солтаномъ да съ богоотступникомъ Дорошенкомъ, да и по сей сторонѣ одна бѣда. Какъ-же тутъ оставаться на міру, при такой шатости людской? Единое спасеніе — стѣны монастырскія, къ примѣру — вотъ хотя сіи.

И юноша указалъ на стѣны и башни Густынскаго монастыря.

— Не дѣло ты говоришь, братъ Данило, — возразилъ товарищъ, — теперь-то и нужны нашей матери Украинѣ наши руки и головы, а съ помощью его царскаго величества она и вороговъ всѣхъ подъ пяты потопчетъ.

Черноволосый не отвѣчалъ. Они оба помолчали, прислушиваясь, какъ кто-то подъ горою пѣлъ:

И шли лихи на три шляхи,
А козаки на четыре...

— А! да и въ горлѣ же пересохло,—сказалъ первый путникъ.

— Да вотъ недалече Боршна — тамъ попросимъ добрыхъ людей, — отвѣчалъ второй путникъ.

— Молочка бы холодненькаго — ахъ! — отъ утробы матерія возлюбихъ азъ млеко, только не такъ, какъ ты, братъ Данило, — улыбнулся первый: — ты дуешь токмо словесное млеко, а я, братъ, возлюбихъ млеко отъ кравъ доенное.

— Такъ пойдемъ дальше.

— Потецемъ, брате Даниле!

Они встали, закинули котомки за плечи и пошли по направленію къ Боршнѣ, по временамъ поглядывая на красовавшуюся влѣво, въ низинѣ Удаю, уединенную Густынь.

Приближаясь къ Боршнѣ, молодые путники уже издали замѣтили обгорѣлые и разрушенные дома и хатки.

— Вѣрно пожежа была тутъ, — сказалъ первый путникъ, указывая на слѣды пожара. — Вонъ сколько хатъ выгорѣло.

— Да, это орда попустошила, — замѣтилъ его товарищъ.

— Какая орда?

— Крымская, что прошлою осенью съ проклятымъ Дорошенкомъ приходила.

Онъ остановился и оглянулся назадъ.

— Да вонъ и Манджосовка пошарпана ими, и Дѣдовцы, — сказалъ онъ.

— Н-ну! да и чешутся же у меня руки на эту крымскую саранчу! — энергически проговорилъ первый.

Они вошли въ село. Кругомъ, дѣйствительно, видны были слѣды разрушенія и пожара. Многіе дома такъ и оставались полуобгорѣлые. Другіе кое-какъ пообстроились за зиму да за весну. Печальное то было время для Украины, когда враждовавшіе изъ-за первенства гетманы Дорошенко и Брюховецкій раздирали бѣдную страну на части.

— Да тутъ, братъ, и воды, чаю, не добьешься, не то чтò молока, — сказалъ первый путникъ, качая головой.

— Пожалуй, что такъ: придется, значить, до монастыря потерпѣть.

Увидѣвъ, однако, одну обстроенную и чисто выбѣленную хатку, путники подошли къ окну и постучались.

— Благословеніе дому сему и живущимъ въ немъ! — проговорилъ первый путникъ.

— Кто тамъ? — послышался изъ избы слабый старческій голосъ.

— Богомольцы изъ Кіева, — отвѣчалъ все тотъ же путникъ: — пустите до хаты.

— Коли добрые люди — входите, — былъ отвѣтъ изъ избы.

Путники вошли въ незапертую калитку, а потомъ, черезъ крылечко, въ хатку. Хатка была просторная, чистая. Въ переднемъ углу висѣлъ старинный образъ Богородицы, писанный на доскѣ и украшенный шитымъ полотенцемъ. Передъ образомъ вмѣсто лампадки висѣлъ бумажный голубокъ.

Путники помолились на образокъ.

— Съ святымъ днемъ съ субботою,—проговорили путники.

— Спасибо на добромъ словѣ—и васъ со святою субботою, — отвѣчалъ тотъ же старческій голосъ.

Путники осмотрѣлись. У задней стѣны, на досчатомъ примостѣ, покрытомъ кошмою, лежала ветхая, сѣдая старушка.

— Здоровеньки были, бабусю сердце!—привѣтствовалъ ее первый путникъ.

— Спасибо! Пошли вамъ Богъ здоровьячко,—слабо проговорила старушка.

— Недужаете, бабусю сердце?

— Недужаю, дѣтки. Садитесь, гости будете.

Путники усѣлись на лавку около стола, застланнаго скатертью.

— Такъ изъ Кіева, говорите, дѣтки?—освѣдомилась старушка.

— Изъ Кіева, сердце бабусю.

— А куда Богъ несетъ, дѣтки?

— Въ Густынѣ, сердце бабусю, Богу молиться.

— Доброе дѣло, дѣтки.

— Только сильно притомились мы, сердце бабусю,—началъ первый путникъ, крикнувъ въ кулакъ.—Съ утра ничего во рту не было, да и въ горлѣ отъ жары пересохло: кажется, если бы молочка глечичекъ найти у доброй людини, то такъ бы у печерскихъ угольниковъ на колѣняхъ той доброй людини здорovia на сто лѣтъ вымолили.

— Ахъ, дѣтки мои, соколята!—жалобно сказала старушка:—если бы Богъ не обезножилъ меня, я бы сама слазила въ погребницу и принесла бы вамъ глечичокъ молочка; да вотъ горе—всѣ мои дѣтки въ полѣ съ утра, а я вотъ тутъ мертвою колодою лежу.

— Да мы, бабусю сердце, и сами слазимъ хоть въ пекло за молочкомъ, только дай намъ наказъ да скажи, гдѣ у васъ та погребница.

— А въ сѣнцахъ, дѣтки, въ подпольѣ: туда лѣсенка ведетъ.

Бѣлокурый путникъ не заставилъ себя долго просить. Онъ всталъ и поспѣшно вышелъ въ сѣни. Остались въ хатѣ только старуха и второй путникъ, черноволосый.

— Что это, бабусю, ваше село такъ попалено?—спросилъ послѣдній.

— Богъ наказалъ насъ—орду прошлою осенью напустилъ на нашъ край. А до Кіева поганые не доходили, сынку?

— Богъ миловалъ, бабусю.

Въ это время вошелъ въ хату первый путникъ, торжественно песя въ рукахъ глечикъ съ молокомъ.

— Вотъ оно, бабусенько сердце!—развязно проговорилъ онъ.—А гдѣ у васъ тутъ ложка да миса?

— А вонъ тамъ, сынку, у куточки на полочкѣ.

Тотъ проворно метнулся у куточокъ, нашелъ миску и ложки и радостно объявилъ:

— Да тутъ, бабусю ягодко, и хлѣбецъ святой есть.

— Да есть же и хлѣбецъ святой, сынашу: не все орда прибрала.

И расторопный гость началъ распорядиться, какъ дома. Все поставилъ на столъ, накрылъ хлѣба, налилъ полную миску молока, перекрестился и уселся за столъ.

— Ну, отче Даниле, прошу до столу.

Тотъ тоже перекрестился, поклонился старушкѣ и сѣлъ.

— На здоровьячко, дѣтки,—сказала старушка, любуясь, какъ молодцы уплетали хлѣбъ и огромными деревянными ложками хлебали молоко.

— Ай да млеко! Такого молока и самъ панъ гетманъ, поди, не ѣдалъ. Ну, ужъ и млеко! Такого, братъ, словеснаго млека ни въ какомъ писаніи не найдешь. Куда наше кіевское молоко,—вода водой!—а это—ужъ и млеко-же!

II.

Талисманъ.

Наконецъ, молоко было порѣшено дочиста, путники встали изъ-за стола, помолились и поблагодарили добрую хозяйку.

— А теперь, бабусю рыбка, расскажите намъ, что у васъ съ ногами попричилось?—обратился первый путникъ къ хозяйкѣ.

— Да какъ сказать тебѣ, сынку,—должно полагать, это мнѣ наврочено,—отвѣчала старушка.—Мочила я это день въ рѣчкѣ—холодный-таки былъ день, а на ту бѣду, смотрю, идетъ цыганъ, да и говорить: „вотъ какая, говорить, старая бабуса, а день мочить“.—Съ того его слова и начало ломить мнѣ ноги—не встану тебѣ! Такъ, видно, и въ домовину положить безногую.

— Такъ, такъ, бабусю ясочко, это точно, что цыганъ наурочилъ,—сказалъ первый путникъ, глубокомысленно качая головой.—А у меня противъ такихъ уроковъ слово есть. Я вамъ, бабцю голубко, помогу съ божіей ласки.

— Коли съ божіей, то помоги, сыночку,—обрадовалась старушка.

— Отъ печерскихъ угодниковъ то слово, бабцю ягодко, и по молитвѣ угодниковъ оно отъ всего помогаетъ. За ваше добро, бабцю, я вамъ добромъ и отслужу.

Второй путникъ глядѣлъ на него въ недоумѣніи, не понимая, въ чемъ дѣло.

— Вотъ что, братъ Данило,—обратился къ нему его разбитной товарищъ:—ты человѣкъ книжный, письменный, усердно преподобному Нестору книжному, сирѣчь лѣтописцу, молился въ пещерахъ, когда мы въ путь собирались, и самъ ты до письма охочъ. Вѣрно я говорю?

Тотъ смотрѣлъ на него и все-таки ничего не понималъ.

— Есть у тебя въ котомкѣ атраментъ, сирѣчь чернило?—продолжалъ первый.

— Есть, а что?

— А трость писательская, сирѣчь перо, есть?

— Есть и перо; да на что тебѣ?

— И папирцу кусочекъ есть?—не обращая вниманія на удивленіе товарища, допрашивалъ первый, стоя среди избы.—Есть бумага?

— И бумага есть,—былъ отвѣтъ.

— Такъ развязывай котомку и подавай мнѣ и атраментъ, и перо, и папиръ.

Товарищъ молча повиновался. Первый путникъ, серьезно перекрестившись передъ образомъ, сѣлъ за столъ, взялъ небольшой кусокъ бумаги и сталъ что-то писать на немъ. Кончивъ писаніе, онъ подаль листокъ товарищу.

— Святая, великая истина!—сказалъ этотъ послѣдній, прочитавъ написанное.

— „Аще скажу горѣ—двигнися“—помнишь?—спросилъ первый.

— Помню; только не нашимъ устами изрекать слово сіе,—отвѣчала вопрошаемый.

— На то есть уста младенцевъ, — загадочно проговорилъ первый.

Потомъ, тщательно свернувъ бумажку, такъ что она величиною стала не болѣе квадратнаго полувершка, онъ спросилъ старушку:

— А нѣтъ ли, бабцю рыбко, у васъ небольшого маленькаго шкуратка?

— Должно быть, есть: вонъ поищи въ той скринькѣ, что подъ лавкой,—отвѣчала старушка.—Мой Оверко недавно шилъ черевички для моей внучки Приси, то тамъ, можетъ, и найдутся обрѣзки.

Разбитной путникъ полѣзъ подъ лавку, вынулъ оттуда небольшой деревянный сундучокъ и поднялъ крышку.

— А! да тутъ и шкураточка есть, и шило, и дратва,—воскликнулъ онъ.—Omnia mecum!

Онъ взялъ небольшой кусокъ юхты, тщательно обрѣзалъ его сапожнымъ ножомъ, и при помощи шила и дратвы сшилъ мѣшочекъ величиною въ размѣрѣ свернутой имъ бумажки съ таинственнымъ писаніемъ. Вложивъ въ этотъ мѣшочекъ бумажку, онъ зашилъ и послѣднее отверстіе. Затѣмъ, подойдя къ образу, онъ перекрестился и положилъ мѣшочекъ на полочку, поддерживавшую образъ. Старушка, глядя на все это, тоже набожно крестилась.

— А есть на тебѣ, бабцю, крестъ?—спросилъ загадочный гость.

— Какъ же, дитятко, безъ креста-то жить? Я не басурманка,— отвѣчала старушка.

— Такъ дайте его, голубко, мнѣ: я и его положу къ образу Богородицы—нехай святится.

Старушка повиновалась. Крестъ былъ поданъ гостю и положенъ къ образу.

— Теперь посидимъ немного—пусть оно святится.

Посидѣли, помолчали.

— А какъ же, бабуся, когда приходили сюда татары и погромили васъ, какъ же монастырь-то—развѣ они его не добыли?—спросилъ второй путникъ-скромникъ, какъ въ умѣ прозвала его старушка.

— Нѣтъ, дитятко, добывать-то они его добывали, да Богородица помиловала,—отвѣчала она.

— Не взяли, значить, силой?

— Не взяли, дитятко; да говорили наши, что и Дорошенко, что съ татарами приходилъ, не велѣлъ трогать святой обители.

— А вы какъ же спаслись, бабу?—спросилъ первый путникъ.

— Мы всѣ, сынку, по камышамъ попрятались; а которыхъ нашли поганцы—всѣхъ въ полонъ погнали.

Еще помолчали. Въ оконца хатки заглядывало солнце, которое уже начало спускаться къ закату и жаръ, повидимому, началъ спадать.

— Ну, теперь оно освятилось, — сказалъ первый путникъ, вставъ и подходя къ образу.

Онъ взялъ оттуда старушкинъ крестъ и мѣшочекъ съ писаніемъ, перекрестился и поцѣловалъ то и другое. Затѣмъ онъ прикрѣпилъ дратвою мѣшочекъ къ гайтану, на которомъ висѣлъ крестъ.

— Ну, теперь, бабулю голубко, крестись,—сказалъ онъ.

Старушка съ глубокою набожною перекрестилась. Гость-цѣлитель подаль крестъ.

— Надѣнь же теперь это на шею и носи съ мольбою,—сказалъ онъ.— Да только помни, бабуля, никогда не мочи водой святой ладонки. Слышишь?

— Слышу, сынку. Помогай тебѣ, Боже, во всемъ добромъ!—съ чувствомъ сказала старушка.

— Ну, а теперь намъ пора въ путь. Спасибо за хлѣбъ, за соль, за ласку. Счастливо оставаться!

— Счастья и вамъ, дай Боже, дѣтки!—со слезами сказала старушка.— Будете возвращаться изъ монастыря, не минайте нашего двора.

— Спасибо, бабуся; не пройдемъ мимо.

И таинственные путники вышли изъ хаты.

III.

„И приступль къ нему иснуситель“...

Прошло нѣсколько недѣль.

Тихій, теплый августовскій вечеръ. Потухающая заря золотитъ кресты Густынскаго монастыря и таинственнымъ полусвѣтомъ отражается на развѣсистыхъ вербахъ, подъ которыми красиво бѣлѣютъ хатки знакомаго уже намъ села Боршны, живописно расположившагося на крутомъ полу-горѣ, подъ которымъ змѣйкою извивается Удай въ своихъ зеленыхъ, поросшихъ камышами и осокою берегахъ.

Отъ монастыря къ Боршнѣ поднимаются знакомые намъ путники. Какъ бы приветствуя ихъ возвращеніе изъ тихой обители въ полный соблазна и земныхъ радостей міръ, навстрѣчу имъ неслась прелестная мелодія украинской пѣсни, великолѣпно исполняемой стройнымъ хоромъ мужскихъ и женскихъ голосовъ. Хоръ пѣлъ:

Ой, не шуми, дуже, дибровою дуже,
Не завдавай сердцю жалю, бо я въ чужимъ краю.

— Слышишь? — въ Боршнѣ „улица“, — сказалъ первый бѣлокурый путникъ, сверкнувъ живыми голубыми глазами.

— Да, забыли, вѣрно, погромъ, — задумчиво отвѣчалъ другой путникъ, тотъ, котораго старушка прозвала „скромникомъ“.

— Да на что его помнить? Сказано — не печетесь объ утринъ, а то что еще прошлое вспоминать да впередъ загадывать! — возразилъ первый. — Ихъ дѣло молодое.

Они вошли въ самое село и шли знакомою уже улицей, которая выходила на выгонъ. Съ этого мѣста и пѣсня неслась. Видны были группы молодежи — парни и дѣвушки.

— Вонъ и знакомая хата, — замѣтилъ „скромникъ“.

— Ба-ба! да и наша бабуся на приобѣ сидитъ! — обрадовался его веселый товарищъ. — Вотъ такъ чудо! — выздоровѣла бабусянька. Ай да мы!

И старушка ихъ узнала. Она быстро, точно молодуха, вскочила съ зава-ленки и торопливо пошла къ нимъ навстрѣчу.

— Добрый вечеръ, дѣточки! — заговорила она радостно. — Вотъ при-велъ-же Господь опять васъ увидать, а я уже и не чаяла — думала сама идти въ монастырь искать васъ. А вотъ Богородица сама васъ привела, дѣтки мои, голубчики сизые! Видите, я опять на ногахъ: отъ святыхъ мощей какъ рукой сняло, и я, стара, подскакую.

Потомъ, какъ-бы испугавшись порыва радости, она бережно достала изъ-за пазухи крестъ съ мѣшочкомъ и набожно поцѣловала и то, и другое.

— Идите же къ намъ, дѣточки!—продолжала она скороговоркою.— Вонъ и старый мой, дѣдусъ сивенькій, и молодицы, и внучечка моя Прися. Милости просимъ до господы, дорогіе гости.

Они пошли рядомъ со старушкой. Навстрѣчу имъ шелъ высокій старикъ съ огромными сѣдыми усами, двумя жгутами спадавшими до самой груди, и съ такимъ-же сивымъ чубомъ, закинутымъ за ухо.

— Это жъ мои спасители, человѣче!—торопливо говорила живая старушка.—Только жъ не знаю какъ васъ звать-величать! Скажите жъ, будь ваша ласка, кто вы и батки ваши?

— Да, да, скажите, будь ваша ласка,—говорилъ и старикъ, ласково глядя на молодыхъ людей:—кого намъ благодарить.

— Такъ, такъ, человѣче! проси, проси ихъ: за кого мы должны Богу молиться, въ церкви за здравіе часточку вынимать, —щебетала старушка.

— Меня, бабуся, дразнятъ Грицькомъ, а по-уличному—Шарпай,—смѣясь отвѣчалъ веселый путникъ.

— Такъ Гриць—Григорій, а по батюшкѣ какъ?—допытывалась старушка.

— А батка моего звали Семеномъ Шарпаемъ.

— Такъ Григорій Семеновичъ, — сказалъ старикъ: — такъ и будемъ величать.

— А этого нюню зовутъ Данилкою Савченкомъ, а по-уличному дразнятъ Тупуту, —также со смѣхомъ сказалъ веселый путникъ, указывая на своего товарища:—настоящая красная дѣвушка, скромница панночка, а по-моему—просто нюня!

„Нюня“ тоже разсмѣялся.

— Ну, идите же, дѣтки, въ хату—милости просимъ!—не умолкала старушка.—А я вамъ сейчасъ яшеньку приготовлю. Присю, сердце! бѣги сюда!—кликнула она свою внучку.

На зовъ ея приблизилась молоденькая дѣвушка, почти дѣвочка, лѣтъ пятнадцати-шестнадцати, вся головка которой убрана была яркими цвѣтами, а въ черной косѣ вплетены были яркія ленты. Это была загорѣлая смуглянка съ прекрасными черными глазами и немножко вадернутымъ носикомъ. Отъ нея, казалось, пылало здоровьемъ и молодою свѣжестью.

Приблизившись къ гостямъ, она низко поклонилась. Молодой повѣса Грицько весело сверкнулъ своими плутовскими глазами, увидавъ такую красавицу. „Нюня“ же стыдливо потупилась.

— Бѣги, доню, скорѣй,—возьми въ коморѣ яичекъ да маслаца, да живой рукой!—сказала старушка хорошенькой внучкѣ.—А вы, молодички, заразъ же состряпайте ничницу, да чтобъ добрая была, хорошая!—обратилась она къ своимъ неvěткамъ.

Всѣ поторопились исполнить ея приказаніе, а Прися даже съ прискомъ побѣжала въ комору, такъ что даже мониста и дукачи на шеѣ зазвенѣли.

— А теперь жалуйте въ хату, гости дорогіе, отдохните съ дорожки,—суетилась старушка.—А тѣмъ часомъ ячница будетъ готова!

Всѣ пошли въ хату. Величавый старикъ съ богатырскими усами, до того времени молчавшій, спросилъ:

— Куда жъ вы теперь путь держите, Григорій Семеновичъ, и вы, Данило Савичъ?

— Теперь мы идемъ въ Кіевъ, человеѣче добрый,—отвѣчалъ Григорій Семеновичъ.

— Въ Кіевъ—далеконько-таки. А можно узнать, за какимъ дѣломъ?

— Учиться, дѣдушка,—въ коллегію.

— Учиться?.. Доброе дѣло. А чему васъ тамъ учать?

— Многому, дѣдушка: въ „фарѣ“ мы учились письму и языкамъ, въ „ярифмѣ“ обучались синтаксисѣ, катихизису, риторикѣ,—всего не перечтешь.

— Такъ, такъ!.. святому письму, значить, чтобъ пошамъ быть?

— Кому какъ, дѣдушка: не возбраняется и въ Запорожье тягу дать.

— Въ Запорожье!.. вотъ это люблю!—обрадовался старикъ.—У меня и по сейчасъ тамъ два сына сокола—у! какіе козарлюги.

Старушка, накрывавшая на столъ, при послѣднихъ словахъ тяжело вздохнула.

— Ахъ, сыны мои соколята, сыны мои!—какъ бы про себя проговорила она горестно.—Сколько ужъ лѣтъ не видимъ ихъ, соколиковъ.

— Орлы—сыны мои!—воодушевился старикъ.—Осенью такого чоусу задали татарамъ, что будутъ помнить Боршну.

Въ это время хорошенькая Прися внесла въ избу шипящую въ маслѣ на сковородѣ ячницу, и поставила на столъ.

— Ай-да дивчина!—весело сказалъ неугомонный Грицько:—не успѣли мы и котомокъ снять, а она ужъ и съ ячницей.

— Должно быть, на улицу душа загорѣлась,—ласково замѣтила старушка.

— Загорѣлась, бабусенько,—вскинувъ глазами на гостей, потупилась дѣвушка.

— За это люблю!—засмѣялся Грицько.—А насъ, дивчино, зачѣмъ не зовешь на улицу?

Дѣвушка вспыхнула, но тотчасъ же оправилась.

— Можетъ, вамъ на нашей улицѣ будетъ скучно,—сказала она, не поднимая глазъ.

— Отчего же скучно, Прися?—не отставалъ Шарпай.

— У насъ деревенская улица, а вы городянскіе,—отвѣчала дѣвушка.

— Ничего, намъ не будетъ скучно съ такими хорошими дивчинами.

Ячница скоро была уничтожена, и гости, вставъ изъ-за стола и помолвившись, благодарили своихъ гостепріимныхъ и хлѣбосольныхъ хозяевъ.

— Что жъ, дѣтки, пойдите на улицу, повеселитесь у насъ,—сказала старушка:—а то вамъ въ Кіевѣ, пооди, и погулять не доведется.

— Какая ужъ тамъ гуляня, бабуся сердце, когда за риторикѣ засадятъ,—засмѣялся Шарпай.—А то и лоза по синиѣ погуляеть. Идемъ, отче Даниле.

— Иди, Грицю, одинъ, я не пойду,—отозвался молодой Тупутупу.

— Вотъ тебѣ на!—да ты что?—вскинулся на него товарищъ:—развѣ ужъ постригся въ монахи, что ли, или такъ дурь на себя напустилъ? Идемъ!

— Да идите ужъ и вы, Данило Савичъ,—уговаривалъ его старикъ хозяинъ.

— Иди, дитятко,—совѣтовала и старушка:—зови его, Прися,—вонъ онъ какой несмѣлый,—сказала она внучкѣ.

— Пойдемте со мною, Данило Савичъ,—ласково проговорила Прися.

Тупутупу поднялъ глаза и встрѣтился съ глазами дѣвушки: въ нихъ было столько дѣтской невинности и искренности, что онъ сразу почувствовалъ влеченіе къ этой милой дѣвочкѣ, точно къ родной сестренкѣ.

— Хорошо, съ вами, Прися, я иду,—сказалъ онъ.

— И давно бы пора,—проговорила старушка.

— „И приступъ къ нему искуситель во образѣ Приси“,—какъ бы про себя пробормоталъ Шарпай, насмѣшливо глядя на товарища.

— Идите же, гуляйте,—проводжала ихъ старушка.

Всѣ трое вышли изъ хаты. Впереди хорошенькая Прися.

IV.

Украинская („улица“).

На дворѣ было уже совѣтъ темно, когда наша молодежь выступила на воздухъ изъ душной хаты. Звѣзды горѣли ярко, и только тѣ созвѣздія, которыя свѣтились на восточной половинѣ небеснаго свода, все болѣе и болѣе блѣднѣли по мѣрѣ того, какъ изъ-за густыхъ старыхъ вербъ ближайшей левады медленно выплывалъ золотой шаръ луны. Съ выгона неслись тѣ же гармоничныя мелодіи украинской пѣсни, которою заливалась молодая „улица“. Особенно выдавался одинъ свѣжій женскій голосъ...

„А я молоденька да не нагулялась“.

— Вотъ такъ голосъ!.. ну и голосокъ!—съ восторгомъ замѣтилъ молодой Шарпай, идя рядомъ съ Присею.

— Это поетъ такъ хорошо Катря Яструбенкова,—замѣтила дѣвушка.

— Золотое горло!—продолжалъ хвалить молодой бурсакъ.

— Она у насъ первая—всегда передъ ведетъ,—пояснила Прися.

— Ну, так она и будет моя дивчина на нынѣшнюю „улицу“,— сказалъ Шарпай весело.

— Оно и кстати, — замѣтила Прися:— теперь у нея нѣтъ своего парубка: ея Опанасъ ушелъ недавно на Запорожье, а другихъ парубковъ она гонить отъ себя.

— А меня не прогнать?—спросилъ Шарпай лукавымъ голосомъ.

— Нѣтъ, вы хорошій парубокъ,—серьезно отвѣчала Прися.

Скоро они подошли къ гулявшей молодежи. Ихъ замѣтили.

— А! смотрите—Прися вышла на „улицу“,—раздались голоса.

— Прися! Прися! ходи сюда скорѣй!—кричали подружки:—а мы ужъ думаемъ, что ты сегодня совсѣмъ не выйдешь.

— А! да она и новыхъ парубковъ привела съ собой!.. ай да тихоня!

— Кто такіе?.. кто, Прися?—тихо спрашивали подружки.

— Паничи изъ Кіева—у насъ почують,—также тихо отвѣчала Прися.

Шарпай сейчасъ же самъ отрекомендовался всей „улицѣ“.

— Живеньки-здоровеньки, панове парубоцтво и вы, дивчаточка! Съ „улицею“, съ доброю гулянкою, съ веселою спѣванкою! А я—Гриць, тотъ Гриць, про котораго поють:

Ой, не ходи, Грицю, да на вечерниці,

Бо на вечерницяхъ дивки чаривниці!

— А я чаровницъ не боюсь, а съ Катрею червявою да повеселюсь!

— Ха-ха-ха! — заволновалась „улица“:—вотъ такъ значный парубокъ!

— Ужъ и Катря ему сподобалась. Слышишь, Катре?

— А это у насъ черница—красная дѣвица!—указалъ Гриць на стоявшаго въ сторонѣ своего скромнаго товарища:—на „улицу“ идетъ „со святыми упокой“ поеть.

Снова общій хохотъ. И всѣ окружили весельчака.

— А гдѣ-же Катря?.. Подавайте мнѣ Катрю!—не унимался Гриць.

— А ось я!—выступила впередъ высокая, статная дѣвушка, въ симпатичномъ голосѣ которой такъ хороши были грудныя ноты.

Гриць, отчаянный бурсакъ, который ни передъ чѣмъ не отступалъ, неловко понятился назадъ.

— Да какая же она красавица!—тихо проговорилъ онъ, пораженный неожиданностью.

Дѣвушка была, дѣйствительно, хороша. Освѣщенная только-что выглянушею изъ-за темныхъ вербъ луною, она казалась и стройнѣе всѣхъ, и красивѣе. На миловидномъ, нѣсколько продолговатомъ личикѣ болѣе всего выдавались ея глаза: казалось, они были слишкомъ велики для такого личика; но въ этомъ-то и была вся ихъ чарующая прелесть. Это были чудные дѣтскіе глаза, принадлежавшіе взрослой дѣвушкѣ.

При послѣднемъ восклицаніи кіевского бурсака, смѣлая дѣвушка неловко потупилась, но Гриць скоро оправился.

— Не диво, что у тебя такой голосъ,—сказалъ онъ, любуясь красавицей.—Не диво, что у тебя и парубника нѣтъ: ты настоящая чаровница—тебя и бояться. А я тебя не испугаюсь—я и кievскихъ вѣдьмъ не боюсь.

— Ай да казакъ!—раздались одобрителные голоса.

— Казакъ — только чубъ не такъ! Эхъ! ударить бы подковками. Хлопцы!—крикнулъ Гриць:—есть у васъ музыка?

— Есть! есть!—отвѣчали и парни, и дѣвушки.

— Такъ ушкварьте что-нибудь веселенькое, чтобъ и вербы заплясали!

Въ отвѣтъ на это, какъ бы по уговору, разомъ завизжала скрипка, загудѣлъ бубенъ и запищала деревянная „сопилочка“.

Не успѣла опомниться красавица Катря, какъ отчаянный бурсакъ уже вертѣлъ ее мощною рукою и выбивалъ отчаянные „выкрутасы“ не знавшими устали ногами.

— Вотъ такъ парочка! Ай да Гриць!.. ай да Катря!

Вслѣдъ за ними понеслись и другія пары. При лунномъ свѣтѣ это было что-то фантастическое.

— А отчего вы не танцуете?—спросила Прися своего кавалера, молодого Тупуту.

— Я не люблю танцевать, Прися,—отвѣчалъ этотъ послѣдній.

— Такъ вамъ у насъ скучно, должно быть?

И дѣвушкѣ почему-то вдругъ такъ стало жаль молодого бурсака, что она готова была заплакать. Ей представилось, что онъ тоскуетъ, что онъ на чужбинѣ, далеко отъ родного Кіева, что онъ такой одинокій. Почему-то ей тутъ же вспомнился ея отецъ, тоже на чужбинѣ, далеко-далеко „за Порогами“, и такой же одинокій. И ей такъ и захотѣлось прильнуть къ этому бѣдненькому паничу, какъ къ родному брату и сказать ему: „милый, милый! не надо скучать...“

Только юность способна на такіе чистые порывы, и этотъ невинный порывъ хорошенькой дѣвочки разрѣшился тѣмъ, что она быстро вынула изъ своихъ волосъ нѣсколько васильковъ, украшавшихъ ея черную головку.

— А вотъ я вамъ волошковъ дамъ на бриль—снимите,—сказала она, протягивая руку къ шляпѣ молодого человѣка.

Тотъ повиновался и снялъ шляпу.

— Вотъ вамъ, паничу,—ласково сказала дѣвушка.

— Спасибо, милая Прися.

Утомленная танцами, остальная молодежь перестала кружиться. Музыка замолкла.

— А теперь, Катрюсю, заводи,—сказалъ Гриць, тяжело дыша и любуясь своею дѣвушкою.

— Якожъ вамъ?—спросила Катря, поправляя цвѣты на головѣ.

— А той, что вы ужъ пѣли раньше:

„Ой, не шуми, луже, дибровую луже“.

— Эта пѣсня какъ разъ для насъ съ Данилю! „Не завдавай сердцу жалю, бо я въ чужомъ краю!..“

Дѣвушка начала низкими грудными нотами. Ее поддержали другіе голоса, и женскіе и мужскіе. Пѣсня все росла и росла; мелодія ея, задумчивая какъ плачь, какъ тихое отчаяніе, глубоко хватала за сердце.

Застѣнчивый бурсакъ, что стоялъ нѣсколько въ сторонѣ съ молоденькою Присею, любилъ пѣніе. Въ хорѣ кievской коллегіи его голосъ высоко цѣнился:—это былъ теноръ необыкновенно симпатичный. И молодой Тупуту присоединилъ свой чудный голосъ къ стройному хору „улицы“: онъ запѣлъ тоже.

Содержаніе пѣсни вполне соответствовало прекрасной мелодіи, выразившей его: это была пѣсня казака на чужбинѣ.

Тупуту пѣлъ съ такимъ воодушевленіемъ, молодой, свѣжій и сильный голосъ его такъ хваталъ за сердце, что стоявшая около него Прися не выдержала и заплакала. Молодой пѣвецъ замѣтилъ это.

— Ты объ чемъ это, Прися, дивчинка? — тихо спросилъ онъ, нагибаясь къ дѣвушкѣ.

— Мнѣ тату жалъ, — отвѣчала она, всхлиывая, — онъ тоже въ чужомъ краю, за Порогами... И васъ мнѣ жалъ... вы тоже...

Пѣсня, между тѣмъ, оборвалась. Да и пора уже была улицѣ расходиться. Нѣкоторые изъ молодежи удалились раньше, по обычаю, парочками. Стали расходиться и другіе, тоже парочками: каждый парубокъ, въ силу вѣкового обычая, долженъ былъ проводить свою „дивчину“, и непременно провести съ нею ночь—„спать“ съ нею: это обязательно.

Гриць, не простившись даже съ своимъ пріятелемъ, пошелъ провожать свою подругу Катрю.

У.

Ночь въ клунѣ.

Молодой Тупуту остался на выгонѣ одинъ со своею спутницею. Онъ звалъ священные обычаи своей родины, онъ выросъ въ нихъ и воспитался. Онъ зналъ, что обязанъ проводить дѣвушку домой и провести съ нею ночь, какъ если бы она была подругою его жизни. Онъ долженъ былъ „спать“ съ этою дѣвушкой. Нарушить обычай, освященный вѣками, онъ не могъ. Это значило бы публично оскорбить дѣвушку, опозорить, бросить ее, какъ отверженную, съ которой ни одинъ молодой человѣкъ не хотѣлъ знаться. Тупуту это зналъ и не желалъ бы ни за что огорчить дѣвушку, родные которой такъ радушно приняли его и довѣрили ему свою молоденькую внучку. Онъ долженъ „спать“ съ нею.

Хорошъ этотъ обычай или не хорошъ — это другой вопросъ. Но онъ всегда существовалъ на Украинѣ и существуетъ до настоящаго времени, какъ въ Испаніи—обычай „los novios“: это то, что на Украинѣ назы-

вается „жениханьем“. Онъ или она женихаются съ такою-то или съ такимъ-то.

Во время „жениханья“ они узнаютъ другъ друга — умъ, характеръ, привычки, хорошія или дурныя стороны. Потомъ, узнавши другъ друга, они и соединяются законнымъ бракомъ. Могутъ и разойтись, и это не портитъ репутаціи дѣвушки, потому что объ этомъ знаютъ и родные ея, и знакомые.

Не пойти съ дѣвушкою „спать“—это все равно, что въ порядочномъ обществѣ публично пригласить дѣвушку, на балѣ, на такую-то кадрили или на мазурку и отказаться отъ нея. Это—публичная обида.

Тупутупу, такимъ образомъ, долженъ былъ идти „спать“ съ Присею.

— Пойдемте жъ и мы домой,—сказала она все еще съ заплаканными глазами.

И они пошли. Молодой бурсакъ былъ очень смущенъ и молчалъ. Скоро они очутились на дворѣ знакомаго дома. Въ хатѣ уже не было огня; значитъ—старикъ уже спалъ. Ночь была тихая, лунная и теплая, даже душная.

— Въ сѣняхъ теперь душно будетъ спать,—тихо сказала дѣвушка:—мы пойдемъ лучше въ клюню.

Тупутупу молчалъ, остановившись у крылечка, ведущаго въ хату.

— Вы подождите здѣсь,—продолжала тихо Прися:—а я пойду принесу рядно и подушку.

Сказавъ это, она исчезла въ сѣняхъ. Тупутупу стоялъ и ждалъ. Черезъ минуту дѣвушка появилась опять на крылечкѣ, держа въ рукахъ подушку и простыню, и еще что-то.

— Я и юбку захватила,—пояснила дѣвушка:—если къ утру будетъ холодно, мы юбкою укроемся.

На Украинѣ „юбка“ означаетъ совсѣмъ не то, что въ Великой Россіи: это—длинное женское верхнее одѣяніе, въ родѣ кафтана или пальто, непременно суконное и большею частью изъ бѣлаго сукна.

— Пойдемте же,—шепнула дѣвушка и весело прибавила:—а дѣвушка такъ храпѣть, что на Запорожѣ слышно.

Она пошла въ глубь двора, гдѣ стояла „клуна“. Это былъ новый просторный овинъ, недавно, послѣ татарскаго погрома, покрытый свѣжею соломой. Въ овинъ и вошла наша юная парочка.

— Ахъ, какъ тутъ хорошо будетъ спать на свѣжемъ сѣнѣ, — весело говорила дѣвушка:—тутъ и мухъ никогда не бываетъ.

Въ клунѣ было свѣтло, потому что въ широкія ворота ея во всѣ глаза глядѣла полная луна.

Прися съ привычною ловкостью взяла нѣсколько охапокъ свѣжаго душистаго сѣна, ровно разложила его по землѣ, еще бросила охапку, чтобы было мягче, выровняла, покрыла простыней и въ изголовье положила подушку.

— А! да я ловко же намостила!—весело сказала она, пробуя лечь на импровизированную постель.

Потомъ вскочила на ноги, бережно сняла съ головы повязку съ цвѣтами, положила ее къ сторонѣ, раза три набожно перекрестилась и легла на постель, оставивъ на подушкѣ мѣсто и для головы своего парубка.

— Ахъ, какъ ловко!—снова сказала она, весело потягиваясь:—вотъ хорошо будетъ спать! Ну, а вы, паничу?—можетъ вы привыкли, чтобы мамъ наймиты или наймички чоботы снимали?

И она весело разсмѣялась. Невольно разсмѣялся и юный парубокъ.

— Нѣтъ!—я сейчасъ.

Онъ снялъ свою шляпу, тоже отложилъ ее въ сторону, перекрестился, прочиталъ обычную молитву и легъ рядомъ съ дѣвушкой.

— У! какой же вы грузный, паничу!—смѣялась она:—я чуть не свалилась съ подушки. Ну, такъ я же буду держаться за васъ.

И она обвила его шею правою рукой и ближе придвинулась къ нему.

— Вамъ ловко?—спросила она.

— Ловко, милая, — тихо отвѣчалъ онъ, и сталъ тихо гладить рукою ея черную головку.

Она казалась ему младшею сестренкою—совсѣмъ ребенку, хотъ и ему самому было всего семнадцать лѣтъ.

— А у васъ мама есть? — спросила дѣвушка и тоже погладила его голову.—А вы добрый, у васъ мягкіе волосы. Такъ есть мама?

— Есть, милая.

— А тато?

— Батько въ Кіевѣ.

— А кто онъ?

— Сотникъ—Макаровской сотни, а теперь состоитъ ктитормъ Кирилловскаго монастыря, въ Кіевѣ.

— А! такъ вы большіе паны, а мы просто казачьяго роду.

— Да и мы казачьяго.

— Все же!—сотники... паны. А чему васъ учать въ Кіевѣ?

— Многому, милая Прися.

И онъ началъ рассказывать о своемъ ученіи, о жизни въ бурсѣ. Дѣвушка еще ближе придвинулась къ нему и жадно слушала. Онъ долго говорилъ, совсѣмъ забывъ, кто его слушаетъ.

Юный Тупуту говорилъ о своемъ прошломъ, и о своихъ мечтахъ насчетъ будущаго, о прелестяхъ отреченія отъ міра, для вѣчной любви къ источнику этой божественной любви... Онъ все позабылъ—забылъ даже гдѣ онъ, что съ нимъ...

Вдругъ онъ очнулся какъ отъ сна! Чья-то рука обвилась вокругъ его шеи, чье-то ровное, тихое дыханіе на его плечѣ, у самого лица: — на его плечѣ сномъ невинности спала дѣвушка; теперь мѣсяцъ, пробравшись въ клуню, молочнымъ свѣтомъ обдавалъ и прелестное личико спящей дѣвушки, и ея растрепавшуюся пышную косу, и что-то шепчущія, полураскрытыя розовыя губки. Она была дивно хороша.

Будущій святитель долго глядѣлъ на это кроткое, дѣвственно-невинное

лично, и набожно, трижды, свободною лѣвою рукою перекрестилъ престелную, покоившуюся у него на плечѣ голову.

— Богъ да хранитъ тебя, чистое, непорочное дитя, — тихо прошепталъ онъ и закрылъ глаза, чтобы и самому заснуть.

Когда онъ, на зарѣ, проснулся, дѣвушки уже не было около него. Только цвѣты, съ вечера украшавшіе ея престелную голову, всё лежали на свободной половинѣ подушки.

VI.

Отпѣваніе живого мертвеца.

Прошелъ годъ.

Въ Кіевѣ, въ главной церкви Кирилловскаго монастыря, идетъ божественная литургія. Служеніе отправляетъ самъ настоятель, игуменъ Мелетій, въ мірѣ по фамиліи Дзикъ. Служба очень торжественная, потому что въ этотъ день—престольный праздникъ монастыря. Всѣ свѣчи въ паникадилахъ зажжены и безчисленные ихъ огоньки ярко отражаются на блестящемъ золотѣ и серебрѣ дорогихъ окладовъ мѣстныхъ иконъ.

Нѣсколько казацкихъ полковниковъ правобережной Украины и самъ тогочасный гетманъ Дорошенко почтили службу своимъ присутствіемъ.

Дорошенко, задумавъ утопить соперника своего гетмана лѣвобережной Украины, Брюховецкаго, и сдѣлаться гетманомъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, эту весною 1668 г., очень усердно посѣщаетъ православное служеніе, желая показать народу, что хотя онъ, правобережный гетманъ, и ставленникъ католическаго короля и католической Рѣчи Посполитой, однако, все-таки остается вѣрнымъ сыномъ православной церкви.

Стоя вмѣстѣ съ полковниками на почетномъ мѣстѣ, нѣсколько возвышенномъ и огороженномъ деревянною позолоченною рѣшоткою, гетманъ задумчиво гладилъ свой длинный, сильно посеребренный сѣдиною усь, и мысли его, казалось, далеко были отъ того, что передъ нимъ совершалось.

А совершалось нѣчто, выходящее изъ ряда обыкновеннаго церковнаго служенія. Монастырскіе колокола звонили какимъ-то страннымъ, не веселымъ тономъ. Такъ звонятъ только по покойникѣ. Но кого же хоронятъ? Гдѣ этотъ невидимый покойникъ?

— Бабусю, а бабусю!—шепчетъ молоденькая дѣвушка, стоящая у лѣваго клироса, рядомъ съ сѣдою старушкою:—кажется, кого-то отпѣвать будутъ.

— Не знаю, дитятко, должно быть отпѣвать, — тихо отвѣчаетъ старушка, и обѣ начинаютъ креститься.

Но какъ онъ, повидимому, ни усердно молятся, дѣвушка, однако, кладетъ на себя кресты разсѣянно, часто, какъ бы украдкой, оглядывается, поглядываетъ по сторонамъ и, видимо, кого-то ищетъ или ожидаетъ. Красивая головка ея, перевязанная голубою лентою, украшена живыми цвѣтами, а въ черную густую косу вплетены яркія разноцвѣтныя „стежки“. Она, видимо, рада празднику, рада, что видитъ такую массу народа и на-

рядныхъ „пановъ“, и ее все удивляетъ. Ничего подобнаго она прежде не видѣла ни у себя въ Боршнѣ, ни въ церквахъ Густынскаго монастыря, ни даже въ своемъ городѣ, въ Прилукахъ.

А колокола все звонятъ, да какъ-то страшно, въ перебой, съ какимъ-то разладомъ въ голосъ, точно съ плачемъ. Да развѣ и можетъ быть иной звонъ на похоронахъ! Это печальный, горькій звонъ.

Но кто же покойникъ? Гдѣ онъ? Многіе, вмѣстѣ съ дѣвушкой въ лентахъ, тоже начинаютъ оглядываться, тѣмъ болѣе, что въ погребальный или въ „покойницій“ перезвонъ разомъ, волной, ворвались человѣческіе голоса—пѣніе, да такое глубоко-поэтическое и горькое, что, казалось, всѣ вздрогнули и стали прислушиваться. Даже задумчивый Дорошенко пересталъ гладить свой посинѣвшій отъ думъ и коварства длинный усъ и сталъ вслушиваться въ загадочное пѣніе, которое несло откуда-то извнѣ въ раскрытыя настежь церковныя двери и окна.

Скоро можно было разслышать слова гимна. Превосходный хоръ пѣвчихъ Кирилловскаго монастыря не пѣлъ, а буквально рыдалъ и голосомъ, и словами.

Дорошенко понялъ, какимъ святымъ гимномъ оглашается воздухъ: „житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей, къ тихому пристанищу твоему притекъ, воію ти: возведи отъ тли животъ мой, многомилостиве!“

„Тихое пристанище... да, тихое,—неволью думалось гетману,—и я когда-то притеку къ сему тихому пристанищу, и надо мной будутъ также пѣть... А гдѣ найду это пристанище—въ полѣ ли, подъ вражьиими ударами, въ московскомъ ли плѣненіи?“..

Онъ дрогнулъ и оглянулся, оглянулись всѣ. Сзади стоявшіе какъ-то колыхнулись: должно быть вносятъ покойника.

А пѣвчіе, идя за покойникомъ, казалось, исходили слезами: „житейское мо-о-оре!“...

Толпы молящихся еще раздвинулись.—„Вотъ покойникъ!“

У Дорошенка какъ-то изумленно дрогнули вѣки его красивыхъ сѣрыхъ глазъ. Дѣвушка въ лентахъ поднялась на цыпочки и даже розовыя губы ея дрогнули.

Вотъ покойникъ! Но что же это?.. Нѣтъ ни гроба, ни крышки, и покойника не несутъ, а ведутъ подъ руки!.. Какъ! мертвеца ведутъ?.. или это живого отпѣваютъ?.. Зачѣмъ же это?

— Мати Божа, якъ страшно!—неволью въ ужасѣ, прошептала дѣвушка въ лентахъ.

А хоръ пѣвчихъ, уже въ церкви, прорыдалъ послѣднимъ рыданіемъ: „возведи отъ тли животъ мой, многомилостиве!“.

Отпѣваемого ведутъ подъ руки, и онъ весь покрытъ не бѣлымъ, а чернымъ саваномъ съ бѣлыми крестами и бѣлымъ костякомъ—*memento mori*... Всѣ со страхомъ разступаются.

За отпѣваемымъ, во главѣ хора, идетъ кто-то знакомый. Дѣвушка въ лентахъ узнаетъ его, хоть онъ теперь и не похожъ на себя—весь запла-

канный, даже глаза распухли отъ слезъ. Это тотъ веселый Гриць, тотъ кievскій бурсакъ, который въ Боршнѣ, на улицѣ, танцевалъ съ хорошенькою Катрею и пѣлъ въ хорѣ парубковъ:

Ой, не шуми, луже, дибровою луже!

Зачѣмъ онъ тутъ? Объ чемъ онъ такъ плачетъ—надрывается?

Отпѣваемого подводить къ амвону и вдругъ съ головы его падаетъ саванъ, а подъ нимъ другой, бѣлый саванъ, настоящій, и изъ савана выглянуло молодое, прекрасное лицо юноши, хотя въ лицѣ этомъ — ни кровинки!

По церкви волной пронесся глухой стонъ изумленія и испуга.

— Бабусю!—раздался вдругъ чей-то крикъ.

Всѣ оглянулись. Глянулъ даже Дорошенко. Глянулъ и тотъ — юноша въ саванѣ.

Дѣвушка въ лентахъ—это она крикнула съ испуга—стояла вся пунцовая съ полными слезъ глазами.

Она узнала этого юношу въ саванѣ, онъ—узналъ ее, и блѣдное безъ кровинки лицо его перекрылось волнами прилившей къ щекамъ и ко всему лицу крови.

Дѣвушка вспомнила ночь въ „клубѣ“, вспомнила, какъ онъ ласково гладилъ ея голову, какъ она уснула у него на плечѣ,—и слезы градомъ полились изъ ея хорошенькихъ, за минуту веселыхъ глазъ.

Увидѣвъ ее плачущею и узнавъ въ ней боршенскую хорошенькую Присю, а рядомъ съ нею—ту бабусю, которую онъ въ прошломъ году нечаянно вытѣчалъ,—веселый товарищъ юноши въ саванѣ, теперь распухшій отъ слезъ, вновь залился горькими слезами.

VII.

Юноша въ саванѣ.

— Откуда притекъ еси въ обитель сію?—вдругъ раздался голосъ среди гробового молчанія.

Дорошенко дрогнулъ отъ неожиданности и глянулъ туда, откуда раздался голосъ. Предъ юношей въ саванѣ стоялъ высокій сѣдобородый инокъ въ клобукѣ и въ черныхъ ризахъ, какъ на похоронахъ. Дорошенко узналъ его—это игумень Мелетій.

— Откуда притекъ еси?

— Изъ міра,—тихо, но внятно отвѣчалъ юноша въ саванѣ.

— Почто притекъ еси?—продолжалъ игумень дрогнувшими отъ жалости губами.

— Хочу пріять ангельскій чинъ, —прошептали губы изъ-за савана, закрывавшаго курчавую голову юноши и часть лица.

— О-о-о-хъ!—пронесся по церкви какъ бы стонъ умирающаго.

Кто такъ страшно стонетъ? Это въ сторонѣ, у лѣваго клироса, стоитъ женщина, уже не молодая, а ее поддерживаетъ благообразный старикъ, съ сѣдыми усами и сѣдымъ казацкимъ чубомъ. По лицу его и по усамъ катятся слезы.

— Кто это, пане Василю? — тихо спросилъ Дпрошенко стоявшаго около него полковникъ.

— Это отецъ и мать постригаемаго, пане гетмане, — почтительно отвѣчалъ полковникъ.

— А что они за люди? какого стану?

— Стану шляхетнаго, пане гетмане: онъ—казацкій сотникъ Макаровской сотни, Савва Тупуту, а здѣсь онъ ктитормъ.

— Бѣдная!—слышится соболѣзнованіе женщины:—Боже! какъ убивается!

— Еще-бы!.. такой молоденькій: ему всего семнадцать лѣтъ.

— Не нужды-ли ради мірскія притекъ еси къ намъ?—продолжаются допытыванья у амвона.

— Ни, отче.

— Не страха ли ради?

— Ни, отче.

— Не корысти ли ради?

— Ни, отче.

— Не принужденіемъ ли?

— Ни, отче.

— Не отчаянія ли ради?

— Ни-ни, отче!

Вся церковь рыдаетъ, но это рыданіе тихое—плачъ безнадежности.

Но теперь начинается жестокий, безжалостный допросъ, какого и въ судѣ не бываетъ.

— Отрицаешься ли отца и матери?

— Ей, отче, Господу споспѣшествующу.

— О-о, Владычица!—раздался хриплый, удушающій крикъ: — отца-матери одрикается!

Старикъ Савва, съ искаженнымъ жалостью лицомъ, съ трясущеюся нижнею челюстью, дрожащими руками насильно закрываетъ ротъ задыхающейся отъ горя матери.

— Отрицаешься ли всѣхъ сродниковъ твоихъ?

— Ей, отче, Господу споспѣшествующу.

— Отрицаешься ли друзей и всѣмъ знаемыхъ твоихъ?

— Ей, отче, отрицаюсь.

— Данило! — глухо прошепталъ плачущій Гриць: — а наше побратимство?

Игуменъ строго глянулъ на него изъ-подъ нависшихъ сѣрыхъ бровей. По лицу Дорошенки скользнула неуловимая улыбка и спряталась въ серьезныхъ глазахъ.

Съ амвола сходитъ монахъ съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ, прикрытомъ „воздухами“, лежатъ большія ножницы. Монахъ подходитъ къ игумену и низко-низко кланяется. Отецъ Мелетій протягиваетъ руку и беретъ ножницы.

Что-то рѣзко звякнуло о каменный помостъ церкви. Многіе вдрогнули—крестятся. Что это? Это ножницы упали на полъ.

— Подаждь ми ножницы сіи!—строго возглашаетъ отецъ игумень.

Юноша въ саванѣ нагибается, поднимаетъ съ полу ножницы и съ глубокимъ поклономъ подаетъ ихъ отцу игумену.

Ножницы опять звякають объ полъ. Опять тотъ же возгласъ:

— Подаждь ми ножницы сіи!

Юноша въ саванѣ опять нагибается и съ поклономъ подаетъ ножницы.

И этого мало. Ножницы опять брошены на полъ.

— Подаждь ми ножницы сіи.

Какъ подкошенный цвѣтокъ падаетъ на полъ дѣвушка въ лентахъ. Юноша въ саванѣ зашатался и, поднимая въ третій разъ ножницы, уронилъ ихъ. Но онъ тотчасъ же поднялъ ихъ и еще съ болѣе глубокимъ поклономъ подаетъ игумену.

Общее движеніе. Это выносятъ изъ церкви упавшую безъ чувствъ мать постригаемаго и дѣвушку въ лентахъ.

— Ну, баня пакибытія!—процѣдилъ сквозь усы Дорошенко:—что твои турецкія ядра!

— Смиренію учить, пане гетмане,—пояснилъ полковникъ.

— Истинно ангельскій чинъ! Не легко онъ достается.

Слышно, какъ скрипятъ ножницы, отрѣзая пряди волосъ на головѣ юноши въ саванѣ. Постригли!

VIII.

Плѣнникъ Мазепа.

Прошло семь лѣтъ. Наступилъ 1675-й годъ.

Мы опять въ Густынскомъ монастырѣ. Раннимъ весеннимъ утромъ къ монастырскимъ воротамъ подъѣхала небольшая группа всадниковъ. По одеждѣ сразу было замѣтно, что группа всадниковъ составляла небольшой запорожскій отрядъ.

У самыхъ воротъ всадники осадили лошадей. Навстрѣчу имъ вышелъ молодой служка-привратникъ и съ любопытствомъ осматривалъ запорожскихъ молодцовъ въ высокихъ смушковыхъ шапкахъ съ красными, синими, и зелеными верхами, въ широчайшихъ зеленыхъ и синихъ шароварахъ, убранныхъ въ красные и желтые козловые сапоги, съ высокими подборами, и приполномъ походномъ вооруженіи.

— Пугу! пугу! пугу! — прокричаль „пугачемъ“—филиномъ одинъ изъ запорожцевъ.

— Пугу! пугу!—радостно отвѣтилъ молодой привратникъ.—Кого Богъ посылаетъ?

— Козаки съ Лугу!—былъ отвѣтъ: —отворяй пошире ворота! Отъ самого пана кошевого, отъ Сирка посланцы.

Привратникъ растворилъ обѣ половинки воротъ. Отрядъ въѣхалъ въ монастырскую ограду.

Начальникъ отряда—молодой человѣкъ, бѣлокурый, съ огромными усами, соскочивъ съ лошади, крикнулъ привратнику:

— Эй, хлопче, выводи хорошенько коня.

— Заразь, пане отамане!—отвѣчалъ привратникъ.

— А какъ пройти въ келію отца Дмитрія проповѣдника?—спросилъ тотъ, кого назвали атаманомъ.

— Первая дверь направо, пане отамане! вонъ та, — онъ указалъ рукою.

— Пойдемте, Иванъ Степановичъ,—позвалъ тотъ, котораго называли атаманомъ.

Иванъ Степановичъ—уже не молодой мужчина, но необыкновенно живой, съ сѣрыми выразительными глазами, въ богатомъ одѣяніи, но безъ оружія. Ласковые глаза его, казалось, проникали насквозь того, съ кѣмъ онъ говорилъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то подкупали къ нему довѣріе.

Они вошли въ показанную дверь и постучались.

— Съ Божіимъ благословеніемъ вниди,—послышалось изъ келіи.

Они вошли въ свѣтлую, просторную келію. У широкаго и высокаго аналоя, заваленнаго книгами, стоялъ невысокій, но стройный монахъ и что-то писалъ. При входѣ гостей онъ положилъ перо и съ недоумѣніемъ глядѣлъ на вошедшихъ.

— Не узнаешь?—съ улыбкой спросилъ тотъ, кого звали атаманомъ.—Эхъ, Данило, Данило!.. эхъ, ты, Данько!

Краска мгновенно залила блѣдное, молодое и красивое лицо монаха.

— Гриць! Гриша... Григорій Семеновичъ! — несвязно, но радостно бормоталъ онъ.—Ты ли это, друже?

— Я, братъ Данько,—весело отвѣчалъ пришедшій.

— Я давно уже не Даниль, но Дмитрій, — слабо протестовалъ монахъ.

— Для меня ты всегда Данилка, хоть ты будь митрополитомъ! — не уступалъ пришедшій.—Ну, братуха, поцѣлуемся!

Монахъ верѣшительно отступилъ назадъ, бормоча: „Мнѣ нельзя, брате“.

— Да я жъ не баба и не дѣвка! Что ты, братъ?—смѣялся пришедшій:—вѣдь я не Прися—помнишь въ Боршнѣ? Да ты и ея ни разу не поцѣловалъ. Эхъ, нюня!

Они все-таки поцѣловались.

Читатель, конечно, узналъ въ молодомъ веселомъ запорожцѣ бывшаго веселаго кіевскаго бурсака. Несмотря на свою молодость, Грицько Шар-

пай былъ уже на Запорожьѣ замѣтнымъ лицомъ: „товариство одного изъ запорожскихъ куреней давно избрало его своимъ куреннымъ „отаманомъ“ и очень было довольно его распорядительностью и беззавѣтною храбростью. Его любилъ и самъ кошевой Сирко.

— А это—Иванъ Степановичъ Мазепа, бывшій генеральный писарь у тогочаснаго гетмана Дорошенко, а теперь—мой полоняникъ,—представилъ своему другу Шарпай прибывшаго съ нимъ незнакомца.

Отецъ Димитрій выразилъ удовольствіе, что принимаетъ у себя дорогого гостя и что радъ съ нимъ познакомиться, а Мазепа отвѣтилъ, что онъ уже имѣлъ честь видѣть отца Димитрія.

— Извините, я что-то не помню, — недоумѣвающе сказалъ этотъ послѣдній.

— Да, вы не можете помнить, святой отецъ,—любезно замѣтилъ Мазепа: — вы, я думаю, никого и ничего не видѣли: въ первый разъ я увидѣлъ васъ въ Кіевѣ, когда васъ постригали. Этому уже семь лѣтъ, если я не ошибаюсь. А потомъ такъ много слышалъ о вашей замѣчательной элоквенціи. Васъ почитаютъ за самаго краснорѣчиваго оратора и духовнаго витію во всей Украинѣ обѣихъ сторонъ Днѣпра.

Отецъ Димитрій скромно потупился и просилъ гостей садиться.

— Я находился тогда въ свитѣ пана гетмана, когда вы принимали ангельскій чинъ,—пояснилъ Мазепа.

— А! это тогда, — засмѣялся Шарпай, — когда онъ отрекался отъ меня, какъ отъ сатаны, а я какъ дуракъ ревѣлъ.

Отецъ Димитрій скромно улыбнулся, а Мазепа не безъ лукавства добавилъ:

— Еще тогда одна прекрасная дѣвица, пораженная суровостью обряда постриженія, упала въ обморокъ.

— Это хорошенькая Прися-то? Какъ-же, помню,—перебилъ его Шарпай, — только не суровость эта ее поразила, а нѣчто другое, — и онъ коварно посмотрѣлъ на своего друга.

— Что же, именно, ежели спросить позволительно? — со скрытымъ ехидствомъ спросилъ Мазепа.

— Всѣ Фармагѣй, а по нашему, по бурсацки—Венусовъ Амуръ,—засмѣялся Шарпай.

Желая переимѣнить разговоръ, отецъ Димитрій спросилъ Мазепу:

— А почему же мой другъ именуетъ вашу милость своимъ полоняникомъ?

— Да я и воистину нахожусь въ плѣну у пана отамана и у славнаго войска запорожскаго низового, — отвѣчалъ Мазепа. — Сего року, раннею весной, я былъ отправленъ посланцемъ отъ своего гетмана Дорошенко съ письмами къ великому визирю, а также къ хану крымскому и его мурзамъ. Дорошенко посылалъ со мною также, въ подарокъ великому визирю, хану и мурзамъ, пятнадцать полонянокъ.

— Это нашихъ-то дивчать!—перебилъ его Шарпай. — Ну, не стану мѣшать,—спохватился онъ.

— Со мною было около десятка татаръ для охраны, — продолжалъ Мазепа. — Но едва мы прибыли. къ Ингулу, какъ вдругъ наткнулись на отрядъ запорожцевъ съ кошовымъ, паномъ Иваномъ Сиркомъ, и куреннымъ, паномъ Григоріемъ...

— Это со мною-то, — пояснилъ Шарпай.

— Тутъ они меня и поймали, — пояснилъ Мазепа.

— А онъ-было на утекъ, — продолжалъ Шарпай: — я за нимъ — кричу: „Стой! стрѣлять буду!“ Панъ писарь, яко человекъ благоразумный, остановился, и я съ честью обыскалъ его и отобралъ письма. А тамъ, смотрю, мое товариство уже расправилось съ татарами: всѣхъ до-ноги порубили! Я къ полонянкамъ — совсѣмъ дѣтвора! — дѣвочки; а межъ ними ужъ и не дѣвочка одна. Знаешь, братъ Данило, кто? — спросилъ онъ лукаво отца Дмитрія.

— Не знаю, друже, — былъ отвѣтъ.

— Прися! — та хорошенькая боршенская русалочка, которая такъ убивалась за тобой и которую ты, нюня человекъ, даже не поцѣловалъ, хотя и спалъ съ нею на клуѣ всю ночь.

Румянецъ смущенія разлился по блѣднымъ щекамъ отца Дмитрія.

— Ахъ, друже, тебѣ-бы все смѣшки! — укоризненно сказалъ онъ.

— Ей же Богу! слово гонору — не смѣшки! — оправдывался Шарпай.

— Панъ отаманъ, отче святой, не шутить, — серьезно сказалъ Мазепа: — боршенская дѣвица Евфросинія, подлинно, была въ числѣ пятнадцати полонянокъ, которыхъ Дорошенко послалъ въ подарокъ въ Крымъ. Ее ныѣшней же весной взяли около Борисполя татары, когда она съ другими „прочанами“ шла въ Кіевъ „на прощу“ — на богомолье, а Дорошенко купилъ ее у нихъ. Въ Запорожѣ она нашла своего отца, и онъ вмѣстѣ съ нами привезъ ее сюда въ Боршну.

— А теперь же, ваша милость, куда путь держите? — спросилъ его отецъ Дмитрій.

— Теперь панъ Григорій везетъ меня къ его ясновельможности, къ пану гетману Самойловичу, — отвѣчалъ интересный плѣнникъ.

— Такъ вы очень кстати прибыли сюда, — сказалъ на это отецъ Дмитрій: — мы съ часу на часъ ожидаемъ къ себѣ высокихъ гостей.

— Кого же? — разомъ, не безъ изумленія и тревоги, спросилъ и Шарпай, и Мазепа.

— Нашу скромную обитель желаютъ посѣтить и его ясновельможность панъ гетманъ Іоаннъ Самуиловичъ и его высокопреосвященство, высокопреосвященный Лазарь Барановичъ, архіепископъ черниговскій и новгородскій, и монастырь уже приготовился къ принятію таковой высокой чести, — съ официальнымъ смиреніемъ проговорилъ отецъ Дмитрій.

Шарпай, видимо, обрадовался этому извѣстію, а Мазепа какъ-будто смутился нѣсколько, но затѣмъ скоро оправился.

— Optime! — сказалъ первый, — мнѣ дальше, scilicet, не волочиться.

Какъ разъ въ это время вошелъ служка и съ низкимъ поклономъ доложилъ, что „пригналъ“ вѣстовой и высокіе гости сейчасъ будутъ.

Надо было идти встрѣчать свѣтскаго главу Украины и ея богомольца, велегрѣчиваго ритора и адаманта православія—Лазаря Барановича, автора знаменитой „Трубы“.

IX.

Онъ узналъ ее.

Гетманскій поѣздъ состоялъ изъ нѣсколькихъ каретъ. Карета Самойловича была украшена богатымъ кievскимъ гербомъ и гербомъ войска запорожскаго низового. Карета была массивная, вызолоченная, изящной вѣнскою работы, и подъ нее запряжено было восемь лошадей цугомъ: отъ козелъ шла пара бѣлыхъ, какъ снѣгъ, аргамаковъ, потомъ пара вороныхъ, черныхъ, какъ вороново крыло, затѣмъ опять пара бѣлыхъ и, наконецъ, подъ фореитормъ пара вороныхъ выѣздныхъ.

Гетманъ сидѣлъ въ своей каретѣ вмѣстѣ съ Лазаремъ Барановичемъ.

По бокамъ кареты ѣхали гайдуки въ богатомъ одѣяніи.

Въ другихъ каретахъ и коляскахъ помѣщалась свита гетмана: генеральный судья, генеральный писарь, полковники и прочая старшина.

У Лазаря Барановича своя свита—приближенное духовенство и пѣвчіе.

Кухня гетмана и походная дорогая посуда слѣдовала позади обоза подъ охраною отряда казаковъ.

Торжественный звонъ всѣхъ монастырскихъ колоколовъ встрѣтилъ приближеніе къ обители высокихъ гостей. Навстрѣчу имъ иноки и настоятель вышли въ полномъ облаченіи и низкими поклонами провожали вступленіе ихъ въ главную церковь.

Гетманъ, видимо, былъ доволенъ сдѣланнымъ ему пріемомъ и, въ особенности, подѣйствовалъ на расположеніе его духа маленькій сюрпризъ, приготовленный ему монастыремъ. Выходя, послѣ молебствія, изъ церкви, онъ поднялъ глаза и на лѣвой стѣнѣ къ выходу увидѣлъ свой портретъ во весь ростъ. Это ему польстило. Онъ остановился и сказалъ сопровождавшей его свитѣ:

— О, какимъ лыцаремъ меня намалевали!

— Однако, ваша ясновельможность, маляръ не скривдилъ,—замѣтилъ Лазарь Горленко, полковникъ прилуцкій.

— Нѣтъ, нѣтъ,—подтвердилъ и Дмитрашко-Райча, полковникъ переславскій:—какъ у око влѣпилъ; чуть-чуть не заговорить панъ гетманъ.

— А если бъ заговорилъ,—улыбнулся Самойловичъ,—то непременно сказалъ бы: „брешешь, брешешь, пане полковнику, бо я тутъ молодымъ намалеванъ, а я вже—старый собака“.

Приближенные засмѣялись и всѣ вышли изъ церкви въ отличномъ расположеніи духа *).

Послѣ небольшого отдыха, гетманъ принималъ запорожскаго посланца, куренного Григорія Шарпая и его плѣнника Ивана Мазепу.

— Попался-таки, Иванъ Степановичъ, — улыбнулся гетманъ.

— Пану Мазепѣ это не первинка, — лукаво замѣтилъ Дмитрашко.

— Правда! — засмѣялся Самойловичъ, — и все съ бабами да съ дивчатами.

— Шутка гетмана всѣмъ понравилась, особенно, когда онъ пояснилъ:

— Разъ панъ Мазепа попался съ панею Фальбовскою, а теперь съ дивчатами-полонянками. И это Ивану Степановичу на руку — на его колеса вода льется.

Окружающіе выразили недоумѣніе.

— А какъ-же, — продолжалъ гетманъ свою шутку, — если бъ онъ не попался тогда съ панею Фальбовскою, то, можетъ, и доселѣ оставался бы пахолкомъ при дворѣ польскихъ королей. А вонъ теперь его милость, панъ Мазепа — генеральный писарь тогобчнаго гетмана, пана Дорошенка. А ежели онъ теперь вновь попался съ этою — какъ ее?..

— Прися изъ Боршны, ваша ясновельможность, — поклонился Григорій Шарпай и сверкнулъ своими плутовскими глазами.

Самойловичъ это замѣтилъ и продолжалъ свою шутку:

— Да Прися изъ Боршны... Такъ вѣтъ, попавшись съ Присею изъ Боршны, отчего его милости, пану Мазепѣ, не надѣяться впослѣдствіи вмѣсто этой самой Присы схватить гетманскую булаву.

Это самодовольная шутка гетмана-поповича очень понравилась его свитѣ, и всѣ окружавшіе Самойловича разсмѣялись. Но кто бы изъ нихъ, да и самъ Самойловичъ, могъ подумать въ эту минуту, что гетманская шутка окажется пророческою и что этотъ самый плѣнникъ Мазепа въ скоромъ времени выхватитъ гетманскую булаву изъ рукъ Самойловича и его самого утопитъ, да не въ Удаѣ и не въ Днѣпрѣ, а въ Енисеѣ?..

Перейдя, затѣмъ, къ дѣлу, Самойловичъ просилъ Мазепу ближе познать его съ положеніемъ дѣлъ въ тогобчной Украинѣ, сообщить о дѣйствіяхъ и замыслахъ Дорошенка, о томъ, подоспѣлъ ли султанъ съ своимъ войскомъ на выручку Дорошенка, осажденнаго русскими войсками въ Чигиринѣ, и скоро ли могутъ татары придти къ нему на помощь.

Мазепа нѣсколько подумалъ. Онъ былъ человѣкъ очень сообразительный и по ходу послѣднихъ дѣлъ видѣлъ, что дѣло Дорошенка будетъ проиграно. Онъ понималъ, что теперь выгодноѣ продать Дорошенка и купить Самойловича. Онъ такъ и сдѣлалъ — Дорошенка продалъ, а Самойловича купилъ: онъ все искренно разсказалъ гетману.

*) Портретъ этотъ до сихъ поръ сохранился на стѣнѣ главной церкви Густынскаго монастыря. Мы видѣли его вмѣстѣ съ Н. И. Костомаровымъ, въ 1883 г., при посѣщеніи Густыни. Асм.

— Спасибо, Иванъ Степановичъ,—сказалъ этотъ послѣдній,—за это я тебя выручу. Бумаги и письма, которыя ты везъ къ великому визирю и къ хану съ плѣнными дѣвчатами, ты повезешь теперь въ Москву, въ малороссійскій приказъ, да только безъ дѣвчатъ и безъ Приси (какъ бы въ скобкахъ прибавилъ гетманъ съ улыбкою), и вручишь боярину Матѣеву съ моею отпискою. Матѣеву ты Расскажи все чистосердечно, какъ говорилъ теперь мнѣ при панахъ полковникахъ. При нихъ я даю тебѣ слово: ты останешься въ цѣлости и всѣ мастиности твои останутся за тобою. Я пошлю съ тобою надежнаго и знающаго человѣка: онъ тебя и въ Москву проводить, и назадъ привезетъ. Только ты, пане Мазепо, откровенно все Расскажи въ малороссійскомъ приказѣ, что намъ здѣсь говорилъ — и о Дорошенковыхъ замыслахъ, и о ханѣ, и про Сирка, и иное все: никакого дѣла, хотя и малаго, не утай.

Гетманъ всталъ, давая тѣмъ понять, что ауденція кончилась. Мазепа низко поклонился.

— Помни, ваша милость,—съ улыбкой добавилъ Самойловичъ:—ничего не утай! Даже про Прису изъ Боршны не забудь сказать.

Мазепа вторично поклонился.

— А панъ Григорій теперь до коша?—обратился гетманъ къ Шарпаку.

— До своего куриня, ваша яснoveльможность,—отвѣчалъ этотъ послѣдній.—Токмо отдохну здѣсь денекъ-другой у своего стараго товарища.

— У кого?—спросилъ Самойловичъ.

— У отца Димитрія.

— А! кстати: завтра его преосвященство намѣренъ посвятить отца Димитрія въ санъ іеромонаха. Отецъ Димитрій — святой жизни иннокъ и огромной учености — онъ далеко поидетъ, — сказалъ гетманъ въ заключеніе.

На другой день, въ престольный праздникъ, преосвященнымъ Лазаремъ Барановичемъ отецъ Димитрій былъ съ самою торжественною обстановкою посвященъ въ іеромонахи. Соборная церковь монастыря была полна народа, который пришелъ на праздникъ изъ окрестныхъ мѣстностей—изъ Прилукъ, изъ Манджосовки, Боршны, Дѣдовецъ.

Послѣ посвященія молодой іеромонахъ говорилъ проповѣдь. Это было блестящее ораторское слово, которое когда-либо выливалось у него изъ души. Онъ говорилъ на текстъ: „что отца твоего и мать“. Въ лицѣ „заплаканной матери“ онъ изобразилъ Украину, раздираемую ея сынами въ смертельной враждѣ между „тогочною“ и „сегобочною“ ея половинами. Онъ говорилъ о томъ, какъ плодородныя нивы ея обгаются братскою, а для нея — „матери“ — сыновнею кровью; какъ эти ея же сыны уводятъ въ полонъ и продаютъ въ неволю своихъ же сестеръ-дѣвушекъ...

Молодой ораторъ былъ прекрасенъ въ своемъ воодушевленіи. Блѣдное, худое лицо его дышало кротостью, но въ словахъ его было столько силы, въ голосѣ столько убѣдительности и энергіи, что другъ его, Григорій Шарпай, восторженно слушавшій его—его, котораго онъ называлъ „нюней“,

теперь невольно твердилъ въ душѣ: „Ахъ, какая сила погребена въ этомъ черномъ саванѣ!.. Что это былъ бы за кошевой, если бы только онъ постригся не въ монахи, а въ запорожцы! Ахъ, Данько, Данько, за что ты погубилъ себя, за что измѣнилъ казачеству?“

Глубокое впечатлѣніе произвели на слушателей слова, когда молодой іеромонахъ, говоря образами и иносказаніями, сравнилъ нашествія на Украину орды со стаями „хищныхъ врановъ“; „но,—прибавилъ онъ,—„се грядетъ година, и не вѣсте ни дня, ни часа, въ онъ-же, шума могучими крилами, прилетитъ орелъ со полуночи и распудитъ стаи хищныхъ врановъ“...

Женщины плакали, когда онъ заговорилъ о крымской и турецкой неволѣ, о „бѣдныхъ невольникахъ“, о ихъ страданіяхъ, объ горести матерей, дѣти которыхъ томятся въ неволѣ, а дочери—еще горестнѣе—ради „роскоши турецкой, ради лакомства несчастнаго“ — совсѣмъ забываютъ мать-Украину.

Услыхавъ всхлипыванья женщинъ, онъ невольно глянулъ по направленію къ „бабинцу“. Глаза его встрѣтились съ другими глазами. То были глаза дѣвушки, прекрасные глаза, полные восторженнаго умиленія и слезъ—хорошихъ, благородныхъ слезъ.

Онъ узналъ ее, какъ и она его давно узнала, и плакала, вспоминая тотъ блаженный вечеръ и ту блаженную „ночь въ клунѣ“, когда она, обхвативъ рукою его шею, слушала его тихую рѣчь объ отреченіи отъ міра, о вѣчной божественной любви, слушала, почти не понимая его, — и уснула у него на плечѣ спомъ невиннаго младенца.

„Такъ вотъ онъ кто!.. Онъ—святой. На него и панъ-гетманъ смотритъ какъ на святого“...

Х.

„Гдѣ овцы—тамъ и пастырь“.

Прошло тридцать пять лѣтъ. Наступилъ и уже приходилъ къ концу памятный для Россіи и, въ особенности, для Украины 1709-й годъ. Мазепа, котораго мы видѣли въ послѣдній разъ плѣнникомъ въ Густынскомъ монастырѣ, оставивъ по себѣ кровавую и проклинаемую во всѣхъ церквахъ память, медленно умиралъ въ турецкихъ предѣлахъ.

Перенесемся далеко отъ Украины на сѣверъ, въ городъ Ростовъ.

Мы въ кельѣ у святителя Дмитрія, митрополита ростовскаго. Просторная, хотя скромная келья святителя завалена массами книгъ, старинныхъ рукописей и разными архивными дѣлами. Передъ богатой кютой, со множествомъ образовъ въ драгоцѣнныхъ окладахъ изъ золота и серебра, горитъ неугасяемая лампада. Надъ письменнымъ столомъ—аналоемъ виситъ писанная масляными красками картина. На ней изображены пожилые мужчина и женщина. Мужчина—въ казачкомъ одѣяніи, въ кунтушѣ

малороссійскаго сотника; женщина—въ костюмѣ пожилой украинки. Имъ кланяется въ ноги прекрасный юноша въ длиннополомъ одѣяннїи кїевского бурсака половины XVII-го вѣка. Пожилого мужчину этого мы видѣли, сорокъ-одинъ годъ назадъ, въ Кїевѣ, въ соборѣ Кирилловскаго монастыря: онъ поддерживалъ тамъ вотъ эту пожилую, тогда рыдавшую женщину, и самъ горько плакалъ. Юношу же этого, тогда же, въ 1668-мъ году, мы видѣли въ той же церкви—въ саванѣ, передъ игуменомъ, который спрашивалъ этого прекраснаго юношу въ саванѣ: „Отрицаешься-ли, чадо, отца и матери?“.

Вонъ теперь, гдѣ этотъ бывшій юноша въ саванѣ: онъ, въ видѣ бо-лѣзненнаго, изможденнаго старца, сидитъ въ глубокомъ креслѣ и что-то шепчетъ безкровными устами. Это и есть святитель Димитрій.

Вотъ, что сдѣлали время и неусыпные труды изъ прекраснаго юноши! Это только тѣнь человѣка: впалые глаза, впалая грудь, трясущіяся руки—все говорить о близкомъ разрушенїи этого духовнаго свѣтила Великія, Малыя и Бѣлыя Россїи.

Онъ подымаетъ свои потухшіе глаза, и они съ умиленїемъ и грустію останавливаются на дорогой ему картинѣ: тамъ портреты его отца, матери и его, нѣкогда полнаго жизни юноши, у котораго впереди—без-конечная жизнь. А теперь эта жизнь пройдена — и ничего отъ нея не осталось, кромѣ этой груды книгъ, имъ написанныхъ. Это—„Четыи Минїи“. Это — его дѣти, его мечты, наполнившія и поглотившія всю его жизнь. Умереть онъ, зарокъ его, истлѣть онъ въ землѣ, а эти книги — дѣти его—останутся...

— О, мои дѣтки, мои дѣтки! мои горести и тихія радости!—съ грустью прошепталъ святитель, тихо качая головою:—скоро разстанусь я съ вами.

Потомъ онъ опять впалъ въ тихую задумчивость. Опять пронеслись передъ нимъ его дѣтство, его молодость, вся его жизнь.

Вотъ онъ, мальчикомъ, стоитъ въ кїевскомъ Софїйскомъ соборѣ у все-нощной. Служеніе совершаетъ бывшій гетманъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, Юрій Хмельницкій, а потомъ—Георгій Гедѣонъ архимандритъ. И стоитъ въ той же церкви прекрасная отроковица, вся блѣдная и трепещущая. Потомъ ее, бездыханную, уносятъ изъ храма. Она—бывшая невѣста этого архи-мандрита-гетмана.

Но вотъ онъ и юноша. Съ другомъ своимъ веселымъ Грицькомъ, они идутъ въ Густынь молиться. Какъ прельстила его потомъ эта тихая оби-тель! какъ сладко ему молилось въ ней!

А тамъ — этотъ вечеръ въ Боршнѣ, эта ночная „улица“ съ пѣніемъ незабвенной пѣсни:

Ой, не шуми, луже, дибровою луже,
Не завдавай сердцу жалю, бо я въ чужимъ краю...

Эта чистая отроковица Прися... ночь въ клунѣ... цвѣты вокругъ его головы разсыпанные...

А тамъ—саванъ, ангельское одѣяніе...

Гдѣ-то теперь другъ его юности, тотъ веселый Грицько Шарпай? Говорятъ, вмѣстѣ съ запорожцами, Мазепою и съ королемъ Карломъ, послѣ полтавскаго боя, ушелъ за турецкій рубежъ.

— О, Мазепо, Мазепо! — прошепталъ святитель, и ему пришли на умъ вирши, присланныя ему другомъ его, митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ, блюстителемъ патріаршаго престола:

Изми мя, Боже!—вопіетъ Россія.—
Отъ ядовита и лукава змія,
Его же ждаша адскія заклепы—
Бывша вожда Ивашка Мазены!

— Погибе память его съ шумомъ — и анаематствованіе прія... Всѣ погибли: и гордый Дорошенко въ московскомъ плѣненіи сконча жизнь свой, и оный Самойловичъ, коего пышное изображеніе и по сей часъ величаво возносится на стѣнахъ храма Густынской святой обители, и лукавый Мазепа со клеветами своими... О жизнь человѣческая!

Святитель встаетъ и нетвердыми шагами подходитъ къ аналою-столу. На немъ лежитъ раскрытая рукопись: это его почеркъ, его сочиненіе. Глядя на раскрытую страницу, онъ задумывается.

— И сіе писаніе тѣшило духъ мой: во славу Господа писалъ — о рожденіи Спасителя міра, какъ ангелъ возвѣщаетъ пастырямъ о рожденіи Царя царей. А они, невѣгласи, не повѣрили—одинъ и говоритъ ангелу:

Чаю, тебе, государь, къ князямъ послали,
Штобъ они великому царю поклонъ дали,
Не къ намъ, нищимъ пастухамъ. Што ты заблудилъ?
Или не вслухалъ?—вѣстникъ къ намъ такімъ не ходилъ!

Читая это, святитель грустно улыбается.

— Да, нищимъ пастухамъ не въ обычай принимать такихъ пословъ,—они говорятъ ангелу:

Государь, надобно-же што-нибудь нести ему на поклонъ,
Штобъ не велѣлъ, какъ нашъ князь, выпроводить въ шею вонъ¹⁾.

Святитель закашлялся и не могъ дальше читать. Его давно уже мучить удущье, потому что для него, рожденнаго и выросшаго подъ благодатнымъ небомъ Украины, слишкомъ суровъ климатъ русскаго сѣвера. На родинѣ, можетъ быть, онъ бы еще потянулъ. Но на родину ему уже не возвратиться—далеко она, тамъ, за милымъ Днѣпромъ...

— Здѣ покой мой, здѣ вселюся во вѣкъ вѣки,—часто говорилъ онъ съ полною покорностью воли Божіей: — гдѣ паства моя — тамо и душа моя, гдѣ овцы—тамо и пастырь.

¹⁾ „Лѣтописи русск. литер.“. Тихонравова и „Исторія въ жизнеоп.“, Костомарова, вып. V, 533—534.

XI.

Онъ все вспомнилъ.

Въ келью вошелъ любимый послушникъ святителя, входившій къ нему безъ зова во всякіе часы дня и ночи. Онъ не разлучался съ нимъ болѣе тридцати лѣтъ, съ самой Густыни.

— Ты что, Іона?—спросилъ святитель.

— Да вотъ, владыко святой, ты все недугуешь — кашляешь все больше и больше, — отвѣчалъ Іона, намѣреваясь, повидимому, сообщить что-то особенное.

— Да, кашляю, сынъ мой: на то Божья воля — предѣлъ, его же не преjdeши.

— А кто тебѣ сказалъ, когда твой предѣлъ!—возроилъ Іона:— житіе наше, сказано, семьдесятъ лѣтъ, аще въ силахъ—восемьдесятъ, болѣе же того—трудъ и болѣзнь. А тебѣ еще и шестидесяти нѣтъ.

— Что дѣлать, сынъ мой?

— Ко Господу съ молитвою прибѣгать.

— И прибѣгаю по силамъ моимъ.

— И къ угодникамъ, особливо же печерскимъ... Владыко святой!— торжественно продолжалъ Іона:—тебѣ печерскіе угодники благодать при-
слали,—сказалъ онъ таинственно.

— Какую благодать прислали?—удивился святитель.—И съ кѣмъ?

— Слушай, владыко святой!—еще таинственно продолжалъ старецъ Іона.—Пришла сюда изъ Кіева старица нѣкая—пришла поклониться тебѣ и попросить твоего благословенія. Сегодня, когда ты литургисалъ, она старица видѣла тебя, видѣла и недугъ твой тяжкій, какъ ты, за литургією, кашлялъ въ алтарѣ, у престола Божія. Такъ она старица и проситъ допустить ее къ тебѣ, святителю: она принесла съ собою изъ Кіева, отъ печерскихъ угодниковъ, мощи всеисцѣляющія.

— Кто же далъ ихъ этой старицѣ?—усомнился святитель.

— Этими мощами, владыко,—сказываетъ она,—благословила ее при смерти бабка этой старицы,—отвѣчалъ Іона.

— А бабка гдѣ взяла ихъ?

— Объ этомъ я, владыко святой, не спрашивалъ. Только она, старица-то, всемогущимъ Богомъ заклиняется, что имѣемая у нея мощи всѣмъ болящимъ подають исцѣленіе. Владыко святой! дозвожь оной старицѣ предстать предъ тобою,—умолялъ Іона.

Святитель задумался: откуда могли быть святые мощи у простой старицы? Но въ то же время въ головѣ его тѣснились другія мысли:—„не отъ сильныхъ міра... да вонъ и ангелъ Божій не сильнымъ міра, не царямъ и владыкамъ земнымъ возвѣстилъ рожденіе Спасителя міра, а нищимъ пастухамъ... не увѣси-бо, человѣче, пути Его неисповѣдимые“....

Кашель опять сталъ душить его.

Иона упалъ на колѣни.

— Владыко святой!—молилъ онъ со слезами: пожалѣй насъ, сиротъ твоихъ, коли себя не жалѣешь! Поиспытай силу оныхъ мощей: по вѣрѣ вседается.

— Да, воистину,—съ трудомъ проговорилъ святитель:—вся испытующе, добрая держите... *вся*, а не токмо добрая...

— Такъ — такъ, владыко святой, все испытать надо, — настаивалъ Иона.

— Хорошо,—согласился, наконецъ, святитель:—позови ее съ Божіимъ благословеніемъ.

Иона съ радостью поторопился исполнить приказаніе владыки.

— Воистину—не отъ мудрыхъ и не отъ сильныхъ міра... изъ устъ младенцевъ... мудрость человѣческая—безуміе предъ Господомъ...

Опять приступы кашля. А за окнами кельи осенній вѣтеръ такъ и гнетъ оголенные непогодью деревья да воронъ каркаетъ. Непривѣтливо кругомъ, печально все.

Мысль больного естественно переносится далеко отсюда — на родину. Тамъ, можетъ быть, и солнышко еще грѣеть...

Въ раскрытой двери кельи темная фигура заслонила свѣтъ, проходившій въ келью изъ сосѣдняго пріемнаго покоя. То была женщина въ черномъ—старица.

Торопливо сдѣлавъ широкое крестное знаменіе, старица поклонилась до земли. Святитель пошелъ ей навстрѣчу.

— Встань, дочь моя,—ласково сказалъ владыка.

Старица приподнялась на колѣни. Это была старушка лѣтъ подшестьдесятъ съ добрыми, но грустными черными глазами, еще не потерявшими блеска. Когда святитель благословилъ ее, она припала къ ногамъ его и съ плачемъ цѣловала ихъ.

— Встань, дочь моя, не подобаетъ, — растроганно сказалъ святитель. Немножко оправившись, старица встала.

— Ты откудова, дочь моя?—спросилъ святитель.

— Изъ Кіева, владыко святой.

— Въ Кіевѣ и постриженіе приняла?

— Въ Кіевѣ, владыко святой.

— А давно?

— Лѣтъ около тридцати-пяти тому назадъ.

— А имя твое?

— Старица Евладія.

— А мірское имя?

— Приською звали, владыко святой.

— Евфросинія, сирѣчь.

Святитель задумался. Мірское имя старицы напомнило-было ему что-то очень давнее, какое-то свѣтлое воспоминаніе, но что—онъ не могъ припомнить... Что-нибудь изъ дѣтства, изъ ранней молодости. И образъ его

школьного друга при этомъ промелькнулъ въ умѣ... Но онъ теперь за рубежомъ, въ турецкой землѣ, съ Мазепою...

Святитель какъ бы опомнился. Онъ глянулъ въ глаза старицы: эти кроткіе, съ молитвеннымъ умиленіемъ глядѣвшіе на него глаза опять-было напомнили ему что-то очень-очень давнее, какой-то вечеръ, какое-то пѣніе—давно, давно знакомую мелодію...

Ой, не шуми, луже...

Это за окномъ кельи осенній вѣтеръ шумить... А что-то напомнили глаза: но что?..

— Старецъ Иона докладывалъ мнѣ,—заговорилъ святитель, слясь отогнать отъ себя какія-то неясныя, далекія воспоминанія: —сказывалъ, что ты, дочь моя, имѣешь святыхъ мощи—частицы святыхъ мощей?

— Имѣю, владыко святой,—отвѣчала старица.

— А какого угодника Божія?

— Сего я не знаю, владыко святой.

— А какъ они тебѣ достались?

— Бабка моя, владыко святой, умираючи, благословила меня сими мощами.

— А отъ кого она ихъ получила?—не знаешь, дочь моя?

— Бабка сказывала, что дали ей эти мощи странники изъ Кіева.

— И мощи эти чудотворны? исцѣляютъ болящихъ?

— Исцѣляютъ, владыко святой, и бабу мою исцѣлили,—безъ ногъ была,—и всѣхъ исцѣляли, кто носилъ ихъ на себѣ, и меня отъ падучей болѣзни исцѣлили: я въ церкви бывало замертво падала, а теперь Богъ миловалъ.

Святитель снова задумался... Такъ и толпятся въ душу картины далекаго прошлаго...

— Съ тобою эти мощи?—спросилъ онъ.

— Со мною, владыко святой,—и старица достала изъ-за пазухи чистенькій шелковый платочекъ и вынула тщательно завернутый въ него маленькій кожаный пакетикъ.

Подавъ пакетикъ, она опять поклонилась въ ноги митрополиту.

— Хорошо, дочь моя, я испытаю сіе,—сказалъ святитель.—Встань.

Старица встала. Митрополитъ снова благословилъ ее и отпустилъ.

— Съ миромъ... Поживи у меня, а старецъ Иона позаботится о тебѣ.

Съ каждымъ днемъ, однако, святитель чувствовалъ себя все хуже и хуже. Приступы удущья повторялись все чаще. Погода, какъ на зло, бушевала и день, и ночь, что, конечно, не могло не дѣйствовать губительно на истощенный организмъ больного.

Особенно тяжела была для больного ночь на 27-е ноября. Онъ долго стоялъ на молитвѣ колѣнопреклоненный. Прижавъ руки къ больной груди, которая мучительно ныла, святитель ощущалъ что-то подъ подрясникомъ и вспомнилъ, что это былъ тотъ кожаный пакетикъ, который на-дняхъ передала ему старица Евлалія. Онъ всталъ, вскрылъ его ножницами съ одного боку и вынулъ оттуда небольшую, свернутую квадратикомъ и пожелтѣвшую отъ времени бумажку. Святитель развернулъ ее. На бумажкѣ знакомымъ ему съ дѣтства почеркомъ было написано:

„И рекоша апостоли Господеви: приложи намъ вѣру. Рече же Господь: аще бысте имѣли вѣру яко зерно горюшно, глаголали бысте убо ягоди-чинѣ сей: восторгнися и всадися въ море: и послушала-бы васъ“ (Еван-геліе отъ Луки, гл. XVII, 6).

Точно свѣтъ осіялъ святителя! Онъ все вспомнилъ—всю свою жизнь! Это написалъ другъ его дѣтства, когда они, еще будучи студентами кiev-ской духовной коллегіи, въ 1867 году, во время лѣтнихъ ваканцій, первый разъ шли изъ Кіева въ Густынь на богомолье... Эта больная, безно-гая старушка въ Боршнѣ... Другъ его обѣщалъ исцѣлить ее этими свя-тыми словами, и пишетъ ихъ, а онъ, святитель, прочитавъ эти святые слова, говоритъ: „великая, святая истина!—аще речеши горѣ: двинься“... И больная исцѣлилася, потому что въ ней была вѣра... Все, все вспом-нилъ святитель—и тотъ вечеръ, и ту ночь... И эта старица—Евлалія, Евфросинія, Прися...

Онъ упалъ на колѣни. Приступъ удушья опять давилъ его...

— О, маловѣре!—ударялъ онъ себя въ больную грудь:—ты усу-мнился—и Господь не послалъ тебѣ исцѣленія, а они вѣрили, якоже мла-денцы, и вѣра исцѣлила ихъ... О, маловѣре!

На утро старецъ Іона нашелъ святителя уснувшимъ навѣки. Онъ скончался на молитвѣ, припавъ святою головою къ холодному полу кельи, наполненной его нетлѣнными сокровищами—книгами.

К О Н Е Ц Ъ .

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

СОЛОВЕЦКОЕ СИДѢНЬЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ВРЕМЕНЪ НАЧАЛА РАСКОЛА НА РУСИ.

Томъ X.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Э. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 мая 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

I.

Буря на Бѣломъ морѣ у Соловонъ.

По Бѣлому морю, вдоль Онежской губы, у исхода ея, по направленію къ Соловецкому острову, медленно плыла небольшая флотилія изъ кочей, наполненныхъ стрѣльцами. Кочи шли греблей, потому что на морѣ стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходовъ. Весна 1674 г. выдалась ранняя, теплая, и вотъ уже нѣсколько дней солнце невыносимо медленно отъ зари до зари ползало по безоблачному небу, почти не погружаясь въ морѣ даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Мѣрило такъ, что, казалось, и небо было раскалено, и отъ моря отражался жаръ, и груди дышать было нечѣмъ. Кругомъ стояла такая тишина, что слышенъ былъ малѣйшій плачъ морской чайки гдѣ-то за десятки верстъ, хотя самой птицы и не было видно, да и ей въ эту жарынь не леталось. Весла гребцовъ медленно, лѣнливо, неровно опускались въ морскую лазурь и блестя на солнцѣ спадавшими съ нихъ алмазными каплями, а съ самихъ гребцовъ по раскрасѣвшимся лицамъ катился потъ, смачивая собой разметавшіяся и всклокоченныя пряди волосъ и бороды.

— „...и отъ Троицы князь великій поѣде и съ великою княгинею и съ дѣтьми въ свою отчину на Волокъ Ламской тѣшиться охотою на звѣря прыскачаго и на птица летучая. И тамо яко нѣкоимъ отъ Бога посѣщеніемъ нача немощи, и явился на нозѣ его знамя болѣзнено, мала болячка на лѣвой странѣ на стегнѣ, на изгиби, близъ нужнаго мѣста, съ булавочную голову, верху у нея нѣтъ, ни гною въ ней нѣтъ же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себѣ, яко приближается ему примѣненіе отъ маловременнаго сего житія въ вѣчный животъ...“

Это на переднемъ, на самомъ большемъ изъ всѣхъ кочей судиѣ, у кормы, подъ натянутымъ на снасти положкомъ сидитъ старый монахъ и, вода грязнымъ толстымъ пальцемъ по развернутой на колѣняхъ книгѣ, читаетъ, гнуса и спотыкаясь на титлахъ да на длинныхъ словахъ. На трудныхъ словахъ особенно трясется его сѣдая козелковая борода.

— Отъ маловременнаго сего житія въ животъ вѣчный—вотъ оно что! А все никто, какъ Богъ,—разсуждалъ монахъ, переводя духъ и поправляя на головѣ скуфейку.—Ужъ и теплынь же, воевода.

— Что и говорить—тепла печка Богова,—отвѣчалъ тотъ, кого называли воеводою, сидѣвшій тутъ же подъ холстовымъ напаясьемъ.

А съ заднихъ судовъ доносился говоръ и смѣхъ, но какъ-то вяло, лѣнливо. По временамъ кто-то затыгивалъ пѣсню, другой подхватывалъ и лѣнливо, монотонно тинули:

Сотворилъ ты, Боже, да и небо-землю,
Сотворилъ же, Боже, весновую службу.
Не давай ты, Боже, зимовыя службы,
Зимовая служба молодцамъ кручинна,
Молодцамъ кручинна, да сердцу неусладна...

-- Али въ экое пекло лучше!—протестуетъ чей-то голосъ.

-- „...и посла побрата своего по князя Ондreja Ивановича на потѣху къ себѣ. Князь же Ондрей пріѣха къ нему вскорѣ. Тогда князь великій нужею выѣха со княземъ Ондреемъ Ивановичемъ на поле съ собаками“, продолжалъ гундосить монахъ подъ пологомъ.

...Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцамъ веселье,
Молодцамъ веселье и сердцу утѣха.

— А я въ тѣ-поры былъ у ево, у Стеньки, въ водоливахъ на стругѣ, какъ онъ гулялъ съ казаками. А она, полюбовница ево, царевна персица, сидитъ на палубѣ, на складцахъ, словно макъ цвѣтъ—изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей такъ и горитъ. А Стенька выпилъ—такъ гораздо, да и ну похваляться передъ казаками: „мнѣ, говоритъ, все ни по чемъ—всего добуду и Москву достану. Да и подходитъ это къ своей полюбовницѣ, беретъ ее на руки, словно дитю малую, подноситъ къ борту да и говоритъ: „ахъ ты, Волга-матушка, рѣка великая! словно отецъ съ матерью ты меня кормила-поила, златомъ-серебромъ, славной-честію надѣлила, а я тебя ничѣмъ не отдарилъ... На-жъ тебѣ, возьми!“— Да такъ словно шапку и маханулъ въ воду свою полюбовницу.

— Что ты, братецъ ты мой! И утопла?

— Какъ топоръ ко дну.

Это ведутъ бесѣду стрѣльцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднѣе всѣхъ остальныхъ кочей. Носъ и корма его украшены рѣзбой и росписаны яркими цвѣтами. На вершинѣ мачты, надъ вертящимися кочетками, водруженъ восьмиконечный крестъ. Пониже въ неподвижномъ воздухѣ виситъ на натянутой снасти красный флагъ съ изображеніемъ Георгія Побѣдоносца. Это судно воеводское. Нѣсколько чугунныхъ пушекъ поблескиваютъ на солнцѣ, выглядывая за бортъ.

— Что жъ, воевода, говоря по божьему, ихъ—старцовъ дѣло правое,—говорилъ монахъ:—двумя персты всѣ мы отъ молодыхъ ногтей маливались—и я, и ты. Вонъ и въ этой книгѣ—глади-тко—изображенъ старецъ—видишь?—вонъ у ево перстишки-то два торчатъ, акы свѣчечки, а большой перстъ пригнуть.

И монахъ тыкалъ пальцемъ въ изображеніе на одной страницѣ книги.

— Такъ-то такъ, я и самъ не больно за три персты-то стою, — нехотя отвѣчалъ воевода:—да они за великаго государя не хотятъ молиться: еретикъ-де.

— Ну, это дѣло великое, страшное: объ ѣмъ не то сказать, а и помыслить-то—и-и! спаси Богъ!

Они замолчали. Молчали и стрѣльцы, только гребцы медленно и лѣниво плескали веслами да назади тянули про „весновую службу“:

А емлемте, братцы, яровы весельца,
Да сядемте, братцы, въ ветляны стружечки,
Да грянемте, братцы, въ яровы весельца,
Въ яровы весельца—ино внизъ по Волгѣ.

— Вонъ и они про Волгу поютъ. Хорошая рѣка, вольная,—снова заговорилъ стрѣлецъ.

— Какъ же ты съ Волги сюда попалъ, коли у Разина служилъ?

— Да у него-то я неволей служилъ... Допрежъ того служба моя была у воеводы Беклемишева, и тамъ какъ Стенька настигъ насъ на Волгѣ да отодралъ плетью воеводу...

— Что ты! воеводу! Беклемишева?

— Ево—да это еще милостиво—диви, что не утопилъ... Ну, какъ это попарилъ онъ нашего воеводу, такъ и взялъ насъ, стрѣльцовъ, къ себѣ неволей. А послѣ я и убѣгъ отъ него.

— И ноздри тебѣ на Москвѣ не вырвали?

— За что ноздри рвать? Я не воръ.

— А ты видѣлъ, какъ потомъ Стеньку-то на Москвѣ сказнили?

— Нѣтъ. Въ тѣ-поры мы стояли въ черкасскихъ городѣхъ, потому чаяли, что етманъ польской стороны, Петрушка Дорошбнокъ, черкасскимъ людямъ дурно чинить затѣвалъ.

— А я видѣлъ. Уже и страсти же, братецъ ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а тамъ и голову отсѣкли, да все это на колья... Такъ голова-то вде лѣто на колу маячила: и птицы ее не ѣли—черви съѣли... Страхъ! Остался костякъ голый, сухой: какъ вѣтеръ-то подуетъ, такъ онъ на колу-то и вертится, да только кости-то цокъ-цокъ-цокъ...

На западѣ, ближе къ полудню, что-то кучилось у самаго горизонта въ видѣ облачка. Да то и было облачко, которое какъ-то странно вздувалось и какъ-бы ползло по горизонту, на полночь.

— Никакъ тамъ заволакиваетъ зеръ-отъ...

— И впрямь, кажись, облаки божьи. Не разверзетъ ли Господь хляби небесны?—крестится монахъ.

— А добре бы было—страхъ упека.

Воевода растянулъ косой воротъ желтой шелковой рубахи, зѣвнулъ и перекрестилъ ротъ.

Облачко замѣтно расплозлось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что въ иныхъ мѣстахъ сѣрая пелена, надвигавшаяся на югозападъ.

ную половину неба, какъ бы трепетала. Старый поморъ-кормщикъ, сидѣвшій у руля воеводскаго судна, зорко слѣдилъ своими сверкавшими изъ-подъ сѣдыхъ бровей рысыми глазками за тѣмъ, что дѣлалось на горизонтѣ и выше. Жиллистая, черная какъ сосновая кора, рука его какъ-то крѣпче оперлась на руль.

Слѣва, по гладкой почернѣвшей поверхности моря прошла полосами, змѣистая рябь. Незвѣстно откуда взявшаяся стая чаекъ съ плачемъ пронеслась на востокъ, къ онежскому берегу, котораго было не видно. Душный воздухъ дрогнулъ и кочетокъ заметался и заскрипѣлъ на верху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепало краснымъ полотномъ, на которомъ изображенъ былъ Георгій, прокалывающій змія съ огромными лапами.

— Ай да люблю—вѣтерокъ! Теперь бы и косымъ парускомъ можно,— послышалось откуда-то.

— Напивай, братцы!

— Стой! не моги! — раздался энергическій голосъ старика кормщика-помора.

Вдали на западѣ что-то глухое загремѣло и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло какъ-то, замигало, бросило тѣни на море и скоро совсѣмъ скрылось. Высоко изъ воздухъ жалобно прописнула, какъ ребенокъ, какая-то птичка, и скоро голосъ ея затерялся гдѣ-то далеко въ невѣдомомъ шумѣ.

— Не къ добру, — проворчалъ старый кормщикъ, взглядываясь во что-то по направленію къ Соловкамъ. — На экое святое мѣсто да ратью идтить.

— Ты что, дядя, ворожишь?—спросилъ, подходя, тотъ стрѣлецъ, что служилъ у Стенѣки Разина въ водоливахъ.

— Что! Зосима-Саватей осерчали—дуютъ.

— Что ты, дядя! За что они осерчали?

— А какъ же! На ихъ вить вотчину—на святую обитель ратью идемъ.

— По дѣломъ—не бунтуй.

Небо загремѣло ближе, и какъ-бы что то тяжелое, упавъ и расколовшись, покатилося по морю. Порывомъ вѣтра, неизвѣстно откуда сорвавшася словно съ цѣпи, метнуло въ сторону полотняный наметъ и, потрепавъ въ воздухѣ, бросило въ воду. Монахъ, придерживая скuffейку, пряталъ подъ полу книгу, а воевода торопливо застегивалъ воротъ рубахи и крестился... „Святъ-святъ-святъ...“

Торрохъ! раскололось и обломилось, казалось, все небо надъ головами оторопѣлыхъ стрѣльцовъ; по-надъ моремъ, тамъ и здѣсь, пронеслись огненные стрѣлы; снова разорвалось небо и хлынулъ дождь.

Всѣ кругомъ крестились, полной грудью втягивая посвѣжѣвшій, влажный воздухъ и выставляя подъ дождь разгорѣвшіися головы и лица.

— Ай да важно! разлюли малина!—раздавались веселые голоса.

Кто-то запѣлъ по дѣтски: „дожжикъ-дожжикъ, припусти!...“ Одинъ

старый кормщик глядѣлъ сурово, заставляя судно поворачиваться лѣвѣе.

— Водоливы! къ пліцамъ!—громко закричалъ онъ:—воду выливай!

Дѣйствительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнѣе. Намокшее красное полотно съ Георгіемъ Побѣдоносцемъ болталось, какъ тряпка, тяжело хлеща по снастямъ. Вѣтеръ крѣпчалъ и вздымалъ море, которое, казалось, набухало, а мѣстами прорывалось и бѣлѣло тяжелыми брызгами. Бѣляки шли грядями, и кочи, сбившись съ перваго курса, тыкаясь въ бѣлые буруны носами, метались въ беспорядкѣ какъ щепки. Кое-гдѣ слышались испуганные голоса, рѣзкіе выкрики кормщиковъ.

Монахъ, упавъ на колѣни и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, когда его окатывало солеными брызгами: „Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророкъ Іона! Пророкушка матушка!.. во чревѣ китовѣ“, безсвязно стоналъ онъ, поднимая правую руку къ небу, которое на него свирѣпо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обѣими руками за мачту, испуганно озирался, борючись не то молитвы, не то заклинанья: „охте мнѣ! свѣты мои! Зосимъ-Саватей! соловецки! охте-хте!“ Стрѣлецъ, что служилъ у Стеньки Разина водоливомъ, торопливо сбрасывалъ съ себя сапоги, рубаху и порты, какъ бы собираясь броситься въ море и плыть, самъ не зная куда.

Одно судно, на которомъ еще недавно раздавалась пѣсня о „весновой службѣ“, потерявъ руль, отбилось въ сторону и перекидывалось съ гребня на гребень какъ пустое корыто. Другіе кочи также разбились врозь и то выскакивали на бѣлые гребни валовъ, то ныряли, болтая въ воздухѣ жалкими мачтами словно маленькими веретенами. Вѣтеръ завывалъ и взвизгивалъ, какъ бы силясь растрепать и оборвать ничтожныя снасти, которыя потому именно и не обрывались, что были слишкомъ ничтожны...

Еще разъ небесная пелена разодралась сверху до низу и треснулъ громъ: звякнулъ второй разъ еще рѣзче и заколотилъ по небу сотнями орудій.

На отбившемся и потерявшемъ руль суднѣ раздался отчаянный крикъ: „О-оо! православные! батюшки! спасите, кто въ Бога вѣруетъ!“

— Налягъ на гребки, братцы! съ Богомъ налягъ!—хрипло командовалъ кормщикъ воеводскаго судна, направляя ходъ его къ тому мѣсту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко въ пѣнящіяся волны, то скользя лопастями по бокамъ валовъ. Судно вздрагивало, то тыкалось въ воду носомъ, то западало кормой, такъ что кормщикъ, казалось, правилъ свое судно на водяную, перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо потопало: края его чуть замѣтно чернѣли въ пѣнящихся бурунахъ, и только виднѣлись руки, протягивавшіяся къ небу, словно разсвирѣпѣвшее небо собиралось бросить имъ спасительныя веревки, а на мачтѣ и на снастяхъ отчаянно бился тѣ, которые искали спасенья повыше отъ зіяющей и kloкочущей бездны.

Не успѣло воеводское судно настигнуть погибавшее, какъ послѣднее совсѣмъ захлестнуло темно-зеленымъ съ бѣлымъ гребнемъ буруномъ. Руки,

тянувшіяся къ небу, разомъ упали и замолели на клочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая въ водѣ.

— Кидай причалы! подавай концы, дѣтушки!—не выпуская изъ рукъ руля, повелительно и съ мольбою кричалъ старый поморъ-кормщикъ.

Взвились въ воздухѣ, разматываясь и кружась волчкомъ, бичевы и веревки и упали въ воду въ томъ мѣстѣ, гдѣ потопавшіе боролись съ волнами, блѣдые, съ искажившимися отъ ужаса лицами. Иной видимо съ отчаяніемъ и злобой погибающаго отбивался отъ топившаго его, не умѣвшаго плавать и держаться на водѣ сосѣда. Иныя руки хватились за веревки, другія, безнадежно поколотивъ воду, исчезали совсѣмъ подъ нею. Болѣе умѣлые и сильные боролись съ волнами сами и плыли къ спасительному судну.

— Православные, спасите Киршу! полуголовъ помогите, батюшки!—взмолился воевода, забывъ свой собственный страхъ.

А Кирша, стрѣлечій полуголова, взобравшись на мачту потонувшаго и уже скрывшагося подъ водою судна и чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолялъ сильнымъ голосомъ:

— Православные! отцы мои! не покиньте! тоню!

Набѣжавшимъ буруномъ тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и онъ, поднявъ руки къ небу, исчезъ подъ водою.

— Господи! помяни во царствіи раба... Господи!—съ ужасомъ шепталъ воевода, безумно озираясь.

— Да, прогнѣвались на насъ святые угодники Зосима-Саватей, за то, что мы хотимъ ихъ святую обитель разорить,—твердилъ старый кормщикъ.—Преподобные, помилуйте!

II.

Черный соборъ и посолъ Кирша.

На другой день послѣ грозы и бури—стояло чудное лѣтнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетѣвшею бурей и разставшее стрѣлечью флотилію, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубѣе, чище и привѣтливѣе, чѣмъ было до бури. Островъ — святая вотчина преподобныхъ Зосима и Саватія — съ темною зеленью, иглистыми лѣсами и рѣзко очерченными берегами, у которыхъ кружились, рѣяли въ прозрачномъ воздухѣ, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартины-рыболовы и острохвостые стрижи, казалось, радостно тянулся къ небу своими церквами и башнями, словно такъ и вышедшими, какъ изъ купели, изъ голубой морской пучины. Спасшіеся отъ потопленія стрѣлечьихъ суда-большаки и кочи тихо, едва замѣтно колыхались у берега на поверхности глубокой соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и сѣрыми, поросшими мохомъ камнями.

Но въ самомъ монастырѣ было неспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырскія ворота и всѣ входы

и выходы были заперты. По стѣнамъ ходили часовые съ ружьями, зорко слѣдя за тѣмъ, что дѣлалось на берегу, около стрѣлецкихъ кочей, и прислушиваясь къ смутному говору и смятенію, господствовавшимъ въ стѣнахъ обители. Соборный колоколь, разнося гулъ далеко по острову и по морю, не то билъ сполохъ, не то созывалъ черныи соборъ — всю братію и богомольцевъ, священниковъ и діаконовъ, соборныхъ старцевъ и братію рядовую и больничную, монастырскихъ служекъ и трудниковъ, служилыхъ людей, усольцевъ и всѣхъ православныхъ христіанъ. Въ то же время пушкари монастырскіе по башнямъ и бойницамъ чистили и заряжали нарядъ—пушки и пищали затинныя. Монастырскіе голуби, которымъ такъ привольно жилось въ монастырѣ на всемъ готовомъ, и сизые, и бѣлые волохатые, и глинистые, рудожелтые, и турмана всѣхъ цвѣтовъ и „въ штандахъ“, бѣлоглазыя глуповидныя галки, космополиты воробы и стрижи, охотники до всего высокаго и грандіознаго—до высокихъ церквей и грандіозныхъ скалъ, — всѣ эти пернатые отшельники и пѣвчіе, выпугнутые изъ своихъ келій-гнѣздъ необычнымъ движеніемъ, звономъ и суетнею на стѣнахъ и башняхъ, шумно кружились надъ монастыремъ и кричали на всѣ птичьи голоса, не зная гдѣ присѣсть и что думать о суетившейся черной братіи, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошекъ для своей крылатой скромной братіи. Одинъ особенно любимый черною братіею глинистый турманъ „въ штандахъ“, видя общую суматоху и принявъ ее сглупу за общее торжество, такіе выдѣлывалъ въ воздухѣ кувьрки, что Исачко Воронинъ, сотникъ и стратигъ всего монастырскаго воинства, зарядивъ на монастырской стѣнѣ послѣднюю затинную пищаль, такъ залюбовался на воздушные кувьрки любимаго монастырскаго голубя и такъ задралъ свою бородатую голову къ небу, на этого сорванца птицу, что чуть не опрокинулся со стѣны.

На звонъ колокола изъ всѣхъ монастырскихъ келій, словно черные тараканы изъ щелей, посыпала черная братія—изъ пекаренъ и трапезъ, изъ прядильныхъ и дубильныхъ избъ, изъ страннопріимныхъ и больничныхъ домовъ и изъ схименныхъ конурокъ. Все это, какъ пчелы, гудѣло и торопливо, насколько могло, направлялось къ собору, на площадкѣ у котораго уже виднѣлась старшая монастырская братія, отцы строители и рядители—архимандритъ Никаноръ, необыкновенно большебровый и горбоносый старикъ, келарь Наеанаидъ, кругленькій и пузатенькій старичокъ съ краснымъ носомъ и бородкою въ видѣ двухъ клоковъ немой овечьей шерсти, отецъ Геронтіи, сухой и длинный какъ сыромятный кнутъ чернецъ, съ лицомъ испостившагося „мурина“, городничій старецъ Протасій—остробородый съ плутоватыми глазами постный ликъ. Тутъ же и мірскія лица—сотникъ Исачко, уже сошедшій со стѣны, и сотникъ же кемлянинъ Самко: первый—косой на оба глаза, но необыкновенно мѣткій пушкарь съ вздернутыми носомъ и бородою, второй—съ поклывымъ носомъ рыжій мужикъ съ рыжею, широкою какъ лопата, бородою.

Тутъ же въ кругу стоялъ и стрѣлецкій полуголова Кириша, котораго

наканунѣ мы видѣли на мачтѣ погибшаго судна. Кирша не утонулъ: онъ погрузился было въ море, но его зацѣпили багромъ за кафтанъ и спасли. У Кирши въ рукахъ какая-то бумага. Рядомъ съ нимъ — тотъ монашекъ съ козелковой бородкой, что читалъ на морѣ воеводѣ книгу о преставленіи государя и великаго князя Василія Ивановича.

Сборище у соборнаго круга увеличивалось съ каждою минутой. Соплились не только монастырскіе жители, но пришедшіе издалека, изъ всѣхъ концовъ московскаго государства богомольцы и богомолки — изъ Архангельска, изъ Москвы, Сибири, съ Дону, Волги и даже изъ черкасской земли. Былъ тутъ и галанскій нѣмецъ изъ Амбурха града, имѣвшій торговый домъ въ Архангельскѣ и часто наѣзжавшій въ Соловки для покупки у братіи поташу, смолы и рыбаго зуба: это былъ бритый, круглощекій, съ голубыми глазами за пивною слюдой, нѣмецъ, и звали его Каролусомъ Каролусовичемъ. Каролусъ Каролусовичъ тоже пришелъ полюбопытствовать, по какому случаю такой сборъ въ монастырѣ. Вмѣстѣ съ нимъ и, съ семействомъ архангельскаго купца Неупкоева, пріѣхавшимъ поклониться соловецкимъ угодникамъ, вышла къ собору и аглицкая нѣмка, мистрисъ Пристлей, давно жившая въ Архангельскѣ съ своимъ мужемъ, агентомъ одного лондонскаго торговаго дома, мистеромъ Пристлеемъ, и известная всѣмъ архангельцамъ подъ почетнымъ титуломъ аглицкой нѣмки Амалѣи Личардовны Прострѣловой. Это была высокая сухошавая женщина съ розовыми щеками, бѣлыми и выдающимися, какъ у кролика, зубами и глинистыми, какъ перья у голубя въ штанцахъ, волосами. Амалѣи Личардовна пріѣхала въ Соловки просто изъ любопытства, какъ туристка, посмотреть на это московитское, какъ ей казалось, Уэстминстерское аббатство. Въ долгое пребыванье въ Архангельскѣ она порядочно выучилась говорить по-русски, и была особенно хорошо знакома съ женою Неупкоева и его дочкою, семнадцатилѣтнею дѣвушкою Оленушкою, съ которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что тамъ будетъ.

Когда они пришли къ сборищу, то увидѣли, что какой-то широкоплечій съ сросшимися бровями стрѣлецъ — это былъ Кирша — подаль архимандриту Никанору какой-то свитокъ съ висѣвшею на шнуркѣ черною печатью, а тотъ, развернувъ свитокъ и повертѣвъ его въ рукахъ какъ что-то такое, которое не знаешь съ котораго конца и начать, передалъ въ руки сухому монаху съ лицомъ мурна — грамотѣю Геронтію.

Геронтіи развернулъ свитокъ, нагнулся къ печати, какъ бы обнюхивая ее, выпрямился какъ смоленный шестъ, кашлянулъ словно изъ бочки и тоже словно бы изъ бочки началъ что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кромѣ отдѣльно выкрикиваемыхъ словъ — „сіе наше“... „со-соборное посланіе“... „и завѣщаніе“... „предаемъ и повелѣваемъ неизмѣнно хранить“... „и по... и поко... и покорятися святѣй во-восточнѣй церкви...“ Далѣе отецъ Геронтіи овладѣлъ трудностями дьяческой съ завитками каллиграфіи, и изъ бочки потекли плавно страшныя слова.

— „Аще ли мя кто не послушаетъ повелѣваемыхъ отъ насъ и не поко-

рится святѣй восточнѣй церкви и священному собору, или начнетъ преко-словити и противлятися намъ,—гремѣло на весь черныи соборъ,—и мы такового противника, данною намъ властію отъ святаго и животворящаго Духа—еще будетъ отъ освященнаго чина — извергаемъ и обнажаемъ его всякаго священнодѣйствія и благодати, и проклятію предаемъ...”

При словѣ „проклятіе“ сдержанный ропотъ прошелъ по собору. Всѣ груди, повидимому, тяжело дышали. Всѣ усиленно, мучительно-напряженно вслушивались въ читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно — „проклятіе:“ кто-то кого-то проклиналъ... кого же, какъ не ихъ, черную смиренную братію, братію рядовую, служебъ и трудниковъ?.. а за что?.. Вонъ какія мозоли они понатерли на своихъ грубыхъ ладоняхъ, работая на святыхъ угодничковъ Зосимъ-Саватѣя... А ихъ проклинаятъ... Трудно дышитъ братія — слышно даже это усиленное дыханіе... Иные не то скоробно, не то укоризненно качаютъ поникшими головами...

У отца Никанора ходенемъ ходятъ большія брови, а лицо все болѣе и болѣе краснѣетъ. Старецъ Протасій, оглядывая исподлобья черную братію, глубоко вздыхаетъ. Одинъ Исачко сотникъ коситъ своими глазами на Кыршу стрѣльца и какъ бы хочетъ сказать: „а попробуй — мы тебѣ покажемъ Кузькину мать...“ „Аще же отъ мірскаго чина,—продолжаютъ вылетать слова изъ сухой бочки,—отлучаемъ и чужда сотворяемъ отъ Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятію и анаемъ предаемъ, яко еретика и непокорника, и отъ православнаго всесочлененія и стада и отъ церкви Божія отсѣкаемъ яко гниль и непотребенъ уды, дондеже вразумится и возвратится въ правду покаяніемъ“.

Отецъ Геронтій передохнулъ и поправилъ на вискахъ и на лбу волосы, потому что и на вискахъ проступалъ потъ. Отъ волненія и натуги свитокъ дрожалъ въ его рукахъ и печать на шнурѣ колыбалась. Сотникъ Исачко отъ скуки—онъ человѣкъ ратный и письмо не его дѣло—его дѣло зелье нарядное да пицаль затинная—Исачко выслѣдилъ надъ монастыремъ своего любимца голубя, турмана въ штанцахъ, и искоса опять поглядывалъ на его отчаянные кувyrки въ воздухѣ.

— Чти дале — на нѣтъ чти,—ветерпѣливо и дрожащимъ голосомъ понукалъ архимандритъ.

— „Аще ли кто не вразумится,—продолжалъ отецъ Геронтій,—и не возвратится въ правду покаяніемъ и пребудетъ въ упрямствѣ своемъ до скончанія своего—да будетъ и по смерти отлученъ и непрощенъ, и часть его и душа со Іудею предателемъ и съ распятыми Христа жидовы и со Аріемъ и съ прочими проклятыми еретиками — желѣзо, каменіе и дрвеса да разрушатся и да растлѣются, и той да будетъ неразрѣшенъ и не разрушенъ и яко тимпанъ бряцай во вѣки вѣковъ—аминь!“

Многіе стояли блѣдные, дрожащіе. Одни робко, недоумѣвающе поглядывали другъ на друга, другіе съ какою-то робкою мольбою смотрѣли на стараго архимандрита. Отецъ Никаноръ—старъ, бывалъ человѣкъ, живаль и на Москвѣ, и архимандричилъ въ Саввиномъ монастырѣ, и на глазахъ

у царя бывавалъ, и царь его жаловалъ. Что-то онъ, отецъ Никаноръ, скажетъ? Али такъ-таки всѣхъ и выдастъ головой анаеми? Али на нихъ и закона нѣтъ? А Никаноръ стоитъ, заряженный, какъ затинная пищаль. Губы его дрожатъ. Онъ вспоминаетъ, какъ въ Москвѣ, лѣтъ пять тому назадъ, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться отъ двухъ перстѣй и сугубой аллѣлуйи, пасть сметѣмъ и прахомъ подъ нозѣ Никона... И стыдъ за прошлый позоръ, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потокомъ гнали его старую, но кипучую еще, кровь отъ сердца къ пунцовымъ щекамъ, къ глазамъ... „Вонъ Аввакумъ протопопъ, не убоится собора нечестивыхъ и пребысть крѣпокъ, аки адамантъ и яко скала нерушимъ...“

Оленушка, взглянувъ на Никанора, испуганно прижалась къ матери. Ея сніе, какъ морская вода подъ яркимъ солнцемъ, длинные глаза расширились и потемнѣли.

— А что далѣе—послѣ аминя?—рѣзко вдругъ спросилъ Никаноръ.

— Послѣ аминя, скрѣпа дьяка патріарша приказа, — отвѣчалъ Геронтій.

Никаноръ, взявъ изъ рукъ его свитокъ и обведя глазами соборъ, выпрямилъ свое старое тѣло. Онъ видѣлъ, что грамата съ проклятіемъ произвела удручающее впечатлѣніе на всю братію и даже на ратныхъ людей, преданныхъ монастырю, между которыми, кромѣ мѣстныхъ поморовъ и усольцевъ, находилось нѣсколько донскихъ казаковъ, послѣ пораженія Стеньки Разина перекинувшихся съ Волги на Бѣлое море, на службу къ соловецкимъ старцамъ, ибо Стенька не разъ говаривалъ своимъ удалымъ молодцамъ, что и онъ когда-то былъ въ Соловцахъ и маливался соловецкимъ угодникамъ. Никаноръ всего болѣе боялся, чтобы ратные люди, подъ страхомъ анаемы, не покинули монастыря на произволъ судьбы, и потому сразу рѣшилъ, что ему дѣлать. Онъ подошелъ къ Киршѣ, какъ къ посланцу царскаго воеводы, и сталъ такъ, чтобы его видѣли ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.

— Ты почто присланъ къ намъ?—спросилъ онъ громко посланца.

— Присланъ я съ грамотой, — отвѣчалъ Кирша, поводя сросшимися бровями.

— Мы выкли оное безтѣпичное лаганіе патріарша дьяка и то бреханье на вѣтеръ пустили. По что жъ еще ты присланъ къ намъ?

— Присланъ я,—заговорилъ Кирша по заученному,—отъ воеводы Ивана Мещеринова, чтобъ вы, соборная и радовая братья, добили челомъ великому государю...

— А потомъ что?

— Чтобъ принесли великому государю вины свои...

Никаноръ перебилъ его, схвативъ за руку.

— Винъ за нами передъ великимъ государемъ нѣтъ и не бывавало и добывать намъ челомъ великому государю не по что, окромѣ какъ молиться за его государское здоровье—и мы то дѣлаемъ,—скороговоркою проговорилъ онъ. — Поди и доложись о семъ твоему воеводѣ... Слыхалъ?

— По указу его царскаго пресвѣтлаго величества,—какъ бы не слушая

его, продолжалъ Кирша, — воевода приказалъ вамъ монастырь отпереть и государевыхъ ратныхъ людей принять съ честію.

Никаноръ оковчательно всплилъ.

— Али твой воевода царскимъ словомъ торговать сталъ! — закричалъ онъ. — Али пресвѣтлое царское слово можетъ исходить изъ такого поганого смердяго рта, какъ у твоего воеводы? Али у великаго государя бумаги и чернилъ не достало, чтобы слово его пресвѣтлое всякими пьяными глотками въ кабакахъ выкрикивалось? А! такъ что ли?

Озадаченный Кирша не зналъ, что отвѣчать. Онъ догадался, что воевода сдѣлалъ оплошность.

— Говори! — приставалъ къ нему Никаноръ. — Какъ твой воевода смѣлъ украсть царское слово? Али онъ не знаетъ, что царское слово, какъ и словеса Господа нашего Иисуса Христа, либо въ церкви, какъ святое евангеліе, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титулѣ, объявляться? — А! такъ вы этого не знали!

По собору прошелъ ропотъ ободренія. Головы поднялись увѣренно, блѣдность сбѣжала съ лицъ. Исачко смѣло и дерзко измѣрялъ своими косыми глазами Киршу, какъ бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: „Али на нихъ и суда нѣту!“ — „Али они и впрямь своимъ дурномъ наше доброе извести хотятъ!“ — „Чего ихъ слушать! воровство ихъ знамое!“

Кирша стоялъ какъ притравленный звѣрь, озираясь по сторонамъ. А прибывшій съ нимъ монашекъ испуганно топтался на мѣстѣ, точно выглядывая норку или скважинку, въ которую можно было бы юркнуть.

Въ это мгновеніе въ самую середину круга протискался какой-то оборванецъ съ длинными, какъ у простоволосой бабы, никогда нечесанными пасмами волосъ, падавшими ему на худое, аскетическое лицо и на плечи. Оборванецъ былъ босикомъ, въ одной, чужой, повидимому, рубахѣ, которая была слишкомъ длинна для него. Изъ-подъ рубахи видѣлись голыя, худыя какъ щепки икры ногъ. На шеѣ у него, какъ у цѣпной собаки, висѣла въ при движеніи звякала тяжелая цѣпь, замкнутая большимъ замкомъ у горла, ключъ отъ котораго былъ брошенъ въ море. Оборванецъ держалъ въ рукахъ старую скуфейку, въ которой, скукожившись въ комочки, спали еще не оперившіеся, съ золотымъ пушкомъ, голубиныя выводки. Оглянувъ кругъ и нагнувши свою косматую голову подобно барану, собирающемуся драться, онъ затопалъ ногами и припрыгивая запѣлъ дѣтскимъ голосомъ:

„Бушка-баранъ,
Не ходи по горамъ,
Убьютъ тебя —
Не пеняй на меня“.

Многіе вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привыкъ къ разнымъ выходкамъ и причудамъ своего юродиваго: но всегда искалъ въ его словахъ чего-либо пророческаго, какого-либо иносказанія, и

иногда, конечно большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их въ пользу пророческаго провидѣнія своего юродиваго: „а вишь Спирия-то блаженный предсказывалъ намъ это тогда, да мы-то, грѣшные, не уразумѣли его святыхъ словесъ“, говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное: — „вонъ тады, какъ съ Москвы намъ прислали книги съ трегубымъ алилуемъ да съ треперстіемъ, Спирия-то все намъ пѣлъ объ трехъ „люляхъ“ да объ „гуляхъ“:

Люли-люли-люли,
Прилетѣли гули.

... „Анъ стрѣльцы-то и были эти „гули“ самые, а намъ, глупымъ, и невдомекъ; а „люли“—то была сама трегубая алилуя“.

Такъ и теперь „бушка-баранъ“—это былъ не просто баранъ, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрѣльцы, что подъ монастырь пришли. „Не ходи, бушка, по горамъ—убьютъ тебя:“ это что-то очень страшное. Кого божій человѣкъ предостерегаетъ этимъ: братію ли, посланца ли этого?—кому быть убитымъ? Эти тревожные вопросы возникали въ душѣ каждаго. Однимъ казалось, что Спирия грозитъ посланцу, даже въ него и лбомъ уперся; а другіе ясно видѣли, что онъ будто бы показывалъ видъ, что бодаетъ отца архимандрита Никанора.

— Гулюшки-гули,—забормоталъ вдругъ юродивый, нагибаясь къ своей ступейкѣ: а! проснулись, дѣтки, ѣступки захотѣли.

Птенцы дѣйствительно подымали свои пушистыя съ неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тутъ же съѣлъ наземъ, вынулъ изъ сумочки, что висѣла у него черезъ плечо, горсть зеренъ, положилъ ихъ себѣ въ ротъ, пожевалъ и пригнулся лицомъ къ скуфѣ. Птички широко раскрыли красныя рты и сами полѣзли головками въ ротъ юродиваго.

Архимандритъ Никаноръ, озадаченный было сначала появленіемъ юродиваго и его загадочными словами, скоро пришелъ въ себя, и, обведя соборъ своими волосатыми бровями, обратился къ Киршѣ съ угрожающимъ жестомъ.

— Поди скажи твоему воеводѣ, чтобъ онъ убирался по добру-по здорovu: обитель преподобныхъ Зосимы-Савватія—не Петровское кружало.

Кирша выпрямился.

— Такъ это вы постановили?—спросилъ онъ глухо.

— Постановили и на томъ стоимъ,—отвѣтилъ Никаноръ.

— Такъ мы васъ добывать станемъ, какъ государевыхъ измѣнниковъ,—рѣзко сказалъ Кирша.

— Добывать?

Никаноръ обернулся и показалъ рукою на монастырскую стѣну. На стѣнѣ въ разныхъ мѣстахъ чернѣлись пушки, около которыхъ стояли пушкаріи.

— Видишь—каковы у насъ галаночки?

— Видимъ-ста: и у насъ такихъ тетокъ довольно, погорластѣе вашихъ будутъ.

— Что онъ похваляется своими тетками!—возразилъ Геронтій.—Намъ не впервой спроваживать ихъ; али не Игнашка Волоховъ сломалъ зубы объ наши стѣны?

— Да и Левлевъ Корнилко ни съ чѣмъ ушелъ,—замѣтилъ Никаноръ,—обитель-то преподобныхъ Зосимъ-Савватія крѣпенька живетъ—самъ святитель Филиппъ, митрополитъ московскій, стѣнки тѣ выводилъ.

— Что съ нимъ разговаривать, — послышалось въ толпѣ: — шелепами его!

— Вонъ изъ обители! вонъ нечестью! а то и на чепѣ посидите,—подхватили голоса.

Кирша видѣлъ, что его посольство кончено. Онъ поклонился Никанору и надѣлъ шапку.

— Долой шапку! Али не видишь гдѣ ты? Ты передъ чернымъ соборомъ!—загалдѣла черная братія.

Кирша повиновался, снялъ шапку и направился къ монастырскимъ воротамъ. За нимъ подтюпцемъ поспѣшалъ согнувшійся монашекъ. Городничій старецъ Протасій, у котораго на поясѣ висѣлъ огромный ключъ, направился къ воротамъ; сотники Исачко и Самко послѣдовали за посланцами. Старецъ Протасій отперъ одну четвертную складку массивныхъ желѣзныхъ воротъ и, пропустивъ Киршу и монашка, снова заперъ монастырскую твердыню.

Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершинѣ стѣны. Онъ стоялъ оборотясь къ морю и грозилъ кому-то кулакомъ.

III.

Отбитый чернецами „воронъ“.

— Богъ въ помощь тебѣ, человѣче божій,—сказала Неупоконха, смиренно подходя къ Спирѣ и низко кланяясь ему.—Благослови насъ грѣшныхъ да помолись твоими святыми молитвами о здоровьи рабовъ божіихъ — меня, рабы божьи Акулины, да рабы божьи Олены, да раба божья Остафя.

При этомъ Неупоконха положила передъ Спирей золотую монету. Спиря въ это время сидѣлъ на нижней ступенькѣ соборнаго крыльца и игралъ съ своими птичками. Онъ молча посмотрѣлъ на купчиху своими сѣрыми живыми глазами, глубоко запавшими, потомъ перенесъ ихъ на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая повидимому заплакать—такъ дрожали ея губы и щеки подернулись алой краской, какъ передъ слезами. По лицу и по глазамъ юродиваго пробѣжалъ свѣтъ и тотчасъ же какъ бы отлетѣлъ, а лицо подернулось туманомъ.

Молча полѣзъ онъ въ свою сумку и, пошуршавъ тамъ чѣмъ-то, вынулъ оттуда... Оленушка чуть не вскрикнула при видѣ того, что онъ вынулъ; а мать ея испуганно перекрестилась... Юродивый вынулъ изъ своей

сумки человѣческой черепъ. Это былъ желтый, потемнѣвшій костякъ, который вѣроятно очень долго лежалъ въ землѣ. Спира долго смотрѣлъ на него, тихо качая косматой головой, потомъ снова перенесъ свой взглядъ на Оленушку. Теперь въ этомъ взглядѣ теплилось что-то доброе.

— Видишь это, раба божья Олена? — спросилъ онъ, обращаясь къ дѣвушкѣ.

Та стояла молча и дрожала, прижимаясь къ матери. Расширившіеся отъ испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась въ плаксивую складку.

— Видишь, Оленушка? — переспросилъ юродивый ласковѣе.

Молчать испуганная дѣвушка. Не менѣе испуганная мать хватается ее за руку.

— Говори... молви словечко, дитятко... Говори божьему человѣку: вижу-моль, — бормотала она.

— Вижу, — чуть слышно прошептала дѣвушка.

Юродивый замоталъ головой, взглянулъ на солнце, которое высоко стояло надъ монастырской оградой, снова перенесъ глаза на черепъ, перекрестилъ его, поцѣловалъ и опять остановилъ свой взглядъ на смущенномъ лицѣ дѣвушки.

— А она была похожа на тебя, — сказалъ отъ тихо: — только у нея глаза были черные, что крупный торнъ, а у тебя вонъ сини... Да она жъ была грѣшница, а ты — чистая отроковица... Молись же объ ея душенькѣ — объ рабѣ божьей Анастасеѣ... Будешь молиться?

— Буду, — прошептала Оленушка, и вдругъ заплакала.

— Что ты! что ты, дитятко! — утѣшала ее мать: — божій человѣкъ тебѣ святое слово сказалъ, что жъ плакать? И я буду молиться объ рабѣ божьей Анастасеѣ, — говорила она, повидимому, совсѣмъ успокоенная. — Кто жъ она была — Анастасея-то?

— Гулюшки — гули, — заговорилъ юродивый, не отвѣчая на вопросъ и обращаясь къ своимъ птенцамъ. — Ишь, воръ — отнял у вась матушку.

— А они сиротки? — участливо спросила Неупокониха.

— Ихъ матушку-голубку Никонъ съѣлъ, — отвѣчалъ юродивый.

— Какой Никонъ, батюшка?

— Воръ, ястребъ.

— Ахъ, бѣдны сироточки!

Юродивый, вспомнивъ о червонцѣ, который положила у его скуфьи Неупокониха, взялъ его и возвратилъ ей.

— Отдай сей соръ — сметіе тѣмъ, у кого хлѣбца нѣтъ, — сказалъ онъ: — пушай помянуть рабу божью Анастасею.

Въ это время подошла къ нимъ аглицкая нѣмка Амалия Личардовна. Увидавъ ее, Спира торопливо схватилъ свою скуфейку съ птичками и побѣжалъ, испуганно оглядываясь и бормоча: „чуръ-чуръ-чуръ!.. бѣсъ во образѣ нѣмки... бѣсъ съ курьими лапками...“

— Это дурачекъ, матушка? — спросила она Неупокониху.

— Нѣтъ, матушка Амалѣя Личардовна: онъ—юродивый, уродъ Христа-ради,—отвѣчала та.

— Такъ шутъ?

— Нѣту, матушка, не шутъ—помилуй Богъ! — испуганно заговорила набожная купчиха:—онъ божій человѣкъ, святой. Что ты!

— А у насъ въ аглицкой землѣ таковыхъ юродивыхъ нѣтъ, и есть токмо шуты—и они бывають умны гораздо,—настаивала аглицкая нѣмка, которая хотя и давно жила въ Россіи, а все еще многія стороны жизни поражали ее.

— Нѣту—нѣту, родимая, то шуты—особа статья: то у насъ скомрахи, гудошники, бражники, а то уроды Христа-ради!

Амалѣя Личардовна невольно вспомнила свою далекую родину. Вспомнила, какъ она, еще дѣвушкой, въ первый разъ увидала своего будущаго жениха въ театрѣ, и именно когда играли объ одномъ несчастномъ старомъ королѣ, котораго называли Лиромъ и у котораго были три дочери. Тамъ она видѣла на сценѣ и шута—такого же юродиваго... А здѣсь въ московской землѣ ничего подобнаго нѣтъ... И она невольно вздохнула, взглянувъ на солнце: и солнце здѣсь не такое—не такъ ходитъ какъ въ ея родной аглицкой землѣ—такъ низко ходитъ московское солнце...

— У насъ въ аглицкой землѣ я таковаго шута видала на theatre,—сказала она, обращаясь къ Оленушкѣ.

— На чемъ? — съ любопытствомъ спросила дѣвушка, которая уже много диковиннаго и непостижимаго слышала отъ Амалѣи Личардовны.— На чемъ говоришь?

— На theatre, Оленушка,—отвѣчала аглицкая нѣмка. — Да я ужъ тебѣ сказывала о theatre.

— А! помню — помню... Это домъ такой, палата большая, аки бы церковь, а въ ней люди сидятъ на скамьяхъ, да другъ надъ дружкой, высоко, ряда въ четыре, сидятъ и глядятъ на дѣйство: выйдетъ это аки-бы король, либо королева, либо принецъ — и говорятъ, говорятъ, либо подерутся нарочно, а то женихъ съ невѣстой выдутъ — то-жъ говорятъ о своемъ сердцѣ... Ахъ, кабы мнѣ посмотрѣть на все это!

— Что ты! что ты, непутевая! — остановила ее мать:—въ экомъ-то святомъ мѣстѣ да объ скомрахахъ... Вонъ и у насъ на святкахъ хари надѣвають да наряжаются—кто козой, кто медвѣдемъ, кто бѣсомъ—тьфу! не къ мѣсту бы сказать—грѣхъ какой!

Вдругъ что-то грохнуло такъ, что всѣ вздрогнули. Неупоконха даже присѣла отъ испугу. Оглядѣвшись, увидѣла, что въ одномъ мѣстѣ надъ монастырской стѣной клубился дымъ. Сотникъ Исачко стоялъ около пушки, надъ которой и подымался, тая въ воздухѣ, бѣлый дымъ, и смотрѣлъ куда-то въ зрительную трубку. Въ другихъ мѣстахъ на стѣнѣ тоже суетились ратные люди. Изъ келій торопливо выходили монахи, тревожно по-сматривая на стѣны.

— Пушкари къ наряду! по мѣстамъ! — раздался зычный голосъ Исачки.

— Пушкари по мѣстамъ!—повторилась та же команда гдѣ-то въ воротной башнѣ—это распоряжался сотникъ Самко.

Почти въ одно мгновеніе передовая монастырская стѣна усыпана была ратными людьми. Скоро на стѣнѣ показались священники въ облаченіи и монахи. Въ воздухѣ заблестѣли золотые и серебряные оклады иконъ, несомыхъ по монастырской стѣнѣ. Церковныя хоругви, возвышаясь почти наравнѣ съ башнями, вѣяли въ воздухѣ какъ крылья и скрипѣли огорліями. Впереди процессіи шелъ Никаноръ въ архимандричьемъ облаченіи и митрѣ, искрившейся дорогими камнями и бурмицкимъ жемчугомъ, и осынная серебрянымъ распятіемъ пушки и ратныхъ людей, кропилъ направо и налево святою водою. Что-то чарующее, поражающее представляло эта картина, гдѣ, казалось, всю воинствующую рать составляли черные клобуки. Со стѣны несло пѣніе нѣсколькихъ сотъ голосовъ, большею частью старыхъ, жалкихъ, дребезжащихъ, какъ ослабѣвшія струны гуслей, но ихъ подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившіеся далеко по взморью чѣмъ-то глубоко трогательнымъ и печальнымъ. Казалось, древняя священная обитель отпѣвала себя живо и кропила святою водою свою собственную могилу. И надъ всѣмъ этимъ — стаи вспугнутыхъ голубей, и выше всѣхъ въ глубокой синевѣ слабо поблескиваетъ бѣлыми крыльями общій монастырскій любимецъ — бѣлый турманъ „въ штанцахъ“.

А тамъ, внизу, на морѣ, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшія ратныхъ людей, собиравшихся громить святую обитель. Кровавымъ пятномъ горѣлъ на солнцѣ красный флагъ воеводскаго судна. А еще ближе, по берегу, краснѣлись цѣлыя кровавыя полосы: это — красные кафтаны стрѣльцовъ, которые, перевязъ у нѣмцевъ нѣкоторыя воинскія хитрости, шли нога въ ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый зеленый стягъ съ золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь въ воздухѣ, какія-то чудовища въ родѣ висѣлицъ на толстыхъ колесахъ: то были „тараны“ — стѣнобитныя орудія, которыми предназначалось разбить въ щепень стѣны, сложенныя когда-то руками самого Филиппа, святителя московскаго, во время его печальнаго изгнанія. За таранами чернѣлись пушки, которыя стрѣльцы везли на себѣ, лямками. Подъ зеленымъ стягомъ грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемомъ и кольчугою: это былъ самъ воевода, холопъ его пресвѣтлаго царскаго величества, Ивашка Мещериновъ.

Еще пѣніе на стѣнахъ не умолкло, какъ послышалась рѣзкая команда, еще никогда неслыханная пушкарями.

— Господи Иусе Христе сыне Божій—по-милуй насъ!—прозвучалъ по стѣнѣ голосъ Никанора.

— Аминь!—отвѣчали сотники.

И разомъ грянуло нѣсколько десятковъ пушекъ. Дымъ заволокъ стѣны, башни и самихъ пушкарей. Никаноръ осынялъ пушки крестомъ. Хоръ черной братіи послѣдними надорванными голосами грянулъ: „Спаси, Господи,

люди твоя!..“ Внутри монастыря слышались крики и отчаянные вопли богомольцевъ, которыхъ такъ неожиданно застигла страшная осада.

Исачко своими косыми глазами ясно видѣлъ, что пущенныя имъ ядра не долетѣли до стрѣльцовъ, взрывъ землю за нѣсколько десятковъ шаговъ впереди ихъ строя. Пушкири вновь зарядили пушки.

Никаноръ, весь красный, съ каплями пота, засѣвшими въ его волосатыхъ бровяхъ, ходилъ отъ пушки къ пушкѣ, кадилъ ихъ и пушкарей и кропилъ святою водою.

— Матушки мои! галаночки!—приговаривалъ онъ къ пушкамъ: — на васъ наша надежа—вы насъ обороните!

Дымъ ладона смѣшивался съ пороховымъ дымомъ. Пушкири, цѣлую крестъ, снова кидались къ пушкамъ. Голосъ сухого Геронтія какъ боевая труба гремѣлъ среди плачущаго и взывающаго хора: „Спаси, Господи, люди твоя!..“ Вопли внутри монастыря раздирали душу.

— Стрѣляйте, дѣтушки, стрѣляйте!—кричалъ Никаноръ.—Да смотрите хорошенько въ трубки, гдѣ воевода: въ него, жирнаго, и стрѣляйте, дѣтки! Коли поразимъ пастыря, ратные люди разодутся, аки овцы.

Залпы слѣдовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрѣльцы все надвигались и все виднѣе и виднѣе вырисовывались желѣзные головы стѣннотныхъ орудій. Послѣдовалъ залпъ и съ той стороны. Ядра какъ громадныя орѣшины защелкали по монастырской стѣнѣ и съ визгомъ отскакивали назадъ, отбивая куски камней и глины.

— Въ стягъ-отъ, въ стягъ зеленый мѣти, Исачушко другъ! — молилъ Никаноръ:—тамъ воевода.

На стѣну вынесли запрестольный образъ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые съ самоцвѣтными камнями вѣнцы вокругъ темныхъ ликовъ преподобныхъ Зосимы и Савватія.

Никаноръ упалъ передъ иконой.

— Святители! угоднички! не выдайте своей обители на поруганіе! — вопилъ онъ, ползая передъ иконой. — Гляньте-ко съ неба сюда! махните; погрозите перстами святыми на еретиковъ!

А ядра все гуще и гуще стучать въ стѣны, Исачко реветъ на своихъ пушкарей.

— Дайте, братцы!—закричалъ онъ:—дайте душу свою вмѣсто ядра и зелья засыплю въ матушку!

И онъ самъ зарядилъ пушку, самъ навелъ ее—и грянулъ.

Зеленое знамя упало словно подкошенное. Взрывъ радости огласилъ стѣны.

— Стягъ упалъ! стягъ подбили! — кричали пушкаріи. — Любо! любо! еще катать!

Никаноръ, раскосмаченный, безъ митры, которую держалъ служка, бросился кропить и цѣловать пушку, которая поубавила московскій стягъ.

— Спасибо, матушка, галаночка! еще угоди—въ воеводу угоди, родная!

Новые залпы разстроили передніе ряды стрѣльцовъ. Стѣнбитныя орудія остановились. Москвичи задумались.

Въ это время тамъ, гдѣ остановились стрѣльцы, чтобы, немного передохнувъ, снова двинуться на монастырь, справа, на пригорѣ показалась человѣческая фигура. Незвѣстный шелъ къ стрѣльцамъ и что-то показывалъ имъ, поднимая руки. Со стѣны скоро узнали его: это былъ Спира, который показывалъ стрѣльцамъ свою сукфью съ птичками.

— Смотри-тко, братцы, Спира!—закричали пушкари.—Ай-ай!

— Онъ и есть, братцы. Что онъ задумалъ?

Московскіе стрѣльцы видимо обратили вниманіе на этого страннаго челоука. Всѣ глядѣли въ его сторону. Нѣкоторые побѣжали къ нему.

Въ это самое время слѣва, гдѣ росъ кустарникъ, какъ изъ земли выросли люди. Прикрываясь кустарникомъ, они приблизились на ружейный выстрѣлъ къ правому крылу московскаго отряда. И ихъ узнали съ монастырской стѣны.

— Братцы! да это наши тамъ съ казаками! — раздались радостные голоса.

— Наши, ай да молодцы! Въ засадъ пошли...

Дѣйствительно, то была небольшая партія донцовъ вмѣстѣ съ молодыми и старыми монахами изъ рядовой братіи, рыбаковъ и другихъ трудниковъ. Ярко отѣнялись въ зелени кустарника черные клобуки и сукфьи.

И вдругъ изъ кустарника раздался ружейный залпъ. Московскіе стрѣльцы дрогнули отъ такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Нѣкоторые изъ нихъ, пораженные пулями, упали. Въ этотъ моментъ и кровопостныя пушки дали залпъ. Москвичи окончательно растерялись.

Никаноръ снова упалъ передъ образомъ Зосимы и Савватія, который все еще оставался на стѣнѣ. Въ старомъ мятежникѣ воскресла вся его молодая энергія, которая измѣнила ему въ Москвѣ, на соборѣ, гдѣ онъ постыдно, какъ казалось его фанатическому уму, отрекся отъ двуперстнаго сложенія и сугубой алилуи. Этотъ стыдъ за прошлое горѣлъ у него на душѣ, жегъ его огнемъ: ему нужно было залить этотъ мучительный огонь совѣсти—и онъ поднималъ мятежъ во всемъ сѣверномъ Поморьѣ. Съ этимъ огнемъ въ душѣ онъ простирался теперь передъ иконой соловецкихъ покровителей, подъ громъ пушекъ.

— Святители! великіе угодники! перстомъ ихъ! опалите перстомъ ихъ вашимъ, аки молнью!—вопилъ онъ.

Потомъ, вскочивъ на ноги, снова бѣгалъ отъ пушки къ пушкѣ, кадилъ ихъ и кропилъ съ крикомъ:

— Матушки галаночки, не выдайте! родимыя, громите ихъ!

Косой Исачко и кемлянинъ Самко ревѣли не менѣе, распоряжаясь нарядомъ. Задымленные пороховой сажей, безъ шапокъ, то съ банныкомъ въ рукѣ, то съ дымящимся фитилемъ, они были страшны. Пушкари не отставали отъ нихъ. Пушки накалились до того, что къ нимъ нельзя было дотронуться.

— Уходят еретики! уходят!—прошелъ по стѣнѣ радостный крикъ.

— На утекъ! на утекъ!—улю-лю-лю! улю-лю-лю.

— Святители!—съ радостными слезами стоналъ Никаноръ.

Черный хоръ съ ревущимъ Геронтіемъ во главѣ дребезжалъ разбитыми голосами и гнѣсъ до самаго неба: „Взбранной воеводѣ побѣдительная, яко изъавльшеся отъ злыхъ...“

— Хвалите Бога, отцы и братія! кричите до самаго престола Его!— Господи! Владыко всесильный!

Приступъ былъ отбить.

IV.

Сиротская свѣчечна передъ Господомъ.

Странное, удивительное то было время. Маленькій островокъ, едва замѣтный на картѣ, ничтожный оgorбокъ, выплзшій изъ подъ неизмѣримыхъ водъ сѣвернаго ледовитаго океана, крохотная песчинка среди псковъ морскихъ—Соловецкій монастырь отложился, ушелъ изъ подъ державы великаго неисходимаго московскаго государства — и московскій великій государь, съ божьею помощью подклонившій подъ свою превысочайшую державную руку всю Малую и Бѣлую Русію, и царство казанское, и царство астраханское, и царство сибирское со всею необъятною Сибирью, — великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Русіи, самодержецъ московскій, кіевскій, владимірскій, новгородскій, царь казанскій, царь астраханскій, царь сибирскій, государь псковскій, и великій князь литовскій, смоленскій, тверской, волынскій, подольскій, югорскій, пермскій, вятскій, болгарскій и иныхъ, государь и великій князь Новагорода низовскія земл, черниговскій, рязанскій, полоцкій, ростовскій, ярославскій, бѣлозерскій, удорскій, обдорскій, кондинскій, витебскій, мстиславскій и всея сѣверныя страны повелитель, и государь иверскія земли, карталинскихъ и грузинскихъ царей и кабардинскія земли черкасскихъ и горскихъ князей и иныхъ многихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ и наслѣдникъ и государь и обладатель (таковъ былъ полный титулъ Алексѣя Михайловича, и за прописку хотя единого слова въ этомъ титулѣ дьяка постигало обычное наказаніе—„бить батоги нещадно“) — и такой, повторяемъ, могущественный государь въ теченіе восемнадцати лѣтъ не могъ подклонить подъ свою державную руку этого отбывшагося отъ великаго російскаго стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяемъ: то было странное, удивительное время.

Эпитетъ „тишайшій“, приданный Алексѣю Михайловичу его современниками и вполнѣ его характеризовавшій, совсѣмъ не подходилъ къ характеристикѣ его царствованія, полнаго бурныхъ событий. Онъ былъ кротокъ, набоженъ, со всѣми ласковъ, съ необыкновенно привязчивымъ сердцемъ. Онъ искренно любилъ Россію, свой народъ и всѣмъ сердцемъ желалъ ему

добра, счастья, благоденствия. Его голубиную душу глубоко цѣнили всѣ его приближенные, съ которыми онъ обходился съ отеческою нѣжностью, и если иногда и наказывалъ царедворцевъ за упущенія по службѣ — только не за злоупотребленія — то истинно по отечески: любимое его наказание было — купать бояръ въ пруду. Вотъ что онъ самъ писалъ объ этомъ своему стольнику, Матюшкину: „Извѣщаю тебѣ, што тѣмъ утѣшаюся, што стольниковъ купаю ежеутръ въ прудѣ. Иорданъ хороша сдѣлана, чело-вѣка по четыре и по пяти и по двѣнадцати челоувѣкъ, зато: кто не поспѣеть къ моему смотру, такъ того окунаю; да послѣ купанія жалую, зову ихъ ежеденъ, у меня купальщики тѣ ѣдятъ вдоволь, а иные гово-рятъ: мы-де наркомъ не поспѣемъ, такъ-деи насъ выкупаютъ, да и за столъ посадятъ: многіе наркомъ не поспѣваютъ...“ И царь доволенъ — тѣшится, и выкупанные царедворцы довольны — и ни одинъ не просту-жался, кушая въ мокрой одежѣ, развѣ что насморкъ схватить, который послабѣе... Да что тогда и за насморки были, когда безъ платка смор-кались!.. Таковы были люди, таковы были у нихъ и нервы...

И это-то благодушное царствованіе благодушнѣйшаго и „тишайшаго“ государя оказалось самымъ бурнымъ, роковымъ для Россіи, государственно и духовно расколовшимъ ее надвое, на двѣ половинки, которыя доселѣ, черезъ два столѣтія, не могутъ спаяться воедино.

Что же это былъ за клинъ такой чудовищный, который раскололъ та-кое громадное, вѣковое дерево, какъ московское царство, раскололъ на дѣе отъ вѣтвей и вершины до корня? И гдѣ нашелся еще болѣе чудо-вищный обухъ, который вогналъ этотъ страшный клинъ въ вѣковой мо-сковскій дубъ, вогналъ такъ, что расщепилъ его надвое? Чья, наконецъ, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обухъ на московскій дубъ?

На эти страшные вопросы во вкусъ безсмертнаго Іоаннікія Галатов-скаго можно отвѣчать только въ его вкусъ — метафорически.

Великій клинъ, расколовшій московское царство, былъ — идея. Идея, въ какомъ бы видѣ она не входила въ государство, въ общество, въ семью — всегда входила клиномъ въ живое тѣло и расщепляла его: во-дила ли она въ видѣ живого слова, проповѣди, въ видѣ книги, въ видѣ знанія — она всегда и вездѣ одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему либо равнодушные къ господствующимъ понятіямъ члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которыхъ господствующія понятія не стали еще дѣломъ привычки, чѣмъ-то дорогимъ, своимъ. Отсюда являлось раздвоеніе мнѣній въ государствѣ, въ обществѣ, въ семьѣ; отсюда расколъ въ об-ширномъ, историческомъ смыслѣ слова — раздѣленіе на „пріемлющихъ и на непріемлющихъ“, на людей „новыхъ“ и на людей „старого порядка“. Этою идеею во время Алексѣя Михайловича была книга, и притомъ печатная, потому что въ Москвѣ завелась первая типографія, занесенная изъ Кіева, изъ того мѣста, откуда заносилось въ древнюю Русь все лучшее — хри-

стіанство, просвѣщеніе, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самыя важныя, самыя необходимыя книги. А таковыми были книги богослужебныя. Начали печатать ихъ. Но съ какого оригинала наборщикамъ набирать ихъ? Надо было найти лучшіе, правильнѣйшіе оригиналы. Собрали ихъ. Стали свѣрять—оказались незначительныя разнорѣчія, и въ иныхъ описки, которыя отъ давности вошли въ привычку, какъ наприм. „Ісусъ“ вмѣсто „Іисусъ“. Книги свѣрили съ греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди отказались принять новыя книги... Клинь остановился въ деревѣ — ни назадъ, ни впередъ...

Тогда является обухъ и бьетъ по клинну. Клинь, повинувшись страшной силѣ обуха, входитъ въ дерево и расщепляетъ его надвое. Обухъ этотъ— Никонъ: онъ проклялъ непріемлющихъ новыя книги... тѣ ошестинились...

Рука, двигавшая обухомъ-Никономъ, было время: „приспѣ бо часъ“... Приспѣ часъ и московскому государству дать у себя мѣсто печати, книгъ, новой идеѣ...

Соловецкій монастырь вмѣстѣ съ прочими людьми стараго склада не принялъ новыхъ книгъ — и откололся отъ московскаго государства. Нашлись было и въ этомъ монастырѣ „новые люди“—молодые поны, которые начали было служить по новымъ книгамъ; но ихъ „арихомандрить“ велѣлъ „сѣчь плетми“—и они покаялись послѣ вторичнаго сѣченія.

Вскорѣ и самъ Никонъ такъ-сказать „отложился“. Оскорбленный невниманіемъ царя, который не иначе прежде называлъ его какъ „собиннымъ другомъ“, Никонъ бросилъ патріаршій престолъ и ушелъ въ монастырь, показывая на стоявшую въ то время на небѣ комету:

— Да размететъ Господь Богъ васъ оною божественною метлою, иже является на дни многи!

Онъ заперся въ своемъ монастырѣ и сидѣлъ тамъ ровно девять лѣтъ. Потомъ его судили и „обнажили“ высокаго святительскаго сана... „Откололся“ такимъ образомъ и Никонъ, но не отъ новыхъ книгъ...

Затѣмъ черезъ годъ или два послѣ суда надъ Никономъ — Стенька Разинъ „откололъ“ отъ московскаго государства всю юговосточную окраину... Такъ до того ли было московскому государству, чтобъ думать объ отложившемся ничтожномъ островкѣ на Бѣломъ морѣ — о Соловецкомъ монастырѣ... Вотъ и сидятъ себѣ старцы въ своей обители и поютъ по старымъ книгамъ...

Разина берутъ и помѣщаютъ его буйную голову на колъ.

Москву очищаютъ отъ главныхъ вожаковъ сопротивленія новой идеѣ—новымъ книгамъ: протопопа Аввакума и другихъ воротилъ „отколошнагося“ московскаго общества ссылаютъ въ Пустозерскъ.

Остается одинъ Соловецкій монастырь. Покончивъ со всѣми, принимаются и за него. Шлютъ туда стряпчаго Игнашку Волохова съ ратными людьми. Черная братія принимаетъ Игнашку въ пушки—и прогоняетъ отъ своихъ стѣнъ.

Шлютъ стрѣлцаго голову Корнилишку Іевлева со стрѣльцами—и его встрѣчаютъ „галаночками“ и гонять аки волка изъ овчарни.

Шлютъ наконецъ воеводу Ивашку Мещеринова съ цѣлою флотилією, съ пушками и сѣнобитными орудіями. И Ивашку принимаютъ въ „галаночки“.

Послѣ неудачнаго приступа Мещериновъ отошелъ къ своимъ кочамъ. А монастырь, усиливъ караулы поблизости стѣнъ и подмонастырскаго хормнаго строенія и амбаровъ, вошелъ снова въ обычную жизненную колею. Но черезъ три дня послѣ приступа случилось обстоятельство, которое послужило началомъ рокового, трагическаго исхода „соловецкаго сидѣнья“.

Старшая, начальная монастырская братія — архимандритъ Никоноръ, келарь Наонаилъ, городничій старецъ Протасій и монастырскій законникъ и грамотѣй Геронтій—сидѣли въ трапезной кельѣ и занимались монастырскими дѣлами. Всѣ они сидѣли на лавкѣ, а Геронтій у стола, на которомъ лежали бумаги, книги въ кожаныхъ и сермяжныхъ переплетахъ, свитки, и стояла мѣдная большая съ узенькимъ горлышкомъ и ушками пузатая чернильница съ воткнутою въ нее камышевою для письма „тростію“. Утреннее солнце, проникая сквозь узенькія, зеленаго стекла, съ желѣзными рѣшетинами окна, бросало зеленовато-радужныя свѣтлыя пятна на бумаги на серьезныя лица братіи и на согнувшійся надъ бумагою широкій затылокъ Геронтія. У порога стояли два мужика въ синихъ рубахахъ и усиленно встряхивали волосами, стараясь понять то, что читалъ нарастающе Геронтій.

— „А который человекъ по грѣхомъ отъ своихъ рукъ утеряетца, или въ лѣсъ съ дерева убьетца, или колесомъ и возомъ сотретъ, или озябеть, или сгорить, или утонетъ, или утопленникъ водою приплыветъ, а то обещутъ безъ хитрости, что которой отъ своихъ рукъ истеряетца, и съ тѣхъ вѣры за голову не имати“,—читалъ Геронтій, и на этомъ мѣстѣ поднялъ свою черную голову.

— Не имати,—повторилъ отецъ Никаноръ въ раздумѣ: — стало на васъ поголовщина не падаетъ,—глянулъ онъ на мужиковъ.

Мужики потоптались на мѣстѣ. Изъ нихъ низенькій съ бородавкою на скулѣ и бѣлыми финскими глазами смѣло выставилъ правый лапоть впередъ и заложилъ большой палецъ правой же руки за подпояску, на которой сбоку болтался деревянный гребешокъ, которымъ можно было разчесать развѣ только хвостъ у лошади.

— Кака, отцы, поголовщина!—сказалъ онъ увѣренно.

Въ то время въ келью вошелъ молодой высокій чернецъ. Черные говорливые глаза подъ крутыми бровями навѣсами, широкія скулы, рѣдкая черная борода, маленькіе мягкіе усы, не прикрывающіе мясистыхъ красныхъ губъ, и тщательно запыленная коса изобличали въ немъ не худороднаго чернеца, да и одѣтъ онъ былъ чисто. Войдя въ келью, онъ помолился на образа и, сдѣлавъ шагъ къ Никанору, поклонился въ землю.

— Съ чѣмъ?—спросилъ архимандритъ.

— Съ челобитьемъ, святой отецъ,—отвѣчалъ чернецъ отрывисто.

— А въ чемъ твое челобитье?

Чернецъ вынулъ изъ-за пазухи сложенную вчетверо бумагу и съ низкимъ поклономъ подалъ архимандриту, который, не развертывая бумаги, глядѣлъ на просителя.

— Жалоба мнѣ, святой архимандритъ, на купецку женку на Неупокоеву.

Архимандритъ видимо удивился. И другіе отцы глядѣли на просителя съ удивленіемъ.

— Нако-съ, вычти,—сказалъ Никаноръ, передавая бумагу Геронтію.

Тотъ медленно развернулъ челобитную, разгладилъ ее и, защищая своею тѣнью отъ солнца, сталъ читать.

— „Государю архимариту Никанору еже о Христѣ съ братьею бѣеть челомъ нищей государевъ сиротинка и вашъ богомолецъ, соборной попишко, іеромонашишко Ѳеклиско. Жалоба мнѣ нищему вашему государеву сиротинкѣ на купецку жену Неупокоеву, на Акулину Ивановну изъ Арахангельскаго города. Въ нонѣшнемъ, государь, во стѣ-восемьдесятъ-первыемъ году, мѣсяца іунія въ 2-й день, приходила та Акулина съ понахидою и подала мнѣ нищему вашему государеву сиротинкѣ и холопишку поминанье съ большимъ предисловіемъ. И язъ нищей вашъ поминаніе у неѣ взялъ и сталъ читать родителей Акулининыхъ. И та Акулина мнѣ нищему вашему стала говорить: прочитай - де и все. И язъ нищей вашъ сталъ ей говорить: Акулина Ивановна, много прочитать, не одна ты. И она, государь, Акулина, возгордѣвъ богатствомъ своимъ, учала меня нищего бранить лодыжникомъ, и долгогривымъ шпынемъ и кутьею называть и мучителемъ обзывать при народѣ. И язъ нищей вашъ государевъ, не хотя отъ неѣ позору и терпѣти, еѣ легонько въ зашей вывелъ вонъ изъ церкви, а она сильною мнѣ чинилася, упиралась, и кукишъ мнѣ якобы съ масломъ въ носъ совала. А на завтреѣ приволокся я по челобитью къ богомолкѣ бабѣ Ненилѣ понахиды служить, и та же меня Акулина нищею вашею собакою называетъ, и жеребцомъ, и кобылею головою, и бранить всячески неудобъ сказано. Умилосердися, государь, святой архимаритъ Никаноръ, пожалуй на ту Акулину Иванову дочь свой праведный сыскъ и оборонъ, что мнѣ вашему государеву богомольцу и холопишкѣ отъ еѣ позорные брани и безчестія нигдѣ отъ ней уходу нѣтъ, ни въ кельяхъ, ни въ церкви божіи, отъ еѣ брани и позору чтобъ мнѣ нищему вашему государеву богомольцу впредъ какъ жити у престолу соборные церкви подъ твоимъ государя своего благословеньемъ и жалованьемъ. Государь, святой архимаритъ Никаноръ, смилуйся пожалуй“.

Отецъ Геронтій, кончивъ читать, подозрительно взглянулъ на челобитника. Мужички у порога переглядывались и моргающіе глазки низенькаго мужичонка какъ-бы подмигивали товарищу: „знаемъ-де мы его, кочета грудастаго — всѣхъ нашихъ кемлянокъ перетопталъ“. Архимандритъ глядѣлъ сердито, двигая какъ тараканъ своими волосатыми бровями.

— Не затѣйно ли ты, малый, написал?—кинулъ онъ на него недо-
вѣрчивый взглядъ.

— Для чего затѣйно, государь?

— Для чего! по твоей дурости... Она, Неупокоиха, баба статейна и
усердна: ежегодно вклады даетъ на монастырь да и нонѣ пять бочекъ бе-
ремянныхъ вина ренсково пожаловала на обитель... Я попрошаю у ней.

— Сыщи, государь.

— А послухи есть?—спросилъ городничій старецъ.

Челобитчикъ замаялся.

— Видоки были?—повторилъ вопросъ архимандритъ.

— Она, государь, шпынемъ, кобылей ладоницей лаяла.

Мужики переглянулись... „Такъ-де и бабы кемлянки зовутъ его“, го-
ворили глазки низенькаго.

— А при свидѣтеляхъ это было?—переспросилъ городничій.

Въ дверяхъ показалась косматая голова и скуфья въ рукахъ. Мужики
торопливо разступились. Юродивый вбѣжалъ радостный, восторженный.

— Бѣгите, отцы, молиться... у насъ свѣтлый праздникъ,—заговорилъ
онъ возбужденно.

Всѣ смотрѣли на него недоумѣвающе и со страхомъ. Знали, что
Спира даромъ не станетъ радоваться.

— Что ты, Спира? Не мѣшай намъ—мы церковное дѣло строимъ,—
строго сказалъ архимандритъ.

— Какое дѣло въ праздникъ!—на дворѣ великъ день!

— Какой великъ день?

— Всѣ свѣчи зажжены... всѣ паникадила... до Бога полымя...

— Да что съ тобой?

— Я плясать хочу—вотъ что... Самъ Богъ глядитъ на насъ, а вы—
на!—вокругъ дурна возитесь...

Онъ искоса взглянулъ на чернеца челобитчика. Между тѣмъ со двора
доносился какой-то смѣшанный гулъ. Соборный колоколъ загудѣлъ безпо-
рядочно, набатно...

— Сполохъ, отцы!—тревожно, шопотомъ заговорилъ архимандритъ,
озираясь на всѣхъ и вставая.

— Трезвонъ... великая служба... разлюли малина!—радовался Спира и
прискакивалъ.

Всѣ поспѣшили на дворъ. Тамъ уже былъ весь монастырь на ногахъ.
По небу ходили клубы дыму.

— Уголья горятъ! кругомъ пожара!—слышались тревожные голоса.—
Это они—злодѣи!

— Всѣ... всѣ свѣчки теплятся къ Богу—весело!—твердилъ юродивый,
поспѣшая вмѣстѣ съ старцами на монастырскую стѣну.

Дѣйствительно, когда старцы вышли на стѣну, то съ ужасомъ уви-
дѣли, что весь островъ—точно утыканъ горящими свѣчами—огненнымъ
кольцомъ было опоясано все пространство на нѣсколько верстъ отъ мо-

настыря. Огни горѣли ровно, тихо, потому что и въ воздухѣ стояла ташина, только въ иныхъ мѣстахъ полыми подымалось высоко и широко, какъ все установленное свѣчами паникадило, а въ другихъ мѣстахъ теплились одинокія копѣчныя свѣчки. Это горѣли монастырскіе дровяные склады, скирды многолѣтняго запаса сѣна, постройки для рыбнаго и звѣринаго лова, монастырскіе карбасы, рыболовныя и звѣроловныя снасти—все, куда ни глянешь—горѣло и дымило, восходя къ небу клубами дыму. Въ просвѣтахъ пламени виднѣлось темносинее море. Птицы носились въ воздухѣ, оглашая весь островъ криками. Къ этому примѣшивался ужасающій ревъ скотины и ржанье лошадей.

Старцы стояли безмолвно, какъ бы вдумываясь въ глубину страшнаго явленія, совершавшагося на ихъ глазахъ. У Никанора сѣдыя брови окончательно надвинулись на глаза и судорожно вздрагивали. Отецъ Геронтій, казалось, еще болѣе высохъ и вытянулся въ кнутъ. Въ сторонѣ раздавались возгласы негодованія: „злодѣи!.. богоотступники!.. да они хуже татаръ! изверги!“

Одинъ Спиря, казалось, ликовалъ. Онъ радостно поскакивалъ и то говорилъ съ своими голубятками: „гулюшки—гули“, то бормоталъ вслухъ: „ай-да Иванушка-дурачокъ! Мещеринушка воевода! умно сдѣлалъ—почистилъ насъ, а то ужъ мы больно грязно жили—жирно ѣли, сладко пили, мало Богу работали... Ай-да Иванушка! Затеплил нашу сиротску свѣчку передъ Господомъ...“

Ждали вторичнаго приступа стрѣльцовъ и приготовились къ отраженію ихъ: но приступа на этотъ разъ не было—онъ былъ впереди.

V.

Огненный монахъ и посланіе Авванума.

Когда въ монастырѣ убѣдились, что Мещериновъ не намѣренъ брать стѣны на воропъ—добывать монастырь „наглостно“, а умыслилъ изморомъ извести святую обитель, временемъ и голодомъ истомить, и сталъ для того вести подкопы подъ землю, насыпать валы да строить городки, то черная братія опять созвала соборъ: что дѣлать? на что рѣшиться?

На соборъ созвана была только черная братія, а изъ мірянъ приглашены лишь сотники Исачко Бородинъ да Самко-кемлянинъ. Соборъ былъ въ трапезѣ.

Только что Никаноръ, перекрестясь на образа и поклонившись черному собору, хотѣлъ было говорить, какъ въ трапезу вошелъ Спиря, а съ нимъ никому невѣдомый монахъ. Онъ былъ сухъ какъ Геронтій, но только ниже его значительно, съ огненнаго цвѣта волосами, черными, запавшими, но горѣвшими фосфорическимъ блескомъ глазами и съ лицомъ, изборожденнымъ морщинами. Въ рукахъ его былъ желѣзный посохъ съ крестомъ вмѣсто ручки. За поясомъ берестяной буракъ. Босыя ноги повидимому никогда не знали сапогъ, ни даже лаптей.

Огненный монахъ вошелъ потупя голову, потомъ поднялъ глаза къ переднему углу, помолчился и земно поклонился передовымъ старцамъ, а потомъ въ поясъ—на всѣ четыре стороны.

— Миръ обителя сей и благословеніе божіе—произнесъ пришлецъ

— Аминь!—глухо повторилъ весь соборъ.

Пришлецъ опять поклонился.

— Кто еси, человѣче, и откуда пришествіе твое?—спросилъ архимандритъ.

— Что ти во имени моемъ? Азъ есмь птица божья, звѣрь лѣсной предъ Господомъ. А пришествіе мое отъ странъ полуночныхъ, изъ страны далекия—изъ града Пустозерска. Мене послалъ блаженный протопопъ Аввакумъ.

При имени Аввакума по собору прошелъ ропотъ удивленія. Слава этого имени разнесена была во всѣ концы московскаго государства: онъ высился въ глазахъ всѣхъ, какъ единый крѣпкій, адамантовый столпъ среди падающаго правовѣрія.

— Съ чѣмъ прислалъ тебя отецъ Аввакумъ?—спросилъ Никаноръ, обрадованный и въ то же время видимо смущенный.

— Съ рукописаніемъ,—овѣчалъ огненный чернецъ.

— Къ намъ? къ соловецкой братіи?

— Къ вамъ, отцы.

Всѣ ждали, что пришлецъ сейчасъ подастъ письмо. Но онъ оглянулся нѣкогда-то глазами. Глаза остановились на юродивомъ, который сидѣлъ на полу и улыбался.

— Али печать не сломишь?—спросилъ онъ, продолжая улыбаться.

— Не сломя, брате,—крѣпка.

— Такъ визгалочку, поди, дать?

— Визгалочку бы.

Спиря полѣзъ въ свою сумку и вынулъ оттуда подпирокъ, повидимому заранѣе приготовленный. Всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли, что дальше будетъ. Огненный монахъ сталъ раздѣваться среди собора: распоясался, снялъ полукафтанье и очутился въ власяницѣ и портахъ. Власяница была до того жестка, словно бы она была соткана изъ тонкихъ колючихъ проволокъ. Ропотъ удивленія опять какъ вѣтерокъ прошелъ по собору. Огненный чернецъ снялъ и власяницу... Соборъ ахнулъ!.. Сухое тѣло было обтянуто желѣзными обручами словно разваливающійся боченокъ—буквально оковано желѣзомъ, которое такъ и вѣлось въ тѣло и во многихъ мѣстахъ проржавѣло—тамъ, гдѣ было до мяса и почти до кости протерто тѣло... То было странное и страшное время: гоненія, воздвигнутыя на людей, не признавшихъ новыхъ книгъ, на людей стараго міровоззрѣнія, которыхъ новый историческій клинъ откололъ отъ „новыхъ людей“,—выработали изумительные характеры подвижниковъ старой вѣры, и чѣмъ нагнетеніе на нихъ было острѣе, тѣмъ болѣе обострялся фанатизмъ преслѣдуемыхъ и—по общему историческому закону—тѣмъ болѣе росло ихъ

стадо: ничто такъ не ускоряетъ ростъ и не способствуетъ густотѣ лѣто-раслей на деревь, какъ подрѣзываніе ихъ...

Соборъ содрогнулся, увидѣвъ это худое, искрещенное желѣзными обручами тѣло. Вокругъ пояса обвивалась желѣзная же полоса, шириною въ три пальца. Она окончательно вѣлася въ тѣло, такъ что краевъ ея не было даже видно. Полоса спереди замыкалась замкомъ, который висѣлъ на двухъ сходящихся плотно проушинахъ.

Спиря сталъ пилить дужку у замка.

— Но-ли нѣтъ ключа?—съ дрожью, въ голосѣ спросилъ Никаноръ, весь блѣдный.

— Ключъ у Аввакума на крестѣ,—былъ отвѣтъ.

— О-о-охъ!—простоналъ кто-то въ толпѣ.—Господи!

Подпилокъ визжалъ по нервамъ... но тогда нервовъ не знали... онъ визжалъ прямо по душѣ, и притомъ по грѣшной душѣ... Всѣ чувствовали эту визготню тамъ, въ себѣ, глубоко, и имъ чудились муки ада: горящіе смолою котлы съ плавающими въ нихъ людьми; люди же, жарящіеся на громадныхъ сковородахъ, словно осетры; пилы, визжащія по костямъ и по становымъ хребтамъ грѣшниковъ; крючья, на которыхъ висятъ подвѣшенные за ребра люди; клещи, вытаскивающія языки и жилы изъ рукъ и ногъ...

Визжать-визжить-визжить подпилокъ! Со Спири потъ градомъ катится...

— Сме-ерть моя!—выкрикнулъ кто-то, и Исачко сотникъ уналь въ ноги пришлепу и сталъ ихъ страстно цѣловать; это была увлекающаяся, дѣтская натура: какъ онъ увлекался бѣлымъ голубемъ „въ штанцахъ“, такъ теперь—этимъ...

— А! донялъ,—добродушно улыбнулся Спиря:—это не пицаль, братъ, не гуля въ штанцахъ.

Дужка замка распалась. Замокъ звякнулъ объ каменный помостъ. Всѣ вздрогнули.

— А какъ ты, миленькій, къ намъ попалъ?—спросилъ Никаноръ, все еще блѣдный.

— Вотъ дурачекъ провелъ—изъ Анзерскаго скита, —указалъ пришлепъ на Спирию.

— А ты ужъ и тамъ побывалъ?—удивился архимандритъ.

— Не я, а мои ноги,—отвѣчалъ Спиря.

Исачко, поднявшійся съ полу, стоялъ красный, совсѣмъ растерянный. Косые, добрые глаза его моргали, какъ бы собираясь плакать. Огненный чернецъ глядѣлъ на него съ любовью и грустью. Черная братія тискалась впередъ, чтобы ближе разсмотрѣть „подвижничка“. Въ трапезѣ становилось неизобразимо жарко.

Когда Спиря разнялъ поясной обручъ на пришельцѣ, подъ обручемъ оказался узкій, уже обруча, кожаный поясъ. Спиря вопросительно посмотрѣлъ на своего гостя.

— Чикъ-чикъ?—спросилъ онъ.

— Чикъ-чикъ,—отвѣтилъ тотъ, улыбаясь.

Спира бросился къ столу и досталъ изъ него ножъ.

— Тутъ чикать?—спросилъ онъ, указывая на животъ.

— Тутъ,—былъ отвѣтъ.

Поясъ разрѣзанъ и снятъ. Въ немъ оказалась завернутою длинная, узкая, сложенная вчетверо полоса бумажки. Спира развернулъ ее.

— Ишь какъ намелилъ протопопъ,—проворчалъ онъ:—мачкомъ обсыпалъ бумажку.

Никаноръ дрожащею рукою взялъ отъ него бумагу. Геронтій подвинулся къ нему, протягивая руку.

— Соборне вычестъ?—нерѣшительно спросилъ Никаноръ огненного чернеца.

— Соборне,—отвѣчалъ тотъ, надѣвая на себя опять власяницу и полукафтаны.

— Благословись, отецъ.

Никаноръ подаль бумагу Геронтію. Геронтій перекрестился, а за нимъ руки всего чернаго собора поднялись ко лбамъ да на плечи. Спира сѣлъ на полу и сталъ кормить своихъ голубей.

— „Всѣмъ нашимъ горемыкамъ миленькимъ на Соловкахъ“, началъ Геронтій: „протопопъ Аввакумъ, рабъ и посланникъ Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа, благодать вамъ, отцы и братія, и чада, и сестры, и дщери, и сущіе младенцы! Прослышалъ я здѣсь, сидя на чепи въ землянѣй ямѣ, что вы, яко подобаетъ воинамъ Христовымъ, ратоборствуете добре супротивъ проклятыхъ никоніанъ. Честъ вамъ и слава, стрѣльцы Христовы! И Никанорушка—свѣтъ архимандритъ, осквернивъ руку свою и душу троеперстіемъ, нынѣ чу кровію омываетъ пятно то съ души своей. Спасибо, свѣтъ Никанорушка!“

Куда дѣвалась блѣдность архимандрита! Онъ стоялъ багровый, а изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей текли слезы и разбивались въ брызги объ перламутровыя четки.

— „Хвала тебѣ, воеводушка и стратигъ правовѣрія! Похвала всѣмъ вамъ, стрѣльцы божьи въ клобукахъ, и вамъ, сотнички добрые и ратные люди, и міряне! Обнимаю васъ всѣхъ о Христѣ—длины су руцѣ мои: всю Русь правовѣрную обнимаю, яко невѣсту богоданную“.

И Исачко стоялъ красный какъ ракъ.

— Исакушка, слышишь,—прошепталъ Спира.

— Нишкни, другъ,—отмахнулся тотъ

— „Молю всѣхъ васъ, страждущихъ о Христѣ, кричу къ вамъ изъ ямы моея, изъ сѣни смертнѣй, руцѣ мои простираю къ вамъ изъ земли, изъ живой могилы, въ ню же ввергоша меня сатанины сыны, молю съ воплемъ и кричаніемъ, откликнитесь свѣты мои миленькіе: еще ли вы дышите, или уже сожгли васъ, что лучину Христову, или передавили, или въ студеномъ морѣ что щенять перетопили? Нѣту чу? Дай-то Богъ. А коли нѣту,—именемъ божіимъ закликаю васъ: претерпимъ здѣ мало отъ

ніконіанъ, претерпимъ и кнутъ, и огонь, и костей ломаніе, претерпимъ мигъ единъ смертный, яко молнія краткій, да Бога вѣчно возвеселимъ и съ Нимъ вмѣстѣ возрадуемся. Нынѣ бо въ зеркалѣ гаданія, тамо же, за гробовой доской, за костромъ, за висѣлицей — лицемъ къ лицу Его, Свѣта нашего, узримъ. Нынѣ намъ отъ нѣконіанъ огонь и дрова, земля и топоръ, ножъ и висѣлица, могила безъ савана, похороны безъ ладону; вмѣсто пѣнія „плачу и рыдаю“ — кричаніе и рыданіе сѣкомыхъ и пытаемыхъ, вопленіе женъ и дѣтей, гугненіе урѣзанныхъ языковъ; тамъ же ангельскія пѣсни и славословіе, хвала и радость, и честь, и вѣчное ликованіе въ царскихъ вѣнцахъ. Яра нынѣ зима, охъ, яра, студена, но сладокъ тамо и тепелъ рай; болѣзненно терпѣніе, но блаженно воспріятіе. Того для да не смущается сердце ваше; и я здѣсь, миленькіе мои свѣты, въ землѣ скачу и ликую, что собачка на цѣпи; близко вѣнецъ царскій—вотъ-вотъ рукою достаю. Такъ-то, свѣты. Всякъ вѣрный не развѣшивай ушей, не раздумывайся, гляди со дерзновеніемъ во огонь, въ воду, въ яму глубоку, противъ ядра и пищали—иди и ликуй, и скажи: подъ вѣнецъ идешь на царство. И его-то, нашего батюшку-царя, тишайшаго миленькаго свѣта, нашего „свѣте тихій“, они сатанины сыны смутили. Да добро! его сердце въ руцѣ божіи: самъ Богъ ему персты сложить истово и свѣтлы оченьки ему откроетъ. Любо мнѣ, радостно, свѣтики мои, что вы охаете: „охъ! охъ! охъ! какъ спастися? искушеніе прииде!“ Чаю су охъ, да ладно такъ, ладнехонько: а вы, свѣты, меньше спите, убуждайте другъ друга—васъ много, кричите до Бога—услышитъ за тридевять земель, увидитъ за синими морями за окіанами: у него чу очи не наши—всевидащи. А я играю, въ землѣ сидя, что сурокъ зимой, плещу руками, звеню цѣпами—то гусли мои звончаты, аки райская птичка веселюсь, а меня ѣдятъ вши—добро! пускай ихъ! меньше червямъ останется. Пускай, реку, діаволь-отъ сосуды своими погоняетъ отъ долу грязнаго сего къ горнему жилищу и въ вѣчное блаженство рабовъ Христовыхъ. Идите же ко Христу, свѣты мои. Приношу васъ и себя въ жертву Богу живу и истинну, Богу животворящему мертвыя и сожженные въ золу. Самъ по нимъ азъ умираю и вамъ того желаю. Станемъ же добре, станемъ твердо. Аще не нынѣ, умремъ же всяко, а изъ насъ, что изъ зерна горушна, вырастутъ тмы темъ. Помяните первыхъ христіанъ. Нынѣ что! нынѣ игралище, шутки, широкая масляница намъ: насъ жгутъ и вѣшаютъ — въ одиночку, а тогда, свѣты, по сѣкирами въ главу по сороку тысячъ, топили въ озерахъ по полутрети до четверты тысячъ, жгли безъ числа, что лѣсъ. А что взяли! Изъ двудесяти апостолъ стали тмы темъ вѣрующихъ. Тако и изъ насъ. Сожгутъ одного изъ насъ—что золы-то выйдетъ! А та зола, свѣты мои, сѣмя новое: сколько золинокъ праху сего отъ сожженного тѣла пустятъ по свѣту, столько новыхъ вѣрныхъ вырастетъ изъ тѣхъ малыхъ золинокъ. Отрубили у кого голову—ино та голова зерномъ стала, и отродится то зерно изъ могилы самъ-сотъ, самъ-тысячъ: ни една рожъ такъ не родить, ни ячмень, какъ голова мученика. Это вѣрно, други. Посѣки одинъ дубъ—

анъ сто дубковъ поидеть отъ корня. Такъ-ту! Вонъ меня еще не поѣкли, я еще расту, старый дубъ, а изъ меня ужъ выросъ во-какой молодой дубокъ. Терентьюшко младъ, что къ вамъ сіе мое писаніе принесетъ, коли Господь сподобитъ. А былъ онъ стрѣлецъ московской, караульщикъ мой, и замкнуты мы съ нимъ здѣсь въ Пустозерскѣ, что собаки на одной цѣпи, въ ямѣ жили да Христосъ среди насъ. А теперь—на! какъ позналъ прелесть свѣта и мое тюремное веселіе—изъ тюремщика сыномъ мнѣ миленькимъ стать“.

— И-и! хитеръ су, воръ Терешка!—дергалъ Спирия Исачка за полу, показывая на огненнаго чернеца.

— А что онъ?—дивился Исачко.

— Вонъ приковалъ себя ко Христу веригами — ну, и любо ему со Христомъ-ту.

— Ужъ и подлинно—ахъ!

— „Стойте же, свѣты, не покоряйтесь, да страха ради никоніанска не впадете въ напасть“, продолжалъ Геронтій: „Иуда апостолъ былъ, да сребролюбія ради ко діаволу попалъ, а самъ діаволъ на небѣ былъ, да высокоумія ради во адъ угодилъ, Адамъ въ раю жилъ, да сластолюбія ради огненнымъ мечемъ изгнанъ и пять-тысящъ пятьсотъ лѣтъ горячу сковороду лизалъ. Помните сіе и стойте, свѣты: держитесь, крѣпко держитесь за Христовы ноги да за Богородицины онучки. Оня, Свѣты, не выдадутъ. Аминь“.

Голосъ Геронтія смолкъ. Сотни грудей, долго не дышавшихъ отъ вниманья, теперь дохнули вѣтромъ.

— Аминь! аминь!—застонала трапеза.

— Будемъ стоять! будемъ держаться за Христовы ноги да за Богородицины онучи!

— Добре! добре! любо! умремъ за крестъ—за два перста!

— Потерпимъ за сугубую алилуюшку матушку! постраждемъ!

Голоса смѣшались словно на базарѣ. Слышалось—и „за Богородушку“, и за „алилуюшку“, и „персточки-перстики родимы“...

— А за батюшку „аза!“ охъ за свѣта „аза“ постоимъ!—перебилъ всѣхъ голосъ юродиваго.

Многіе смотрѣли на него вопросительно, не зная, о какомъ „азѣ“ говорить онъ.

— Не дадимъ имъ „аза!“—повторялъ юродивый.

— Какого аза?—обратились нѣкоторые къ архимандриту.

— А въ „вѣрую“,—отвѣчалъ тотъ:—въ „вѣрую во единого Бога“—тамъ сказано: „и въ Господа нашего Исуса Христа, рожденна а не сотворенна...“ А никоніянцы этотъ самый азъ-отъ и похерили—украли цѣлый азъ...

— Батюшки! азъ украли! окаянные!

— Такъ, акъ, братія,—подтверждалъ Никаноръ—велика зѣло спла въ семь азъ сокровенна: не даромъ въ букварѣ говорится—„азъ-ангелъ-ангельскій, архангелъ-архангельскій...“

— Ай-ай-ай! и они, злодѣи, украли его батюшку?

— Украли, точно злодѣи.

Посланіе Аввакума внесло такую страстность въ это черное соборище, что всѣ готовы были сейчасъ же идти въ огонь, на самыя страшныя муки. Страданія и притомъ самыя нечеловѣческія стали для этой нафанатизированной толпы высочайшимъ идеаломъ, къ которому слѣдовало идти неуклонно, мало того—не идти только, а бѣжать, рваться со всѣмъ безуміемъ мрачнаго ослѣпленія. На Никанора посланіе это подѣйствовало какъ битье на боевого коня и какъ елей на старья, трущіяся въ душѣ раны. Аввакумъ, ставшій центромъ и свѣточемъ борьбы за старья начала, выразителемъ силы, ей же имя легіонъ и тьмы темъ,—этотъ Аввакумъ шлетъ ему привѣтъ и хвалу, бросаетъ и на него лучъ своей мрачной славы. Исачко сотникъ, необыкновенно впечатлительное и страстное дитя природы, тоже вспыхнулъ какъ порохъ отъ посланія Аввакума.

А тутъ еще этотъ огненный Терентьюшко въ потрясающихъ душу веригахъ, Терентьюшко, бывшій стрѣлецъ, тюремщикъ и мучитель Аввакума—какіе ужасы онъ сообщилъ!

Для большаго нравственнаго и физическаго истязанія Аввакума въ Пустозерскѣ, гдѣ его засадили въ глубокую сырую и холодную земляную яму, къ нему приковали его сторожа—тюремщика, этого самаго стрѣльца Терентія, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы тюремщикъ былъ всегда при арестантѣ, а въ случаѣ если арестантъ совратитъ и его, то чтобы все-таки они оба были на цѣпи и не могли бѣжать. Но когда увидѣли, что Аввакумъ дѣйствительно совратилъ огненнаго Терентьюшку и этотъ тюремщикъ сталъ молиться на своего колодника, то Терентьюшку сослали въ Обдорскъ, а къ Аввакуму приковали бѣсноватаго... Терентьюшко бѣжалъ изъ Обдорска и сталъ подвижничать—заковалъ себя всего въ желѣзо...

Когда, наконецъ, черныи соборъ нѣсколько поуспокоился, Никаноръ сталъ держать рѣчь.

— Такъ будемъ же, отцы и братія, сидѣть крѣпко—Богъ дастъ отсидимся. А не отсидимся—ино топерь же, загода, посхимимся всѣ: какъ присѣсть часъ итить ко Христу свѣту отъ сего временнаго житія, такъ пойдемъ въ путь онъ во схимахъ. Эка радость будетъ Христу, какъ придетъ къ нему наша черная рать—не махонька ратеюшка придетъ къ нему черныхъ стрѣльцовъ...

— А съ міряннами, отецъ, что намъ дѣлать — съ богомолами? Вишь, ихъ тоже рать не махонька у насъ,—замѣтилъ отецъ городничій Протасій. — Ртовъ - ту не мало, а кормить ихъ чѣмъ будемъ? Вонъ злодѣи всѣ наши запасы пожгли на островѣ: только то и осталось на прокормъ, что въ стѣнахъ.

— Міряннамъ вольно итить: мы ихъ выпустимъ изъ монастыря,—отвѣчалъ Никаноръ.

— А какъ бы имъ воинскіе люди какого дурна не учинили.

— Для чего дурно чинить? Міряне не мы. Да и то сказать: вонъ и тѣ-

мецъ галаиской Каролушъ Каролусовичъ онома-дни сказывалъ мнѣ, что ему нонѣ здѣсь дѣлать нечего стало, и онъ хочетъ ѣхать домой, въ Архангельской, да съ нимъ и аглицкая нѣмка Амалѣя Личардовна Прострѣлова собирается то жъ къ себѣ въ Архангельской. „А у насъ - деи, говорить, у иноземныхъ людей, есть проѣзженіе грамоты, такъ насъ-деи, говорить, государевы ратные люди пальцемъ не тронуть“. Такъ съ ними вотъ мы и мірянъ отпустимъ—пушай ѣдутъ кочами на Сумской либо на Кемской посадъ, либо черезъ Анзерской скитецъ, кому какая дорога.

— А кто-жъ ихъ моремъ перевезетъ?

— На то вожи есть, а то и стрѣльцы кочами переволокутъ кого Христа ради, кого за деньги.

— А то и кемляне перетаскають, что пріѣзжали по твоей архимандричій судъ, замѣтилъ своимъ обычнымъ басомъ отецъ Геронтій.

— И то дѣло, коли ихъ кочей злодѣи не сожгли.

Повидимому, одинъ Спири не принималъ никакого участія въ сужденіяхъ собора: онъ сидѣлъ въ углу на полу и кормилъ изо рта своихъ голубятъ, которые, трепыхаясь хорошенькими, неуклюжими, еще не обросшими перомъ крылышками, жадно совали юродивому въ ротъ свои пушистыя головки по самую шейку.

Вдругъ что-то глухо грякнуло и какъ бы покатилося по воздуху. То былъ пушечный выстрѣлъ. Исачко и Самко стрелглавъ бросились изъ трапезы, оставивъ черную братію въ торопливомъ смятеніи.

VI.

Оленушна въ раю.

— Кто тутъ?

— Это я, матушка: Спирька дуракъ.

— Все сидишь?

— Сижу—плачу... А все, видно, слезы мои не прокапали еще землю насквозь.

— О-охо-хо! охте мнѣ!

— Что она, голубица-то чистая?

— Забылась мало.

— Не бредила?

— Нонѣ нѣту, милый.

— А тебя спознаеть?

— Спознавала... А долго металась въ огнѣ.

— А какъ теперь огонь, матушка?

— Кажись, легче—голова взопрѣла.

— Слава Богу!.. А ты, мать, опочи мало—ты сама ли на что свелась; а я посижу за ней—помолюсь.

— Спасибо, милый,—только тише будь.

— Ладно... аеромъ не шелохну...

Это Спиря съ Неупокою. У нея тяжко занемогла отпевидей дочка Оленушка. Такъ, невѣдомо съ чего и спалили ее огонь: была здоровехонька, все рвалась домой, въ Архангельскъ; а въ ночь передъ тѣмъ какъ на черномъ соборѣ порѣшили всѣхъ богомольцевъ—мирянъ отпавить изъ монастыря, она и слегла—впала въ претяжкій огонь. Думали и то, и се: не то съ глазу ей приключилось нездоровье, съ нехорошаго глазу, не то наслано злою думою да лхкимъ помысломъ, не то такъ отъ Бога—его святая воля. Всѣ міряне покинули монастырь—остались одни Неупокоевы. Весь монастырь—вся братія скорбѣли объ Оленушкѣ: такъ полюбилась одинокимъ отшельникамъ скромная, тихая, щедрая на подаяніе и братіи и бѣднымъ богомольцамъ юная отроковица. Каждый смотрѣлъ на нее какъ на свою дочку или на внучку, и при видѣ ея подъ каждымъ чернымъ клобукомъ роемъ проходили воспоминанія изъ той, какъ бы замогильной мірской жизни, и подъ каждой черной рясой сжималось и саднило глухой болью или распускалось теплотой очерствѣвшее въ отшельничествѣ сердце. Несмотря на тревоги и гнетъ осаднаго положенія обители, несмотря на заботы о своемъ собственномъ спасеніи, никто не могъ забыть болящей отроковицы, и во время продолжительныхъ церковныхъ литургисаній, навечерій и ночныхъ бдній, прерываемыхъ не рѣдко грохотомъ пальбы, въ молитвахъ о спасеніи обители святой и своихъ грѣшныхъ душъ и всѣхъ правоправящихъ слово божіе и истовое перстное сложеніе, безстрастныя ко всему мірскому губы иноковъ часто шептали имя рабы божіей, болящей отроковицы Олены. Девять дней чистая душенька ея висѣла между жизнью и смертью и, каждую ночь, казалось, смерть, бродя по пустынному острову, тихо прокрадывалась въ больничную келью, гдѣ металась въ огнѣ Оленушка, и заносила надъ пышущей огнемъ молоденькой головкой свою невидимую, но неотразимую косу.

Но больше всѣхъ сокрушался о больной Спиря. Цѣлые дни онъ не отходилъ отъ порога кельи, гдѣ лежала Оленушка, а ночи почти напролетъ молился у нея подъ окномъ, кладя поклоны тысячами и постоянно плача. Онъ даже забывалъ иногда о своихъ голубятахъ, которые жалобно пищали, ожидая, чтобъ кто-нибудь накормилъ ихъ. Болѣзнь Оленушки напоминала юродивому что-то изъ его собственной жизни, что-то очень далекое, что роковымъ образомъ связано было съ человѣческимъ черепомъ, который онъ носилъ въ своей сумкѣ вмѣстѣ съ зернами для голубятъ... „Она—она самая!“—шепталъ онъ со стономъ: „о-охъ, тяжело!“

Неупокоиха такъ извелась, ходя за больною дочерью, что падала въ изнеможеніи, и въ это время на подмогу ей являлся юродивый: онъ ухаживалъ за ней, какъ за сестрой или матерью, и незаметно отъ роли дворовой собаки у порога перешелъ къ роли сидѣлки у больной. Оленушка въ короткіе часы возврата къ ней сознанія видѣла около себя косматую какъ у собаки голову юродиваго и добрые какъ у собаки же глаза и привыкла къ нему, словно бы онъ былъ необходимой принадлежностью ея новой жизни, въ которую, какъ грезилось больной, она была переи-

сена этимъ именно косматымъ съ собачьими глазами человѣкомъ. Только одного она не могла понять—куда онъ перенесъ ее, въ рай или въ адъ. Иногда, казалось, она чувствовала себя въ раю: слышала какъ будто райскіе гласы какіе, невидимое пѣніе и ощущала своимъ жаркимъ лицомъ, какъ ангелы тихонько надъ ней крылышками помахивали, а когда открывала глаза, то райскія видѣнія пропадали, а вмѣсто ангеловъ она видѣла только Спирю, который махалъ надъ нею зеленою вѣткою. Иногда же грезилося ей, что она въ аду мучится, что палить ея внутренности и голову геенна огненная, и кругомъ нея раскаленный воздухъ словно адская печь пожираетъ ее. Пылавшая огнемъ голова ея только тогда ощущала что-то невыразимо пріятное, когда ко лбу, къ темени и къ вискамъ прикладывалось что-то холодное, и когда больная открывала глаза, то смутно видѣла чью-то руку и большой серебряный крестъ, прикасавшійся къ ея вискамъ и лбу и охлаждавшій горячую голову.

— Аеромъ не шелохну,—шепталъ Спиря, подходя къ кровати, на которой лежала больная.

Сѣверная лѣтняя ночь была свѣтла какъ день, потерявшій свое солнце, которое, казалось, не заходило ни за горизонтъ, ни за тучку, и не бросало сумрачныхъ тѣней ни отъ домовъ на землю, ни отъ деревьевъ на зелень и цвѣты, ни отъ людей на ихъ собственные лица, а казалось было тутъ гдѣ-то, близко, только не видать его диска и не слышно тепла и жару отъ его лучей. Въ кельѣ, гдѣ лежала Оленушка, было полусвѣтло—полумрачно, безъ тѣней и безъ наглаго свѣта, только полусвѣтъ. Полумракъ этотъ придавалъ необыкновенную мягкость и воздушность очертаніямъ молодого тѣла, на которое слегка наброшено было бѣлое полотно, доходившее отъ ногъ до пояса, выше котораго сложены были бѣлыя худенькія ручки съ отвернувшимися по локоть рукавами сорочки. Нѣсколько спустившаяся сорочка прикрывала груди, которыя вырисовывались изъ-подъ полотна острыми конусиками, и открывала бѣлую круглую шею до восгорлія. Голова больной словно бы брошена была на подушку, и блѣдное, совсѣмъ съ дѣтскимъ выраженіемъ личико казалось спокойно спящимъ. Длинные рѣсницы, бросая слабыя тѣни на щеки, далеко отошли отъ высоко вскинутыхъ дугами бровей. Русые, сбившіеся прядями волосы отгѣняли прекрасное, спокойное личико отъ бѣлой подушки.

Юродивый, ступалъ неслышно своими босыми ногами какъ кошка къ мышинной норѣ, издали перекрестилъ спящую, приблизился къ самой постели и еще неслышнѣе приподнял покрывало съ тѣла больной и прикрылъ имъ всю ее до самой шеи. Дѣвушка продолжала спать, дыша ровно и спокойно. Юродивый, казалось, боялся взглянуть ей въ лицо и опустилсѣ на колѣни на полъ. Напряженно глядя куда-то вдаль, словно бы сквозь потолокъ и стѣны, онъ созерцалъ невидимые, но ему доступные предметы или видѣнія и беззвучно шевелилъ губами. На изрытомъ морщинами лицѣ его выразилось такое скорбное и страстное моленіе, что, казалось, вся душа его трепетала и рвалась изъ тѣла туда, куда неслась

его мысль. Вот-вот, казалось, закричитъ онъ отъ боли или грохнется объ полъ какъ бѣсноватый. Но вдругъ онъ заплакалъ и, замотавъ косматую голову, припалъ лицомъ къ полу. Долго лежалъ онъ такъ...

...„Тивикъ! тивикъ! ти-и-викъ!“ подъ окномъ противникала ласточка.

Спящая открыла глаза и не шевелилась. Ласточка опять тивикнула. Въ келейное окошко глядѣли зеленныя вѣтви ели. Дѣвушка, не шевелясь, казалось, припоминала что-то. Въ глазахъ ея не видѣлось ничего горячечнаго—они смотрѣли ясно и спокойно. Скоро дѣвушка увидѣла распростертаго на полу юродиваго и повернула къ нему голову. Тотъ поднялъ заплаканное, изумленное, радостное лицо и широко перекрестилъ больную.

— Какъ хорошо мнѣ... легко таково,—прошептала дѣвушка.

— Слава Богу! слава Богу! — радостно дрожа, также тихо проговорилъ юродивый.

Дѣвушка помолчала. Она поглядѣла потолокъ, стѣны, какъ бы первый разъ видя все это. По полу разбросана была свѣжая трава съ незавидными еще цвѣтами, и у стѣнъ стояли зеленныя вѣтки какъ на Троицу.

— Это я въ раю?—робко спросила больная.

— Да, твоя чистая душенька въ раю, дитятко,—также робко отвѣчалъ юродивый.

Дѣвушка задумалась. Потомъ снова стала осматриваться.

— Какъ хорошо тутъ.

Она помолчала и въ недоумѣніи посмотрѣла на юродиваго. Тотъ съ любовью глядѣлъ на нее.

— А гдѣ жъ ангелы?—спросила она все также тихо и робко.

— Ангелы божьи, дитятко, надъ тобой витають.

Она осмотрѣлась.

— Я не вижу ихъ, дѣдушка.

Тотъ молчалъ, тихо молясь.

— А яблочки золотеньки?

— Пожди мало, дитятко... увидишь.

— И святыхъ увижу?

— Увидишь... увидишь.

„Ти-викъ... ти-викъ“ за окномъ.

— Это касатושка?

— Касатושка, милая.

Дѣвушка снова оглядѣлась. Она искала кого-то.

— А матушка гдѣ? — спросила она, какъ бы только теперь вспомнивъ это.

— Она тутъ, милая,—опочить легла маленько... Пожди мало—придетъ.

Опять молчаніе. Только ласточка за окномъ тивикаетъ.

— Какъ хорошо... таково хорошо мнѣ... ничто не болитъ.

Дѣвушка ощупала голову и сѣла на постели, натянувъ простыню на плечи. Волосы пасмами падали на простыню.

— Какъ стыдно... нечесаная...

— Ничего, дитятко, — матушка причешетъ.

Оленушка утерла престыней влажное лицо и откинула назадъ волосы.

— Дѣдушка, я хочу испить — кисленькаго.

Юродивый метнулся въ передній уголъ, гдѣ на столѣ стояли глиняныя кружки. Онъ взялъ одну, открылъ крышку, перекрестилъ носудинку и поднесъ къ больной. Та тоже перекрестилась, лѣвою рукою придерживая просыню, и стала пить. Когда она пила, юродивый крестилъ ее голову.

— Спасибо, дѣдушка.

— Будь здорова, миленькая.

Юродивый поставилъ кружку на прежнее мѣсто и радостными, благодарными глазами взглянулъ на образа. Дѣвушка, казалось, опять что-то хотѣла спросить, но не рѣшалась. Она поглядѣла въ глаза юродивому.

— А Бога я увижу въ раю? — чуть слышно спросила она.

— Увидишь, миленькая, увидишь... я ужъ вижу его...

Оленушка испуганно оглянулась на передній уголъ, надергивая на себя простыню.

— Гдѣ... гдѣ, дѣдушка? — шептала она.

— Онъ вездѣ... Онъ тутъ...

— Господи! помилуй меня!

— Молись, дитятко, молись, чистая.

Проснулись и воробы — зачирикали за окномъ. Оленушка все болѣе, казалось, приходила въ себя.

— Утро... А что монастырь, дѣдушка?

— Слава Богу — невредимъ молитвами угодничковъ Зосимы-Савватія.

Оленушка еще что-то припомнила.

— А нашъ городъ — Архангельской что, дѣдушка? гдѣ онъ?

Юродивый не зналъ что отвѣчать.

— Гдѣ Архангельской? — повторяла больная.

— Далеко онъ, милая.

— А Боря гдѣ?

— Кто, дитятко?

— Боря... мой суженый... Онъ не въ раю?

Юродивый стоялъ растерянный и испуганно глядѣлъ на дѣвушку. Она, казалось, вспомнила что-то и, закрывъ лицо руками, горько заплакала.

— Что... что съ тобой, родная! — хватая ее за руку, спрашивалъ Спиря.

— О-о-о! Я не хочу... не хочу... не надо мнѣ рай, коли въ немъ нѣтъ Бори... Господи! о-о!

— Дитятко! не плачь — Христа ради не плачь... Боря тоже въ раю... Святители!

Оленушка ничего не слыхала. Она безутѣшно плакала.

VII.

Стрѣльцы гуляютъ.

Проходили мѣсяцы. Осада монастыря продолжалась, по прежнему безуспѣшно: сидѣніе осажденныхъ было, повидимому, крѣпко; а осаждавшіе что ни дѣлали—все было бесполезно. Стрѣльцы рыли рвы, насыпали валы, подъ прикрытіемъ которыхъ словно кроты подбирались къ монастырскимъ стѣнамъ; но стѣнъ взять было невозможно: первое дѣло—слишкомъ толсты и высоки, а лѣстницъ приставить къ нимъ нельзя, потому что монастырскіе ратные люди, какъ бѣлые, такъ и черные, стрѣляли мѣтко, съ прицѣловъ, а если и не стрѣляли, то могли засыпать камнемъ наступающихъ; второе дѣло—монастырскіе пушкари и сотники, Исачко и Самко, охулки на руку не клали—какіе городки и срубы ни возводили противъ монастырскихъ стѣнъ стрѣльцы, Исачко и Самко постоянно разгромливали ихъ изъ своихъ „пушачекъ галаночекъ“, а московскія пушки били объ стѣны даромъ ядрами—все едино, что горохомъ объ сковороду.

Хотя у Мещеринова были и стѣнобитныя орудія, тараны могучіе, съ могучими желѣзными головами и стержнями на цѣпяхъ и крѣпкихъ устояхъ, но Исачко и Самко своими „пушачками“ шагу пмъ не давали. Только вывести стрѣльцы городки, только укроютъ за ними стѣноломы, чтобъ подъ прикрытіемъ городковъ двинуть стѣноломы далѣе, какъ Исачко и Самко ужъ гвоздятъ по городкамъ, разбиваютъ вѣнцы и звеня, пугаютъ и калѣчатъ стрѣльцовъ—и стрѣльцы опять назадъ прутъ тяжелые тараны, опять надо начинать сызнова. А Исачко, отгормивъ пристушъ да пропѣвъ съ чернецами „взбранной воеводѣ“, усядется себѣ на стѣнѣ, свѣсивъ ноги къ стрѣльцамъ, и машетъ себѣ-помахиваетъ шитой ширинкой, выпугивая изъ-подъ башеннаго карниза своего любимого голубя, бѣлаго турмана „въ штанцахъ“, и любуясь на его удивительныя продѣлки... „Ужъ и аховая птичка!“ радуется онъ, глядя на голубя. А за нимъ радуются и старцы, покончивъ съ „бранной воеводой“ и глядя на ушедшихъ къ своимъ кочамъ враговъ.—„Божья птичка—что и говорить! Не диви что и Духъ отъ Божій во образѣ голубя явился—чистая, незлобивая птичина, что младенецъ незлобива“.

А стрѣльцы ужъ начинаютъ скучать—злятся... „Ихъ, долгогривыхъ, и самъ чортъ не побудетъ: что тараны въ щели прячутся“... Стали поговаривать, что лучше бы въ Сумской воротиться, а то въ Москву, къ домамъ, тѣмъ попусту норы рыть волчьи да вонючую треску жрать безъ соли, безъ хлѣба. Стали и объ женахъ скучать, объ дѣтяхъ. — „Али мы нехристи, либо чернецы, что ни женъ, ни бабъ намъ не даютъ понюхать? Мыслимо ли дѣло безъ бабятины прожить мужику?“

Воевода видѣлъ это и сталъ побаиваться, какъ бы не вышло чего. Поэтому, когда стрѣльцы съ вѣдома своихъ сотниковъ или полуголовы ѣздили по праздникамъ въ Кемскій посадъ и привозили оттуда бабъ и дѣвокъ, воевода смотрѣлъ на это сквозь пальцы, тѣмъ болѣе, что и самъ

иногда ѣзжалъ въ посадъ къ знакомой попадейкѣ, у которой была отличная рябиновка, а на шелковомъ изъ гагачьяго пуха одѣялѣ была вышита самой попадейкою „птица сиринь, а у ней глазъ вельми снлентъ“... Попадейкинъ мужъ, попикъ Вавилко, часто разѣзжалъ съ требами по усьольямъ, а попадейка, молоденькая бабенка, скучала безъ него: воеводѣ это и на руку.

На память мучениковъ Маккавеевъ, 1-го августа, стрѣльцы особенно разгулялись. Утромъ многіе изъ нихъ ѣздили въ посадъ, послушали, какъ попикъ Вавилко обѣденку литургисалъ и за нихъ, за государево христолюбивое воинство молился, а воеводѣ благословенный хлѣбецъ - просвирку поднесъ величиною съ шапку, а изъ посада навезли себѣ гостей—цѣлый коробъ бабятинъ. И загуляли.

День Маккавеевъ выдался теплый, ясный, тихій. На небѣ стояла курчавая, какъ бѣлые барашки, облачка, но они не мѣшали солнцу поливать свѣтомъ и зелень острова, кое-гдѣ изрытую рвами, и темный лѣсъ, по которому осень уже брызнула пятнами свою яркую желтизну, и стѣны монастыря, по которымъ постоянно сновали черныя точки, а иногда поблескивалъ ружейный стволъ у часового или крестъ на четкахъ у старца.

Стрѣльцы большею частью сидѣли кругами на травѣ и угощались зеленымъ виномъ и медами. Тутъ же видѣлись и бабы „прелестницы“. Пиръ шелъ горой, съ полухмели переходя въ полный хмель. Стрѣлецъ, бывшій когда-то у Стеньки Разина водоливомъ, тянулъ свою любимую пѣсню:

Весновая служба молодцамъ веселье,
Молодцамъ веселье, а сердцу утѣха.

— Плясовую! съ искрой!—раздался голосъ полуголовы Кириши.

Разинскій стрѣлецъ царянулъ по струнамъ гуслей и пошелъ въ присядку, выгаркивая словно бѣсноватый:

Ахъ, вы гусли мои, мысли!

Полногрудая баба-кемлянка, быстро схватившись съ травы, выпрямилась и словно порченная, подергивая плечами и толстѣйшими бедрами, топалась на мѣстѣ, подвизгивая:

Ухъ люблю-любю-лю,
Молодушку полюблю,
Что плечикомъ шевелить,
Что икрами сѣменить,
Что бедрами говорить...

И она дѣйствительно говорила бедрами и семенила жирнѣйшими икрами на толстыхъ ногахъ.

— Любо! любо! ай да Маша!.. бедра-то, бедра! Ужъ и точно—разговоры говорить: любо-дорого!—ржали стрѣльцы, упиваясь неистовыми тѣлодвиженіями бабы.

— Наддай еще! съ прищипомъ! съ прищипомъ!—подзадоривалъ Кириша.

Гусельникъ „наддалъ съ прищипомъ“ — и гусли завизжали, а бѣсноватая баба „пошла въ три ноги“, привизгивая, словно кликушка:

Ихи-хи! ихи-хи!
Ихихушки—ихи-хи!
Пошла баба въ три ноги, въ три ноги.
А золовки-колотовки
И кутятъ и мутятъ,
Деверья-тѣ кобелья
По подлавочью лежатъ,
По собачью визжатъ,
А свекры-тѣ на печи
Бытто сука на цѣпи,
А и свекоръ на палати
Бытто кобель на канатѣ.
Ихи-хи! ихи-хи!
Ихихушки—ихи-хи!

Баба плясала съ большимъ искусствомъ и воодушевленіемъ, хотя самыя движенія ея не были порывисты, а напротивъ — плавны до медленности. Зато отдѣльныя части ея тѣла и мускулы трепетали страстью и истомой. Стоя на мѣстѣ, какъ бы съ прикипѣвшими къ землѣ ногами, она плавно поводила и вздергивала плечами въ тактъ захлебывающейся музыкѣ, и при этомъ полныя груди ея дрожали и колотились объ рубаху, какъ бы силясь прорвать ее и выпрыгнуть изъ пазухи. Правой рукой, держа платочекъ, она поводила такъ предательски вмѣстѣ съ плутовскими глазами, что Кирша ясно видѣлъ, какъ плясавица манить его вонъ туда, за зеленый кустокъ, на травку-муравку. Колыхаясь и подергиваясь судорожно на мѣстѣ, баба и станомъ, и бедрами выражала все, даже больше чѣмъ все, что ей нужно было выразить спеціальнаго въ данную минуту. Кирша видѣлъ это и багровѣлъ съ каждымъ ея подмывающимъ движеніемъ. Остальные стрѣльцы уже не ржали—не до того было: они пожирали бабу глазами.

— Ахъ, ячменна!..—неволью вырвалось было у старенькаго чернеца, проходившаго мимо, совѣмъ не чернецкое восклицаніе.

— А! на мокрое наступилъ?—засмѣялся ему вслѣдъ Кирша.

Другая бабенка, подзадоренная первой, сорвалась съ мѣста какъ ошпаренная кипяткомъ, и, взявшись лѣвой рукой въ боки, а правую скорчивъ коромысломъ, засмѣнила ногами и зачастила визгливымъ голосомъ:

У стрѣльчихи молодой
Собирался коровой:
И Семитка пришелъ,
И Микитка пришелъ,
И Захарка пришелъ,
И Макарка пришелъ...

А гусельникъ, ставъ противъ бабы и вывертывая ногами, защищалъ на гусли:

И Овдотьюшка пришла,
И Варварушка пришла,

И Оленушка пришла,
И Хавроньюшка пришла—
Поросяткоъ привела...

Отъ другого круга садилъ въ присядку къ этому кругу сѣдобородый казакъ и гудѣлъ какъ шершень:

Тпрунды баба, тпрунды дѣдъ,
Ни алтына денегъ нѣтъ!

Плясуны и плясавицы сошлись въ одинъ кругъ и выдѣлывали невыразимѣйшія штуки. Плясуны, подбочаясь чортомъ и подергиваясь, словно развинченные на всѣ винты, повидимому назойливо подбирались къ бабамъ, а тѣ, какъ бы поманивъ ихъ къ себѣ, повертѣвъ передъ ними бедрами и плечами, задорно уплывали отъ нихъ, производя самыя спеціальныя тѣлодвиженія. Въ свою очередь, плясуны бѣшено неслись назадъ на однихъ каблучкахъ, а потомъ снова сѣменили къ бабамъ „хребтами вихляя, глазами помавая и очами намизая“, раззадоривали ихъ и манили къ себѣ.

— Фу ты чортъ! инда подъ ложечкой заныло, глядя на дьяволовъ!— не вытерпѣлъ Кирша.

Откуда-то выскочила третья молодуха и зачастила:

Да-а-арья! Да-а-арья!
Дарья, Маланья,
Степанида, Солмонида,
На улицу выходила,
Корогоды заводила!
Да-а-арья!..

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, а я пришель!—раздался вдругъ чей-то незнакомый, рѣзкій, но твердый и трезвый голосъ.

Всѣ оглянулись. У ближайшаго куста стоялъ чернецъ. Изъ-подъ скуфейки его падали на плечи густые, хотя не длинные огненные волосы. Плясуны и плясавицы остановились какъ вкопанные—такъ и прикипѣли на мѣстѣ. Чернецъ, позвякивая желѣзами, подошелъ къ кругу:

— Здравствуй, Кирша, — сказалъ онъ угрюмо: — хорошо ли дьяволу служить?

— Турвонко! ты ли это?—изумленно воскликнулъ Кирша и вскочилъ на ноги.

— Былъ Турвонть, а теперь старецъ Теренька, — отвѣчалъ чернецъ съ огненными волосами.

— Турвонко!... а и впрямь, братцы, Турвонть! ай-ай! — закричали многіе изъ стрѣльцовъ.

— Что съ нимъ?.. посхимился? Вотъ прitchа!

Всѣ обступили пришельца, глядѣли на него какъ на выходца съ того свѣта, ахали, махали руками.—„Здравствуй, Турвонушко!—Откедова Богъ несетъ?—Что съ тобой случилось?—Кто схимилъ тебя?—Какъ сюда попалъ?—Али къ этимъ чернодырымъ присталъ!“

Бабы боязливо жались, держась въ сторонкѣ.

— Хорошо ли дьяволу служите, стрѣльцы?—повторилъ свой вопросъ огненный чернецъ, глядя на своихъ бывшихъ товарищей.

— Гуляемъ, братецъ,—что жъ! нонѣ праздникъ—первый Спасъ,—какъ бы оправдывался Кирша пьяноватымъ голосомъ. — Спасъ на дворѣ — и гуляемъ.

— Хорошо спасенье...

— Чѣмъ дурно? Выпей и ты.

— А святую обитель разорять—ноли и это хорошо? — спросилъ чернецъ, оглядываясь на монастырь.

— Мы ихъ не разоряемъ, — оправдывался Кирша. — Вольво жъ имъ великому государю грубить!

— А въ чемъ ихъ грубство?

— Молиться не хотять по новинѣ.

— А! такъ это у васъ грубство? А самъ ты по новинѣ молишься?

Кирша замаялся. Онъ самъ чувствовалъ, что никакъ не можетъ совладать съ этой новиною: какъ забудется только на „Отче нашъ“ либо на „Богородицѣ“, такъ у него два середніе перста-то и топырятся впередъ, а большой палецъ самъ къ низу гнется... „Тьфу ты, лядина!“—такъ бывало и плюнуть съ досады.

— Да какъ это ты, Турвонушко, чернецомъ сталъ? — спросилъ онъ, не отвѣчая на вопросъ рыжаго. — И какъ тебя сюда занесло? Вить ты повезъ съ Москвы въ Пустозерскъ протопопа Аввакума.

— Повезъ — былъ грѣхъ. А онъ нонѣ самъ меня, свѣтикъ, на себѣ къ спасенью везетъ,—отвѣчалъ рыжій.

Стрѣльцы, видимо, поражены были внушительной наружностью своего прежняго товарища и однокорытника. Вериги замѣтно звенѣли на пемъ, хотя глухо, при каждомъ движеніи словно на цѣпной собакѣ. На лицѣ и въ особенности въ глазахъ видѣлось что-то такое новое и страшное, что дѣлало его совершенно другимъ человѣкомъ — человѣкомъ не отъ міра сего, не жильцомъ на свѣтѣ.

Пиръ разрушенъ былъ — не пировалось какъ-то при видѣ этого выхода изъ другого міра: необычайная воля, проявляющаяся въ человѣкѣ въ той или иной формѣ, неотразимо дѣйствуетъ на другихъ, покоряетъ ихъ, заставляя цѣпенѣть ихъ волю и совѣсть. Всякому кажется, что *это онъ* за него сдѣлалъ, и это сознаніе свербитъ на совѣсти, саднитъ болью и ноетъ на сердцѣ... „Это онъ за меня—за всѣхъ насъ...“ Въ то время—въ эпоху не расшатанной еще, дѣвственной религіозности—вишнія проявленія подвижничества, аскетизма и юродства производили на массы, сверху донизу и снизу до крайнихъ верховъ, потрясающее впечатлѣніе: юродивые безнаказанно, какъ власть имѣющіе вязать и разрѣшать, на улицахъ, на площадяхъ и въ церквахъ открыто кричали то, за что обыкновеннаго человѣка повѣсили бы, сожгли, четвертовали.

— Послушайте, стрѣльцы! слушайте, православные!—началъ огненный

чернецъ, окидывая всѣхъ своими горячими глазами.—Васъ обманомъ привели сюда. Статочное ли дѣло монастырь разорять, да еще какой монастырь!—первый на Руси, котораго нѣтъ святѣе во всемъ московскомъ государствѣ. Коли бы вы пошли на Троицу-Сергія, коли бы васъ повели на него? А?

Стрѣльцы молчали, испуганно поглядывая другъ на друга.

— Сказывайте: пошли бы?

— Нѣтъ, не пошли бы,—робко отвѣчали нѣкоторые.

— Все это дѣло Никона,—продолжалъ чернецъ:—онъ смуту чинить во всей землѣ, онъ обвелъ колдовствомъ великаго государя. Да вѣдомо ли государю, что вы здѣсь—добываете святую обитель? Али она татарская? Али то татарскія мечотки, а не храмы Божіи? (И онъ указалъ на церкви, глядѣвшія изъ-за стѣнъ монастыря; стрѣльцы испуганно оглянулись на нихъ). И вы стрѣляете по крестамъ! Вы по Богородицѣ ядрами мечете! Али вы бусурмане? Али на васъ креста нѣту?

Стрѣльцы, казалось, не смѣли глазъ поднять. Страстная рѣчь бывшаго товарища смущала ихъ, а пьяная совѣсть оказалась еще болѣе податливою. Всѣмъ стало стыдно. Иные изъ нихъ готовы были заплакать, какъ плачутъ пьяные: не самъ плачетъ человекъ, а вино, размягчившее его.

— Что вы смотрите на воеводу?—продолжалъ страшный чернецъ.—Онъ за одно съ Никономъ... Свяжите его, злодѣя, да и по домамъ...

— Меня связать!—раздался вдругъ всѣмъ знакомый голосъ.

Стрѣльцы окаменѣли. Это былъ самъ воевода. Онъ вошелъ въ кругъ, блѣдный, съ трясущимися губами, но твердой поступью. Рука его держалась за рукоятку сабли. Стрѣльцы разступились, какъ трава отъ вѣтру.

— Га!—захрипѣлъ воевода:—вонъ они что затѣяли! воеводу вязать!.. Ты кто таковъ?.. сказывай!—накинулся онъ на чернеца.—Сказывай, каковъ человекъ?

— Самъ видишь,—спокойно отвѣчалъ чернецъ.

— Имя сказывай! имянемъ кто?

— Мое имя у Бога записано—не прочтешь.

— А! знаю! ты изъ этой волчьей ямы,—и воевода указалъ на монастырь.—Почто пришелъ сюда?—за какимъ дурномъ?

— За твоей головой.

Воевода порывисто выхватилъ саблю изъ ноженъ, и замахнулся на огненную голову.

— Вотъ я тебя, вора!.. Взять его!

Стрѣльцы испуганно топтались на мѣстѣ, но не двигались впередъ.

— Вамъ говорю: вяжите вора!

То же топтаніе на мѣстѣ. Воевода оглядѣлъ толпу, и глаза его остановились на Киришѣ, который стоялъ понурия голову и тяжело дышалъ.

— Кириша! возьми его, вора.

Кириша нерѣшительно сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Что меня братъ? Я самъ пришелъ,—сказалъ чернецъ:—своею волею пришелъ, такъ не боюсь тебя.

Этотъ отвѣтъ озадачилъ воеводу. Дѣйствительно, человѣкъ самъ пришелъ—не побоялся ни стрѣльцовъ, ни его. Тутъ что-нибудь да не такъ. Воевода задумался.

— Такъ чего жъ тебѣ надобеть?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Того, чего у тебя нѣтъ, а ты дать можешь,—былъ отвѣтъ.

Воевода не понималъ этого загадочнаго отвѣта.

— Чего у меня нѣту и что я могу дать?—переспросилъ онъ.

— Воистину такъ.

— Что жъ это такое, чего у меня нѣту и что я могу дать?

— Вѣнецъ.

— Вѣнецъ? какой вѣнецъ?

— Нетлѣнный.

Воевода отступилъ назадъ. Стрѣльцы невольно переглянулись. Воевода чутьемъ угадывалъ, по порывистому дыханью стрѣльцовъ, которое слышно было, чувствовалъ, что власть ускользаетъ изъ его рукъ. Чего добраго—стрѣльцы свяжутъ его и головою выдадутъ мятежникамъ, а то и сами расправятся. Ему казалось, что онъ стоитъ на льду, среди глубокаго озера, и тонкій ледъ гнется и хруститъ, зловѣще кракается подъ ногами... Надо скорѣе сойти съ опаснаго мѣста, хоть ползкомъ: надо во что бы то ни стало выйти изъ этого остраго положенія.

— Я пришелъ сюда по указу великаго государя, его царскаго величества!—громко сказалъ онъ, оглядывая всю толпу и подходя къ чернецу все съ тою же обнаженною саблею.

— Его царское величество не указывалъ разорять монастырей,—такъ же громко перебилъ его чернецъ.

— Молчать, воръ!—закричалъ воевода, подымая саблю.

— Воръ тотъ, кто монастыри разоряетъ... Его царское величество не указывалъ тремя перстами креститься.

— Врешь, лодыга: его царское величество указалъ и освященный соборъ приговорилъ.

Чернецъ повелъ своими горячими глазами по толпѣ.

— Не слушайте его, православные!—закричалъ онъ: — онъ говоритъ затѣйно... Вотъ какъ креститесь!

И онъ, высоко поднявъ руку, выставивъ торчкомъ два пальца, а остальные пригнулъ. Между стрѣльцами произошло движеніе.

— Вотъ такъ, вотъ такъ, православные! истово!—кричалъ фанатикъ.

— Вотъ же тебѣ какъ—н-на!

Сабля блеснула въ воздухъ, и къ ногамъ стрѣльцовъ что-то упало. То были всѣ пять пальцевъ фанатика, отрубленные саблей по самые послѣдніе суставы, у связей съ ладонью. Стрѣльцы съ ужасомъ отшатнулись.

Фанатикъ не поморщился. Онъ нагнулся, поднялъ съ земли лѣвою рукою два отрубленныхъ пальца—указательный и средній, и истово перекрестился лѣвой рукою.

— Благодарю тя, Господи, яко сподобилъ мя еси одинъ листочекъ не-

тѣннаго вѣнца получить,—сказалъ онъ, подымая глаза къ голубому небу, на которомъ стояли курчавыя, какъ бѣлыя овцы, облачка.

Кровь ручьемъ лила изъ перерубленной руки, но изувѣръ не обращалъ на это вниманія: онъ сунулъ за пазуху два отрубленныхъ пальца и улыбнулся...

— А тѣхъ трехъ перстовъ мнѣ не надобеть,—сказалъ онъ и повернулся къ воеводѣ.

Воевода, блѣдный, съ остоячившимися глазами, стоялъ въ раздумьѣ съ поднятою саблею: рубить, или не рубить по огненной головѣ?...

VIII.

Соловецкія святни.

Время шло. Скудное сѣверное лѣто, съ его безконечными днями, почти цѣлыя сутки освѣщаемыми незаходящимъ солнцемъ, и съ его бѣлоглазными, надоедливыми ночами, смѣнилось еще болѣе скучною, хмурою и мертвою зимою съ ея такими же мертвыми, безконечными ночами, освѣщаемыми иногда отъ полуночи страшными „сплохами“—встающими отъ сѣвернаго горизонта длинными, съ переливающимися яркими лучами снопами свѣта, которыми сѣверное сіяніе какъ бы вознаграждаетъ сѣверную мрачную и безконечную ночь за ея мракъ и безконечность, за малость сѣвернаго дня и за скудость и безжизненность сѣвернаго солнца. Весь островъ вернулся въ бѣлый саванъ, какъ покойникъ на льдинѣ Ледовитаго океана. Зловѣщее море кругомъ на необъятное пространство, туманъ и мракъ или вѣтеръ съ пургой и леденящій холодъ, деревья, утонувшія въ инеѣ, мрачныя, заиндевѣвшія стѣны монастыря — все это до боли безпривѣтно и безотрадно.

Къ зимѣ покинули островъ и осаждавшіе обитель ратные люди. Осада шла вило, неохотно, недружно, а осажденные защищались стойко, упрямо. Воевода самъ видѣлъ, что послѣ неожиданнаго появленія въ его станѣ огненнаго чернеца, которому онъ отрубилъ пальцы на правой рукѣ, а потомъ, забивъ въ колодки, отправилъ подъ карауломъ въ Сумской, — что послѣ этого неожиданнаго появленія изувѣра среди стрѣльцовъ, стрѣльцы потеряли и бодрость духа, и упорство въ добываніи мятежной обители. Думая, что проведя зиму въ Сумскомъ, они къ веснѣ опять будутъ способны съ прежнею отвагою пойти на монастырь, онъ велѣлъ уничтожить и въ построенные для осады монастырскихъ стѣнъ городки, разорить осадныя укрѣпленія и подкопы и переѣхалъ на зимовку въ Сумской. Но, чтобы монастырь и весь островъ продолжали оставаться въ осадѣ и чтобы осажденные мятежники не имѣли возможности сноситься съ землею и пополнить свои запасы продовольствія, а равно боевые снаряды, — однимъ словомъ, чтобы довести монастырь до безвыходнаго положенія — воевода поставилъ заставы во всѣхъ главныхъ пунктахъ, по всему берегу Онежской губы справа и слева.

Но черные мятежники не унывали. Всякихъ запасовъ у нихъ было вдоволь, а отрѣзанность отъ земли была отчасти на-руку старымъ монахамъ: она не давала возможности молодымъ чернецамъ шлаться по усольямъ и сосѣднимъ посадамъ и возжаться съ бабами, до которыхъ черная молодежь были большіе охотники.

Послѣ сѣрой, скучной и мокрой осени съ суровыми вѣтрами и туманами и послѣ долгаго Филиппова поста, наступили святки. Все же, хоть какое-нибудь развлеченіе для братіи: и для почтенныхъ старцевъ и для молодой братіи—„утѣшеніе“ положено: и брашно всякое, и разрѣшеніе вина и елея. Чего же больше людямъ, отрѣзаннымъ отъ міра и его прелестей! За трапезой—и лапшица добрая, и шти съ сушеной рыбкой, и пшенички съ яичкомъ, и пироги съ вязигой, и икорка паюсная, и теши межукосныя, и яшенка глазаста, и оладьи со сметанкой, и квасокъ доброй, и медвяное питье; а по кельямъ—тоже „утѣшеніе“: и коврижки припипны и сахарны, и древо сахарно доброе, и малинка въ меду, и вишенка въ сахарѣ аглицкомъ, и яблочки въ патоку, и пастилки двусюжныя—и все отъ благодѣтелей. А для молодой братіи, у кого зубы—и орѣшки кедровы, и орѣшки калены. Послѣ пѣнья, да метаній, да урочныхъ поклоновъ это „утѣшеніе“ немощи ради плоти не возбраняется.

А соснувъ послѣ обѣда, пока не благовѣстили еще къ вечернямъ и день былъ ясный, безъ мятели и пурги, старцы выходили на дворъ, сажались на крылечкахъ да на заваленкахъ и смотрѣли, какъ молодшая братія, служки, да молодые трудники, да ратнички, голубей гоняли. Голуби—большая утѣха для отчужденныхъ отъ міра. Слугнуть это ихъ ратники, либо труднячки, и взвоятся они къ небу стаями—кружатся, кружатся по аеру надъ церквами божьими, а турманы свое дѣло дѣлаютъ, а особливо тотъ бѣлый, „въ штанцахъ“: ужъ такъ-то кувыркается по аеру, что и сказать нельзя! А старцы поднимаютъ кверху свои сѣдые бороды, щурятся на небо, ищутъ чудодѣя турмана „въ штанцахъ“, и хоть старцы очи ничего не видятъ издали, а все же утѣха пѣкая. А тамъ голуби, все кружась шире и шире, все забирая выше и выше, кажется, совсѣмъ хотятъ оставить монастырь и летѣть за море; такъ нѣтъ! Исачко стоитъ среди монастыря, задравъ къ небу свою бороду и разставивъ руки—и все видить, и радостно покрикиваетъ: „ахъ онъ воръ! ужъ и воръ птица—что выдѣлываетъ!“ И старцы радуются, хоть и не видятъ всего, что видить глазастый Исачко. А тамъ голуби, покружась и покувыркаясь по аеру, спускаются на землю и кучами, довѣрчиво, словно куры, толпятся къ старцамъ. У каждаго старца въ припольѣ, либо въ скуфейкѣ, горстка зерна, либо крохъ отъ трапезы, и старцы бросаютъ этотъ даръ божій божьей твари, птичкѣ небесной...

— Возрите на птица небесная, иже ни сѣютъ, ни жнутъ,—съ любовью бормочетъ старый Никаноръ, швыряя въ сѣрую, копошащуюся массу крохи отъ поджареннаго пшеничника.

А Исачко не отходитъ отъ турмана „въ штанцахъ“, такъ и увивается

около него. Онъ вынесъ ему цѣлый каравай пшеника: самъ не ѣлъ за трапезой, а поберегъ своему любимцу и теперь даже испугалъ его видомъ огромнаго кома желтаго, разсыпчатаго пшеника, брошеннаго къ голубю.

— Клюй, дурашка, не бойся—не укусить,—не коршунъ, чать,—бормочетъ онъ, нагибаясь къ турману.

Появляется откуда-то и Спира. Онъ все также босиномъ, какъ и лѣтомъ, безъ полукафтаны, въ одной длинной рубахѣ, но уже въ скуфейкѣ. Онъ поднимаетъ голову вверхъ и смотритъ на соборную колокольню. Съ колокольни срываются два голубя, летятъ къ Спирѣ и усаживаются какъ куры на нашестъ—одинъ на правое плечо юродиваго, другой на лѣвое. Спира ослабляется.

— Что, дѣтки — ѣсть, небось, захотѣли?—ласково говоритъ онъ.—А не дамъ—нонѣ постъ.

Голуби машутъ крыльями и тянутся ко рту юродиваго. Тотъ нарочно нагибаетъ голову.

— Что ты ихъ дразнишь? — вступается сердобольный Исачко: — не томи... Ты думаешь и птичина по недѣлямъ поститься должна, какъ ты, двуужильный?

Старцы добродушно смѣются.

— Не томи ихъ, Спира,—говоритъ Никаноръ, смѣясь сѣдыми бровями.

Сухой, серьезный старецъ Геронтій машетъ Спиринымъ голубямъ своей скуфеей и вытряхаетъ изъ нея крошки, маня проголодавшуюся птицу. Но Спирины голуби не летятъ къ отцу Геронтію.

Въ это время изъ-за собора показывается Оленушка. Она въ собольей шубейкѣ, подпоясана голубымъ поясомъ, и въ собольей шапочкѣ. На рукахъ рукавички. Въ правой рукѣ она везетъ саночки маленькія: Оленушка каталась на салазкахъ за монастырской оградой. Молодые щеки ея пылали морознымъ нѣжнымъ румянцемъ.

Увидавъ ее, Спирины голуби, снявшись съ плечъ юродиваго, тотчасъ же перелетѣли и усѣлись на плечахъ Оленушки, махая крыльями и протягивая головки къ ея смѣющемуся рту съ розовыми губами и бѣлыми, какъ у мышки, зубами. Оленушка заливалась отъ радости, а юродивый съ любовью смотрѣлъ на нее.

— Нѣту у меня ничего—нѣту, гулюшки!—смѣялась Оленушка, защищая свои розовыя губы.

Лица у старцевъ сіяли радостью и умиленіемъ. Старый сѣдобровый Никаноръ улыбался бровями, глядя на Оленушку и на голубей. Даже суровый Геронтій какъ-будто потеплѣлъ своимъ сухимъ лицомъ. Одинъ Исачко не вытерпѣлъ этого.

— Да что вы морите бѣдную птицу! — отозвался онъ недовольнымъ голосомъ.—Вотъ нашли.

Къ архимандриту подошелъ старый соборный звонарь и низко поклонился.

— Благослови, святой отецъ, — сказалъ онъ, протягивая руку пригоршнюю.

— Въ било? — сказалъ Никаноръ.

— Во святой колоколь — къ вечерни благоувѣститъ, — отвѣчалъ звонарь.

— Во имя Отца и Сына... благословилъ Никаноръ.

Звонарь пошелъ на колокольную. Скоро въ морозномъ воздухѣ далеко-далеко по острову и по свинцовому морю съ льдинами и скалами пронесся металлическій крикъ колокола. Голуби вострепнулись и побросали зерна.

Старцы встали, перекрестились и тихо побрели къ вечернѣ. За ними сыпнула остальная братія — старшая и молодшая, служки и трудники, и ратные люди. Остались одни голуби доѣдать зерна и крохи. Къ нимъ налетѣли монастырскія галки и юркіе воробьи... Монастырь замеръ...

Скоро на монастырь спустилась и ночь — темная, съ темнымъ небомъ и яркими звѣздами, блескъ которыхъ блѣднѣлъ только тогда, когда съ полудни шли и трепетали на небѣ яркія полосы „сполоха...“

Скоро и сонъ сошелъ на монастырь: братія надо успѣть соснуть до полудня бдѣнія и до утреннихъ метаній — и братія спать. Не спитъ только старость, къ которой сонъ нейдетъ — такъ старость молится по кельямъ и вздыхаетъ о грѣхахъ своихъ да о молодости...

Не спитъ еще и молодость...

Не спитъ Оленушка. Накатавшись вдоволь на салазкахъ, которыя смастерилъ ей келарь Навааниль, большой искусникъ строитель и художъ, отстоявъ потомъ вечерни и воротившись въ отведенную ей съ матерью келью, она поужинала, пощелкала кедровыхъ орѣшковъ, погрызла немножко орла сахарнаго и вздумала погадать о суженомъ. Нельзя-же — святки на дворѣ: хоть и монастырь, а все же святки. Мать души въ ней не чаяла, и потому согласилась на все, хоть въ монастырь бы и грѣшно гадать... „Экое мірское дуростное дѣло — да въ святой-ту обители! Что жъ — дите малое, неразумное: пушай побалуешь... Коли и взыщеть Господь, такъ на мнѣ, на старой дурѣ; а я отмолюсь — еще привезу въ святую обитель, коли жива буду, бочку — другую беремьянную вина ренсково да пудъ ладону росново“ — думала себѣ Неупокониха.

Налили въ миску воды, достали жестянку, положили въ нее воскъ отъ іорданской свѣчки и стали топить воскъ на свѣтцѣ. Ростопили. Оленушка, вся пушцовая отъ хлопотъ, отъ жару свѣтца и отъ волненія, загадала про Борю, перекрестилась истово... Рука дрожить — шутка ли! — про судьбу гадать, про суженое... Нагнула жестянку надъ миской. Желтой лентой полился растопленный воскъ въ воду, и съ шипомъ падая въ нее и погружаясь, неровными лохмотами всплывалъ наверхъ... Все вылило... Дрожащею рукою, бережно, словно драгоценность какую, вынимаетъ Оленушка восковые лохмотки изъ воды, кладетъ ихъ на розовую ладонь и со страхомъ разсматриваетъ...

— Ничего не разберу, мама, — волнуется Оленушка: — что вышло.

Волнуется и старуха. Приглядывается къ ладони дочери, подноситъ ее къ свѣтцу, щурится.

— Кубить вѣнецъ,—нерѣшительно говоритъ она.

— Ахъ вѣтъ, мама! Кочетокъ словно,—еще болѣе волнуется Оленушка

— Може и кочетокъ... У тебя глазки молоденьки — лучше моихъ...

Кочетокъ—это къ добру.

— Нѣту, мама,—это сани...

— И сани къ добру.

Оленушка перевернула комокъ воску на другой бокъ, приглядывается.

— Не то шляпа, не то сапогъ,—съ огорченіемъ въ голосѣ говоритъ она.

— Что ты, глупая! не сапогъ, а вѣнецъ!—огорчается и старуха.—

А ты не такъ смотришь, дитятко,—заторопилась она:—надоть тѣнь смотрѣть... Да-ко-съ!

И она подносила руку дочери къ стѣнѣ, чтобъ отъ нея и лежащаго на ладони комка воску падала на стѣну тѣнь.

— Зайчикъ, мама.

— Что ты, дуранка! Это твои пальцы.

Оленушка выпрямила ладонь. Тѣнь на стѣнѣ кельи вырисовывалась яснѣе.

— Охъ, клобукъ, мама! — испугалась Оленушка, и даже поблѣднѣла.

Испугалась и старуха, но скрыла, не подала виду.

— Что-й-то ты, непутевая!—разсердилась она:—вѣнецъ и есть!

Такъ и порѣшили на вѣнцѣ, хотя Оленушка въ вѣнцѣ сильно сомнѣвалась.

— А что-то въ Архангельскомъ у насъ теперь,—грустно заговорила она.

— Святки тоже—гуляютъ... Поди озорники въ хари наряжаются...

Оленушка вздохнула. Ей кто-то и что-то вспомнилось...

— Господи! Когда же мы въ Архангельской, домой воротимся? — заговорила она какъ бы про себя.

— Весной, дитятко,—пожди маленько. Вонъ лѣтомъ ты недужала, а тамъ осада эта.

— А коли и весной осадятъ?

— Нѣту, не осадятъ. Отецъ Никаноръ сказывалъ — ни въ жисть не осадятъ: напужаны-де.

— То-то, мама. А какъ осадятъ?

— Отсидимся, дитятко. Отецъ Никаноръ сказывалъ: всѣ войска никоніанъ не возьмутъ обители, потому: Зосима-Савватій на сторожѣ стоятъ.

Оленушка опять вздохнула.

— А мнѣ хоть вѣкъ тутъ жить, такъ само по душѣ,—говорила старуха:—святое мѣсто, покой, молишься себѣ, всѣ тебя уважаютъ... Вотъ одинъ только этотъ пучеглазый Феоклиса... А все на тебя буркалы пилить... Да ужъ я его и отсмердила добре...

Оленушка вспыхнула. Она сама видала, какъ на нее засматривался глазастый молодой чернецъ, что Феоклиской звали, и разъ въ церкви тихонько ей на ногу наступилъ...

А чернецъ Феоклиса тоже не спалъ; не спали и еще кой-кто изъ мо-

лодшей братіи... Нельзя же — святки... Прежде, до этого прожитаго снѣдня, когда монастырь не стерегли, какъ дѣвку на возрастѣ, еще можно было урваться въ посадъ либо на усолья—около бабъ потереться да грѣшнымъ дѣломъ и оскоромиться мясцомъ; а теперь—сиди въ четырехъ стѣнахъ словно огурецъ въ калкѣ, либо супоросая свинья въ сажалкѣ. Надо же и кости поразмять, чтобъ и молодая кровь не сыворотилась...

Вонъ огонекъ въ работницкой поварнѣ — метлешить тамъ что-то. А что? Посмотримъ, благо городничій старецъ Протасій ненарокомъ пересыпалъ себѣ вина и елея, и теперь крѣпко спать.

Въ поварнѣ „вавилонія идетъ“, какъ выразился веселый Оеклисъ: „жезлъ Аароновъ расцвѣте“—это, значить, чернецы гуляютъ. Просторная комната слабо освѣщена свѣтломъ. На столѣ, у края, красуется боченокъ. На лавкахъ у стола сидятъ чернецы и играютъ въ „зернь“. А посреди комнаты стоятъ другъ противъ друга молодой чернецъ и черничка: руки въ боки, глаза въ потолоки, ноги на вывертѣ—плясать собираются. Въ плясунѣ монахъ мы узнаемъ старца Теоکتиса, вѣрнѣе Оеклиску, а въ монашкѣ плясавицѣ—молоденькаго служку Иринюшку, который, будучи наряженъ теперь черничкою, необыкновенно похожъ на хорошенькую дѣвочку.

— Ну, царь Давыдъ! играй на гусяхъ!—говоритъ Оеклиска чернецу безъ скуфы, сидящему у стола и смотрящему на игроковъ въ зернь.

Чернецъ безъ скуфы оборачивается и смѣется при видѣ плясунувъ, собравшихся „откалывать колѣнца“.

— Ино играй же, царь Давыдъ, бери гусли!—не терпится Оеклискѣ.

„Царь Давыдъ“ безъ скуфы беретъ большой деревянный гребень съ продѣтой промежду зубцовъ бумажкою—гребень замѣняетъ гусли — и начинаетъ водить губами по гребню и южать что-то очень бойкое...

Черничка, подражая настоящей бабѣ, задергала плечами и завизжала не сформировавшимся еще мужскимъ голосомъ:

Выходила млада старочка,
Младехонька, хорошохонька,
Поклонилася низехонько:
Я не дѣвушка, ни вдовушка...

— Не ту—не ту!—перебиваетъ Оеклиска.

И пустившись въ-присядку, такъ что полы полукафтаныя растелились по землѣ, зачистилъ говоромъ, а за нимъ „царь Давыдъ“ съ гуслими:

Не спасибошко игумну тому,
Не спасибошко всей братіи его:
Молодешеньку въ чернички стригутъ,
Зеленешеньку посхимливаютъ.
Не мое дѣло въ черницахъ сидѣть,
Не мое дѣло къ обѣднѣ ходить,
Не мое дѣло молебны служить;
Какъ мое дѣло въ бесѣдушкѣ сидѣть,
Какъ мое дѣло вино щелыгать.
Посошельцо подъ лавку брошу,

Камилавочку на столъ положу,
А сама млада по келейкѣ пройду,
Молодешенька погуливаю!

— Эхъ ну! — гоготаль Оеклисть: — го-го-го! Предъ сѣннымъ ковчегомъ скакаша-играя веселыми ногами!

А Иринеюшко павой выплываль, совершенно по-бабы — видно, что изучилъ свое дѣло въ совершенствѣ — и ручкой помаваль, и плечикомъ виляль, и глазами „намизаль“. Игравшіе въ зернь чернецы бросили игру и любовались Иринеюшкой.

— Ай да черничка! и настоящей не надоть! — похваляли старцы.

А Иринеюшко, подойдя къ столу и притоптывая ногою въ валенкѣ, выговариваль подъ южанье гребня:

На улицѣ было
На широкой диво:
Варилъ чернецъ пиво.
Чернечикъ ты мой,
Горюнь молодой,
Погуляй-ко со мной.
Вступила хмелинушка
Въ буйную головушку:
Не дасть мнѣ тряхнуться,
Не дасть ворохнуться.

— Ну! ино выпей, млада черничка — на! Вотъ пивцо, что варилъ молодой чернецъ.

И „царь Давыдъ“, положивъ гребень, налилъ изъ боченка пива въ ковшъ и подалъ Иринеюшкѣ... Иринеюшко выпилъ, утеръ рукавомъ розовыя губы и опустился на лавку.

— Что, братъ? али по-бабы труднѣе плясать-ту? — спросилъ игрецъ въ зернь.

— Не въ примѣръ труднѣй.

— Знамо, надоть чтобъ и плечи, чтобъ и все выходило.

Въ поварню ввалились еще гости. Вошелъ медвѣжьій поводительщикъ съ бубномъ, за нимъ медвѣдь на веревкѣ и коза съ рогами, а на рогахъ — старая камилавка. Веселый хохотъ встрѣтилъ дорогихъ гостей.

— Ай да Миша! ай да воевода Топтыгинъ! — привѣтствовалъ медвѣдя Оеклисть.

— А ты прежь угости меня, — заревѣлъ медвѣдь.

— И меня, козу въ сарафанѣ, — замеккала коза: — мме! и меня!

Гостямъ поднесли пива. Поводительщикъ, выпивъ ковшъ, задудѣлъ въ бубень, а „царь Давыдъ“ заужжалъ на гребнѣ. Медвѣдь тяжело, грузно пошелъ плясать, а вокругъ него скакала коза, тряся бородой и приговаривая:

Я по келейкѣ хожу,
Я черничку бужу:
Черничка встань!

Молодая встань!
Не могу я встать,
Головы поднять.
Ужъ и встати было,
Поплясати было,
Для милыхъ гостей
Поломати костей...

— Вотъ я вамъ переломаю кости, лодыжки! — раздался вдругъ грозный голосъ.

Всѣ встрепенулись и замерли на мѣстахъ. На порогѣ стоялъ городничій старецъ Протасій. Въ рукахъ его былъ огромный посохъ — „жезлъ Аарона“, какъ называли его молодые чернецы, по комъ гулялъ этотъ „жезлъ“...

И „жезлъ“ погулялъ-таки въ эту памятную ночь соловецкаго сидѣнья...

IX.

Спирина печерочна.

Наступила, наконецъ, и весна, къ которой и въ сонныхъ грезахъ и наяву, въ кельѣ и въ церкви, подъ ровное постукиванье вязальныхъ спицъ матери и подъ однообразное чтеніе нескончаемыхъ каеизмъ, неудержимо рвалось молодое, несутерпчивое сердце Оленушки. Богъ вѣсть откуда стали слетаться птицы, оглашая островъ и взморье радостными криками, словно бы это были страннички, слетѣвшіеся со всего свѣта посмотрѣть, что-то дѣлается на далекомъ, уединенномъ зеленомъ островку и также ли и тутъ плачутъ люди, какъ въ тѣхъ прекрасныхъ далекихъ теплыхъ земляхъ, откуда они прилетѣли, или новая весна осушила всѣ людскія слезы. И ночью, на погодубѣвшемъ съ весною небѣ, и на свѣтлой, румяной зарѣ, и въ яркій полдень — все неслись и звенѣли по небесному пространству птичьи голоса, и одни смолкали тамъ, въ той сторонѣ, съ полуночи, а другіе неслись къ острову съ той стороны, отъ полудня. Все короче и короче становились ночи, все продолжительнѣе и продолжительнѣе становились дни. И вокругъ келій, и у монастырскихъ стѣнъ, и за стѣнами, и даже въ трещинахъ и на выступахъ старыхъ стѣнъ и крышъ пробивалась зеленая травка. Островъ ожилъ вмѣстѣ съ этою оживающею зеленью и съ этимъ неугомоннымъ птичьимъ крикомъ и галасомъ. Даже съ монастырскими птицами — голубями, галками и воробьями — творилось что-то необычайное. Бѣлый турманъ въ „штанцахъ“ вился и кувыркался въ воздухѣ еще безумнѣе, такъ что Исачко, задирая къ небу голову, чтобы лучше видѣть своего любимца, чуть не свихнулъ своей воловѣй шею. Спирины „гули“ совсѣмъ бросили своего воспитателя и все цѣловались на сборномъ карнизѣ и доцѣловались до того, что едва успѣли кое-какъ смостить себѣ на одной балкѣ гнѣздо, и то благодаря юродивому, который тихонько подкладывалъ имъ, по близости гнѣзда, соломки и шерстки...

— Это брату-ту съ сестрой? — подшутил надъ нимъ однажды Исачко,

увидавъ его за этимъ благочестивымъ занятіемъ, и лукаво подмигнулъ своими косыми глазами:—ахъ, ты старый грѣховодникъ!

Когда же Оленушка спросила Спирю, почему „гули“ покинули его, юродивый отвѣчалъ:

— Погоди маленько, дитятко, и ты кинешь матушку для Борьки.

Оленушка только вспыхнула и закрылась рукавомъ. Ей и страшно и хорошо разомъ сдѣлалось отъ словъ юродиваго. Какъ онъ могъ узнать, думалось ей, что у нея есть въ Архангельскѣ зазнобушка? И какъ онъ могъ знать, что его зовутъ Борей? Вѣстимо потому, что онъ святой, прозорливый человѣкъ, а потому онъ насквозь человѣка видитъ — и мысли его читаетъ, и душу видитъ какъ на ладонѣ, и всѣ грѣхи его знаетъ. И при этомъ Оленушка зардѣлась еще больше: она вспоминала, что сегодня утромъ ей страхъ-какъ хотѣлось молочной каши... А сегодня среда, постный день... Спиря все это знаетъ—ахъ, срамъ какой!

Теплый, ласковый весенній воздухъ тянулъ Оленушку за монастырскія ворота. За воротами, казалось, ближе было къ Архангельску: коли бы крылья, какъ у тѣхъ птушекъ, такъ бы и полетѣла черезъ море, и дорогу бы, кажется, нашла—все туда, туда, далеко, откуда солнышко по утрамъ выходитъ...

И она очутилась за воротами. Глянула на море, на стѣны. И смурья стѣны весною смотреть веселѣй. Вездѣ пробивается изъ земли и тянется къ небу зелененькая травка. На сѣрыхъ камняхъ кучками сбились красныя божьи коровки—и они выползли погрѣться на солнышкѣ. Оленушка присѣла и стала разсматривать ихъ: инныя сидятъ смиренхонько, не ворохнутся, другія копошатся, ползаютъ. Въ воздухѣ птичій гай и щекоть — такъ и подмываетъ улетѣть далеко-далеко отъ этихъ постылыхъ мѣстъ.

Оленушка пошла дальше, вдоль стѣнъ: то сорветъ изсѣра-зеленый кудрявый мохъ, повертитъ его въ рукахъ и броситъ, то нагнется надъ желтымъ цвѣточкомъ, поглядитъ на него, потрогаетъ лепестки, сдуетъ съ нихъ муравья или другую козявку, и опять идетъ себѣ тихонько, да нѣтъ-нѣтъ все и поведетъ глазами по гладкой равнинѣ моря... Ни корабликъ ни одинъ не чернѣется, ни парусъ не бѣлѣется; только поблескиваютъ иногда на солнцѣ крылья чайка да мартиновъ - рыболововъ... „То-то кабы чайкины крылья—полетѣла бѣ, не отдыхаячи, до самово Архангельсково, надлетѣла бѣ надъ батюшковъ дворъ да и крикнула: ки-ихъ! батюшко родимый! выходи-ко на тесовое крылечко, сустрѣчай свою дочушку Оленушку... А то бы сѣла у Борюшки подъ косящатымъ окошечкомъ и заплѣла бѣ: ки-ихъ! милъ сердечный другъ! отворяй-ко ты окошечко, впускай къ себѣ птушечку Оленушку...“

Оленушка чуть не заплакала. Шутка ли! скоро годъ, какъ они сидятъ здѣсь, словно въ темной темницѣ. А еще когда-то прїѣдутъ богомольцы да возьмутъ ихъ съ собою! Да и прїѣдутъ ли? Можетъ опять награнутъ эти московскіе разбойники, опять запрутъ монастырь и опять начнется пальба безъ конца.

Долго бродила Оленушка вокруг монастыря, тоскуя и не находя себѣ мѣста. Зайдя за одинъ выступъ монастырской стѣны, подходившей почти вплотъ къ морю, она усѣлась на краю обрыва и, собирая вокруг себя мохъ, стала дѣлать изъ него вѣнокъ. Она совсѣмъ углубилась въ свое занятіе, вспоминая то, что нагоняла ей на мысли молодая память, или раздумывая о настоящемъ, смысла котораго она никакъ не могла понять. Она много слышала о какомъ-то Никонѣ, и онъ представлялся ей какимъ-то звѣремъ, но звѣремъ невиданнымъ, а такимъ, какой написанъ на одномъ образѣ въ соборѣ — не то звѣрь, не то человѣкъ, не то баба. И зачѣмъ это онъ книги какія-то новыя выдумалъ? Зачѣмъ онъ велитъ креститься тремя перстами? И для чего онъ какой-то *азъ* у Христа отнялъ, а самого Господа Иисуса какимъ-то *ижемъ* прободалъ? Что это за *иже* такое? Развѣ то копіе, которымъ воинъ Христа на крестѣ прокалываетъ въ ребра?... И чего нужно отъ монастыря этимъ стрѣльцамъ?... Она думала и объ Аввакумѣ, который представлялся ей въ видѣ того святого, который стоитъ на столбѣ и креститъ двумя перстами тѣхъ, что стоятъ подъ столбомъ... Сколько народу стоитъ!... Вспомнила она и того краснаго какъ огонь чернеца въ веригахъ, что пришелъ отъ Аввакума; этотъ чернецъ пропалъ еще съ осени; говорятъ, его воевода замучилъ, отрубилъ ему всѣ пальцы на правой рукѣ, а когда на рукѣ снова выросли только два пальца—указательный и средній—и онъ опять началъ молиться этими двумя пальцами истово, то воевода отсѣкъ ему голову, а пальцы сколько ни отсѣкалъ, они вновь приростали...

Сидя такъ неподвижно, Оленушка съ удивленіемъ слышала, какъ-будто кто-то подъ землею шевелится, не то глухо скребется. Она стала прислушиваться и осматриваться. Почти подъ ногами у нея, ниже, подъ неровнымъ каменистымъ берегомъ плескалось море, наскакивая на берегъ съ пѣной и снова отступая и падая. Вправо изъ-за корней и спутавшихся вѣтвей съ свѣжою зеленью выглядывалъ большой сѣрый камень. Всмотриваясь въ него, Оленушка видѣла, что изъ-подъ самаго камня, казалось, сползала земля и тихо сыпалась въ море съ отвѣсной кручи. Отчего же это сползала тамъ земля? Развѣ камень хочетъ упасть въ море? Такъ камень, кажется, не двигается...

Вдругъ изъ-за камня показалась косматая голова... Оленушка чуть не вскрикнула, да отъ ужаса такъ и прикипѣла на мѣстѣ съ пучкомъ моха въ рукѣ... Голова повернулась — и Оленушка узнала Спирю! Юродивый также узналъ ее, и его добрые, сабачьи глаза блеснули радостію...

— Это ты, дѣвынька?—отозвался онъ тихо.

— Я, дѣдушка, — отвѣчала дѣвушка, чувствуя, что у нея еще колотится сердце.

Юродивый совсѣмъ вылезъ изъ-за камня. Онъ былъ весь въ землѣ—руки, ноги, волосы.

— Ты что это тутъ, дѣвынька, дѣлаешь?—спросилъ онъ, приближаясь.

— Вѣнокъ заплетаю.

— А!... а кому?

— Богородицѣ, дѣдушка,—на образъ.

— Умница дѣвынька—заплетай.

— А ты, дѣдушка, что тутъ дѣлаешь?

— Ямку собѣ.

Оленушка глядѣла на него удивленными глазами.

— Норку,—пояснилъ юродивый:—нору звѣрину.

— Нору?

— Да, язвину, дѣвынька... язвину, ихъ же и лиси имутъ, Сынъ же человѣческій не имѣлъ.

Оленушка все-таки ничего не понимала и въ недоумѣніи теребила свой вѣнокъ.

— Печерочку собѣ махоньку копаю, дѣвынька,—пояснялъ Спира, показывая руками, какъ онъ это копаетъ.

— На что жъ она тебѣ, дѣдушка?

— А молиться въ ней буду, вонъ какъ въ Кіевѣ печерски угоднички молились.

— А на что жъ церква, дѣдушка?

— Церква церковой... Только въ церкви соблазнъ бываетъ, дѣвынька,—а въ печерочкѣ—только Богъ да смерть.

• Дѣвушка невольно вздрогнула...

— Господи! какъ страшно...

— Страшно межъ людьми, дѣвынька, на вольномъ свѣту, а подъ землей—благодать.

Оленушка задумчиво смотрѣла на море. Юродивый сѣлъ около нея.

— Только ты, дѣвынька, никому не сказывай о моей печерушкѣ — ни-ни! ни матушкѣ родимой!

— Не скажу, дѣдушка.

— То то же, мотри у меня—Христомъ прошу.

Дѣвушка продолжала смотрѣть на море и прислушиваться къ далекому плаканью чаекъ.

— Что—скучаешь у насъ, дѣвынька?

— Да, дѣдушка—домой бы.

— Али дома лучше?

— Лучше.

Юродивый помолчалъ, вздохнулъ, помоталъ головой. Онъ вспомнилъ, что и у него когда-то было свое „домой“. Только давно это было.

И передъ нимъ вмѣсто этого безбрежнаго моря съ плачущими чайками нарисовалась другая картина, вся озаренная солнцемъ юга. Высокій берегъ Волги съ темною зеленью въ крутыхъ буеракахъ. Въ зелени, не переставая, кукуетъ кукушка. Красногрудый дятель однообразно долбитъ сухую кору стараго тополя. Въ ближней листьѣ высокаго осокоря свистятъ зазорныя иволги, а на сухой вѣткѣ дуба тоскливо гугнютъ лѣсной голубь-припутень. Внизъ по Волгѣ, сверху, плыветъ косая лодочка, изнаряженная, изукрашенная. По водѣ доносится пѣсня:

Полосаль моя полосынька,
Полоса-ль моя не паханая...

Лодка причаливаетъ къ берегу. Удаляя молодцы высаживаются и выводятъ подъ-руку кого - то на берегъ... Виднѣется дѣвичья коса, а на солищѣ играетъ „лента алая, ярославская...“

— „Здравствуй, батюшка атаманушка Спиридонъ Ивановичь!—кричать удалые:—примай любушку-сударушку за бѣлы руки...“

Спира вздрагиваетъ и дрожащею рукою ощупываетъ въ своей сумѣ мертвый черепъ... „Прочь—прочь!“ мотаетъ онъ своею посѣдѣлою головою...

— Такъ въ Архангельскомъ лучше, чѣмъ у насъ, вотъ здѣсь?—снова заговорилъ онъ.

— Лучше, дѣдушка, не въ примѣръ лучше.

— А чѣмъ бы, скажи-тко?

— Ахъ, дѣдушка! да теперь тамъ, съ весной-то, что кораблей изъ-за моря придетъ!—и изъ галанской земли, и съ аглицкой земли, и съ любской земли, да изъ города Амбурха! Ахъ, и что жъ это!

Оленушка даже руками всплеснула.

— Ну и что жъ что придуть?—какъ бы подзадоривалъ ее юродивый, любуясь оживленіемъ дѣвушки.

— Какъ „ну что“!.. А товаровъ-то, узорочья всякаго что навезуть!

— Ай-ай-ай!—качалъ головою юродивый.

— И зерна всяки чурмышски, и зеньчугъ большой и мелкой и скатной, и бархаты турецки, и фларенски, и венедицки, и нѣмецки—цѣлыми косяками! А что отласовъ турецкихъ—золото съ серебромъ, что камокъ куфтерей добрыхъ всякихъ цвѣтовъ,—и камокъ кармазиновъ, крушчатыхъ и травныхъ, и камочекъ адамашекъ! А то золото и серебро пряденое, бархаты черленые кармазины, бархаты лазоревы и зелены, бархаты таусинные гладкіе, да бархаты багровы, да бархаты рыты...

Спира ласково глядѣлъ на нее и грустно качалъ головою.

— Ай-ай-ай! что у васъ узорочья-то!—повторялъ онъ какъ-то машинально.

— Да, дѣдушка,—а отласы-тѣ каки!—все болѣе и болѣе увлекалась Оленушка: — и черлень отласъ, и лазоревъ отласъ, и зеленъ отласъ, и желтъ отласъ, и таусинъ отласъ, и багровъ отласъ! А объяри золотны, а камочки индѣйски, а зуфи анбурски, а шелки рудожелты да дымчаты, а шарлатъ сукно да полшарлатъ, да сукна лундыши, да сукна настрафили! А ленты-то, ленты!

Оленушка даже руками всплеснула.

А передъ юродивымъ опять промелькнула „лента алая, ярославская“, и крутой берегъ Волги, и эта широкая голубая рѣка, и туманно-голубое безбрежное Заволжье...

— „Атаманушка Спиридонъ Ивановичь!.. Любушка...“

— Господи! отжени—охъ!—неволью простоналъ, хватаясь за сердце, юродивый.

Оленушка невольно остановилась.

- Что съ тобой, дѣдушка?
— Ничего, дитятко... Такъ ленты, сказываешь?
— Ленты, дѣдушка,—алы...
— Такъ и алы?
— Алы и лазоревы...
— Тете-тете... ишь ты!..

Юродивый отмахивается отъ воспоминаній, мотаетъ головой, а воспоминанья встають, встають какъ мертвецы изъ гробовъ... Краски прошлого встають, звуки, голоса, и этотъ проклятый голосъ:

Полоса-ль моя, полосынька,
Полоса моя пепаханая...

Это грѣхи встають, какъ они встанутъ на страшномъ судѣ... Куда отъ нихъ дѣваться?—Некуда!— Въ землю, въ язвину, въ пещеру?— Они и тамъ найдутъ...

Оленушка взглянула на море, да такъ, казалось, и застыла. Приподнятая рука остановилась въ воздухѣ. Доплетенный вѣнокъ упалъ на колѣни. Щеки ея все болѣе и болѣе заливалъ румянецъ...

Въ туманной дали на гладкой поверхности моря бѣлѣли, какъ свѣтлые лоскутки, паруса... Да, это не крылья чаекъ...

— Дѣдушка!—чуть слышно заговорила дѣвушка.

Юродивый взглянулъ и оглянулся кругомъ.

— Что ты, дитятко?—спросилъ онъ разсѣянно.

— Плывутъ... вонъ паруса...

— Кто плыветъ?

— Они... богомольцы...

Дѣвушка показывала на море. Юродивый шурился, прикладывалъ ладонь надъ глазами, въ видѣ козырька.

— Не вижу, дѣвынька.

— А я вижу, дѣдушка,—вонъ...

— У тебя глазки молоденьки...

Оленушка вскочила на ноги, поднялась на цыпочки, и готова была, казалось, побѣжать по морю, какъ по суху. Глаза ея горѣли, губы дрожали. — Господи! Богородушка! кабы батюшка пріѣхалъ!

Вдругъ на стѣнѣ что-то грохнуло и разсыпалось гуломъ по острову и по морю. Юродивый перекрестился.

— Вотъ тебѣ и на!—сказалъ онъ тихо, и опустилъ голову.

— А что, дѣдушка?—встрепенулась Оленушка.

— Злодѣи плывутъ, дитятко. Ахъ! ноли не слыхала пушки?

Оленушка, блѣдная какъ полотно, упала на землю и зарыдала голосомъ.

Х.

Начало безпоповщины.

Не сбылись надежды Оленушки. Съ весны монастырь снова обложенъ былъ стрѣльцами.

Теперь воевода Мещериновъ явился подъ монастырь уже съ царскою грамотою, за государственною большою печатью, „подъ кустодію“, коймы и титулъ писаны золотомъ.

Стрѣльцкій полуголова Кириша вступилъ въ монастырь во всемъ величій посольства, съ двумя сотниками, держа царскую грамоту на головѣ, на серебряномъ подносі, словно дароносицу. Власти монастыря ввели его прямо въ соборъ. Старикъ архимандритъ, круто насупившись и шевеля своими волосатыми бровями, съ амвона принялъ грамоту съ головы Кириши, который ни за что не рѣшался нагнуться или шевельнуть своею волчьєю шею...

— Съ царскою грамотою, что и съ дарами, гнуться не указано,—раздался въ тишинѣ его сильный голосъ.

Черная братія усиленно дышала. Никаноръ, принявъ съ головы стрѣльца грамоту, повернулъ ее на свѣтъ.

— Печать большая государственная, подъ кустодію, съ фигуры... подпись дьячья на загибѣ,—бормоталъ онъ какъ бы про себя, разсматривая документъ государственной важности.

Около него стояли келарь Наѳанаилъ, городничій старецъ Протасій и длинный, и сухой какъ жезлъ Аарона, старецъ Геронтіи.

— Огласи грамоту, по титулѣ,—сказалъ глухо Никаноръ, передавая грамоту Геронтію.

Геронтіи взявъ грамоту. Сухія и длинныя руки его дрожали. Черная братія притаила дыханіе.

Геронтіи откашлялся, словно ударилъ обухомъ по опрокинутой сорокоушѣ.

— „Бога,—началъ онъ прямо съ октавы,—Бога въ трехъ присносіятельныхъ ипостасѣхъ единосущнаго, пребезначальнаго, благъ всѣхъ виновнаго свѣтодавца, имъ же вся быша, человѣческому роду миръ дарующаго милостію!“

Грамата ходенемъ ходила въ его рукахъ. Голосъ иногда срывался. Золото, которымъ блистала титулъ царя, рябило въ глазахъ. Онъ передохнулъ.

— „И сіе благодѣяніе повсюду повѣстуетъ, мы, великій государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Русіи самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ, и наслѣдникъ, и государь, и обладатель...“

...„Обладатель“ на слогъ „лаа“ онъ неимоверно вытянулъ, въ точности слѣдуя написанію титула, въ которомъ „обладатель“ неизмѣнно должно было писаться съ двумя „азами“ послѣ „люди“: — „начертаніе истовое“, освященное, за опущеніе одного *а* въ титулѣ дьяковъ сѣкли батоги, а подъячихъ—кнутомъ нещадно... Таково было время...

— „Обладатель!“—рявкнулъ Геронтіи: Соловецкаго нашего монастыря архимандриту Никанору, келарю Наѳанаилу, городничему старцу Протасею и соборному старцу Геронтею (опять сорвался голосъ), священникомъ, дьякономъ, всѣмъ соборнымъ чернецомъ, и всей братіи рядовой и большешной, и служкамъ и трудникамъ всѣмъ!“

Опъ перевелъ духъ. Собраніе дышало тяжело, порывисто, словно въ церкви не хватало воздуха. За окнами ворковали и дрались голуби. Воробыи чирикали, словно передъ грозой. Залетѣвшая въ соборъ ласточка пронеслась надъ самой головой Геронтія, едва не зацѣпивъ его крыльями, и прицѣпилась лапками къ иконостасу. Надъ черными клобуками и скуфьями собора поднялась костлявая рука Спири: юродиваѣ грозилъ пальцемъ ласточкѣ.

— „Въ минувшихъ лѣтахъ и въ прошломъ во стѣ-восемьдесятъ во вторымъ году, — продолжалъ, передохнувъ, Геронтій:— посланы были по указу моему государеву къ вамъ, къ братіи, книги новой печати для церковнаго обиходу, чтобы вамъ по тѣмъ книгамъ службу служить и литургисать. И вы тѣхъ книгъ дуростию своею и озорствомъ не приняли, и по тѣмъ книгамъ не литургисали, и божественнаго пѣнья не пѣли, и молебновъ не служили, а яко свиніи бисеръ многоцѣненъ тѣ книги ногами потоптали, и моихъ государевыхъ ратныхъ людей въ монастырь не пустили, и по нимъ яко бы по непріятелямъ и врагамъ церкви божіи и меня великаго государя изъ пушекъ и пищалей стрѣляли, и аки козлы мерзкіе по старымъ книгамъ литургисали, и аллилуію сугубили, а не трегубили, и аза изъ символа вѣры, яко волчецъ пѣкій изъ нивы Господней, не исторгли, а козлогласовали съ *азомъ*, и *иже* у имени Господа и Спаса нашего Іисуса Христа яко камень многоцѣненъ изъ ризы Господней украли, и иное неподобное творили“.

Черная братія съ изумленіемъ и страхомъ смотрѣла на чтеца и на стараго Никанора. Геронтій передохнулъ и отеръ рукавомъ потъ, выступившій на сухомъ морщинистомъ лбу. Никаноръ насупился такъ, что за бровями совсѣмъ не видно было глазъ, только лицо его покраснѣло. Губы беззвучно шевелились, какъ бы пережевывая страшныя слова граматы.

Не поднимая глазъ отъ бумаги, Геронтій глубоко забралъ въ грудь воздуху и продолжалъ:

— „И какъ къ вамъ сія наша великаго государя грамата придетъ, и вы бѣ отъ своей дурости и озорства всеконечно отстали, и моихъ государевыхъ людей честно и грозно приняли по старинѣ, и по новымъ книгамъ есте литургисали, и аллилуію бѣ есте не сугубили, и аза изъ символа вѣры извергли, и *иже* у Іисусова имени не отымали. А буде вы сего нашего государскаго указа не послушаете и отъ своего озорства не отстанете, и за то вамъ отъ насъ великаго государя быти въ опалѣ, и въ жестокомъ наказаніи и конечномъ разореніи безо всякія пощады, даже до смертной казни“.

Все кончено!.. Геронтій съ трудомъ перевелъ духъ и поднялъ глаза къ небу—къ куполу. Братія, повидимому, ждала чего-то. Но Никаноръ, на котораго всѣ смотрѣли, упорно молчалъ.

Геронтій вертѣлъ грамату въ рукахъ. Посолъ Кириша ждалъ и глядѣлъ на Никанора. Тихо кругомъ, и только слышалось, какъ передъ образомъ Спасителя юродивый стучался лбомъ объ полъ.

— Грамата великая, подлинная, — говорилъ самъ съ собой Геронтій, глядя на золотое письмо въ началѣ: — коймы и фигуры писаны золотомъ... богословье и великаго государя именованье по *иже*, а соловецкаго монастыря по *мыслете* писано то-жъ золотомъ...

— Эко диво золото! — раздался вдругъ хриплый голосъ: — у дьяковъ золота много.

Всѣ оглянулись. Это говорилъ юродивый.

— Спиридонъ дѣло говорить! — вдругъ глянулъ изъ-подъ своихъ бровей старый Никаноръ. — Можно золотомъ написать не токмо по *мыслете*, а по самое *твердо*, а то и до *ижицы* — всю грамату можно золотомъ написать, а все жъ та грамата будетъ не въ грамату.

— А печать подъ кустодіею? — возразилъ Геронтій, весь блѣдный.

— Печать у дьяка въ калитѣ.

— А коймы и фигуры?

— На то есть писцы и богомазы, — отрѣзалъ Никаноръ: — все состряпають.

— Такъ ты думаешь — эта грамата не царская? — удивился Геронтій.

— Она у царя и на глазахъ не была.

— Ноли великаго государя обманываютъ?

— И Бога обманываютъ, — послышался отвѣтъ юродиваго.

— Только у Бога дьяки не нашимъ чета, — пояснилъ Никаноръ.

Черный соборъ, доселѣ тихій и спокойный какъ омутъ, зашевелился: словно рябь отъ вѣтерка по тихому омуту, пробѣжало оживленіе по сумрачнымъ дотолѣ лицамъ черной, черноклобучной и черноскуфейной братіи. Засверкали глаза, открылись рты, заходили бороды, задвигались плечи, замахали руки.

— Золотомъ, писано — эка невидаль! У мово батюшки баранъ съ золотыми рогами: всегда по двору хаживалъ, — закричалъ чернецъ Зосима изъ рода князей Мышцецкихъ.

— Что баранъ! Мы сами на міру ѣдали барановъ съ золочеными рогами! А у насъ въ Суздали богомазъ чорту рога позолотилъ! — отозвался другой чернецъ.

— Чортъ золотомъ писанъ: вонъ что! А то-ать грамата золочона! позолотить все можно! — раздался третій голосъ.

— Не въ золотѣ дѣло! Вонъ, слышь, аялкую матушку трегубо! Али она, матушка, заяцъ трегубый!

— Не надо намъ зайца! По зайчы литургисать не хотимъ.

— Не дадимъ имъ, никоніанамъ, *аза* батюшку! *Азъ* слово великое!

— Великое слово *азъ*! На емъ міръ стоитъ! За ево, батюшку *аза*, помирать будемъ.

— *Иже*мъ Ісуса Христа прободать не дадимъ! Мы не жида!

— И трехъ перстовъ не сложимъ! Инъ пущай намъ пальцы и головы рубять, а не сложимъ!

Невѣжество, дикій фанатизмъ и изуверство брали верхъ. Болѣе бла-

горазумные и грамотные священники и іеромонахи молчали и только озирались на бушующую молодую братію и на закоренѣлыхъ стариковъ. У Никанора глаза искрились изъ-подъ сѣдыхъ бровей, какъ раздуваемые вѣтромъ угольки въ пещлѣ.

Юродивый, протискавшись къ Киршѣ, который стоялъ ошеломленный, и вынувъ изъ сумы черепъ мертвеца, показалъ его изумленному стрѣльцу-недуголовѣ. Тотъ съ испугомъ отшатнулся назадъ.

— Знаешь ты, кто это?—спросилъ юродивый, протягивая черепъ къ Киршѣ.

— Не знаю... не знаю,—былъ торопливый отвѣтъ.

— А! не знаешь?... Такъ и мы знать не хотимъ того, кто тебя послалъ... Мы знаемъ только Того, кто насъ всѣхъ на землю послалъ—и меня, и тебя, и вотъ его (онъ ткнулъ пальцемъ въ черепъ). А ты знаешь Его?

— Кого?

— Того, который на крестѣ вотъ такъ пальчики сложилъ (юродивый сдѣлалъ двуперстное сложеніе), когда Ему руки ко кресту привоздили?

Кирша не могъ ничего отвѣчать. Онъ только испуганно глядѣлъ то на черепъ, то въ добрые, собачьи, теперь свѣтившіеся глаза юродиваго.

— Онъ такъ велѣлъ креститься, а не по вашему,—твердилъ изувѣръ.

Кругомъ стоялъ гамъ и галась. Черный соборъ видимо дѣлился надвое. Зазвучалъ трубный голосъ Геронтія, доселѣ молчавшаго.

— Грамата царская, истинная, съ титуломъ и богословьемъ въ золотѣ... грамата истовая... ей перечить нельзя.

— Волимъ повиноваться великому государю! — поддержали его священники.

— Не волимъ!—кричала рядовая братія.

— Мы за великаго государя молятся оочи! — раздавались слабые голоса благоразумныхъ священниковъ.

— Молитесь, коли вамъ охота, только вы намъ послѣ этого не попы! — перекрикивала ихъ сильнѣйшая половина.

— Какіе попы! никоніане!

— Щепотники!.. Хиротонію ни во что ставятъ!

Кирша видѣлъ, что его посольство опять не выгорало. Когда крики нѣсколько стихли, онъ обратился къ Никанору, который стоялъ какъ заряженный.

— Какой же отвѣтъ, святой архимаритъ, дать мнѣ воеводѣ?

— Таковъ, каковъ Христосъ далъ сатанѣ въ пустынѣ! — разрядился Никаноръ.

Кирша глядѣлъ на него вопросительно.

— Я не знаю, что Христосъ сказалъ сатанѣ — я не попъ, — возразилъ онъ.

— А не попъ, такъ и не суйся въ ризы!

— Я не суюсь въ ризы...

— Какъ не суеться! А зачѣмъ въ чужой монастырь да съ своимъ уставомъ лѣзешь?

— Я не самъ лѣзу—мнѣ указано, я съ грамотой великаго государя.

— Намъ ваша грамота не въ грамоту! Апостолы-тѣ да святые отцы были постарше вашихъ грамотѣвъ: такъ мы крестимся и пѣтье поемъ такъ, какъ они повелѣли.

— Я ничего не знаю... я посланъ... такъ великій государь изволилъ,—оправдывался Кирша, чувствуя, что онъ слабъ въ богословіи, что его дѣло—на сабляхъ говорить да дѣлать то, что воевода велитъ.

— Такъ уходи съ тѣмъ, съ чѣмъ пришелъ!—крикнулъ Никаноръ.

— „Уходи по-добру по-здорову!..“ „Заковать его!..“ „Въ яму!..“ „Зачѣмъ въ яму!“—раздавались голоса.

— Стой!—снова затрубилъ Геронтій, обращаясь къ Киршѣ:—я за великаго государя всегда Бога молилъ, теперь молю и напредки молить долженъ. Ино какъ поволитъ великій государь, а я апостольскому и святыхъ отецъ преданію послѣдую, а что Никонъ въ новыхъ книгахъ наблевалъ, и той его блевотины я отметаюсь; новоисправленныхъ печатныхъ книгъ, безъ свидѣтельства съ древними харатейными, слушать и тремя персты крестъ на себѣ воображать сумнительно мнѣ: боюсь страшнаго суда Божія!

— Охъ! охъ! страшень судъ Божій!—опять заревѣла черная братія.

— Долой никоніанскія книги! Долой еретицкую блевотину!

Кирша понялъ, что ему ничего не оставалось дѣлать, какъ поскорѣй убираться изъ монастыря. Сотники, которые безмолвно стояли у него за спиной, повернулись къ выходу, и, держа сабли наголо, прошли сквозь ряды черной братіи. Вслѣдъ за ними шелъ Кирша съ блюдомъ подъ мышкой. За Киршей вышли изъ собора Геронтій и другіе черные священники.

Передъ соборомъ стояли въ сборѣ всѣ монастырскіе ратные люди. Впереди ихъ сотники Исачко и Самко.

— Одумайтесь, пока не поздно,—сказалъ Кирша, направляясь къ воротамъ.

— Поздно ужъ!—гордо отвѣчалъ Исачко.

— У насъ дума коротка: приложилъ фитиль—и бу-бухъ!—пояснилъ Самко.

— Доложи воеводѣ, что мы за великаго государя Бога молимъ!—крикнулъ Геронтій вслѣдъ удалявшемуся Киршѣ.

— И мы! и мы такожъ!—подхватили черные священники.

Тогда Самко, подскочивъ къ нимъ, закричалъ:

— Кто вамъ велѣлъ, долгогривые за еретиковъ молиться!

— Великій государь не еретикъ!—прогремѣлъ Геронтій.

— Намъ великаго государя не судить!—подхватили черные попы.

— А! такъ вы всѣ за одно!—приступилъ Исачко:—мы за васъ горой, а вы къ намъ спиной!

— Кидай, братцы, ружье!—скомандовалъ Самко, обращаясь къ ратнымъ людямъ:—намъ съ еретиками не кашу варить! Пуцай ихъ цѣлуются съ стрѣльцами.

— Клади ружье на стѣну! — крикнулъ Исачко къ часовымъ, стоявшимъ на стѣнѣ:— намъ тутъ дѣлать нечего; лучше въ Кемскомъ зелено вино кружать.

— Любо! любо!—закричали ратные, бросая ружья:—въ Кемской!

Часовые также бросили свои ружья и сходили со стѣны.

Въ это время откуда ни возмись юродивый, сѣлъ наземь между черною братією и ратными людьми, подперъ щеку рукой и запѣлъ жалобно, какъ ребенокъ:

Чижики-пыжики у воротъ,
Воробышекъ махонькой,
Эхъ, братцы, мало насъ,
Сударики, маленько...

— Да, мало васъ останется, какъ мы уйдемъ!—засмѣялся Исачко: — всѣхъ васъ тутъ, что глухарей, лучкомъ накроютъ.

Изъ собора высыпала вся черная братія. Впереди всѣхъ Никаноръ архимандритъ, Нааанаилъ келарь и старецъ Протасій городничій. Увидавъ, что ратные покидали ружья, Никаноръ остановился въ изумленіи.

— Что это вы, братцы, затѣяли?—тревожно спросилъ онъ.

— Въ Кемской, отецъ архимаритъ, собираемся,—отвѣчалъ Исачко.

— Затѣмъ въ Кемской?

— Медъ, вино пить.

— По старинѣ Богу молиться, а не по новинѣ,—добавилъ Самко.

— Да что съ вами! изумился архимандритъ:—кто говоритъ о новинѣ?

— Вонъ они всѣ (Самко указалъ на черныхъ поповъ): за еретиковъ молиться хотятъ.

— Мы не за еретиковъ молимся, а за великаго государя,—перебилъ его Геронтій.

— Ну, и молитесь себѣ, а мы вамъ не слуги.

— Намъ на великаго государя руки подымать не пристало: руки отсохнутъ,—пояснилъ Геронтій.

— Ноли мы на великаго государя руки подымаемъ?—возразилъ Никаноръ.

— На его государевыхъ ратныхъ людей—все едино.

— Много чести будетъ всякую гуньку кабацкую царской порфирѣ приравнивать.

Между тѣмъ келарь Нааанаилъ, ходя межъ ратныхъ людей, билъ имъ челомъ, чтобъ они умилоstinились—взяли назадъ ружья: „братцы! православыне!“ молилъ старецъ: „будьте воинами Христовыми—не дайте на поруганіе обитель божію, святую отчину и дѣдину преподобныхъ отецъ нашихъ Зосима-Савватія: они, свѣты, стоятъ нынѣ у престола Господня, ручки сложивши, за насъ Богу молятъ, да не изліетъ на насъ фіаль гнѣва своего. Дѣтушки! воины Христовы! постоите за святую обитель, какъ допрежъ того стояли!

Геронтій все болѣе и болѣе возвышалъ свой трубный голосъ.

— Кто противится царю—Богу противится!—перекрикивалъ онъ всѣхъ своею трубою.

Никаноръ понялъ, что наступаетъ рѣшительная минута и закричалъ къ ратнымъ людямъ, указывая на Геронтія и на черныхъ поповъ:

— Что на нихъ смотрѣть! Мечите ихъ всѣхъ въ колодки!.. Мы и безъ поповъ проживемъ: въ церкви часы станемъ говорить, и попы намъ не указчики: у насъ одинъ попъ—Богъ и его всевидящее око.

Не зная тогда Никаноръ, что его слова—„безъ поповъ проживемъ“—послужатъ источникомъ того историческаго явленія въ русской жизни, которое выразилось въ „безпоповщинѣ“,—явленія необыкновенно живучаго.

Ратные кинулись на Геронтія и на всѣхъ черныхъ поповъ и почти на рукахъ стащили ихъ въ монастырскую тюрьму. А юродивый продолжалъ сидѣть на землѣ и, раскачивая своею лохматою головою, жалобно причиталъ:

Эхъ, братцы, мало насъ,
Сударики, маненько...

XI.

Воровской атаманъ, Спиря Бѣшеный.

— Въ ту пору, еще до Стеньки Разина, гулялъ на Волгѣ воровской атаманъ Спиря, по прозванію Бѣшеный. Ужъ и точно-что бѣшеный былъ! Такого я отродясь не видалъ. Да и какъ его земля матушка держала! Да она, поди, земля-то, и не приметъ его окаяннаго! Былъ онъ родомъ изъ дѣтей боярскихъ, да только царской службы не служилъ—царскимъ воеводамъ пятами покивалъ, и былъ таковъ: все считался въ нѣтяхъ, а братья его—у него было ихъ четверо—все были въ естяхъ. Каждую весну собиралась его станица понизовой вольницы: какъ весна, такъ и кличетъ кличъ: „эй вы, голые и босые, кнутомъ сбѣченные, катомъ мѣченые, холопы боярски и рейтары царски! валите въ мою станицу—по Волгѣ-матушкѣ гулять, зипуны добывать!“ Ну и сыпануть къ ему голутвенные и отчаянные, что осы на медъ. А станы его были по Волгѣ по всей—и въ Жигулевыхъ горахъ, и подъ Лысковымъ, и подъ Макарьемъ, и пониже Саратова и повыше Царицына. Соберется это станица Спирина—не одна сотня голутбы, не двѣ и не четыре, а въ тысячу шапокъ и больше того—соберется эта галичъ, а косные лодочки у него давно готовы, вверхъ пузомъ лежать по Жигулевскимъ яругамъ; слетѣлось воронье-драное да рваное, кто съ ружьемъ, съ ножомъ за поясомъ да за онучкой поворозкой, кто съ кистенемъ, а кто и просто съ дубиной да осиною, возмуть въ руки яровы весельца, грянутъ весновую службу—ну и пошла строчить строка кровавая: какъ къ городу, либо къ боярской усадьбѣ—и пошелъ по крышамъ да по подклѣтью летать „красный пѣтухъ“, красными крыльями до неба машетъ, „кукареку“ поетъ отъ зари

до зари. А спира кричить: „добывай, братцы, зипуны съ плечъ боярскихъ да съ подъячихъ—красивнаго сѣмени, а коли зипуны не сымаются съ плечъ—съ кожей сымай!“ Хоть и боярское отродье самъ—отъ атаманъ, а готовъ былъ всѣхъ бояръ да подъячихъ въ ложкѣ воды утопить и эту воду выпить.

— Насолили, должно, эти бояре ему?

— Былъ пересоль—это правда. Бѣгалъ онъ однава отъ службы—въ нѣтяхъ былъ,—это еще смолodu, когда только женился: съ годъ эдакъ пожилъ съ женой, ребеночка прижилъ съ ею—дочку, а тутъ вѣсти пришли, чтобъ всѣ дѣти боярскіе въ походъ снаряжались. Братья-то его въ естяхъ объявились, а онъ въ нѣтяхъ—на низы, на Волгу сошелъ. Долго ли, коротко ли нѣтовалъ, а объ молодой женѣ не забывалъ—все тянуло его повидать ее и съ дочкой. Вотъ однава онъ и нагрѣвъ въ свою вотчину, да ночью, чтобъ никто изъ холопей не видалъ, да воеводѣ не донесъ. Приходить. Дѣло было лѣтомъ. Такъ да эдакъ—пробрался онъ къ своему двору, проползъ садкомъ къ свѣтелкѣ, гдѣ жила его жена. Коли слышитъ, подъ ракитовымъ кустомъ что-то шушукать. Онъ по-закустомъ, словно ежъ, пробрался да и слушаетъ... „Настенька, говоритъ, разлапушка: а что, говоритъ, коли твой постылый изъ нѣтей воротится?“— „Не знаю,—говоритъ она,—соколикъ мой, что и будетъ со мной: останется одно, говоритъ,—со крутого бережечка да въ Оку рѣку“.— „Что ты!“—говоритъ онъ,—не мочи и думать объ этомъ! Мы,—говоритъ,—лучше сдѣлаемъ его въ нѣтяхъ навѣки вѣчные“. — „Какъ же это?“ говоритъ она: „А коли придется?“— „Тутъ-то мы ему нѣтей и поднесемъ: такъ на тотъ свѣтъ въ нѣтяхъ и уйдемъ“. А онъ все это слышитъ.— „А,—говоритъ,—завѣя подколодная! такъ я же васъ въ нѣтяхъ сдѣлаю, а самъ останусь въ естяхъ“. Да тутъ же и положилъ ихъ на мѣстѣ. Его бросилъ подъ кустомъ, а у нея голову отрубилъ и унесъ съ собой.

— Съ кѣмъ же это она, подлая, снюхалась?

— Съ его жъ воеводой, съ Мышецкимъ княземъ.

— По дѣломъ имъ.

— По дѣломъ! Эхъ ты, рыбинъ сынъ! А самъ нешто не нюхалъ чужихъ женъ?

— Нюхать нюхалъ, да не попадался.

— То-то! А попадись-ка...

— Да ты полно спорить, дядя Серега,—скажывай дальше... Ну, отсѣкъ ей голову?

— Отсѣкъ голову да и приносить къ своимъ молодцамъ, на Волгу: „смотри,—говоритъ,—братцы, какова у меня женушка красавица! Соскучился по ея красотѣ, да вотъ, говоритъ, и принесъ съ собою“. А она, сказывають, точно была красавица. Вотъ онъ велѣлъ молодцамъ заострить палю осиноу, взоткнулъ на палю голову женину да и говоритъ: „плюйте, братцы, атаманской женѣ въ мертвыя очи“. Какъ сказали, такъ и сдѣлали молодцы: каждый подходилъ къ мертвой головѣ и пле-

валъ ей въ лицо, а иной, горяченькій, такъ и пощечину давалъ покойницѣ. Натѣшившись такою забавочкою вдоволь— и ну лютовать Спири! Ужъ и лютовалъ же! Лѣтъ пятнадцать-шестнадцать ни проходу, ни проѣзду не было по всему низовью, а особливо доставалось боярамъ да воеводамъ. А голову женину не оставилъ на палѣ, а взоткнулъ ее на атаманской лодкѣ на мачту: такъ съ жениной головой и лютовалъ по Волгѣ. Я самъ эту голову видѣлъ...

— Что ты, дядя! Какъ?

— Костякъ одинъ бѣлѣлъ на мачтѣ: мясо-ту и глаза и все—черви съѣли, а волосы вѣтромъ разнесло, и остался только голый черепъ да челюсти съ бѣлыми зубами... Въ ту пору у насъ съ нимъ бой былъ на водѣ—на Волгѣ. Ужъ и чосу же онъ намъ задалъ!—всѣхъ перобилъ, что было у насъ стрѣльцовъ, да перетопилъ, и воеводу Беклемишева на мачтѣ подъ жениной головой повѣсилъ. Меня въ ту пору Богъ спасъ—доплылъ до берега, да изъ-за кустовъ ужъ, изъ-за верболозу, и видѣлъ какъ воеводу вѣшали.

— А что послѣ съ нимъ, съ этимъ Вѣшеннымъ Спирей, было?

— А было то, что никому не дай Богъ... Гулялъ онъ эдакъ десятка полутора годковъ по Волгѣ, перегубилъ душъ христіанскихъ несомнѣнное число, да и говорить однава молодцамъ: „скучно мнѣ, братцы, безъ жены... Вонъ женушка моя высоко живетъ, не достать ея, а вдовцомъ мнѣ стало тошно жить: либо жену добыть, либо въ Ерусалимъ итить, либо въ Соловки посхимиться; а то такъ мнѣ жить опостылѣло,—говорить,—и кровь-де христіанская не радуетъ“.—Ладно,—говорятъ молодцы,—исполать тебѣ, батюшка атаманушка Спиридонъ Ивановичъ: умѣлъ 'насъ въ люди вывести, нарядить въ зипуны да кафтаны цвѣтные—сослужимъ. и мы тебѣ службу: добудемъ полюбовницу да такую, чтобы краше ея и на Руси не было. И махнули въ верховые города, благо все низовье облучили дочиста и всѣхъ бабъ, и дѣвокъ, и дочерей воеводскихъ перебрали. Долго ли, коротко ли рыскали они по верховымъ городамъ, коли пріѣзжаютъ въ станъ и привозятъ атаману такую красавицу, какой и въ сказкахъ не бывало—боярскую дочь изъ-подъ Муромъ. Какъ увидалъ атаманъ ее, такъ и задрожалъ: словно то была его жена покойница, только еще краше. Жаль ему стало бѣдной—въ первый разъ пожалѣлъ душу христіанскую—и говоритъ:—„жаль мнѣ тебя, красавица, боярская дочь—я хочу-де воротить тебя къ отцу-матери: кто-де будутъ твои отецъ, матушка, каково-де ты роду-племени?“—„У меня,—говоритъ дѣвица, а сама плачетъ,—у меня нѣтъ ни батюшки, нѣтъ ни матушки: я-де кругла сирота“.—„А кто были,—говоритъ онъ,—твой родители и откедова ты родомъ?“—„Я,—говоритъ она,—изъ-подъ Муромъ, изъ роду Хилковыхъ"... Атаманъ такъ и вскочилъ, какъ обожженный.—„Хилковыхъ!“—„Да,—говоритъ,—Хилковыхъ“.—„А котораго Хилкова?“—„Спиридонъ Ивановича“, говоритъ она.—„Такъ ты Оленушка?“ говоритъ, а самъ весь дрожитъ.—„Оленушка“, говоритъ она, и сама руки ломаетъ.—„Такъ вонъ,—говоритъ,—посмотри

на мачту“, а на самомъ лица нѣтъ:—„посмотри, что-де видишь?“ Дѣвица взглянула вверхъ, да такъ и помертвѣла.—„Это, говоритъ онъ, твой матушка родима,—это я-де убилъ ее, и голову взять съ собой, по писанію: „Богъ-де соединилъ, человекъ да не разлучаетъ“. Дѣвица молчить—чуть жива.—„А знаешь,—говоритъ онъ,—Оленушка: кто я тебѣ довожусь?“ Она молчить, только дрожить, что осиновый листъ. „Я,—говоритъ онъ,—твой родитель, Спиридонъ Ивановъ, сынъ Хилковъ, а нынѣ воровской атаманъ Спири Бѣшеный, хотѣлъ взять тебя, дочь свою родную, себѣ въ полюбовницы“. Да какъ схватить себя за волосы, да какъ захохочеть! А она-то—ужъ и Богъ знаетъ что съ ей сдѣлалось—какъ глянетъ на мачту-ту, на материну голову, да на отца, какъ тотъ, съ горя, должно, сбѣсился да перекрестилась, да со всего размаху въ Волгу...

— Что ты! Ахъ бѣдная сиротка! Ну, и что-жъ?

— Только пузыри пошли...

— И не пымали?

— Гдѣ пымать!

— Ну, а онъ?

— Онъ хотѣлъ было туда-жъ за дочкой, да молодцы не пустили,—связали... А тамъ какъ пришелъ въ себя, досталъ съ мачты женину голову—и былъ таковъ!

— Какъ? пропалъ?

— Пропалъ безъ вѣсти. Одни сказывали—въ Ерусалимъ пошелъ молиться, другіе—что утопился.

— Я здѣсь! Я—Спиридонъ Ивановъ, сынъ Хилковъ—не пропалъ и не утопъ!—раздался вдругъ словно изъ-подъ земли глухой голосъ.—Здѣсь я!

Стрѣльцы оцѣпенѣли отъ этого голоса и отъ этихъ словъ. Они сидѣли въ окопахъ, подведенныхъ почти къ самымъ монастырскимъ стѣнамъ, и отдыхали послѣ земляныхъ работъ, готовясь къ приступу на слѣдующее утро и слушая рассказы бывалаго человѣка, стараго стрѣльца, не разъ бившагося на Волгѣ съ понизовою вольницею, въ томъ числѣ съ шайками атамана Спири Бѣшеннаго, а потомъ попавшаго въ водолиты къ Стенкѣ Разину. Самый рассказъ Чортоуса—такъ звали стараго стрѣльца—подготовилъ слушателей къ чему-то страшному—и вдругъ этотъ подземный голосъ!.. Многіе изъ стрѣльцовъ крестились, съ испугомъ озираясь кругомъ; другіе вскочили, чувствуя, что подземный голосъ выходилъ какъ будто у нихъ изъ-подъ ногъ...

— Чуръ! чуръ! чуръ!.. наше мѣсто свято! Охъ!

— Аминь! аминь! аминь! разсыпсья!

— Помилуй мя, Боже, по велицей... Охте мнѣ!

Подъ покровомъ вечернихъ сумерекъ, стрѣльцы сидѣвшіе за окопами, не замѣтили, какъ во все время рассказа Чортоуса, изъ-за камня, нависшаго надъ моремъ, и изъ-за древесныхъ корней и зеленого моха смотрѣли два блестящихъ глаза, повременамъ вспыхивавшіе какъ у собаки зеленымъ фосфорическимъ блескомъ.

— Это нечистый духъ, либо водяной,—говорили иные стрѣльцы, глядя на воду и невольно вздрагивая.

— Нѣтъ, это *ево* душа бродить—земля *ево* не принимаетъ,—пояснялъ Чортоусъ.

— То-то! Не надо было поминать его не въ добрый часъ.

— А какъ было знать его! Кабы знать—вѣстимо что...

Гдѣ-то, въ ночной тишинѣ, заплакала чайка... Что-то плеснулось въ водѣ... Опять словно плачъ протяжный надъ моремъ—и опять тихо...

— Это поди она плачетъ чайкою—Оленушка, что утопла...

— Матушка! матушка!—окликаетъ Оленушка Неупокоева спящую мать.

— Ты что, дитятко?—спрашиваетъ сонный голосъ.

— Мнѣ страшно что-то.

— Чего страшно, глупая? Съ нами крестная сила.

— Вонъ кто-то за окномъ царапается.

— То голуби спросонья крыльями.

— А это кто плачетъ?

— Чайка—али не слышишь?

— Да, слышу—чайка.

— Что жъ ты не спишь?

— Я сонъ видѣла... я лѣгла надъ моремъ... лечу это—и стала падать въ море—ухъ!

— Это къ росту, глупая.

— А меня изъ воды Спирия вытащилъ...

— Ну, чего жъ еще! Перекрестись истово, сотвори молитву Иисову и спи.

— Жарко... Въ окно кто-то глядитъ...

— Что ты!.. То бузиновая вѣтка... Придвинься ко мнѣ ближе и банькай, глупая...

— Охъ! что это?..

Это грянула съ сторожевой башни вѣстовая пушка, и глухой гулъ ея, казалось, отскочивъ отъ монастырскихъ зданій, покатился по морю. Вздрыгнули кельи, и сонный монастырь ожилъ: и ратные люди, и черная братія спѣшили къ монастырскимъ стѣнамъ, крестясь и спрашивая другъ друга—что случилось, хотя каждый догадывался, что случилось что-то недоброе.

Въ самомъ дѣлѣ, надъ монастыремъ висѣла страшная опасность. Стрѣльцы, сдѣлавъ въ одномъ мѣстѣ подкопъ, подъ защитою котораго они могли подобраться подъ самую стѣну и проташить туда до десяти лѣстницъ, ночью приставили эти лѣстницы къ стѣнамъ, плотно, лѣстница къ лѣстницѣ, и, пользуясь сномъ часового въ этомъ мѣстѣ, полѣзли на стѣну. Такъ какъ лѣстницы приставлены были одна бокъ-о-бокъ къ другой, тѣсно, чтобы на одномъ этомъ пунктѣ сосредоточить силу нападенія и стойко выдержать сопротивление на стѣнѣ, въ случаѣ если монастырь во-время проснется, то казалось, что на стѣну взбиралась сплошная масса людей, сверкавшихъ въ темнотѣ бердышами. Монастырь былъ на краю гибели.

Уже верхніе стрѣльцы, во главѣ которыхъ взбирался старый Чортоусъ, почти касались верхушки стѣны. Въ монастырѣ была мертвая тишина—все спало. Не спалъ одинъ человѣкъ: это былъ Спиридонъ юродивый. Изъ своей подземной засады, изъ „печорухи“, онъ высмотрѣлъ, что враги подкопались подъ самую стѣну. Онъ видѣлъ, что готовится что-то. Когда онъ изъ своей засады, напугавъ стрѣльцовъ словами — „я, Спиридонъ Ивановъ, сынъ Хилковъ, здѣсь“, пробрался въ монастырь и оттуда на стѣну, онъ увидѣлъ, что лѣстницы были уже приставлены и стрѣльцы взбирались по нимъ. Выждавъ, чтобы они подобрались выше, онъ разбудилъ часового, стоявшаго у вѣстовой пушки, и велѣвъ ему приложить фитиль къ затравкѣ, остановился у самаго края стѣны.

Пушка грянула... Дрогнули лѣстницы, сверху до низу покрытыя стрѣльцами—и стрѣльцы дрогнули. Поднявъ головы, они, при свѣтѣ сѣверной весенней ночи, съ ужасомъ увидѣли наверху, надъ самыми ихъ головами, страшнаго человѣка съ черепомъ въ рукахъ...

— Я, Спиридонъ Ивановъ, сынъ Хилковъ, здѣсь, а вотъ женина голова!—раздался знакомый стрѣльцамъ голосъ, который еще недавно привелъ ихъ въ ужасъ.

Вслѣдъ за возгласомъ, сухой костякъ черепа съ трескомъ ударился объ голову Чортоуса.

— Охъ, батюшки! мертвецъ!.. это онъ!—и Чортоусъ навзничъ полетѣлъ съ лѣстницы.

Неожиданный пушечный выстрѣлъ, страшный возгласъ со стѣны, отчаянный крикъ и паденіе Чортоуса произвели общее смятеніе: на стрѣльцовъ напалъ ужасъ, они падали съ лѣстницъ, сбиваемые верхними товарищами и увлекая нижнихъ...

— Батюшки! мертвецы на стѣнѣ!.. нечистая сила!—слышались испуганные крики.

За ними слѣдовали стоны падающихъ и разбивающихся о камни, напарывающихся на острія копій и бердышей. Стрѣльцы, раненые и здоровые, падали одинъ на другого, давили раненыхъ, душили своею тяжестью здоровыхъ, упавшихъ раньше. Кучи народу, кричащаго и стонущаго, барахтались подъ стѣнами. А на стѣнахъ не умолкалъ страшный голосъ:

— Я здѣсь! Сарынь на кичку! Го-го-го-го! Здѣсь-здѣсь я!

Когда монастырскіе ратные люди и черная братія, всполошенные вѣстовою пушкою, выбѣжали на стѣну, тѣ изъ стрѣльцовъ, которые не были ранены при паденіи, или не получили никакихъ тяжкихъ поврежденій, успѣли спрятаться за окопы, а тѣ, что были ранены, или тяжело ушиблись, отчаянно метались подъ стѣною и стонали.

Старый Никаноръ, выбѣжавшій на сполохъ въ одномъ подрясникѣ и босикомъ, понявъ въ чемъ дѣло, широко перекрестился и поклонился до земли юродивому.

— Господь Богъ наградить тебя на небесахъ, и святая обитель будетъ молиться за тебя вѣчно!—сказалъ онъ, цѣлуя руку юродиваго.

Но этотъ вырвался и побѣжалъ къ лѣстницамъ.

— Охъ-охъ-охъ!—кричалъ онъ:—головушка моя упала! ох-те мнѣ-оо!

И онъ стремительно сталъ спускаться со стѣны по лѣстницѣ. Всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли, что изъ этого будетъ. А что, какъ стрѣльцы опомнятся и схватятъ его? Но юродивый не долго оставался подъ стѣною: онъ поднялъ что-то съ земли и снова сталъ взбираться по лѣстницѣ... Въ рукахъ у него оказался знакомый всѣмъ черепъ...

Скоро ратные люди встали на стѣну всѣ лѣстницы осаждающихъ. Ударилъ колоколъ, и братія сыпанула въ соборъ, словно пчелы въ улей, служить благодарственный молебенъ.

XII.

Исповѣдь князя Мышецкаго.

Послѣ такого вторичнаго, неудачнаго приступа, осада монастыря снова затянулась на неопредѣленное время. Воевода Мещериновъ, опасаясь, что за этимъ проклятымъ соловецкимъ сидѣнемъ его русая головушка успѣетъ подернуться инеемъ сѣдины, а кемская попадейка состарѣться, билъ челомъ о подмогѣ ратными людьми, и къ нему прислали въ помощь около восьми-сотъ свѣжихъ стрѣльцовъ, двинскихъ и холмогорскихъ. Поглядѣли и эти стрѣльцы на сѣрыя стѣны, по которымъ отъ времени до времени двигались темныя тѣни, посмотрѣли, покачали головами, и въ душѣ пришли къ тому же заключенію, что и прежніе: „за что, молъ, про что старцевъ божьихъ тревожать? Вонъ какъ голосно за стѣнами звонятъ святые колокола—молятся, знать, старцы—не дурно какое чинить, а Богу работаютъ... Вонъ и голубки надъ монастыремъ полетываютъ, и ластушки-касатушки вокругъ церквей порѣиваютъ—таково хорошо тамъ—а мы разорять ихъ пришли... Али мы нехристи?“

И потянулась вялая, неохотная осада, потянулось безконечное время. Лѣто же, какъ на зло, выдалось жаркое, душное, марящее, какое только способенъ 'создать сырой водянистый сѣверъ. Стрѣльцамъ почти постоянно приходилось проводить время въ окопахъ, въ сырыхъ и душныхъ землянкахъ, и только по ночамъ они могли выползть изъ своихъ берлогъ, чтобъ подышать воздухомъ; а то показись только днемъ, такъ со стѣнъ монастыря того и гляди угодятъ пулей, а соберись стрѣльцы кучкой—такъ и галанскими орѣхами черная братія попотчуетъ. И изъ-за чего,—думалось стрѣльцамъ,—вся эта истома? Чѣмъ провинились старцы? Что крестомъ-ту истовымъ крестятся, не щепотью, такъ вина эта не больно винная: эта вина не въ вину. Не даромъ отцы и дѣды двумя персты крестились: а они были не глупѣ сыновъ-отъ да внуковъ своихъ. Да и то сказать! Такъ оно отъ старины повелось, такъ бы ему и стоять. Дакъ нѣтъ! Завелись умники: знаемъ-де, на чемъ свинья хвостъ носить. Эко диво! Али московскіе чудотворцы: Петры, Лексѣй, Іѣна и Филиппъ щепотью

крестились, что въ святые угодили—у Христа въ переднемъ углу сидятъ? Да и кто нынѣ присталъ къ этимъ новинамъ? Али люди? Самые что ни-на-есть дрянные людишки—вотъ кто присталъ къ новинамъ къ этимъ. Кому все равно, какъ ни молишь, тотъ на эти новины пошелъ: кто и въ церковь-ту мало хаживалъ, али кому выслужиться захотѣлось, на виду стать—вотъ кто эти новинники. Статочное ли дѣло свою вѣру мѣнять! Кто въ своей вѣрѣ не крѣпокъ, тотъ царю, какъ и Богу, плохой слуга: дурно у него на умѣ, корысть, а не вѣра. Стояла допрежъ сего Русь на двухъ перстахъ, а какъ она будетъ стоять на трехъ—про то бабушка надвое сказала. Вотъ хоть бы взять самихъ насъ, стрѣльцовъ. Ноли мы не хрестяне были? Ноли мы за церковь да за великаго государя не стояли? Мы и теперь стоимъ, да только хромлемъ—вотъ что! Мы крестъ цѣловали—служить великому государю вѣрой и правдой: мы крестъ цѣловали по старому, истово—на двухъ перстахъ, а не на трехъ. А теперь велеть молиться трюми персты. Али это дѣло? Ну, и молимся супротивъ персти—велѣно такъ: не ломать же крестнаго цѣлованья въ угоду сатанѣ. А сунься-ко дома съ трюми персты, такъ бабы, стрѣльчихи, рогами ребра пересчитаютъ, а то и хуже: на постель тебя баба къ себѣ не пуститъ. Баба—не то что нашъ братъ мужикъ: намъ случается и лба недосугъ перекрестить, а баба ни-ни!—баба—божья работница, баба блюдетъ старую вѣру и соблюдетъ ее. А поди, заставъ бабу креститься по новому, такъ она и скажетъ-зася! А то на! Старцы вонъ намъ поперекъ дороги стали... Чудеса да и только!

Такъ разсуждали стрѣльцы своимъ простымъ умомъ, не догадываясь, конечно, что эта неразумная борьба противъ родныхъ братьевъ, оставшихся вѣрными старой обрядности, потянется на столѣтїя, что она станетъ источникомъ великихъ преступленій и безчеловѣчныхъ жестокостей со стороны тѣхъ, которыхъ стрѣльцы называли „дрянными людишками“, что эти „дрянные людишки“ прольютъ потоки русской крови, и прольютъ безплодно, что, наконецъ, это „соловецкое сидѣнье“ растянется на сотни лѣтъ, и что въ этомъ „сидѣньи“ очутятся не одни соловецкія старцы, а цѣлая половина Россіи: эта половина Россіи—такъ называемые „раскольники“, „старообрядцы“, которые, въ концѣ концовъ, все-таки останутся побѣдителями, потому что Россія, слава Богу, начинаетъ уже понимать, что борьба ея съ расколомъ обошлась ей дороже всѣхъ войнъ, начиная съ „отечественной войны“ 12-го года и съ крымской, и кончая послѣднею турецкою, что въ войнѣ съ расколомъ Россія потеряла не пять и не десять милліардовъ, а тѣмъ темъ ихъ, а все-таки не взяла ни одной раскольничьей Плевны, говоря иносказательно, и не возьметъ: „соловецкое сидѣнье“ будетъ продолжаться вѣчно, если Россія не сниметъ осаду съ раскола, и не прекратитъ своей „отечественной войны“ съ людьми старой обрядности, которая, какъ всякая обрядность, а тѣмъ паче религіозная, тѣмъ правѣе и чище, тѣмъ она консервативнѣе, такъ сказать, археологичнѣе...

Съ своей стороны, осажденные въ простотѣ своей души вѣрили еще

болѣе, что дѣло ихъ правое и что за гонимый „азъ“ и за „матушку алилу“ они готовы мученическій вѣнецъ принять. Поэтому, когда черные поны съ Геронтіемъ во главѣ заупрямились было, говоря, что царскому воеводѣ не слѣдуетъ противиться, что хотя ни „батюшкою азомъ“, ни „матушкою сугубою алилуею“, ни тѣмъ паче двумя персты поступаться не надобеть, во еже и наглую смерть пріяти,—однако же „кесарева кесареви“ воздати подобаеть и противу царскаго рожна прати не приходится,—такъ, когда черные поны и Геронтій высказали подобный взглядъ на дѣло, братія, продержавъ ихъ подъ карауломъ четверо сутокъ, на пятыхъ выбросила за ворота, аки древо посохшее, буреломъ негодный,—и рѣшила безъ поповъ выдержать бурю до конца. „Мы-де старые дубы,—говорилъ Никаноръ,—постоимъ за себя, а исповѣдываться будемъ не понамъ, а самимъ себѣ да Господу Богу: вонъ Онъ, Батюшка, на все взираеть окомъ своимъ—и на дубы великіе, и на кедры ливанскіе, и на крины сельные, что въ травушкѣ-муравушкѣ растутъ: и они, эти крины, самому Господу исповѣдуются—такъ нашей ли исповѣди не приметъ Батюшка - Свѣтъ!“

Вонъ въ одной кельѣ, на жесткомъ деревянномъ ложѣ, на которое брошена кошечка, мечется въ жару старый чернецъ. Густые, съ сильной сѣдиною волосы, растрепанные и мѣстами сбившіеся, словно неваляная и немытая шерсть, падаютъ на лицо и на раскрытую грудь, на которой видно большое серебряное распятіе. Разметанные члены, широкія костлявыя плечи и грудь изобличаютъ, что когда-то это была мощная фигура. Горбоносое съ высокими лбомъ лицо, глаза, теперь болѣзненно притухшіе, очертаніе губъ, подбородка—все невольно подтверждаютъ давно ходящую въ монастырѣ молву, что чернецъ Зосима, который теперь мечется на болѣзненномъ одрѣ, не простой чернышъ, не худородный, а роду княжескаго, только какихъ князей—никто не зналъ: онъ давно пришелъ въ монастырь, внесъ богатый вкладъ въ монастырскую казну золотомъ, серебромъ и дорогими камнями и постригся подъ именемъ Зосимы,—тезкою сталъ преподобнымъ Зосимѣ-Савватію.

Нѣсколько дней тому назадъ, старецъ Зосима и Спира юркий, ревнуя объ освобожденіи святой обители отъ новаго Мамаю—такъ величали воеводу Мещеринова эти два старца—забрали себѣ въ голову смѣлую мысль: пойти по стопамъ приснопамятныхъ иноковъ Пересвѣта и Ослябя, и такъ или иначе добыть новаго Мамаю. Для этого они ночью вышли изъ монастыря и никѣмъ не замѣченные добрались до стрѣльческаго стана. Стрѣльцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спира подползли къ палаткѣ воеводы, и только было хотѣли войти подъ пологъ ея, какъ проснулася спавшая у самаго входа въ палатку воеводская собака, залаяла на ночныхъ посѣтителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью старцы, хотя тутъ же разрубили бердышомъ черепъ собаки, но, услыхавъ тревогу во всемъ лагерѣ, должны были поспѣшить назадъ въ монастырь. Изъ воеводской палатки раздался выстрѣлъ, и Зосима,

вскрикнувъ и схватившись за бокъ, былъ подхваченъ сильными руками юродиваго.

Зосима находился между жизнью и смертью. „Безребрая“, какъ выражался Исачко сотникъ, уже махала косою надъ головой раненаго, только Спира „ей, шельмъ, тертаго хрѣну подносила“ и она бѣгала отъ божьяго человека, какъ чортъ отъ ладону.

Окна въ кельѣ открыты, чтобы легче было дышать больному. Откуда-то, должно быть съ монастырской стѣны, доносится полупьяное напѣванье:

Ахъ ты шапка, ты шапка моя,
Одново сукна съ онучею...

Это Исачко, отъ скуки подвыпившій, сидѣлъ на затинной пищали, глядѣлъ на море и мурлыкалъ свою любимую пѣсенку „про шапку“: ратнымъ людямъ позволялось выпивать виѣ монастырскаго устава объ „утѣшеніи“.

„Ти-ти-викъ! ти-и-викъ!“ прописнула ласточка.

Спира, сидѣвшій около раненаго въ глубокой задумчивости, поднималъ свою косматую голову. Ласточка, влетѣвшая въ окно, сѣла на засохшіе прутья освященной „вербы“, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазами.

Раненый открылъ глаза и блуждалъ ими по потолку.

„Ти-и-викъ!—ти-и-викъ!“

— Это ея душенька, какъ бы про себя пробормоталъ раненый.

— Чья?—спросилъ Спира тихо.

— Ёйная... она за моей прилетѣла...

Спира перекрестился. Снова тихо въ кельѣ. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленькомъ аналоѣ, рядомъ съ евангеліемъ, распятіе. Тамъ же лежалъ и знакомый намъ черепъ.

— Кровь... все кровь... лужи крови... и на травѣ кровь... на кустахъ... Солнышко встало — и оно кровавое... А она разметалась... лежитъ... а головы нѣтъ... Гдѣ голова? Кто ее унесъ?.. Онъ самъ унесъ... Господи помилуй!

Это раненый—не то бредитъ, не то вспоминаетъ что-то. Вздогнувъ юродивый, слушая эти непонятныя слова, глянулъ на черепъ: и на немъ играли косые лучи солнца.

Ласточка снялась съ вербовыхъ прутьевъ, покружилась по кельѣ и съ пискомъ выпорхнула за окно. Раненый открылъ глаза.

— Это къ моей смерти,—сказалъ онъ и поглядѣлъ на юродиваго осмысленными глазами.

— Въ животъ и смерти Богъ воленъ, отвѣчалъ послѣдній.

— Нѣтъ, мой конецъ пришелъ... „конецъ приближается“... Будетъ—пожито... гораздо пожито...

Раненый перекрестился и снова взглянулъ на юродиваго.

— Не хочешь ли испить?—спросилъ послѣдній.

— Хотѣлъ бы...

Юродивый поднялся, чтобы подать кружку съ питьемъ.

— Нѣтъ, не того, — отрицательно покачалъ головою больной.

— Чего же тебѣ?

— Крови бы пречистой...

Юродивый посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ: — не бредить ли-де? — Нѣтъ, не бредить: глаза глядѣть разумно, жаръ прошелъ.

— Христовой бы кровушки передъ смертью, — пояснилъ больной.

— Причаститься захотѣлъ?

— Да, душа алчетъ и жаждетъ... Исповѣдай меня, брате святой.

Юродивый задумался. Онъ вспомнилъ слова архимандрита, когда изгнали изъ монастыря Геронтія съ попами: „будемъ другъ у дружки исповѣдываться, передъ лицомъ Господа, какъ крины сельніи исповѣдуются“...

— Добре, брате, — кайся Господу, — сказалъ онъ и всталъ.

Затѣмъ, вставъ передъ аналоемъ на колѣни, онъ началъ читать предисповѣдную молитву. Больной тихо повторялъ за нимъ. „Се ми одръ предлежитъ... се ми смерть предстоитъ... суда Твоего боюсь“, слышались молитвенныя слова, которыя иногда перебивалъ доносившійся со стѣны монотонный напѣвъ:

Ахъ ты шапка, ты шапка моя...

— Великій грѣхъ у меня давно лежитъ на душѣ, тяжкій грѣхъ! охъ, какой тяжкій! — началъ больной, послѣ молитвы. — Сорокъ лѣтъ, словно жерновъ на шеѣ, волоку я этотъ грѣхъ — и доволоку до могилы. Ни днемъ, ни ночью, ни во пиру, ни въ бесѣдѣ, ни за чѣтьемъ-пѣтьемъ церковнымъ, ни за келейною молитвою не отваливался отъ моего сердца этотъ горючъ алатырь камень... Вотъ такъ и стоитъ она передо мною, кровавая, и шепчетъ: „за что погубилъ меня? Куда ты дѣлалъ мою голову?“ Охъ, тяжело! смертушка моя, какъ тяжело!

Онъ помолчалъ, какъ бы собираясь съ силами. Юродивый тоже молчалъ, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окномъ, какъ будто сился одна другую переговорить, словно бы у нихъ шла рѣчь о предметахъ такой важности, какъ сугубая аллилуія.

— Былъ я княжово роду, воеводичъ сынъ-княжичъ и воеводичъ, — продолжалъ больной, тяжело вздохнувъ. — Росъ я въ холѣ и волѣ, не вѣдалъ сызмальства ни судержу, ни суперечины: былъ батюшковымъ любимымъ сыномъ, а у матушки — мизинчикомъ. Такимъ и выросъ, такимъ и до окаянства дошелъ. Изъ воеводича и княжово сына я самъ сталъ воеводою и княземъ: лѣтъ сорокъ тому будетъ, какъ я воеводою назначенъ былъ. Посланъ я былъ въ тѣ поры на воеводство въ Муромъ...

— Въ Муромъ? — изумленно перебилъ его юродивый.

— Въ Муромъ... И спознался я въ тѣ поры съ нѣкою женою благородною. Мужъ ея числился въ моемъ полку, да только все обрѣтался въ нѣтяхъ. И какъ спознался я съ тою женою, и нача мя искушати бѣсъ — нагналъ на меня слѣпоту и окаянство лѣпоты ради женки той: „убей, —

говорить,—мужа и возьми себѣ жену“. День и ночь въ бдѣніи и тонцѣхъ снѣ не отходилъ отъ меня бѣсъ: „изведи да изведи мужа того“.

— Мужъ тотъ былъ изъ роду Хилковыхъ?—спросилъ юродивый глухимъ голосомъ.

Больной испуганно приподнялся на своемъ ложѣ и также испуганно глядѣлъ на юродиваго.

— Ты почему знаешь, что онъ былъ Хилковъ? — спросилъ онъ, въ свою очередь.

— Знаю,—былъ короткій отвѣтъ.—Кайся далѣ...

Голова больного снова опустилась на изголовье и онъ глубоко вздохнулъ.

— Вижу, что тебѣ Богъ все открылъ,—продолжалъ онъ болѣе покойнымъ голосомъ: — и мое покаянiе дойдетъ до Бога съ твоими молитвами, человѣче святыи.

— Не говори этого,—строго перебилъ юродивый:—я—сосудъ сатанинъ, и грѣхамъ моимъ вѣсть числа.

— Инъ будь по твоему,—больной снова тяжело вздохнулъ и продолжалъ:—Обошелъ меня бѣсъ, распалилась плоть моя окаянная, и я положилъ въ душѣ извести того человѣка.

— Спиридона Иванова, сына Хилкова, мужа Настенькина,—подсказалъ юродивый.

— Ты и ее знаешь?—вздрогнулъ больной.

— Зналъ... Ну?

— Ну, и пришелъ я къ ней снова ночнымъ временемъ, и утаились мы съ нею въ саду, и сталъ я ее къ своему злому умыслу приводить, чтобъ Спиридона извести... И вдругъ, словно архангелъ мечемъ поразилъ меня... Дальше я ничего не помню: опаматовался уже я утромъ, когда солнышко взошло, и увидѣлъ около себя ее...

— Настасью Хилкову?

— Настасью... увидѣлъ ее на травѣ, мертвую, а голова у нея отъ туловища отрѣзана, и гдѣ дѣвалась—невѣдомо...

— Вотъ она!—неожиданно сказалъ юродивый и поднесъ къ больному черепъ.—Смотри! узнаешь?

Больной глядѣлъ испуганно, ничего не понимая. Онъ посмотрѣлъ въ глаза юродиваго: въ ихъ теплилось что-то кроткое и тоскливое.

— Это она—Настенька — моя жена, а твоя бывшая любовница... Поцѣлуй ее теперь, какъ въ тѣ поры цѣловалъ, князь Захаръ, князь Остафьевъ, сынъ Мышецкой,—это говорилъ юродивый, поднося къ губамъ больного страшный костякъ.

На лицѣ больного изобразился ужасъ. Челюсти его дрожали. Дрожали и волосы, прилипшіе къ потнымъ вискамъ.

— Кто жъ ты самъ?—шепотомъ спросилъ онъ, отворачивая лицо отъ отвратительнаго костяка.

— Я... Спиридонъ Ивановъ, сынъ Хилковъ, боярской сынъ и воровской атаманъ, а нынѣ соловецкой трудникъ.

Больной застоналъ и лишился сознанія, а юродивый, ставъ на ко-
лѣни передъ аналоемъ, шепталъ:

— Господи! прости ему—не вѣрни ему во грѣхъ...

А со стѣны доносилось безсвязное пѣніе:

Одново сукна съ онучею...

Ласточка опять влетѣла въ окно, сѣла на сухихъ прутьяхъ вербы и
весело пропискудала... Должно быть къ покойнику...

XIII.

Роковыя качели.

Къ западной сторонѣ монастырской ограды, за поварнею, на второмъ
дворѣ, гдѣ находились сушилы, поставлены новенькія качели. Соорудилъ
ихъ все тотъ же великій художъ, городничій старецъ Протасій, для общей
любимицы Оленушки. Скучать стала Оленушка въ монастырскихъ стѣнахъ,
въ этомъ нескончаемомъ осадномъ сидѣньи, такъ заскучала, что даже съ
лица спадать стала, алый румянецъ со щекъ, словно заря съ зим-
няго студенаго неба, сбѣгать началъ, и стала она то на молитвѣ въ
церкви задумываться, то по цѣлымъ часамъ сидѣла на заѣвалинкѣ у
своей кельи, глядя невѣдома куда, то замѣчали старцы, что у нея будто
глаза заплаканные, и смѣхъ не такъ звонокъ. И стало жаль стар-
цамъ своей „дѣвыньки мизиньчика“, своего монастырскаго „серебря-
наго колокольца“, что звонилъ своимъ серебрянымъ голоскомъ среди
угрюмой скитской тишины, и надумали старцы устроить для своей люби-
мицы забивочку—качельцы въ оградѣ поставить. Хотя бы оно и зазорно
монастырю такую затѣйку затѣвать—качели ставить въ стѣнахъ святой
обители да еще и въ осадномъ сидѣньи, только, вѣдь, не для братіи была
эта затѣйка—для отроковицы невинной. „Она-деи, отроковица предъ Бо-
гомъ свѣтла и чиста, аки свѣчечка восковая предъ образомъ,— гово-
рилъ старецъ Протасій:—такъ пушай-деи качается душенька отрочате на
качельцахъ, что кадилицо предъ Господомъ: не возбраняйте-деи симъ
ничто же—сихъ бо есть царствіе Божіе“... Старецъ Протасій любилъ по-
говорить отъ писанія, хотя и зналъ всего-то писанія отъ „малъ бѣдъ“
да до „лядвія моя наполнишася поруганія“, а на „словотитлахъ“ всегда
спотыкался...

Вотъ и соорудилъ старецъ Протасій для Оленушки качельцы, да такія ли
знатныя да пестротою измечтанныя: по бѣлому столбу да полоса синяя, да
полоска красна, да опоясочка лазорева, а тамъ опять синяя да лазоревая,
а далѣ зеленца подпущено, да алые зубья, да киноварь, ажно глаза ро-
гомъ лѣзутъ, какъ долго поглядишь на эту пестринку наглостную. А ве-
рвочки старецъ приладилъ аховыя—пенька новгородская первый сортъ; а
чтобъ ручки Оленушка не потеряла объ новгородскую пеньку, старецъ Про-

...она не пожатъ своей старой бархатной скуфейки—изрѣзалъ скуфейку и дошилъ ею тѣ мѣста веревки за которыя должны были держаться нѣжныя Оленушкины ладонки. И сидѣнье вытесалъ старецъ гладкое, дубовое, изъ той доски, что на гробъ себѣ смиренный Протасій припасъ, да излишекъ остался—испостился и высохъ такъ старецъ, что гробъ надо было передѣлать въ узенькій гробишко, а отъ крышки гробовой можно было отпилить лишки на Оленушкины качельцы. Зато и рада была Оленушка: такъ и повисла на сухой шеѣ добренькаго дѣдиньки Протасьюшки и такъ расцѣловала его блѣдную лысину, что инда краска на ней выступила... „То-то молодешенько—глупешенько“, шепталъ старецъ, смахивая шальную слезу съ рѣсницы и вспоминая что-то очень далекое и очень милое, подернутое сѣрою пеленою времени. А на верху качелецъ старецъ Протасій крестецъ малый водрузилъ изъ древа кипарисоваго, да крестецъ истовый, осьмиконечный: „оно дѣло-то прочтѣе живетъ, коли оно побожески строено, коли его крестецъ святой осѣняетъ! Такъ-ту дѣвынька...“

И вотъ теперь „дѣвынька“, окрашиваемая косыми лучами заходящаго солнца, качается на своихъ пестрыхъ качельцахъ, словно русалка на гибкихъ вѣтвяхъ плакучей ивы. Оленушка качается тихо, сидя на дубовомъ сидѣньѣ и слегка придерживаясь руками за веревки. Плавно скользить длинная дѣнь ея по зеленой муравѣ монастырскаго двора, перекидываясь съ травы на бѣлую стѣну поварни. Также плавно вмѣстѣ съ Оленушкой двигается, раздуваясь въ воздухѣ, подолъ ея голубого сарафаника, изъ-подъ котораго выглядываютъ бѣлые чулочки и малиновые юфтовые, казанскаго шитья, черевички. Вслѣдъ за нею рѣбѣтъ въ воздухѣ своими двумя концами алая ярославская лента, вплетенная въ русую косу. Оленушка качается какъ бы машинально, потому что лучистые глаза ея то безмолвно и задумчиво глядятъ невѣдомо куда, то также задумчиво опускаются внизъ...

А внизу, на травѣ, опершись спиною о столбъ качельный, сидитъ молоденькій служка Иринеюшка, тотъ самый, что на святкахъ плясалъ въ поварнѣ за бабу, и плететъ корзину изъ сухихъ морскихъ водорослей. Черная скуфейка его брошена на траву, а черные, какъ вороново крыло, густые и длинные волосы, спадая на спину и плечи, заставляютъ думать, что это сидитъ дѣвочка съ распущенною косою. Онъ повременамъ поднимаетъ свои черные, съ большими бѣлками, ласковые глаза на качающуюся дѣвушку, и снова опускаетъ ихъ на работу.

— И тебѣ кручинно здѣсь въ монастырѣ?—спросила дѣвушка, повиному продолжая начатый разговоръ и не глядя на своего собесѣдника.

— Такъ кручинно, такъ ужъ кручинно, что хуть въ море, такъ въ пору,—отвѣчалъ послѣдній, не поднимая головы.—Ужъ бы скорѣй стрѣльцы насъ взяли!

— Охъ, что ты!—испуганно прервала его дѣвушка.

— Что!.. Все легче, нечѣмъ такъ-ту.

Оленушка ничего не отвѣчала; она только тяжело и продолжительно

вздохнула. Надъ монастыремъ пролетѣла чайка и словно бы проплакала въ тихомъ воздухѣ.

— Вонъ ей лучше... она птица, а не человѣкъ,—какъ бы про себя проговорилъ Иринеюшка.

— И то правда,—согласилась дѣвушка и снова вздохнула.

Изъ-за огады, должно быть съ берега, ясно доносились слова заунывной пѣсни:

Что кукуетъ кукушечка и день, и ночь,
Ни на малый часъ перемолку нѣтъ...

— Стрѣльцы поютъ... у нихъ весело,—тихо проговорилъ Иринеюшка.

Оленушка не отвѣчала; она вслушивалась въ пѣніе — голосъ такой хорощій, кручинный...

Разорилъ соколъ ея гнѣздышко,
Разогналъ ея малыхъ дѣтушекъ,
Малыхъ дѣтушекъ, кукунятушекъ...

— Эхъ! умереть бы, Господи!

— Что ты! что ты, Иринеюшко!

— Э!.. ноли такъ-ту маяться!

Дѣвушка перестала качаться. Глаза ея упали на черную, низко наклоненную голову молодого послушника.

— Для чего жъ ты пошелъ въ монастырь, коли теперь?.. — спросила было она и не договорила.

— Меня матушка отдала,—грустно отвѣчалъ юноша.

— За что?

— А такъ... за батюшку... Богу посвятила...

Оленушка глядѣла на него съ удивленіемъ: она не понимала того, что говорилъ онъ.

— Богу?.. какъ посвятила?

— По обѣту... обѣтъ такой дала... давно... я тогда былъ еще махонькимъ... Батюшку въ тѣ поры послалъ царь съ ратными людьми на воровскаго атамана, на Стеньку Разина...

— А кто твой батюшка?—спросила Оленушка, заинтересованная словами юноши.

— Боятинскій князь, Юрье Микитичъ.

— Такъ ты княжичъ?—спросила изумленная дѣвушка.

— Былъ княжичъ, а новѣ служба... кошелѣ плету.

Голосъ у юноши дрогнулъ. Задрожали и пальцы, которыми онъ сплеталъ гибкія нити морской травы.

— Ахъ, бѣдненькій! — невольно вырвалось сожалѣніе у Оленушки.— Какъ же это матушка твоя отдала тебя сюда? И не жаль ей было?

— Жаль; да что подѣлаешь? Богу общала: коли-ден Богъ воротитъ батюшку изъ похода жива, такъ отдамъ-ден Богу сына... Ну и отда-

ли... Стенька-то ужъ больно страшенъ былъ... Какъ батюшка ушелъ изъ Казани противъ Стеньки къ Синбирскому городу, такъ мы съ матушкой и всей Казанью и день и ночь Богу молились.

— Что жъ, воротился батюшка?

— Воротился... Стеньку на Москву отвезли и тамъ казнили, а меня вотъ сюда...

Слезы неволью брызнули изъ глазъ юноши и полились на его жалкое плетенье. Онъ припалъ лицомъ къ ладонямъ и плакалъ. Оленушка не могла выносить этого, и, соскользнувъ съ качелей, стала на колѣни около плачущаго юноши...

— Не плачь, Иринеюшко, не плачь, княжичъ,—всхлипывала она сама.

Иринеюшка заплакалъ еще сильнѣе.

— Княжичъ... голубчикъ... не плачь!

И дѣвушка гладила волнистую голову юноши. Тотъ не унимался, а напротивъ, почувствовавъ ласку, услыхавъ участныя слова, уткнулся лицомъ въ колѣни и плакалъ навзрыдь, какъ бы сидясь вылить всю размягченную постороннимъ участіемъ душу. Слезы брызнули и у Оленушки.

— Господи! да что жъ это такое?—всплакалась она, силясь приподнять голову юноши.

Тотъ продолжалъ качать головой, какъ бы отъ нестерпимой боли, и не переставалъ плакать. Оленушка припала къ нему лицомъ и обхватила его.

— Княжичъ мой! родненькой! не надо! не надо, миленькой!—страстно молила она.

Онъ приподнялъ голову, не отнимая мокрыхъ пальцемъ отъ лица. Дѣвушка обвила руками вокругъ его шеи, прижалась лицомъ къ его лицу и въ забытій шептала, цѣлуя его руки и щеки: „милый! дорогой! братецъ мой!“ Она не замѣтила въ этомъ страстномъ порывѣ жалости, какъ его руки отнялись отъ лица и обвились вокругъ дѣвушки, а горячія губы безсознательно соединились... „Сестрица!-Оля моя! ягодка!“—„Братецъ мой! княжиченька!“—и губы снова сливались, слова замирали...

— Ну, вотъ!—какъ бы опомнилась Оленушка, вся красная:—вотъ теперь ты не плачешь!.. Ахъ, какъ я рада!.. Знаешь что?

Иринеюшка смотрѣлъ на нее молча и, казалось, ничего не понималъ.

— Знаешь что?—торопливо, радостно захлебываясь, говорила Оленушка:—когда ты будешь совсѣмъ большой... Который тебѣ годъ теперь?—спросила она, перебивая себя.

— Шестнадцатый,—машинально отвѣчалъ Иринеюшка.

— А мнѣ ужъ семнадцать—я старше... Такъ вотъ, какъ ты вырастешь совсѣмъ большой, такъ тогда возьми и уйди изъ монастыря... Да, уйдешь?

Иринеюшка молча покачалъ головой.

— Отчего жъ?... а?

— Нельзя... Монастырь—что гробъ.

— Ну, вотъ еще!.. А то княжичъ, княжой сынъ — и кошельки плететь. Ахъ,—и Оленушка звонко и весело расхохоталась. Иринеюшка молча любовался ею. Оленушка вдругъ подошла къ нему и стала играть его шелковыми волосами.

— Ишь, словно у дѣвочки коса... Ахъ, какъ смѣшно!—болтала она.— Дай я тебѣ заплету ее, и свою ленту вплету въ косу, вотъ и будешь княжна, княженецка дочь.—Ахъ!

И она повернула его за плечи и стала плести ему косу. Иринеюшка невольно повиновался шалунѣ, находясь подъ какимъ-то сладкимъ обаяніемъ, прежде имъ неиспытаннымъ никогда. Черная коса была въ мигъ заплетена.

— Вотъ такъ-ту... Уу какая большая коса-косынька!.. А теперь ленту надоть,—и она выплела алую ярославскую ленту изъ своей косы и вплела ее въ косу Иринеюшкѣ.

— Ахъ, какъ хорошо!—она повернула его къ себѣ лицомъ. — Ахъ, какая хорошенькая дѣвочка! ахъ, княженецка дочь!

Иринеюшка не шевелился—онъ стоялъ какъ очарованный.

— Ну, что жъ ты молчишь, царевна Несмѣяна?—приставала къ нему Оленушка.—Ну, покачай меня!—И она, взявъ его за плечи, подвела къ качелямъ?

— На—держи, а я сяду.

Усѣвшись на дубовое сидѣнье и ухватившись руками за веревки, она вдругъ зачистила тоненькимъ голоскомъ:

Охъ и токъ-точкѣ,
На баранъ клочкѣ,
Ужъ и дайте лучкѣ—
Перебить клочкѣ
На полсточки,
На подметочки...

И вдругъ весело засмѣялась.

— Качай же! ну! княженецка дочь, ну, живо!

Иринеюшка повиновался: онъ качнулъ ее разъ, два, въ третій сильнѣе—и отошелъ въ сторону... Оленушка взвилась, весело сверкая глазами...

— Ай да дѣдушка Протасьюшка! ай да миленькой!.. Еще... еще... шибче поддай!

Въ это время изъ-за сушиль показалась черная скуфейка и острая сѣдая борода старца Протасія. При видѣ смѣющагося личика Оленушки, старые, запавшіе, но все еще плутоватыя глазки старца блеснули доброю, и онъ, не желая испугать ребятъ и помѣшать ихъ забавѣ, снова юркнулъ за сушилы.

— Еще... еще, миленькой княжичъ!—настаивала Оленушка.

Иринеюшка снова поддалъ. Размахъ дѣлался все шире и шире. Оленушка взлетала до самой перекладины. Въ воздухѣ раздувался подолъ ея сарафана да мелькали малиновые черевички да бѣлыя икорки въ чулочкахъ.

— Душечка! еще выше! я хочу, чтобъ голова закружилась!—умоляла она.

Иринеюшка, весь пунцовый отъ натуги, со всего размаху толкаетъ летающую мимо него доску, и Оленушка взвивалась все выше и выше.

— Охъ, хорошо! ахъ, какъ хорошо! еще!

— Будетъ—страшно...

— Нѣтъ еще!... Сердце замираетъ...

— Упадешь, убьешься...

— Охъ, я словно въ раю... голова кружится... охъ... охъ... падаю,—она была блѣдна...

Иринеюшка схватился за доску, но она увлекла его—и онъ упалъ на землю. Сила размаху однако ослабѣла. Иринеюшка вскочилъ съ земли и снова ухватился за доску. На этотъ разъ онъ остановилъ ее, и только хотѣлъ помочь Оленушкѣ встать, какъ она безъ чувствъ упала ему на грудь. Онъ обхватилъ ее и вмѣстѣ съ нею опустился наземь... Голова ея упала къ нему на плечо...

— Оленушка! что съ тобой? милая!

Она не отвѣчала. Юноша подвѣлъ ее голову и, увидавъ закрытые глаза дѣвушки, безсознательно припалъ губами къ ея холоднымъ губамъ...

— Душечка! Оленушка! Охъ, Господи! она умерла!—съ ужасомъ вскричалъ онъ, опуская на траву тѣло дѣвушки.

— Кто умеръ!.. Ахъ!—раздался сзади чей-то испуганный голосъ.

Иринеюшка вздрогнулъ—передъ нимъ стоялъ Спирия юродивый, блѣдный, испуганный.

— Что это? это ты ее?—вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ.—Что ты съ нею сдѣлалъ?

— Это не я... нѣтъ—убей меня Богъ—не я... она сама... она высоко качалась...

— Упала? убилась?

— Нѣтъ... сомнѣла...

Юноша приблизилъ свое лицо къ самому лицу дѣвушки, ломая руки.

— Оленушка! Оленушка!

— Ты убилъ ее окаянный,—хрипло проговорилъ юродивый, становясь на колѣни.—Ты убилъ ее!

— Нѣту—нѣтъ... я сама...

Это Оленушка: она открыла глаза и, встрѣтивъ взглядъ наклонившагося къ ней Иринеюшки, обвила руками вокругъ его шеи...

— Это не ты... не ты... я сама... Мнѣ ничего... милый мой! княжить!

Приподнявшись немного, она увидала юродиваго.

— Дѣдушка! миленькой! не сердись—я не убилась... Онъ... онъ ничевошечки не виноватъ...

Юродивый быстро перекрестилъ ее, но, увидавъ ленту въ косяхъ у Иринеюшки, невольно улыбнулся и покачалъ головой.

— Ахъ, вы дурачки мои, дурачки—и сердиться-ту на васъ нельзя... какъ есть дѣти,—пробормоталъ онъ и махнулъ рукой.

Между тѣмъ изъ окна повари за всѣмъ этимъ давно наблюдали два черныхъ, блестящихъ глаза. Лицо наблюдавшаго подергивалось злорадною улыбкой, а красныя мясистыя губы шептали:— „а! умѣешь цѣловаться... да еще какъ—въ засосъ!—Ишь, смирена, недотрога!.. А тутъ, чу, „миленькой, душечка, братецъ“—то-то!.. Ужъ живъ не буду, а доставу тебя, кралю: будешь моя...“

XIV.

„А все изъ-за пучеглазой“.

Инокъ Теокисть, или попросту чернецъ Θεκλίσκα, давно былъ одержимъ бѣсомъ Фармагеемъ, какъ выражался архимандритъ Никаноръ. Бѣсъ этотъ не давалъ ему покоя, постоянно развертывая передъ его мысленными очами соблазнительныя картины то во образѣ толстотѣлыхъ бабъ-кемлянокъ, то во образѣ самой Вавилкиной попадейки, тоже бабы сдобной какъ папушникъ, то наконецъ въ видѣ бѣленькой и пухленькой Оленушки, что цыпочкой сѣменила ножками въ малиновыхъ черевичкахъ по самой, кажись, по душѣ Θεκλίσкиной. И прежде Оленушкинъ образъ не давалъ ни спать, ни молиться Θεκλίσкѣ: такъ и стояла она у него поперекъ сердца чернецаго. Но еще, когда можно было вырваться изъ скучной обители въ Кемской, Θεκλίσкино горѣ было спологоря: заберется бывало удалой горюнь черноризецъ въ посадъ на государево кружало, махонетъ свою распостылую скуфеюшку подъ лавочку, трехацетъ своими „чесвыми власами“, миганетъ своими буркалами безстыжными бабѣ прелестницѣ, подпопрется фертомъ въ боки и, чувствуя въ себѣ „крилъ яко голубинъ“ и „юность яко орлю“, саданетъ по кружалу съ приговоромъ, „по складамъ“:

Буки-азъ-ба,
Вѣди-азъ-ва,
Глаголь-азъ-га,
Добро-азъ-да!—

такъ кемляне только ахають, а бѣсъ Фармагей, во образѣ цѣловальника, облизывается отъ удовольствія. Когда же настало сплошное сидѣнье, когда осада обложила монастырь на лѣто и на зиму, и когда не только въ Кемской, гдѣ бабыимъ духомъ пахнетъ, но и за ворота нельзя было показать носа, чтобъ не наткнуться на проклятыхъ „агарянъ“—стрѣльцовъ,—Θεκλίσка почувствовалъ себя окончательно въ „сѣни смертней“ и въ „юдоли плача“, и сталъ „яко левъ рыкаяй, искій кого поглотити“—конечно, бабѣ.

И вотъ тутъ-то бѣсъ Фармагей указалъ ему на Оленушку. Θεκλίσъ и самъ давно на нее зарился. Еще какъ только появилась она въ монастырѣ, вмѣстѣ съ матерью и въ сопровожденіи аслицкой нѣмки Амалѣи Личардовны Прострѣловой и галанскаго нѣмца Каролуса Каролусовича, Θεκλίσъ уже началъ подходцы дѣлать къ свѣтлоглазой отроковицѣ; но отроковица, повидимому, не понимала его, не видѣла какъ онъ „мрежи за-

пускалъ“, а старая Неупоконха очень хорошо видѣла, куда гнѣтъ черно-ризецъ, и держала ухо востро. Притомъ же самому Феоклисту казалось, что Оленушка слишкомъ еще глуха и не знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Но когда онъ изъ поварни увидалъ, какъ она съ Иринеюшкой сама раковъ ловила подъ качелями, то рѣшилъ во что бы то ни стало добиться своего. Но какъ добиться? Онъ объ этомъ долго думалъ - раскидывалъ и такъ и сякъ, пока не дошелъ до новаго рѣшенія и самаго, казалось, вѣрнаго.

Рѣшеніе это стоило гибели монастырю...

Какъ нѣкогда Троя погибла ради прекрасной Елены, такъ и „Соловецкому сидѣнью“ приготовила трагическій конецъ, сама того не вѣдая, Оленушка... Женская красота—великая сила: она міромъ править...

Все лѣто 1675 года стрѣльцы не уходили изъ-подъ стѣнъ монастыря, но и монастыря не брали: видно было по всему, что у нихъ „рука не подымалась на своихъ“, что стрѣлять въ людей, и особенно въ мирныхъ и богомольныхъ старичковъ за то только, что они крестятся истово, по старинѣ, по московски, какъ крестились и сами стрѣльцы и ихъ жены—стрѣлять въ такихъ людей казалось совсѣмъ богопротивнымъ дѣломъ, и всякій разъ, когда воевода велъ ихъ на приступъ, стрѣльцы морщились, или лѣниво почесывали затылки. Мещериновъ видѣлъ это, видѣлъ бесполезность лѣтнихъ осадъ и пошелъ на хитрость... „Ну, —думалъ онъ, — я вамъ, бабынымъ сынамъ, покажу Кузькину мать: я васъ доведу не мытьемъ, такъ катаньемъ. Теперь вамъ тепло, вольготно на солнышкѣ порты да онучи сушить да съ кемлянками вожжаться, а какъ придетъ зима—не въ ту дуду задудите; теперичушки ужъ не поведу васъ въ Сумской зимовать, на печи животы парить—зимуй здѣсятка... Захотите, ѣшь васъ мухи, погрѣться въ монастырѣ—тады и на воропъ пойдете“...

И дѣйствительно, пришла осень, наступили холода, пошли заморозки, сиверко такъ по ночамъ, что кочи стали примерзать къ берегамъ, а воевода не ведетъ стрѣльцовъ въ Сумской: сычъ сычомъ сидитъ въ своей палаткѣ изъ кошомъ да еще и печку себѣ чугунную измыслилъ.

— Ишь чортова ладоница!—ворчалъ Кирша полуголова:—ему тепло, дуй его горой съ полугорьемъ, а каково намъ! Онучи къ подошвамъ примерзають.

— Ну, инъ въ монастырь грѣться,—намекалъ Чортоусъ.

— И впрямь, братцы: съ голоду да съ холоду и Ивана Великаго запалить такъ въ пору,—подтверждали стрѣльцы.

На эту безысходность положенія и рассчитывалъ хитрый воевода. Онъ зналъ, что зимой, въ суровые холода, когда птицы на лету замерзають, а дыханье превращается въ иней, стрѣльцы волей-неволей захотятъ погрѣться въ монастырѣ.

Передъ никольскими морозами воевода объявилъ стрѣльцамъ, что онъ въ послѣдній разъ хочетъ вести ихъ на воропъ.

— Такъ ли, сякъ ли, ребятушки, а погрѣться надоть, — пояснилъ

онъ коварно:—а въ монастырѣ, у старыхъ чертей, у-у кака теплынь по-запечью!

Стрѣльцы принялись дѣлать подкопы въ мерзлой землѣ. Приходилось работать больше топорами да пешнями. До седьмого поту работали стрѣльцы и кляли воеводу.

— Эхъ, воръ-собака! чтобъ ему эдакъ-ту могилу себѣ копать.

— Ни дна-бъ ему, ни покрышки!

— Безъ попа-бъ ему—безъ ладону, безъ свѣчей—безъ савану!

Особенно шибко захотѣлось стрѣльцамъ попасть въ монастырь, когда подступили рождественскія святки. Шутка ли—святки на морскомъ берегу, на снѣгу, да подъ мятелями! Да это собачьи святки—хуже! И собакъ хозяинъ въ праздникъ кость выбрасываетъ, и помои для нея въ праздникъ—праздничныя. А тутъ на! мерзни на снѣгу весь день, глядучи на постылое море, а ночью считай сполохи. Да эдакъ съ тоски да съ кручины по-вѣситься можно.

За день до праздниковъ стрѣльцы не вытерпѣли и приступили къ воеводѣ:

— Веди насъ, отецъ родной, на воропъ, а то помремъ наглою смертью!—взывалъ Кирша.

— Веди хоть на чорта—все едино помирать,—раздавались другіе голоса.

— И впрямь подыхать пришло, братцы!

— На воропъ! къ бѣсу ихъ, долгогривыхъ! Чего глядѣть!

И стрѣльцы пошли на приступъ. Это было 23 декабря. Утро выдалось ясное, не особенно морозное. Обледенѣлыя стѣны, башни и зубцы на нихъ сверкали самоцвѣтными камнями. Изъ-за стѣнъ въ разныхъ мѣстахъ видся неровными клубами дымокъ къ голубому небу. Голуби, испугнутые передъ этимъ съ колоколенъ благовѣстомъ къ утреннему стоянію, дѣлали въ воздухѣ послѣдніе круги и снова опускались на карнизы церквей и колоколенъ. Едва лишь солнце, выткнувшееся однимъ багровымъ крайкомъ изъ-за горизонта, позолотило кресты на монастырскихъ церквахъ, какъ стрѣльцы уже почти вскарабкались на стѣны по лѣстницамъ, приставленнымъ ночью, подъ покровомъ мрака, когда въ монастырѣ этого, казалось, ни одна душа не подозрѣвала. Вотъ-вотъ стрѣльцы взберутся на стѣны... Еще нѣсколько усилій—и они тамъ...

— Но - но - но, лошадка! — раздался вдругъ голосъ надъ головами стрѣльцовъ.

Всѣ вздрогнули испуганно и подняли головы. На стѣнѣ, у самого края, юродивый, босикомъ и безъ шапки, скакалъ верхомъ на палочкѣ, подстегивая себя кнутикомъ.

— Но-но-но, воеводская лошадка!—опять крикнулъ юродивый и остановился.

Невольно остановились и верхніе изъ стрѣльцовъ. Ими овладѣлъ суетвѣрный страхъ.

— Что, братцы, озябли? Штець горяченькихъ захотѣли? — снова окрикнулъ ихъ юродивый.

— На воронъ, ребяташки, на стѣну!—неистово раздался снизу голосъ воеводы.—Что стали, черти! Вотъ я тебя куролесова!

И воевода выстрѣдилъ изъ ружья въ юродиваго. Ружье повысило, и пуля угодила въ бѣлаго голубя, тихо опускавшагося на карнизъ соборной колокольни. Голубь опрокинулся въ воздухъ и комомъ слетѣлъ на переконную крышу, гдѣ и застрѣлъ въ снѣгу.

— Ахъ, окаанный! турмана ушибъ!—послышался со стѣны отчаянный голосъ.

То былъ голосъ Исачка сотника. Убитый воеводою голубь, былъ его любимецъ—турманъ въ штандахъ.

— Впередъ, стрѣльцы-голубчики! Громи стѣны, дьяволы! — неистово вопилъ воевода у стѣны, поднимая руки къ небу.

— Разъ-два-три! — раздался окрикъ Исачка. — Катай, ребята, кипяткомъ!

— Во имя Отца и Сына—ксти еретиковъ водою и духомъ!—кричалъ юродивый.

На стѣнахъ словно выросли черныя фигуры старцевъ и ратныхъ людей. Въ рукахъ ихъ дымились паромъ ушаты и ведра съ кипяткомъ.

— Лей разомъ! въ очи лей!

— Плюнь на нихъ, Господи, слюною Твоею, ею же горы огнемъ дышутъ! — крикнулъ Никаноръ, показываясь на стѣнѣ съ крестомъ въ рукахъ.—Плюнь, Господи, слюною Твоею огненною!

И Господь плюнулъ... Со стѣнъ полились, клубясь и дымя, рѣки кипятку...

— Ай! ай!.. О! Господи!.. огонь! смерти! — раздавались отчаянные вопли стрѣльцовъ.

Поливаемые кипяткомъ, они стремглавъ падали съ лѣстницъ, увлекая другъ дружку. Крики были ужасные. Воевода метался какъ безумный, безъ шапки и рвалъ на себѣ волосы.

Стрѣльцы бѣжали поголовно, покинувъ осадныя лѣстницы и бросая оружіе. Иные бросались въ снѣгъ лицомъ, стараясь утолить боль ошпаренныхъ кипяткомъ носовъ, щекъ, лбовъ, рукъ, другіе хватали комья снѣгу и терли имъ обожженные лица.

А Исачко, стоя на стѣнѣ, хватался за животъ и хохоталъ какъ безумный.

— Охъ, умру! охъ, батюшки, лопну!

Смѣхъ Исачки заразилъ всю черную братію. Смѣялись до слезъ. Даже старый Никаноръ не то смѣялся, не то плакалъ истерически.

— Улю-лю-лю! улю-лю-лю! улепетывай, заячье московское!—раздавались голоса со стѣны.

— Похлебали штецъ монастырскихъ—будутъ помнить.

— Ай да Спира!—а все онъ придумалъ, божій человекъ.

— Шапокъ-ту что пометали, братцы,—страхъ!

Дѣйствительно, внизу, на снѣгу чернѣлось нѣсколько стрѣлецкихъ шапокъ, обретенныхъ при паденіи и въ послѣднемъ бѣгствѣ.

Торжество братіи было полное. Это уже чуть ли не третью, или четвертую грозу Богъ пронесъ мимо монастыря, щадя своихъ богомольцевъ. Пострадалъ за всѣхъ одинъ невинный голубокъ, утѣха братіи. Но въ общей радости объ немъ забыли, и даже Исачко вспомнилъ о своемъ любимцѣ, когда бѣдный турманокъ совсѣмъ закоченѣлъ, лежа на крышѣ кверху окровавленнымъ брюшкомъ и вытянувъ свои красныя ножки, а около него сидѣла ворона и чего-то зловѣще выжидала...

Одинъ Феклисъ чернецъ не принималъ участія въ общей радости. Онъ стоялъ на стѣнѣ, хмурый и блѣдный, прислонясь къ башнѣ, и прислушивался къ голосамъ, тихо разговаривавшимъ у самой стѣны, подъ башнею.

— Что жъ, и отбили?—спрашивалъ женскій голосокъ, рѣзавшій, казалось, чернеца Феклиса по сердцу.

— Отбили... кипяткомъ отлили,—отвѣчалъ юношескій, тоже знакомый Феклису голосъ.

— Ахъ, слава Богу!

— Ну, ужъ... лучше бъ они осилили.

— Кто они?

— Стрѣльцы, знамо.

— Охъ! чтой-то ты, Иринеюшко! Страхъ какой! Упаси Богъ!

— Настъ бы не обидѣли... Зато ворота настѣжъ — вылетай изъ темной темницы...

— Охъ! чтой-то ты!

— Дѣло говорю... Мы бъ съ тобой—знаешь что?

— А что? Говори—не томи!

— Вольныя пташки... Ты—въ Архангельской, а я...

Голосъ смолкъ. Феклисъ напряженно прислушивался.

— А ты?—послышался робкій вопросъ, съ дрожью въ голосѣ.

— Я — на Донѣ... Тамъ вольная жизнь... Казаки сказывали — тамъ всѣмъ бѣгунамъ рады.

— Ахъ, Господи! какъ же такъ? Для чего на Донѣ? — Въ голосѣ вопрошающей слышались слезы.

— Куда жъ мнѣ? Мнѣ къ родной сторонѣ путь заказанъ: я, чу, отпѣтъ заживо.

— Ахъ, Боже мой! Что жъ это такое!

— Такъ, Оленушка... Ужъ такъ, чу, мнѣ на роду написано—мертвой печатью припечатано...

— Господи! Да ты еще такой молоденькой... ты... Вонъ я...

— Что жъ — не пропаду... А пропаду — все жъ легче, нечѣмъ тутотка изнывать...

— А я-то... княжичъ!..

Больше не было слышно. Казалось только, что кто-то всхлипывалъ...

Феклисъ мрачно сверкнулъ глазами...

— Нонѣ же ночью прокрадусь къ воеводѣ—и будь что будетъ!—прошепталъ онъ и исчезъ въ башнѣ.

— И какъ онъ, Спирия-то, узналъ, что стрѣльцы нонѣ утромъ на воропъ пойдутъ?—слышались голоса черной брата, сходящей со стѣнъ.

— Какъ? Знаю: онъ святой человекъ—въ соніяхъ видить.

— Въ соніяхъ—это точно... А не узнай онъ впередъ въ соніяхъ-ту, что они, еретики, задумали, ну—и капуть бы намъ.

— О-о-охо-хо! и святокъ бы не дождались.

— А онъ, какъ и ни въ чемъ не бывало: вона опять со своими голубями короводится.

Спирия все слышала, разговаривая съ голубями... „Не въ соніяхъ я видѣлъ,—думалъ онъ про себя,—а изъ своей печерочки все выглядѣлъ да подслушалъ... О печерочкѣ-то никто не вѣдаетъ,—Оленушка одна знаетъ, да и то не *все*“.

Спирия жестоко ошибался: тайну юродиваго знала не одна Оленушка; зналъ ее еще кто-то, и зналъ *все*...

— Въ соніяхъ—то-то въ соніяхъ!—шептала и теклись сходя, со стѣны.— И сонія его не помогутъ, какъ я свою-ту струну трону... Ухъ, загудитъ струна! А все изъ-за этой пучеглазой... Эхъ! была-не-была!

XV.

Перебѣжчикъ.

На монастырь спустилась ночь темная, непроглядная. Небо заволокло съ запада мрачною пеленою, и безконечная пелена эта, словно бы разодравшись отъ края до края, стала сыпать на островъ тучи снѣгу. Онъ падалъ на землю тихо, ровно, не кружась мятелью и не завывая вѣтромъ. Тишь стояла мертвая. Весь островъ казался похороненнымъ подъ снѣгомъ.

А между тѣмъ за однимъ изъ уступовъ монастырской стѣны, вдоль береговой покатости, гдѣ весной Оленушка сплетала вѣнокъ изъ сѣро-зеленаго моху, медленно двигалось что-то темное. Эта темная человѣческая фигура какъ бы изъ земли, изъ-подъ снѣгу выросла. За падающимъ снѣгомъ ни лица, ни другихъ очертаній этой тѣни нельзя было разобрать, но видно было, что она подвигалась къ тому мѣсту, гдѣ у небольшой губы, врывавшейся въ островъ, расположенъ былъ стрѣлецкій станъ.

Невдалекѣ отъ стана двигавшаяся по снѣгу и подъ падающимъ снѣгомъ тѣнь приостановилась и видимо къ чему-то прислушивалась...

— Ну, а далѣ-то што?

— Далѣ — знамо што... Ерема въ церковь, а Оома на паперть, Ерема крестится, а Оома кланяется, Ерема въ книгу глядитъ, а Оома ничево не видитъ...

— Ха-ха-ха! Ну? Вотъ дураки! Ну?

— И пришелъ лихой пономарь и учалъ денегъ просить на молебень: Ерема въ мощну, а Оома въ карманъ, у Еремѣ ни пула, а у Оомы ничево...

— Ха-ха-ха! Ну?

— Ну, осерчалъ лихой пономарь: Ерему въ шею, а Өому въ толчки; Ерема въ двери, а Өома въ окно, Ерема въ лѣсъ, а Өома въ соснѣкъ...

— Да это словно бы насъ нонѣ изъ монастыря въ толчки...

Тѣнь снова стала подвигаться на эти голоса. Послышался шорохъ шаговъ по снѣгу.

— Стой! кто идетъ?—послышался окрикъ, и часовые вскочили съ своихъ мѣстъ. — Кто ты?

— Ваше спасенье, добрые люди,—отвѣчала тѣнь.

— Кто ты таковъ? Каковъ человѣкъ?

— Человѣкъ добрый.

— Затѣмъ пришелъ?

— Это я скажу воеводѣ. Ведите меня къ нему.

— Ишь ты! Да ты чернецъ?

— Чернецъ я есть.

— Можеть съ подвохомъ съ какимъ, съ умысломъ?

— Коли бы съ подвохомъ, не пошелъ бы прямо на васъ.

— А песь тебя вѣдаетъ.

— Что пса въ судьи брать! Ведите къ воеводѣ. Чего боитесь? Васъ двое-тка, а я одинъ; у васъ ружья да сабелѣ, а на мнѣ одинъ хрестъ.

— И то правда.

Стрѣльцы повели таинственнаго пришельца дальше — одинъ спереди, другой сзади.

— Да ты не тотъ, что утрешь на палочкѣ ѣздили по заборулу? спросилъ одинъ стрѣлецъ.

— Нѣту — не тотъ.

Подошли къ какой-то землянкѣ, занесенной снѣгомъ. Сбоку, подъ навѣсомъ, чернѣлось что-то въ родѣ норы. Одинъ изъ стрѣльцовъ нагнулся къ норѣ и постучалъ ружьемъ о деревянную подпорку.

— Кто тамъ?—послышался голосъ изъ норы.

— Мы, стрѣльцы съ часовъ.

— За какимъ дѣломъ?

— Языка привели.

— Какого языка?

— Чернеца... Сказываетъ, чтобъ къ воеводѣ вели.

Изъ норы выглянула косматая голова. Это былъ Кирша, полуголова стрѣлецкій.

— Какъ пымали?—спросилъ Кирша.

— Не ловили—самъ пришелъ,—отвѣчали стрѣльцы.

— За какимъ дѣломъ?—обратился Кирша къ чернецу.

— За государевымъ,—былъ отвѣтъ.—Веди меня къ воеводѣ. За мной есть государево слово и дѣло.

Кирша помылся было, взглянулъ на небо и почесалъ въ затылкѣ. Снѣгъ продолжалъ сыпаться, какъ изъ рукава.

— Уж и времячко-жъ выбралъ съ государевымъ словомъ и дѣломъ! досадливо произнесъ Кирша.

— Самое какъ быть время,—отвѣчалъ пришлецъ:—добрый хозяинъ и пса въ такую пору со двора не пустить; а я, какъ видишь, пришелъ, потому: мое дѣло—большое дѣло.

— И то правда, коли не врешь... Да тамъ разберемъ... Постоить тутъ—я мигомъ,—и Кирша юркнулъ въ свою нору.

— Ну и наварилъ же ты варева,—замѣтилъ стрѣлецъ пришельцу.

— Не вамъ расхлебывать только,—отвѣчалъ послѣдній.

Скоро Кирша выползъ изъ норы въ кафтанѣ, въ шапкѣ и при саблѣ.

— Ступайте за мной,—обратился онъ къ чернецу и къ одному изъ стрѣльцовъ.—А ты поди на свое мѣсто.

Всѣ двинулись къ берегу. Впереди шелъ Кирша, а за нимъ чернецъ, за чернецомъ стрѣлецъ. Путь лежалъ мимо землянокъ, занесенныхъ снѣгомъ и казавшихся могилами.

— Экъ эво прорвало!—ворчалъ Кирша, отряхиваясь отъ снѣгу.—Вотъ сторона—нну!

Скоро показалось что-то въ родѣ шалаша, покрытаго снѣгомъ. На вершукѣ, на древкѣ болталось что-то темное. Кирша подошелъ къ самому шалашу. Изъ шалаша зарычала собака.

— Цыцъ, Каргаска,—свой!—подалъ голосъ Кирша.

— Кто тамъ?—кликнули изъ шалаша.

— Я, Кирша.

— За коимъ дѣломъ?

— Къ его милости воеводѣ.

— Что въ такую пору?

— Не мое дѣло—осударево, не терпите.

Въ шалашѣ слышались голоса. У самого низа палатки раздвинулась немного кошма и оттуда вышелъ большой песъ, вилая привѣтливо хвостомъ. Увидавъ чернеца, песъ недовѣрчиво зарычалъ.

— Не трожь его, Каргасъ.

Вскорѣ опять раздвинулась кошма, и въ палаткѣ появился свѣтъ.

— Иди къ воеводѣ,—позвали Киршу.

Тотъ вошелъ въ палатку. Свѣтъ отъ свѣтца, стоявшаго на небольшомъ столѣцѣ обѣ одной ногѣ, заставилъ его зажмуриться. Кирша перекрестился, предварительно снявъ шапку, откашлялся, встряхнулъ волосами, поклонился, снова тряхнулъ кудрями и уставился на воеводу, который полулежалъ на медвѣжьемъ одѣялѣ, а около него стоялъ серебряный жбанъ, должно быть съ „тепленькимъ“.

— Что тамъ?—торопливо спросилъ воевода.—Али долгогривые что?

— Нѣту, воевода: какая-то проява къ намъ пришла—ни чернецъ, ни песъ его знаетъ что... Сказываетъ: съ осударевымъ словомъ и дѣломъ.

Воевода вскочилъ и накинулъ на себя кафтанъ съ шитьемъ.

— А каковъ онъ изъ себя?

— Такъ, кажись, ничевошній—не видать.

— А введи.

Воевода принялъ осанку: растопырилъ ноги и сдѣлалъ важное, то-есть, совсѣмъ глупое лицо.

— А ты стой тамъ,—обратился онъ къ высокому сухому стрѣльцу съ серьгой въ ухѣ, постоянно ночевавшему въ воеводской палаткѣ, въ качествѣ постельнаго, истопника и тѣлохранителя.

Увидавъ глупое лицо у своего воеводы, Каргасъ очень обрадовался: значить, будетъ кричать на кого-нибудь, распекать — Каргаска очень хорошо изучилъ своего повелителя — а Каргаска будетъ лаять... То-то весело!

— Цыцъ! ѣшь те волки!—прикрикнулъ воевода.

Кѣшма раздвинулась и въ палатку вступилъ чернецъ Оеклисъ... Онъ разомъ окинулъ своими бѣгающими глазами всю палатку: въ головахъ воеводской медвѣжьей постели стоялъ зеленый стягъ, съ Егорьемъ на конѣ; тутъ же вблизи висѣли сабли и пистолеты; въ одномъ углу стоялъ большой кованый сундукъ.

Оеклисъ перекрестился на стягъ и сдѣлалъ поясной поклонъ воеводѣ.

— Ты кто таковъ и какого ради орудія пришелъ къ намъ?—важно, нѣсколько съ гнусомъ, спросилъ воевода.

Каргаска приготовился лаять, не спуская глазъ съ глупаго лица воеводы и косясь на пришельца.

— Соловецкаго монастыря чернецъ Оеклисъ, пришелъ ради государева слова и дѣла,—былъ отвѣтъ.

— Какое твое слово до великаго государя?

— Челобитьишко, государь.

— А въ чемъ твое челобитье?

Лицо воеводы все дѣлалось глупѣе, то-есть важнѣе.

— Вины свои принеси я великому государю, — отвѣчалъ Оеклисъ, низко кланаясь.

— А въ чемъ твои вины?

— Дуростию моею и маломыслиемъ присталъ я, нищій вашъ государевъ богомолецъ, къ соловецкимъ ворами и крамольникамъ.

— И того-бъ дѣлать не довелось, и то тебѣ вина, — важно и строго замѣтилъ воевода.

— И азъ, нищій вашъ, чернецъ Оеклиска, окоростовѣлъ съ тѣми соловецкими ворами: двуперстное сложеніе держалъ и сугубою алилуею блевалъ.

— И того-бъ тебѣ дѣлать не довелось, и то тебѣ вина, — повторялъ воевода.

— И тѣмъ азъ, нищій государевъ пночешко, великому государю, его царскому пресвѣтлому величеству, учинилъ грубство.

— И того-бъ тебѣ дѣлать не довелось, и то тебѣ вина, — продолжалъ автоматически твердить воевода, такъ что даже Каргаска сталъ недоумѣвать—когда же онъ ругаться-де начнетъ?

— А нонѣ я вины мои принесъ головою: воленъ великій осударь меня нищеву своею холопнишку сказнить.

• Воевода промывчалъ. Каргаска прицѣлился лаять. Сухой стрѣлецъ съ серыгой, стоя на вытяжку, усиленно сопѣлъ. Кирша стоялъ, повидимому, разочарованный: онъ, казалось, большаго ожидалъ.

— А велить мнѣ великій государь вины мои простить, и я грубство свое ему, великому государю, заслужу съ лихвою: введу тебя, воеводу, со стрѣльцами въ монастырь... Государь, смилуйся, пожалуй!—заклучилъ Ѳеклисъ и снова сдѣлалъ поясный поклонъ.

При послѣднихъ словахъ воевода попятился назадъ и стоялъ съ раскрытымъ ртомъ и стоячими глазами. Кирша сдѣлалъ невольное движеніе. Каргаска разомъ залаялъ: онъ думалъ, что пришла пора начинать и ему дѣйствовать.

— Цыцъ, окѣянный! — вскипятился воевода на своего невпопадъ усерднаго союзника, и даже затопалъ ногами.

Озадаченный песь поджалъ хвостъ и спрятался за сундукъ, откуда робко поглядывалъ то на того, то на другого. Воевода сдѣлалъ шагъ къ чернецу.

— И ты не затѣйно то государево дѣло сказываешь?—спросилъ онъ ласковѣе, но все еще недовѣрчиво.

— Спаси Богъ! Въ экомъ-сѹ великомъ государевомъ дѣлѣ да затѣйки затѣвать!—торопливо заговорилъ чернецъ.

— И не обманомъ хочешь насъ подъ дурно подвести?

— Кака мнѣ корысть подводить васъ подъ дурно!

— И ты на томъ крестъ цѣловать будешь?

— И крестъ и евангеліе цѣловать стану, что мнѣ великому государю прямить.

— Ладно. Надо объ этомъ дѣлѣ подумать.

Воевода почесалъ затылокъ, застегнулъ кафтанъ и вопросительно посмотрѣлъ на Киршу. Кирша нетерпѣливо переминался съ ноги на ногу.

— А какъ ты нонѣ попалъ къ намъ?—снова обратился воевода къ чернецу.—Какъ тебя выпустили?

— Я отай ушелъ, воевода.

— Какъ! коли черезъ стѣну?

— Нѣту, воевода: есть у меня тамъ подъ землей заячья норка — норкою я и проползъ.

— И ты насъ хочешь оною норкою провести въ стѣны?

— Нѣту — норкою не способно будетъ: узка гораздо — гладкой не пролѣзетъ.

— Такъ какъ же?

— Есть въ стѣнѣ мѣсто такое, проломное, съ этой стороны его распознать нельзя, а я укажу.

— Что жъ что укажешь? А далѣ что?

— Выломать камни, тамъ не велика сила надобеть.

— Ну и что жъ?

— Въ ночь выломаемъ. Вотъ намъ и ворота.

— И войдемъ?

— Ночью и войдемъ...

— Сонныхъ, что шепчуть заберемъ, лядиныхъ дѣтей! — не вытерпѣлъ Кирша, брякнулъ радостно.

Не вытерпѣлъ и Каргасъ: выскочилъ изъ-за сундука и ну радостно, неистово лаять то на воеводу, то на Киршу, то на сухого стрѣльца съ сѣрьгой и даже на незнакомаго чернеца.

— Цыцъ, анаема! цыцъ, клятой! Вотъ взбѣсился! — кричалъ воевода; но песь ужъ и его не слушалъ: онъ по глазамъ видѣлъ, что воевода радъ, и неистово выражалъ свой собачій восторгъ.

Кирша радостно потиралъ руки и ржалъ, глядя на Каргаску. Воевода шагаль по палаткѣ, отбиваясь отъ собаки, которая лѣзла цѣловаться. Океклись самодовольно, съ злымъ выраженіемъ въ красивыхъ глазахъ, улыбался, навивая клочъ бороды на палець.

— И ты какъ передъ Богомъ говоришь? — уставился воевода на чернеца.

— Какъ передъ Богомъ!

— И укажешь мѣсто?

— Затѣмъ пришелъ — свою голову принесть подъ осудареву плаху.

— И не величкой силой проломаемъ?

— Плевошное это дѣло будетъ.

— Ну, добро! И за то великій государь, его царское пресвѣтлое величество, пожалуетъ тебя такимъ жалованьемъ, какова у тебя и на умѣ нѣтъ.

Чернецъ поклонился, чтобы скрыть блескъ глазъ, говорившій о чемъ то иномъ, только не о государевомъ великомъ жалованьи.

— Что жъ ты стоишь вороной! — вскинулся воевода на Киршу.

Кирша оторопѣлъ. Каргасъ тоже накинулся на него съ лаемъ: воевода-де лаесть, такъ и мнѣ слѣдуетъ.

— Бѣги живой ногой, веди попа съ крестомъ и евангеліемъ, — появился воевода.

— Мигомъ, воевода! — какъ-то икнулъ Кирша.

— Живо!

И передернувъ плечами, Кирша какъ ошпаренный метнулся изъ шалаши, чуть не сбивъ съ ногъ стрѣльца съ сѣрьгой.

— Ишь, лѣшій! — огрызнулся этотъ послѣдній.

Каргаска съ лаемъ кинулся за посланцемъ, и долго его радостный лай раздавался вдоль соннаго берега моря, посыпаемаго снѣгомъ.

XVI.

Послѣдняя ночь „Соловецкаго сидѣнья“.

— Мама! Ты слышишь?

— Что, дитятко?

— Слушай—а? Кто-то плачеть.
— Что ты, глупая, кому теперь плакать?
— Охъ, мама, мнѣ страшно: я слышу, какъ кто-то плачеть.
— Да это вѣтеръ въ трубѣ—ноли не слышишь?.. А ты перекрестись, прочти молитву Иисову—и спи.

Оленушка крестится, придерживая лѣвой рукой рубашку, шепчетъ молитву и снова опускаетъ свою растрепанную, со спутавшеюся косою голову на бѣлую подушку. Тихо въ кельѣ. Лампадка сонно мигаетъ у образа. Неупоконха вздыхаетъ. На дворѣ слышна вьюга. Сонъ такъ и клонитъ, тяжелить вѣки и туманить... Неупоконха ровно посапываетъ...

— Мама! а мама!

— Охъ, Господи Иисусе! ты что опять?

— Мнѣ не спится... У меня, мама, мысли...

— Какія у тебя, у глупой, мысли! Нонѣ не каталась на салазкахъ... пурга... ну и не спится.

— Завтра покатаюсь съ Иринеюшкой... А мои салазки лучше его...

— Не въ примѣръ лучше... Ну, спи, дитятко.

— А въ Архангельскомъ, мама, что теперь?

— Что, глупая! Спать.

— Батя спитъ?

— Нѣтъ, на салазкахъ катается.

Оленушка смѣется... Опять тихо, только вьюга завываетъ въ трубѣ и подъ окномъ... Лампадка какъ будто вздрагиваетъ... По стѣнѣ словно тѣни какія ползутъ... Слышенъ ровный сапъ... Гдѣ-то сверчокъ засверестить и смолкнуть... Жутко Оленушкѣ, неидетъ сонъ, все что-то слышится въ порываньяхъ вѣтра за окномъ...

— Мама! кто это стучить?

— Асинька? Ты все не спишь?

— А ты слушай, мама.

— Что мнѣ слушать—ту?—тебя, дуру?

— Нѣту, мама,—тамъ стучить.—Слышишь?

— Это вьюга... вѣтеръ.

— А во что она стучить?

— А во что придется: въ ставни, въ било, у трапезы что виситъ.

— А какъ это, мама, мертвецы по ночамъ ходятъ?

— Что ты! что ты, непутевая! Съ нами кресная сила—на насъ кресты.

— А какъ же дѣдушка Спира говорилъ, что къ нему душенька его

Оленушки приходитъ?

— Что ты пустое мелешь, глупая! Какой Оленушки?

— А у него дочка была Оленушка.

— А!.. ну, онъ святой человѣкъ—онъ видѣнія въ соніяхъ видитъ.

— И я во снѣ все вижу — и Архангельской вижу часто, и батю, и какъ мы по грибы ходили.

— Ну, то-то же.

— А мнѣ Исачко сказывалъ, что онъ самъ лѣшаго видѣлъ.

— А ты ужъ и съ Исачкомъ, глупая, подружилась!

— А какъ же, мама! Въ ту пору какъ стрѣльцы шли на монастырь воропомъ, передъ святками, и убили его турмана бѣленькаго въ штанцахъ, такъ мы съ имъ хоронили турмана, а я плакала... плакала! — и онъ, Исачко, плакалъ же...

— Было о чемъ дураку!

— Онъ, мама, не дуракъ: онъ добрый... И онъ сказывалъ, что часто видитъ во снѣ покойнаго турмана.

— Фу! съ тобой, точно, одурѣешь... Да спи жъ ты, говорить тебѣ, сорока!

И Неупокоиха повернулась носомъ къ стѣнѣ, и ухо заложила стеганнымъ, полосатымъ, словно шашечная доска, одѣяломъ. Скоро опять раздался ея сапъ, а Оленушка, полежавъ съ закрытыми глазами, снова открыла ихъ и стала смотрѣть на мигающія полосы на потолкѣ: полосы шли отъ образовъ, отъ лампадки. Она задумалась объ Архангельскѣ: хотѣла вспомнить лицо Бори—и не могла... Вотъ-вотъ, кажется, вспомнила — и собственно не его вспомнила, а то, какъ они грибы въ лѣсу собирали, какъ нагнулись надъ однимъ грибомъ, какъ Боря взялъ ея руку—все это хорошо помнится—и какъ потомъ они потянулись другъ къ другу, какъ губы ихъ слились, и какъ колѣнками раздавили грибокъ, когда Оленушка, вся красная, вырывалась—все это вспомнила она... но лица Бори никакъ не могла вспомнить... это не его лицо, нѣтъ—это Иринеюшка... А вотъ и „архимарить“ Сиканоръ на качеляхъ качается... Чудно что-то... И дѣдушка Спира на салазкахъ тутъ же... И Исачко за рога лѣшаго ведетъ... лѣшій его турмана поймалъ... Слышно, какъ стрѣльцы поютъ на берегу:

Разогналъ ея малыхъ дѣтушекъ,
Малыхъ дѣтушекъ, кукунятушекъ,
Что по ельничку, по березничку...

— Охъ, Господи, что это такое?

Оленушка, задремавшая было, снова проснулась. Послышался стукъ, и словно бы какіе-то камни повалились... Опять тихо, только вѣтеръ пошумливаетъ. Лампадка гаснетъ... Скоро должно быть утро... Опять стучить... Это, вѣрно, какой-нибудь трудникъ всталъ рано и дрова колетъ за поварней... А вотъ ужъ мѣсяцъ прошелъ, какъ стрѣльцы, передъ святками, на воропъ ходили, да ихъ кипяткомъ отгромили отъ стѣнъ... Тогда и чернецъ Ѳеклисъ пропалъ, какъ въ воду канулъ. Спира сказывалъ, что Ѳеклиска къ стрѣльцамъ перебѣжалъ... Какіе глаза нехорошіе... стыдные какіе-то у этого Ѳеклиса... У Исачки лучше, хоть и косые... А у Иринеюшки?.. На Донъ хочетъ уйти... Зачѣмъ на Донъ? Не надо!

Оленушка прислушивается... Въ монастырѣ что-то случилось: слышны голоса, стукъ, звяканье желѣзомъ...

Оленушка вскочила: это уже не вьюга... голоса явственно слышны... это голосъ Исачки... Еще голоса... Гулъ...

— Мама! мамонька! вставай!

— Ты что! ты сдурѣла?

— Охъ нѣтъ! слышишь?

На дворѣ уже ясно слышались крики сотенъ голосовъ...

Батюшки! Владычица! не пожаръ ли?

И мать, и дочь стали торопливо одѣваться.

— Ахъ, Господи! что жъ это такое! не стрѣльцы ли?

Въ окно застучалъ кто-то:

— Батюшки! кто тамъ?

Стукъ повторился, только не въ окно, а въ дверь.

— Вставайте! Пожаръ! Кельи горятъ!

— Владычица! скорѣй, Елена! Охъ, матушки!

Оленушка первая бросилась къ дверямъ, едва успѣвъ накинуть на себя шубку... Двери распахнулись... Въ этотъ самый моментъ что-то темное накрыло ее, и сильныя руки схватили поперекъ стана...

— Мама! ой! о-о!

Что-то мягкое зажало ей ротъ—и голосъ ея замеръ въ груди... Въ ужасѣ, Оленушка чувствовала, что ее куда-то несутъ... Сзади слышались отчаянные крики, стукъ оружія, пальба...

Оленушка все поняла: монастырь взять... Но куда ее несутъ?.. Гдѣ мать?.. Гдѣ Иринюшка?..

— Ребятюшки! голубчики! отстоимъ!—слышался отчаянный голосъ Исачки.

— Владыко многомилостиве! помози!—стоналъ гдѣ-то несчастный Никаноръ.

— Сдавайтесь, старцы: вамъ ничего не будетъ.

— Поздно, святые отцы,—монастырь нашъ.

— Никого не бить! Слышишь, ребята,—отцовъ не трогать!—командуетъ Кырша.

— Оленушка! Оленушка! дитятко! о-о-о! — это отчаянный голосъ матери.

— Что, тетка, орешь?

— Какъ въ монастырь, братцы, баба попала?

— Да у нихъ, поди, и дѣвье мясо тутъ есть. Вотъ разлюли-малина съ клюквой!

— Оленушка! дѣвынька! оо-оо-оо!

— Вяжи ратныхъ!

Стрѣльцы наполняли уже весь монастырь. И въ проломъ, сдѣланный ночью въ стѣнѣ, по указанію чернеца Феоклиса, и въ ворота, отъ которыхъ были отбиты замки, стрѣльцы валили волною, и пока монастырскіе ратные, услыхавъ тревогу, успѣли выбраться изъ своихъ келій и спросонья оглядѣться, монастырскіе часовые были перевязаны, и около заряженныхъ пушекъ стояли уже стрѣльцы. Сотники Исачко и Самко и архи-

мандрить Никаноръ бросились было къ своимъ „галаночкамъ“, но ихъ тамъ схватили, и отца Никанора тотчасъ же увели подъ караулъ. Исачко и Самко отчаянно защищались и сбросили нѣсколькихъ стрѣльцовъ со стѣны.

— Братцы, не сдавайтесь!—кричалъ со стѣны Исачко, барахтаясь и отбиваясь.

— Умирай, ребятушки, а въ поганяя руки не давайся!—хрипѣлъ Самко, котораго стрѣльцы душили за горло.

Но стрѣльцы видимо задавливали массою ничтожную горсть защитниковъ монастыря. Стоны и проклятія, плачь и хохотъ, трескъ ломаемыхъ древковъ и лязгъ оружія и прочаго желѣза сливались въ общемъ хаосѣ. И среди этого хаоса иногда пронизывалъ утренній воздухъ отчаянный, хриплый женскій вопль: „Оленушка! Оленушка!“—„Ищите, братцы, Оленушку... должно дѣвка“, слышались и стрѣлечіе голоса.

Въ это время около Неупоконхи, которая безумно металась во всѣ стороны, лица свою пропавшую дочь и вопя охрипшимъ голосомъ „Оленушка, Оленушка“, слышался крикъ и хохотъ:

— А вотъ и Оленушка! Доржи ее!

— Ай-ай, братцы, дѣвочка монашкомъ переодѣта.

— Впрямь дѣвочка... Доржи! доржи!

Неупоконха мстнула туда, на эти голоса.

— Пустите меня! Я не дѣвочка! ой!

— Врешь, дѣвочка—да кака хорошенька!..

Это былъ Иринеюшка, котораго приняли за дѣвочку.

— Чернечикъ молоденькой, а не дѣвочка... Тыфу! дуй-те!

— Ишь ты чево захотѣлъ, жеребецъ,—дѣвьятинки!

— Знамо, на голодны зубы...

Гдѣ жъ въ самомъ дѣлѣ Оленушка?

Вонъ за монастырской стѣной, по направленію къ стрѣлечьему стану кто-то видимо снѣшить съ какою-то ношею въ рукахъ. При свѣтѣ занимающагося утра можно разсмотрѣть, что это несутъ человѣческое тѣло: видны болтающіяся ноги и перевѣсившаяся черезъ лѣвое плечо несущаго русая голова съ длинными, спадающими ниже пояса несущаго, такими же свѣтлорусыми косами...

Изъ монастыря доносится вестройный гулъ и крикъ множества головъ. Вскорѣ изъ монастырскихъ воротъ выбѣгаетъ кто-то, осматривается во всѣ стороны и, увидавъ удаляющагося отъ монастыря къ берегу человека съ ношей, стремительно бросается вслѣдъ за нимъ. Вотъ онъ уже почти настигаетъ его.

— Стой! остановись!—кричитъ онъ убѣгающему.

Этотъ послѣдній вздрагиваетъ, но не останавливается, а напротивъ—прибавляетъ шагъ.

— Стой, окаянная душа! Отъ меня не уйдешь.

Убѣгающій узнаетъ голосъ преслѣдующаго и усиливаетъ бѣгъ. Последній уже настигаетъ совсѣмъ.

— Стой! Не то ножомъ пырну, окаинный!

У преслѣдующаго въ рукѣ ножъ. Онъ поднимаетъ руку... сталь блеснула какъ льдина...

— Господи Боже. Благослови на злодѣя!.. Н-на!

— Ой! зарѣзалъ!

Ноша падаетъ на снѣгъ, какъ снопъ. Косы разметались по бѣлому снѣгу, какъ льняныя пасмы. Это Оленушка.

Раненый, поднявъ руки, быстро оборачивается. Это чернецъ Оеклисъ. Онъ бросается на преслѣдующаго.

— А! дьяволъ! вотъ я тебя!

— Меня? нѣтъ, тебя... Н-на же!.. издыхай!

Оеклисъ пластомъ повалился на снѣгъ и захрипѣлъ. Кровь хлынула горломъ и изъ раны въ груди. Снѣгъ такъ и багровѣлъ кругомъ.

— Это тебѣ за монастырь и за все! Помилуй его Господи!

И юродивый—это былъ онъ—бросился на колѣни передъ разметавшейся на снѣгу Оленушкой.

— Дитятко! очнись, Господь съ тобой!

Дѣвушка не шевелилась. Юродивый бережно приподнялъ ее, взялъ на руки, какъ маленькаго ребенка, и сталъ осторожно тереть виски ея снѣгомъ. Оленушка открыла глаза.

— Что, дѣвынька, испужалась? — ласково говорилъ юродивый и съ нѣжностью смотрѣлъ въ испуганные глаза дѣвушки. — Испужалась, дитятко, сомлѣла?

— Это ты, дѣдушка?—слабо спросила Оленушка.

— Я, дитятко.

— А мама гдѣ?.. мамушка? — испуганно вскрикнула она.

— Ничего... ничего, дѣвынька: матушка тамъ...

— Не сгорѣла?

— Охъ, что ты! Помилуй Богъ! Она тебя ждетъ.

— Гдѣ?

— Тамъ, въ монастырѣ.

Оленушка встала на ноги. Юродивый запахнулъ ея шубку.

— Студено, закройся.

Изъ монастыря доносился неясный гулъ и крики. Оленушка со страхомъ поглядѣла туда.

— Что тамъ?

— Ничего, не бойся, дитятко.

Какъ ни умѣлъ владѣть собою юродивый, но Оленушка видѣла, что онъ дрожить.

— Тамъ стрѣльцы, дѣдушка?—робко спросила она.

— Ничего, ничего, не пужайся...

— А Иринеюшко?

— Тамотка же.

Оленушка что-то вспомнила и задрожала всѣмъ тѣломъ.

— А гдѣ онъ?.. Это онъ унесъ меня...

— Пойдемъ, пойдемъ,—торопилъ ее юродивый.

Она оглянулась и увидала на бѣломъ, кровью окрашенномъ, снѣгу широко раскинувшее руки мертвое тѣло. Въ груди его торчалъ ножъ... Мертвые, широко раскрытые глаза убитого глядѣли на небо, какъ бы спрашивая: что же тамъ, когда здѣсь кончено?

XVII.

„На теплыя воды“.

Вновь наступила весна. Суровое сѣверное поморье, долго спавшее подъ снѣгомъ, проснулось подъ теплыми лучами весенняго солнца и зазеленѣло молодой зеленью. Зазеленѣлъ и Соловецкій островъ, и Кемской и Сумской посадки, и Анзерскій скитокъ... Только не ждутъ уже къ себѣ молодыя кемлянки и сумскія молодухи дружковъ мылыхъ—молодыхъ стрѣльчиковъ, а молодая Вавилкина поадейка — своего мила друга, Иванушку воеводушку: съ весной отплыли московскіе стрѣльцы съ своимъ воеводушкой на страну далече... Тихо въ монастырѣ и около.

Зазеленѣлъ съ весной и Архангельскій славной городъ, о которомъ такъ долго скучала Оленушка: и въ Архангельскомъ и вокругъ него, какъ говорила Неупокониха, „разтвѣяли твѣты лазоревые и пошли духи малиновые“.

Особенно цвѣтутъ садики вокругъ торговой площади въ городѣ Архангельскѣ. Да и вся площадь, особенно у заборовъ, зеленѣетъ молодою травкою.

Утро. Весеннее солнце, только - что выкатившись изъ - за восточнаго взгорья, окрашиваетъ золотисто - пурпуровымъ цвѣтомъ церкви и крыши домовъ и протягиваетъ длинныя тѣни поперекъ всей площади. У торговыхъ рядовъ и около казенныхъ вѣсовъ и мѣръ да у кабацкаго кружала стоятъ возы съ припасами съѣхавшихся въ городъ изъ окрестностей поселянъ. Привязанныя у возовъ и у хрептуговъ лошади, пережевывая сѣно и овесъ, то-и-дѣло ржутъ, не видя своихъ хозяевъ. А хозяева, мужики и бабы, а равно рядскіе сидѣльцы и посадскіе люди — все это кучится къ серединѣ площади, гдѣ высится огромный деревянный „покой“ — два столба съ перекладиною. Съ перекладины спускается длинная, круто плетеная веревка, съ петлею на концѣ. Тѣнь отъ висѣлицы и отъ веревки идетъ по головамъ собравшейся толпы, теряясь гдѣ-то за заборами и въ зелени садиковъ. Всѣ смотрятъ на висѣлицу, перекидываясь односложными словами и междометіями. Иногда изъ нестройнаго гула ясно вырѣжется и замретъ среди лошадинаго ржанія фраза удивленія:

— Ишь ты, какой покой-отъ сърихонили—и-и-ахъ!—острять тутъ же толкающіеся земскіе ярыжки.

— Ужъ и точно покой... покой-онъ по-по, како-онъ-ко-ко — покой, съ загогулиной... э-эхъ н-ну!...

Подъ висѣлицей ходить варнакъ съ рванными ноздрями, въ красной касандрійской рубашѣ, съ засученными рукавами, и исподлобья вскидываетъ своими немигающими глазами на толпу. Это палачъ.

Два стрѣльца, приставивъ ружья къ висѣльному столбу, расположились подъ висѣлицей, и одинъ у другого ищетъ въ головѣ.

Вдругъ гдѣ-то за площадью глухо застучалъ барабанъ. Толпа колыхнулась. По лицамъ у всѣхъ пробѣжали не то тѣни, не то лучистыя искры. Головы поднялись и безпокойно задвигались на плечахъ. Барабанъ не умолкалъ, все болѣе и болѣе приближаясь.

Изъ-за людскихъ головъ показалась дуга и лошадиная морда. Изъ-за лошади повременамъ высывались два затылка обнаженныхъ человѣческихъ головъ. Скоро показались и спины ихъ.

При приближеніи барабана, толпа раздвинулась, и открылось необычайное шествіе. Впереди — взводъ стрѣльцовъ, съ барабанщикомъ въ головѣ взвода. Барабанъ выбивалъ глухую, беспорядочную дробь, а барабанщикъ, лѣнливо колотя палочками по туго натянутой шкурѣ, шибко дѣлалъ выверты локтями. Стрѣльцы шли сердито, какъ-бы стыдясь своего дѣла, а понурый Чортоусъ беззвучно шевелилъ губами.

За стрѣльцами—жирный, красномордый попина, въ черной рясѣ и съ крестомъ въ отекшихъ отъ жиру рукахъ. Видно было, что торчавшая впереди висѣлица поглощала все его вниманіе.

За попомъ — поджарый подъячій, въ потертомъ кафтанѣ и съ такимъ же потертымъ лицомъ. За ухомъ лебединое, въ видѣ лопаты, перо, а у пояса—мѣдная съ ушками чернильница.

За нимъ стрѣлецъ велъ за поводокъ пѣгую клячу, на которой, спиной къ висѣлицѣ и конской гривѣ и лицомъ къ хвосту, сидѣлъ высокий старикъ съ сѣдою, сбившеюся на затылокъ, косою. Въ рукахъ онъ держалъ горящую восковую свѣчу.

Далѣе слѣдовала телѣга, тоже ведомая стрѣльцомъ, державшимъ за поводъ лошадь, впряженную въ эту телѣгу. Въ телѣгѣ, лицомъ назадъ, покачивались при движеніи телѣги и терлись одна о другую плечами двѣ человѣческія фигуры. Въ рукахъ ихъ тоже горѣли зажженные свѣчи.

За первой телѣгой, другая. Въ ней тоже два сѣдока задомъ и оба со свѣчами. За телѣгами—другой взводъ стрѣльцовъ.

У самыхъ висѣлицъ шествіе остановилось. Стрѣльцы сняли съ пѣгой клячи необычайнаго сѣдока, съ сѣдою косою. Старое, темное и осунувшееся лицо оборотилось къ толпѣ и видимо усталыми глазами изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей глянуло на висѣлицу... На лицѣ показалась грустная улыбка... Это былъ архимандритъ Никаноръ...

Толпа замерла. Слышалось только усиленное дыханіе да изрѣдка подавленный вздохъ.

Сняли и съ первой телѣги двухъ сѣдоковъ, у которыхъ къ ногамъ при-

кованы были дубовыя колодки. У одного, высокаго, плечистаго, хотя видимо измождеваго колодника, красная голова такъ и отливала на солнцѣ золотомъ, а запавшіе глаза искрились, какъ у кошки въ темнотѣ. Другой, худой и косматый, съ сумою черезъ плечо, казалось любовался висѣлицею и всѣмъ, что онъ видѣлъ... Добрые глаза свѣтились дѣтскою радостью... Это были — огненный чернецъ Терentyюшко, ученикъ Аввакума, и Спирия юродивый.

Сошли и со второй телѣги, гремя цѣпами какъ спутанныя лошади, сотники Исачко и Самко.

Всѣ осужденные стали въ рядъ. У каждаго въ рукахъ горѣло по свѣчкѣ. Всѣ молчали, только Исачко косился на висѣлицу, надъ которой въ глубокой лазури утренняяго неба кружились голуби — и судорожно улыбулся: вѣроятно, ему вспомнился любимецъ его, турманъ въ штандахъ, застрѣленный воеводою Мещериновымъ Ивашкою, и теперь покоящійся въ землѣ на далекомъ островѣ...

Къ осужденнымъ подошелъ поджарый подъячій, вынулъ изъ-за пазухи кафтана бумагу, развернулъ ее, снялъ шапку и, крикнувъ пискливо-скрипучимъ голосомъ къ толпѣ — „шапки долой!“ — сталъ гнусить что-то...

Всѣ слушали какъ-будто разсѣянно, словно бы то, что читали, совсѣмъ до нихъ не касалось... Никаноръ же, который стоялъ первымъ, слушая читаемое, задумчиво качалъ головой, между тѣмъ какъ посинѣвшія губы его беззвучно шептали: „и се мимо иде, и се не бѣ... и камо иду — не вѣмъ... дніе его яко цвѣтъ селѣній — и тако отцвѣтутъ... Да-да — отцвѣли... отцвѣтутъ и падутъ“...

Чтеніе кончилось... Онъ взглянулъ на свѣчку, вздохнулъ и самъ задулъ ее... Потомъ положилъ свѣчку къ себѣ за пазуху, бормоча: „тамо зажгу ее... дологъ путь тамо... охъ, дологъ!“ — и самъ подошелъ къ висѣлицѣ...

Палачъ, казалось, не смѣлъ приблизиться къ нему и глядѣлъ вопросительно на подъячаго.

— Верши! — хрипло проговорилъ послѣдній.

Палачъ протянулъ руку къ петлѣ. Никаноръ отклонилъ его руку,

— Самъ на себя сумѣю вѣнецъ-отъ надѣть! — И поклонился на всѣ четыре стороны. — Самъ надѣну...

И надѣлъ: вложилъ шею въ петлю, отвѣдя въ сторону волосы и освободивъ изъ - подъ веревки бороду, какъ дѣлалъ онъ это обыкновенно, облачаясь въ ризы передъ литургіею... Онъ поднималъ глаза къ небу...

— Господи! въ рущѣ твои...

— Верши! — прохрипѣлъ подъячій.

Тотъ стремительно дернулъ за другой конецъ веревки. Веревка запищала въ немазанномъ блокѣ... Тѣло стараго архимандрита поднялось отъ земли... ноги подогнулись... руки конвульсивно подвигались къ шеѣ... Палачъ встряхнулъ веревкой... еще... еще — и самъ какъ-бы повисъ на ней...

— О-с-охъ! — слышалася стонъ въ толпѣ.

— Глядите, православные, какъ люди на небо возносятся! Гляньте-ко! — раздался вдругъ чей-то голосъ, такъ что всѣ вздрогнули.

Это крикнулъ юродивый, указывая на колыхавшееся въ воздухѣ бездыханное тѣло стараго архимандрита.

— Господи! за что жъ это?... О-охъ!

— За крестъ истовый—за вѣру... Н-ну времячко!..

Многіе испуганно крестились—и странно! всѣ крестились именно тѣмъ истовымъ крестомъ, за который вотъ тутъ же, сейчасъ, умеръ человѣкъ, котораго и въ купели крестили этимъ же крестомъ и самъ онъ крестился имъ болѣе семидесяти лѣтъ...

Подъячій подошелъ къ качавшемуся тѣлу и робко потрогалъ его за ноги.

— Отошелъ, кажись,—тихо сказалъ онъ палачу:—спусти.

Палачъ, красный отъ натуги, опустил веревку. Мертвое тѣло мѣшкомъ повалилось на землю... сѣдые волосы разметались...

— Охъ, смертушка! о-о!—это изъ толпы.

Палачъ распустилъ петлю, вынулъ изъ нея голову мертваго и оттащилъ трупъ въ сторону, къ висѣльному столбу.

Подъ висѣлицу подошелъ юродивый. Онъ обвелъ толпу своими кроткими глазами—и вдругъ лицо его озарилось глубокою радостью...

— Оленушка! дитятко!

Дѣйствительно, у одного края толпы, прижавшись къ матери, вся блѣдная и дрожащая стояла Оленушка, съ распухшими отъ слезъ глазами. Рядомъ съ ней, также блѣдная и испуганная, опираясь на руку плотнаго рыжаго мужины въ нѣмецкомъ платьѣ, стояла и знакомая намъ аглицкая нѣмка, Амалѣя Личардовна Прострѣлова, и тутъ же, сердито поглядывая на поджараго подъячаго, виднѣлся галанскій нѣмецъ, богатый Каролусъ Каролусовичъ изъ Амбурха. Изъ-за Оленушки робко выглядывалъ въ своей черной скуфейкѣ юный Иринеюшко, а на него косился исподлобья, стоявшій тутъ же, краснощекий малый, въ щегольской синей канусовой рубахѣ, съ четырехъугольнымъ прорѣзомъ густѣйшихъ русыхъ волосъ на низкомъ лбу: это былъ Боря, у котораго на сердцѣ... Да не до Ворякинаго сердца теперь!..

— Охъ, мама! матушка! о-охъ!—стонала Оленушка, припадая къ плечу матери.

Юродивый, запустивъ лѣвую руку въ свою суму (онъ не разставался съ нею и въ архангельской земляной тюрьмѣ, гдѣ заключены были осужденные), вынулъ оттуда черепъ и поцѣловалъ его. Потомъ сталъ кланяться на всѣ четыре стороны.

— Простите, православные, въ чемъ согрубилъ вамъ!

— Богъ проститъ, родимый, Богъ проститъ!—загудѣла толпа.

— Прощай, Оленушка! прощай, дѣвынька!

И юродивый издала перекрестилъ ее, а потомъ снова поцѣловалъ черепъ, говоря:

— А теперь ты, моя Оленушка, здравствуй: я къ тебѣ пришелъ... И положивъ черепъ въ суму и не задувая свѣчи, самъ вложилъ свою косматую голову въ петлю...

— Возноси на небо!—скомандовалъ онъ палачу: — я со свѣчей иду ко Господу. Теплисъ, моя свѣчка!

И опять палачъ-варнакъ дернулъ за веревку и даже пристѣлъ на корточки... Взлетѣлъ Спирия на небо... поджалъ ноги... опустилъ ихъ... изъ оконченѣлыхъ пальцевъ не выпала горѣвшая свѣчка, но припала къ груди... задымилась рубаха... вспыхнула... поломя охватило бороду... перекинулось на косматую голову... затеплился какъ свѣчка восковая весь Спирия...

Раздались вопли по всей площади...

— О Владычица!.. Господи! спаси!.. Святъ-святъ... о! изверги!..

Оленушка упала, какъ снопъ... Боря вскрикнулъ и припалъ къ ней.

— О, барбарей! доннерветтеръ! пфай-оо!—неистово бормоталъ Каролусъ Каролусовичъ.

У Амалии Личардовны по блѣднымъ щекамъ текли слезы.

Трупъ съ обугленной головой вынули изъ петли и положили рядомъ съ Никаноромъ...

Подъ вѣсилницу молча подошелъ огненный чернецъ и, поднявъ кверху правую руку съ отрубленными пальцами, громко сказалъ:

— Смотрите, православные! за истовый крестъ отсѣкли у меня персты... Слава тебѣ, Господи!.. Теперь съките мою голову, стрѣльцы!—обратился онъ къ стрѣльцамъ, стоявшимъ у висѣльныхъ столбовъ.

Стрѣльцы смущенно потупились...

— Господь съ тобой, Турвонушко,—бормоталъ Чортоусъ:—мы тутотка не при чемъ... наше дѣло рабѣ...

— Верши!—проскрипѣлъ подъячій къ палачу.

И огненный чернецъ качался въ воздухѣ... Рыжая голова, освѣщаемая солнцемъ, казалось, выпускала лучи...

Сѣдой Чортоусъ, блѣдный, съ дрожащими губами, ударилъ ружьемъ о-земь, такъ что прикладъ разлетѣлся на двое, и мрачно подошелъ къ подъячему.

— Вѣшай и меня... и я хочу вѣнецъ получить, — также мрачно сказалъ онъ.

Подъячій съ испугомъ попятился назадъ...

— Что ты! что ты! Богъ съ тобой!—бормоталъ онъ.

— Вѣшай, это твоё дѣло...

Къ висѣлицѣ подошелъ Исачко и сталъ надѣвать на себя освободившуюся отъ третьяго трупа петлю. Поправляя ее у себя на шеѣ, онъ поднималъ голову. Опять надъ висѣлицей кружатся голуби, а вонъ и бѣлый турмавъ. У Исачки дрогнули углы губъ и заискрились косые, добрые глаза. Прошлое съ этимъ голубемъ встало передъ нимъ. Онъ махнулъ рукой палачу. Палачъ нутужился, потянулъ; ноги Исачки отдѣлились отъ

земли; онъ закинулъ голову, встряхнулся и... „охъ“ крикнули въ толпѣ: Исачко упалъ...

— Сорвался! охъ, страсти!—прошепталъ кто-то.

Исачко поднялся съ земли съ обрывкомъ на шеѣ, красный, съ налитыми кровью глазами...

— О, шанде! барбарей!—обратился Каролусъ Каролусовичъ къ сосѣду въ нѣмецкомъ платьѣ:—вотъ срамъ! Къ намъ, за море, отправляютъ лучшія веревки и пеньку, а казнѣ оставляютъ бракъ, гниль... О, Московія!

Исачко, шатаясь, подошелъ къ подъячему, который что-то горячо говорилъ палачу.—„Да вить это ты, государь, отпустилъ веревку-ту — казенна“,—оправдывался варнакъ.

— Вотъ тебѣ за веревку, казнокрадъ: н-на же, тышь!—и полновѣсная пощечина Исачкиной широкой и мозолистой ладони глухо звякнула по сухимъ скуламъ подъячаго... Подъячій какъ стоялъ, такъ и свалился снегомъ на трупы повѣшанныхъ.

— И мы хотимъ вѣяцовъ! вѣшайте я насъ! — слышался ропотъ въ толпѣ—я толпа хлынула къ висѣлицѣ. — Хотимъ помереть за вѣру, за крестъ! Берите всѣхъ насъ! и мы съ ними заодно! Казните насъ! сѣките головы!..

Площадь превратилась въ бушующее море...

На другой день, утромъ, изъ Архангельска, по холмогорской дорогѣ, вышли два странника: одинъ старый, другой молоденькій, оба съ сумками и дорожными посохами.

— Такъ-ту, Иринеюшко,—говорилъ старикъ:—коли на Руси дышать нечѣмъ стало, такъ и Богъ съ ней... И птица отъ зимы на теплыя воды летить—такъ-ту и мы съ тобой.

К О Н Е Ц Ъ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

I.
М Е Ж Д У
Сциллой и Харибдой.

II.
ОНЪ ИДЕТЪ!
БЫЛЬ.

Томъ XI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 мая 1901 г.

Типографія „В. С. Валашевъ и К“. Спб., Фонтанка 95.

Между Сциллой и Харибдой.

I.

Вечеръ субботній.

Тихая, теплая весенняя ночь спускается надъ Уманью. Что-то чарующее носится въ вечернемъ воздухѣ—въ звукахъ, въ тѣняхъ, въ неясныхъ очертаніяхъ, въ таинственной дали горизонта. Откуда-то, изъ этой таинственной дали, несется мелодія весенней жизни природы—волны звуковъ, цѣлое море мелодій. Въ темнѣющемъ небѣ одна за другой зажигаются звѣзды—все больше и больше ихъ, все ярче и ярче становится ихъ таинственный блескъ.

И среди этой чарующей мелодіи звуковъ весенней природы, какъ бы волшебное дополненіе ея, начинаетъ звучать хоръ свѣжихъ, какъ весна, молодыхъ женскихъ голосовъ:

Идетъ весна, идетъ красна,
Съ-подъ крышъ вода каплетъ,
Молодому казаченькѣ
Запорожье пахнетъ...

Какъ бы въ отвѣтъ этому хору, съ другой стороны доносится одинокій женскій голосъ:

Ой и было лѣто, да минулося,
А я молоденька лѣта не зазнала!
Меня моя матушка гулять не пускала—
Да въ подклѣти запирала,
Тремя замочками замыкала...

По мѣрѣ того, какъ на небѣ зажигались звѣзды, въ городѣ во многихъ домахъ все чаще и чаще загорались огоньки. Въ иныхъ окнахъ ярко свѣтились цѣлыя группы огней.

И не удивительно. Сегодня вечеръ пятницы. Еврейское населеніе Умани справляетъ наступленіе субботняго дня.

Войдемъ въ этотъ большой домъ, котораго главная, просторная комната ярко горитъ огнями. Длинный столъ, накрытый бѣлоснѣжною скатертью, весь уставленъ тарелками и блюдами съ праздничными яствами.

Въ радужныхъ граняхъ хрусталя отражается серебро кубковъ и стопъ. Въ двухъ старинныхъ, ярко вычищенныхъ серебряныхъ седьмисвѣщникахъ только что зажжены свѣчи рукою хозяйки-дома. Глава дома, почтенный Исаакъ Когенъ, находился въ это время въ синагогѣ, и едва онъ вошелъ въ приготовленную для трапезы комнату, какъ тотчасъ же началось торжественное пѣніе субботнихъ гимновъ и славословіе „Мужественной жены“, которые радостно и хоромъ подхватили голоса всей собравшейся семьи Исаака Когена.

Но радостиѣ и лучезариѣ всѣхъ было хорошенькое личико юной Рахили, любимѣйшей дочери Исаака. Во всемъ ея существѣ, казалось, отражалась сама весна, расцвѣтъ природы съ ея чарующимъ обаяніемъ. Это былъ типъ самой чистой еврейской красоты, пронесенный чрезъ всѣ тысячелѣтія исторической жизни удивительнаго народа,—типъ, сохранившійся во всей своей чистотѣ отъ библейскихъ временъ и носившій на себѣ слѣды творчества жаркаго солнца Палестины, Египта и Испаніи—солнца поэтической Кордовы, Севильи и Гранады. Это солнце жгучаго Востока отражалось и въ лучистыхъ глазахъ Рахили, и въ румянцѣ ея смуглыхъ щечекъ, и въ черномъ, какъ южная ночь, шелкѣ ея роскошныхъ волосъ. По всему видно было, что она только что вышла изъ отроческаго возраста, но тѣмъ очаровательнѣе была ея сверкающая огнемъ красота, что дѣвушка совсѣмъ не сознавала этого.

Между тѣмъ Исаакъ, какъ глава дома, благословилъ трапезу, и всѣ уѣлились за столъ. Исааку было далеко за шестьдесятъ лѣтъ, но онъ казался очень бодрымъ и подвижнымъ, а огромная бѣлая борода необыкновенно красила характерныя, но кроткія черты его лица съ высокими обнаженными лбомъ и такими же, какъ у дочери, лучистыми, совсѣмъ молодыми глазами. Онъ сѣлъ во главѣ трапезнаго стола, а рядомъ съ нимъ помѣстилась старая Лія, мать прелестной Рахили, хорошенькаго подростка, юркой какъ вьюнъ Сарки и трехъ рослыхъ молодцовъ, изъ которыхъ старшій, по имени Самсонъ, своей богатырской фигурой вполне напоминалъ страшнаго побѣдителя филистимлянъ.

Но едва началось трапезованье и всѣ члены семьи Когена углубились въ свое дѣло, какъ съ улицы снова раздались и какъ бы таяла въ вечернемъ воздухѣ грустная мелодія, и чей-то женскій голосъ отчетливо выговаривалъ, какъ „пахалъ милый ярицу, а теперъ пашеть у толоци, а она плакала карія очи—за четыре ночи“...

— Отчего у насъ, у евреевъ, нѣтъ такихъ хорошихъ пѣсней?—прислушиваясь къ этому пѣнію, заговорила Рахиль.

— Это хлопы поютъ свои „веснянки“,—замѣтила Сара.

— Я знаю, что „веснянки“, а отчего у насъ нѣтъ ни „веснянокъ“, ни „русальныхъ“, ни „купальскихъ“?—настаивала Рахиль.

— Но это языческія пѣсни, а мы не язычники,—строго замѣтилъ Самсонъ, молчавшій до того времени.—А у насъ есть—священные гимны.

— Ну, и у хлоповъ есть священные гимны, которые поются въ

церкви; но отчего у насъ, у евреевъ; нѣтъ своихъ „веснянокъ“? Отчего мы не поемъ на улицѣ?—твердила свое Рахиль.

— Оттого, что мы живемъ въ странѣ изгнанія. Развѣ ты забыла, что написано въ нашихъ книгахъ о плѣненіи вавилонскомъ?

— А что? Тамъ ничего о „веснянкахъ“ не сказано.

— Глупая ты дѣвчонка! Тамъ сказано: на рѣкахъ вавилонскихъ сидѣли мы и плакали, а вѣтеръ стоналъ въ гусляхъ, что принесли мы изъ отчизны съ собою и въ печали своей повѣсили на деревьяхъ. И пришли къ намъ властители наши изъ Вавилона и сказали: „Возьмите ваши гусли въ руки ваши—играйте и пойте“. И мы отвѣчали имъ: „Какъ же мы будемъ играть и пѣть въ странѣ изгнанія, когда языкъ нашъ иссохъ отъ великой горести и сердца наши въ состояніи только взывать: о Сіонъ, Сіонъ!“ Но властители сказали: „Снимите съ деревьевъ ваши гусли—играйте и пойте“. Тогда пророки Израіля обратились къ своимъ и спросили: „Кто изъ насъ увѣренъ, что претерпитъ муки, но не станетъ играть и пѣть въ странѣ изгнанія?“ И когда наутро пришли къ нимъ властители и сказали: „Снимите гусли съ деревьевъ—играйте и пойте“, пророки Израіля протянули къ нимъ окровавленные руки свои и воскликнули: „О, какъ же мы можемъ снять ихъ, когда надвое разсѣчены руки наши и пальцевъ нѣтъ на нихъ!“ И рѣки вавилонскія громко шумѣли отъ великаго изумленія, и вѣтеръ рыдалъ въ гусляхъ, что висѣли на деревьяхъ, ибо пророки Израіля надвое разсѣкли руки свои, чтобъ никто не принудилъ ихъ къ игрѣ и пѣнію въ странѣ изгнанія.

Съ глубокимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ слушали всѣ слова Самсона. На длинныхъ рѣсницахъ Рахили сверкали слезы. У стараго Исаака кроткіе глаза горѣли огнемъ гордаго сознанія величія своего народа. Даже безпокойная Сара сидѣла неподвижно съ широко-раскрытыми глазами.

— А вѣтеръ рыдалъ въ гусляхъ, что висѣли на деревьяхъ,—молитвенно шептала старая Лія.—Годосподи, Боже Израилевъ!

— Страна изгнанія,—задумчиво, какъ бы сама съ собой, тихо говорила Рахиль:—а я такъ люблю эту страну изгнанія, эту милую Украину, ея пѣсни, эти высокія вербы у воды... Я, вѣдь, и родилась въ странѣ изгнанія.

Не то представлялось умственному взору Исаака: онъ, казалось, видѣлъ эти далекія рѣки Вавилона и на берегахъ ихъ народъ свой въ плѣненіи... „На рѣкахъ вавилонскихъ—тамъ мы сидѣли и плакали“... А развѣ мало пришлось плакать народу Божьему? И на берегахъ Нила онъ плакалъ еще больше, еще ранѣе этого... А на берегахъ мутнаго Тибра сколько выплакано еврейскихъ слезъ! А на берегахъ Мансанареса и Гвадалquivира; на берегахъ Днѣпра, Тясмины и Роси!

А между тѣмъ за окномъ, на улицѣ, глухо гудѣлъ бубенъ, и хоръ мужскихъ голосовъ съ подголосками выкрикивалъ пѣсню о томъ, какъ метель „млинь“ не колесомъ—листомъ, а молодець выкликаетъ милую не

голосомъ—свистомъ, и зоветь ее затирать слѣды, гдѣ они стояли:—тамъ ихъ слѣды остались...

Вдругъ пѣніе разомъ оборвалось, и съ улицы послышался одинъ чей-то громкій голосъ:

— Слушайте, панове парубоцтво! Послѣзавтра будутъ казнить гайдамаковъ—такъ приходите на площадь смотрѣть.

— Придемъ, непременно придемъ! — откликнулись голоса. — А много ихъ?

— Пять человѣкъ. И вы, дѣвчатошки, приходите.

— Придемъ, — отозвались женскіе голоса.

— А можетъ, котораго молодца и выберете себѣ въ женихи—спасете отъ висѣлицы.

— О! дѣвчата наши до такого торгу и пѣши прилетятъ,—раздался чей-то насмѣшливый голосъ.

— Что жъ! и прилетимъ—и выберемъ себѣ по жениху, чтобъ вамъ, сакимъ-такимъ немазаннымъ, не доставаться,—задорно отвѣчалъ женскій голосъ.

— У, краля! помеломъ съ сажей мазаная!

— А все-таки до висѣлицы не допущу казака.

— Что это, тату, она говорить?—съ изумленіемъ спросила Рахиль, все время прислушивавшаяся къ голосамъ на улицѣ.—Развѣ она можетъ спасти осужденнаго разбойника отъ казни?

— Можетъ,—отвѣчалъ Исаакъ:—такой здѣсь обычай: если дѣвушка захочетъ не допустить гайдамака до казни, то она въ правѣ это сдѣлать.

— Какъ, татуня! И я могу то же сдѣлать?

— И ты можешь, только должна потомъ выйти за него замужъ—за того, котораго ты изберешь.

— Э! такъ я этого не хочу.

— То-то же: спасти отъ казни злодѣя не всякая дѣвушка рѣшится.

— Такъ ихъ послѣзавтра казнить будутъ?

— Да; я слышалъ это сегодня отъ губернатора.

— Это такъ страшно!

— А еще страшнѣе злодѣйства, которыя они, эти гайдамаки, совершаютъ,—замѣтилъ младшій сынъ Исаака, худой и горбоносый Моше.

II.

Страшныя вѣсти.

Повѣствованіе, завязка котораго слабо очерчена въ первой главѣ, относится къ первымъ годамъ второй половины прошлаго столѣтія.

Минуло сто лѣтъ съ того грустнаго момента, когда совершилось роковое столкновеніе Украины и Польши изъ-за признанія человѣческихъ и политическихъ правъ первой. Много было пролито крови и съ той и съ другой сто-

роны: таковъ удѣлъ всякой борьбы. Но той и другой сторонѣ было изъ-за чего бороться и проливать кровь—то боролись два враждебные элемента, двѣ враждующія стихіи. А оказывается, что въ этой братоубійственной борьбѣ болѣе всего пострадалъ третій элементъ—посторонній, непричастный этой борьбѣ. Жестокій историческій фатумъ—этотъ безжалостный и бессмысленный, классическій „слѣпой рокъ“, какъ ужасный смертъ или циклонъ, Богъ—вѣсть откуда налетѣвшій, бросилъ этотъ третій, мирный элементъ между молотомъ и наковальней, и этотъ несчастный элементъ былъ безчеловѣчно раздавленъ, сокрушенъ въдребезги, какъ хрупкое стекло подъ тяжкимъ молотомъ.

Этотъ третій, мирный элементъ—евреи польской Украины. Войны Хмельницкаго были для нихъ этимъ ужаснымъ молотомъ. Много лѣтъ дикій религіозный и національный фанатизмъ купался въ крови избраннаго народа. А за что? За чьи винны?

Эти мысли неотступно преслѣдовали стараго Исаака, когда онъ, по окончаніи вечерней трапезы, удалился въ свою комнату и тщетно старался заснуть. Передъ нимъ, какъ въ зеркалѣ, картина за картиной проносились все прошлое іудейскаго народа. Вѣсть о' казни разбойниковъ тревожно отозвалась въ его сердцѣ, напомнивъ прежнія бѣдствія іудеевъ.— За что? за чьи винны?

— Доволь ты разить будешь, мечъ божій?—невольно вырвался изъ его груди стонъ пророка Іереміи. — Доволь не успокоишься? Войди въ ножи свои, мечъ карающій!

„А за что? и долго ли?—вновь вставали въ душѣ его жгучіе вопросы.

А между тѣмъ за окномъ, на улицѣ и на площади, ключомъ была молодая жизнь. Чей-то голосъ отчетливо выводилъ подъ удары бубна о томъ, какъ „милая“ общается „милому“ выйти „подъ зеленую грушу“ и вынести милому „тютюну-папушу“...

— Да, моя дѣвочка права: у насъ нѣтъ ни „веснянокъ“, ни „русальныхъ“, ни „купальскихъ“ пѣсенъ. Намъ не до пѣсенъ. Зато у насъ есть „Рыданія Іереміи“—это народныя рыданія, народный плачь. Это наши „веснянки“. Но, Іегова! и у насъ были когда-то свои пѣсни, когда Ты давалъ намъ ежедневный поводъ славословить Тебя въ тимпанахъ и гусляхъ, когда дѣвы іерусалимскія, какъ и вотъ эти украинки, веселились на стогнахъ священнаго города и пѣли. А теперь только вѣтеръ стонетъ и плачетъ, перебирая струны гуслей нашихъ. Весь міръ для насъ—страна изгнанія; весь шаръ земной—наше кладбище, и только кладбище... О, Адонай Господи! я не рошщу ни на свою долю, ни на участь моей семьи. Ты далъ намъ и довольство, и счастье—у меня все есть, благодаря труду моему и дѣтей моихъ. Но тамъ, кругомъ, по этимъ селамъ,—тамъ только бѣдность и презрѣніе отъ людей,—такъ говорилъ самъ съ собою старый Исаакъ.

Онъ всталъ и отворилъ окно, выходившее въ палисадникъ. Полная

луна глядѣла изъ-за деревьевъ, отбрасывая отъ нихъ черныя, точно ножомъ отрѣзанныя отъ бѣлыхъ стѣнъ, тѣни. Гдѣ-то близко въ кустахъ заливался соловей. Издали все еще доносилось иногда одинокое пѣніе.

Онъ уснулъ только къ утру. Субботній день прошелъ тихо и радостно въ семьѣ Когена. Но слѣдующая ночь—ночь на воскресенье принесла съ собою страшныя вѣсти.

Когену опять плохо спалось. Казалось, въ комнатѣ не доставало воздуха, и Когенъ растворилъ окно.

— Какой душный вечеръ! — полною грудью вздохнулъ Исаакъ. Съ улицы по обыкновенію доносилось пѣніе украинской молодежи. — И когда спать эта молодежь?—невольно думалось ему.—Кажется, всю ночь готова пѣть. А такъ, можетъ быть, и наша молодежь пѣла когда-то въ Іерусалимѣ, на высотахъ Сіона... А сдается, кто-то ѣдетъ.

Онъ высунулся въ окно и сталъ прислушиваться.

— Да, ѣдетъ. А кому бы такъ поздно?

Стукъ колесъ умолкъ у самыхъ воротъ дома Когена. Послышалось фырканье лошади.

— Что это... будто бы наша лошадь? Неужели Ефραίимъ вернулся такъ скоро? Вонъ и въ шекоду кто то звенить. Никто какъ Ефραίимъ.

Исаакъ торопливо накинулъ на себя халатъ и пошелъ къ калиткѣ.

— И Голіаѳъ не лаетъ, значитъ, своего узналъ, — бормоталъ онъ, подходя къ калиткѣ.

Дѣйствительно, огромный песъ уткнулся мордой въ калитку и пріятливо махалъ косматымъ хвостомъ.

— Это ты, Ефραίимъ, сынъ мой? — спросилъ Исаакъ съ тревогой въ голосѣ.

— Я батюшка,—былъ отвѣтъ.

— Что такъ не во-время?

— Послѣ разскажу, батюшка,—въ хатѣ.

Ворота, освобожденные отъ замка и засова, отворились. Ефραίимъ въѣхалъ во дворъ. Огромный Голіаѳъ то бросался къ мордѣ лошади — цѣловаться съ пріятелемъ Гнѣдкомъ, то кидался на Ефраима.

— А гдѣ же нанимтъ? гдѣ Хома?—снова спросилъ Исаакъ.

— Послѣ, батюшка, въ хатѣ,—былъ короткій отвѣтъ.

Скоро на дворъ вышелъ и Самсонъ, старшій сынъ Исаака и братъ Ефраима.

— Что такъ рано, братъ? А гдѣ нанимтъ?—спросилъ богатырь.

— Послѣ, послѣ... здѣсь неловко,—все тотъ же отвѣтъ.

Братья общими усилями распрягли лошадь, двинули крытую бричку подъ навѣсъ, отвели лошадь въ стойло, заперли на замокъ ворота и вошли въ домъ.

— Ну, сынъ мой, разсказывай, что случилось, — торопливо зажигаю свѣчу и спокойно глядя въ глаза сыну, спрашивалъ Исаакъ.

— Садитесь, батюшка, и выслушайте, что я расскажу, — говорилъ прїѣхавшій, отирая платкомъ пыль съ своего смуглаго красиваго лица.

Это былъ молодой человѣкъ, съ курчавою, нѣсколько раздвоенною русою бородой и мягкимъ выраженіемъ кроткихъ, какъ у отца, глазъ.

— Уши мои вмѣстѣ съ сердцемъ ждутъ, сынъ мой, что повѣдаютъ уста твои, — говорилъ Исаакъ, не отводя тревожныхъ взоровъ отъ сына. — Мои глаза читаютъ въ твоихъ глазахъ.

— Все у тебя цѣло? — спросилъ Самсонъ.

— Все цѣло, благодареніе Предвѣчному.

— Ну, сынъ мой, — торопилъ старикъ.

— Сейчасъ, батюшка. Вчера я благополучно собралъ всѣ долги, что оставались за разнымъ панствомъ, и думалъ проѣхать въ Вѣлую-Церковь, какъ мнѣ сказали хлопцы, что сегодня, на Юрья, въ Лебединскомъ монастырѣ престольный праздникъ — „великое свято“ — какъ они сказали, и что туда наѣдетъ много купцовъ, и будетъ ярмарка. Я подумалъ, не вернется ли какое выгодное дѣло на ярмаркѣ, и поѣхалъ туда, — а я былъ близко отъ Лебедина.

— Такъ, сынъ мой, выгоднаго дѣла никогда не надо упускать, — вставилъ свое слово Исаакъ. — Ну, и что жъ?

— Ну, я и поѣхалъ. Прїѣзжаю, народу — ой-ой: — видимо-невидимо. Въ монастырѣ идетъ служба, колокола звонятъ, слышно церковное пѣніе. Хома и просится: „пусти, пане, въ церковь помолиться; сегодня, говоритъ, у насъ великое свято — святого Юрка“. — Ну, — говорю, — сходи, да скорѣе вертайся. — Ушелъ Хома. И вижу я, что около монастыря стоитъ много возовъ, увязанныхъ циночками и кожами. Пойду, думаю, посмотрю, что за товаръ въ возахъ: може, думаю, дѣло навернется.

— Такъ, такъ — дѣло прежде всего, — не утерпѣлъ старый дѣлецъ.

— Подхожу къ возамъ. Спрашиваю хлопцовъ — погонщиковъ: съ чѣмъ возы? — „Съ крамомъ, — говорятъ, — съ добрымъ товаромъ изъ Запорожья“. — А съ какимъ именно? — „Съ доброю таранью“, говорятъ. — А покажите, говорю. Стали они развязывать возы, Господи Боже! я такъ и ахнулъ. Какая тамъ тарань! — все ножи, полны возы ножей!

— Ножей! какихъ ножей? — встрепенулись разомъ и Исаакъ, и старшій сынъ его.

— Ножей — желѣзныхъ, да все огромные такіе, такъ и блестятъ на солнцѣ. — Какая же, — я говорю, — это тарань? — „Желѣзная тарань“, — отвѣчаютъ хлопцы, а сами — ай-вей! — какъ скверно усмѣхаются. — Затѣмъ вамъ, — спрашиваю, — эти ножи? — „А это, — говорятъ, — гостиница“.

— О, Адонай Господь! — всплеснулъ руками Исаакъ.

— Что? что такое? — съ испугомъ спросила старая Лія, неслышно вошедшая въ комнату.

Всѣ обернулись на ея испуганный возгласъ. Ефραίмъ почтительно поздоровался съ матерью.

— Страшныя вѣсти привезъ Ефραίмъ, — пугливымъ шопотомъ прого-

ворилъ старый Исаакъ:—о, какія страшныя! Затѣвается что-то въ родѣ Хмельницкыни.

— О, Господи!—всплеснула руками Лія.

Мужчины угрюмо молчали. Исаакъ—весь блѣдный, а Самсонъ—багровый отъ злобы или иного чувства.

„Неужели воскресаютъ опять времена Хмельницкаго!—думалъ Исаакъ.—Когда жъ ты перестанешь разить насъ, мечъ божій? когда?“

— А много ихъ тамъ?—спросилъ вдругъ старикъ Когенъ.

— Кого, отецъ?

— Да этой сволочи: хлопозъ.

— Трудно сказать; но толпа большая.

— А пушки ты видѣлъ у нихъ?—спросилъ Самсонъ.

— Нѣтъ, пушекъ не было.

— Ну, такъ имъ не съ чѣмъ будетъ брать наши крѣпости и замки. Безъ пушекъ—это будетъ стадо барановъ. Наши казаки ихъ тотчасъ же разгромятъ. Эта сволочь, вѣроятно, тѣ же гайдамаки, что каждое лѣто ловятъ наши казаки. Вонъ и завтра будутъ казнить пятерыхъ.

— Будутъ казнить?

— Да. Вѣдь каждое лѣто казнятъ.

Между тѣмъ „улица“ не унималась. Мимо дома Когена въ это время проходили „дивчата“ и задорно пѣли о томъ, что имъ нечего „kozy бояться“ — „богачамъ поступаться“, что у тѣхъ богачокъ — по сорока сорочокъ, а у нихъ по одной, да и тѣ чистенькыя и т. д.

— И когда только эти проклятые хлопозы спятъ! — невольно вырвалось у Самсона.

III.

Гайдаманъ на нолу.

На другой день, съ ранняго утра, вся Умань была на ногахъ. Толпы народа сбѣжали къ ратушѣ, на площадь, гдѣ должна была совершиться казнь надъ гайдамаками.

На площади уже выстроилась сотня уманскихъ казаковъ подъ начальствомъ сотника Гонты. Всѣ были въ желтыхъ жупанахъ — барвы или цвѣта герба ихъ „дѣдича“ Потоцкаго. Кунтуши и шаровары на казакахъ были голубые. На головахъ—желтые „еломы“ съ черною барашковою опушкой, и ременные черные поясы. На поясахъ, на такихъ же ремневыхъ перевязяхъ, „шабатуры“ или продолговатые картузики для патроновъ и кремней, а также изогнутый рогъ для пороку, обтянутый кожей и оправленный въ красную мѣдь. За поясомъ, кромѣ того, длинный ножъ и ложка; черезъ плечо—ружье на погонѣ; у сѣдла—пара пистолетовъ, а третій—на шнурѣ за поясомъ; въ рукѣ—пика и нагайка. Только у Гонты висѣла сбоку длинная сабля, чего не полагалось простымъ казакамъ. Всѣ кони подъ сотней были вороной масти.

Гонта, смуглый брюнетъ съ длинными усами, смотрѣлъ задумчиво. Не первый разъ приходилось ему провожать на тотъ свѣтъ буйныхъ сыновъ вольнаго казачества.

Одну сторону площади, ту, которая примыкала къ городской тюрьмѣ, занимали украинскіе красавицы—уманскія дѣвушки, всѣ одѣтыя по праздничному, съ цвѣтами на головахъ и съ вплетенными въ косы разноцвѣтными лентами. У каждой на шеѣ бусы и кораллы. Эта сторона площади представляла собою яркій цвѣтникъ — такъ были ярки и пестры наряды уманскихъ красавицъ. Ихъ роль была почетная въ предстоявшей ужасной церемоніи, и юныя красавицы понимали всю серьезность своей роли. Отъ каждой изъ нихъ зависѣло спасти жизнь осужденнаго на казнь: выборъ ихъ равносильнъ былъ акту помилованія.

Обычай этотъ введенъ былъ въ Умани Младановичемъ. Желая ослабить силу гайдамацкихъ набѣговъ на польскую Украину и въ то же время способствовать увеличенію прироста населенія во вѣренной ему Потоцкимъ области, онъ поступалъ такъ: каждое лѣто и въ особенности весной изъ запорожскихъ степей и луговъ, которые назывались Запорожскими Вольностями, на польскую Украину и преимущественно на богатую Уманщину налетали шайки гайдамаковъ, противъ которыхъ обыкновенно высылались войска изъ Умани и другихъ пограничныхъ крѣпостей Рѣчи Посполитой. Попавшихъ въ плѣнъ молодцовъ польскія власти большею частью посылали на висѣлицу, а еще охотнѣе подвергали болѣе ужасной казни—сажали на „палю“, т. е. на колъ. Но Младановичъ ввелъ такую систему: передъ тѣмъ какъ вести плѣнныхъ молодцовъ на висѣлицу или на колъ, ихъ показывали уманскимъ дѣвушкамъ-украинкамъ. Если которая-либо изъ этихъ красавицъ останавливала свой выборъ на какомъ-либо изъ осужденныхъ на казнь гайдамаковъ и изъявляла согласіе выйти за него замужъ, то такой избранникъ сердца красавицы тотчасъ же освобождался отъ оковъ и принималъ присягу на вѣрность Рѣчи Посполитой. Тогда эту парочку вѣнчали, а въ приданое за красавицей давали участокъ земли въ Уманщинѣ, скотъ на обзаведеніе, сѣмена для посѣвовъ, лѣсъ на постройку хаты и на первыя нужды—известную сумму денегъ.

Такимъ образомъ, за десять лѣтъ губернаторства Младановича уманская волость получила приросту на тысячу семействъ — и все изъ бывшихъ головорѣзовъ.

Теперь то же должно было совершиться со вновь осужденными на казнь, которыхъ на этотъ разъ было очень немного — всего пять чловѣкъ, захваченныхъ съ оружіемъ въ рукахъ послѣднею конною высылкою изъ Умани.

Кого-то выберутъ красавицы и кого посадятъ на колъ? Какая изъ дѣвушекъ, еще вчера вечеромъ распѣвавшая съ подругами свои „веснянки“, рѣшится отдать руку и сердце головорѣзу?

Такіе вопросы тѣснились въ головахъ или срывались съ устъ зрителей, обступившихъ площадь, гдѣ должны были совершаться казни.

А орудіе казни зловѣще смотрѣли на толпу, не внушая ей, впрочемъ, опасительнаго ужаса, который воображали вселить въ умы толпы поддѣжаніи власти. Вонъ стоятъ рядомъ до десятка висѣлицъ и нѣсколько „чалъ“, торчащихъ къ небу, точно гигантскіе, заостренные для рисованья карандаши, съ приставленными къ нимъ лѣстницами. На этихъ „палахъ“—на кольяхъ—чернѣютъ даже слѣды запекшейся крови отъ недавнихъ казней. Но толпа смотритъ на всѣ эти ужасы почти равнодушно, а скорѣе—съ любопытствомъ: ей слишкомъ приглядѣлись подобныя зрѣлища и давно потеряли для нея внушительную силу. Толпѣ даже интересно видѣть, какъ будетъ корчиться на колу какой-нибудь молодецъ, а то, можетъ, еще и „люльки“ попроситъ у своихъ палачей, чтобъ въ послѣдній разъ въ жизни, сидя на колу, хорошенько затянуться тютюномъ. Вѣдь, и такіе случаи бывали съ запорожцами.

Наконецъ, послышался глухой гулъ барабана и рѣзкое, зловѣщее звяканье вандаловъ.

— Ведутъ! ведутъ!—прошелъ говоръ по площади.

Изъ того угла площади, гдѣ стояли уманскія дѣвушки, показалась процессія. Впереди шелъ священникъ съ крестомъ и евангеліемъ. За нимъ стучалъ барабанщикъ. За барабанщикомъ выступали осужденные, въ ручныхъ и ножныхъ желѣзахъ. По бокамъ конвоировалъ ихъ небольшой отрядъ „улитокъ“ или „лизней“ (liznie) — родъ сторожевой городской пѣхоты. Съ ними же шли и палачи.

Гайдамаки выступали смѣло, даже дерзко. Это все былъ рослый, красивый народъ. Они смѣло глядѣли въ глаза толпѣ. Только одинъ, самый юный и стройный, съ едва пробившимися усами, шелъ какъ-то грустно, не поднимая глазъ.

Осужденныхъ остановили противъ дѣвушекъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, застыдившись и покраснѣвъ, закрыли лица руками.

— Да и соромно жѣ, сестрички!—прошептала одна изъ нихъ.

— А я заразъ заплачу, сестрице,—прошептала другая: — такъ жаль того молоденькаго.

Къ дѣвушкамъ подѣхалъ Гонта.

— Кто изъ васъ, дивчачки, хочетъ спасти христіанскую душу? — ласково обратился онъ къ дѣвушкамъ.

Всѣ молчали, причесъ одна за другую и закрываясь руками. Гонта ждалъ. Ждали и осужденные.

— Кто хочетъ спасти христіанскую душу?—повторилъ свой вопросъ Гонта.

Опять молчаніе и робкое, стыдливое перешептываніе. Священникъ тяжело вздохнулъ. По лицамъ нѣкоторыхъ осужденныхъ прошла мрачная тѣнь. Неужели конецъ всему? Неужели въ послѣдній разъ они видятъ это голубое небо?..

Нѣкоторыя изъ дѣвушекъ плакали. Слышны были тихіе всхлипованья. Святая женская слабость боролась со страхомъ неизвѣстнаго.

— О, Сарочка, какъ мнѣ жаль того молоденькаго!—шептала хорошенькая Рахиль, сжимая руку своей младшей сестренки.—Зачѣмъ я не могу спасти его!

Она смахнула слезы, повисшія на ея прекрасныхъ длинныхъ рѣсницахъ.

— Въ послѣдній разъ: кто хочетъ спасти христіанскую душу?—возвысилъ голосъ Гонта.

— Я!—робко отозвалась молоденькая дѣвушка, почти дѣвочка, утирая слезы.

Она немного выступила впередъ. Слезы такъ и душили ее.

— Богъ да благославить тебя, доброе дитя, — съ чувствомъ сказалъ священникъ, подходя къ дѣвущкѣ и осѣняя крестомъ ея хорошенькую головку, всю убранную цвѣтами.—Который тебѣ годъ?

— Пятнадцатый,—былъ робкій, чуть слышный отвѣтъ.

— Кого жъ ты, дитя, выбираешь?—ласково спросилъ батюшка.

Дѣвушка вся зардѣлась и закрыла личико руками. Слезы такъ и капали сквозь пальцы.

— Кого же? Скажи, дочь моя,—настаивалъ священникъ.

— Вонъ его,—чуть слышно прошептала плачущая, не отнимая рукъ отъ лица.

— Котораго, дитя?

— Его...,—больше ни звука, только слезы полились еще пуще.

— Молоденькаго?—да?—того молоденькаго?

— Эге...

Толпа жадно всматривалась и вслушивалась въ то, что передъ нею происходило.

— Вотъ умища!—радостно шепнула Рахиль своей сестренкѣ.

Священникъ взялъ тихонько подъ локоть плачущую дѣвущку и подвелъ къ младшему изъ осужденныхъ.

— Тебя, сынъ мой, сія чистая отроковица избрала предметомъ христіанскаго милосердія,—обратился батюшка къ послѣднему.—Хочешь-ли ты взять сію отроковицу себѣ въ жены? Отвѣдай предъ животворящимъ крестомъ Господа Бога и предъ святымъ Его евангеліемъ. Хочешь ли?

— Хочу,—былъ глухой отвѣтъ.

— И присягнешь на крестъ и евангеліи—быть впредь добрымъ христіаниномъ?

— Присягну.

— И покаешься во всѣхъ прегрѣшеніяхъ твоихъ?

— Каюсь,—былъ отвѣтъ.

— Снять кандалы съ кающагося злодѣя!—сказалъ Гонта, обращаясь къ палачамъ.

Двѣ темныя фигуры съ капюшонами на головахъ приблизились къ покаившемуся гайдамаку и быстро расковали на немъ ручные и ножные кандалы. Раскованный выпрямился идохнулъ полной грудью.

— Перекрестись трикраты, сынъ мой, — сказалъ священникъ. Гайдамакъ перекрестился.

— Цѣлуй крестъ и евангеліе.

И это требованіе священника было исполнено. Тогда батюшка, отнявъ правую руку отъ лица дѣвушки, уже не плакавшей, а только стыдливо закрывавшейся, вложилъ ея трепещущую руку въ жесткую ладонь гайдамака.

— Какъ твое имя? — спросилъ батюшка послѣдняго. — Какъ зовутъ тебя?

— Опанасомъ, — былъ отвѣтъ.

— Рабъ божій Аѳанасій, — повторилъ про себя священникъ. — А тебя, дочь моя, какъ зовутъ?

— Галя...

— Галя?.. Галина — яснота, ясность, — бормоталъ батюшка, любуясь смущеніемъ дѣвушки. — Галя-ясность — во-истину ясная и чистая отроковица... Ну, Воже благослови: обручается раба божія Галина рабу божію Аѳанасію... Богъ благословитъ васъ, дѣтки. Цѣлуйте крестъ.

— И я хочу, — вдругъ послышался среди дѣвушекъ несмѣльный голосъ.

— И я...

Всѣ взоры обратились къ толпѣ дѣвушекъ.

— Ого! — послышался сдержанный, но злорадный смѣхъ между уманскими парубками: — и этимъ захотѣлось... Оттакои!

— Кто еще? — спросилъ Гонта, обращаясь къ дѣвушкамъ.

Опять всѣ смолкли, точно воды въ ротъ набрали, и прятались одна за другую, закрываясь рукавами.

— Кто же еще изъ васъ? — подошелъ къ нимъ священникъ. — Выходите.

Никто не трогался съ мѣста.

— Вотъ она, батюшка, Докія, — показала одна изъ дѣвушекъ на свою сосѣдку, закрывшуюся рукавомъ.

— Ты, дочь моя? — спросилъ батюшка.

— Вона, батюшка, — повторила та же предательница: — и Горпина съ нею, съ Докійкою.

Батюшка обратился къ первой изъ нихъ, — къ той, которую называли Докіей.

— Ты, Евдокія, тоже хочешь спасти христіанскую душу?

— Хочу, — отвѣчала Докійка уже смѣлѣе.

— Котораго же изъ нихъ?

— Вотъ того... кучеряваго! — и она указала на плечистаго молодца, уже съ сильною просѣдью въ усахъ и въ кудрявой головѣ.

— Ни, я того хочу! — выступила вдругъ та, которую звали Горпиной.

— Овва! — послышался возгласъ среди парубковъ: — дви на одного.

Въ толпѣ раздался смѣхъ — „Оттакомъ ловись!“ — „На двойхъ женись!“

Священникъ посмотрѣлъ на эту вторую претендентку. Это была рослая и красивая украинка со множествомъ коралловъ и дукачей на шеѣ.

— Нѣтъ, дочь моя, — сказалъ батюшка: — Евдокія раньше тебя изъявила желаніе оказать христіанское милосердіе сему грѣшнику (онъ ука-

залъ на кудряваго гайдамака); а ты, если желаешь, выбери себѣ другого.

— Такъ я жъ не хочу другого!—обидчиво отозвалась Горпина, отступая въ толпу подружекъ.

Послѣдовавъ взрывъ смѣха среди парубковъ.

— Коли мое не въ лады, то я съ своимъ назадъ,—схидно замѣтилъ кто-то.—Ишь закотѣла баба чужую куделю пряхъ.

За первыми нашлись и другія охотницы до замужества, такъ что еще два гайдамака были обручены съ уманскими красавицами. Съ нихъ сняли кандалы и поставили въ сторонѣ, каждого съ своей невѣстой. Остался одинъ, никѣмъ не выбранный. Это былъ приземистый, плечистый богатырь лѣтъ пятидесяти, съ багровымъ, застарѣлымъ шрамомъ на лѣвой щекѣ отъ польской или турецкой сабли. Онъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ смотрѣлъ на церемонію обрученія уманскихъ красавицъ съ гайдамаками. Съдвѣ усы его двумя жгутами спадали на могучую грудь. Изъ-подъ конусообразной смушковой съ краснымъ верхомъ шапки спускался на разрубленную щеку такой же сѣдой чубъ „оселедецъ“.

— Кто желаетъ спасти послѣдняго изъ осужденныхъ?—обратился Гонта къ дѣвушкамъ.

Изъ среды ихъ выступила полногрудая, съ типомъ вакханки, красавица, вся въ монистахъ и серебряныхъ дукачахъ, которые при малѣйшемъ движеніи ея звенѣли словно наборная сбруя на лошади.

— Танцорка... танцорка!—прошелъ шепотъ по площади.

Это была гулящая, извѣстная на всю Умань гетера, дерзкая на языкъ и лучшая въ цѣломъ городѣ танцорка.

— Я!—сказала она, вызываясь смотря на толпу своими красивыми нахальными глазами, и прямо подошла къ осужденному.

Тотъ смѣрилъ ее удивленными глазами съ головы, украшенной цѣлой копной яркихъ піоновъ, до ногъ, обутыхъ въ красные черевички съ мѣдными подковами, и отступилъ.

— Геть!—сурово сказалъ онъ: — одчепись! Я бѣжалъ въ Запорожье отъ одной такой вѣдьмы, а тутъ навязывается другая! Геть! одчепись! Скорѣй на палю, чѣмъ съ тобою!

Неожиданность и тонъ, съ которымъ все это было сказано, ошеломили красавицу. Площадь дрогнула отъ хохота. Но уманская вакханка быстро овладѣла собой.

— Такъ чертъ же съ тобой, собачій сынъ, — крикнула она, вся побагровѣвъ.— Пропадай же ты на палѣ! Нехай тое падло вороны клюють!

И она быстро затерлась въ толпѣ, преслѣдуемая насмѣшками.

Понятно, что послѣ этого ни одна дѣвушка не рѣшилась къ нему подойти, и участь осужденнаго была рѣшена. Гонта взглянулъ на дѣвушекъ—тѣ стояли потупившись. Онъ взглянулъ на осужденнаго.

— На палю!—глухо проговорилъ онъ, обращаясь къ палачамъ.

Черныя фигуры приблизились къ осужденному.

— Погодите, дѣти мои, — отстранилъ ихъ рукою священникъ, протягивая къ осужденному крестъ: — онъ пока еще мой.

Палачи отошли въ сторону.

— Сынь мой! — кротко обратился священникъ къ осужденному. — Ты христіанинъ?

— Христіанинъ, батюшка, — также кротко отвѣчалъ осужденный.

— Вѣруешь въ Бога, сынь мой?

— Вѣрую... Я не ляхъ и не татаринъ.

— Прими же, сынь мой, послѣднее напутствіе святой православной церкви: — покайся во грѣхахъ твоихъ, и милосердый Богъ приметъ кающагося. Онъ самъ сказалъ: „пріидите ко Мнѣ всѣ страждущіе и обремененные, и Азъ упокою вы“...

Осужденный наклонилъ голову.

— Гришенъ, батюшка: у среду и въ пятницу скоромне нѣтъ, — тихо сказалъ онъ.

— А убійства и грабежи, сынь мой? — спросилъ батюшка.

— Не гришенъ: я ризавъ тилько ляхивъ та татаръ, та деколи жиди на верби ловисишь-було. Се не грихъ...

— Грѣхъ, сынь мой, великій грѣхъ!

Священникъ, накрывъ наклоненную голову осужденнаго епитрахилью, сталъ шепотомъ читать молитвы. Осужденный набожно крестился, звеня кандалами.

Молитвы кончены. Священникъ осѣнилъ осужденнаго крестомъ и далъ приложиться къ Распятію.

— Теперь онъ вашъ и Боговъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ палачамъ.

Черныя фигуры снова приблизились.

— Раскуйте его, — приказалъ Гонта.

Осужденнаго расковали.

— Свяжите и поднимите на палю, — снова приказалъ Гонта.

Палачи съ веревками подошли къ осужденному.

— Геть! — грозно отстранилъ онъ ихъ рукою: — я не собака, щобъ мене вязать! Я самъ пиду на палю.

Гонта зналъ, что запорожецъ исполнитъ слово, и приказалъ палачамъ отойти.

Осужденный низко поклонился народу.

— Простить мене, люди добри! — смиренно сказалъ онъ. — Я за васъ умираю.

— Богъ простить, Богъ простить! — прошелъ ропотъ по толпѣ.

Осужденный глянулъ на висѣлицы, на колья, торчавшіе къ голубому небу, на это глубокое голубое небо, и ровными шагами направился къ одному изъ кольевъ, самому высокому. Подойдя къ нему, онъ не спѣша (да и къ чему было спѣшить!) поднялся по приставленной къ колу лѣстницѣ, достигъ верхней перекладины ея, остановился и повернулся лицомъ къ народу. Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ, а многіе съ ужасомъ слѣдили

за каждымъ его движеніемъ. Тысячи глазъ впились въ выраженіе его мужественнаго лица.

— Прощайте, люди добри! — сказалъ запорожецъ, обозрѣвая съ высоты всю площадь. — Дивитесь, якъ запорожецъ Харько Розбій-Глекъ сидае на коня.

И онъ опустился на остріе ужаснаго кола, точно садился въ кресло. Женщины испустили крикъ ужаса. — „Мати Вожа“!..

— Ого-го-го! коню мій, коню! — глухо простоналъ, пересиливая страшную боль, ужасный человѣкъ и ногой оттолкнулъ лѣстницу — послѣднюю точку опоры, которая еще могла нѣсколько поддерживать тяжесть его тѣла, теперь всецѣло налегавшаго на остріе кола.

Замѣтно было, какъ тѣло казнимаго опускалось все ниже: въ него входилъ ужасный колъ. Но лицо страшнаго чѣловѣка не выражало страданій — ни одинъ мускулъ не выдалъ его.

— Но-но, коню! но — до дому! — говорилъ страшный человѣкъ, мужественно пересиливая нечеловѣческія муки.

Потомъ онъ не спѣша полѣзъ въ карманъ своихъ широкихъ желтыхъ шароваръ, досталъ оттуда кисетъ съ табакѣмъ, „люльку“ и „кросало съ огнивомъ“, набилъ трубку тютюномъ, досталъ кусочекъ тругу, вырубилъ огня и закурилъ трубку.

Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное. Одинъ изъ прощенныхъ уже гайдамаковъ, тотъ именно кудрявый богатырь, на котораго претендовали разомъ двѣ невѣсты — Докійка и Горпина, — пораженный мужествомъ своего товарища, добровольно и безстрашно взоседшаго на колъ и еще запалившаго на немъ „люльку“, и стыдясь своего малодушія, вдругъ бросилъ свою невѣсту и стремительно кинулся къ другому колу.

— Соромъ! соромъ, панове! не дайте своей воли проклятымъ ляхамъ! На пали!

За нимъ бросились и остальные помилованные.

— Разъ родила мати — разъ и умирати! — кричали они, минуя висѣлицы и спѣша къ колыямъ.

— Добре! добре, хлопци! — кричалъ, въ свою очередь, Харько Розбій-Глекъ, сидя на колу и поправляя на головѣ свою высокую, конусообразную шапку: — не давайте проклятымъ ляхамъ!

Но палачи и „лизи“ схватили ихъ и послѣ отчаянныхъ усилій перевязали.

IV.

Нежданная встрѣча.

Утро слѣдующаго дня было, казалось, еще лучше чѣмъ наканунѣ. Солнце только что выкатилось изъ-за блѣдно розовой полосы далекаго продолговатаго облачка, превращая въ сверкающіе брилліанты каждую ро-

синку и на листѣ свѣже-распустившагося граба, и въ чашечкѣ каждаго цвѣтка, и на стебляхъ молодой травы, искрапленной весенними цвѣтами.

Это чудное утро застало Исаака Когена и его сына Ефраима въ дорогѣ. Легкая дорожная бричка, запряженная парой сытыхъ степныхъ коней, медленно двигалась роскошнымъ лугомъ по тракту на Бердичевъ и Полонное.

Несмотря на то, что на душѣ стараго Исаака было смутно, онъ не могъ не поддаться чарующей прелести этого утра. Ласковая природа, казалось, сама говорила ему: „Смотри, какъ тихо и мирно на моемъ вѣчномъ лонѣ. Каждый листикъ на деревѣ, каждая травка чувствуютъ всю благодать жизни дарованной имъ Творцомъ всего этого необъятнаго, прекраснаго міра. Затѣмъ вы, люди, отравляете прелесть бытія вѣчными заботами?“

А жизнь, радостная, беззаботная, такъ и была ключомъ повсюду, куда только могъ достигнуть умиленный, грустный взоръ Исаака. Камыши и зеленая осока у невидимой глазу рѣчки, казалось, любовно шептались между собою. Съ радостнымъ крикомъ, свистя въ воздухъ крыльями, пронесились надъ долиной дикія утки. Утренній воздухъ прорѣзывали мелодическіе голоса болотныхъ куличковъ. Медленно расхаживали по зеленымъ зарослямъ длинноногіе и бѣлогрудые аисты, какъ бы сознательно наслаждаясь благодатнымъ утромъ—такимъ утромъ, которое, быть можетъ, напоминало имъ другое утро, тамъ, далеко, на берегахъ Ганга, гдѣ у нихъ, какъ и здѣсь, въ томъ небольшомъ поселкѣ, имѣлось свое, давно насиженное гнѣздо...

— И это гнѣздо на берегахъ Ганга, какъ и на берегу Тыкича, никто не разоряетъ.— грустно шевельнулось въ душѣ Исаака. — А у народа божьяго, у Израиля...

Онъ молча махнулъ рукой и вновь отдался природѣ.

Надъ травкою и надъ кудрявыми кустами красной таволги, словно брошенные въ воздухъ бѣлые и ярко-желтые лепестки, перепархивали мотыльки, наслаждаясь краткими моментами жизни. Отъ времени до времени слышались въ травѣ крики коростеля-дергача, а въ другой сторонѣ выбивалъ свою весеннюю пѣсню перепелъ. И тутъ же, покрывая все собою, доносился съ близкаго болота задорный, чисто демократическій хоръ лягушекъ, безъ которыхъ весна теряла бы все свое очарованіе, всю поэзію возрождающейся природы.

Все это глубоко трогало смущенную душу стараго Когена. Задумчивые глаза его вдругъ остановились на одной точкѣ въ воздухѣ. Тамъ, расправивъ крылья, какъ бы нервно трепеталъ пернатый хищникъ—ястребъ. Онъ, видимо, сторожилъ добычу.

— Гайдамакъ... гайдамакъ,—мелькнуло въ умѣ Когена.

И вся роскошь природы, весь этотъ живой говоръ травы, лѣса, воздуха, эта чудная зелень, обдаваемая теплыми лучами весенняго солнца—все это разомъ подернулось тѣнями.

Ястребъ сторожить беззаботно наслаждающуюся жизнью невинную

пташечку, а эта невинная пташечка зорко слѣдитъ за беззаботно порхающею пестрою бабочкой. Вонъ цапля острымъ клювомъ проколола и подняла на воздухъ сейчасъ только весело и задорно квакавшую въ болотѣ лягушку.

— Вездѣ свои гайдамаки, сторожащіе добычу—дѣтей Израиля,—шевельнулось въ душѣ Когена.

Отъ созерцанія природы мысли его перешли къ предмету ихъ поѣздки.

— Только бы застать его въ Полонномъ,—разсуждалъ онъ самъ съ собою, между тѣмъ какъ Ефραίимъ видимо дремалъ, пригрѣтый солнцемъ:—только бы застать дома. Онъ святой мужъ. Можетъ быть, онъ и поможетъ общей бѣдѣ, а можетъ, и самое бѣдствіе отворотить. Въ немъ великая сила. Вѣдь онъ же своимъ пророческимъ предвидѣніемъ спасъ отъ разоренія городъ Немировъ, когда въ Подолію ворвались несметныя полчища татаръ и шли прямо на Немировъ: онъ своею молитвою отворотилъ ихъ отъ города. Какъ знать!.. Молитва святого мужа—это великая сила. Развѣ не молитвою къ Предвѣчному Иисусъ Навинъ остановилъ ходъ солнца, когда сказалъ: „Стой, солнце, въ Гибеонѣ!“ А развѣ не молитва святого мужа разверзла хляби морскія, когда Моисей простеръ руки надъ Чернымъ моремъ и оно разступилось передъ народомъ израильскимъ?

Навстрѣчу ѣхала телѣга, нагруженная хворостомъ, а сверху хвороста сидѣлъ хлопъ и лѣниво тянулъ о томъ, какъ „въ полѣ могила—съ вѣтромъ говорила“...

О чемъ разговаривала могила съ вѣтромъ, онъ не досказалъ, а громко икнулъ и также лѣниво проговорилъ:

— У! та-й добри жъ колеса у жидивъ!.. Отъ якъ бы мени таки колеса!

И онъ снова затянулъ все о томъ же, какъ „въ полѣ могила—съ вѣтромъ говорила“...

— Вотъ и онъ поетъ,—подумалъ старый Когенъ.—А отчего жъ мнѣ не приходилось видѣть, чтобъ еврей вотъ также ѣхалъ и пѣлъ?.. Моя маленькая Рахиль права, что у насъ нѣтъ пѣсенъ... Вотъ и иволга поетъ, и овсянка поетъ, а еврей не поетъ... Нѣтъ для еврея и весны.

— А живъ-ли еще тотъ гайдамакъ?—какъ бы очнувшись, вдругъ заговорилъ Ефραίимъ.

— Какой гайдамакъ?—съ удивленіемъ спросилъ Исаакъ, еще не исполнивъ прихода въ себя отъ своихъ думъ.

— Да тотъ, что на колѣ посаженъ.

— А! тотъ? А что?

— Да я вечеромъ ходилъ на площадь, такъ онъ еще былъ живъ.

— Не удивительно: ужа проткни вилами, такъ онъ все будетъ извиваться; то же и гайдамакъ—сущій ужака.

Онъ помолчалъ. Солнце уже сильно припекало.

— Такъ ты говоришь, что изъ Лебедина хлопъ собирались идти къ Черкесамъ?—вдругъ спросилъ Исаакъ.

— Да, отецъ: такъ мнѣ сказывалъ Хома.

— Такъ, можетъ, они пойдутъ и дальше, къ Бердичеву, а Умань оставлять въ сторонѣ?

— Можетъ быть, дай-то Богъ.

— Да... Но чѣмъ же Бердичевъ хуже Умани? Тамъ тоже наши братья,—грустно покачалъ головой старый Когенъ.

Въ сторонѣ, изъ-за зелени, блеснула полоска воды. Это маленькая рѣчка извивалась змѣйкою среди камышей и темнозеленаго ситника, незамѣтно исчезая въ кустахъ верболоза. Тамъ же одиноко стояла развѣсистая ива.

— Не пора ли покормить лошадей, батюшка?—сказалъ Ефραίимъ.— Уже далеко за полдень... кони притомились, да и печетъ сильно; кстати жегутъ и вода.

— И то правда, пора покормить,—отозвался отецъ.

Они свернули съ дороги прямо къ рѣчкѣ и остановились въ тѣни ивы. Ефραίимъ, привыкшій къ частымъ поѣздкамъ по торговымъ дѣламъ своего дома, тотчасъ же отпрегъ лошадей и задалъ имъ овса, который онѣ, впрочемъ, не охотно ѣли, съ жадностью поглядывая на пробѣгавшую у самыхъ корней ивы рѣчку: упарившихся на солнцѣ умныхъ животныхъ такъ манила къ себѣ журчавшая у корней ивы прозрачная вода.

— Ну, раньше чѣмъ вы не остынете я вамъ не дамъ пить, — съ улыбкой сказалъ имъ Ефραίимъ.— Вы какъ дѣти готовы накинуться на холодную воду, а тамъ васъ, запаленныхъ, и продавай за полцѣны.

Умныя животныя поняли своего господина и лѣниво стали жевать сухой овесъ.

— Ужъ и оводы надоѣдливые! — говорилъ Ефραίимъ, сгоняя оводовъ со спинъ лошадей.

— Да, и тутъ гайдамаки, чтобы поживиться чужой кровью,—какъ бы про себя замѣтилъ старый Когенъ, разстлалъ коверъ подъ тѣнью ивы и усаживаясь на немъ.—Вездѣ гайдамаки.

Между тѣмъ Ефραίимъ вынулъ изъ брички небольшой дорожный мѣшокъ и, сядя рядомъ съ отцомъ, разостлалъ на коврѣ чистое полотенце.

— Теперь пора и намъ пообѣдать, — говорилъ онъ, вынимая изъ мѣшка сдобныя круглыя лепешки съ запеченными въ нихъ яйцами, пару копченой жирной тарани и жареную курицу. Ефραίимъ почерпнулъ воды изъ рѣчки, и оба умыли руки.

— Буди благословенъ и т. д.,—проговорилъ затѣмъ Исаакъ и взялъ лепешку. То же сдѣлалъ и Ефραίимъ.

— А умно придумали хлопы вотъ эти самыя круглыя лепешки съ яйцами,—говорилъ онъ, разламывая лепешку и вынимая запеченное въ ней яйцо.—Ахъ, какъ умно! И называютъ ихъ „бурсаками“. И точно бурсаки: когда ихъ поповичи отправляются въ Кіевъ, чтобъ учиться въ бурсѣ, то матери и снабжаютъ ихъ на дорогу вотъ этими бурсаками: въ нихъ разомъ и хлѣбъ, и готовое яйцо, которое въ лепешкахъ и не разбивается дорогой.

— Люблю я вот такъ трапезовать въ дорогѣ, гдѣ-нибудь у ручья, либо у рѣчки, или у степной криницы,—продолжалъ онъ. — Гораздо это пріятнѣе, чѣмъ въ душной хатѣ или въ корчмѣ. Тутъ и травка, и водичка, и птички поютъ, лошади пофыркиваютъ. А еще лучше подъ вечеръ: разложимъ бывало съ Хомой огонекъ у ручья, поставимъ треногъ, повѣсимъ котелокъ съ пшеномъ, да маслица туда или соленого леца — вотъ и кулишъ готовъ. Только, бывало, Хома все жалѣлъ, что мы свиного сала не ѣдимъ: „вотъ бы,—говорить,—паночку Храиме, натовкти добраго сала, та въ кулишъ, что за кулишъ бувъ бы!“ А жаль Хома: добрый былъ хлопецъ, честный, работающій. Сидимъ, бывало, съ нимъ у огонька, ѣдимъ кулишъ, лошади тоже ѣдятъ овесъ, пофыркиваютъ, а онъ рассказываетъ мнѣ свои хлопскія сказки, либо про запорожцевъ, про ихъ набѣги на Крымъ... А надъ нами темное-темное небо, и въ немъ звѣздочки мигаютъ.

Съ грустной улыбкой слушалъ старый Когенъ наивную болтовню своего сына. И самъ онъ немало постранствовалъ по Украинѣ,—по Волини и Подолии, часто проводилъ ночи у огонька, въ полѣ, или отдыхалъ вотъ около такой же, какъ эта рѣчонки... Не мало пережито и передумано.

— Да, жаль Хому,—какъ бы про-себя продолжалъ Ефраимъ, колотя таранью о стволъ ивы, чтобъ легче содрать съ нея кожу. — Теперь его честныя руки, можетъ быть, ужъ и кровью обрызганы.

— А все по хлопской глупости,—съ своей стороны, замѣтилъ Исаакъ, принимая изъ рукъ сына очищенную тарань.

— По глупости, по слѣпотѣ своей; а другіе злодѣи, изъ запорожцевъ, тѣ просто ндуть для грабежа, какъ и тотъ, котораго вчера на колъ посадили.

— А живучъ, проклятый. Рахиль видѣла, какъ онъ самъ сѣлъ на колъ, и хотъ бы крикнулъ, хотъ бы поморщился.

— А достань фляжку съ виномъ,—сказалъ Исаакъ:—эту жирную тарань надо запить венгржиномъ.

Ефраимъ досталъ изъ брички фляжку въ плетенкѣ и серебряную чарку и подаль отцу. Исаакъ сталъ разглядывать съ любовью старинную чарку.

— О! дорогая, дорогая эта вещьца! — говорилъ онъ задумчиво. — Многое видала она на своемъ вѣку... Сколько устъ прикасалось къ ней! Видѣла она и Кордову, и Севилью, и Гранаду. Въ Испаніи еще пили изъ нея хересъ и малагу наши предки. И вотъ она странствуетъ въ нашемъ родѣ, какъ странствуетъ самъ израильскій народъ... Вѣчная чарочка... серебряный Агасеерь... Можетъ быть, и пирамиды египетскія видѣла она, и мутный Нилъ, и воду рѣкъ вавилонскихъ, быть можетъ, пили изъ нея наши предки—воду пополамъ съ кровавыми слезами...

— Да, отецъ, она, несомнѣнно, египетской работы, — подтвердилъ Ефраимъ: — на ней изображены два сфинкса и ибисъ, а тотъ цвѣтокъ въ родѣ водяной лиліи—это непременно цвѣтокъ лотоса.

— Правда; это говоритъ и великій нашъ праведникъ, — замѣтилъ Исаакъ.

— Это дядя Іаковъ-Іосифъ?

— Да, великій братъ мой, нынѣ пророкъ во Израилѣ.

Въ это время съ отлогого возвышенія, на которое поднималась дорога, ведущая къ Бердичеву и Полонному, спускалась какая-то фура. Наши путешественники замѣтили ее.

— Кто-то ѣдетъ, — сказалъ Исаакъ, шуря глаза.

— Да. И это еврейская балагула, — замѣтилъ Ефраимъ, у котораго зрѣніе было острѣе отцовскаго: — и еврей сидитъ на облучкѣ.

— Можеть быть, онъ везетъ какого-нибудь обѣднаго шляхтича.

— Нѣтъ, отецъ, и изъ балагулы, я вижу, выглядываетъ еврей.

— Тѣмъ лучше — нашъ братъ.

Балагула приближалась. Скоро можно было Ефраиму различить и черты сидѣвшаго въ балагулѣ.

— Воже! вотъ неожиданность! — радостно воскликнулъ онъ.

— Что такое, сынъ мой? Какая неожиданность?

— Да это, кажется, самъ дядя Іаковъ-Іосифъ... Онъ! онъ!

— Господа! — не то радостно, не то испуганно воскликнулъ старый Когенъ. — Это перстъ Божій!

И оба, и отецъ и сынъ, торопливо пошли навстрѣчу запыленной балагулѣ.

VI

Апостолъ хасидизма.

Это былъ дѣйствительно Іаковъ-Іосифъ, апостолъ хасидизма, начало которому положилъ знаменитый въ исторіи новѣйшаго еврейства Бештъ изъ Меджибожа, учитель не менѣе знаменитаго Бера изъ Межирича.

Іаковъ-Іосифъ приходился двоюроднымъ братомъ нашему знакомому Исааку Когену изъ Умани и происходилъ изъ того же рода Когеновъ.

Іаковъ-Іосифъ Когенъ, — какъ рассказываетъ одинъ изъ его біографовъ, — былъ однимъ изъ важнѣйшихъ учениковъ и ревностѣйшихъ сподвижниковъ Бешта. Онъ познакомился съ основателемъ хасидизма и увѣровалъ въ него еще раньше, чѣмъ проповѣдникъ Беръ. Это было около 1747 года. Іаковъ-Іосифъ былъ тогда раввиномъ въ Шаргородѣ, въ Подоліи. Трогательная молитва Бешта произвела на него очень сильное впечатлѣніе. Онъ долго колебался, размышлялъ, но наконецъ рѣшилъ пристать къ Бешту. Онъ тайкомъ поѣхалъ къ нему въ Меджибожъ и пробылъ у него до тѣхъ поръ, пока Бештъ не „поднялъ его“ на высоту своей мудрости.

Но вскорѣ тайная приверженность раввина къ хасидскому ученію была обнаружена, и Іаковъ-Іосифъ заявилъ открыто о своей „ереси“. Тогда поднялись противъ него многіе представители общины, пошлѣ въ

городѣ раздоры, интриги и распри, кончившіеся тѣмъ, что раввина „выгнали изъ города въ самый канунъ субботняго дня“.

Послѣ этого изгнанія онъ былъ раввиномъ въ городѣ Рашковѣ и затѣмъ—въ Немировѣ. Здѣсь слава его росла съ каждымъ годомъ, привлекая къ нему массы слушателей. Въ глазахъ своихъ послѣдователей онъ стяжалъ славу истиннаго пророка и святого мужа: онъ-то, по преданію, силою молитвы отклонилъ отъ Немирова нашествіе татарской орды. О немъ въ Немировѣ сохранилось такое преданіе: „Каждый день онъ занимался ученіемъ, облаченный въ „талесъ“ и „тефилинъ“. Передъ кушаньемъ онъ читалъ лекцію изъ Талмуда въ нѣсколько страницъ, и даже во время кушанья, между однимъ блюдомъ и другимъ, съ устъ его не сходили слова ученія. Онъ вставалъ всегда въ полночь, и лѣтомъ и зимою, даже въ дни праздничные, и все сидѣлъ надъ своими фоліантами. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ совершалъ и благотворительныя дѣла: выкупалъ плѣнныхъ и раздавалъ много милостыни. Самъ же жилъ въ нуждѣ на свой скудный заработокъ. Его ученіе, равно какъ его молитва, сопровождалась необыкновенною восторженностью и священнымъ трепетомъ, часто приводившими его въ изнеможеніе“.

Это былъ религиозный, глубоко убѣжденный энтузіастъ, а такіе личности двигаютъ горами: народныя толпы слѣдуютъ за ними слѣпо, какъ жельзо за магнитомъ.

„Послѣ смерти Бешта, — рассказываетъ тотъ же біографъ, — когда центръ тяжести хасидизма былъ перенесенъ изъ Подолія въ Волынь (гдѣ находилась резиденція Вера—Межиричъ), Іаковъ-Іосифъ также перекочевалъ туда и очутился раввиномъ въ волынскомъ мѣстечкѣ Полонномъ, въ которомъ уже оставался до конца своей жизни. Здѣсь онъ съ большей еще энергіей занимался пропагандою хасидскаго ученія. Онъ умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ, уже въ то время, когда его имя было окружено ореоломъ величія и святости, какъ имя лучшаго ученика основателя хасидизма и апостола его ученія“.

Съ этимъ-то „апостоломъ хасидизма“ и встрѣтились теперь наши уманскіе знакомые—Когены. Балагула Іакова-Іосифа свернула въ сторону и остановилась рядомъ съ бричкой Когеновъ.

Изъ балагулы вылѣзъ, поддерживаемый племянникомъ, Ефраимомъ Когеномъ, худенькій, нервный и подвижной старичокъ съ длинною, бѣлою апостольскою бородой. Лицо его, необыкновенно пріятное, общимъ типомъ напоминало лицо Исаака Когена—характерный типъ, пережившій тысячелѣтія и сохранившій свою чистоту,—типъ, не погибшій ни въ волнахъ всемірнаго потопа, ни въ пучинахъ Чермнаго моря, не утонувшій даже въ кровавыхъ рѣкахъ инквизиціи и безчисленныхъ, во всѣ тысячелѣтія и во всѣхъ странахъ повторявшихся безчеловѣчныхъ погромахъ; но въ глазахъ прибывшаго было что-то неуловимое, то, о чемъ приходится сказать, что оно—„не отъ міра сего“. Одѣтъ онъ былъ совсѣмъ просто, даже бѣдно; но у всякаго, кто съ нимъ встрѣчался и чей взоръ оста-

навливался на лицѣ этого бѣдно одѣтаго старика, — у всякаго такого рука невольно поднималась къ головѣ, чтобъ почтительно обнажить ее. „Долой шапку!“ вотъ что чувствовалъ внутри себя всякій, встрѣтившійся со взглядомъ этого бѣдно одѣтаго старика.

Послѣ первыхъ привѣтствій вновь прибывшаго съ почетомъ усадили на коверъ подъ тѣнью ивы.

— Вы куда ѣдете? — спросилъ Іаковъ-Іосифъ. — По торговымъ дѣламъ?

— Нѣтъ, дорогой братъ, — отвѣчалъ Исаакъ Когенъ, — дѣло, по которому мы собрались въ путь, важнѣе всѣхъ торговыхъ дѣлъ всего израильскаго народа.

— Что же такое? — съ большимъ вниманіемъ спросилъ раввинъ: — по дѣлу нашей религіи?

— Да, и по дѣлу религіи, — отвѣчалъ Когенъ: — мы ѣхали собственно къ тебѣ, дорогой братъ, но Всеблагій предупредилъ насъ: Онъ самого тебя послалъ къ намъ навстрѣчу.

— Но я ѣду въ Немировъ, — возразилъ Іаковъ-Іосифъ.

— Все равно; но ты встрѣтилъ насъ — въ этомъ я вижу перстъ Всеблагого — Того, чей перстъ водилъ народъ израильскій по пустынѣ и привелъ въ землю обѣтованную.

— Ну, говори дальше: мои уши открыты и пронесутъ въ мой мозгъ и въ мое сердце то, что ты скажешь во имя Всеблагого.

— Затѣвается страшное дѣло для Израиля, — сказалъ Исаакъ, — топоръ лежитъ у дерева, чтобы срубить его.

— Какой топоръ? Тотъ топоръ, о которомъ ты говоришь, вотъ уже много тысячелѣтій лежитъ у дерева, а дерево все растетъ и зеленѣетъ, и будетъ расти и зеленѣть, пока не придетъ Тотъ, Который обѣщалъ придти.

— Ну, дорогой братъ, ты ученѣе и мудрѣе меня, — какъ бы извинился Исаакъ: — пусть заржавѣетъ тотъ топоръ подъ деревомъ и дерево пусть зеленѣетъ вовеки. Но на насъ приготовлены ножи... Вотъ мой сынъ видѣлъ собственными глазами и слышалъ собственными ушами.

Раввинъ слушалъ рассказъ молча. Лицо его выдавало внутреннее волненіе, но глаза смотрѣли куда-то вдаль, точно онъ читалъ тамъ что-то и прочитанное взвѣшивалъ въ своемъ умѣ.

Потомъ онъ сидѣлъ молча, какъ и прежде. Молчали и всѣ. Слышно было только, какъ лошади жевали овесъ и иногда фыркали, а за рѣчкой, въ травѣ, выбивалъ свою пѣсню перепелъ, да возница-еврей, привезшій Іаковъ-Іосифа, набожно вздыхалъ иногда.

— А что же хлопы съ ихъ (да будутъ они прокляты) ножами? — прервалъ молчаніе Исаакъ.

Раввинъ какъ бы очнулся отъ задумчивости и взглянулъ на вопрошающаго. Глаза его горѣли вдохновеніемъ.

— Хлопы и ихъ ножи? — спросилъ онъ. — Такъ слушайте, имѣющіе уши. Это мнѣ разсказалъ передъ смертію мой великій учитель, блажен-

ной памяти Бештъ—да будетъ благословенна эта память вовѣки! То что онъ разсказалъ мнѣ, не записано въ нашихъ священнѣхъ книгахъ, но записано въ сердцахъ только достойныхъ потомковъ вождя народа израильскаго.

— Вспомните, что мы—избранный народъ—всегда были народомъ гонимымъ; но помните, мы никогда не были рабами; духъ нашъ, духъ израильскаго народа никогда не былъ порабощенъ. Никогда никѣмъ! Помните это! Фараоны, возложивъ на насъ тяжкія работы; поработивъ надолго наше тѣло, никогда не были въ силахъ поработить нашъ духъ. Насъ не поработили ни богатства ихъ, ни боги—боги, всегда порабащавшіе менѣ сильныхъ духомъ. Духомъ мы оказались сильнѣе фараоновъ и ихъ боговъ. Ведомые своимъ духомъ, своимъ Богомъ, мы покинули землю египетскую, а тѣ сильные, которые нѣсколько столѣтій питались нашимъ тѣломъ, а потомъ вздумали остановить насъ, поработить нашъ духъ,—погибли въ пучинѣ моря. Потомъ насъ плѣнили халдеи, всемогущіе владетели Вавилона, и поселили насъ на рѣкахъ своихъ; но и они не поработили нашего духа; мы только плакали на рѣкахъ вавилонскихъ, но не играли на гусляхъ и не пѣли, какъ они намъ повелѣвали; мы разсѣкли надвое наши руки, чтобы не играть на гусляхъ нашихъ и не пѣть въ странѣ плѣненія. Мы возвратились изъ страны изгнанія непорабощенными. Мы побѣдили своихъ побѣдителей: они исчезли съ лица земли, мы—остались. Скоро новая, болѣе страшная туча нависла надъ нашею страной. Надъ Іудеею разразились громы съ высотъ Капитолія, изъ рукъ Юпитера капитолійскаго. На стѣнахъ нашего священнаго города появились золотые орлы римскихъ легионовъ. Римскіе орлы клевали наше тѣло; но духъ іудеи они не могли заклевать. Гдѣ же теперь этотъ древній Римъ?.. Мы одни уцѣлѣли, хотя и разсѣялись по лицу земли, унося съ собою нашъ духъ, нашего Бога... Проходили годы, столѣтія... Насъ, разнесенныхъ вихремъ временъ по лицу земли, какъ вѣтеръ осени разноситъ опавшіе листья,—насъ стали вездѣ преслѣдовать. Насъ, какъ прокаженныхъ, запирали въ отдѣльныхъ кварталахъ въ ихъ городахъ, насъ травили собаками, насъ лишали всяческихъ правъ, божескихъ и человѣческихъ; наше имя сдѣлало поношеніемъ между людьми; насъ жгли на кострахъ... Но мы уцѣлѣли; мы прошли невредимыми черезъ костры инквизиціи, какъ раньше того прошли черезъ Чермное море и черезъ безводную пустыню. Нашъ духъ и тамъ остался непорабощеннымъ. Насъ изгнали отовсюду...

Онъ остановился и какимъ-то яснымъ, умленнымъ взоромъ обвелъ вокругъ себя.

— О, милыя, родныя поля! родныя для народа, потерявшаго родину!—восторженно, съ плачемъ въ голосъ воскликнулъ онъ.—Солнце, пригрѣвшее насъ сырыхъ, изгнанныхъ отовсюду!

Онъ молитвенно поднялъ глаза и руки къ небу.

— Великодушная страна, пріютившая изгнанниковъ!

Тяжело дыша, онъ протянулъ Когену руку, и ясная, какая-то младен-

ческая улыбка отразилась на всемъ его лицѣ и въ особенности въ глазахъ.

— Да, братъ, намъ не привыкать къ гоненіямъ,—сказалъ онъ: — пережили худшія, переживемъ и это. Прежде противъ насъ шли цари и полководцы, и то мы устояли; а теперь—только хлопцы. А придетъ время—и хлопцы поумиѣютъ. Ну, а какъ здоровье доброй Лін?

— Спасибо, дорогой братъ,—отвѣчалъ Исаакъ:—но все не то, что было: лѣта берутъ свое.

— А хорошенькая Рахиль не дождалась еще жениха?

— Ну, она еще молода: пусть попрыгаетъ.

— А востроглазая Сарка?

— Это настоящій козленокъ,—все собирается въ Іерусалимъ, а дальше Немирова не была.

— А Самсонъ, Моше?

— Молодцы, все дѣловой народъ... А вотъ мы заслушались тебя и угостить забыли. Подавайка-ка, Ефραίимъ, сюда всю нашу страву.

Энтузіаста-раввина стали угощать „бурсаками“ и жареной курицей. Старый Когенъ нѣсколько повеселѣлъ.

— Ну, съ этой сволочью—съ хлопцами—и конфедераты справятся,—замѣтилъ старый Когенъ.

— А надворные казаки? У насъ ихъ достаточно,—добавилъ Ефραίимъ.— Одинъ Гонта чего стоитъ! Онъ отлично умѣетъ сажать на колъ гайдамаковъ: вонъ у насъ въ Умани и теперь одинъ изъ нихъ курить трубку на колу.

— Какъ курить трубку на колу?—удивился раввинъ.

— Дѣйствительно,—пояснилъ Исаакъ:—сидя на колу, этотъ злодѣй самъ закурилъ трубку и до самой ночи былъ живъ на этомъ колу.

— О, Господи!—всплеснулъ руками раввинъ:—что за народъ! И отчего Всеблагому не направить этотъ народъ на доброе! Но я вѣрю, что придетъ и это время, хотя не скоро: часто тьма упорѣе свѣта, и зло нерѣдко царствуетъ надъ добромъ.

Когда немного спалъ жаръ, наши путешественники всѣ вмѣстѣ направились къ Умани.

VI.

Подъ Грековымъ лѣсомъ.

Въ Умани между тѣмъ случилось нѣчто, сначала не обратившее на себя ничего вниманія, но вполнѣдствіи разрѣшившееся роковыми событіями.

День былъ воскресный. Хорошенькая Рахиль, старшая дочь Исаака Когена, которая собиралась наканунѣ, въ субботу, итти съ своей пріятельницей Миріамъ къ Грекову лѣсу гулять и собирать ранніе полевые цвѣты, не успѣла этого сдѣлать въ свое время, потому что, какъ мы видѣли,

вмѣстѣ съ прочими обитателями Умани ходила смотрѣть на казнь гайдамаковъ, и отложила эту прогулку на другой день. Она рѣшилась на это тѣмъ охотнѣе, что дома у нихъ, съ неожиданнымъ прїѣздомъ ея брата Ефраима, почему-то стало особенно скучно и однообразно. Всѣ были тѣмъ-то озабочены, иногда многозначительно переглядывались между собой, но ни ей, Рахили, ни младшей ея сестренкѣ Сарѣ ничего не говорили. Мало того, и отецъ, и Ефраимъ, на другой день, рано утромъ, уѣхали въ Полонное къ дядѣ ея, раввину Іакову-Іосифу. Мать, старая Лія, почему-то все охала, вздыхала и молилась. Повидимому, что-то случилось или должно было случиться, и притомъ что-то нехорошее. Вѣроятно, Ефраимъ привезъ какія нибудь дурныя вѣсти: или какой нибудь должникъ не уплатилъ денегъ, или же умеръ, а послѣ него ничего не осталось. Но подобныя семейныя огорченія юная еврейка не особенно принимала къ сердцу: жизнь еще не научила ее цѣнить то, что цѣнили старшіе, и потому она довольно равнодушно относилась къ накопленію ея родителями богатствъ.

— Все деньги да деньги на умѣ,—думала она,—какъ имъ это не надоѣсть! Вѣдь и такъ у отца много денегъ — мы въ Умани, пожалуй, богаче всѣхъ евреевъ... Нѣтъ, лучше идти за цѣвѣтами въ Грековъ лѣсъ: возьму свою Миру да Сарку — и отправимся... Ахъ, счастливыя украинскія дѣвушки—эти „дивчата“: имъ можно гулять хоть цѣлыя ночи напролетъ, и пѣть, сколько голосу хватить, и танцовать съ парубками. А мы, бѣдныя еврейскія дѣвушки, должны сидѣть дома и ждать, когда присватается какой нибудь... „парубокъ!“ — „парубокъ“—еврей!—смѣшно даже сказать:—у насъ и парубковъ нѣтъ, а все какіе-то длиннополые раввины, въ родѣ нашего Самсона... Только и рѣчи, что про Тору да про Талмудъ... Скучно! Мнѣ хочется прыгать, смѣяться, а онъ про Тору! Да идти намъ нельзя одиѣмъ дѣвушкамъ... Какая скука быть еврейской дѣвушкой! Надо хоть Моше пригласить съ собой.

И Рахиль пошла отыскивать брата. На дворѣ она увидала Сару, которая продѣлывала разныя штуки съ Голіаѳомъ. Громадный, добродушный песъ сидѣлъ на заднихъ лапахъ, а на носу у него лежалъ кусочекъ хлѣба. Собака сидѣла не шевелясь, боясь уронить драгоцѣнный кусокъ. Глаза ея заискивающе смотрѣли на плутоватое личико Сары.

— Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро!—говорила юная шалунья и останавливалась на минуту.

Голіаѳъ терпѣливо ждалъ, боясь даже хвостомъ шевельнуть.

— Есть! — вдругъ сказала Сара, и добродушный песъ, тряхнувъ головой, такъ что кусочекъ хлѣба свалился съ его носа, ловко подхватилъ его налету и мгновенно проглотилъ, радостно облизываясь и ожидая новой подачи.

Сара положила ему на носъ другой кусочекъ и погрозила пальцемъ.

— Смирно сидѣть!

Песъ не шевелился, весь превратившись въ ожиданіе и въ слухъ.

— Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро, живете, зѣло, земля, иже, и, како,

Лія, — продолжала свой алфавитъ веселая плутовка, нарочно пропустивъ букву „есть“, а глухой Голиаевъ все ждалъ именно этой буквы, чтобы схватить шептавшій его собачье обоняніе лакомый кусочекъ.

— Мыслете, нашъ, онъ, покой, рцы, слово, твердо, — продолжала шалунья.

— Сарка! ты что его мучишь? — закричала ей Рахиль.

— Я не мучу, я учу его азбукѣ, — отозвалась шалунья. — Ну, слушай, Голиаевъ, да, смотри! не пропусти главнаго: азъ, буки, вѣди, глаголь, добро, есть!

Голиаевъ мотнулъ головой, и кусочекъ хлѣба опять очутился въ его искусной пасти. Песъ такъ обрадовался, что на этотъ разъ не пропустилъ главнаго, т. е. слова „есть“, что заметался, запрыгалъ и обלאпил свою шалунью-учительницу.

— Ой, ой, пошелъ, Голиаевъ, ты меня повалишь! — отбивалась отъ лапъ собаки шалунья.

— Перестань, Сарка! — подошла къ ней Рахиль. — Гдѣ Моше?

— Онъ въ лавкѣ, — отвѣчала Сара, отбиваясь отъ собаки.

— А мама?

— И мама въ лавкѣ.

— Все въ лавкѣ да въ лавкѣ! Знаешь, Сарочка, пойдемъ, отпросимъ его у мамы и пойдемъ въ Грековъ лѣсъ цвѣты рвать.

— Ахъ, какъ весело! — захопала въ ладоши Сара. — Вотъ такъ умица, Рахилечка! Непремѣнно пойдемъ.

— И Миру возьмемъ съ собой.

— И Миру, и Голиаевъ! Голиаевъ! пойдемъ съ нами гулять въ Грековъ лѣсъ, будемъ цвѣты рвать, на травѣ валяться, а ты себѣ зайчика поймаешь, — болтала Сара.

Сестры отправились къ лавкѣ, которая находилась тутъ же при домѣ, но въ особой пристройкѣ, и выходила на улицу. Голиаевъ, довольный успѣхами въ изученіи азбуки, весело слѣдовалъ за ними.

Старая Лія сидѣла за прилавкомъ и вязала шерстяной шарфъ для мужа. Моше же у входныхъ дверей читалъ какую-то еврейскую книжку.

— Мама, отпусти съ нами Моше, — сказала Рахиль, входя въ лавку.

— Куда это вы собрались? — спросила Лія, не отрываясь отъ работы.

— Въ Грековъ лѣсъ, мама, за цвѣтами.

— А я тебѣ, мама, грибовъ соберу, — съ своей стороны добавила Сара.

— Мухоморовъ, — улыбнулась Лія: — ты ужъ разъ чуть не угостила меня мухоморами.

— Нѣтъ, нѣтъ, я теперь знаю, — оправдывалась Сара.

— Мнѣ надо прогуляться, мама, а то у меня что-то голова болитъ, — добавила Рахиль. — Мы и Миру возьмемъ съ собой.

— И Голиаевъ, — пояснила Сара.

Старая Лія очень любила своихъ „дѣвочекъ“, и потому наекъ Рахили на головную боль сразу покорило сердце матери.

— Только не оставайтесь тамъ до вечера,—предупредила она,—а то коровы будутъ идти съ поля—какъ бы не забодала какая шальная, да и хлопы могутъ обидѣть.

— А Голіаѳъ на что?—храбро возразила Сара.—Онъ задастъ этимъ разбойникамъ-филистимлянамъ.

— А вотъ и Мира!—радостно сказала Рахиль:—легка на поминѣ.

Къ лавкѣ подошла высокая, стройная дѣвушка, лѣтъ семнадцати. Волосы ея были нѣжно-золотистаго цвѣта, и цвѣтъ лица, матово - блѣдный, особенно бросался въ глаза тѣмъ, что у пришедшей были черныя брови и прекрасные черные глаза съ густыми и черными рѣсницами.

При видѣ ея, точно свѣтъ какой отразился на спокойномъ дотошѣ лицѣ молодого еврея. Моше всталъ и отошелъ въ тѣнь, но глаза его выразили не то радость, не то тревогу.

— Мира, — сказала Рахиль: — мы сейчасъ идемъ въ Грековъ лѣсъ. Ты съ нами?

— А кто идетъ? — спросила Миріамъ, скользнувъ взоромъ по лицу Моше.

— Я, Сара и Моше,—отвѣчала Рахиль.

— И Голіаѳъ съ нами,—добавила Сара:—ужъ онъ всю азбуку выучилъ.

— Хорошо, я очень рада,—согласилась Миріамъ:—только я сбѣгаю домой—скажу мамѣ, что иду съ вами.

Сара запрыгала отъ радости, а за ней и Голіаѳъ сталъ носиться какъ бѣшеный. Миріамъ ушла.

Въ это время отъ того мѣста, гдѣ находилась „гѣльда“-ратуша и городская площадь, послышалось воронье карканье, и цѣлая стая птицъ съ крикомъ закружилась въ воздухѣ. Старая Лія съ испугомъ поглядѣла туда.

— О, Господи!—вздыхнула она:—помилуй насъ.

— Что это, Моше?—спросила Сара.

— Эти птицы, должно быть, клевали тѣло гайдамака на колу, а ихъ, вѣроятно, кто-нибудь спугнулъ,—отвѣчалъ молодой еврей: — разбойникъ только вчера къ вечеру издохъ.

— Это ужасно! — вздрогнула Рахиль:—я никогда больше не пойду смотрѣть на такія страсти.

— А какъ онъ вырубалъ огонь своимъ кресаломъ — брр? — сказала Сара.—А теперь, вѣрно, и трубка его вывалилась изъ рта.

— Ахъ, Сарочка, не говори такого страшнаго,—остановила ее мать.

— Вонъ опять опускаются вороны,—указала пальцемъ Сара.

— Да перестань ты, глупая!—останавливала ее мать.

— Что-жъ, мама,—кости ужъ не страшны,—оправдывалась Сара. — И отчего это мертвое тѣло страшно?—продолжала она разсуждать. — Вонъ въ мясной лавкѣ — тоже мертвое тѣло, овцы или коровы, а мнѣ не страшно на нихъ глядѣть: отчего же мертвый человѣкъ такой страшный?

— Оттого, что ты глупая дѣвчонка,—отрѣзалъ Моше.

— Ну, самъ-то умный!

Скоро явилась и Миріамъ, и маленькое общество двинулось въ путь.

— Смотрите же, дѣти, не запаздывайте, — наказывала имъ старая Лія: — вонъ ужъ солнышко не очень высоко.

Молодая компанія отправилась по звенигородской дорогѣ. Впереди бѣжалъ Голіаѳъ, гоняясь за вылетавшими изъ травы овсянками да золотистыми синичками и неистово лая на нихъ.

— А вонъ и сорокопудикъ кричитъ на деревѣ, — указала Сара на одно дерево: — должно быть у него тамъ гнѣздо. А знаешь, Мира, почему этихъ рябенькихъ птичекъ зовутъ сорокопудами? — спросила она Миріамъ.

— Да, вѣроятно, потому, что въ нихъ по сорока пудъ вѣсу, — улыбнулась Миріамъ.

— А откуда ты это узнала? — удивилась Сара.

— Да такъ: не даромъ же ихъ называютъ сорокопудами.

— Э! значить, ты не знаешь, а я знаю, — торжествовала Сара. — Хочешь, я расскажу тебѣ?

— Ну-ну, расскажи.

— А вотъ слушай. Когда Богъ сотворилъ міръ — птицъ, звѣрей, деревья и человѣка, Адама и Еву, — одна маленькая рябенькая птичка и сѣла на вершину, на самую тоненькую вершинку одного высокаго дерева; вершинка и согнулась подъ этою птичкой. А другія птицы, большія, сидѣли ниже, на толстыхъ вѣткахъ, которыя не гнулись. Ева какъ увидѣла, что подъ маленькой птичкой согнулась вершина высокаго дерева, и говоритъ Адаму: „смотри — должно быть, въ той маленькой птичкѣ пудовъ сорокъ будетъ: вонъ большія птицы ни одна не погнула дерева, а только подъ этою рябенькой птичкой согнулось такое высокое дерево“. Съ тѣхъ поръ ее и называли сорокопудикомъ.

Всѣ засмѣялись надъ такимъ филологическимъ объясненіемъ.

— Откуда же ты это узнала, милая Сарочка? — спросила Миріамъ, желая замять ссору брата и сестры.

— Это мнѣ рассказалъ нашъ бывшій наймитъ Хома, — отвѣчала Сара. — Онъ мнѣ много хорошаго рассказывалъ, очень много! Жаль только что онъ теперь не у насъ ужъ: его совсѣмъ расчитали.

— За что? — спросила Миріамъ. — Развѣ онъ былъ нехорошій?

— Нѣтъ, онъ былъ очень хорошій, только онъ почему-то не могъ у насъ остаться.

Ни Сара, ни Рахиль не знали, что ихъ общій любимецъ, веселый и добродушный наймитъ Хома, пошелъ въ гайдамаки: отъ нихъ это скрыли старшіе, чтобы заранѣе не пугать дѣвушекъ и чтобы тревожныя вѣсти о гайдамакахъ не распространились по городу. Моше зналъ все, но молчалъ: такъ велѣли старшіе.

— Вонъ опять кричитъ сорокопудикъ, — остановилась подъ другимъ деревомъ Сара.

— Давнѣ Ева и Адамъ говорили по-хохлацки? — спросилъ ее Моше, желая подразнить.

— Затѣмъ по-хохлацки! — удивилась Сара.

— А какъ же? Сорокопудъ — это хохлацкое слово, хлопское. А знаешь, какъ его зовутъ по-нѣмецки? — спросилъ Моше.

— Не знаю. А какъ?

— Гайдамакъ, — улыбнулся Моше.

— Ну вотъ! смѣйся! Точно я дурочка. Такого слова вовсе нѣтъ по-нѣмецки.

— Право же, Сарачка, — настаивалъ братъ. — Эта птичка по-нѣмецки называется Neuntödtger — девятиубійца — вотъ какъ страшно.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Право же такъ; и еще называютъ его Würger — тоже значить убійца, разбойникъ.

— Вотъ странно, — замѣтила Мириамъ: — такая маленькая птичка, и такое у нея страшное имя.

— Да эта птичка вѣдь ужасно злая; вообразите — иволга тоже зла: она бьетъ и отгоняетъ отъ своего гнѣзда большихъ птицъ — сорокъ, воронъ, даже хищныхъ кобчиковъ и ястребовъ; а сорокопудикъ и иволгу побиваетъ, хотя почти вдвое меньше ея, и бьетъ даже ястреба, который передъ сорокопудикомъ — великанъ. Вотъ почему онъ гайдамакъ.

Рахиль, между тѣмъ, усердно рвала цвѣты.

— Ахъ, какіе пивники, какіе колокольчики! — восторгалась она.

Мириамъ побѣжала къ ней и также стала рвать цвѣты.

Они были уже въ лѣсу — у опушки Грекова лѣса. Все кругомъ перестрѣло цвѣтами. Зеленъ была чудная, еще непожженная солнцемъ, непримятая никѣмъ. Надъ нею цѣлыми роями жужжали пчелы, носились бабочки.

Южная весна была въ полномъ развитіи. Все цвѣло и благоухало. И кто бы могъ предвидѣть, что не далѣе какъ черезъ мѣсяцъ или недѣль черезъ пять эта зеленъ вся будетъ залита кровью, завалена трупами, потоптана окровавленными конскими копытами!.. Кто могъ теперь думать, что именно это мѣсто будетъ ареною страшныхъ злодѣяній, что весь этотъ лѣсъ и это поле, въ теченіе нѣсколькихъ дней, будутъ оглашаться криками безпощадно убиваемыхъ, стонами умирающихъ, проклятіями убійцъ!

Вдругъ невдалекѣ послышался отчаянный дѣтскій крикъ.

— Что это? кто кричитъ? — испуганно переглянулись дѣвушки.

Крикъ повторился еще съ большей силой. Голіаѳъ стремительно, съ лаемъ, бросился къ тому мѣсту, откуда неслись крики. Моше побѣжалъ за нимъ.

— Моше! Моше! о-о! не уходи отъ насъ! — кричали дѣвушки.

VII.

Слѣпой нобзарь.

Черезъ нѣсколько минутъ послышался голосъ молодого еврея.

— Не бойтесь! Идите сюда—это „старци“ — слѣпой нищій и мальчикъ-мѣхоноша.

Голіаѳъ продолжалъ лаять, несмотря на то, что Моше останавливалъ его.

— Идите же! Имъ надо помочь!—кричалъ молодой еврей.

Первая пошла на зовъ, хотя робко, Миріамъ. За нею послѣдовали Рахиль и Сара.

Вскорѣ подлѣ одного широколиственного осокоря онѣ увидѣли слѣпного нищаго съ бандурой, какіе ходятъ по ярмаркамъ и базарамъ и поютъ духовные стихи или невольницкія думы, а около него, на травѣ, сидѣлъ мальчикъ лѣтъ одиннадцати или двѣнадцати и громко плакалъ, по временамъ повышая голосъ: — ой-о-ой! ой-о-ой! Около мальчика сидѣлъ Моше и разсматривалъ его ногу.

— Что такое случилось?—спросила Рахиль, осторожно приближаясь.

— Охъ, паниочка ласкава, — проговорилъ смиренно слѣпонецъ, черезъ плечо котораго крестообразно перевѣшены были сумки для подаяній, а въ рукѣ былъ длинный посохъ—„костуръ“.—Хлопчика моего гадюка укусила.

Всѣ подошли ближе.

— Почему жъ ты знаешь, что его гадюка укусила? — спросила Рахиль.

— Ахъ, паниочка ласкава, хлопчикъ видѣлъ, какъ она уползла потомъ подъ корни осокоря,—отвѣчалъ нищій.

Мальчикъ, между тѣмъ, продолжалъ стонать и плакать. Моше возился около него.

— Подожди, дурачокъ, не кричи: я помогу тебѣ, вылтѣчу.

И молодой еврей досталъ изъ кармана перочинный ножичекъ. Но едва онъ раскрылъ его, какъ мальчикъ завозился и закричалъ.

— Ой-ой! я боюсь! Винъ ризать хоче...

— Держи его, — сказалъ Моше Рахили: — я сдѣлаю ему то же, что сдѣлалъ мнѣ Хома, когда меня укусила въ руку гадюка въ степи.

Рахиль и Миріамъ стали держать плачущаго мальчика, и Моше, нѣсколько разрѣзавъ ножомъ укушенное гадюкою мѣсто, припалъ къ нему ртомъ и сталъ высасывать изъ него змѣинный ядъ и кровь. Онъ нѣсколько разъ высасывалъ и сплевывалъ. Голіаѳъ, хотя злобно косился на слѣпца и иногда рычалъ, однако, былъ заинтересованъ операціей и съ недоумѣніемъ посматривалъ то на плачущаго мальчика, то на своего господина: зачѣмъ же онъ его кусаетъ, точно нашъ братъ, собака? Я бы-де не такъ тяпнулъ этого оборвыша.

А слѣпецъ все стоялъ на одномъ мѣстѣ и вздыхалъ: — „о, Господи! Господи!“

Наконецъ Моше кончилъ операцію и перевязалъ раненую ногу платкомъ. Мальчикъ нѣсколько успокоился и глядѣлъ на всѣхъ удивленными глазами.

— А ну, встань,—сказалъ ему Моше.

Тотъ повиновался, но едва ступилъ на больную ногу, какъ опять закричалъ и упалъ на траву.

— Ой, болить, болить! Ой, мама, мама!—плакалъ мѣхоноша.

— Господи! Мати Божя! что жъ я, невидущій, буду дѣлать?—сокрушался слѣпецъ.—Помирять придется тутъ.

— А куда вы идете?—спросилъ Моше.

— Въ Умань, паночку ласкавый.

— Такъ мы доведемъ.

— А хлопчика? Оно, мабуть, идти не можетъ.

— Такъ я его донесу.

— О, паночку, паночку! какіе жъ вы добрые!—умилялся слѣпецъ.— Я вѣчно за васъ буду Бога молить.

— А за хлопчика ты не безпокойся,—успокаивалъ его Моше: — моя матушка отлично умѣетъ лѣчить отъ гадючаго укуса; она и меня вылѣчила.

Между тѣмъ, солнце уже значительно склонилось къ закату. Пора было и въ городъ возвращаться.

— Ну, дѣти,—часъ до хаты,—сказалъ Моше сестрамъ и Миріамъ.— И цвѣтовъ нарвали, да и хлопчика нашли: это будетъ мой цвѣтокъ. Ну, хлопче, давай я тебя понесу, какъ ляльку.

И онъ бережно поднялъ своего пациента.

— Держись руками за шею—крѣпче.

Мальчуганъ повиновался, стараясь не плакать.

— Вотъ собачьему сыну счастье!—качалъ головою слѣпецъ.— Папы его на ручкахъ носятъ... А—подумаешь—до чего мы, старцы, дожили: у пановъ на рукахъ.

Слова эти, однако, сопровождались такою значительною улыбкой, что если бъ кто поймалъ ее, то очень-очень задумался бы надъ ея значеніемъ. Самъ онъ, хотя и прикрытый лохмотьями и обвѣшанный нищенскими торбинками, казался далеко не старымъ и, на первый взглядъ, довольно бодрымъ, а длинные съ рѣзкой просѣдью усы придавали ему мужественное выраженіе.

— А ты, дѣдъ, держись за мое плечо,—сказалъ Моше:—вотъ я и буду твоимъ поводитыремъ.

— О, Господи, до чего дошло,—умилялся слѣпецъ:—паны у старцевъ поводитырями стали.

Они направились къ городу. Впереди шли дѣвушки, а за ними осталъная труппа въ сопровожденіи Голіаза, который уже не гонялся за птич-

ками, а шель солидно, держась поближе къ Моше и недоувѣрчиво иногда косясь на слѣпца.

— А откуда вы идете?—спросилъ Моше.

— Изъ-за Тыкича, паночку,—отвѣчалъ слѣпецъ.

— Изъ Звенигородки?

— Нѣтъ, поближе тутъ, съ одного хуторка.

— А что слышно тамъ у васъ?

— Про что, паночку?

— Про гайдамаковъ ничего не слышать?

— Э! да гдѣ тамъ, паночку, гайдамаки! Недавно вашъ панъ Гонта такого имъ прочухана задалъ, такого чосу, что не скоро опомнятся, вражьи дѣти.

— Да, правда,—подтвердилъ Моше:—одного изъ нихъ у насъ въ субботу на колъ посадили.

— Посадили-таки?—спросилъ слѣпецъ какимъ-то страннымъ голосомъ.

— Посадили.

— А кого, паночку? Какъ звали его?

— Чудно такъ: Розбій-Глекъ.

— Розбій-Глекъ?—слѣпецъ чуть замѣтно дрогнулъ. — Ну, и какъ же посадили его на колъ?

— Самъ сѣлъ.

— Самъ! Ахъ, Господи!

— Да еще и трубку на колу закурилъ.

— Молодецъ, Харьков, молодецъ! — точно противъ воли вырвалось у слѣпца.

— А ты его развѣ зналъ?—удивился Моше.

— Нѣтъ, паночку,—спохватился слѣпецъ:—слыхалъ, люди говорили... Страшный былъ розбишака...

Оба помолчали. Моше чувствовалъ, что лежавшая на его плечѣ рука слѣпца дрожала.

— А что, паночку,—снова заговорилъ послѣдній:—только одного этого гайдамаку поймали?

— Нѣтъ, пятерыхъ.

— Пятерыхъ... А что же съ остальными сдѣлали—повѣсили?

— Нѣтъ, ихъ выбрали себѣ въ мужья уманскія дѣвчаты.

— И они согласились?

— Еще бы не согласиться! Висѣлица, колъ, или брачная постель: есть изъ чего выбирать.

— А Розбій-Глека развѣ ни одна дивчина не выбрала?

— Выбрала одна, да онъ самъ не захотѣлъ.

Снова помолчали. Вотъ сейчасъ и городъ.

— Може, паночку, вы утомились? — заговорилъ опять нищій слѣпецъ. — Дайте я понесу хлопьятко: у меня руки здоровыя, только очи Богъ отнялъ.

— Я не усталъ,—отвѣчалъ молодой еврей.

— Ну, какъ не устать, паночку! Дайте я понесу, а то соромъ будетъ по городу идти: панъ несетъ на рукахъ хлота, собачьяго сына, жобрака,—настанвалъ слѣпецъ.

Моше, наконецъ, уступилъ. Но когда онъ передавалъ мальчика на руки слѣпцу, случилось нѣчто неожиданное.

Голіаевъ, остановившійся вмѣстѣ съ прочими, почему-то взглянулъ въ лицо слѣпцу—и съ страшной злобой бросился на него, уцѣпившись зубами въ лохмотья нищаго. Умная собака, чутьемъ подозрѣвавшая что-то неладное въ поведеніи слѣпца, теперь увидѣла, что мнимый слѣпецъ—вовсе не слѣпой:—Голіаевъ поймалъ обманъ въ осмысленномъ, лукавомъ взорѣ, который бросилъ на собаку, вѣроятно, ошибкой, въ минутной забывчивости, мнимый слѣпецъ, принимая изъ рукъ Моше къ себѣ на руки своего поводыря. Этотъ моментъ уловила умная собака и съ яростью бросилась на обманщика. Слѣпецъ догадался, что нечаянно выдалъ себя; но онъ сразу сообразилъ, что собака не выдастъ его—она не умѣетъ говорить. Съ трудомъ могли оттащить Голіаева отъ его жертвы. Но истиннаго смысла сцены никто не могъ понять: тайна слѣпца осталась тайной, только не для Голіаева...

Сильною рукою слѣпецъ взялъ мальчика, словно перышко, и загадочно улыбнулся.

— Ишь, вражій песъ! — сказалъ онъ: — думаетъ, что я отнималъ у васъ хлопятко силой,—ну, и накинуся на меня, какъ на злодія.

Они продолжали путь тѣмъ же порядкомъ и вошли въ городъ, когда уже стемнѣло.

— Какъ же намъ быть теперь съ хлопчикомъ? — снова заговорилъ слѣпецъ.—И кто меня доведетъ до Игната?

— До какого Игната?—спросилъ молодой Когень.

— До Игната Богатаго; онъ меня знаетъ и пуститъ къ себѣ на ночь,—отвѣчалъ слѣпецъ.

— А! да Игната Богатаго всѣ въ городѣ знаютъ,—сказалъ Моше:—онъ у насъ давно войтомъ.

— Вотъ къ нему-то мнѣ и надо бы.

— Ну, до войта и я доведу тебя, онъ недалеко отъ насъ.

— Спасибо, паночку ласкавый... А какъ же съ хлопчикомъ-то?

— Хлопчикъ у насъ переночуетъ: матушка полѣтитъ его.

— А за это пускай дѣдушка споетъ намъ свои думы, — неожиданно вмѣшалась въ разговоръ Сара:—мама очень любитъ „невольничій плачъ“, да и мы всѣ любимъ.

— Добро, добро, милая паняночка,—улыбнулся слѣпецъ. — По головочку слышу, хоть и не вижу, что оно, дивча-паняночка, еще совсѣмъ молоденькое.

— Ну!.. ужъ мнѣ тринадцатый годъ!—протестовала юная дѣвица.

— Охъ, лишечко! уже тринадцатый! — разсмѣялся слѣпецъ: — почти совсѣмъ большая панночка.

Скоро всѣ очутились около лавки Когеновъ. Старая Лія сидѣла на крыльцѣ, а около нея нѣсколько сосѣдокъ съ дѣтьми: день былъ воскресный, и всѣ наслаждались теплымъ весеннимъ вечеромъ.

Увидѣвъ приближающихся дѣтей, а съ ними слѣплого нищаго съ ребенкомъ на рукахъ, Лія сначала даже испугалась не случилось ли чего съ „дѣвочками“. Но Сара весело подбѣжала къ ней.

— Ахъ, мама! — зашебетала она: — онъ (она указала на слѣпца) обѣщаль намъ спѣть „невольничій плачъ“.

— Да гдѣ вы его взяли? — удивилась старая Лія. — А что съ его хлопчикомъ?

— Его гадюка укусила въ ногу, а Моше немножко помогъ ему и обѣщаль, что ты вылѣчишь хлопчика, и дѣдушка споетъ намъ казачкія думы.

Слѣпецъ низко поклонился и опустил своего мѣхоношу на землю, у крыльца.

— Будьте здоровы, люди добрые! — сказалъ онъ: — съ праздничкомъ, со святою недѣлею.

— Дай и вамъ, Боже, щобъ усе було гоже, — отвѣчали бабы-сосѣдки.

Лія была очень сердобольная женщина, и тотчасъ же, по просьбѣ дѣтей, которыхъ она обожала, приняла сердечное участіе въ укушенномъ мальчикѣ. Она велѣла Рахили принести изъ кухни теплой воды, съ помощью кухарки тутъ же, на крыльцѣ, при свѣтѣ огарка, обмыла раненую ногу, достала въ лавкѣ какую-то цѣлебную мазь, лѣкарственные свойства которой извѣстны были ей одной, намазала на чистую тряпочку, приложила къ ранѣ и тщательно забинтовала ногу.

— Завтра же, хлопчику, ты и ходить будешь, — сказала она. — А есть у тебя мать?

— Нѣтъ, пани ласкава, онъ круглый сиротка, — отвѣчалъ за мальчика слѣпецъ.

— Онъ, мама, у насъ ночуетъ, — вмѣшалась Сара: — а дѣдушку Моше отведетъ къ войту.

— Хорошо, дѣточки, хорошо, — согласилась добрая Лія.

— А теперь дѣдушка пускай споетъ намъ „невольничій плачъ“, — не унималась юная любительница казачскихъ думъ.

— Добро, добро, хорошая панночка, спю, — улыбнулся слѣпецъ: — только не мѣшало бы горло промочить.

— Чѣмъ? — наивно спросила Сара.

— Чѣмъ, паночка ласкава? Да водицею изъ той криницы, что стоитъ у васъ въ плянкѣ на полици.

— А!.. водкою, — догадалась Сара. — Принести, мама?

— Принеси, принеси, дѣточка.

Сара моментально скрылась въ лавкѣ, и черезъ минуту водка была

принесена. Юная „панночка“ сама налила довольно объемистый стаканъ и сама подала слѣпцу. Тотъ выпилъ и крякнулъ.

— У! да и добра же оковита, отъ добра!.. Ну, теперь я и заплачу съ моею бандурою.

VIII.

Невольницкій плачъ.

Слѣпецъ досталъ свою бандуру, которая висѣла у него за плечами вмѣстѣ съ нищенскими „торбинками“, опустился на землю, поджавъ ноги по-турецки, и сталъ настраивать свой нехитрый инструментъ. То онъ натягивалъ колышки со струнами, то опускалъ, перебирая пальцами по струнамъ и прислушиваясь къ ихъ меланхолическому „ладу“.

Всѣ обступили его. Даже Голявъ, сидя на заднихъ ногахъ и откинувъ въ сторону косматый хвостъ съ впившимися въ него репьями, не сводилъ глазъ съ бандуры, точно изъ нея долженъ былъ выскочить заяцъ.

Бандура налажена. Пальцы слѣплого артиста осторожно стали перебирать струны, тогда какъ пальцы другой руки то прижимали, то опускали „лады“ едва замѣтно скользя по нимъ. Выходила грустная-грустная мелодія, дававшая чувствовать, что гдѣ-то въ душѣ уже накипають невыплаканныя слезы.

Послышался глубокій вздохъ — вздохъ наболѣвшаго сердца. Но это былъ не вздохъ, а предголосокъ, похожій на тихій стонъ... За стономъ послышались слова, тихія, словно шопотъ молитвы: пѣлось о томъ, какъ на Черномъ морѣ, на бѣломъ камнѣ, въ полону турецкомъ, на турецкой галерѣ, бѣдные невольники въ три ряда посажены, да по — два и по — трое другъ къ другѣ прикованы, а руки ихъ сыромятными ремнями за спинами скручены...

Глухая бандура слѣпца говорила все внятнѣе и жалостливѣе, а тихій шопотъ молитвы все болѣе и болѣе переходилъ въ сдержанный плачъ, въ задушаемое рыданіе. Слышалось, какъ въ груди пѣвца все болѣе и болѣе накипаютъ слезы — вотъ-вотъ онѣ выльются со стономъ, съ задавленной болью...

Кругомъ все замерло въ глубокомъ молчаніи. Всѣ, казалось, ждали взрыва этихъ стоновъ, этихъ задушаемыхъ рыданій...

Но голосъ пѣвца смолкъ, оборвался, и только струны подъ быглыми пальцами продолжали плакать, какъ бы готовясь къ взрыву, къ крику истерзанной души.

Всѣ ждутъ продолженія, словъ, новыхъ жалобъ; но пѣвецъ молчитъ — слезы, казалось, сдавили ему горло. А живыя струны все плачутъ, тихо, безмолвно плачутъ.

И вдругъ странный слѣпецъ вскидываетъ голову, пальцы быстрѣе заходили по струнамъ, бандура глухо застонала, и вмѣстѣ съ этимъ стономъ застонали слова „невольническаго плача“: въ этомъ плачѣ пѣлось, какъ въ Свѣтлое воскресенье не сизые орлы заклекотали, а бѣдные без-

счастливые невольники въ тяжелой неволѣ рыдали, на колѣни упали, кандалами „брызгали“, Господа милосерднаго просили-благали...

— Мати Божя!—раздался чей-то сдержанный стоны.

Всѣ оглянулись... Въ сторонѣ стояла дѣвушка и ломала руки.

— Вѣдная Катря! Это она убивается объ своемъ женихѣ,—тихо сказала одна сидѣвшая тутъ женщина:—ея жениха Карпа прошлымъ лѣтомъ татары въ полонъ взяли, и онъ наказывалъ, чтобъ его выкупили съ каторги, а выкупить его нечѣмъ...

Слушателей все болѣе и болѣе собиралось вокругъ. А бандура все тренькала, надрывая всѣмъ душу.

Юная Сара уткнулась въ плечо матери и тихо плакала. Утирала слезы и старая Лія. Ей чудилось, что это плачутъ *ихъ* невольники, гдѣ-то тамъ, въ неведомомъ Египтѣ, въ Цоанѣ-Танисѣ, гдѣ-то тамъ, на рѣкахъ вавилонскихъ, и что это не бандура тренькаетъ, а гусли, что висятъ на деревьяхъ... *Ихъ* пророки ослѣплены, какъ вотъ и этотъ нищій.

— Вѣдная Катря!—повторило нѣсколько голосовъ.

— Да развѣ жъ одинъ Карпо въ турецкой неволѣ? А сколько тамъ другихъ!.. О, Господи!

Бандура совсѣмъ умолкла, точно всѣ струны ея разомъ оборвались; но слушатели чего-то ждали. Рахиль, сидѣвшая около матери въ глубокой задумчивости, очнулась, казалось, отъ сна.

— Развѣ ужъ все?—тихо проговорила она.

Сара, отклонившись отъ лица матери, утирала слезы. Миріамъ, стоя въ темнотѣ рядомъ съ Моше и не сводя глазъ съ одной звѣздочки у горизонта, чувствовала нѣжное пожатіе чьей-то руки... Она знала, чья это рука, и сердце ея сладостно замирало.

— Развѣ ужъ весь „плачъ?“—спросила Сара.

— Нѣтъ, панночка, не весь, — отвѣчалъ слѣпецъ: — только у меня опять въ горлѣ пересохло.

Сара догадалась и снова принесла „пляшку“ и стаканъ. Слѣпецъ выпилъ.

— Вотъ бы такой доброй горѣлки да бѣднымъ невольникамъ!—сказалъ онъ, вытирая рукавомъ усы.

— Ну, что жъ дальше, дѣдушка?—спросила Сара.

— А дальше, ясна панночка, невольники Бога блажали, чтобъ ихъ изъ неволи высвободили.

— Ну, какъ же?

Слѣпецъ опять сталъ молча перебирать струны своей бандуры. Струны опять тихо и жалобно заговорили. Всѣ съ затаеннымъ дыханіемъ снова стали прислушиваться къ давно знакомымъ, но вѣчно дорогимъ звукамъ.

За этой нѣмой прелюдией слышались молитвенныя слова „плача“: „Поддай намъ, Господи, съ неба частый дождикъ, а снизу — буйный вѣтеръ: пускай бы встала на Черномъ морѣ лютая буря, — можетъ быть, она посрывала-бы якоря у турецкой галеры-каторги: такъ намъ эта ту-

рекая-басурманская каторга надохла, желѣзные кандалы ноги порастирали, бѣлое тѣло казацкое молодецкое до желтыхъ костей посрывали“...

Сѣпѣць игралъ и пѣлъ удивительно. Нехитрый, бренькающій инструментъ его и голосъ, казалось, дѣйствительно молились и плакали. Въ нихъ слышались и завыванья вѣтра, и шумъ морскихъ волнъ, и лягъ цѣпей, и вопли невольниковъ. Столѣтіями создавалась эта потрясающая мелодія, столѣтіями страданій; въ основу этой мелодіи легли слезы несчастныхъ матерей, овдовѣвшихъ женъ, осиротѣлыхъ дѣтей. Въ этой мелодіи—цѣлая трагическая исторія украинскаго народа.

А старой Лін въ этой мелодіи слышалась исторія ея народа: это она плачетъ на берегахъ мутнаго Нила, на рѣкахъ вавилонскихъ, на берегахъ Тахо, Мансанареса, Гвадалквивира, на берегахъ Днѣпра, Синюхи, Тикича... А теперь—эти страшныя ожиданія...

А вокругъ пѣвца все гуще и гуще собиралась толпа слушателей. Половина улицы была запружена народомъ. Каждому хотѣлось послушать своего, родного. Это уже были не „веснянки“.

— Матинко моя, якъ-же-жъ жалибно спива! — слышался женскій шопоть.

— А бандура, бачъ, сестрице, такъ и плаче, такъ и плаче.

А Миріамъ чувствуетъ, какъ чья-то рука все вѣжнѣе и вѣжнѣе жметъ въ темнотѣ ея руку. Она готова плакать вмѣстѣ съ невольниками, но только отъ счастья...

А голосъ слѣпца все крѣпчалъ и крѣпчалъ. Вздволнованные до глубины души слушатели сами перенеслись въ тотъ невѣдомый и страшный край, гдѣ невольники, съ протертыми до „желтой кости“ турецкимъ желѣзомъ руками и ногами, взывали къ милосердому Богу о спасеніи, о ниспосланіи вѣтра на проклятую галеру—мѣсто ихъ каторги. Слушатели, казалось, сами видѣли, какъ „паша турецкій, басурманскій, недовѣрокъ христіанскій“, ходя по рынку и слыша плачь невольниковъ, на своихъ янычаръ злобно кричалъ, чтобъ они каждый набирали по три пучка колючаго терновника и красной таволги и, ходя по рядамъ невольниковъ, были бы трижды по одному мѣсту. И янычары били бѣдныхъ невольниковъ, такъ били, что—

Тѣло бѣлое казацкое молодецкое отъ желтой кости оббивали,
Кровь христіанскую неповинно проливали.

Всѣ эти ужасныя картины въ смутныхъ образахъ носились передъ глазами зачарованныхъ слушателей, а старой Лін казалось, что это жестокіе египетскіе „мацаи“, слуги фараоновъ, истязали колючимъ терновникомъ и красною таволгою ея соотечественниковъ за дѣланіемъ кирпичей для пирамидъ и другихъ построекъ фараоновъ.

Но, казалось, вся улица дрогнула, когда раздались послѣднія строфы „невольничкаго плача“. Въ голосѣ слѣпца слышалось столько муки, а бандура стонала такъ, что вотъ-вотъ, кажется, разорвется съ послѣднимъ аккордомъ.

„Дума“ рыдала такими словами:

Стали бѣдные невольники на себѣ кровь христіанскую замѣчать,
Стали землю турецкую, вѣру бусурманскую клять-проклинать:

Ты, земля турецкая, вѣра бусурманская,

Ты разлука христіанская!

Не одного ты разлучила мужа съ женою,

Брата съ сестрою,

Дѣтокъ маленькихъ съ отцомъ и „маткою“....

И, въ заключеніе, слѣпецъ, вставъ съ земли и выпрямившись во весь ростъ, поднялъ свои слѣпые глаза къ темному, устѣянному звѣздами небу и молитвенно возгласилъ подѣ плачущіе звуки бандуры:

Вызовли, Господи, всѣхъ бѣдныхъ невольниковъ

Изъ тяжелой неволи турецкой,

Изъ каторги бусурманской—

На тихія воды,

На ясныя „зори“,

Въ тотъ край веселый,

Въ тотъ міръ крещеный,

На святорусскій берегъ

Въ города христіанскіе!

Послѣднія, заключительныя строфы выразились особенно отчетливо: онѣ вылились въ тихомъ речитативѣ, словно бы это была въ самомъ дѣлѣ молитва, и многіе изъ слушателей, дѣйствительно, перекрестились съ глубокою набожною.

— Да, мама, это плачь на рѣкахъ вавилонскихъ,—тихо сказала Рахиль, наклоняясь къ матери.

— Правда, милая: ты точно угадала мои мысли,—такъ же тихо отвѣчала старая Лія.

Многіе, казалось, очнулись отъ забытья и удивленно осматривались; нныя женщины и дѣвушки утирали слезы.

— А хлопчикъ давно спить,—засмѣялась юная Сара:—бѣденный!

Въ это время невдалекѣ послышался конскій топотъ, и вскорѣ въ темнотѣ вырисовались двѣ конныя фигуры.

— Прочь съ дороги, хлопство!—послышался молодой мужской голосъ.

— Осторожьѣ, панъ Стась,—отвѣчалъ на это мелодическій женскій голосъ:—какъ бы панъ не раздавилъ яку кобѣту.

— Нѣхъ!—небрежно возразилъ мужской голосъ.—Я вижу—это хлопство собралось вокругъ слѣпого жебрака. Какъ эти глупые хлопы любятъ слушать своихъ бандуристовъ! Пфэ!

И всадники скрылись въ темнотѣ.

— Это панна Вероника Младановичувна,—сказала Рахиль:—я видѣла—она каталась за городомъ вмѣстѣ съ молодымъ Рогашевскимъ.

— Панна Младановичувна?—неожиданно спросилъ слѣпецъ.

— Да, дочь нашего губернатора,—отвѣчала старая Лія:—красавица! такая краса!

— Краса, краса,—задумчиво произнесъ слѣпец.—Женская краса — утренняя роса: солнце встало—и нѣтъ ея...

Мириамъ почувствовала, что кто-то до боли сжалъ ея руку...

IX.

Неистовства гайдамановъ въ Жаботинѣ.

Что же происходило послѣ того, какъ Ефραίимъ Когенъ, предупрежденный своимъ наймитомъ Хоמוю о томъ, что вмѣстѣ съ панамъ и ксендзами рѣшено „рѣзать и жидовъ“, поспѣшно уѣхалъ въ Умань изъ Лебедина?

Когда толпа разобрала ножи, преводители возстанія, преимущественно бывшіе запорожцы или вольные гайдамаки, съ Максимомъ Желѣзнякомъ во главѣ, занялись приведеніемъ въ возможный порядокъ нестройнаго ополченія: толпа подѣлена была на сотни; сотнямъ розданы заранѣе приготовленные значки на длинныхъ древкахъ; отдѣлили вполнѣ вооруженныхъ и конныхъ отъ безоружныхъ или вооруженныхъ только ножами, а то просто дубьемъ, косами, вилами или обожженными на концахъ, въ видѣ пикъ, кольями.

Но ополченіе не тотчасъ двинулось въ походъ. Честолюбіе Желѣзняка, воображавшаго себя вторымъ „батькомъ Хмельницкимъ“, не позволило ему выступить во главѣ всякаго сброда, разныхъ босоногихъ и ободраныхъ гулякъ, безъ красиво и представительно подобраннаго отряда. Вполнѣ вооруженныхъ запорожцевъ и казаковъ у него было слишкомъ мало.

— Намъ соромъ идти съ одною голотою,—говорилъ онъ приближеннымъ.

— И то соромъ, батьку Максиме,—подтвердили приближенные:—соромъ будетъ и ляхамъ показаться.

— А коли такъ, то ѣдемъ заразъ же въ Медвѣдовку до пана Квасневскаго за „дестровыми“ (реестровыми) казаками.

Но панъ Квасневскій, начальникъ чигиринскаго казачьяго гарнизона, узнавъ объ „освященіи ножей“, тотчасъ же съ семействомъ бѣжалъ въ городъ Крыловъ подъ защиту русскихъ властей.

И вотъ Желѣзнякъ съ небольшимъ отрядомъ отправляется къ реестровымъ казакамъ, покинутымъ своимъ начальникомъ.

— Что, панове,—обратился къ нимъ Желѣзнякъ:—будете вы съ нами биться или нѣтъ?

Реестровые казаки тотчасъ же присоединились къ Желѣзняку.

Въ теченіе трехъ сутокъ формировалось ополченіе и только на четвертый день двинулось по направленію къ Черкасамъ.

Впереди всѣхъ ѣхалъ Желѣзнякъ. Буланый красивый конь выступалъ подъ нимъ гордо, увѣренно: умная лошадь всегда понимаетъ, кого везетъ, и гордится своимъ сѣдокомъ. А буланому коню, дѣйствительно, было тѣмъ

гордиться. Издали кричалъ яркостью своего цвѣта красный, „кармазинный“ жупанъ Желѣзняка, обшитый золотымъ галуномъ. Высокая изъ сѣрыхъ барашковъ „смушковая“ шапка съ краснымъ верхомъ картинно свѣсилась на бокъ, „на бакирь“. Широкий шалевый поясъ обхватывалъ его крѣпкій гибкій станъ. За поясомъ пистолеть блистала своею серебряною, цареградской работы, рукою. У лѣваго бока висѣла массивная кривая сабля. Желтые сафьянные сапоги съ серебряными „острогами“ (шпорами) дополняли картинный нарядъ будущаго *in spe* великаго гетмана Украины обѣихъ сторонъ Днѣпра.

Желѣзняку было лѣтъ за сорокъ. Это былъ полный, круглолицый, красивый, небольшого росту, но широкоплечій богатырь, сильно загорѣлый, съ сѣрыми, нѣсколько стоячими глазами. Небольшіе русые усы и длинный чубъ, закинутый за ухо,—вотъ вся наружность вождя гайдамаковъ.

За нимъ по два въ рядъ ѣхали конники, казаки и запорожцы, съ копытами-„ратищами“ и съ двойчатыми значками: одна половина значка бѣлая, а другая красная, потомъ значки желтые съ чернымъ, красные съ синимъ и т. д. За конными шли пѣшіе—только съ ножами да съ кольми. Шествіе замыкали возы табора съ „погоничами“ и собаками. Въ числѣ простыхъ „погоничей“ былъ и Хома, бывшій наймитъ Когеновъ. Онъ шелъ около своего воза съ ножомъ за поясомъ и съ длиннымъ, гладко заостреннымъ и обожженнымъ коломъ. Это былъ парубокъ лѣтъ двадцатипяти, высокій, плечистый, съ черными крутыми бровями и добрыми синими глазами.

Но тутъ случилось маленькое происшествіе, разомъ выдвинувшее нашего добродушнаго Хому.

Одинъ конникъ, почему-то нѣсколько поотставшій, торопился впередъ и наткнулся на Хому, который шелъ около своего воза.

— Геть съ дороги, жидивскій попыхачъ!—крикнулъ конникъ, и ударилъ Хому нагайкой.

Они поссорились еще раньше, при разборѣ ножей.

— А!—закричалъ Хома, почувствовавъ ударъ нагайки:—такъ ты вонъ какъ: драться!—Стой же, вражій сынъ, помѣряемся по-казацки.

И онъ загородилъ коннику дорогу.

— На герць *), собачій сынъ!—крикнулъ Хома, поднявъ свой колъ:—на герць съ жидовскимъ попыхачемъ!

Конникъ остановился и направилъ на своего пѣшаго противника коня и остріе копья, стараясь конемъ затоптать его и проколоть копьемъ. Легкій какъ кошка, Хома сдѣлалъ прыжокъ въ сторону, и въ одно мгновеніе вонзилъ свой острый колъ подъ лѣвый сосокъ нападающаго. Ударъ былъ такъ силенъ, что конникъ свалился наземъ, обливаясь кровью. Всѣ сбѣжались на эту неожиданную схватку. Хома стоялъ блѣдный, безмолвный, дико блуждая глазами.

*) Герць—джигитовка, поединокъ.

Конникъ былъ мертвъ. Лошадь его бѣжала.

Къ мѣсту происшествія подъѣхалъ Желѣзнякъ съ нѣсколькими приближенными. Хома, къ которому воротилось присутствіе духа, смѣло объяснилъ главѣ ополченія, что они бились честно „на герцъ“; что обиженный, котораго безъ всякаго съ его стороны повода ударили нагайкой и обозвали „жидивскимъ попыхачемъ“, защищалъ казацкую честь; что „жидивскими попыхачами“ можно назвать всѣхъ казаковъ, потому что почти всѣ, находящіеся здѣсь, служили у жидовъ—то на винокурняхъ, то на „броварняхъ“, то по шинкамъ; что даже, наконецъ, и паны дяхи—такіе же „попыхачи“ у богатыхъ жидовъ, какимъ и онъ былъ „у доброго Когена“.

Всѣ нашли, что „хлопецъ“ правъ, что онъ поступилъ „полицарски“, защищая казацкую честь,—и Желѣзнякъ порѣшилъ:

— Возьми жъ ты, хлопча, его коня, зброю и одежду, и будь козакомъ коло мене: не давай на поругу козацкую честь. А собакѣ—собачья и смерть,—заклучилъ онъ, указывая на мертваго конника.

Ополченіе двинулось дальше, и Хома Незачипа,—какъ его прозвали послѣ случая съ убитымъ имъ конникомъ,—наряженный въ богатое, хотя нѣсколько окровавленное платье убитаго, на его-же и конѣ, со значкомъ въ рукѣ, ѣхалъ уже въ первыхъ рядахъ конницы. Трудно было въ этомъ красивомъ всадникѣ узнать недавняго наймита Когеновъ.

Ополченіе приближалось къ Медвѣдовкѣ. Тамъ, по случаю праздника, была ярмарка, на которую съѣхалось множество народа изъ окрестныхъ селъ. Развѣвавшіеся въ воздухѣ знамена и значки, пыль, поднятая двигавшимися массами лошадей съ всадниками, пѣшими и таборомъ изъ воевъ,—все это не могло не произвести переполоха въ собравшемся на ярмаркѣ народѣ. Всѣ бросились спасаться. Но Желѣзнякъ приказалъ успокоить бѣглецовъ и самъ ихъ успокаивалъ.

— Не бойтесь, люди добрые,—говорилъ онъ оторопѣлымъ:—мы васъ не тронемъ. Гуляйте себѣ и торгуйте.

Все, что могло запасться ножомъ, коломъ, все, что жаждало поживы,—все пошло за Желѣзнякомъ.

Но кровь еще не лилась... Однако, скоро, скоро должна была и кровь политься...

Изъ Медвѣдовки гайдамаки двинулись дальше. На пути имъ лежалъ Жаботинъ, мѣстечко, принадлежавшее князьямъ Любомирскимъ. Жаботинскими городоными казаками командовалъ Мартынъ Бѣлуга, а губернаторомъ былъ полковникомъ Вичалковскій, намѣстникъ князей Любомирскихъ. Жаботинскіе казаки уже знали о приближеніи гайдамаковъ, и едва они показали въ виду укрѣпленій, какъ Мартынъ Бѣлуга тотчасъ арестовалъ губернатора и вывелъ навстрѣчу къ гайдамакамъ, которые, при помощи мѣстной команды, немедленно овладѣли городомъ и замкомъ и уже распоряжались на рынкѣ.

Губернатора повели вдоль рынка съ тѣмъ, чтобъ народъ объявилъ,

какъ и чѣмъ были они притѣсняемы и обижаемы какъ самимъ Вичалковскимъ, такъ и другими панами. Жалобщики не заставили себя ждать.

— Панъ губернаторъ! ляхъ проклятый!— раздавались голоса.

— Дармограй! Дармограй!— неслись возгласы съ другого конца рынка.

Это народъ привѣтствовалъ своего любимца, стараго кобзаря-импровизатора, по имени Илько Дармограй. Дармограй былъ калѣка-безногий, пѣдилъ въ небольшой телѣжкѣ, которую возилъ нѣмой Юрко, шестнадцатилѣтній внукъ кобзаря. Дармограй потерялъ ноги въ крымской неволѣ. Находясь на турецкой галерѣ, закованный въ ножныя кандалы, онъ до того перетеръ ноги желѣзомъ, что раны загнили, и несчастному отрѣзали обѣ ноги. Впослѣдствіи запорожцы, напавъ на Кафу, освободили много своихъ плѣнныхъ, въ томъ числѣ и безногаго Дармограя.

— А ну, диду, заспивай намъ новенькои!— закричали жаботинскіе казаки, увидавъ своего безногаго импровизатора.

Дармограй тотчасъ же настроилъ свою бандуру, заигралъ и запѣлъ:

Ой Бѣлуга Мартынъ Жаботинскій да по рыночку ходить,
Своего пана губернатора за собою водить,
И, водячи со собою, нѣтъ-нѣтъ да и скажетъ:
„Не одного теперъ ляха голова поляжетъ“...

— Добре! добре! правду каже Дармограй!— закричали нѣкоторые изъ гайдамаковъ:— на ляховъ, панове!

— На жидовъ! на христопродавцовъ!— подхватили другіе.

И вотъ съ этого момента полилась кровь: разъ что произнесены были слова „ляхъ“ и „жидъ“— звѣрскому опьяненію уже не было конца. Прежде всего, толпа разбила шинки, выкатила бочки съ виномъ, перепилилась, и началась рѣзня.

Разгромивъ и вырѣзавъ „до-ноги“ все, что было польскаго и еврейскаго въ Жаботинѣ, звѣри-люди запалили самое мѣстечко, и двинулись дальше, къ другому имѣнію Любомирскихъ, къ мѣстечку Смилой.

Дармограй слѣдовалъ за ополченіемъ въ обозѣ, сидя въ своей телѣжкѣ, привязанной къ одному возу. Дорогою онъ игралъ плясовую пѣсню и приговаривалъ:

— Танцуйте, дѣтки, чтобы просушить чоботы отъ панской и жидовской крови! танцуйте!

И вокругъ него шла бѣшеная пляска.

Смила была также разграблена и сожжена.

Въ нѣсколько дней пожаръ возстанія разлился по всѣмъ окрестностямъ. Населеніе вставало поголовно. Шли даже бабы, вооруженныя ухватами-„рогачами“. Собаки оставили свои дома и шли за обозомъ. За телѣжкой Дармограя слѣдовала и его собака, Рудько.

Но вотъ недалеко и Черкасы. Дѣти высыпали за городъ встрѣчать дорогихъ гостей. Желѣзнякъ, весело улыбаясь, закричалъ имъ:

— Здорово, сукачи!

— Здравствуй, пань!—отвѣчали болѣе смѣлыс.

— А что—вы еще не пашете?

— Нѣтъ, пань.

— А мы уже начали пахать!—засмѣялся Желѣзнякъ, намекая на начало рѣзни.

Въѣхавъ въ городъ, Желѣзнякъ направился прямо къ замку. Ворота замковой башни были уже отворены. На замковой площади конные гайдамаки стали рядами.

— Съ коней!—скомандовалъ Желѣзнякъ, и гайдамаки, спѣшившись, поставили копыя въ козлы, а лошадей привязали у коновязей.

Желѣзнякъ съ приближенными направился къ „палацу“. Навстрѣчу ему вышли городовые казаки, сняли шапки. Снял свою и Желѣзнякъ, но тотчасъ же надѣлъ снова. Казаки оставались съ непокрытыми головами.

— Здорово, казаки!—обратился къ нимъ Желѣзнякъ.

— Здравствуй, батько атамань!

— А гдѣ вашъ атаманъ?—спросилъ Желѣзнякъ.

Атаманъ тотчасъ-же выбѣжалъ къ нему съ непокрытою головой. Желѣзнякъ тоже снялъ шапку. Они обнялись и подѣловались.

— Просите же на постой, — сказалъ Желѣзнякъ, и атаманъ повелъ гайдамацкое начальство въ „палацъ“.

— Ты что жъ нейдешъ, Незачипа?—обратился Желѣзнякъ къ Хомѣ, стоявшему въ нерѣшительности: — кто такъ какъ ты умѣетъ защитить казацкую честь, тому мѣсто около меня.

Хома вспыхнулъ отъ неожиданности, и послѣдовалъ въ „палацъ“.

— О!—заколотилось у него въ сердцѣ:—если-бъ теперь видѣла меня Рахиль... Но она еще увидить... Я не дамъ ея на поругу, не дамъ на поругу ея красы...

Пока начальство было въ „палацѣ“, простые гайдамаки успѣли распорядиться по своему. Прежде всего, взята была „оранда“—винные склады,—источникъ гайдамацкаго вдохновенія; обручи съ бочекъ обиты, и водка потекла ручьями.

— Панове! становись рачки—и пей!—кричали самые рьяные питухи.

И, дѣйствительно, пили на-четверенкахъ, какъ скотъ, прямо изъ бѣжавшихъ по землѣ ручьевъ.

— Пейте, дѣтки, — распоряжался Дармограй съ своей телѣжки: — только матню не мочите въ такомъ добрѣ.

— А у тебя, Пилипе, и чубъ пьетъ, — смѣялся одинъ гайдамакъ надъ другимъ, который такъ усердно пилъ изъ лужи водки, что у него съ головы свалилась шапка и чубъ купался въ лужѣ.

Женщины же, болѣе сообразительныя по части мелкой, обиходной экономіи, дѣлали изъ песку запруды, куда стекала водка, и черпали ее ковшами.

Послѣ водки полилась и кровь.

Х.

Кровавый пиръ въ Лисянкѣ.

Скоро та же участь постигла Корсунь, Чигиринъ и Каневъ. Надъ послѣднимъ гайдамаки особенно свирѣпствовали за его упорное сопротивленіе. Каневъ имѣлъ укрѣпленный замокъ, пушки и сильный гарнизонъ изъ поляковъ, содержимыхъ базилианами. Базилианы-то, какъ столпы католицизма, ненавистнаго черни, и были объектомъ особеннаго злѣрства гайдамаковъ: они были всѣ захвачены и замучены. Ужасная смерть постигла и всѣхъ тамошнихъ евреевъ — беззащитныхъ страдальцевъ за чужіе грѣхи. Часть поляковъ, которыхъ не успѣли вырѣзать, заперлись въ замокъ, обнесенный тройнымъ частоколомъ. Гайдамаки натаскали къ частоколу соломы и зажгли: всѣ укрывавшіеся въ замокъ сгорѣли живьемъ.

Пылало все кругомъ, повсюду лилась кровь. По селамъ звонили въ набатъ, давая знать звономъ отъ села до села.

Одновременно съ ополченіемъ Желѣзняка въ разныхъ мѣстахъ поднимались другія ополченія, которыя неистовствовали подъ начальствомъ атамановъ—Швачки, Неживого и Василя Шила. Послѣдній, Шило, особенно прославился своими кровавыми подвигами; о немъ рассказывали чудеса.

Въ то время, когда, послѣ разгрома Канева, Желѣзнякъ съ своимъ ополченіемъ отдыхалъ въ Богуславѣ, туда нагрянулъ Шило съ своей ватагой. Желѣзнякъ и Шило встрѣтились какъ старые знакомые, какъ союзники. Они обнялись и расцѣловались.

— Ну, что—побывалъ, братику, въ Умани?—спросилъ Желѣзнякъ.

— Былъ и медъ-вино пилъ,—отвѣчалъ Шило.

— Какъ же ты пробрался туда?

— А слѣпымъ бандуристомъ, съ хлопчикомъ поводыремъ. Эхъ, братику Максиме!—воскликнулъ Шило:—какія тамъ жидовочки угощали меня изъ своихъ ручекъ!.. Такихъ я отъ роду не видѣлъ... На нихъ и моя рука не поднимется.

— А кто такіе?—заинтересовался Желѣзнякъ.

— Богача Когена дочки—Рахиль да Сарка.

— Это того Когена, у котораго Хома Незачипа въ наймахъ служилъ?

— Я такого Хома не знаю,—отвѣчалъ Шило.

Тотъ, о комъ говорили, стоялъ въ это время нѣсколько въ сторонѣ и разговаривалъ съ молодцами изъ отряда Шила.

— Эй, Хома друже!.. ке сюды!—закричалъ ему Желѣзнякъ.

Хома подошелъ и почтительно остановился.

— Ты, хлопче, у Когена служилъ въ наймахъ въ Умани?—спросилъ Желѣзнякъ.

— У Когена, батьку отамана,—былъ отвѣтъ.

— А у него двѣ дочки красавицы—Рахиль и Сарка?

Хома замѣтно поблѣднѣлъ, но старался скрыть волненіе.

— Такъ, батьку отамане—Рахиль и Сара,— отвѣчалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.—А что?

— Да вотъ панъ Василій былъ у нихъ въ гостяхъ, и онѣ потчевали его изъ своихъ ручекъ.

Хома съ удивленіемъ посмотрѣлъ на страшнаго атамана. Какъ онъ могъ пробраться въ Умань? Какъ Рахиль могла угощать его? Молодой гайдамакъ не зналъ что и подумать, и сердце его сжалось.

— Развѣ Умань взята?—глухо спросилъ онъ.

— Ни ще, хлопче, а мы и ее возьмемъ,—отвѣчалъ Шило.

— Скажи, братику, товариству, чтобъ собирались идти на Умань,— начальническимъ тономъ сказалъ Желѣзнякъ молодому гайдамаку.

Хома повиновался, и молча ушелъ, унося бурю въ душѣ. — „Что-то будетъ?.. что-то будетъ?“—шепталъ онъ растерянно.

Что же дѣлалось въ это время,—спрашиваетъ авторъ специальной монографіи о „Гайдамачинѣ“,—въ остальной польской Украинѣ, куда еще не достигло зарево пожара, распушеннаго Желѣзнякомъ и разбрасываемаго въ разныя мѣста, въ видѣ горящихъ головней, другими шайками гайдамаковъ?

„Въ то время, когда Желѣзнякъ,—говорить полякъ, очевидецъ этого пожара, Липоманъ,—двигался все далѣе и далѣе, грабя и совершая убійства, когда въ цѣлой польской Украинѣ народъ пошелъ на бунты, на грабежъ и разбой, когда Желѣзнякъ, подвигаясь впередъ, обливалъ кровью путь своего шествія и когда потоки этой крови лились уже и по сторонамъ этого пути,—всѣ угрожаемые этимъ страшнымъ несчастіемъ надѣялись найти убожище въ мѣстахъ, вполнѣ обезонашенныхъ отъ гайдамаковъ,—именно въ Мисянкѣ, Умани и Бѣлой Церкви“.

Время показало, насколько были недоступны для нихъ Лисянка и Умань.

Поворотивъ изъ Богуслава на Умань,—говорить далѣе авторъ упомянутой выше монографіи,—гайдамаки должны были на пути своемъ встрѣтить прежде всего Лисянку. Лисянка представляла для нихъ хорошую добычу. Это было наслѣдственное имѣніе князя Яблоновскаго, воеводы новгородскаго. Въ Лисянкѣ былъ каменный замокъ съ флигелями, которые вмѣстѣ съ главнымъ зданіемъ составляли четырехугольникъ. Въ самой серединѣ замокъ имѣлъ два этажа, одни ворота и два бастіона, возвышавшіеся на горахъ. Бастіоны съ желѣзными гаковницами (родъ пушекъ) могли оборонять всѣ стороны замка, потому что выстрѣлы съ бастіоновъ могли достигать очень далеко. Кромѣ того, замокъ былъ обнесенъ высокимъ дубовымъ палисадомъ и имѣлъ другія деревянные ворота, также приспособленныя для охраненія замка. Въ замкѣ, для защиты его отъ непріятеля, имѣлось значительное число пѣшихъ казаковъ и достаточное количество аммуниціи. Въ это время находился тамъ прибывшій изъ волынскихъ имѣній князя Яблоновскаго комиссаръ Хичевскій, который прѣхалъ для обозрѣнія лисянской волости. Волость эта была въ то время

очень обширна и заключала въ себѣ, по произведенному тогда исчисленію, до 30.000 душъ. Хичевскій долженъ былъ собрать съ лисянской волости доходы и отвезти своему князю.

Желѣзнякъ, подвигаясь къ Лисянкѣ и увеличивая свою толпу, продолжалъ разглашать, что уже нѣтъ больше крестьянъ, что польская Украина, подобно заднѣпровской, одну только казацкую службу отбывать будетъ и что край этотъ попрежнему будетъ называться Гетманщиною.

Предшествующее слухами о всеобщей волѣ, • снесеніи съ лица земли польскаго владычества, о возстановленіи казачества и Гетманщины, подвигались гайдамаки къ Лисянкѣ. Слухи эти загнали въ Лисянку нѣсколько сотъ человѣкъ дворянъ и евреевъ, искавшихъ тамъ спасенія жизни.

Гайдамаки, явившись въ Лисянку, нашли ее довольно крѣпко защищенною и, не надѣясь взять замка приступомъ, обратились къ обывателямъ самаго мѣстечка, рассчитывая при помощи ихъ уклониться отъ пушекъ, которыя смотрѣли на нихъ съ бастіоновъ лисянскаго замка. Они уговорили крестьянъ посовѣтовать начальству замка не оказывать имъ сопротивленія и тѣмъ не вызывать ихъ на кровопроліе. Главнѣйшіе изъ обывателей отправились къ замку и просили позволенія переговорить съ комиссаромъ Хичевскимъ. Ихъ впустили въ замокъ. Лица эти, составлявшія какъ бы депутацію отъ мѣстечка, представляли Хичевскому, что всѣмъ находящимся въ замкѣ будетъ дарована жизнь и оставлено ихъ имущество, если замокъ добровольно сдастся. Впрочемъ, — добавляли они, — во всякомъ случаѣ сопротивленіе будетъ не только бесполезно, но и опасно, потому что весь этотъ край долженъ быть вскорѣ на тѣхъ же правахъ, на какихъ былъ во время Гетманщины. Сами гайдамаки представлялись не какъ люди просто нападающіе на замокъ или бунтовщики, а какъ войско запорожское, творившее не свою собственную волю, а волю пославшаго ихъ. Страхъ или мнимые доводы депутаціи, или, наконецъ, сомнѣніе въ благоприятности исхода предстоящей борьбы, такъ подѣйствовали на Хичевскаго, что онъ приказалъ отворить ворота бунтовщикамъ. Гайдамаки ворвались въ замокъ и начали свои неистовства. Тутъ произошла оргія, страшнѣе и безобразнѣе всѣхъ, доселѣ совершенныхъ гайдамаками: неистовства, произведенныя въ Смилой, Черкасахъ, Медвѣдовкѣ и Каневѣ, были ничто въ сравненіи съ бѣшеною гульней въ Лисянкѣ.

Спаслось только нѣсколько человѣкъ, которые, одѣвшись „по-хлопску“, успѣли бѣжать съ арестантами, которыхъ гайдамаки тотчасъ же выпустили изъ острога, лишь только ворвались въ замокъ... Спаслось также еще нѣсколько дворянъ, которымъ удалось укрыться между трупами. Ночью, когда упившіеся гайдамаки спали, въ увѣренности, что не осталось ни одного ляха, эти укрывшіеся между трупами спустились со второго яруса, случайно отыскавши веревки, и успѣли бѣжать къ знакомымъ поселнякамъ. Большая часть изъ нихъ успѣли скрыться въ деревнѣ Сидоровкѣ, миляхъ въ трехъ отъ Лисянки, и тамъ ихъ припрятали добрые люди. Касса и все что было цѣннаго въ замкѣ — разграблено.

Ужасъ охватилъ все польское населеніе правобережной Украины. Но еще ужаснѣе было положеніе несчастныхъ евреевъ этихъ областей Польши. Поляки еще кое-какъ могли надѣяться на спасеніе, потому что могли находить защиту и въ укрѣпленныхъ замкахъ, куда ихъ охотнѣе пускали чѣмъ евреевъ, и между войсками конфедератовъ и, наконецъ, подъ крыломъ городской милиціи, которой начальниками были свои же поляки. Но евреи оставались совершенно беззащитными: это были существа, за которыми, какъ за зайцами или лѣсными сернами, могъ охотиться всякій.

И кровь еврейская уже лилась — отъ Смилой до Лисянки, до порога костела францискановъ...

А впереди представлялись еще большіе ужасы—поголовное истребленіе всего еврейскаго племени въ странѣ, столь великодушно его пріютившей.

XI.

Постъ помилованія.

Время шло. Прошелъ почти весь май мѣсяцъ. Все, что могло бѣжать,—бѣжало. Но куда бѣжать?.. Гдѣ искать спасенія?

Оставалось одно убѣжище—Умань, ея укрѣпленія, замокъ съ артиллеріей, частоколы, глубокіе рвы вокругъ города и цѣлый полкъ городской милиціи.

Исаакъ Когенъ, несмотря на обнадеживанія своего популярнаго родственника, апостола хасидизма раввина Іакова-Іосифа, съ каждымъ днемъ убѣждался, глядя изъ оконъ своего дома на двигавшіяся балагулы и телѣги съ бѣглецами, искавшими убѣжища въ Умани, что предстоитъ и уже творится нѣчто болѣе страшное, чѣмъ то, что предсказывалъ Іаковъ-Іосифъ. Въ памяти его невольно вставали воспоминанія о Хмельницкѣ и другихъ взрывахъ народной ярости—кровавыя расправы съ евреями времени Морозенки, Нечая, Павлюка и Кривоноса, когда въ одномъ Взрѣ предано было смерти, пыткамъ и всевозможнымъ истязаніямъ болѣе 15,000 его соотечественниковъ, да столько же въ Немировѣ, въ Бердичевѣ, Подгребичахъ, Тульчинѣ, въ Умани и въ трехстахъ другихъ городахъ Украины, Подолія и Волыни.

Въ тотъ день, когда Желѣзнякъ и Шило, послѣ кровавыхъ оргій въ Лисянкѣ, двинулись съ своими ордами къ Умани, у евреевъ, въ томъ числѣ и въ Умани, начался „постъ помилованія“, установленный въ память страшнаго избіенія евреевъ въ эпоху Хмельщины. Обрядъ этотъ долженъ былъ совершаться каждый годъ, и совершался съ потрясающимъ драматизмомъ. Синагоги наполнялись народомъ, который съ воплями, раздирая на себѣ одежды, предавался мрачному поминовенію своихъ мучениковъ.

Исаакъ Когенъ, окруженный семействомъ въ траурныхъ одѣяніяхъ, отпраивался въ синагогу. Туда же слѣдовали толпы мѣстныхъ и бѣжав-

шихъ въ Умань изъ другихъ мѣстъ евреевъ. На всѣхъ лицахъ было уныніе и страхъ. Но дѣти Когена держали себя мужественно: всѣ три сына рѣшились дорого продать свою жизнь. Въ глазахъ Рахили тоже горѣла мужественная рѣшимость. Въ ея головкѣ созрѣлъ, повидимому, какой-то планъ. Она шла рядомъ съ Самсономъ.

— Скажи, пожалуйста, братъ, кто была Юдифь? — тихо спросила она.

— А развѣ ты не знаешь? Такая же какъ ты — еврейка, — отвѣчалъ Самсонъ.

— Что она была очень сильная? — продолжала Рахиль.

— Вѣроятно, если могла отрубить голову Олоферну.

— Отчего жъ она его не просто зарѣзала?

— Да оттого, что ей нужна была именно его голова. Да что тебѣ за дѣло до Юдифи?

— Такъ... вспомнилась она мнѣ... Вотъ если бъ теперь нашлась такая еврейская дѣвушка...

— Что жъ бы вышло изъ этого?

— Она бъ зарѣзала этого Желѣзняка.

Наивность сестры заставила его только улыбнуться.

— Ужъ не ты ли хочешь быть Юдифью? — пожалъ онъ плечами.

Но вотъ и синагога. Она биткомъ набита, такъ что Когены съ трудомъ добрались до своихъ мѣстъ, которыя они занимали уже много лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ построена синагога.

Послѣ первыхъ обрядовыхъ выходовъ и молитвъ началось „поминовеніе“.

Когда Рахиль, вмѣстѣ съ другими женщинами помѣстившаяся на хорахъ, взглянула внизъ, на всѣ эти головы, закутанныя бѣлыми „талесами“, ей представилось, что все это — мертвецы въ саванахъ. Ей стало страшно.

— Это ихъ... это насъ всѣхъ будутъ поминать заживо, — шевельнулась у нея въ душѣ.

Между тѣмъ раздался могучій, страстный голосъ кантора и точно трепетъ пробѣжалъ по синагогѣ.

— Боже милосердый, Сущій въ небесахъ! — плакалъ страстный голосъ. — Успокой души мучениковъ вѣрнаго народа Твоего — мучениковъ Немирова, Бердичева, Погребищъ, Тулоина, Пулина, Бара, Умани...

При словѣ „Умани“ послышались рыданія и вопли, заглушившіе слова и голосъ кантора. Слышно было, какъ нѣкоторые раздирали на себѣ одежды... Но голосъ кантора осилилъ эти вопли...

— Умани, — продолжалъ онъ, — Краснаго и трехсотъ другихъ городовъ Руси галицкой, Украины, Подоліи, Литвы и Волыни. Эти несчастныя жертвы были великіе учителя, писатели, просвѣщенные служители Бога, отличные проповѣдники, посвятившіе всю свою жизнь изученію Твоего закона, Боже всесильный!

Отъ волненія голосъ кантора оборвался; но тѣмъ мучительнѣе разда-

лись рыданія и вопли. Головы, покрытыя бѣлыми „талесами“, раскачивались изъ стороны въ сторону точно отъ мучительной физической боли.

— Мужчины, жены, дѣвицы, младенцы—все были умерщвлены!— плакалъ голосъ кантора.—Ихъ кровь текла ручьями. Но мученики не хотѣли измѣнять своему закону...

— И мы не измѣнимъ! — слышались страстные возгласы... Пусть тонуть въ нашей крови наши мучители!

Голосъ кантора звучалъ далѣе среди этого могучаго протеста:

— „Богъ есть одинъ!“—воскликали они и падали подъ ножами убійцъ. Разбойники не щадили ни пола, ни возраста. Земля была усыяна убитыми. Ихъ кровь дымилась какъ огнемъ предъ алтаремъ Всемогушаго. О, Господи милосердый! упокой души мучениковъ сихъ, награди ихъ за ихъ испытанную добродѣтели!

Между женщинами произошло смятеніе.

— Лія въ обморокъ... Женѣ Когена дурно...

— Мама! мама! пойдемъ на воздухъ! — суетилась около матери Рахиль:—тебѣ дурно... выйдемъ!

Но внизу гремѣлъ общій гимнъ, еще болѣе потрясающій душу. Пѣли, вѣрнѣе—рыдали все...

Послѣ окончанія „поминовеній“, трое старѣйшихъ и почетнѣйшихъ представителей еврейской общины, въ числѣ коихъ былъ и Исаакъ Когенъ, отправились къ губернатору, чтобы узнать отъ него—достаточно-ли обезпечена Умань отъ нападенія гайдамаковъ, которые успѣли уже разорить нѣсколько городовъ и пролить столько крови.

Подойдя къ дому губернатора, еврейскіе старшины увидѣли Младановича на крыльцѣ. Онъ смотрѣлъ, какъ къ крыльцу конюхъ подводилъ двухъ прекрасныхъ осѣдланыхъ коней—одного подъ дамскимъ сѣдломъ. Младановичу было лѣтъ за пятьдесятъ. Это былъ бѣлокурый мужчина съ большою лысиною ото лба и длинными рыжеватыми усами съ подусниками. Около него стояла стройная молодая дѣвушка въ амазонкѣ и съ хлыстикомъ въ рукѣ. Дѣвушка была блондинка съ сѣрыми лучистыми глазами подъ гордо вскинутыми тонкими бровями. Это была панна Вероника, дочь Младановича, впоследствии оставившая записки объ „уманской рѣзнѣ“: это—будущая Вероника Кребсъ. Рядомъ съ нею стоялъ молодой человекъ въ высокихъ сапогахъ. Это былъ Рогачевскій.

— А!—тихо сказала Вероника, увидавъ подходящихъ еврейскихъ старшинъ.—Идемъ, панъ Стасъ.

И она потянулась къ отцу. Младановичъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Да не скажи безумно, какъ татаринъ,—ласково сказалъ онъ.

— А буду, татко, я такъ хочу,—капризно отвѣчала дѣвушка.

— Панъ Стасъ не позволитъ.

— Позволить, татую, — панъ Стасикъ все мнѣ позволить и... себя,—хотѣла сказать рѣзвушка, но остановилась.

Она быстро сбѣжала съ крыльца, придерживая шлейфъ амазонки, и

панъ Стась помогъ ей сѣсть на сѣдло. Молодые люди выѣхали со двора.

— Прощай, татуню! — закричала Вероника. — Я поскачу прямо къ этимъ галланамъ гайдамакамъ, и, какъ Іоанна д'Аркъ, приведу плѣннымъ самого Желѣзняка.

Младановичъ только рукой махнулъ: — „Повѣса дѣвчонка!“

Евреи поклонились.

— А! почтеннѣйшій Когенъ съ мудрецами народа еврейскаго! — улыбнулся губернаторъ. — Добро пожаловать. Что хорошенькаго?

— Хорошаго ничего, кромѣ дурного, ясновельможный панъ, — отвѣчалъ Когенъ.

— Что такъ? Поднимайтесь сюда, на ганекъ.

Старѣйшины поднялись на крыльцо, собственно на крытую галлорею съ цвѣтами въ кадкахъ и съ плетеными стульями.

— Садитесь, почтенные мужи, каждый подъ свою смоковницей, — продолжалъ развязно болтать безпечный панъ. — Что скажете вы, пришедшіе изъ земли ханаанской въ землю халдейскую? Такъ, кажется?

Когенъ и его товарищи сѣли.

— Мы, ясновельможный пане, сейчасъ изъ синагоги, — началъ Когенъ: — молились за убіенныхъ.

— За какихъ убіенныхъ? — спросилъ Младановичъ, и хлопнулъ въ ладоши. На порогѣ показался казачокъ въ ливреѣ Потоцкихъ. — Трубку, Ясь!.. Какіе же это убіенные?

— Тѣ, ясновельможный пане, что пали отъ руки злодѣевъ за страшные часы Хмельницкаго, и тѣ, что нынче мученически погибаютъ отъ злодѣя Желѣзняка и его безбожной шайки.

— Мы молились, ясновельможный пане, и за нашъ городъ, чтобъ Всевышній отвратилъ бѣду отъ Умани, мы и объ этомъ просили Іегову, — пояснилъ другой, очень ветхій старецъ.

— О! — небрежно улыбнулся Младановичъ: — напрасно вы беспокоили вашего Іегову: мы и безъ его помощи обойдемся.

Отвѣтъ этотъ непріятно поразилъ посѣтителей. Казачокъ принесъ трубку. Младановичъ сталъ пускать клубы дыму.

— Я вотъ ихъ какъ! — и онъ махнулъ рукою на дымъ. — Вотъ какъ этотъ дымъ разгоню сволочь!

— Но, можетъ быть, ясновельможный панъ не все знаетъ, — возразилъ было Когенъ.

— Все знаю, все! Знаю, что дѣлалось и въ Черкасахъ, и въ Смилой, и въ Лисянкѣ... Это срамъ и позоръ! Хичевскій самъ отворилъ имъ замокъ — это позоръ на всю Польшу! — горячился Младановичъ. — У него было чѣмъ защищаться, а онъ какъ баба струсился! Ну, и досталось ему по заслугамъ! Подѣломъ, подѣломъ!

— А ясновельможный панъ надѣется побѣдить? — нерѣшительно спросилъ самый ветхій изъ старѣйшинъ.

— Надѣется! Да у меня одинъ Гонта съ своею только сотней каждый годъ ихъ какъ зайцевъ травить,—горячился Младановичъ.

— Но вѣдь теперь ихъ идутъ тысячи... у нихъ пушки,—возразилъ Когенъ.

— Тысячи!.. Да это все свинопасы съ кольями... А у меня—посмотрите! (Младановичъ указалъ рукою на разстилавшійся внизу городъ)—у меня надежная защита, солидная, слово гонору! Посмотрите: мы, какъ кольцомъ змѣи, обведены высокими, прочными дубовымъ палисадомъ, об который любые зубы обломаются. Надъ этой оградой, какъ два грозныхъ стража, висятъ двѣ неприступныя башни, черезъ которыя только и можно пробраться въ нашу неприступную Трою. Но ужъ деревяннаго-то коня мы не впустимъ къ себѣ, нѣтъ! не пустимъ!—весело разсмѣялся своему каламбуру губернаторъ Умани.—Да у насъ найдутся и свои Гекторы, и Ахиллесы, и свои Патроклы,—найдутся! У нашего Ахиллеса, у Гонты,—я знаю,—нѣтъ уязвимой пятки, нѣтъ, слово гонору! Наши башни вооружены пушками, солидными пушечками, чортъ возьми! А сколько артиллерійскихъ принадлежностей, сколько картечи! Пусть попробуютъ подлые хлопы этого чугунаго гороху. Положимъ, ихъ подлые желудки выросли на горохѣ, но моего гороху и они не переварятъ — ха-ха-ха!—не переварятъ!.. Трубку, Ясь!

Казачокъ снова выскочилъ какъ маріонетка.

— Подай чистый чубукъ... Да, не переварятъ! Не забудьте, что мои башни оберегаются благороднымъ шляхетствомъ: все это рыцари чистой крови, рыцари съ головы до пятокъ, до каблука! Мои башни господствуютъ надъ всею пригородною мѣстностью, — пусть-ка сунутся! А рвы кругомъ города, а валъ, а острогъ... Да я эту сволочь—horribile dictu! — я ее сотру съ лица земли. А этотъ замокъ, который вы видите?.. эти каменные магазины и службы? Это — вторая крѣпость—крѣпость въ крѣпости—status in statu, чортъ возьми! И этотъ status, этотъ мой Капитолій тоже обведенъ палисадомъ и валомъ. На верхнемъ ярусѣ магазина — третья башня съ бойницами, да еще какія бойницы! Миѣ и гусей — ха-ха-ха! — не нужно, чтобы спасти мой Капитолій: я и безъ гусей выполняю роль Манлія Капитолійскаго! Не забудьте, почтенные потомки Іисуса Навина, остановившаго солнце, что у меня, такъ сказать, въ карманѣ — конный полкъ изъ двухъ тысячъ казаковъ; мои молодцы встрѣтятъ свинопасовъ за десять верстъ до Умани, и какъ Югурту приведутъ ко мнѣ скованнымъ Желѣзняка, чтобы я его посадилъ на колъ. Вонъ гдѣ его мѣсто! Посмотримъ, закуритъ ли онъ у меня на коду трубку, какъ закурилъ его предмѣстникъ на этомъ—ха-ха-ха!—очень шаткомъ и остроумъ тронѣ. Кромѣ того, у меня есть до ста человѣкъ надворной пѣхоты подъ начальствомъ храбраго капитана Ленарда... Ясь! трубку!—эта плохо курится...

— Наконецъ,—закуривъ новую трубку, продолжалъ Младановичъ: — у меня, въ городѣ двѣсти храбрыхъ конфедератовъ, отборнѣйшее войско нашей славной Рѣчи Посполитой. А мои „лизи“? Да это великолѣпные

стрѣлки! Они — слово гонору — на лету бьютъ ласточку; куриное яйцо, брошенное въ воздухъ, разбиваютъ пулей, почти не цѣлясь. А вотъ и Ахиллесъ нашей неприступной Трои! — воскликнулъ Младановичъ (почтенный панъ нѣсколько путалъ исторію, считая Ахиллеса троянскимъ героемъ).

Къ крыльцу подходилъ сотникъ Гонта.

ХІІ.

„Удивительная раса“!

Между тѣмъ, панна Вероника и молодой Рогашевскій весело неслись по звенигородской дорогѣ по направленію къ Грекову лѣсу. Навстрѣчу имъ постоянно попадались фуры, коляски, нетычанки и балагулы съ бѣглецами, спѣшившими въ Умань подъ защиту тамошнихъ укрѣпленій.

— Несчастные! — говорила Вероника, глядя на озабоченныя лица бѣглецовъ: — вѣдь скоро и въ Умани для нихъ мѣста не хватитъ: всѣ улицы города и площади заняты обозами и имуществомъ. Бѣдные!

— У панны доброе сердце! — тихо замѣтилъ Рогашевскій, украдкой любуясь своею хорошенькой спутницей амазонкой, у которой отъ быстрой ѣзды матовыя щеки покрылись нѣжнымъ румянцемъ и сѣрые лучистые глаза какъ бы почернѣли. — Паннѣ всѣхъ жаль — даже жидовъ.

— Ахъ, панъ! Какъ вамъ не стыдно говорить это: — *даже* жидовъ! — вспыхнула дѣвушка: — это „даже“ — возмутительно! Посмотрите, какіе они жалкіе, особенно эти бѣдные, у которыхъ много дѣтей. Я не говорю о нашихъ Когенахъ и имъ подобныхъ: этихъ защитить ихъ богатства. Но бѣдные! — ихъ обидитъ каждый хлопъ. А не правда ли, панъ, какъ хороша старшая дочь Когена, Рахиль?

— Гм... панна знаетъ, что черныя — не въ моемъ вкусѣ.

— А почему панъ полагаетъ, что мнѣ извѣстны его вкусы? — вскинула Вероника свои оживленные глаза на спутника.

Рогашевскій замялся и кольнулъ своего коня шпорами. Конь замесался. Но отвѣчать на вопросъ нужно было.

— Почему же брюнетки не во вкусѣ пана? — настаивала панна.

— Вѣроятно, потому, что я самъ брюнетъ, — нашелся, наконецъ, Рогашевскій.

— Красота не въ масти, — улыбнулась Вероника, — а въ чемъ-то инымъ. Клеопатра, по всей вѣроятности, была сильная брюнетка, а и Антоній, и Цезарь не избѣгли ея чаръ.

— Да то Клеопатра, египтянка, а это — израелитка, а израелитки никогда не были въ моемъ вкусѣ. Вотъ сыновья Когена такъ красавцы. Надѣюсь, панна Вероника на этотъ разъ согласна со мною?

— На этотъ разъ согласна, — снова улыбнулась панна.

Они проѣхали нѣсколько молча.

— О чемъ панъ задумался?—спросила Вероника, скользнувъ взоромъ по лицу своего спутника.

— Я думаю о сочиненіи панны, которое она была такъ любезна — довѣрила мнѣ прочесть,—отвѣчалъ Рогашевскій.

— О какомъ сочиненіи?

— А объ этомъ граціозномъ эскизѣ, который панна озаглавила „Что вспомнилось“.

— Почему же этотъ набросокъ, эта шутка, или скорѣе — шалость, капризъ пера—привлекаетъ мысли пана?

— Панна ошибается въ своей авторской скромности, — горячо возразилъ Рогашевскій: — если это набросокъ, капризъ, то капризъ Рубенса, миниатюра Тиціана — столько душевной искренности, столько тепла и дѣвственной чистоты... И это первое сочиненіе панны?

— Да, если не считать классныхъ, школьныхъ сочиненій.

— У панны безспорно талантъ.

— Панъ слишкомъ снисходительный критикъ.

— Нѣтъ, панна Вероника, я не критикъ, потому что я не имѣю счастья быть писателемъ, хотя я вдвое старше панны; но я—внимательный читатель, и думаю, что изъ панны выйдетъ блестящая писательница, и имя ея будетъ славно. Панна не станетъ отрицать, что это пишетъ почти ребенокъ, дѣвочка семнадцати лѣтъ, только что бросившая учебники, и между тѣмъ какими граціозными чертами она изобразила это первое проявленіе, на балу, дѣвственнаго чувства къ молодому человѣку именно потому, что онъ не похожъ на всѣхъ другихъ, что его складъ ума — не обыденный, не ходячій. И потомъ это неумирающее чувство симпатіи, благодарности къ тому, кто первый возбудилъ, скорѣе—разбудилъ въ дѣвочкѣ спавшую въ зародышѣ женщину, хотя впоследствии она искренно полюбила своего мужа. Это—панна согласится со мной — психологическая тонкость.

Вероника слушала молча. Рогашевскій остановился было въ нерѣшительности, но скорѣе продолжалъ:

— Мнѣ кажется, дорогая панна, что надо самому пройти эту первую стадію пробуждающагося сердца, чтобъ такъ глубоко захватить сюжетъ, какъ захватила панна, и я полагаю,—онъ остановился.

— И панъ Стасъ полагаетъ, что я прошла эту „первую стадію“, какъ онъ выражается?—разсмѣялась Вероника.

Рогашевскій замаялся, и ничего не отвѣчалъ. Вероника замѣтно покраснѣла.

— Но вѣдь Дантъ не былъ лично въ аду,—сказала она,—а умѣлъ же изобразить и его ужасы, и страданія грѣшниковъ. Можно не проходить ни „первой“, ни слѣдующихъ „стадій“ пана, чтобъ изобразить душевное состояніе людей въ извѣстномъ нравственномъ капанѣ, въ какой иногда попадаетъ сердца человѣка: для этого есть книги, развивающее чтеніе и, наконецъ, собственная книга, собственный учебникъ—голова и сердце.

Голова—это самый лучший учебникъ *ad usum delphini* и *ad usum* такой дѣвочки, какова я, по понятію пана.

— И панъ Рафаиль ничего не знаетъ о сочиненіи панвы?—спросилъ Рогашевскій послѣ небольшой паузы.

— Ни татко, ни строгая *cicoiunia* Będzińska ничего не знаютъ и не подозреваютъ.

— Тѣмъ больше я долженъ цѣнить честь, оказанную мнѣ панной, — любезно поклонился Рогашевскій.

— Что тутъ за честь!—разсмѣялась Вероника: — панъ Стась знаетъ всѣ глупости, какія продѣлывала съ дѣтства, когда ѣздила на немъ верхомъ, „маленькая гайдамачка“, какъ онъ же называлъ меня, и теперь я и эту шалость продѣлала съ нимъ, показавъ ему свое рукописное наѣздничество въ чуждую для меня недосигаемую область—литературу.

Панъ Стась хотѣлъ было обидѣться на свою хорошенькую спутницу, но раздумалъ: „все же она довѣрчивѣе со мною, чѣмъ со всѣми, а это—залогъ чего-то большаго“,—сообразилъ онъ.

Между тѣмъ обозы съ бѣглецами постоянно двигались мимо нашихъ всадниковъ, поднимая страшную пыль.

— Ахъ, какъ пылятъ эти жида! — брезгливо сказалъ Рогашевскій, отворачиваясь въ сторону. — Нигдѣ отъ нихъ мѣста не найдемъ.

— Какъ пану не стыдно это!—возмутилась панна Вероника: — они, навѣрное, обѣгутъ отъ смерти, бросили свои дома, свое хозяйство на произволъ разбойничовъ; они не знаютъ, гдѣ голову преклонить; они, быть можетъ, голодны; а намъ, празднымъ и сытымъ, не нравится, что они пылятъ! Удивляюсь, какъ безсердечны эти мужчины, а еще увѣряютъ, что у нихъ нѣжныя чувства, что они умѣютъ любить. Вадоръ! Тотъ не умѣетъ любить, кто не умѣетъ жалѣть несчастныхъ.

— Но панна знаетъ, что они не всегда несчастны,—возразилъ панъ Стась. — А чуть имъ повезетъ—они дѣлаются нахальными.

— Не съ паномъ ли?

— Посмѣютъ они! Нѣтъ—съ хлопами.

— А хлопы съ ними болѣе, чѣмъ нахальны—жестоки.

— Хлопъ—все же хозяинъ въ своей землѣ; а они—пришельцы.

Вероника подѣхала къ одной балагулѣ, нагруженной всякимъ домашнимъ скарбомъ. Оттуда выглядывало нѣсколько дѣтей. Еврей и еврейка шли рядомъ съ балагулой.

— Откуда вы, добрые люди?—спросила дѣвушка.

— Изъ Звенигородки, паненка ласкава,—отвѣчалъ еврей, снимая шапку.

— А что слышно о разбойникахъ?—спросилъ панъ Рогашевскій.

— Ахъ, паночку ласковый! они все жгутъ и грабятъ... Лисянку въ пепелъ обратили... А сколько крови—ай-вей! сколько крови!

— Гдѣ жъ они теперь?—спросила Вероника.

— Говорятъ, что идутъ сюда... Похваляются Умань взять,—о, Господи!

— Не бойтесь, добрые люди, — мой отецъ защититъ васъ всѣхъ, —

сказала Вероника ласково. — Видите, мы ничего не боимся, не бойтесь и вы. У насъ крѣпость и войско.

— Но говорятъ, паненка ласкова, что онъ, Желѣзнякъ, подсылалъ своего атамана Шило къ вашимъ казакамъ и что будто бы сотникъ вашъ Гонта заодно съ гайдамаками,—шопотомъ проговорилъ еврей.

— Гонта! это вздоръ!—воскликнула Вероника:—онъ меня маленькую на рукахъ носилъ.

— Дай-то Богъ!—возвела глаза къ небу еврейка.—Хлопы такъ болтали на рынкѣ... Намъ показывали и хлопчика, который будто бы проводилъ въ Умань Шило—будто бы слѣпного бандуриста.

Вероника вспомнила, что около мѣсяца тому назадъ, когда она съ Рогашевскимъ возвращалась съ гулянья, то около лавки Когеновъ они, дѣйствительно, видѣли слѣпного кобзаря, распѣвавшего казачкія думы, и около него спавшаго мальчика-поводатыря. Не это ли былъ Шило?.. Но Гонта?.. Не можетъ быть!

— Вздоръ! вздоръ!—сказала она громко. — Можетъ быть, этотъ негодий Шило и былъ въ Умани подъ видомъ слѣпного кобзаря, но чтобы Гонта былъ съ нимъ заодно — никогда не повѣрю! Я на Гонтѣ также готова положиться какъ на своего отца. Онъ меня, маленькую, все „козой-дерезой“ пугалъ.

И Вероника весело разсмѣялась и продекламировала голосомъ пугающей дѣтей козы:

Я коза-дереза
Поль-бока луплена,
За три копы куплена,
Тупу, тупу ногами,
Сколю тебя рогами...

— И я, глупенькая, боялась этой козы... Нѣтъ, Гонта нашъ. Счастливаго пути,—сказала она и поскакала дальше.

Лошадь ея гудко отбивала копытами по сухой землѣ тактъ галопа, а дѣвушка вторила этому такту:

Тупу-тупу ногами,
Сколю тебя рогами,
Хвостикомъ вымету,
Ножками на дворъ вынесу.

— Такъ мы и Желѣзняка съ его гайдамаками „хвостикомъ выместемъ, ножками на дворъ вынесемъ“,—заклчила она.

Когда они потомъ, послѣ довольно продолжительнаго катанья за городомъ, возвращались домой, имъ попались навстрѣчу Самсонъ Когенъ и Рахиль. Вероника приостановила своего коня.

— День добрый, милая Рахиль!—сказала она привѣтливо.

И Рахиль и Самсонъ поклонились.

— Какъ поживаете? А отца вашего я видѣла сегодня у насъ,—продолжала Вероника.—Всѣ у васъ здоровы?

— Благодарю васъ, добрая панна,—скромно отвѣчала Рахиль. — Мы всѣ здоровы, только это общее бѣдствіе...

— Ничего, милая Рахиль, намъ нечего бояться, да мы и другихъ спасемъ. А кстати—скажите: былъ у васъ съ мѣсяцъ тому назадъ слѣпой кобзарь?—спросила Вероника. — Мы съ паномъ Рогашевскимъ видѣли его около вашей лавки.

— Да, былъ,—отвѣчала Рахиль. — Мы его встрѣтили за городомъ, около Грекова лѣса. Онъ съ маленькимъ хлопчикомъ шелъ въ Умаць, но хлопчика укусила гадюка. Мы тамъ рвали цвѣты, и услышали крикъ мальчика. Братъ Ефраимъ помогъ ему, а онъ не могъ отъ боли ступить на ногу, то Ефраимъ и самъ слѣпецъ донесли его до нашей лавки, и мама вытѣчила мальчика, а слѣпецъ за это спѣлъ намъ „неволюницкій плачъ“; потомъ Ефраимъ отвелъ его къ войту, къ Богатому.

— А теперь, милая Рахиль, говорятъ, будто бы это былъ не слѣпой кобзарь, а переодѣтый атаманъ Желѣзняка, по имени Шило, и что будто бы онъ приходилъ подговаривать Гонту — пристать къ гайдамакамъ. Но я этому не вѣрю,—говорила Вероника, вся раскраснѣвшись: — Гонта намъ никогда не измѣнитъ, хоть подошли къ нему десять Шилъ. Но вы потомъ не видали этого слѣпца?

— Мы сами не видѣли,—отвѣчала Рахиль: — но братъ Ефраимъ видѣлъ, когда на другой день отводилъ къ войту того хлопчика, который ночевалъ у насъ. А гдѣ потомъ дѣвался слѣпецъ—мы не знаемъ.

— Ну, все это вздоръ,—заклчила Вероника. — Гонта не такой человекъ... Прощайте!

И она припорила лошадь и поскакала. За нею послѣдовалъ и Рогашевскій.

— Не правда ли—красавица Рахиль? — оборотилась на скаку Вероника.

— Да, если то находить панна, — отвѣчалъ ей кавалеръ. — Но что Самсонъ красавецъ — это несомнѣнно: это настоящій Самсонъ — въ немъ что-то библейское.

— Да—и могучее, и обаятельное... Удивительное племя! Не вырождается ни подъ какими солнцами, ни подъ какими ударами... Непостижимое племя! Если-бъ я не была полька, я бы жалѣла, что я — не еврейка. Непостижимая раса!

Вероника вдругъ придержала свою лошадь.

— Осторожнѣе, панъ, какъ бы не раздавить дѣтей, — сказала она спутнику.

На улицѣ играли ребятишки. Тутъ были и еврейскія дѣти, и польскія, и украинскія.

Вероника и Рогашевскій разсмѣялись и поѣхали дальше.

— Вотъ изъ этихъ пахотъ и выйдутъ впослѣдствіи гайдамаки,—замѣтила какъ бы про-себя дѣвушка. — Но меня вотъ что поражаетъ,—заговорила она, немного помолчавъ: — замѣтилъ панъ лица этихъ играющихъ дѣтей?

— А что, панна?—спросил Рогашевскій.

— Какая печать чистоты расы лежитъ на личикахъ еврейскихъ дѣтей! Вѣдь они родились здѣсь же, гдѣ родились и эти хохлята, — подъ этимъ же далеко не палестинскимъ солнцемъ; росли они большею частью въ нищетѣ, въ грязи валялись, питались скудно — хлѣбомъ да чеснокомъ большею частью, не мытыя, не чесаныя. И при всемъ томъ—что у нихъ за глаза, какой блескъ, какая ясность взора! А чистая матовая кожа—вѣдь, это точно изваяніе, античный мраморъ, потемнѣвшій отъ времени. Эта античная смуглота — прелестна. А правильность чертъ какая изумительная: эти словно изъ мрамора точеные носики, эти пышныя губки, античные лбы, античный, тонко очерченный профиль. А еврейскія дѣвочки—онѣ восхитительны! И рядомъ съ ними — эти хохлята. Растутъ они въ сравнительномъ довольствѣ, питаются въ изобиліи, никто ихъ не обижаетъ; то же украинское солнце смотрѣло въ ихъ колюбели, какъ и въ жалкія колюбели еврейскихъ дѣтей. И при всемъ томъ—ни природа, ни исторія не выработали на ихъ лицахъ даже профиля: носы большею частью картофелиной, кожа нечистая, часто угрястая и лупящаяся, глаза—безъ блеска, безъ выраженія. Ну, и какъ, чѣмъ панъ все это объяснить?

Рогашевскій только рукою махнулъ — „фантазерка... милая энтузіастка“,—подумалъ онъ, но ничего не сказалъ.

ХІІІ.

Младановичъ и Гонта.

Наступалъ іюнь мѣсяцъ. Какъ ни былъ Младановичъ увѣренъ въ своей безопасности и неприступности управляемаго имъ города, однако, вновь прибывавшія толпы бѣглецовъ заставили и его задуматься. За городъ онъ не боялся; но что дѣлать съ бѣглецами, которые уже не вмѣшались въ городъ, а должны были становиться таборомъ у Грекова лѣса? Всѣ они пришли искать спасенія у него, у пана Рафаила Деспота Младановича. Эти робкія овцы хотятъ укрыться подъ его рыцарскимъ щитомъ. Шляхетская честь требовала, чтобъ онъ прикрылъ робкихъ своимъ щитомъ. А какъ ихъ прикроешь за городомъ, въ полѣ, въ этомъ безобразномъ таборѣ?

— Слово гонору! надо подумать, посоветоваться... но съ кѣмъ? Конечно, съ Ахиллесомъ моею Трои—съ Гонтой, хоть я далеко не достигъ почтенныхъ лѣтъ Пріама—я такъ еще ловко танцую мазура.

Такъ думалъ Младановичъ, шагая по галлерей своего дома между кадкамі цвѣтовъ. Онъ остановился передъ кадкою съ лавровымъ деревомъ.

— *Vae victis!*—пробормоталъ онъ. — Изъ этихъ зеленыхъ листьевъ гордаго лавра моя цуречка своими нѣжными пальчиками сплететъ вѣнокъ, и я возложу его на голову побѣдителя.

Онъ снова зашагалъ по галлерей.

Гей, Ясь! трубку! — Выскочил казачек уже съ готовой трубкой. —
Досаждай гайдука за сотникомъ Гонтою.

Намъ Гонта у ясновельможной пани, — отвѣчалъ казачокъ.

Позвать его ко мнѣ, да вели подать венгржина и два келишка.

Черезъ нѣсколько минутъ на галлерей показался Гонта, а за нимъ
слуга вносъ подносъ съ венгерскимъ и стаканами.

— А — пане Гонто! ты ухаживаешь за моими дамами? — пошутилъ губернаторъ Умани. — Но ты не Парисъ, а непобѣдимый Ахиллесъ.

— Я зашелъ къ ясновельможной пани губернаторовой, чтобъ посо-
ветоваться о нашихъ бѣдныхъ овечкахъ, — отвѣчалъ Гонта, почтительно
кланяясь.

— О какихъ бѣдныхъ овечкахъ? — спросилъ Младановичъ.

— О тѣхъ, что прибѣжали укрыться отъ Желѣзняка подъ могучимъ
крыломъ ясновельможнаго пана.

— О! да ты, пане Гонто, угадалъ мою мысль: я сейчасъ о томъ же
думалъ и велѣлъ было послать за тобой, когда узналъ, что ты самъ здѣсь.
Слово говору, это счастливый знакъ.

Гонта снова почтительно поклонился.

— Я всегда привыкъ думать съ моимъ мудрымъ повелителемъ заодно, а
тутъ мнѣ подсказало сердце.

— Какъ же ты полагаешь?

— Я полагаю, ясновельможный пане, что намъ было бы унинительно
ждать къ себѣ въ гости этихъ лайдаковъ.

— Именно, именно: *rationem habes, domine Gonto*.

— И еще унинительнѣе допустить ихъ обидѣть тѣхъ несчастныхъ, ко-
торые прибѣгли подъ высокую руку ясновельможнаго пана.

— Вполнѣ справедливо, *optime*. Какъ же намъ поступить?

— Я полагалъ бы, если это угодно ясновельможности, приказать на-
шему полку встрѣтить лайдаковъ въ полѣ, далеко отъ Умани, и...

— *Venire, videre et vincere?* Прийти, увидѣть и побѣдить? Ха-ха-ха!

— Всеконечно — побѣдить и на колѣ посадить...

— Ха-ха-ха! Я завидую тебѣ, пане Гонто, и желалъ бы быть на
твоемъ мѣстѣ.

— Для ясновельможнаго пана это было бы унинительно.

— Какъ? почему унинительно?

— Конечно, такому вельможному пану унинительно стать противъ
нихъ *)!

— Пожалуй, ты и правъ, — согласился Младановичъ. — *quod licet
bovi...* — онъ спутался и не договорилъ; но Гонта во всякомъ случаѣ не
понялъ его комической ошибки.

*) Вероника Младановичъ, въ послѣдствіи рині Кребзювъ, въ остав-
шихся послѣ нея запискахъ объ „уманской рѣзнѣ“ свидѣтельствуетъ,
что Гонта прекрасно говорилъ по-польски.

— Если-бъ это былъ Суворовъ,—о! тогда панъ еще могъ-бы помѣряться съ нимъ силами.

Имя Суворова и его военная слава уже проникли тогда въ Польшу, и Гонта зналъ, чѣмъ польстить самолюбивому шляхтичу.

— О! ты мнѣ льстишь, пане Гонта,—замѣтилъ Младановичъ.—Такъ ты думаешь выступить противъ гайдамаковъ?

— Какъ прикажетъ панъ.

— Я такъ и думалъ. Самъ согласишься со мной, я думаю, что было-бы противно моей рыцарской чести не защитить своею грудью тѣхъ, у которыхъ теперь только я и остался.

Младановичъ подошелъ къ столику, на которомъ стоялъ подносъ съ венгерскимъ и стаканами, и наполнилъ оба стакана старымъ венгржиномъ. Одинъ стаканъ онъ подаль Гонтѣ.

— За успѣхъ экспедиціи противъ лайдаковъ!—сказалъ онъ, поднимая свой стаканъ.

— Да здравствуетъ ясновельможный панъ Рафаилъ Деспотъ Младановичъ!—съ своей стороны возгласилъ Гонта.

Они чокнулись. Въ глазахъ Гонты сверкнулъ зловѣщій огонекъ.

— Ясь, трубку!—хлопнулъ въ ладоши Младановичъ.

Въ это время сзади галлерей, въ саду, послышался отчаянный кошачій крикъ и дѣтскій смѣхъ.

— Павлусъ! что это вы дѣлаете, негодныя дѣти! — прикрикнулъ съ галлерей женскій голосъ.

— Это мы, цецюню, гайдамаковъ вѣшаемъ, — отвѣчала дѣтскій голосъ.

— Ахъ вы негодники! бросьте ихъ!—протестовала женскій голосъ.

— Да эти гайдамаки сыръ покрали,—не сдавался мальчикъ.

Младановичъ и Гонта пошли полюбопытствовать — что тамъ творится. Скоро они увидѣли, что въ саду, подъ грушею, стояли два мальчика: Павелъ десятилѣтній, сынъ Младановича, и такой-же сынишка уманскаго казначея Рогашевскаго, братъ пана Стася, и на веревкахъ вздергивали на грушу двухъ котятъ.

— Что ты дѣлаешь, разбойникъ Павликъ?—засмѣялся Младановичъ.

— Мы, татуню, гайдамаковъ вѣшаемъ, — бойко отвѣчалъ избалованный мальчикъ.

— Павлусъ вѣшаетъ Желѣзняка, а я атамана Шило,—пояснилъ другой шалунъ.

— Бросьте ихъ... не мучьте,—настаивалъ Младановичъ.

— Да они, татуню, сыръ поѣли,—упрямился Павликъ.

Въ саду появилась Вероника, и мальчики убѣжали. Дѣвушка освободила котятъ отъ веревокъ.

— Негодные мальчики!—ворчала она.—Ужъ эти мужчины! Жалости въ нихъ нѣтъ... Бѣдные котятки.

Младановичъ и Гонта воротились къ своему венгржину.

— Такъ какъ же мы примемъ за дѣло, пане Гонта? — заговорилъ опять Младановичъ.

— Пусть ясновельможный панъ прикажетъ собраться всему нашему полку, какъ бы на *poris* (на смотръ). Потомъ объявить о выступленіи противъ злодѣевъ. Мы, полковая старшина — полковникъ Обухъ и Магнусевскій, и всѣ сотники, съ знаменами, отправимся въ церковь, прослушаемъ молебень, батюшка благословить насъ крестомъ, покропитъ знамена святою водою, ясновельможный панъ скажетъ ободряющую рѣчь...

— О! я скажу, непременно скажу! — воодушевился добрякъ губернатора. — Я скажу: *quousque tandem abutere...*

— Намъ ясновельможнаго пана не учить краснорѣчію, — поддакнулъ хитрый хохоль.

— Скажу, скажу, это очень ободряетъ... Ясь, трубку!

Младановичъ исполнилъ все, какъ совѣтовалъ ему Гонта. Полкъ выступилъ въ походъ.

Вслѣдъ за уходомъ полка, — говоритъ авторъ монографіи „Гайдачина“, — новыя толпы поляковъ и евреевъ стекались въ городъ, убѣгая изъ губерній лисянской, звенигородской, бѣлоцерковской, смиланской и другихъ мѣстъ, гдѣ уже свирѣствовали гайдамаки, добывая, дограблявая и сожигая все, что осталось тамъ. Число этихъ бѣглецовъ до того увеличилось, что городъ не могъ уже принимать ихъ къ себѣ, и они должны были становиться таборомъ вблизи города, котораго, однако запереть нельзя было, такъ какъ въ немъ не было воды и за нею обыкновенно ѣздили версты за три къ ручью, называемому Каменка, гдѣ теперь находится знаменитый садъ Потоцкихъ — Софіевка. Къ этому табору прибывали новыя массы, искавшія спасенья отъ смерти. Иждивеніемъ Потоцкаго въ Умани устроены были школы, которыми завѣдывали базилиане, и въ школахъ этихъ было до четырехъ-сотъ студентовъ. Начальникъ школъ, съ титуломъ ректора, ксендзъ Ираклій Костецкій, въ виду грозившей городу опасности, велѣлъ прекратить ученіе и позволилъ не только студентамъ, но и профессорамъ уѣхать изъ города. „Но куда они могли уѣхать, — спрашиваетъ Липоманъ, — когда со всѣхъ мѣстъ люди искали спасенья въ Умани?“ Тѣ, которые были въ таборѣ, за городомъ, везли все, что у нихъ было цѣннаго, въ городъ и отдавали на сохраненіе Младановичу и ксендзу Костецкому.

Страшные слухи росли, между тѣмъ, съ каждымъ часомъ. Толпы бѣглецовъ не переставали прибывать къ городу и тѣмъ увеличивать страхъ, который началъ уже тревожить и тѣхъ, кои сидѣли въ Умани за башнями и крѣпкими палисадами. Страхъ переходилъ въ ужасъ, и Младановичъ нашелъ необходимымъ запереть городъ, несмотря на недостатокъ воды въ то жаркое лѣтнее время. Въ городѣ вырыли было глубочайшій колодезь,

прорыли до двух-сотъ сажень глубины, но воды не нашли даже на этой глубинѣ.

Но вотъ на таборъ какъ бы упала ужасная вѣсть, будто Гонта вошелъ въ сношеніе съ Желѣзнякомъ и дѣйствуетъ съ нимъ за одно. Последняя надежда, слѣдовательно, пропадала, и спасенія уже не было ни откуда. Нѣсколько почтенныхъ особъ явилось изъ табора къ губернатору, и передали ему эту страшную вѣсть, говоря, что узнали ее отъ преданныхъ имъ поселянъ, которые завѣряли, что „Гонта измѣнилъ, что онъ — сообщникъ Желѣзняка, того самаго, который получилъ благословіе въ лебединскомъ монастырѣ и который былъ главою смилянскаго мятежа“. Эти дворяне просили губернатора, чтобъ онъ принялъ какія-нибудь мѣры для своего спасенія и для защиты города, чтобы онъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ, для предупрежденія несчастія, могущаго разразиться надъ ними, вызвалъ Гонту, и, при помощи магдебургскаго права, лишилъ бы его жизни немедленно: „Мой отецъ,—говорить Вероника Кребсова,—отвѣчалъ, какъ слѣдовало въ подобномъ случаѣ благородному человѣку; но Гонтѣ съ другими сотниками приказалъ явиться къ нему“. Сотники немедленно явились, и тогда Младановичъ, вызвавъ изъ табора значительное число обывателей, вышелъ съ ними и съ сотниками на рынокъ и обратился къ Гонтѣ съ такими словами:

— Пане Гонто! мнѣ доносятъ, что ты въ заговорѣ съ Желѣзнякомъ. Я этому не хочу вѣрить. Если ты теперь пользуешься столькими благодѣяніями отъ нашего пана (Потоцкаго), то чего можешь ожидать еще, когда имѣнія его сиаешь отъ бунта, поднятаго Желѣзнякомъ!

Говорятъ, что Гонта съ удивительнымъ краснорѣчіемъ оправдывалъ себя отъ этого обвиненія, и когда говорилъ о своей благодарности къ Потоцкому, то плакалъ. „Надо было слышать (прибавляетъ въ своихъ запискахъ Вероника Кребсъ), какъ онъ защищался!“—Гонтѣ написали особую присягу и дали, чтобъ онъ прочиталъ ее, потому что онъ умѣлъ и читать и писать. Гонта потребовалъ, чтобы его къ этой присягѣ приводили публично и торжественно. Желаніе его исполнили. Изъ трехъ церквей вышли священники обонхъ исповѣданій, капелланы и ректоръ базиліанъ, ксендзъ Костецкій, въ полномъ облаченіи, съ крестомъ, евангеліемъ и хоругвями. вмѣстѣ съ Гонтою пришли на площадь и другіе сотники. Эту повторительную присягу онъ принималъ на крестѣ и евангеліи и притомъ,—добавляютъ польскіе писатели,—„цѣловалъ руку ксендза, ректора Костецкаго, и этою мученикъ благословлялъ своего палача“.

Во время этой внушительной церемоніи въ числѣ зрителей стояла молодая женщина, а около нея два хорошенькихъ мальчика въ костюмахъ студентовъ школы базиліанъ. Женщина казалась глубоко печальною.

— Это жена Гонты,—тихо сказала, указывая на нее, Рахиль своему брату Ефраиму.—Бѣдная! какъ должно быть ей тяжело, когда мужа ея подозреваютъ въ такомъ ужасномъ преступленіи.

— Она очень красива собою,—замѣтилъ Ефраимъ.

— И дѣти ихъ такіе миленькіе маль'чики, — добавила Рахиль. — Не можетъ быть, чтобъ онъ измѣнилъ: погубить такихъ херувимчиковъ, какъ его хлопчики, это было бы ужасно, невѣроятно.

Пощипавъ крестъ и евангеліе, Гонта встрѣтился глазами съ глазами жены. Что выражалъ его взглядъ—даже она не могла разгадать. Она положила руки на головы сыновей и заплакала. Ей вспомнилась та далекая, тихая ночь, когда въ Грековомъ лѣсу заливался соловей, и она, глядя на звѣзды, почувствовала, какъ онъ тихо прижалъ ее къ себѣ и еще тише прошепталъ: „ты моя, моя“... А теперь онъ уходилъ... Вернется ли?

XIV.

„Онъ вернулся!“ *)

Да онъ вернулся... Но какъ!..

Прошелъ день, но о Гонтѣ и казакахъ ничего не было слышно. Зато о гайдамакахъ приходили вѣсти одна другой ужаснѣе.

Что же дѣлалъ Гонта? Что случилось съ самимъ полковникомъ Обухомъ? Гдѣ другіе сотники и казаки? Страшныя подозрѣнія стали закрадываться въ душу то одного, то другого изъ ожидавшихъ своей участи. Подозрѣнія стали переходить въ массы, изъ табора въ городъ.

Что дѣлать? что предпринять? Надо готовиться къ смерти, къ ужасной смерти! Но упорно живуча въ человѣкѣ надежда. Эта надежда заставляла богатыхъ закапывать въ землю деньги, драгоценности. Для чего? Можетъ быть, для того, чтобы сокровища не достались злодѣямъ; а можетъ быть... въ безпросвѣтной тьмѣ свѣтилась надежда... можетъ быть...

Что же еще оставалось? Оставалось одно приближище: молитва.

На паперти базилианскаго монастыря „Свѣтлаго Книжа“ стояла статуя, изображавшая „крестную ношу“. Около статуи толпились несчастные, заламывая руки...

— „Придите ко мнѣ всѣ страждущіе и обремененные, и я успокою васъ!“ — возглашалъ ректоръ Ираклій Костецкій, стоя въ облаченіи на паперти и указывая рукою на Несущаго свой крестъ.

Вотъ гдѣ спасеніе... Къ Нему идти...

И толпы идутъ къ этой знаменательной статуй, толпа за толпою... Служители этого Несущаго свой крестъ исповѣдываютъ и причащаютъ ихъ.

Въ это время сквозь толпу пробирался къ синагогѣ Исаакъ Когенъ. Глубокое отчаяніе было написано на его лицѣ. Онъ остановился и посмотрѣлъ на статую... Сколько въ ней трагическаго смысла!.. Какъ долженъ быть тяжелъ крестъ, подъ бременемъ котораго изнемогаетъ Несущій его... Кровавый потъ струится по лицу Несущаго...

*) „Гайдамачина“, стр. 209--211.

И Когену вспомнилось одно мѣсто небольшой книги, которую онъ недавно читалъ, желая разобраться въ мучившихъ его сомнѣніяхъ и вопросахъ...

— И мимоходящій хуляху его,—невольно шептали губы Исаака,—покиваяще главами своими и глаголюще: „уа! разоряй церковь и тремя днями созидай, спасися самъ и сниди съ креста“. Также и архіерее ругающиеся, другъ ко другу съ книжники глаголаху: „ины спасе, себе ли не можетъ спасти?..“

„Уа!“ колотилось въ душѣ у стараго еврея: „вездѣ безсмысленная толпа жаждетъ крови... О, Адонай! когда же это кончится?.. Когда же люди поймутъ это?“..

„Уа! уа!“ еще съ большею силою защемило у него на душѣ и еще съ болѣе глубокимъ отчаяніемъ направился онъ домой.

А всеобщій ужасъ возрасталъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ. Въ томительномъ ожиданіи прошло три дня—5-е, 6-е и 7-е іюня. Жары стояли невыносимые. Въ городѣ вышла вся вода—нечего пить!

Тогда къ Младановичу явилась депутація отъ города съ просьбой—отправить женщинъ и дѣтей въ Тарговицу, мѣстечко, лежащее на берегу рѣчки Синохи, на самой русской границѣ, какъ разъ противъ русской крѣпости Новоархангельска.

— Пусть наши дѣти и жены укроются отъ неминуемой гибели подъ защитою русскаго оружія,—говорили депутаты.

Послѣдніе дни сильно измѣнили Младановича. Онъ уже пересталъ смотрѣть на себя, какъ на Манлія Капитолійскаго: и римскіе гуси, и Троя, и деревянный конь, и уманскіе Ахиллеса, Гекторы и Патроклы исчезли точно въ туманѣ. Остался одинъ только несчастный старецъ Пріамъ, и этотъ жалкій старецъ былъ—онъ, Рафаилъ Деспотъ Младановичъ.

— Что жъ, панове,—отвѣчалъ онъ убитымъ голосомъ:—пусть и мои дѣти ѣдутъ съ вашими дѣтьми... Останусь я одинъ на своемъ посту.

Наскоро наладили коляски и рыдваны, захватили что поцѣннѣе. Когенъ также порѣшилъ выслать изъ города жену и Рахиль съ Сарою. Но Рахиль отказывалась покинуть городъ.

— Если намъ суждено умереть, такъ я хочу умереть съ вами и съ отцомъ,—упрямо твердила она братьямъ.

— Но вы насъ только будете стѣснять,—возражалъ Самсонъ.

— Я васъ не стѣсню ничѣмъ,—твердила упрямая дѣвушка.

— Мы будемъ защищаться до послѣдней капли крови, какъ защищались наши предки отъ филистимлянъ,—говорилъ Ефραίмъ.

— А развѣ я—не еврейка? Развѣ нашъ Іуда Маккавей—не мой тоже?

— Но ты—слабая женщина,—говорилъ Моше.

— Ничего... Моя коса вамъ пригодится!

И въ порывѣ возбужденія она выбросила изъ волосъ шпильки, придерживавшія ея косу, и эта роскошная коса, рассыпавшись, укрыла ее чуть не до пятъ.

— Зачѣмъ намъ твоя коса?—изумился Ефраимъ.

— Изъ нея вы совете веревку и на этой веревкѣ повѣсите злодѣя Желѣзняка!

Когда вѣсть о бѣгствѣ богатыхъ женщинъ, дѣвушекъ и дѣтей разнеслась по городу, то въ замокъ хлынули толпы женщинъ, мѣщанъ и бѣдные евреи съ плачемъ и стenanіями.

— Богатые убѣгаютъ,—вопили они:—а куда мы, бѣдные, дѣнемся? У насъ нѣтъ ни колясокъ, ни рыдвановъ, ни лошадей... Что же будетъ съ нашими дѣтьми?

И Младановичъ, у котораго уже не было своей воли, отмѣнилъ прежнее распоряженіе, безнадежно махнулъ рукой, какъ бы говоря: „погибать, такъ погибать ужъ всѣмъ“!

Однако, не всѣ въ городѣ такъ упали духомъ, какъ Младановичъ. Были два человека, которые могли бы спасти Умань, если бъ имъ повиновались всѣ прочіе, или если-бъ слушались ихъ совѣтовъ, исполненныхъ благоразумія и мужества. Это были—нѣкто Ксаверій Шафранскій и нашъ знакомый, красавецъ Самсонъ Когенъ.

Шафранскій былъ просто землемѣръ, присланный въ Умань Потоцкимъ для приведенія въ точную извѣстность его обширныхъ земельныхъ владѣній. Шафранскій находился прежде въ военной службѣ, въ Пруссіи, въ рядахъ воиновъ прусскаго короля Фрица, котораго, по свойственной въ то время слабости къ громкимъ когноменамъ, называли, да почему то и доселѣ, ничто же сумняся, называютъ „Фридрихомъ Великимъ“. Въ рядахъ воиновъ короля Фрица, при частыхъ его войнахъ, Шафранскій отлично изучилъ военное ремесло. Онъ же былъ и опытный архитекторъ, почему Потоцкій и поручилъ ему возведеніе въ Умани сильной крѣпости и постройку городскихъ зданій.

Вотъ этотъ-то Шафранскій и не потерялся, когда всѣ въ Умани потеряли голову.

Такимъ же оказался и красавецъ Самсонъ. Въ первый же день „поста помилованія“, послѣ потрясающихъ сценъ въ синагогѣ, онъ и два остальныхъ брата его, Ефраимъ и Моше, собрали около синагоги всю еврейскую молодежь, способную носить оружіе, и воспламенивъ ее пламенною рѣчью, поклялись на Торѣ— „истребить филистимлянъ“, какъ они называли гайдамаковъ.

— Развѣ за тысячелѣтіе скитаній и гоненій въ еврейской душѣ умерли мудрость Моисея и Соломона и мужество Іисуса Навина и Іуды Маккавея!—говорилъ онъ, сверкая глазами.—Развѣ мускулы сыновъ Израиля потеряли упругость и силу мускуловъ того, который изнесъ на гору ворота города Газы вмѣстѣ съ веревями, а потомъ своими руками разрушилъ капище идола Дагона, похоронивъ подъ развалинами этого капища враговъ своихъ и самого себя!

— Нѣтъ! нѣтъ! у насъ есть свой Самсонъ!—кричали восторженные юноши, намекая на энергію и физическую силу своего инициатора.

— У насъ есть и мудрый Соломонъ — почтенный Исаакъ Когенъ! — возвысилъ голосъ курчавый и рыжій Лейба Ротъ.

— А нашъ Моисей — великій учитель и апостолъ Іаковъ-Іосифъ Когенъ изъ Полоннаго! — громогласно прокричалъ извѣстный силачъ Мозесъ Мохерь.

— Докажемъ же презрѣннымъ филистимлянамъ, — продолжалъ Самсонъ, — что за тысячелѣтія скитаній и гоненій мы не утратили своей доблести и чести, какъ не утратили ихъ наши предки ни въ странѣ фараоновъ, ни на рѣкахъ вавилонскихъ, ни на кострахъ инквизиціи! Теперь же идемъ въ цитадель и потребуемъ себѣ оружія изъ арсенала. Мы составимъ еврейскій легіонъ, и подъ руководствомъ Шафранскаго приготовимся къ защитѣ нашихъ отцовъ, матерей и сестеръ.

— Идемъ! идемъ! — раздались голоса.

И толпа двинулась къ цитадели — къ той башнѣ, на которой находился Шафранскій, наблюдая въ зрительную трубу за тѣмъ, что происходило въ стѣни, откуда ожидали появленія непріятеля.

Вскорѣ къ молодежи присоединились евреи всѣхъ возрастовъ, которые въ состояніи были носить оружіе, и такимъ образомъ составилъ особый еврейскій легіонъ, который могъ бы спасти Умань, если бъ его поддерживали конфедераты и другіе, находившіеся въ городѣ, поляки, и если бъ они также мужественно поддерживали самого Шафранскаго, какъ мужественно дѣйствовали заодно съ нимъ евреи *).

„Шафранскій, — говоритъ авторъ монографіи „Гайдамачина“, — одинъ не растерялся въ самый день уманской рѣзни, и если бъ польскіе дворяне, защищавшіе вмѣстѣ съ евреями городъ, не перепились до пьяна, можетъ быть, единственно за недостаткомъ въ Умани воды, и если бъ они дѣйствовали такъ же добросовѣстно и самоотверженно, какъ дѣйствовали робкіе, никогда не бравшіе въ руки ружья евреи, которыхъ Шафранскій поощрялъ и училъ стрѣлать, то Умань, можетъ быть, была бы спасена, благодаря дѣятельности и распорядительности Шафранскаго и удивительной отвагѣ, съ которою дѣйствовали евреи, робкіе и невоинственные по природѣ“ **).

Такимъ образомъ, пока, въ теченіе послѣднихъ трехъ дней, 5—7 іюня, толпы вѣрующихъ искали утѣшенія и помощи около паперти „Свентего Кшижа“, у Несущаго крестъ свой, еврей, подъ руководствомъ Шафранскаго, готовились къ защитѣ города, вставая до свѣту и обучаясь стрѣльбѣ и другимъ воинскимъ приемамъ.

Утромъ 8-го іюня, покончивъ съ ученьемъ, Шафранскій и Самсонъ Когенъ поднялись на башню, служившую для Шафранскаго обсервацион-

*) Польскіе писатели, современники описываемаго событія, съ большою похвалою отзываются объ этой мужественной горсти евреевъ.

**) „Гайдамачина“, стр. 219.

нымъ пунетомъ, и стали поочередно наблюдать въ зрительную трубу. Вдругъ по звенигородскому тракту, за грековымъ лѣсомъ, показалось облако пыли.

— Я вижу тамъ пыль, но не знаю отчего она: вѣтру нѣтъ, — сказалъ Шафранскій. — А посмотри ты, пане Самсоне, — у тебя глаза свѣжѣе моихъ.

Самсонъ приложился къ трубѣ.

— Я вижу—тамъ что-то движется,—сказалъ онъ.

— Можетъ быть, новые бѣглецы—обозы?—спросилъ Шафранскій.

— Нѣтъ, кажется, конные... Да, конница, я узнаю.

— А знаменъ и значковъ не видно?

— Вижу и знамена и значки.

— А барвы—цвѣта, масти коней?

— Трудно разобрать.

Шафранскій подошелъ къ трубѣ и навелъ ее.

— Вижу-вижу—это наши казаки,—радостно сказалъ онъ.

— Идутъ сюда?—спросилъ Самсонъ.

— Нѣтъ, кажется, остановились... Я различаю бѣлаго коня — это конь Гонты... Вѣроятно, они разбили злодѣевъ.

— Но зачѣмъ же они остановились?

— Они остановились какъ-разъ у табора бѣглецовъ, вѣроятно, ободрить ихъ радостною вѣстью о побѣдѣ надъ разбойниками.

— Подай то Богъ,—съ облегченіемъ вздохнулъ молодой еврей.

— Теперь, я вижу, они строятся лавой, флангомъ къ городу, а фронтомъ къ звенигородской дорогѣ, — продолжалъ сообщать свои наблюденія Шафранскій.

Молодой еврей, напрягая все свое зрѣніе, видѣлъ то же самое, хотя неясно.

— Да, они строятся,—подтвердилъ онъ.

— Но это еще что?.. Езусъ-Марія! — воскликнулъ Шафранскій: — за ними встаетъ новое облако пыли.

— Такъ, это, вѣроятно, и есть гайдамаки: казаки ждутъ ихъ, чтобы принять въ копыя,—замѣтилъ молодой Когенъ.

— Да, это они—это гайдамаки: они не въ униформѣ, какъ наши казаки, а въ различныхъ одѣянiяхъ,—подтвердилъ Шафранскій.

— Кажется, тамъ двигаются толпы пѣшихъ, не правда ли, пане полковнику? —спросилъ молодой Когенъ.

— Да, это пѣшіе... Вотъ конные остановились лицомъ къ лицу къ нашимъ казакамъ — фронтъ противъ фронта... Что жъ ни та, ни другая сторона не нападаютъ? Это, должно быть, Желѣзнякъ отдѣлился отъ гайдамацкаго фронта и подался впередъ.

— Верхомъ, кажется?—спросилъ Самсонъ.

— Да, и тоже на бѣломъ конѣ... Но что это!

— А что, пане полковнику?

— Да они оба сошли съ коней, идутъ другъ къ другу... Но, Езусъ-
Марія! что я вижу!

— А что?.. что?.. И я вижу...

— Они обнимаются... цѣлуются... цѣлуются трижды! Боже!— это измѣна,
израда, предательство!

Зрительная трубка выпала изъ рукъ Шафранскаго. Молодой Когенъ
подхватилъ ее.

— Да, они разговариваютъ... размахиваютъ руками... показываютъ на
таборъ беглѣцовъ,—лихорадочно передавалъ свои наблюденія Самсонъ.

— Дай я посмотрю, коханку. — Шафранскій взялъ трубку изъ рукъ
Когена.

— Ну что же?—нетерпѣливо спрашивалъ молодой еврей.

— Вижу... вижу... злодѣй обнажилъ саблю...

— Кто?.. Гонта?.. Желѣзнякъ?

— Желѣзнякъ!.. Вотъ онъ махнулъ саблею на таборъ... Толпы рн-
нулись на таборъ.

— О, Адонай, Адонай! — тихо стоналъ молодой еврей: — налетѣли
ястребы-стервятники...

— Рѣзня! рѣзня!.. все кончено! Идемъ распоряжаться обороной го-
рода!—съ внезапной энергіей воскликнулъ Шафранскій.

— Идемъ!—повторилъ молодой еврей.—О, проклятіе измѣннику!

— Готовъ къ бою свой легионъ! Вы будете защищать палисады... съ
вами и „лизни“... У меня картечь...

Они оба бросились съ башни.

— До брони! до брони, сыны Израиля! — кричалъ сынъ Когена,
быстро проходя по площади, наполненной народомъ.

XV.

Новая Юдіеъ.

Таборъ былъ вырѣзанъ поголовно, или — какъ выражались гайда-
маки—„до ноги“. Зарѣзано и заколото было болѣе 6,000 душъ всякаго
возраста и пола, почти исключительно евреевъ.

Вырѣзавъ таборъ, гайдамаки подступили къ городу. Часть ихъ, мино-
вавъ предместья, бросились прямо къ городскимъ воротамъ, къ мосту,
который былъ поднятъ.

Шафранскій, стоя у пушекъ на воротной башнѣ, зорко слѣдилъ за
толпою шедшихъ на приступъ. Онъ подпустилъ ихъ на картечный выстрѣлъ.
Впереди всѣхъ, размахивая саблей, мчался на буланомъ конѣ Шило. Евреи
и „лизни“, засѣвъ за палисады съ заряженными ружьями, наблюдали за
наступленіемъ.

— О, Ефραίимъ!.. это онъ! — воскликнулъ младшій сынъ Исаака Ко-

гена, который вмѣстѣ съ братьями Самсономъ и Ефраимомъ наблюдалъ за нападавшими—въ щели палисада.

— Кто онъ?—спросили Самсонъ и Ефраимъ.

— Вонъ, впереди всѣхъ, на буланомъ конѣ... Это тотъ слѣпой кобзарь, что пѣлъ у насъ...

— Да, это тотъ, что ты тогда привелъ—съ укушеннымъ гадюкою мальчикомъ.

— Онъ!.. онъ!.. о, злодѣй!

На башнѣ послышался рѣзкій голосъ Шафранскаго. Онъ скомандовалъ. Взылся бѣлый дымокъ, и грянулъ залпъ картечи. Нѣкоторые изъ нападавшихъ упали.

— А ну-те, хлопцы!—крикнулъ мнимый слѣпецъ Шило:—або добути, або дома не бути!

Грянулъ второй залпъ, и нападавшіе дрогнули. Подъ Шиломъ лошадь взвилась на дыбы. Многие кинулись назадъ.

— Возьмите тихъ, що попадали!—крикнулъ Шило.

Раненыхъ и убитыхъ быстро подобрали.

— А, ляхи кляти!—погрозили саблею Шило Шафранскому и пушкарямъ полякамъ:—мы заразъ вернемось до васъ!

Осажденные готовились вновь жарко встрѣтить незваныхъ гостей. Шафранскій стоялъ у заряженныхъ вновь пушекъ, а евреи и „лизи“, просунувъ ружья сквозь частоколъ палисада, ждали своей очереди.

— Такъ панна Вероника правду говорила, что тогда былъ у насъ вотъ этотъ самый гайдамакъ подъ видомъ слѣпца, — сказалъ Самсонъ, когда нападавшіе удалились.

— Да, я теперь узналъ его — это онъ, — сказалъ, въ свою очередь, Ефраимъ.

— И я узналъ, — добавилъ третій братъ: — говорить, что это атаманъ Шило.

— Ахъ, злодѣй!—воскликнулъ Ефраимъ.—А я еще тогда помогъ его хлопчику, несъ на себѣ... Такъ вотъ гдѣ настоящая гадюка.

Между тѣмъ, едва сдѣлалось извѣстнымъ объ измѣнѣ казаковъ и Гонты и о гнусномъ истребленіи всего табора, стоявшаго подъ Грековымъ лѣсомъ, какъ ксендзъ и ректоръ Костецкій и другіе католическіе и униатскіе священники вышли изъ церквей въ полномъ облаченіи, и предшествуемые хоругвями, крестами и святыми дарами, стали совершать по всему городу крестный ходъ. Ихъ сопровождало все населеніе города: вопли, слезы и стenanія заглушали собою церковное пѣніе.

Еврей—дряхлые старцы, женщины и дѣти молились въ синагогѣ.

Между тѣмъ осаждающіе двинулись къ городу громадными массами. Съ гайдамаками шли и уманскіе казаки.

— Готовьтесь, сыны Израиля!—говорилъ Самсонъ Когень, обходя палисады: — теперь настаетъ и наша очередь... Цѣйтесь въ злодѣевъ вѣрнѣе, пусть каждая наша пуля несетъ имъ смерть.

— Безъ промаха бейте, потомки Иисуса Навина!—подтвердилъ слова Самсона Лейба Ротъ, потрясая огненными пейсами.

— Идутъ! идутъ!.. О, Іуда Маккавей! помоги сынамъ твоимъ! — воскликнулъ богатырь Мозесъ Мохерь.

Лава осаждающихъ разбилась на-двое: одна часть двинулась къ башеннымъ воротамъ, другая устремилась на палисады, перебираясь черезъ окопы.

Снова первыхъ встрѣтила картечь, вторыхъ ружейные залпы изъ-за палисадовъ. На этотъ разъ полегло еще больше. Картечь проложила цѣлую улицу среди нестройной толпы, хлынувшей къ башнѣ, а еврейскія пули, мѣтко поражая стремившихся къ палисадамъ, и убитыхъ наповалъ и раненыхъ опрокидывали назадъ въ окопы.

Это былъ тотъ боевой отпоръ осажденныхъ, о которомъ доселѣ поютъ кобзари:

Ой дошелъ Желѣзнякъ до воротъ,
Да и „здыбалъ три копы“ хлопотъ...

— Благодарю, благодарю, мои коханые ученики! — радостно кричалъ съ башни Шафранскій къ евреямъ, вновь заряжавшимъ еще дымившіяся дула ружей.

И второй и третій штурмъ были также отбиты. Разъяренные гайдамаки съ бѣшенствомъ спускались отъ замка внизъ, рыскали по предмѣстьямъ и вымещали свои неудачи на ни въ чемъ неповинныхъ обывателяхъ. Кровь лилась ручьями.

Затѣмъ они съ удвоенною и утроенною яростью шли на приступъ, подерживая нападеніе свое пушечною пальбой и ружейными выстрѣлами. Ядра и пули ихъ летали надъ головами обезумѣвшихъ отъ страха обывателей, которые продолжали обходить городъ и площади съ хоругвями и крестами, оглашая воздухъ воплями и стенаніями. Насколько были яростны нападенія, настолько же энергична была защита. Неутомимость евреевъ была изумительна. Матери и сестры приносили имъ къ палисадамъ пищу, чтобъ они подкрѣпились; но мужественные защитники ихъ почти отказывались отъ пищи.

— Глотокъ воды, ради всего святого, глотокъ воды! — слышалось иногда въ рядахъ защитниковъ города.

Но воды въ Умани не было ни капли!

Наступалъ вечеръ. Нападенія какъ-будто начали нѣсколько ослабѣвать. Съ башни Шафранскаго видно было, что въ гайдамацкомъ станѣ стали разбивать шатры. Особенно виднѣлась одна большая палатка съ вывѣшеннымъ надъ нею кроваваго цвѣта флагомъ, съ чернымъ на немъ крестомъ...

И эта палатка, и этотъ кровавый флагъ съ чернымъ крестомъ видны были даже изъ города.

Скоро стали зажигаться костры въ гайдамацкомъ станѣ.

Наступила ночь, южная ночь, темная, тихая и душная. Осажденные не спали: одни, большинство, всѣ жители, старцы, женщины и дѣти продол-

жали совершать крестный ходъ, другіе, защитники ихъ, стояли у заряженныхъ пушекъ на башняхъ и надъ воротами или лежали въ засадѣ у подножія частоколовъ палисадовъ. Въ гайдамацкомъ станѣ свѣтились костры и двигались по всемъ направленіямъ безпорядочныя тѣни: одни хоронили убитыхъ товарищей; другіе у костровъ варили кашу, жарили барановъ, куръ, поросятъ; третьи предавались оргіямъ.

Но вотъ въ одномъ мѣстѣ замка, съ краю, вдали отъ воротъ, черезъ высокій частоколъ тихо и ни для кого изъ защитниковъ города незамѣтно перебралась какая-то тѣнь, ползкомъ, словно темный комъ, скатилась въ ровъ, снова также незамѣтно вползла на валъ, и двинулась по направленію къ гайдамацкому стану, держась во мракѣ. Тѣнь то останавливалась, то принадлежала къ землѣ, двигалась далѣе ползкомъ, снова останавливалась и снова двигалась. Можно было замѣтить, что тѣнь подвигалась къ тому мѣсту, гдѣ бѣлѣлся, освѣщаемый костромъ, массивный конусъ палатки съ кровавымъ флагомъ и чернымъ крестомъ. Тѣнь все ближе и ближе къ этому замѣтному конусу. Она снова остановилась и прилегла. Долго, съ часъ не двигалась она. Костры стали притухать. Движеніе и шумъ въ станѣ замирали. Все тусклѣе и тусклѣе мигалъ костеръ, освѣщавшій палатку съ кровавымъ флагомъ. Вотъ ея почти не видно.

Тѣнь зашевелилась на землѣ и стала двигаться далѣе и далѣе, ближе и ближе къ главной палаткѣ. Вотъ она почти у самой палатки.

Вдругъ передъ нею какъ изъ земли вырастаетъ другая тѣнь.

— Хто се? Якій бисъ крадется по ночи? Батько отаманъ сплять,—шепчетъ эта тѣнь, хватая за шиворотъ ту, которая двигалась отъ города.

Молчаніе. Пойманная тѣнь старается вырваться.

— Хомо, добрый Хомо, пусти меня,—шепчетъ она.

— Ты хто? Кажн...

Костеръ на мгновеніе вспыхнулъ и освѣтилъ блѣдное прекрасное женское личико.

— Панночка! се вы!—испуганно, но еще тише прошептала та, кого называли Хомой.

— Я, Хомо... О, пусти меня! пусти!

— Рахилечка! панночка! рыбонька! Що зъ вами? Чого вы прійшли сюды, у наше пекло?

— Хомо! голубчикъ! пусти меня! Я пришла убить злодѣя!

— Кого, панночка?

— Желѣзняка...

Хома быстро зажалъ ротъ Рахили. Это была она.

— Панночко! рыбко! ходи далѣе,—еще тише шептала Хома:—тутъ почують—убьють васъ.

Они двинулись назадъ, въ тѣнь.

— Панночко! рыбко! ясочко!—шептала, цѣлуя руки у Рахили, гайдамакъ.—Его не можно убить—его пудя не бере.

— Я зарѣжу его!—настаивала Рахиль.

— А хочъ-бы ѿ заризали, такъ останется Гонта, Шило, Неживый, **Швачка**—все равно пропаде Умань, тилько гирше вамъ буде... Васъ измучатъ, убьютъ, а добра не буде... я за васъ боюсь, ясочко!

— О, Боже!—вырвалось изъ груди дѣвушки.

— Не плачьте, ясочко, рыбка! не плачьте! — чуть не плакалъ самъ **бѣдный гайдамакъ**:—идить у городъ... я отведу васъ... Ни, тамъ убьютъ васъ... Я краще тутъ сховаю васъ—у кущахъ, подъ яромъ...

— Нѣтъ, я лучше умру вмѣстѣ съ своими... я иду на смерть.

Добродушный и недалекій хохоль совсѣмъ растерялся.

— Якъ-же-жъ то? панночко! ясочко! и я зъ вами иду.

И онъ лихорадочно, дрожа всѣмъ тѣломъ, велъ дѣвушку за руку.

— Я зъ вами умру... я безъ васъ не хочу жить... вы таки добри, — **форметаль** онъ точно въ бреду.

— Зачѣмъ же ты пошелъ къ нимъ, самъ такой добрый? — спросила **Рахиль**.

— Не можно було, панночко, нейти: вси йдуть, и я пишовъ.—Та, може, **воле** сему ще ѿ брехня, — какъ-то безпомощно проговорилъ Хома, разводя руками: — Охъ, панночко, панночко наша! сонечко ясне!

Но вотъ и городъ—валъ, ровъ, подъемъ, а вотъ и палисады.

Хома бережно подсаживаетъ дѣвушку черезъ частоколь. Вдругъ раздается выстрѣлъ почти въ упоръ, и Хома, не вскрикнувъ даже, падаетъ **назничъ**—мертвый!

Утромъ увидѣли во рву его трупъ. Онъ лежалъ въ богатомъ **запорожскомъ** одѣяннѣ, раскинувъ руки, такой молодой, красивый. Смушковая **высокая** шапка съ краснымъ верхомъ валялась по близости.

За палисадомъ, со стороны города, пришла Рахиль и глянула черезъ **частоколь**.

— Бѣдный, бѣдный! — тихо прошептала она и смахнула набѣжавшія **изъ рѣсницъ** слезы.—И это все надѣлала я, глупая дѣвчонка, вообразивъ себя Юдью.

XVI.

Умань взята.

На утро приступы возобновились на всѣхъ пунктахъ съ небывалою **настойчивостью**. Видя упорное сопротивленіе осажденных и особенно страшный уронъ, наносимый гайдамакамъ евреями изъ-за палисадовъ, **Желѣзнякъ** приказалъ согнать къ Умани всѣхъ жителей окрестныхъ селъ и деревень—Помыльника, Маньковки, Ивановки, Полковничей и другихъ,—старого и малаго, вооруженныхъ топорами, и велѣлъ имъ подрубить палисады **подъ** неумолкаемой пальбой еврейскихъ стрѣлковъ.

Вдругъ послышался женскій крикъ, а за нимъ и другіе голоса.

— „Лизни“ пзмѣнили! „лизни“ ушли къ гайдамакамъ!

Это былъ голосъ Рахили, которая, миновавъ тѣло убитаго, по ея невольной винѣ, бывшаго ихъ наймита Хомы, увидѣла дальше проломъ въ частоколѣ, черезъ который на зарѣ и убѣжали „лизни“ на соединеніе съ гайдамаками. Теперь уже они шли на приступъ вмѣстѣ съ согнанными изъ деревень крестьянами.

Въ то же время обнаружилось новое несчастье. Къ палисадамъ бѣжали Ефραίимъ съ извѣстіемъ объ этомъ несчастіи.

— Всѣ арестанты ушли,—объявилъ онъ товарищамъ по оборонѣ города. — „Лизни“, которые обязаны были стеречь острогъ, бѣжали.. Арестанты остались безъ караула. Они разломали колодки, разбили тюремныя двери...

— Вонъ они ужъ за окопами,—сказалъ кто-то.

„Въ столь грозный часъ опасности,—говоритъ Вероника Кребсъ, въ то время ожидавшая смерти восемнадцатилѣтняя дѣвушка, балованная дочка Младановича, — мужество многихъ поколебалось, и неудивительно: кромѣ трудной защиты обширнаго города и страха неумолимаго и дикаго врага, къ тому же еще дни были знойные, а воды въ городѣ ни капли. Жажда и, быть можетъ, отчаянье заставили дворянъ пить вино, медъ и наливки, которыми вели торговлю евреи и большое ихъ количество хранили всегда въ погребахъ. Это иногда уничтожало всякій порядокъ. Одинъ Шафранскій не терялъ духа: онъ вездѣ былъ лично, и правду сказать—онъ одинъ и распоряжался (въ этомъ случаѣ рассказчица не можетъ уже скрыть полной бездѣятельности своего отца, который, какъ видно по послѣдующимъ его дѣйствіямъ, окончательно потерялъ голову). Гдѣ былъ тогда командиръ регулярнаго, пѣхотнаго отряда, поручикъ Ленардъ,—не знаю. Что дѣлали конфедераты? Почему они, привыкшіе къ битвамъ, не защищали Умани—трудно сказать. Шафранскій жаловался на эту толпу дворянства и въ упрекъ ставилъ имъ примѣръ жидовъ, твердо державшихъ свои посты, несмотря на труды и раны. Со стороны гайдамаковъ видно было, что только Желѣзнякъ дѣйствовалъ, ибо онъ ни на минуту не оставлялъ предмѣстій“.

Гонта не показывался нигдѣ. Онъ лукавилъ. Онъ зналъ, что и безъ его личныхъ усилій городъ не устоитъ: въ немъ не было воды, а состояніе боевыхъ запасовъ, картечи, пороку, свинцу — ему хорошо было извѣстно. Онъ выжидалъ. Въ случаѣ же могущей нагрянуть сильной подмоги со стороны русскихъ войскъ или со стороны Польши, онъ еще могъ извернуться: онъ лично не добивалъ Умани. Онъ могъ сказать, что ему измѣнили казаки его, что онъ—плѣнникъ Желѣзняка.

— Выгорить—мое счастье, не выгорить — Максимко (Желѣзнякъ) за все въ отвѣтъ,—разсуждалъ онъ самъ съ собою.

Шафранскій, истощивъ всѣ боевые запасы, приказалъ артиллеріи умолкнуть. Должны были замолчать и евреи—и у нихъ вышелъ весь порохъ.

— Выгорѣло!—сказалъ лукавый Гонта, обращаясь къ Желѣзняку.

— Що, пане сотнику, выгорѣло?—спросилъ тотъ.

— Наша взяла: больше на насъ плевать не стануть чугуныи да свинцовыми плевками.

— А що, братику? якъ такъ?

— А такъ: у нихъ во рту пересохло — ни воды нѣтъ, ни пороху. Заразъ ворота отворять.

Гонта задумался: „Что же теперь будетъ?.. что впереди?“

— Що жъ теперь зъ нами буде, пане Максиме?—спросилъ онъ своего союзника.

— А то, що ты теперь будешь воеводою, якъ оце бувъ Потоцкій,—отвѣчалъ Желѣзнякъ.—Мы Потоцкого по шапци.

— Добре — я буду воеводою; а вы, пане Максиме, чимъ будете — полковникомъ, чи що?

— Отъ дурень! Та я-жъ буду гетьманомъ обоихъ сторонъ, якъ батько Хмельницкій.

Тогда Гонта, подозвавъ къ себѣ другихъ сотниковъ и нѣкоторыхъ изъ старѣйшихъ казаковъ, приблизился съ ними къ главнымъ воротамъ замка, такъ чтобъ ихъ могли видѣть и Младановичъ и Шафранскій, стоявшіе на верху воротной башни около умолкнувшихъ и уже остывшихъ пушекъ. Тутъ онъ приказалъ подать себѣ копьё и на конецъ его навязалъ бѣлый платокъ. Затѣмъ ему подали другое копьё, на которое тоже къ острію былъ привязанъ бѣлый платокъ, какъ парламентарскій знакъ. Поднявъ свое копьё съ платкомъ вверхъ и передавая другое копьё подручному своему, сотнику Еремѣ Панку, Гонта сказалъ:

— Иди, пане Яremo, съ этимъ копьёмъ въ городъ къ губернатору и скажи ему, что такъ какъ я присягалъ своему дѣдичу и паву, Потоцкому, и всему городу на вѣрность, то и теперь не сдѣлаю имъ никакого вреда, если они меня съ казаками добровольно впустятъ въ замокъ; а если не пустятъ, то нѣтъ имъ пощады!

Снова поднявъ вверхъ пику съ платкомъ, Гонта отпустилъ своего посланца.

Ворота замка растворились, и посланецъ былъ впущенъ въ городъ.

Выслушавъ предложеніе парламентаря, Младановичъ сказалъ ему, что онъ согласенъ впустить казаковъ въ городъ и сейчасъ же пойдетъ распоряжаться этимъ.

— Я прикажу созвать депутацію,—заклучилъ онъ,—чтобъ встрѣтить вѣрныхъ своихъ казаковъ съ честью — съ хлѣбомъ и солью, по обычаю, и съ дорогими подарками.

Наскоро собравъ нѣсколько почетныхъ лицъ города, Младановичъ приказалъ просить на совѣщаніе Шафранскаго. Выслушавъ отъ губернатора ультиматумъ Гонты, всѣ пришли къ убѣжденію, что надо покориться. Одинъ Шафранскій не согласился съ общимъ рѣшеніемъ.

— Злодѣи все равно не пощадятъ насъ, какъ не пощадилъ они ни Смилой, ни Лисянки,—сказалъ онъ.

— Но у Желѣзняка не было тогда Гонты,—возразилъ Младановичъ:—намъ дѣлаетъ предложеніе сдаться Гонта, а не тотъ злодѣй.

— Какъ же онъ смѣетъ дѣлать намъ предложенія, когда онъ уже измѣнилъ присягу?—возразилъ Шафранскій.

— Онъ можетъ покаяться... Онъ честолюбивъ... мы подѣйствуемъ на эту слабую сторону его характера; вотъ эти почтенныя лица (Младановичъ указалъ на депутатовъ) выйдутъ къ нему навстрѣчу съ хлѣбомъ-солью. Это подѣйствуетъ на честолюбиваго хлопа.

— Мы его ослѣпимъ подарками,—сказалъ Рогашевскій-отецъ, бывший въ числѣ депутатовъ.

— Теперь поздно ослѣплять его подарками, панъ подскарбій, когда онъ все можетъ взять, какъ военную добычу,— снова возразилъ Шафранскій.

— Такъ, пане Ксаверій,—согласился Младановичъ,—но польщенный нашей покорностью, онъ пощадитъ нашу жизнь, жизнь нашихъ милыхъ дѣтей.

— Если такъ, то я согласенъ,—уступилъ наконецъ Шафранскій.— Только меня онъ не пощадитъ—я увѣренъ.

— Почему же?

— Онъ меня давно не взлюбилъ за то, что я, зная хорошо военное искусство, какъ-то разъ замѣтилъ ему, что въ Пруссіи, у Фридриха Великаго, онъ, Гонта, съ его казаками годились бы только гусей пасти.

— Но онъ могъ забыть это оскорбленіе,—замѣтилъ Рогашевскій.

— Забылъ бы, можетъ быть, если бъ я вчера не напомнилъ ему объ этомъ.

— Чѣмъ?—спросилъ Младановичъ.

— А моею картечью, отъ которой онъ прятался, какъ козель отъ волка. Но я вотъ что сдѣлаю, чтобъ еще болѣе умиловить его по отношенію собственно къ почтенному пану губернатору, который былъ такъ всегда добръ ко мнѣ, — прибавилъ Шафранскій, обращаясь къ Младановичу.

— Что же, пане Ксаверій?—спросилъ послѣдній.

— Поступимъ слѣдующимъ образомъ,—сказалъ Шафранскій: — когда паны депутаты выйдутъ за ворота, чтобы встрѣтить зрайдцу-хлопа съ хлѣбомъ и солью, я буду стоять на воротной башнѣ у пушекъ съ зажженными фитилями и буду показывать видъ, что собираюсь приложить къ пушкѣ. Панъ губернаторъ будетъ стоять рядомъ со мною, и, увидѣвъ, что я собираюсь стрѣлять, съ негодованіемъ и бранью вырветъ изъ моихъ рукъ зажженный фитиль и сброситъ его съ башни.

Лицо Младановича просвѣтлѣло отъ этого предложенія.

— Bene! optime, пане Ксаверій!—захлопалъ въ ладоши вновь воскресшій „Манлій Капитолійскій“.—Геніально придумано! Да этого и Цезарь не придумалъ бы... Да, да! я съ негодованіемъ брошу фитиль къ ногамъ зазнавагося хлопа, вообразившаго себя Ганнибаломъ у воротъ Рима... Hannibal ante portas! И хлопъ растаетъ передъ потухшимъ фитилемъ... Геніально!

Великодушное предложеніе Шафранскаго было принято, и депутаты отправились готовиться къ встрѣчѣ дорогихъ гостей.

Тогда то, — по словамъ одного самовидца, — осажденные, в надѣясь спасти жизнь свою, тѣлились только о спасеніи души, а потоѣ одни въ базилианской церкви, другіе въ приходской исповѣдывались, получали полное разрѣшеніе грѣховъ, какъ передъ смертью. Иные же, наломѣщаясь въ церквахъ, приобщены были святыхъ тайнъ чрезъ базилиан на рынокѣ или на улицахъ. Ужасъ объялъ всѣхъ, страхъ извлекалъ слезы и стоны, всѣ другъ съ другомъ прощались, какъ бы разставаясь навѣки, что дѣйствительно и случилось.

Только Шафранскій и евреи рѣшились встрѣтить смерть съ оружіемъ въ рукахъ; но у нихъ оставалось только холодное оружіе — яки.

Когда сотникъ Панокъ воротился изъ города и доложилъ, что Умань сдастся и высылаетъ депутацію для встрѣчи побѣдителей, то послѣдніе увидѣли, что подъемный мостъ, который велъ въ главныя гордскія ворота подъ защищенною пушками башней, сталъ опускаться на смыхъ цѣпяхъ. Слышно было, какъ скрипѣло заржавленное желѣзо.

Желѣзнякъ, Гонта и нѣкоторые атаманы двинулись къ мосту. За ними слѣдовали ряды конныхъ казаковъ, гайдамацкая конница и грѣхота.

Отворились ворота. Показалась депутація.

— Эге! — улынулся Гонта Желѣзняку: — дивчина сама до насъ свативъ-старостивъ засыла.

— Давно бѣ такъ, а то довго пышалась, — отвѣчалъ Желѣзнякъ.

— Грубу колупала, — пояснилъ громко Гонта *).

— А чимало Иродова наколупала нашего братчика.

Депутація приближалась. Гонта и Желѣзнякъ тоже нѣсколько подвинулись. Вдругъ Желѣзнякъ поднялъ глаза на башню — и остановился. Онъ увидѣлъ у пушки Шафранскаго съ горящимъ фитилемъ и Младановича.

— А гляди, пане Гонта, що воно тамъ таке, — показалъ онъ на башню.

Но въ этотъ моментъ Младановичъ вырываетъ изъ рукъ Шафранскаго фитиль и бросаетъ съ башни.

Подожгла депутація. Гонта сурово отвернулся отъ хлѣба-соли.

— Что замѣшано на крови вмѣсто воды, того я не принимаю, — сказалъ онъ по-польски. — Отдайте это тому, кто столько лѣтъ точилъ кровь народную.

Депутаты въ ужасѣ посторонились. Гонта проѣхалъ мимо.

Въ самыхъ воротахъ его встрѣтилъ Младановичъ съ гордой осанкой, но рыцарски вѣжливо.

— Пане Гонто! — сказалъ онъ: — угаси пламя бунта, какъ я загасилъ тотъ горящій фитиль.

*) „Колупать грубу“ (печь) — это когда дѣвушка, во время сватанья, не рѣшается дать согласіе и „колупаетъ печку“.

— Дбре, пане подстолий,—отвѣчалъ Гонта по-украински:—вы зъ нами-ляхами та ксендзами довго гасили хлопскую душу та пили кровь нашу; а теперь—годи!

Гонта проѣхалъ дальше. За нимъ слѣдовали Желѣзнякъ, Шило, Нехивий, Швачка. Сзади двигались колонны конницы и пѣхоты. Слышенъ былъ только стукъ копытъ да лязгъ оружія. Улицы были почти пусты.

Гонта ѣхалъ понуро, не глядя по сторонамъ. На душѣ у него было смутно. Онъ вѣзжалъ въ свой городъ какъ побѣдитель, какъ римскій триумфаторъ; вся страна была въ его власти; онъ, Гонта, когда-то простой хлопь изъ деревни Росушекъ, теперь—воевода русскій, спихнувшій съ своей дороги всемогущаго Потоцкаго, полновластный владыка надъ жизнью и смертью всей Уманщины, — онъ думаетъ теперь о томъ хлопѣ, котораго когда-то вводили въ этотъ городъ для службы пану... И вотъ онъ самъ панъ; за нимъ двигаются послушныя тысячи; даже Желѣзнякъ отступилъ на второй планъ.

Онъ вспомнилъ Грековъ лѣсъ, вспомнилъ тотъ весенній вечеръ, когда онъ встрѣтилъ ее тамъ среди весенней зелени. Она стояла безмолвная и смущенная. Кругомъ распустившіяся прелестныя мальвы не могли сравниться съ нѣжностью ея покрывшихся румянцемъ щечекъ... Онъ подошелъ къ ней и обнялъ ея гибкій станъ. Онъ слышалъ трепеть ея молодого тѣла... Не было сказано ни слова,—и только когда звѣзды высыпали на темномъ небѣ, онъ очнулся отъ какого-то волшебнаго сна.

А теперь этотъ Грековъ лѣсъ, то мѣсто, гдѣ онъ первый разъ въ жизни былъ счастливъ, онъ же самъ залилъ кровью. Даже тѣ мальвы, на томъ мѣстѣ, гдѣ она приняла его первыя ласки, — даже мальвы забрызганы кровью...

Онъ вздрогнулъ и осмотрѣлся. На него глядѣли чьи-то прелестные, давно-давно знакомые глаза... Онъ узналъ эти глаза: это глаза Марыси, но не той, около которой тогда цвѣли мальвы... Той Марыси нѣтъ, хоть она и смотритъ теперь на него тѣми, прежними глазами, что глянули на него когда-то изъ-за мальвъ... Это была его жена—Марыся. Она пришла взглянуть на его торжество. А около нея его дѣти, прелестные мальчики.

Гонта порывисто отвернулся.

XVII.

Геройскій конецъ новой Юдиѣи.

Далеко за полночь гуляли гайдамаки. Гулялъ съ ними на радостяхъ и Шило, который, проведя Когеновъ съ своею невѣстой — Рахилью — въ ихъ домъ и оставивъ около него, въ видѣ почетнаго караула, нѣсколько молодцовъ, возвратился на площадь къ товарищамъ.

Настало утро. Рахиль не отступилась отъ своего слова. Оставалось только крестить ее, а потомъ—и подъ вѣнецъ.

Но, собираясь къ обряду крещенья, Рахиль сказала своеу жениху, что, пока она не окрещена, она должна сообщить ему великую тайну. Эта тайна состояла въ томъ, что она знает такое „слово“, что же, Рахиль, никакая пуля не беретъ. „Слово“ это она должна сказать жениху до крещенья, а иначе, быть можетъ, „слово“ это потеряетъ свои силы.

Суевѣрный гайдамакъ былъ пораженъ. Онъ сталъ спрашивать, какое же это „слово“, и дѣйствительно ли съ такимъ словомъ не беретъ пуля. Рахиль увѣряла, что „да“—и предложила ему испробовать в ней самой силу этого „слова“.

Сначала разбойникъ не вѣрилъ, колебался; но такъ какъ ама дѣвушка увѣряла, что не боится никакой пули, а жажда сдѣлаться неуязвимымъ вскружила голову кровожадному атаману, то онъ и рѣшился на опытъ.

Вышли на площадь, гдѣ уже товарищи Шила ожидали своего атамана, чтобъ вести его невѣсту крестить. Шило объявилъ, въ чемъ дѣло. Изумленные гайдамаки приготовились къ небывалому зрѣлищу.

Шило стоялъ рядомъ съ Рахилью. Дѣвушка была блѣдна, но казалась спокойною.

Шило зарядилъ свою винтовку пулею, какими онъ убивалъ дикихъ кабановъ въ днѣпровскихъ камышахъ, и отошелъ отъ Рахили на извѣстное разстояніе.

— Стань ближе,—сказала Рахиль:—а то можешь промахнуться.

— Ни—не промахнусь: ще ни разу не прокинувъ въ кабана.

— Цѣлься прямо въ сердце,—тихо сказала дѣвушка.

— Добре!

Винтовка наведена. Послѣдовалъ выстрѣлъ... и Рахиль упала, какъ подкошенный цвѣточекъ. Она была убита наповальъ.

Никому не досталась еврейская красавица.

К о н е ц ъ .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

главы:	стр.
I. Вечеръ субботній	3
II. Страшныя вѣсти	6
III. Гайдамакъ на колу	10
IV. Нежданная встрѣча	17
V. Апостолъ хасидизма	22
VI. Подъ Грековымъ лѣсомъ	26
VII. Слепой кобзарь	32
VIII. Невольничій плачъ	37
IX. Неистовства гайдамаковъ въ Жаботинѣ	41
X. Кровавый пиръ въ Лисянкѣ	46
XI. Постъ помилованія	49
XII. „Удивительная раса!“	54
XIII. Младановичъ и Гонта	59
XIV. „Онъ вернулся!“	64
XV. Новая Юдиѣ	69
XVI. Умань взята	73
XVII. Геройскій конецъ новой Юдиѣ	78

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ОНЪ ИДЕТЪ!

БЫЛЬ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 21 февраля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

Онъ идетъ!

I.

Дурныя вѣсти.

Сто лѣтъ назадъ, во время присоединенія Крыма къ Россіи, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится Севастополь, у одной изъ великолѣпныхъ бухтъ его стояла небольшая татарская деревенька, называвшаяся Ахтеяромъ.

По господствовавшей тогда слабости ко всему классическому, великая Семирамида Сѣвера, какъ называли панегиристы императрицу Екатерину II, приказала переименовать Ахтеяръ въ Севастополь, предполагая, вслѣдствіе плохихъ познаній въ классической археологіи и исторіи, что древній эллинскій Севастополь находился именно на этомъ мѣстѣ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ въ Колхидѣ.

Въ маѣ 1787 года, какъ извѣстно, Екатерина совершила свое знаменитое путешествіе въ новопріобрѣтенную Тавриду и посѣтила Севастополь. Это было удивительное путешествіе! Русскую императрицу сопровождали—австрійскій императоръ Іосифъ II подъ именемъ графа Фалькенштейна, графъ Сегюръ, французскій посолъ, принцъ де-Линъ и громадная свита высшихъ сановниковъ. Въ поѣздѣ было около пятнадцати однихъ придворныхъ каретъ и до полутораста другихъ экипажей. Подъ этотъ кортежъ на всѣхъ станціяхъ требовались цѣлыя табуны лошадей.

Въ день вѣзда этого баснословнаго кортежа въ Севастополь и начинается нашъ разсказъ.

Это было 22 мая 1787 года.

Прелестное весеннее утро. Солнце, выкатившееся изъ-за горныхъ зеленыхъ высотъ, образующихъ великолѣпную Байдарскую долину, позолотило базальтовые ребра мыса Фіолента, лежащаго на нѣсколько верстъ къ югу

отъ Севастополя, и брызнуло золотыми лучами на мачты и разноцвѣтные флаги стоящихъ въ севастопольской бухтѣ кораблей.

У самаго мыса Фіолента, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Георгіевскій монастырь, утреннее солнце позолотило и небольшой шалашъ—жилище стараго садовника и его молодого работника, которые съ кирками въ рукахъ возились съ ранняго утра въ находящемся тутъ огородѣ и небольшомъ виноградномъ саду, принадлежащемъ одному греческому виноторговцу въ Севастополѣ.

Это же утреннее солнце обдавало своими теплыми лучами и стройную фигуру молодой дѣвушки, торопливыми шагами приближавшейся къ саду со стороны Севастополя. Одѣта она была въ простое крестьянское платье, но очень чисто и изящно. Широкіе рукава ея бѣлой миткалевой сорочки и воротъ были вышиты красными и синими узорами. Голубая ситцевая юбка подпоясана широкимъ краснымъ поясомъ, длинные концы котораго очень красиво падали вдоль ея стройнаго стана. Искрасна рыжіе, какъ червонное золото, волосы ея были заплетены въ двѣ косы, тяжелыми жгутами спускавшіяся далеко ниже пояса.

— Дѣдушка! родненькій!—закричала она издали, увидавъ старика.

Отъ быстрой ходьбы она вся покраснѣлась и запыхалась. Черные большіе глаза подъ такими же черными бровями горѣли не то испугомъ, не то лихорадочнымъ возбужденіемъ.

— Дѣдушка!

Старикъ, весь сѣдой, но бодрый, опершись на кирку и защитивъ одну рукою глаза отъ солнца, съ недоумѣніемъ глядѣлъ на молодую дѣвушку.

— Дѣдушка! родненькій! гдѣ Петра? — торопливо спрашивала пришедшая.

— Что ты, дѣвка?... и не здороваешься съ дѣдомъ?—въ свою очередь спросилъ старикъ.

— Здравствуй, родной,—гдѣ Петра?

— Вотъ наладила сорока про Якова!... что онъ тебѣ?

— Да надо!.. Охъ, Господи!

— Да что попритчилось тебѣ?

Въ это время изъ-за берегового уступа, отъ моря, показался молодой парень въ одѣяніи крымскаго татарина и въ мерлучатой сивой шапкѣ на черныхъ, какъ вороново крыло, курчавыхъ волосахъ.

— Ахъ, Петруша!—бросилась къ нему дѣвушка.

— Здравствуй, Дуня! — радостно поторопился къ ней навстрѣчу парень.—Что такъ рано?

— Ахъ, Петрушенька!

Дѣвушка такъ и повисла на шеѣ у того, кого она называла Петрушенькой. Слезы градомъ хлынули изъ ея хорошенькихъ глазокъ.

— Что съ тобой, Дуня?—испугался тотъ.

— Ахъ! скорѣй хоронись!.. Бѣги, бѣги, мой суженый!

Все лицо молодого парня перекрылось блѣдностью. Онъ нѣжно оградилъ отъ своей груди дѣвушку и съ боязнью взглянулъ ей въ лицо.

— Дунюшка!... что случилось?

— Ахъ, хоронись! хоронись!.. сейчасъ прїѣдутъ,—я обогнала ихъ.

II.

Захватъ ренрута.

Какъ-разъ въ это время къ саду, обнесенному невысокой каменной оградой безъ цемента, подъѣхала телѣга. На ней, кромѣ ящика и двухъ солдатъ съ ружьями, сидѣлъ какой-то гладко выбритый человѣчекъ, повидимому, старый подъячій изъ земскаго суда, съ форменной сѣдой косичкой на затылкѣ, въ форменномъ кафтанѣ и трехуголкѣ.

Солдаты соскочили съ телѣги и, звеня желѣзными кандалами, вдѣланными въ деревянную тяжелую колодку, которую они съ трудомъ тащили, быстро вошли въ садъ и направились къ тому мѣсту, гдѣ словно окаменѣлые стояли парень и молодая дѣвушка. Къ нимъ торопливо приближался и испуганный старикъ садовникъ.

— По указу ея императорскаго величества—куйте его! — издали закричалъ подъячій, вынимая изъ-за обшлага бумагу.

Парень бросился было бѣжать внизъ къ морю, къ крутому обрыву.

— Стой! стрѣлять буду!—крикнулъ одинъ изъ солдатъ.

Парень оглянулся. Солдатъ дѣйствительно цѣлился въ него.

— Матушки! Петра!—вырвался отчаянный крикъ изъ груди дѣвушки, и она схватилась рукой за стволъ ружья.

— Прочь, дѣвка!—отбивался отъ нея солдатъ:—не трошь,—устрѣлю!

— Стрѣлай, стрѣлай меня!—молила дѣвушка.

Но парень въ одно мгновеніе очутился около нея и протянулъ руки.

— Вотъ я... куйте меня!

— Али онъ разбойникъ, братцы?—взмолился старикъ садовникъ:—за что ево?

— Велѣно—служба,—былъ отвѣтъ.

Подошелъ и подъячій.

— По указу ея императорскаго величества,—повторилъ онъ заученную фразу:—забейте его въ колодку.

Дѣвушка бросилась къ подъячему и повалилась ему въ ноги.

— Кормилецъ! родной!.. за что ево?

Въ некрута велѣно взять, милая, — смягчился тотъ при видѣ отчаянія молодой дѣвушки.

Дѣвушка продолжала валяться у него въ ногахъ.

— Встань, красавица!—силился приподнять ее старый подъячій.

— За что-жъ ковать!—молила дѣвушка.

— Законъ... законъ таковъ, голубка.

— Да онъ не разбойникъ!

— Законъ — воля ея императорскаго величества... А вы легче, ребята! — обратился подъячій къ солдатамъ, которые набивали колодку на ноги безмолвно стоящаго новобранца.

Дѣвушка поднялась съ земли и бросилась къ своему возлюбленному.

— Петрушенька!.. охъ!.. на кого ты меня...

— Что она... сестра ему будетъ? — обратился подъячій къ старику садовнику.

— Нѣтъ, ваша милость, — отвѣчалъ тотъ упавшимъ голосомъ: — они помолвлены у меня.

— Женихъ и невѣста?

— Кубыть такъ... заручились... А вонъ поди-жь ты!

— Да онъ тебѣ кто?

— Чужакъ... сирота... въ наймахъ, стало-быть.

— А дѣвка?

— Внука, стало-быть, моя будетъ.

— Жаль, жаль, — участливо покачалъ головой старый подъячій, — а нельзя... ничего не подѣлаешь, старина: бумага такая пришла... неукоснительно-де сдать въ некрута... Онъ, слышь, Петръ-то Лобода, бѣжалъ отъ помѣщика, а помѣщикъ и провѣдалъ о мѣстѣ его укрывательства, — ну, и велитъ зачестъ его въ некрута неукоснительно.

Малаго, между тѣмъ, заковали и повели къ телѣгѣ, поддерживая тяжелую колодку. Онъ казался совершенно убитымъ.

Скоро телѣга двинулась къ городу. За телѣгой шла дѣвушка и неутѣшно плакала.

III.

Думы Фелицы.—Захаръ сердится.

Въ то время, когда у мыса Фіолента происходила описанная выше сцена, въ Севастополѣ, во временномъ дворцѣ, въ которомъ имѣла почлеги императрица, только-что начали просыпаться ближайшіе къ ней царедворцы и придворная прислуга.

Сама императрица встала раньше всѣхъ и, наскоро накинувъ на себя широкій легкій капотъ, безъ помощи прислуги сама приготовила себѣ на спирту небольшую чашку чернаго кофе и вошла съ нею въ сосѣднюю комнату — въ рабочій кабинетъ, выходившій окнами на бухту и на море. На столѣ лежали въ порядкѣ бумаги и на отдѣльномъ листѣ начало какого-то стихотворенія.

Императрица подошла къ столу и взяла этотъ листъ.

Хвала тебѣ, достойный князь Тавриды!
Россія оцѣнить тебя должна...

Она не кончила, положила листъ на столъ и въ задумчивости подошла къ окну. Передъ нею открылась величественная панорама моря, бухты и сѣверныхъ обрывистыхъ береговъ. Въ бухтѣ величаво красовались новые корабли. Тихій утренній вѣтерокъ полоскалъ въ воздухѣ русскіе и австрійско-римскіе флаги.

Но Екатерина, казалось, не видѣла ничего этого. На лицѣ ея покоилась торжественная задумчивость.

И не удивительно! — Она сама сознавала въ себѣ теперь Семирамиду не только Сѣвера, но и Юга.

— Что сказалъ-бы теперь старикъ Вольтеръ? — невольно шепчуть ея губы. — „C'est moi qui salue la Grande Semiramis du Nord et du Midi...“ Oh, mon philosophe!... „La reine Falestrice alla cajoler Aléxandre le Grand, mais Aléxandre serait venu vous faire la cour...“ Да, да... Александру Великому льстила царица Фалестрина, а мнѣ льстятъ цари, императоры—этотъ Юсіфъ Второй, императоръ римскій и германскій, преемникъ Цезарей, и этотъ—Станиславъ Понятовскій, король польскій, преемникъ Стефана Баторія, Іоанна Собѣскаго — та créature... Онъ такъ растѣрялся, прощаясь со мной послѣ свиданія подъ Каневымъ, что забылъ свою шляпу, и когда я напомнила ему объ этомъ, онъ отвѣчалъ: „я не забылъ, ваше величество, что когда-то вы подарили мнѣ шляпу дороже этой“ — это корону Польши и Литвы; но одну уже отняла я у него.

Съ тою же задумчивостью императрица прошла нѣсколько разъ по кабинету и подошла къ другимъ окнамъ, выходившимъ на востокъ. Вдали, изъ туманной дымки, выступалъ массивъ Чатырдага.

— Царь-гора... Такихъ я сроду не видывала — истинно, царь-гора... И вотъ я пришла къ ней, какъ Магометъ когда-то подходилъ къ той горѣ, что не слушалась его... А Чатырдагъ послушался меня: онъ перешелъ въ мое подданство, и я пришла къ нему, какъ къ моему подданному. А когда-то, говорятъ, видѣлъ онъ и Одиссея, прибитаго моремъ къ берегу лестригоновъ, и злополучную дочь Агамемнона, царя царей, Ифигенію, и ея несчастнаго брата Ореста, преслѣдуемаго фуріями-немезидами... Царство Митридата!... оно стало теперь моею губерніей... О! встали бы вы теперь изъ гробовъ, Августы, Цезари, Адрианы и Траяны и посмотрѣли-бы на *мое* царство!

Она гордо подняла голову и улыбнулась.

— Да, да, — правъ былъ Мардефельдъ... Помню, когда я была еще великою княжною и не смѣла мечтать о русской коронѣ, онъ на одномъ придворномъ балу тихо шепнулъ: „vous regnerez, ou je ne suis qu'un sot“, а я на это тихонько отвѣчала: „j'accepte l'augure“... Да, и вотъ я царствую уже двадцать-пять лѣтъ... Какъ быстро время прошло!... какъ быстро проходитъ жизнь и всего быстрѣе — для царей: время—вотъ кто владыка надъ царями... и оно безжалостно, оно не милостивѣе царей...

Цари милуютъ, а оно—никогда! Но и оно меня милуетъ: оно не вилело въ мою вдовью косу ни одного сѣдого волоска...

— Вдовью!—она горько улыбнулась.

Мысль моментально перенесла ее въ далекій, маленькій штетинъ, гдѣ родилась она, гдѣ маленькими ножками бѣгала по мрачнымъ заламъ отцовскаго дома... Она была только — дочь губернатора Прусской Помераніи... Помераніи... Жалкая родина!... жалкое море!.. А вотъ бирюзовое море— не чета жалкому Финскому заливу... „О, царь и первый русскій императоръ Петръ Алексѣевич! какъ-бы ты позавидовалъ мнѣ, если бъ увидалъ мои корабли вотъ въ этой бухтѣ, въ этомъ морѣ, откуда рукой подать до Константинополя...“

Она подошла къ столу, но, видимо, не могла заниматься дѣлами. Одна мысль гнала другую: въ душѣ ея видѣнія прошлаго и настоящаго мѣнялись, какъ въ калейдоскопѣ.

— „Оставимъ мудрецамъ доказывать, что земля вертится вокругъ солнца... Наше солнце вокругъ насъ ходитъ, и грѣетъ и освѣщаетъ насъ...“ О, лстивый, умный попики!.. надо его приподнять поближе къ солнцу.

Она опять задумалась.

— Сколько пережито!.. какія тернія перейдены на пути, и въ корону вилетены одни лавры, только лавры!.. Степанъ Черногорскій, Пугачевъ, Тараканова—все мои враги—гдѣ вы теперь?.. гдѣ прахъ вашъ?.. Одинъ Беніовскій, говорятъ, сталъ королемъ Мадагаскара... Безумецъ!.. онъ хотѣлъ помѣряться со мной... Что-жъ!.. король Мадагаскара и... Фелица!

За дверью послышалось чье-то сердитое ворчанье.

— Ну, достанется мнѣ,—улыбнулась императрица:—Захаръ опять за что-то на меня разгнѣвался.

Она отворила дверь. По серединѣ опочивальни, съ полотенцемъ на плечѣ, стоялъ знаменитый камердинеръ Екатерины, извѣстный всему придворному міру Захаръ, а для искателей у императрицы, у всехъ сановниковъ—„милостивецъ Захаръ Константиновичъ“ Зотовъ: въ немъ заискивали вельможи, фрейлины, статсъ-дамы, министры, посланники, забывая, что онъ—просто камердинеръ. Захаръ стоялъ мрачный какъ туча и даже не повернулъ головы, когда императрица показалась въ дверяхъ опочивальни.

— Здравствуйте, Захаръ Константиновичъ, съ добрымъ утромъ! — ласково, даже заискивающе заговорила Екатерина, сисясь скрыть предательскую улыбку.

— Здравія желаемъ, матушка государыня,—угрюмо отвѣчалъ Захаръ.

— Ты, кажется, чѣмъ-то разстроены?—съ притворной участливостью спросила императрица.

Захаръ Константиновичъ сдѣлался еще мрачнѣе.

— Увольте меня, государыня, ежели я вамъ не угоденъ,—съ комической горечью сказалъ онъ.

— Уволить!—удивилась императрица:—за что-же?

— Я вамъ не угоденъ сталъ,—быль сухой отвѣтъ.

— Да чѣмъ-же, Захарушка?... чѣмъ я провинилась передъ тобой?—спрашивала Екатерина.

Захаръ молчалъ, укоризненно глядя на ночной столикъ императрицы, на которомъ стоялъ кофейникъ, спиртовая лампочка, и всѣ принадлежности для приготовления кофе.

— Чѣмъ же?—повторила императрица.

— А это что?—указалъ онъ на приборъ.

— Это я, Захарушка, кофе себѣ варила—для скорости,—оправдывалась государыня.

— А развѣ у русской царицы слугъ нѣтъ?—мрачно и торжественно спросилъ обиженный камердинеръ.

— Да я, Захарушка, не хотѣла никого беспокоить,—продолжала оправдываться императрица:—думаю, всѣ съ дороги устали...

— Устали!... А русская царица и устали не должна знать?

— Не должна, Захарушка.

— Ну, такъ увольте меня!

— Помилуй, голубчикъ Захаръ Константиновичъ!.. На кого жъ ты меня покинешь?

— Найдутся подлипалы... Ишь что выдумала! Допрежъ сего никто, кромѣ Захара Константиновича, не смѣлъ варить ей кофе... а теперь... на поди!.. сама!.. не любъ, вѣрно, сталъ Захаръ Константиновичъ!... другого нашла...

Императрица не вытерпѣла и расхохоталась.

— Да, вамъ смѣшно,—нѣсколько смягченнымъ голосомъ заговорилъ обиженный:—а мнѣ не до смѣху... А это еще что?—онъ трагически указалъ на осколки дорогой фарфоровой чашки, валявшіеся на полу у постели.

— Виновата, Захарушка... прости!—это я нечаянно... ночью... пришелъ мнѣ въ голову одинъ стишокъ въ похвалу Крыму и князю Григорію Александровичу,—я и хотѣла записать, да какъ потянулась за свѣчей—и задѣла чашечку... Ну, прости великодушно,—смирненно винулась императрица.

— Эхъ!—махнулъ рукой суровый камердинеръ,—на тебя не напасешься посуды... Вонъ въ Кеивѣ разбила, въ Херсони разбила...

Екатеринѣ нравилось такое обращеніе съ нею прислуги. Она любила, когда съ нею говорили на „ты“: „матушка“, „государыня“, „ты“ и то п это... Требовалось это невольно, по чувству самовластія, какъ-бы въ противовѣсъ той приторной, пересоленной лести, не всегда, конечно, умѣстной и всегда не искренней, которая неразлучна съ придворнымъ рутиннымъ этикетомъ...

— Ба-ба-ба! кажется, голову мылить всемилостивѣйшей государынѣ... Ай да Захаръ Константиновичъ!.. такъ ее! пуши! пуши!

Въ дверяхъ стоялъ неисправимый „шпынь“, Левушка, оберъ-штаймелстеръ Левъ Александровичъ Нарышкинъ, вѣрный слуга и испытанный другъ Екатерины.

IV.

Екатерина II, Левушна и хохолъ-графъ.

Императрица пошла навстрѣчу Нарышкину и ласково съ нимъ поздоровалась. Зато Захаръ, который началъ было уже смягчаться, опять принялъ недовольную мину, когда Левъ Александровичъ обратился къ нему съ улыбкой:

— Однако, Захаръ Константиновичъ, ты въ струнѣ держишь нашу матушку государыню.

— Въ струнѣ!—огрызнулся Захаръ:—вась, сударь, некому въ струнѣ-то держать.

— Правда, правда, совсѣмъ отъ рукъ отбился,—согласилась Екатерина:—все волочится за графомъ Фалькенштейномъ.

— Гдѣ, матушка, за нимъ угоняться!—засмѣялся Нарышкинъ:—ужъ и теперь, ни свѣтъ, ни заря, а они съ графомъ Ангальтомъ роются въ развалинахъ Корсуня—отыскиваютъ стрѣлу Анастасія.

— Какого Анастасія?—удивилась императрица.

— Какъ же, матушка!—Помните, когда вашъ предокъ, великій князь, равноапостольный Владиміръ бралъ этотъ городъ Корсунъ приступомъ и не могъ взять, то изъ города нѣкій грекъ Анастасій пустилъ въ лагерь великаго князя стрѣлу, а на стрѣлѣ цыдулочка, въ коей было сказано, что Корсунъ только тогда можно взять изморомъ, когда отъ города отведена будетъ вода, проведенная въ него изъ дальняго источника—и указалъ его мѣсто.

— Помню, помню,—вспомнила Екатерина:—такъ ищутъ эту стрѣлу, говоришь?

— Ищутъ, матушка.

— Для чего?

— Чтобъ пустить ее въ Варшаву, въ замокъ королевскій, дабы показать Станиславу Августу, гдѣ онъ потерялъ свою голову и шапку.

Екатерина молча погрозила ему пальцемъ.

Въ кабинетъ въ это время входилъ лѣтъ сорока мужчина съ портфелемъ подъ мышкой. Войдя тихой, неслышной походкой, онъ низко, не особенно ловко, поклонился.

— Графъ изъ бурсы,—чуть слышно шепнулъ Нарышкинъ.

— А графъ Александръ Андреевичъ!—съ ласковой улыбкой встрѣтила его императрица.

Это былъ новопожалованный графъ Безбородко. Онъ снова поклонился.

— Что у тебя?—спросила Екатерина.

— Нѣкоторые проекты къ 28-му іюня, ваше величество,—отвѣчать Безбородко.

— А что 28-го іюня?—спросила императрица.

— Ай-ай-ай, матушка государыня!—покачалъ головою Нарышкинъ:—старѣться мы начинаемъ, матушка.

— Какъ старѣться!—удивилась Екатерина.

— А какъ же-съ, государыня!—28-го іюня мы празднуемъ двадцатипятилѣтіе нашего царствованія—забыли?

— Ахъ, Левушка! вотъ ты и пристыдилъ меня,—улыбнулась государыня.—А въ самомъ дѣлѣ, графъ, что намъ готовить къ 28-му іюня?—обратилась она къ Безбородку.

— Тутъ, ваше величество, все изложено,—отвѣчалъ этотъ послѣдній, кладя на столъ бумаги.

— Спасибо, графъ,—наклонила голову императрица.—Хорошо, что, отдохная теперь, съ свѣжею головою и лучшими свѣдѣніями можно прилежнѣе работать въ эрмитажѣ. Я все вижу и слышу, хотя не бѣгаю какъ императоръ Іосифъ II. Онъ много читалъ и имѣеть свѣдѣнія, но, будучи строго противъ самого себя, требуетъ отъ всѣхъ неумоимости и невозможнаго совершенства, — не знаетъ русской пословицы — мѣшать дѣло съ бездѣльемъ... Двухъ бунтовъ самъ онъ былъ причиною. Тяжелъ въ разговорахъ. Prince de Ligue, sachant sous la frivolité le philosophe le plus profond et ayant le coup d'oeil juste, ero перевертываетъ *).

— Вѣрно, государыня,—подтвердилъ Нарышкинъ:—и оттого онъ теперь и ищетъ стрѣлу Анастасія.

Безбородко поглядѣлъ на него вопросительно.

— Ахъ, да, графъ,—обратился къ нему Нарышкинъ:—не забудьте, чтобъ къ двадцатипятилѣтнему юбилею нашего славнаго царствованія готовы были къ императорскому столу и хохлацкія галушки, и вареники и сало.

— Все будетъ готово, ваше высокопревосходительство, — шутило, съ малороссійскимъ акцентомъ отвѣчалъ хохолъ графъ.

— Ну, что, графъ, какъ тебѣ нравятся новопріобрѣтенныя нами владѣнія?—спросила императрица, перелистывая поданныя ей докладчикомъ бумаги.

— Это новые алмазы въ коронѣ вашего величества, — съ поклономъ отвѣчалъ хохолъ царедворецъ.

— Именно, алмазы!—съ жаромъ подтвердила Екатерина:—пріобрѣтеніе сіе важно. Предки дорого бы заплатили за это. Но есть люди мѣнія противнаго, которые жалѣютъ еще о бородахъ, Петромъ Первымъ выбритыхъ. Александръ Матвѣевичъ (Дмитріевъ-Мамоновъ, на то время фаворитъ императрицы) молодъ и не знаетъ тѣхъ выгодъ, кои чрезъ нѣсколько лѣтъ явны будутъ.

*) Весь этотъ монологъ Екатерины—не измышленіе автора, а буквально выписанъ изъ „Дневника А. В. Храповицкаго“ (изд. Н. Барсукова, 1874, стр. 35—36). Оттуда-же взяты и послѣдующіе ея разговоры.

При имени Дмитріева-Мамонова въ глазахъ Нарышкина блеснулъ лужавый огонекъ, но онъ его тотчасъ же потушилъ, спрятавъ глаза подъ рѣсницы и украдкой взглянувъ на Безбородку, глаза котораго, всегда плутоватыя, теперь выражали холодное безпристрастіе. Между тѣмъ оба царедворца очень хорошо знали, что въ неодобреніи или въ недостаточномъ восхищеніи со стороны молодого временщика новозавоеванными Потемкинымъ областями скрыта зависть къ этому послѣднему бездарнаго любимца Екатерины. Но ни Нарышкинъ, ни Безбородко ничего не сказали.

— Графъ Фалькенштейнъ видитъ другими глазами, — продолжала императрица. — А Фицъ-Гербертъ (англійскій посланникъ въ Петербургѣ) слѣдуетъ англійскимъ правиламъ, которыя довели Великобританію до нынѣшняго ея худого состоянія.

— Зато графъ Сегюръ, кажется, ходитъ на одномъ котурнѣ, — загадочно замѣтилъ Нарышкинъ.

— Нѣтъ, Левушка, — возразила Екатерина: — графъ Сегюръ понимаетъ, сколь сильна Россія; но его министерство, обманутое своими эмиссерами, тому не вѣритъ, и воображаетъ мнимую силу Порты. Полезнѣе бы для Франціи было не интриговать. Сегюръ, кромѣ здѣшняго двора, нигдѣ министромъ быть не хочетъ, а между тѣмъ...

Императрица не кончила: въ кабинетъ входило новое лицо.

V.

Перлюстрація.

— Готово? — спросила императрица входящаго.

— Все готово-съ, ваше величество, — съ низкимъ поклономъ отвѣчалъ вошедшій.

— Есть что-нибудь? — спросили снова.

— Есть, ваше величество.

Вошедшій былъ красенъ какъ послѣ бани. Лицо его свѣтилось, и онъ торопливо вытиралъ выступавшій на лбу потъ, нервно комкая фуляръ.

— Что, потѣшь? — спросила императрица, съ улыбкой взглянувъ на Нарышкина.

— Безпрестанно-съ потѣю, ваше величество, — отвѣчалъ вошедшій.

— И я также.

— И не удивительно, матушка, — замѣтилъ Нарышкинъ, вертя между пальцами табакерку: — ты ему баню задаешь каждый день, а тебѣ — Захаръ.

— Правда, правда, — согласилась Екатерина.

Вошедшій былъ знаменитый авторъ своего „Дневника“, Александръ Васильевичъ Храповицкій, личный секретарь императрицы, переписчикъ ея стиховъ, комедій, шутокъ и постоянно находившійся у ней на побѣгушкахъ.

Оттого онъ и „потѣлъ“ постоянно, и оттого всякій разъ, когда онъ входилъ къ Екатеринѣ, она непременно спрашивала его: „потѣешь?“ и постоянно получала въ отвѣтъ: „потѣю-съ“. Оттого и весь „Дневникъ“ его такъ и пестритъ этимъ, далеко не придворнымъ глаголомъ. Но главное занятіе Храповицкаго при Екатеринѣ было — „Перлюстрація“, секретное вскрытіе чужихъ писемъ, особенно писемъ и депешъ иностранныхъ пословъ къ своимъ дворамъ и семействамъ или друзьямъ, а равно всей придворной переписки.

Съ перлюстраціоннымъ докладомъ и теперь явился Храповицкій.

— Ну, давай, давай—посмотримъ,—протянула къ папкѣ Храповицкаго свою пухленькую руку Екатерина.

Храповицкій подаль; продолжая отдуваться и теревить фуляръ, между тѣмъ какъ Екатерина бѣгло пробѣгала поданныя ей бумаги.

— А!... письмо польскаго короля къ графу Сегюру... благодарить за любезность... жалуется на неразговорчивость и угрюмость князя Григорія Александровича... Онъ, Станиславъ Августъ, правъ: во время моего свиданія съ королемъ подъ Каневымъ, я была какъ на иголкахъ: князь Потемкинъ не говорилъ ни слова и точно дулся, и принуждена была я говорить безпрестанно—у меня языкъ засохъ. Я почти разсердилась, когда король просилъ меня еще остаться: онъ торговался сначала на три дня, потомъ на два, а потомъ—хоть для обѣда на другой день.

— Ахъ, государыня,—лукаво замѣтилъ Нарышкинъ:—вѣдь онъ хотѣлъ показать, что если глупому сыну и не въ прокъ пошло „матернее“ наслѣдство (на словъ „матернее“ онъ сдѣлалъ удареніе), что если онъ и потерялъ камзолъ, штаны и жилетъ...

Императрица невольно засмѣялась.

— Это ты Литву камзоломъ называешь?

— Литву, государыня.

— А штаны—Галиція съ Краковомъ.

— Такъ точно, матушка.

— Ну, понимаю: жилетъ—это Познанъ.

— Истинно такъ, матушка государыня,—продолжалъ Нарышкинъ все въ томъ же лукаво-шутовскомъ тонѣ:—вотъ онъ и хотѣлъ показать, что хоть онъ и безъ штановъ, а все же король.

— Какъ король Мадагаскара?—улыбнулась Екатерина.

— Это баронъ Морицъ Анадаръ Беніовскій? Нѣтъ, этотъ, государыня, въ модныхъ французскихъ штанишкахъ—кюлотахъ.

— Нѣтъ, я говорю, о его предмѣстникѣ, о Радамѣ—тотъ безъ штановъ ходилъ, а въ треуголкѣ.

— Да, да, матушка, —согласился Нарышкинъ:—я говорю о Станиславѣ Августѣ: хоть онъ и похожъ теперь на Радаму, однако на головѣ у него еще осталась золотая шапка, что ты, матушка, ему подарила. Онъ и хотѣлъ доказать тебѣ, что еще можетъ угостить тебя обѣдомъ, въ благодарность за твою шапку.

Императрица перелистывала уже другія письма.

— Ба!.. вотъ новость! — удивилась она: — графиня Сегюръ пишетъ мужу, что де-Калонія уже смѣненъ. Все это *assemblée des notables* надѣлала. Да, не всякому сіе удастся: мы могли сдѣлать собраніе депутатовъ.

Никто при этомъ не замѣтилъ, какъ при послѣднихъ словахъ лукавый огонекъ вспыхнулъ въ хитрыхъ глазахъ графа Безбородка: онъ лучше другихъ зналъ, удалось-ли „собраніе депутатовъ“ и чего стоило расхлебать эту конституціонную затѣю, которая была пущена пылъ въ глаза по адресу Вольтера и всей Европы.

— Ты это перескажи моему Матвѣичу, — не замѣчая ничего, продолжала Екатерина, обращаясь къ Храповицкому, — а онъ, *pour se donner le ton*, перескажетъ князю Барятинскому.

— Слушаю, ваше величество, — поклонился Храповицкій.

Подъ „моимъ Матвѣичемъ“ Екатерина разумѣла своего фаворита Дмитріева-Мамонова, а князь Барятинскій былъ ея гофмаршаломъ, которымъ она не всегда была довольна и потому иногда говорила по его адресу: „не купи села, купи приказчика“ *).

— А! вотъ это сюрпризъ, — замѣтила императрица, остановившись на одной бумагѣ: — въ секретной депешѣ изъ Берлина сообщаютъ, что кронъ-принцъ Фридрихъ Вилгельмъ, которому теперь уже семнадцать лѣтъ, побранился съ приставленнымъ къ нему графомъ Брилемъ, и король арестовалъ сына. Впрочемъ, сіе не послужитъ къ его исправленію: *car il est d'un caractère violent et fougueux* — таковъ былъ дѣдъ, таковъ и отецъ.

— Какова яблонька, таково и яблочко, — вставилъ Нарышкинъ.

Послѣ перлюстраціоннаго доклада Храповицкій подалъ императрицѣ другія бумаги.

— Это что? — спросила она.

— Черновой журналъ путешествія вашего величества, — отвѣчалъ докладчикъ.

Императрица стала просматривать его.

— А, это надо вычеркнуть, — замѣтила она, глянувъ на Безбородку: — тутъ говорится — помните — о томъ, какъ въ одномъ мѣстѣ, на Днѣпрѣ, прижало къ берегу галеру „Днѣпръ“: не вышло бы пустыхъ разглашеній и толковъ.

— Что Днѣпръ прижалъ своего тезку „Днѣпра“? — улыбнулся неунывающей Левушка.

— Да, Левушка, — каламбуръ.

— Бываетъ, матушка, что и тезка тезку прижимаетъ.

— Довольно! — откинулась въ креслѣ императрица: — на сей разъ будетъ... Надо показать моимъ гостямъ наше пріобрѣтеніе. Князь Григорій

*) „Дневникъ“ Храповицкаго, 91.

Александровичъ... ахъ, да!—обратилась она къ Храповицкому: — что не видать ни Матвѣича, ни князя Потемкина?

— Его свѣтлость распоряжается украшеніемъ галеры для катанья вашего величества съ августѣйшимъ гостемъ и послами,—отвѣчалъ Храповицкій.

— Да, да, князь хочетъ насъ потѣшить... Да оно и кстати: какое здѣсь благоустройство воздуха, какой климатъ!... Жаль, что не тутъ построенъ Петербургъ... Проѣзжая всѣ сіи мѣста, воображаются времена Владиміра Перваго, въ кои много было обитателей въ здѣшнихъ странахъ... Теперь нѣтъ ужъ татаръ, да и турки не тѣ *).

— Какъ нѣтъ, матушка, татаръ?—лукаво спросилъ Левушка:—а ханъ Шагинъ-Гирей?

— О! его глупость и тиранство извѣстны давно,—улыбнулась императрица:—онъ и шашлыка приготовить не сумѣетъ... Однако, господа, мнѣ пора одѣваться къ выходу.

И императрица милостивымъ наклоненіемъ головы отпустила своихъ приближенныхъ.

VI.

Н а я х т ѣ.

Черезъ часъ, изъ севастопольской бухты выходила императорская яхта, красиво убранная разноцвѣтными флагами.

На яхтѣ, подъ роскошнымъ балдахиномъ, драпированнымъ краснымъ сукномъ, горностаемъ и золотыми кистями и осѣненнымъ двухглавымъ орломъ, на возвышеніи, въ родѣ трона, возсѣдала императрица рядомъ съ своимъ августѣйшимъ гостемъ, Іосифомъ II, императоромъ германскимъ и римскимъ, прикрывшимся скромнымъ инкогнито графа Фалькенштейна. Ихъ окружало блестящее общество сановниковъ: пословъ, министровъ, придворныхъ. Были тутъ и принцъ де-Линъ, и графы Сегюръ и Фицъ-Гербертъ, и „великолѣпный князь Тавриды“—Потемкинъ, и графъ Безбородко, и Дмитріевъ-Мамоновъ, и Левъ Нарышкинъ, и Храповицкій и много другихъ.

Императрица была необыкновенно оживлена. Тихое, чудное весеннее утро способствовало всеобщему оживленію. Играла музыка, когда яхта выходила изъ бухты. Новые корабли, построенные Потемкинымъ въ Херсонѣ и прибывшіе въ Севастополь, пушечными выстрѣлами салютовали императорской яхтѣ. Между ними особенно красовался новенькій 80-ти пушечный корабль „Іосифъ II“. Онъ невольно бросался въ глаза, и австрій-

*) Всѣ приведенные въ послѣднихъ главахъ разговоры императрицы—подлинныя, документальныя слова Екатерины, записанныя Храповицкимъ („Дневникъ“, стр. 33—84).

скій императоръ не могъ не обратить на него вниманія. Овъ въ изысканныхъ выраженіяхъ благодарилъ Екатерину за эту любезность. Императрица указала на Потемкина, который сидѣлъ не далеко, повидимому, холодный и ко всему равнодушный.

— *C'est prince qui... Cela est galat.*

Потемкинъ молча поклонился и императрицѣ и Іосифу II.

— Видите, графъ, эти развалины на берегу, — обратилась Екатерина къ послѣднему: — отсюда свѣточъ христіанской религіи заблесталъ на всю русскую землю.

— Какимъ образомъ, ваше величество? — спросилъ Іосифъ.

— Это — развалины бывшаго греческаго города Херсонеса-таврическаго или Корсуня, — отвѣчала императрица: — и въ этомъ городѣ великій князь кіевскій, Владиміръ I, мой равноапостольной предокъ, принялъ святое крещеніе.

Нѣсколько дальше берегъ представлялъ необыкновенное зрѣлище. Это Потемкинъ устроилъ своимъ высокимъ гостямъ оригинальный сюрпризъ: отборные наѣзники донскаго казачьяго полка производили джигитовку, показывая необыкновенную, изумительную ловкость. Всѣ были поражены.

— Oh, *c'est ravissant!.. c'est incroyable!* — невольно воскликнулъ принцъ де-Линь.

— *'Sist wunderbar!* — обмолвился Іосифъ по-нѣмечки.

— *Oui, messieurs, — cela fait naître de réflexions,* — улыбнулась императрица.

Теперь съ яхты особенно хорошо видны были развалины Херсонеса. Полуразрушенныя стѣны изъ громадныхъ плитъ, сѣрыя, мрачныя, полуобвалившіяся башни и облѣвшіеся изъ-за стѣнъ скелеты мраморныхъ колоннъ, карнизы и капители храмовъ — все это отдавало глубочайшей, эллинской древностью. Надъ развалинами и около яхты съ жалобнымъ крикомъ вились морскія чайки.

— Ахъ, какъ они кричать! — замѣтила Екатерина.

— Они привѣтствуютъ ваше величество, они радуются! — нашелся галантный французъ, принцъ де-Линь.

— Нѣтъ, принцъ, — чайки плачутъ, — поправилъ его Нарышкинъ съ его, повидимому, невинной, но лукавой улыбкой.

— Почему же? — спросила Екатерина, ожидая новой выходки отъ своего „шпыня“ Левушки.

— Они жалуются вашему величеству на князя Григорія Александровича, — отвѣчалъ „шпынь“.

— Вотъ какъ!.. за что-же?

— Да князь, государыня, разоряетъ ихъ гнѣзда.

— Какая же князю въ нихъ надобность?

— А какъ же, государыня: чайки въ развалинахъ Херсонеса кладутъ свои яйца, а князь Григорій Александровичъ велитъ разбирать эти стѣны и башни для постройки Севастополя, какъ когда-то калифы Египта обди-

рали пирамиды и их облицовку для мощенія улицъ въ Каирѣ, — отвѣчалъ Нарышкинъ съ миной шута.

— Вотъ какъ! — уронила Екатерина.

Обвиненіе было злое, хотя шуточное, и Потемкинъ понималъ его.

— Я чайкамъ оставилъ нетронутымъ весь мысъ Фіолентъ, — сказалъ онъ небрежно: — господинъ оберъ-шталмейстеръ можетъ набрать тамъ для своего стола полную шляпу яицъ этихъ чаекъ, конечно, въ свободное отъ служебныхъ занятій время.

„Свободное отъ служебныхъ занятій время“ — это была тоже очень злая фраза, потому что милѣйшій оберъ-шталмейстеръ ровно ничего не дѣлалъ, а только всю жизнь шутилъ, всѣхъ „шпынялъ“ и — нечего грѣхъ таить — занимался городскими и въ особенности придворными сплетнями.

Но императрица не замѣтила этого обмѣна злыхъ остротъ своихъ любимцевъ, потому что занята была разговоромъ съ неумолкаемымъ говорунѣмъ, принцемъ де-Линь. Ея вниманіе отъ перестрѣлки вельможъ отвлекалъ также разсѣянный видъ Дмитріева-Мамонова, на котораго она иногда бросала тревожный взглядъ.

— *C'est une oppression de poitrine—n'est ce pas?* — тихо спросила она.

— *Oui, madame,* — былъ отвѣтъ.

Но это было не „стѣсненіе въ груди“, а зависть къ Потемкину, который, видимо, былъ героемъ всѣхъ этихъ торжествъ.

Скоро яхта обогнула Херсонесскій мысъ, и на голубомъ фонѣ моря и неба вырѣзался гигантскій мысъ Фіолентъ. Вдали видна была исполинская маковка Чатырдага.

— Какъ это прекрасно! — невольно воскликнулъ императоръ Іосифъ.

— Да, — подтвердила Екатерина: — я ничего вслѣдственнаго не видала.

— Какъ, государыня? — вмѣшался въ разговоръ неугомонный Левушка: — а наша Охта?... Она величественнѣе.

— Развѣ для тебя, — улыбулась императрица.

За мысомъ Фіолентомъ показался углубленный берегъ, надъ которымъ амфитеатромъ поднимались сѣрыя базальтовые скалы.

— Вонъ, ваше величество, остатки храма Діаны, — указалъ Потемкинъ на бѣлѣвшіеся на берегу обломки колоннъ.

— Какой Діаны? — спросила Екатерина.

— Діаны таврической, государыня, гдѣ жрицею была Ифигенія, несчастная дочь Агамемнона.

— Неужели?... Какъ это интересно!

— Но, государыня, — замѣтилъ Іосифъ: — ученые не согласны въ мнѣніяхъ объ этомъ предметѣ: одни помѣщаютъ его на Людагъ, другіе на мысъ Айа-Бурунъ.

— А сколько мнѣ помнится, — съ своей стороны замѣтилъ принцъ де-Линь: — французскіе ученые утверждаютъ, что храмъ Діаны или Ифи-

генія находился на самомъ выдающемся въ море пунктѣ этого берега—такъ, помнится.

— Какой-же это пунктъ?—спросила Екатерина Потемкина.

— Херсонесскій мысъ, государыня,—отвѣчалъ тотъ:—но это не правдоподобно.

— Почему-же?

— Тамъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ развалинъ, а здѣсь—вотъ они.

— Да, да, это вѣроятно.

Но такъ-какъ Іосифъ II былъ начитаннѣе всей этой компаніи и серьезнѣе всѣхъ былъ знакомъ съ классиками, то онъ и рѣшилъ споръ.

— Страбонъ говорить,—сказалъ онъ медленно, какъ-бы припоминая давно прочитанное,—что на мысѣ, называемомъ Пареніонъ, то-есть мысѣ Дѣвы, находился храмъ, посвященный божественной Дѣвѣ—ясно, что Діанѣ, и что мысъ этотъ отстоялъ отъ города Херсонеса во ста греческихъ стадіяхъ.

— Это всего правдоподобнѣе,—подтвердилъ и Потемкинъ.

— Почему же?—спросила императрица.

— Потому, государыня, что если вѣрить Страбону,—а его познаніямъ нельзя не вѣрить,—и если вѣрить его ста стадіямъ, то несомнѣнно, что Херсонесскій мысъ будетъ слишкомъ близко отъ Херсонеса—далеко меньше ста стадій, а мысъ Айя-Бурунъ—ужъ даже слишкомъ далеко. А отъ мыса Фіолента какъ-разъ будетъ сто стадій.

— Bravo! bravo!—воскликнулъ принцъ де-Линь:—какъ вы должны быть счастливы, ваше величество, что вамъ принадлежитъ такое славное историческое мѣсто. О, если бъ оно было мое!

— Оно и есть ваше, принцъ,—улыбнулась Екатерина.

— Какъ, государыня?... И Діана моя, и Ифигенія моя?

— Ваши, принцъ! Я вамъ жалую эти мѣста.

И императрица величественнымъ жестомъ обвела береговую полосу земли у спорнаго мѣста.

— Отнынѣ—все это ваше, дорогой принцъ де-Линь.

Но тутъ последовало что-то необычайное.

VII.

У Ифигеніи въ Тавридѣ.

Едва Екатерина произнесла послѣднія слова, какъ принцъ де-Линь быстро всталъ съ своего мѣста, такъ же быстро подошелъ къ борту яхты, вскочилъ на край борта и бросился въ море.

На яхтѣ раздались крики испуга. Всѣ вскочили съ своихъ мѣстъ.

— Боже мой!.. что это такое!—воскликнула императрица въ волненіи.

— Принц де-Лиянь бросился въ море!

— Что съ нимъ?.. съ ума сошелъ?

Но принцъ вынырнулъ изъ воды и, мужественно разсѣкая волны руками, поплылъ къ берегу *)

— Шлюпку за нимъ скорѣе!.. шлюпку!—волновалась Екатерина.

— Ничего, матушка, онъ и въ водѣ не тонетъ,—успокаивалъ ее Нарышкинъ:—ужь больно легокъ.

— Замолчишь-ли ты, пустомеля!—разсердилась императрица.

— Что-жъ, матушка, правду говорю: легонекъ.

Шлюпку между тѣмъ спустили на воду и она послѣшала за отважнымъ пловцомъ.

— Другую шлюпку надо! — приказывала императрица: — онъ простудится въ мокромъ платьѣ... Александръ Васильевичъ!—обратилась она къ Храповицкому:—прикажи сейчасъ же достать изъ моего гардероба сухое бѣлье, ватный мой капоть, туфли и весь мой костюмъ—все равно: самъ напросился на маскарадъ.

— Сейчасъ, ваше величество! — заметался Храповицкій, утирая, по обыкновенію, потное лицо.

— И тутъ потѣешь?

— По неволѣ вспотѣешь, ваше величество.

Туалетъ скоро былъ принесенъ. Во вторую спущенную на воду шлюпку сѣли Храповицкій и Нарышкинъ и поплыли къ берегу.

Между тѣмъ принцъ де-Лиянь благополучно достигъ берега и, взобравшись на обломокъ колонны, закричалъ:

— Я вступаю во владѣніе пожалованными мнѣ руссійскою императрицею землями. Ура! да здравствуетъ ваше величество!

— Ура! вивать!—загремѣло на яхтѣ.

Случай этотъ необыкновенно всѣхъ оживилъ. Толкамъ и остроумнымъ замѣчаніямъ не было конца. Всѣ посылали разныя пожеланія отважному пловцу.

— Сегодня же заготовь указъ въ сенатъ о пожалованіи земель принцу де-Лияню,—серьезно сказала императрица графу Безбородкѣ.

— Будетъ исполнено, ваше величество,—отвѣчалъ тотъ.

Между тѣмъ и обѣ шлюпки достигли берега. Нарышкинъ обратился къ принцу съ такою рѣчью.

— Всеклостивѣйшая наша государыня въ матернемъ попеченіи о вашемъ здравіи, принцъ и въ похвалу отмѣннаго мужества вашего, жалуетъ васъ особою шлюстою, снаки коей—капотъ, чепчикъ, сорочку, кальсоны,

*) И этотъ фактъ—не измышленіе автора этого разсказа. Онъ записанъ французскимъ путешественникомъ, графомъ де-Лагардомъ, со словъ генерала Шаплица, друга принца де-Лияня, въ книгѣ: „Voyage de Moscou à Vienne, par le comte de-Lagarde. Paris. 1824“.

чулки, подвязки и туфли—при семъ препровождая, повелѣваетъ: возложить ихъ на себя и носить по установленію.

Принцъ де-Линь торжественно сталъ на одно колѣно и съ знакомъ величайшаго благоговѣнія принялъ пожалованный ему женскій костюмъ.

— А гдѣ же я переодѣнусь?—спросилъ онъ:—вѣдь здѣсь, на виду, нельзя.

— Думаю, что нельзя,—отвѣчалъ Нарышкинъ:—тѣмъ болѣе, что вы теперь дама.

— А вонъ на верху хижина, не то шалашъ,—указалъ Храповицкій на знакомый уже намъ шалашъ стараго садовника.

— Отлично!—одобрилъ принцъ.

Взявъ съ собою двухъ матросовъ, принцъ де-Линь, Нарышкинъ и Храповицкій стали взбираться на скалистый берегъ, къ саду и шалашу садовника. Подъемъ былъ очень крутъ, но они все-таки достигли цѣли.

Съ яхты доносился оживленный говоръ. Чайки продолжали свою вѣчную пѣсню, кружась въ воздухѣ и садясь на острые карнизы скалъ и мыса Фіолента.

Но среди крика чаекъ и гармоническаго шума прибоя морскихъ валовъ у берега слышался чей-то человѣческій плачь. По мѣрѣ приближенія къ шалашу плачь этотъ становился явственнѣе: теперь уже можно было ясно слышать, что это былъ женскій плачь и что плакали въ шалашѣ.

Въ это время навстрѣчу высокимъ гостямъ вышелъ знакомый намъ старикъ садовникъ. Увидавъ господъ, онъ низко поклонился.

— Здравствуй, дѣдушка!—привѣтствовалъ его Нарышкинъ:—ты здѣшній будешь?

— Тутешный, кормилецъ баринъ.

— А кто это плачетъ въ шалашѣ?

— Внучка моя, Дуяюшка, милостивецъ.

— Объ чемъ же это она?

— Объ женихѣ, кормилецъ, жениха ейнова сичасъ въ желѣза заковали.

— За что, старина?

— Ни про-што, родимый: въ некрута взяли.

Узнавъ, въ чемъ дѣло, принцъ де-Линь заволновался.

— Какое варварство!.. *quelle cruauté!*.. Я буду просить императрицу, чтобъ его освободили,—да я, наконецъ самъ могу освободить его: онъ мой подданный! Мнѣ лично пожалована эта земля и все что на ней и въ ней—я государь этихъ мѣстъ!

Храповицкій сказалъ старику, чтобъ вызвалъ изъ шалаша свою внучку, потому что „этому барину нужно переодѣться“.

— Это—великій вельможа,—пояснилъ онъ:—онъ почетный гость нашей всемилостивѣйшей государыни.

Старикъ окликнулъ внучку, которая, услыхавъ вблизи незнакомые голоса, перестала плакать.

— Подъ сюда, Дуня,—сказалъ онъ, заглядывая въ шалашъ: — сюда пришли большіе, добрые господа.

Дѣвушка показала въ дверяхъ своего бѣднаго помѣщенія. Прекрасные глаза ея были заплаканы, но выраженіе горя сдѣлало ея симпатичное личико еще прелестнѣе.

— *Quelle beauté! quel charme distingué!* — невольно вырвалось восклицаніе у принца де-Линь.

— Да, это сама Діана,—то же по-французски сказалъ Нарышкинъ:— а это ея храмъ (онъ указалъ на шалашъ)—какая жестокость боговъ! — Какъ тебя зовутъ, душенька?—спросилъ онъ.

— Авдотей,—тихо отвѣчала дѣвушка.

— Такъ твоего жениха взяли въ рекруты?

— Взяли... И дѣвушка закрыла лицо руками.

Принцъ де-Линь закипѣлъ благороднымъ негодованіемъ и жалостью къ бѣдной дѣвочкѣ.

— Я не потерплю этого!.. я возвращу ей жениха!

Онъ забылъ, что былъ очень комиченъ въ мокромъ платьѣ, съ котораго еще текла вода. Искусно завитые волосы его теперь падали на спину и на плечи мокрыми прядями. Дорогія манжеты превратились въ тряпки.

— Вамъ поскорѣй надо переодѣться, принцъ, а то вы простудитесь,—напомнилъ ему Храповицкій.

— Ахъ, да, да!.. я сейчасъ.

Онъ вошелъ въ шалашъ, а матросъ принесъ ему туда костюмъ для переодѣванія.

Нарышкинъ и Храповицкій утѣшали дѣвушку.

— Не плачь, душенька, тебѣ сегодня-же воротятъ жениха.

Старикъ повалился въ ноги господамъ. Дѣвушка также кланялась въ землю.

— Встаньте, встаньте! государыня милостива—она все сдѣлаетъ.

VIII.

Счастливыи конецъ.

Обѣ шлюпки черезъ нѣсколько минутъ отчалили отъ берега и поплыли къ императорской яхтѣ.

Въ одной шлюпкѣ сидѣли: принцъ де-Линь въ капотѣ императрицы, въ чепчикѣ и въ туфляхъ, онъ былъ очень комиченъ; рядомъ съ нимъ сидѣла Дуня—ни жива, ни мертва; тутъ-же находились Нарышкинъ и Храповицкій. Въ другой шлюпкѣ помѣщался старикъ-дѣдъ съ матросами.

Скоро шлюпки пристали къ яхтѣ, и пловцы вступили на ея палубу. Впереди шелъ принцъ де-Линь въ ночномъ чепцѣ и капотѣ императрицы,

ведя съ собою рядомъ Дуню. Нарышкинъ вель съ собою старика-дѣда, а Храповицкій замыкалъ шествіе. Всѣ глядѣли на нихъ съ удивленіемъ.

Подойдя къ возвышенію, на которомъ сидѣла Екатерина, принцъ де-Линъ опустился на одно колѣно.

— Вассалъ вашего императорскаго величества, владѣлецъ храма Діаны и окрестныхъ съ нимъ земель имѣетъ честь принести присягу своему могущественному сюзерену, — торжественно произнесъ онъ.

— Радостно принимаю присягу моего вассала, — съ напускной торжественностью произнесла императрица. — А кто сія дѣвица?

— Это жрица богини Діаны, Ифигенія, злополучная дочь царя Агамемнона.

— Чего она отъ меня желаетъ?

— Она умоляетъ о дарованіи свободы своему брату Оресту.

— А кто его лишилъ свободы? какія Немезиды?

— Твои чиновники, всемилостивѣйшая государыня: они забили его въ колодку и повезли въ Севастополь сдавать въ рекруты.

Императрица разсмѣялась.

— Орестъ, сынъ царя Агамемнона — въ рекрутскомъ присутствіи! — это очень забавно... Я дарю ему свободу.

— Да здравствуетъ мудрая Екатерина! — воскликнулъ принцъ.

— Да здравствуетъ милостивая Семирамида Сѣвера и Юга! — въ свою очередь воскликнулъ Нарышкинъ, и оба поцѣловали руку императрицы.

— Въ чемъ же дѣло? — обратилась послѣдняя, по-руски уже, къ Нарышкину, съ участіемъ глядя на молодую дѣвушку. — У вашей Ифигеніи очень симпатичное личико.

Нарышкинъ разсказалъ. Услыхавъ, что рѣчь идетъ о внучкѣ и ея женихѣ, старый дѣдъ упалъ на колѣни и распростерся земно какъ передъ иконою. Дѣвушка заплакала и также упала на колѣни, не говоря ни слова.

— При ней его заковали въ цѣпи, — пояснилъ Нарышкинъ. — Орестъ, сынъ царя царей — у тебя, матушка, въ колодкѣ!.. Что сказалъ бы Омиръ!

— Я этого не допущу, — сказала императрица. — Князь Григорій Александровичъ, — обратилась она къ Потемкину, — прикажи немедленно возвратить жениха этой дѣвушкѣ.

— Будетъ исполнено, государыня, — поклонился Потемкинъ.

Императрица встала и сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ къ тому мѣсту, гдѣ въ застывшей позѣ стояла на колѣняхъ Дуня, закрывъ лицо руками, а старикъ продолжалъ лежать, не поднимая съдой словъ отъ палубы. Встали и всѣ высокіе гости и царедворцы.

Екатерина, объяснивъ по-французски императору Іосифу и иностраннымъ министрамъ смыслъ того, что передъ ними происходило, сказала, обращаясь къ Дунѣ и ея дѣду:

— Встаньте!

Нарышкинъ и Храповицкій поспѣшили ихъ приподнять.

— Въ память моего здѣсь пребыванія,—продолжала Екатерина, — я дарю свободу твоему жениху: тебѣ, добрая дѣвушка, я возвращаю будущаго мужа, а твоему дѣду—честнаго работника.

Вечеромъ, когда солнце опустилось въ море и только послѣдніе лучи его еще не сгасли на голой макушкѣ Чатырдага, на вершинѣ мыса Фіолента виднѣлись двѣ человѣческія фигуры — высокая фигура старика съ сѣдыми волосами и стройная фигура дѣвушки.

Не тѣни-ли это Агамемнона и Ифигеніи, пришедшихъ искать своего несчастнаго сына и брата, Ореста?

А это не его-ли тѣнь приближается отъ развалинъ Херсонеса?

— Онъ идетъ! онъ идетъ!—послышался голосъ Дуни, и она бросилась навстрѣчу двигавшейся отъ развалинъ Херсонеса тѣни.

Но то не былъ Орестъ.

К О Н Е Ц Ъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ГЛАВЫ:	СТР'
I. Дурныя вѣсти	3
II. Захватъ рекрута	5
III. Думы Фелицы.—Захаръ сердится	6
IV. Екатерина II, Левушка и хохоль-графъ	10
V. Перлюстрація	12
VI. На яхтѣ	15
VII. У Ифигеніи въ Тавридѣ	18
VIII. Счастливый конецъ	21

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

ВЕЛИКІЙ РАСКОЛЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть I.

Томъ XII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Ѳ. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 іюня 1901 г

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка 95.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Попытка къ возврату.

Въ ночь съ 17-го на 18-е декабря 1664 года изъ воротъ Воскресенскаго монастыря, что подъ Москвою, выѣхало нѣсколько саней. Въ переднихъ, съ высокою спинкою, обитыхъ черною матеріею, виднѣлась массивная фигура въ черномъ высокомъ клобукѣ, на которомъ, при мерцаніи звѣздъ и движеніи саней, искрились разноцвѣтные огоньки дорогихъ камней. Протявъ него, на переднемъ сидѣннѣ, виднѣлась другая человѣческая фигура, надъ которою высился большой крестъ, тоже искрившійся огоньками. Проходившіе въ это время по дорогѣ люди, завидя переднія сани и крестъ, поспѣшно отошли въ сторону и упали ницъ.

Ночь была морозная, тихая. На небѣ вызвѣдило. Необыкновенно ярко выступали изъ мрачнаго покрова, раскинувшагося надъ землею, то трепетныя и мигающія, то яркія и дрожащія искры далекихъ огней, брошенныхъ невѣдомою силою въ пространство, и чѣмъ дольше всматривался въ нихъ глазъ, тѣмъ далѣе, казалось, уходили они въ мрачную, безпредѣльную даль и пустоту, такъ что становилось чего-то страшно. Страхъ этотъ ясно изображался на блѣдномъ лицѣ того, который сидѣлъ на переднемъ сидѣннѣ первыхъ саней и держалъ въ рукахъ высокій металлическій крестъ: онъ, по временамъ, испуганно взглядывалъ на это темное, усыпанное звѣздами небо, на которомъ, среди другихъ звѣздъ, неподвижно стояла страшная, хвостатая звѣзда, словно огненная метла, брошенная на небо хвостомъ на полдень,—и тихо шепталъ молитву.

Поѣздъ двигался скоро, рѣзко визжа полозьями по снѣгу. Возницы, сидѣвшіе на передкахъ саней, тихо, безъ словъ, но торопливо подгоняли лошадей длинными бичами. Во всѣхъ саняхъ виднѣлись черныя клобуки—и весь этотъ ночной поѣздъ съ черными клобуками представлялъ что-то таинственное, загадочное.

— Что крестъ-отъ такъ дрожитъ у тебя въ рукахъ?—спросилъ вдругъ тотъ, у котораго на клобукѣ искрились драгоценные камни.

Остраховито видѣніе сіе, великій государь, — отвѣчалъ державшій крестъ, указывая на комету.

— То знаменіе Божіе—перстъ огненный, имъ же Онъ, сынъ и грядый, судьбы міра ищетъ.

— Къ добру ли знаменіе то, великій государь?

— Судьбы Его кто иновѣсть? Можетъ на враговъ моихъ и сквернителю церкви російской указуетъ тотъ палецъ огненный, а можетъ на меня.

Черезъ дорогу, впереди саней, промелькнуло что-то сѣренькое и попрыгало по снѣгу къ ближайшему перелѣску.

— Стой, останови сани!—повелительно сказалъ послѣдній голосъ.— Заяцъ перебѣжалъ дорогу... Лукавъ бѣсъ—ненавидитъ добро... Поди, Иванушко, осѣни крестомъ дорогу.

Возница остановилъ коней. Остановился и весь поѣздъ. Лошади встряхивались, гремя наборною сбруею. „Что случилось?“ слышалось изъ протихшихъ саней.—„Заяцъ передорожилъ“.

Тотъ, кого называли Иванушкой, вылѣзъ изъ первыхъ саней, держа передъ собою высокій крестъ, прошелъ впередъ и, трижды осѣнивъ крестомъ дорогу, молча воротился на свое мѣсто.

Поѣздъ снова двинулся. Опять завизжали полозья, звонко, рѣзко, словно бы подъ ними кто-то вскрикивалъ отъ боли, жалуясь на холодъ. Снова безмолвно смотрѣли съ неба чьи-то страшныя очи да огненный палецъ—но палецъ, а цѣлая горящая пятерня указывала на что-то далекое, невидимое. Иногда лѣсъ заслонялъ собою горизонтъ и снѣжную, утопавшую во мракѣ равнину, и тогда казалось, что вдоль дороги, по сторонамъ, двигались какія-то тѣни въ саванахъ, изъ-подъ которыхъ простирались длинныя руки, словно закованныя отъ холода.

Время переходило уже за полночь, и въ ночномъ воздухѣ слышалось что-то похожее не то на продолжительный, неумолкаемый стонъ, не то на далекую, протяжную и плачущую музыку. Сидѣвшій въ переднихъ саняхъ словно какъ-бы вздрогнулъ и вытянулся, къ чему-то прислушиваясь.

— Меня зовутъ... по мнѣ востосковались храмы Божіи, — радостно сказалъ онъ.

То слышался далекій звонъ московскихъ церквей къ заутрени. Скоро близость Москвы стала сказываться все яснѣе и яснѣе. Потянулись изгороди, заборы, боярскія подгородныя усадьбы. Чаше попадались обозы, гускомъ тянувшіяся въ городъ, къ раннему базару.

У заставы поѣздъ остановленъ былъ окрикомъ сторожей: „кто ѣдетъ?“

— Савина монастыря власти,—отвѣчали изъ первыхъ саней.

— Подвысь! Вольно! Съ Богомъ!

И сторожа, при видѣ креста въ саняхъ, въ недоумѣніи сняли шапки и стали креститься.

Поѣздъ съ крестомъ проѣхалъ прямо въ Кремль и остановился у Успенскаго собора. Въ соборѣ въ это время шла заутреня. Служилъ ро-

стовскій митрополитъ Іона, временной блюститель патриаршаго престола. Народу была полна церковь, такъ полна, что во время молитвенныхъ возгласеній иподіакона вся церковь представляла колышашуюся массу головъ, которыя, повидимому, не вмѣщались въ тѣсныхъ стѣнахъ обширнаго храма и во всякомъ случаѣ не могли дѣлать истовые размашистые поклоны, какъ то требовалось обычаемъ. Въ спертomъ отъ дыханія воздухъ свѣчи, которыхъ зажжены были цѣлые лѣса, горѣли тускло, оплывали и чадили. Но при всемъ томъ въ храмѣ царствовала благоговѣйная тишина и только слышались сдержанныя старческія покашливанья да вздохи сокрушенныхъ сердець, а то и просто вздохи обычая—что такъ-де надоть, крѣпче будетъ. Надъ всѣмъ этимъ господствовалъ звонкій, грудной, хотя тоже, въ силу обычая, для болшей истовости нѣсколько гнусившій голосъ псаломщика—митрополичьяго поддьяка, высоко и шибко забираващаго большею частью тамъ, гдѣ не слѣдовало. Читалась уже вторая каѳизма. Голосъ тѣща гулко отдавался подъ сводами храма, какъ бы силясь вырваться на морозный воздухъ изъ этой душной, пропитанной восковымъ чадомъ атмосферы.

Вдругъ у входныхъ дверей послышался какой-то шумъ. Сдѣлалось смятеніе. Всѣ головы оборотились назадъ въ ожиданіи чего-то непонятнаго. Входныя двери загремѣли желѣзными засовами, завизжали на петляхъ и и тяжело растворились настежь. Въ церковь дымными клубами ворвался морозный воздухъ.

Что такое? Не царь ли идетъ?.. Голосъ псаломщика дрогнулъ; но чтеніе не прекращалось.

Стѣна молящихся посунулась впередъ и уперлась о самый амвоу. Тѣ, которые занимали середину церкви, шарахнулись въ стороны, какъ овцы, прижимаясь къ стѣнамъ и колыхая паникадилами, которыя чуть не попадали—да упасть было некуда—попадали только нѣкоторыя свѣчи.

Показались ряды монаховъ съ заиндевѣвшими отъ мороза бородами. За монахами—высокій, блестящій золотомъ и самоцвѣтными камнями крестъ. За крестомъ—высокая, коренастая, осанистая фигура въ черномъ клобукѣ, на которомъ блеститъ и искрится отливающая въ черноту радуги налобный крестъ. Лицо вошедшаго за крестомъ—блѣдное, суровое, съ выраженіемъ чего-то повелительнаго, непреклоннаго, скорѣе жестокаго и отталкивающаго: глаза, которые никогда, кажется, не смотрѣли нѣжно на ребенка, губы, которыя никогда, кажется, не знали поцѣлуя любви и ласки.

Всѣ головы оборотились къ нему, и все, казалось, замерло съ испугу. Одинъ поддьякъ не прерывалъ чтенія, хотя и его голосъ срывался и дрожалъ.

— Перестань читать! — раздался, какъ ударъ кнута, повелительный голосъ, который такъ часто когда-то слышали эти стѣны; а теперь и стѣны, казалось, дрогнули отъ испуга: такъ давно они не слышали этого знакомаго, страшнаго голоса—болѣе шести лѣтъ не слышали его.

Слова читавшаго каѳизмы замерли въ горлѣ, на послсловѣ остановился,

словно бы передъ нимъ разверзлась бездна. А въ этотъ моментъ откуда-то раздались стройные, плавные звуки, какъ будто бы они исходили изъ купола, въ то время, какъ страшный пришлецъ твердо и грузно вступалъ на патриаршее мѣсто.

— Исполла эти, деспота!

Это пѣли монахи, только что вошедшіе въ церковь. Потомъ запѣли — „Достойно есть...“ Вся церковь окаменѣла отъ изумленія; никто не молился; митрополитъ стоялъ блѣдный, потерянный—онъ не зналъ, что ему дѣлать, не понималъ, что же такое случилось, что вокругъ него происходитъ.

Когда кончилось пѣніе „достойно“, протодіаконъ, стоявшій въ полномъ облаченіи, недвижимъ, какъ истуканъ, невольно поднялъ обернутую въ орарь правую руку, которая дрожала.

— Говори ектенью!—второй разъ прозвучалъ по церкви тотъ страшный голосъ, который всѣхъ приводилъ въ трепеть.

Протодіаконъ оторопѣлъ, застѣшилъ-было, сорвался съ голоса, поправился, передохнулъ—и продолжалъ уже ровной, привычной октавой... „О свяшнемъ мирѣ и о спасеніи душъ нашихъ! О мирѣ всего міра...“

А страшный пришлецъ, сойдя съ патриаршаго мѣста, плавно, но твердо, словно вдавливая ноги въ церковный каменный помостъ, сталъ ходить по церкви и прикладываться къ образамъ и мощамъ. Народъ со страхомъ разступался передъ нимъ, боясь поднять глаза до его глазъ, свѣтившихся какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ.

Окончивъ это, пришлецъ опять взомель на патриаршее мѣсто, возгласивъ громко, медленно и сурово, какъ бы грозясь кому-то: „Владыко многимилюстиве!...“

— Иди подъ благословеніе! — повелительно обратился онъ, тотчасъ послѣ молитвы, къ митрополиту Іонѣ, который продолжалъ стоять неподвижно, попрежнему блѣдный, недоумѣвающий.

Іона повиновался — подошелъ, склонивъ ниже обыкновеннаго сѣдую голову въ богатой мигрѣ. За нимъ робко потянулось прочее духовенство. Пришлецъ порывисто шепталъ благословеніе и также порывисто крестилъ подходящихъ, словно ударялъ ладонью провинившійся предъ нимъ воздухъ. Никто не глядѣлъ въ глаза этому страшному пришельцу.

— Поди, возвѣсти великому государю о моемъ пришествіи, — указалъ онъ митрополиту, окончивъ благословеніе.

Оторопѣлый митрополитъ еще ниже наклонилъ голову, сѣдая рѣдкія косы его дрожали на плечахъ.

— Иди, — раздался повторительный возгласъ.

Іона пошелъ, шатаясь и не поднимая головы. За нимъ торопливо послѣдовалъ ключарь собора, Іовъ. Народъ пѣшш разступался передъ ними, какъ бы боясь прикоснуться до ихъ ризъ.

За духовенствомъ, одинъ за другимъ, тихо и робко ступая по мосту, стали всходить на патриаршее возвышеніе и прочіе молящіеся. Пришлецъ

благословлялъ всѣхъ, долго благословлялъ. Не одну тысячу разъ сдѣлала въ воздухѣ крестное знаменіе жилистая рука его, а народъ все подступаетъ, робко прижимаясь одинъ къ другому.

А время идетъ... Пришелецъ нетерпѣливо поглядываетъ на входныя двери—никого нѣтъ... На лицо его все болѣе и болѣе ложится какая-то зловѣщая тѣнь... Глаза перестаютъ глядѣть на подходящій подъ благословеніе народъ: они его не видятъ, а видятъ какъ будто что-то другое, никому невидимое.

Церковныя сторожа робко, словно бы украдкой и боясь взглянуть на пришельца, пробираются между народомъ съ пучками, съ цѣлыми охапками свѣчей и, втыкая ихъ во всѣ свободныя ячейки паникадилъ и между ячейками, по бортамъ, до безконечности увеличиваютъ это несмѣтное множество блестящихъ огненныхъ языковъ, чтобы ярче, до боли глазъ, освѣтилась огромная хранина, словно бы желая яркимъ свѣтомъ освѣщенного огня согнать съ давно вдовствующаго патріаршаго трона это страшное, сидящее на немъ, привидѣніе, о которомъ начали-было уже забывать, какъ о заживо погребенномъ. И хранина освѣтилась ярко, зловѣще; а привидѣніе не исчезаетъ; оно все сидитъ на тронѣ и автоматически машетъ рукою надъ робко склоняющимися головами молящихся. И лицо у привидѣнія становится еще зловѣще: матовая блѣдность его переходитъ въ какую-то зеленоватость, въ сѣро-кисельность...

Вдругъ входныя двери съ шумомъ растворились. Народъ опять шархнулся въ разныя стороны. — Не царь ли идетъ? — Нѣтъ, не царь. — Показались блѣдныя, смущенныя лица митрополита Іоны, ключаря Іова, а за ними еще четыре лица... Это бояре. Впереди всѣхъ сухая, высокая фигура съ иконописнымъ лицомъ и черненькими въ мѣшкахъ и складкахъ глазами. Это Одоевскій князь, Никита Ивановичъ, бояринъ и постникъ. За нимъ статная, осанистая фигура другого боярина съ добрымъ лицомъ и добрыми глазами. Это Сосринъ — князь Юрій Алексѣевичъ Долгорукій. Тутъ же и юркій молодой царедворецъ — Родіонъ Стрѣшневъ, и сухой, желтый, морщинистый, какъ пересохшій пергаментъ, великій законникъ и воротило — дьякъ Алмазъ Ивановъ, изможденное лицо котораго походило на полинялый отъ времени харатейный свитокъ, а живые черные глаза на этой харатѣ представляли подобіе двухъ свѣжихъ чернильных пятенъ.

Бояре прямо подошли къ патріаршему мѣсту. Пришелецъ сидѣлъ, какъ статуя, не двигаясь; только огромный наперстковый крестъ съ камнями изобличалъ, что грудь, на которой онъ покоился, дѣшала тяжело, порывисто: камни дрожали и сверкали разноцвѣтными искрами.

Вся церковь замерла отъ ожиданія. Одоевскій, молча и не кланяясь, подошелъ къ пришельцу. Глаза ихъ встрѣтились. Глаза Одоевскаго потупились и спрятались подъ мѣшечками.

— Ты оставилъ патріаршій престолъ самовольно, — сказалъ онъ хрипло: — общался впредь въ патріархахъ не быть, сѣхалъ жить въ мона-

стырь, о чемъ и написано уже ко вселенскимъ патріархамъ; а теперь ты для чего въ Москву пріѣхалъ и въ соборную церковь вошелъ безъ вѣдома великаго государя и безъ совѣта всего освященнаго собора? Ступай въ монастырь попрежнему.

Пришлецъ вздрогнулъ и поднялся во весь свой огромный ростъ. Одоевскій невольно попятился назадъ. По церкви прошелъ ропотъ испуга. Многие учащенно крестились.

— Сошелъ я съ престола никѣмъ не гонимъ, теперь пришелъ на престолъ никѣмъ не званъ для того, чтобъ великій государь кровь утолилъ и миръ учинилъ, а отъ суда вселенскихъ патріарховъ я не бѣгаю, и пришелъ я на свой престолъ по явленію.

Пришлецъ проговорилъ это необыкновенно отчетливо и рѣзко. Каждое слово онъ какъ будто гвоздемъ прибавлялъ, и послѣдняя фраза сказала особенно рѣзко.

— Ступай въ свой монастырь!—вторично прохрипѣлъ князь Одоевскій то, что ему приказано было сказать.

Пришлецъ понялъ, что это уже царскій указъ — „пошелъ“! — и ни слова больше... Онъ пошарилъ что-то подъ панагією и вынулъ оттуда запечатанный пакетъ.

— Вотъ письмо, отнесите его къ великому государю, — сказалъ онъ, протягивая пакетъ и ни на кого не глядя.

— Ступай въ монастырь!—автоматически повторилъ Одоевскій.

— Безъ вѣдома великаго государя мы письма принять не смѣемъ, — какъ-то испуганно заговорилъ дьякъ Алмазъ Ивановъ, при чемъ харатейная кожа на его лицѣ еще болѣе сморщилась: онъ вспомнилъ, что еще не такъ давно его, думнаго дьяка Алмаза Иванова, да подъячаго Гришку Котошихина, велѣно было бить батоги нещадно за то, что они приняли одно такое письмо, не досмотрѣвъ, а въ немъ была прописка въ титулѣ великаго государя—опискою написано было „госодаря“,—послѣ каковыхъ батовъ, не стерпя побой, оный Гришка Котошихинъ бѣжалъ къ свейскому королю за море, а Алмазъ Ивановъ харкалъ кровью.

— Безъ указа великаго государя, его пресвѣтлаго царскаго величества, мы письма принять не смѣемъ,—повторилъ этотъ великій законникъ.

— Пойдемъ, извѣстимъ о семъ великому государю, — добавилъ Юрій Долгорукій.

Посланцы вышли. Церковь представляла теперь необыкновенное зрѣлище: служба была прервана; духовенство — соборные попы и протопопы, дьяконы, находившіеся передъ тѣмъ въ какомъ-то оцѣпененіи, теперь ожили — бродили съ клироса на клирость, съ амвона въ алтарь и по церкви, перешептывались, иногда мѣнялись улыбками и шушуканьемъ, кивали головами, свободно зѣвали и широко разметывали косы; сторожа украдкой, а иногда и явно пофукивали на паникадилы и притушивали излишне зажженные изъ страха свѣчи; народъ все время до пришествія посланцевъ тѣснившійся къ патріаршему мѣсту для благословенія, теперь

съ робостью отхлынулъ отъ этого мѣста и не зналъ, что ему дѣлать. Казалось, въ церкви былъ покойникъ, и словно бы всѣ ждали, что вотъ-вотъ запоютъ— „помилуй раба твоего“... Тяжелое ожиданіе!

И пришлецъ казался теперь не тѣмъ, чѣмъ былъ недавно: онъ сидѣлъ неподвижно, какъ статуя; ему уже некого было благословлять—и онъ молча перебиралъ четки; блѣдное лицо его по временамъ судорожно подергивалось... Между тѣмъ, время тянулось такъ долго. Давно зажженные свѣчи догорали, и словно мракъ какой-то спускался отъ купола все ниже къ полу. Становилось какъ-то сумрачно. То тамъ, то здѣсь слышались вздохи, шопотъ молитвы...

Наконецъ двери опять широко распахнулись — и все вздрогнуло, зашумѣлось. Вошли прежніе посланцы.

— Великій государь указалъ намъ, холопамъ своимъ, объявить тебѣ прежнее: чтобы ты шелъ назадъ въ Воскресенскій монастырь, а письмо взять у тебя, — проговорилъ, какъ по заученному, Одоевскій, подходя къ патриаршему мѣсту.

Пришлецъ снова выпрямился во весь свой ростъ и сдѣлалъ шагъ къ Одоевскому и къ прочимъ посланцамъ. Дьякъ Алмазъ Ивановъ попытлся назадъ; но чернильные пятна-глаза его заискрились.

— Коли великому государю пріѣздъ мой ненадобенъ, то я поѣду назадъ въ монастырь, но не выйду изъ церкви, пока на письмо мое отповѣди не будетъ, — сказалъ пришлецъ попрежнему громко и отчетливо.

И онъ гордо, не какъ проситель, подаль письмо. Дьякъ Алмазъ Ивановъ быстро нагнулся и взглянулъ на титулъ письма: онъ пуще смерти боялся прописки въ титулѣ: это было одно изъ величайшихъ и тягчайшихъ государственныхъ преступленій того времени.

Посланцы опять вышли, опять въ церкви осталось то же слоняющееся безъ дѣла священство, тѣ же ожидающіе чего-то прихожане, та же неподвижная фигура на патриаршемъ мѣстѣ, а рядомъ — высокій блестящій крестъ въ рукахъ ставрофора-крестовосителя.

Послѣ томительнаго ожиданія въ третій разъ распахнулись входныя двери собора. Теперь впереди посланцевъ отъ царя выступалъ смиренный Павелъ, митрополитъ Крутицкій; но изъ-за маски смиренія лицо его свѣтилось скрытымъ злорадствомъ.

— Письмо твое великому государю донесено, — началъ онъ громко, обводя весь соборъ глазами, и остановился.

Всѣ ждали, притаивъ дыханіе. Митрополитъ началъ.

— Онъ, великій государь, его пресвѣтлое царское величество, власти и бояре письмо выслушали, — продолжалъ онъ и снова остановился.

Всѣ ждали опять, ждали еще съ болѣе напряженнымъ вниманіемъ. Послышался гдѣ-то стонъ. Съ висячаго паникадила упала свѣчка, проведя въ воздухѣ огненную полосу, словно падучая звѣзда, и погасла. — „Охъ!“ послышался чей-то испуганный голосъ.

— И ты, патриархъ, изъ соборной церкви ступай въ Воскресенскій монастырь попрежнему,—закончилъ Крутицкій митрополитъ.

Это былъ жестокий приговоръ. Пришлецъ пошатнулся было назадъ, но тотчасъ же оправился, только лицо его позеленѣло. Онъ молча сошелъ съ патриаршаго мѣста, медленно приложился къ образамъ, взялъ посохъ митрополита Петра—этотъ историческій посохъ московскихъ святителей—и направился къ выходу между двумя стѣнами безмолвныхъ зрителей, которыхъ онъ, не поднимая глазъ, благословлялъ обѣими руками.

— Оставь посохъ!—говорилъ Одоевскій, поспѣвая за нимъ.

— Оставь посохъ!—повторили прочіе бояре.

— Отнимите силу! — не глядя на нихъ, отвѣчалъ пришлецъ, и вышелъ изъ собора.

Впереди попрежнему несли крестъ. Ночь была на исходѣ. На небѣ все еще стояла огненная метла, только хвостомъ уже на западъ. Народъ повалилъ изъ собора.

Пришлецъ, сядясь въ сани, сталъ отрясать ноги, громко говоря евангельскія слова:

— Идѣ же еще не пріемлютъ васъ, исходя изъ града того, и прахъ, прилепшій къ ногама вашимъ, отрясите во свидѣтельство на ня!

— Мы этотъ прахъ подметемъ!—дерзко отвѣчалъ стрѣлецкій полковникъ, наряженный провожать пришельца, какъ арестанта.—Подметемъ-ста!

— Да размететъ Господь Богъ васъ оною божественною метлою, иже является на дни многи!—сказалъ ему пришлецъ и указалъ на комету.

— Охъ, Господи, спаси насъ, помилуй! — послышался испуганный крикъ въ народѣ.

Поѣздъ двинулся въ обратный путь. Народъ повалилъ за поѣздомъ. Изъ дворца прискакали — окольничій князь Дмитрій Алексѣевичъ Долгорукій и любимецъ царскій Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, и слѣдовали за поѣздомъ.

Странный видъ представляло это шествіе въ ночной темнотѣ, при только что занимавшейся зарѣ. За поѣздомъ тѣснились толпы, опережая его и производя необыкновенный гулъ и ропотъ: стукъ тысячъ ногъ объ замерзшую землю, скрипъ саней, карканье проснувшихся галокъ и воронья и смутное рокотанье голосовъ сливалось въ какой-то невообразимый хаосъ. Въ разныхъ мѣстахъ города звонили колокола, какъ бы прощаясь съ уѣзжающими.

Пришлецъ, тотъ, который произвелъ все это волненіе, сидѣлъ въ первыхъ саняхъ и какъ-то странно глядѣлъ на стоявшій передъ нимъ крестъ... „Порвалась... порвалась послѣдняя нитка“, шептали блѣдныя губы.

За землянымъ городомъ поѣздъ остановился. Долгорукій сошелъ съ коня и приблизился къ первымъ санямъ, снявъ свою высокую боярскую шапку.

— Великій государь велѣлъ у тебя, святѣйшаго патриарха благословеніе и прощеніе просить,—сказалъ онъ, почтительно нагибая голову.

— Богъ его проститъ, коли не отъ него смута,—отвѣчалъ сидѣвшій въ первыхъ саянхъ.

— Какая смута?—удивленно спросилъ Долгорукій.

— Я не своей волей прѣзжалъ—по вѣсти,—былъ отвѣтъ.

Поѣздъ снова двинулся въ путь сквозь густую толпу народа. На колокольнѣ Ивана Великаго загорался золотой крестъ—всходило солнце.

II.

Посохъ митрополита Петра.

Такъ неудачно кончилась попытка Никона (это былъ онъ) — попытка къ примиренію съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ. „Тишайшій“ первый разъ въ жизни оказался непреклоннымъ.

За шесть лѣтъ до начала настоящаго повѣствованія, лѣтомъ 1658 года, въ Москву прѣхалъ грузинскій царевичъ Теймуразъ. По этому случаю у царя былъ большой обѣдъ. Приглашена была къ столу вся московская знать, не былъ приглашенъ одинъ Никонъ, великій святитель и патріархъ,—Никонъ, который за столомъ царя занималъ обыкновенно первое мѣсто. Это было для него прямымъ ударомъ въ сердце: „тишайшій“ царь, называвшій Никона „собиннымъ“ другомъ своимъ, не рѣшавшійся безъ его благословенія ни на какое государственное дѣло, именовавшій его не иначе, какъ „владыкою святымъ“, „великимъ святителемъ“, „равноапостольнымъ богомольцемъ“, своимъ „преосвященнымъ главою“, повелѣвавшій ему писаться въ указахъ царскихъ рядомъ съ царемъ и тоже называться „великимъ государемъ“,—царь вдругъ охладѣваетъ къ своему любимцу и даже не приглашаетъ къ столу. Задѣтый за живое, Никонъ посылаетъ своего боярина, одного князя, во дворецъ — за какимъ-то церковнымъ дѣломъ или просто высмотрѣть, что тамъ дѣлается. Въ это время царевичъ Теймуразъ ѣхалъ во дворецъ. Окольный Богданъ Матвѣевичъ Хитрово очищалъ ему путь, колоти, по московскому обычаю, палкою въ лобъ каждого, кто высовывался изъ толпы. Одинъ изъ такихъ ударовъ попалъ въ голову посланцу Никона.

— Не дерись, Богданъ Матвѣичъ! — закричалъ посланецъ, хватаясь за голову:—вить я не просто сюда пришелъ, а съ дѣломъ.

— Ты кто такой?—спросилъ окольный.

— Патріаршій человѣкъ—съ дѣломъ посланъ.

— Не дорожись! — закричалъ Хитрово и снова ударилъ патріаршаго посланца дубиной по лбу.

Тотъ съ плачемъ бросился къ Никону. Никонъ написалъ царю, прося „розыскать дѣло“ и наказать Хитрово. Царь тотчасъ отвѣчалъ собственноручно: „Сышу и по времени самъ съ тобою видѣться буду“.

Но прошелъ день, другой—ни розыска, ни свиданья.

Подоспѣлъ праздникъ Казанской Богородицы—большой праздникъ, съ

крестнымъ ходомъ всего освященнаго собора. А царь—такой богомолецъ, такой любитель церковной обрядности и всего священнаго благолѣпія. Наканунѣ праздниѣ, Никонъ, по обыкновенію, посылаетъ попа доложить царю, что святѣйшій патріархъ шествуетъ въ церковь. Отъ царя—ни отвѣта, ни привѣта. У обѣдни—опять нѣтъ царя! Это такъ не похоже на него... И праздниѣ не въ праздниѣ... Черезъ два дня опять большой праздниѣ—праздниѣ ризы Господней. Никонъ опять шлетъ къ царю съ вѣстями—и опять нѣтъ царя! Въмѣсто негоъ является къ патріарху царскій спальникъ, князь Юрій Ромодановскій — такой хмурый, торжественный... Что бы это значило?

— Царское величество на тебя гнѣвенъ, оттого не пришелъ къ заутрени и повелѣлъ не ждать его и къ святой литургіи.

Вотъ какую громовую вѣсть принесъ Ромодановскій.—было отчего смутиться. Но Никонъ не смутился—онъ зналъ „тишайшаго,“ своего „собиннаго“ друга.

— За что его царское величество на меня гнѣвенъ?—спросилъ онъ.

— Ты пренебрегъ его царскимъ величествомъ,—пишешься великимъ государемъ; а у насъ одинъ великій государь—царь!

— Называюсь я великимъ государемъ не собою. Такъ восхотѣлъ и повелѣлъ его царское величество,—свидѣтельствуютъ грамоты, писанныя его рукою.

— Царское величество почтилъ тебя яко отца и пастыря, и ты этого не уразумѣлъ. А нынѣ царское величество велѣлъ тебѣ сказать: отнынѣ не пиши и не называйся великимъ государемъ, почитать тебя впредъ не будетъ.

Что послѣ этого оставалось дѣлать? Или сломить, или самому сломиться. Но не такая это была воля, чтобы сломиться.

По уходѣ Ромодановскаго, Никонъ не долго думалъ. Въ немъ тотчасъ созрѣло рѣшеніе. „Кину патріаршій престолъ вдовымъ—напугаю, сломлю всѣхъ... Кроткій и богобоязненный царь испугается“... Онъ сказалъ объ этомъ своему дяку. Дякъ сталъ уговаривать. Напрасно! Патріархъ былъ непреклоненъ. Дякъ кинулся къ другу Никона, боярину Зюзину. Тотъ велѣлъ умолять патріарха—не дѣлать этого, не гнѣвить царя: „послѣ-де захочешь воротиться, да поздно будетъ.“ Упрямый гордецъ задумался было—сталъ даже писать царю; но приливъ злобы все испортилъ...

— Иду!—тряхнулъ онъ своею черною гривой и въ клочки изодралъ написанное...—Купите мнѣ простую палку, какія попы носятъ...

И онъ отправился въ Успенскій соборъ.

Энергіею и силою звучалъ его металлическій голосъ во время службы—никогда онъ не служилъ такъ хорошо, величественно; руки его, сжимая золотыя свѣчницы съ горящими свѣчами, казалось, благословляли этимъ свѣтомъ весь міръ. Когда хоръ возглашалъ: „исполни эти, деспота!“—величественное лицо его, казалось, говорило: „кто противъ меня, тотъ противъ Бога и церкви!“

Послѣ причастія онъ велѣлъ ключарю поставить у выходовъ сторожей, не пускать народъ изъ храма: „поученіе-де будетъ.“

И вотъ великій патріархъ вышелъ на амвонъ—лицо какое-то необыкновенное, не его лицо!

„Буди имя Господне!“ загремѣлъ хоръ.

Народъ понадвинулся къ амвону. Тысячи глазъ смотрѣли въ лицо проповѣднику.

— Лѣннивъ я былъ васъ учить,—раздались слова съ амвона,—не стало меня на это... Отъ лѣни я окоростовѣлъ, и вы, видя мое къ вамъ неученіе, окоростовѣли отъ меня. Отъ сего времени я вамъ больше не патріархъ; а если подумаю быть патріархомъ, то буду анаеема. Какъ ходилъ я съ царевичемъ Алексіемъ Алексіевичемъ въ Колязинъ монастырь, и въ то время на Москвѣ многіе люди къ Лобному мѣсту собирались и называли меня иконоборцемъ, потому что многія иконы я отбиралъ и стиралъ, и за то меня хотѣли убить. А я отбиралъ иконы латинскія, писанныя по образцу, какой вывезъ нѣмецъ изъ своей земли. Вотъ какими образамъ надо вѣрить и поклоняться (и онъ указалъ на образъ Спасовъ въ иконостасѣ). А я не иконоборецъ. И послѣ того называли меня еретикомъ—новыя-де книги завелъ! И все это учинилось ради грѣхъ моихъ. Я вамъ предлагалъ многое поученіе и свидѣтельство вселенскихъ патріарховъ, и вы, въ окаменѣнии сердецъ вашихъ, хотѣли меня каменіемъ побить; но Христосъ насъ единожды кровію искупилъ,—а коли меня вамъ каменіемъ побить, и мнѣ никого кровію своею не избавить, и чѣмъ вамъ каменіемъ меня побить и еретикомъ называть, такъ лучше я вамъ отъ сего времени не буду патріархъ. Аминь.

Какъ громомъ поразили эти слова весь соборъ. Недоумѣвающіе, смущенные, оторопѣвшіе, испуганные, всѣ стояли точно окаменѣлые и съ какимъ-то ужасомъ какъ бы искали понять, кто же тутъ виноватъ во всемъ этомъ, гдѣ тѣ преступники, которые вызвали страшное проклятiе на весь соборъ, на всю эту массу молящихся, вѣрующихъ, чего-то чающихъ, гдѣ они, эти изверги, гдѣ виновные въ томъ, что вотъ-вотъ сейчасъ громъ небесный разразится надъ храмомъ... Послышались всхлипыванья, стоны; женщины громко плакали... „Матушки! святители! что жъ это будетъ съ нами!.. охъ!..“

— Батюшка! кормилецъ! кому же ты насъ сирыхъ оставляешь?—голосили бабы и боярыни въ истошный голосъ. — Кому, батюшка нашъ? о-о-о!

— Кого вамъ Богъ дастъ и Пресвятая Богородица изволить,—отвѣчалъ Никонъ.

Его стали разоблачать. Казалось, что это раздѣваютъ покойника. А вонъ и саванъ несутъ—это мѣшокъ съ простымъ монашескимъ платьемъ. Что жъ это такое будетъ?

Толпа не выдержала—бросилась къ послушникамъ и отняла у нихъ мѣшокъ. Толпа превращалась въ звѣря: какъ она въ другое время по-

была бы камнями этого самого Никона, такъ теперь за него она готова была растерзать всѣхъ.

Никонъ не могъ послушаться толпы и ушелъ въ алтарь. Тамъ онъ потребовалъ бумаги и чернилъ. Нагнувшись къ престолу, онъ, стоя, началъ чертить перомъ по бумагѣ. Рука его дрожала; перо не попадало въ чернильницу. Онъ самъ повторялъ за собою то, что чертила его рука на бумагѣ... Это было письмо къ царю... „Отхожу ради гнѣва твоего, исполняя писаніе: дадите мѣсто гнѣву... И паки: егда изженутъ васъ отъ сего града, бѣжите во ннѣ градъ, и еже аще не примутъ васъ, грядуще отрясите прахъ отъ ногу вашу...“

— Отрясу... отрясу,—бормоталъ онъ, когда, тотчасъ послѣ этого, на него стали надѣвать простую мантию съ „источниками“ и черный клобукъ.—Бѣгу во ннѣ градъ, бѣгу въ пустыню...

Взявъ въ руки простую палку, онъ быстро вышелъ изъ алтаря и направился было къ выходнымъ дверямъ. Что-то страшное и въ то же время обаятельное было во всей его фигурѣ. Сначала было всѣ шарахнулись отъ него съ испугу въ сторону, но потомъ задніе бросились къ дверямъ и заслонили ихъ собою.

— Не пустимъ! не пустимъ!—застонала толпа.

Женщины истерически рыдали, валяясь въ ногахъ у упряма и цѣлуя его ризы, ноги, палку... Выпустили только Крутицкаго митрополита Питирима, который посѣщилъ во дворецъ доложить царю о томъ, что происходило въ соборѣ.

Царь былъ пораженъ, какъ громомъ, неожиданной вѣстью... „Точно сплю съ открытыми глазами и все это вижу во снѣ,“ бормоталъ онъ, хватаясь за голову и безпомощно озираясь. Глаза его упали на стоявшаго тутъ же князя Трубецкого, Алексѣя Никитича, великаго стратига московскаго.

— Иди, Алексѣй, образумь его, скажи: я жалую его, не гоню... радъ ему... Охъ, Господи!

Трубецкой явился въ соборъ. Никонъ сидѣлъ на нижней ступени патріаршаго мѣста, чертя въ задумчивости посохомъ по церковному помосту. Трубецкой подошелъ къ нему подъ благословеніе.

— Прошло мое благословеніе, недостойнъ я быть въ патріархахъ,—сказалъ Никонъ, не давая Трубецкому благословенія.—Недостойнъ.

— Какое твое недостойнство? Что ты сдѣлалъ?—спросилъ недоумѣвающимъ Трубецкой.

— Если тебѣ надобно, то я стану тебѣ каяться,—съ горькою ироніею отвѣчалъ патріархъ.—Всему собору, всѣмъ православнымъ христіанамъ буду каяться.

Въ толпѣ послышался ропотъ. Трубецкой смутился.

— Это не мое дѣло, не кайся,—бормоталъ онъ,—скажи только, зачѣмъ бѣжишь, престолъ свой оставляешь? Живи, не оставляй престола! Великій государь нашъ тебя милуетъ и радъ тебѣ.

Никонъ вынулъ изъ-подъ мантии клочъ бумаги, что сейчасъ исписалъ за престоломъ, и подалъ Трубецкому.

— Поднеси это государю... Попроси царское величество, чтобъ пожаловалъ мнѣ келью.

Трубецкой ушелъ. Патріархъ, несмотря на свою желѣзную волю, озирался растерянно, видимо не находя себѣ мѣста: то садился на нижней ступени патріаршаго мѣста, какъ бы униженно припадая къ ногамъ обезумѣвшей отъ изумленія толпы, то вставалъ и порывался къ дверямъ. Но народъ съ плачемъ не пускалъ его, падая передъ нимъ ницъ или простирая къ небу руки. Картина была потрясающая. Женщины то рыдали, обившись въ кучу, какъ овцы въ зной, то ползали у ногъ упряма, стучась головами о каменный церковный помостъ.

Не выдержалъ и патріархъ—заплакалъ: беспомощно опустившись на нижнюю ступень своего сѣдалища, онъ припалъ лицомъ къ ладони и тихо, беззвучно рыдалъ.

Это уже было выше мѣры. Церковь вся огласилась рыданіями. Даже сторожа, забившись по угламъ, плакали.

Но снова явился Трубецкой и, отдавая Никону назадъ письмо его, сказалъ: „Великій государь указалъ тебѣ сказать, чтобъ ты патріаршества не оставлялъ, а келій-де на патріаршемъ дворѣ много“.

— Уже я слова своего не перемѣню,—сказалъ патріархъ, и вышелъ изъ собора.

Теперь ужъ его никто не останавливалъ. Народъ чувствовалъ, что вмѣстѣ съ патріархомъ и ему нанесена обида... Стоить-ли-де настаивать послѣ этого!

Но, когда Никонъ хотѣлъ сѣсть въ карету, народъ бросился на нее и выпрягъ лошадей. Никонъ пошелъ пѣшкомъ чрезъ Кремль—народъ за нимъ. Патріархъ хотѣлъ уйти Спасскими воротами—народъ заперъ ворота. Тогда Никонъ сѣлъ въ нишу подъ воротами, въ „печуру.“ Народъ заперудилъ всю эту половину Кремля, и только посланные изъ дворца бояре могли заставить народъ выпустить своего плѣнника.

Опальный патріархъ пошелъ пѣшкомъ до своего подворья, на Ильинку, а народъ, провожая его, плакалъ словно по покойникѣ.

Все это вспомнилъ теперь Никонъ, возвращаясь въ свой Воскресенскій монастырь изъ Москвы, куда онъ попытался было, но такъ неудачно, снова воротиться изъ своего добровольнаго, а теперь невольнаго изгнанія. Тяжело было у него на душѣ. Да и какъ перемѣнилось все въ эти долгія, мучительно однообразныя шесть лѣтъ изгнанія? Тогда, оскорбленный и униженный, онъ вѣхалъ въ изгнаніе все-таки полный надеждъ, что его скоро воротятъ, попросятъ назадъ, и торжество его будетъ полное. Теперь онъ возвращался полный мрачной безнадёжности и тоски: мало того, что

теперь его выгнали как собаку—вперед еще ждетъ судъ вселенскихъ патріарховъ. „О! наемники!“ невольно вырвалось у него слово—и онъ оглянулся назадъ. Сани его катились по той же однообразной снѣжной равнинѣ, по которой онъ, нѣсколько часовъ тому назадъ, ночью, бѣжалъ съ тайною надеждою на побѣду... Нѣтъ, не побѣда ждала его, а глубокое посрамленіе...

И онъ снова мыслью переносился въ прошлое. Тогда, шесть лѣтъ назадъ, эти поля покрыты были зеленью; теперь—кругомъ саванъ бѣлый—глазамъ больно отъ этого снѣжнаго моря...

Вспоминалась ему вся его горькая, одинокая жизнь въ монастырѣ и та свѣтлая, полная торжества, власти и славы жизнь, когда онъ еще не покидалъ патріаршаго престола. Припомнилась и послѣдняя, прошлогодняя схватка съ Паисіемъ Лигаридомъ и другими посланцами царя... Пришли они къ нему въ келью цѣлымъ сонмищемъ, а впереди всѣхъ этотъ грекъ-бродяга, Паисій... Не вытерпѣло сердце буйнаго патріарха, и онъ ринулся вперемъ на бѣднаго гречина:

— Воръ! нехристь! собака! самоставникъ! мужикъ!—закричалъ онъ, стуча объ полъ посохомъ.—Давно ли на тебѣ архіерейское одѣяніе? Есть ли у тебя ко мнѣ грамоты отъ вселенскихъ патріарховъ? Тебѣ не впервой тыкаться по государствамъ да мутить. У насъ того же захотѣлъ!

Но увертливый Одиссей не смутился.

— Отвѣчай мнѣ по-евангельски,—мягко сказалъ Паисій по-латыни:—проклиналъ ли ты царя?

— Я служу за царя молебны,—накинулся на него Никонъ, когда ему перевели слова Паисія.—А ты зачѣмъ говоришь со мною на проклятомъ латинскомъ языкѣ?

— Языки не прокляты,—отвѣчалъ Паисій:—огненный духъ сошелъ въ видѣ языковъ. Я же говорю съ тобою по-еллински, потому что ты невѣжда и не понимаешь этого золотого языка.

А тутъ некстати вмѣшался Іосифъ, архіепископъ астраханскій.

— И ты туда же!—крикнулъ на него Никонъ.—А помнишь ли, бѣдный, свое обѣщаніе? Обѣщался ты и царя не слушать, а теперь суеться! Али тебѣ, бѣдному, дали что-нибудь? Я ни слушать тебя, ни говорить съ тобою не стану.

— А для чего ты,—вмѣшался въ споръ Одоевскій,—для чего на молебнахъ жалованную государеву грамоту приносишь, подъ крестъ клалъ и подъ образъ Богородицы, читать ее приказывалъ и изъ псалмовъ клятвенныя слова говорилъ?

— Я на литургіи, послѣ заамвонной молитвы, со всѣмъ соборомъ молебенъ служилъ, государеву грамоту прочитатъ велѣлъ, подъ крестъ и подъ образъ Богородицы клалъ, а клятву износилъ на обидящаго мя, на Ромашку Боборыкина, а не на великаго государя.

Тѣ не вѣрили, настаивали на своемъ. Никонъ не вынесъ больше и закричалъ:

— А хотя бы я и къ лицу великаго государя клятву износилъ — такъ что жъ? Я за такія обиды и теперь стану молиться: приложи, Господи, ала славнымъ земли!

А потомъ, обратившись къ Іосифу, спросилъ:

— Какой-то у васъ теперь тамъ на Москвѣ соборъ, и кто приказывалъ его вамъ открывать?

Іосифъ отвѣчалъ:

— Этотъ соборъ созванъ по указу великаго государя ради твоего неистовства; а тебѣ до этого дѣла нѣтъ: ты свое достоинство патріаршеское оставилъ.

— Я своего достоинства патріаршескаго не оставлялъ.

— Какъ не оставлять? Ему показали письмо. — А это развѣ не твое письмо, гдѣ ты пишешь, что не возвратишься на патріаршество, какъ пещь на свою блевотину? Развѣ не самъ ты писался *бывшимъ* патріархомъ? И послѣ этого годится ли тебѣ называться патріархомъ?

— Я и теперь государю не патріархъ! — загремѣлъ упрямецъ.

— А по самовольному съ патріаршаго престола удаленію и по нынѣшнимъ неистовствамъ твоимъ ты и намъ всѣмъ не патріархъ... Достояннъ ты за свои неистовства ссылки и подначальства крѣпкаго, потому что великому государю дѣлаешь многія досады и въ мірѣ смуту.

Тутъ уже Никонъ окончательно вышелъ изъ себя и закричалъ не своимъ голосомъ:

— Вы пришли на меня, какъ жида на Христа...

Все это припомнилось теперь несчастному. А впереди еще этотъ вселенскій судъ, а тамъ, вѣрно, вѣчная ссылка и вѣчное — до самаго гроба — забвеніе...

Было уже далеко за полдень, когда поѣздъ изгнаннаго изъ Москвы патріарха добрался до села Чернева. Лошади, не кормленные всю ночь и болѣе половины дня, притомились. Свита Никона, тоже постившаяся и глазъ не сомкнувшая со вчерашняго дня, изнемогла и отошала. Иванъ Шушера, ставрофоръ патріарха, постоянно державшій передъ нимъ крестъ, падалъ отъ утомленія и того и гляди могъ уронить и самый крестъ. Самъ Никонъ, казалось, постарѣлъ за эту ужасную ночь на десять лѣтъ: онъ, постоянно прямой и твердый, какъ-то осунулся и сидѣлъ сгорбившись. Шушера, взглядывая въ его посеребренную инеемъ бороду, съ ужасомъ замѣчалъ, что въ ней начинается серебриться и другой, не морозный иней — иней сѣдины, старости, дряхлости.

Рѣшено было остановиться въ селѣ Черневѣ — покормить лошадей и самимъ отдохнуть. Въѣхали въ подворье. Молча, поддерживаемый монахами, Никонъ вышелъ изъ саней и вошелъ въ избу. Почти все время, пока оставались въ Черневѣ, онъ сидѣлъ неподвижно, въ глубокой задумчивости. Изъ этой задумчивости онъ былъ выведенъ скрипомъ подъѣхавшихъ къ подворью саней и знакомыми голосами. Онъ встрепенулся, по лицу и по глазамъ его промель какой-то свѣтъ. Онъ узналъ звонкій го-

лось Родіона Стрѣшнева и сухой кашель дьяка Алмаза Иванова. Что-то въ родѣ надежды блеснуло въ черныхъ глазахъ изгнанника.

Въ избу вошли Павелъ, митрополитъ Крутицкій, Іоакимъ, архимандритъ Чудовскій, Родіонъ Стрѣшневъ и Алмазъ Ивановъ.

— Великій государь приказалъ спросить у тебя, по какой вѣсти пріѣзжалъ ты въ Москву, и взять у тебя посохъ Петра митрополита, — сказалъ Стрѣшневъ, ставъ среди избы.

— Пріѣзжалъ я въ Москву не своею волею: по вѣсти изъ Москвы, — отвѣчалъ Никонъ попрежнему гордо; — посоха не отдамъ... отдать мнѣ посохъ не кому.

Митрополитъ Крутицкій хотѣлъ что-то сказать, но Никонъ не далъ ему рта разинуть.

— Тебя я зналъ въ полахъ, а въ митрополитахъ не знаю! — крикнулъ онъ на него. — Кто тебя въ митрополиты поставилъ — не вѣдаю, да и знать не хочу. Посоха тебѣ не отдамъ, потому что не у кого, кромѣ меня, посоху быть. А кто ко мнѣ вѣсть прислалъ — вотъ письмо.

И онъ подаль Алмазу Иванову исписанный листокъ бумаги, хранившійся у него на груди подъ мантию. Алмазъ Ивановъ быстро поднесъ листокъ къ своему пергаментному лицу, пробѣжалъ его своими мышиными глазками, словно нюхая, чѣмъ пахнутъ чернила, и, пробормотавъ успокоительнымъ голосомъ — „отъ Зюзина отъ Микитки“, — сунулъ его къ себѣ за пазуху.

Никону доложили, что лошади уже запряжены — пора ѣхать. Не оборачиваясь къ царскимъ посланцамъ, онъ вышелъ изъ избы на крыльцо. Былъ уже вечеръ. Звѣзды, какъ и вчера, горѣли ярко, и длинный хвостъ кометы стоялъ на синевѣ неба прямо, словно огненная метла, поднятая невидимою рукою.

Посланцы вышли за патріархомъ. Когда Никонъ, поддерживаемый монахами, садился уже въ сани, къ нему подошелъ Крутицкій митрополитъ.

— Отдай посохъ, — сказалъ онъ настойчиво.

— Не тебѣ ли, худоглавый! — огрызнулся на него упрямецъ.

— Не мнѣ, а великому государю.

— Черезъ твои-то коростовыя руки!

Ошпаренный митрополитъ не зналъ что отвѣчать.

— На! — обратился упрямецъ къ близъ-стоявшему монаху, подавая ему посохъ: — отвези великому государю... А мой посохъ — вонъ! (онъ указалъ на комету). Я съ нимъ пойду по землѣ и всю російскую землю вымету начисто...

Онъ сдѣлалъ знакъ рукою, и поѣздъ двинулся въ путь.

III.

Авванумъ въ царицыныхъ палатахъ.

Въ этотъ самый вечеръ, когда Никонъ, уѣзжая изъ села Чернева въ ссылку, грозился, что вмѣсто посоха Петра митрополита возьметъ въ руки божественную метлу — комету — и ею вымететъ русскую землю, — въ это время въ Москвѣ, во дворцѣ, на половинѣ царицы Маріи Ильиничны, рядомъ съ царицыною мастерскою палатою, въ покояхъ ближнихъ боярынь Феодосьи Прокопьевны Морозовой и княгини Авдотьи Прокопьевны Урусовой, которыя были родныя дочери Прокопья Феодоровича Соковнина, вѣдавшаго царицыну мастерскую палату, находился рѣдкій гость — мужчина. По тому времени на женскую половину допускались весьма немногіе мужчины — ближайшіе родные, духовники, святоши да юредивые.

Гость, сидѣвшій въ покояхъ Морозовой и Урусовой, былъ попъ, судя по его одѣванію и наружности. Это былъ высокій, широкоплечій мужчина съ длинною апостольскою сѣдою бородою и такими же сѣдыми курчавыми волосами, съ длиннымъ, тонкимъ, красиво очерченнымъ носомъ, съ сѣрыми большого разрѣза и длинными глазами и низенькимъ лбомъ, на который красиво падали сѣдые кудерьки, — точь-въ-точь святительскій ликъ, какіе можно видѣть на старинныхъ иконахъ суздальскаго письма. Сѣрые, съ длиннымъ разрѣзомъ и длинными рѣсницами глаза смотрѣли ласково и повременамъ зажигались прекраснымъ, какимъ-то согревающимъ свѣтомъ. Это были совсѣмъ отроческіе глаза подъ сѣдыми бровями.

Боярыни, у которыхъ этотъ бросающійся въ глаза старикъ сидѣлъ въ гостяхъ, смотрѣли еще совсѣмъ молоденькими. Онѣ были одѣты совсѣмъ одинаково: въ черныя, съ малиновыми по переду и по подолу разводами, сарафаны и въ темно-малиновыя съ золотыми разводами душегрѣи. И лицомъ онѣ походили одна на другую, только старшая изъ нихъ на видъ была покруглѣе лицомъ и всѣми формами: немножко вздернутые вверхъ носики, большіе, голубые, съ наивно-дѣтскимъ выраженіемъ, глаза и круглые подбородки съ ямочками — все это было одного пошиба и смотрѣло одинаково мягко и симпатично.

Онѣ сидѣли у покрытаго ковромъ стола, на которомъ находился большой серебряный подносъ, а на немъ разсыпанъ жемчугъ и разноцвѣтный бисеръ. Онѣ усердно подбирали жемчугъ и бисеръ, повременамъ какъ бы замирали, слушая своего гостя и поднимая на него отъ работы изумленные, нерѣдко испуганные глаза, и снова наклонялись надъ работою. Тутъ же стояла у стола маленькая, лѣтъ девяти-десяти, бѣлокуренькая дѣвочка и, торопливо выбирая съ блюда самыя крупныя жемчужины, панизовывала ихъ на красную нитку. Она часто смотрѣла на сѣдого гостя своими большими, удивленными глазами, какъ бы не вѣря тому, что тотъ рассказывалъ, и, ровня иногда жемчужину на блюдо, нетерпѣливо топала ножкой.

— И какъ я, свѣтики мои миленькія, подалъ эти выписки о сло-

женіи перстовъ, меня и велѣлъ схватить оный Никонишко,—монотонно говорилъ сѣдой гость, поглаживая свою бороду.—Взяли меня, свѣтики мои, отъ всенощной, прямо изъ церкви, а со мной захватили и стрѣльцовъ человѣкъ до шестидесяти. Ихъ-то, дѣтушекъ моихъ, въ тюрьму отвели, а меня на патріарховъ дворъ на цѣпь посадили на ночь, яко медвѣдя. Когда же разсвѣтало, посадили меня на телѣгу, растянули руки, точно распяли, и везли отъ патріархова двора до Андроньева монастыря, и тутъ на цѣпи, что собаку, кинули въ темную-претемную палатку—вся въ землю ушла, сыра и холодна, какъ могила. И сидѣлъ я тамъ, свѣтики мои, три дня, во тьмѣ кромѣшной, не ѣлъ не пилъ, да и не давали ничего. И сидя тамъ, я молился на цѣпи и кланялся съ цѣпью—не знаю на востокъ, не знаю на западъ поклоны клалъ... а цѣпь-то звенить, цѣпь то плачетъ ко Господу! Никто ко мнѣ туда не приходилъ, токмо мыши да черные тараканы, да сверчки и день, и ночь кричатъ. И въ третій день прилченъ я бысть, сирѣчь ѣсть захотѣлъ, отощаль,—и оле чудо!—ста предо мною не вѣмъ ангелъ, не вѣмъ человѣкъ и по сіе время не знаю, ста предо мною въ потемкахъ, молитву сотворилъ и, взявъ меня за плечо, съ цѣпью къ лавкѣ подвелъ, посадилъ, ложку въ руки далъ, хлѣба немножко и штець далъ похлебать—ѣло превкусны хороши, и рекъ ми: „полно! довлѣеть ти ко укрѣпленію“. Да и не стало его: двери не отворились, а его не стало. Дивно только—человѣкъ ли то, али ангелъ? Ино не чему дивиться, ангелу вездѣ не загорожено. То-то ночка была!.. На утро архимандритъ съ братією пришли и вывели меня изъ темницы: журать мнѣ, что патріарху не покорился; а я, свѣтики мои, отъ писанія браню его да лаю. А тамъ поволокли меня въ церковь и въ церкви-то за волосы драли, подъ бока пинками толкали, за цѣпь торгали и въ глаза плевали... А я, свѣтики мои, радуюсь: какъ клоть-отъ волосъ выдерутъ, а я думаю себѣ: „вѣнецъ-де нетлѣнный плетутъ мнѣ;“ а цѣпь звенить—то райскія птички поютъ: таково-то сладко на душѣ было!

Онъ остановился, какъ бы припоминая что. Слушательницы тихо позвякивали жемчугомъ, боясь проронить слово.

— Въ ту пору, свѣтики мои,—продолжалъ гость, — взяли и Логина, протопопа муромскаго. Въ соборѣ, при самомъ государѣ, остригъ его Никонъ въ обѣдню—то-то знатную цирульню изъ храма сдѣлалъ! Во время переноса, оный цирульникъ Никонъ снялъ съ головы у архидіакона дискосъ и поставилъ на престолъ съ тѣломъ Христовымъ и съ чашею. А когда остригли Логина, то содрали съ него и однорядку, и кафтанъ — точно разбойники! Логинъ же разжегся ревностію божественнаго огня, шибко, на весь соборъ, порицалъ Никона и черезъ порогъ въ алтарь въ глаза ему плевалъ; а потомъ, распоясався, и рубашку съ себя сдернулъ да голый, въ чемъ мать родила, портками прикрышисъ, ту рубашку въ алтарь въ глаза Никону бросилъ... И чудно! растопорся рубашка, и покрыла на престолѣ дискосъ, будто воздухъ... И въ ту пору, свѣтики мои, и царица въ церкви была...

— Въ ту пору, батюшка, и я съ царицей была тамъ,—тихо сказала княгиня Урусова, вся красная, не поднимая головы.

— Была, миленькая, и чудо видѣла?—встрепенулся гость.

— Нѣтъ, я тогда горько плакала, за слезами ничего не видала.

— Жаль, жаль... Такъ вотъ, свѣтики мои, остригши Логина, возложили на него цѣпь тяжелую, лошадиную и, таща изъ церкви, били метлами и шелепами до самаго Богоявленскаго монастыря, а народу-то, народу-то что на улицѣ! И кинули его тамъ въ палатку, въ темницу, и стражу поставили. И что же бы вы думали! Въ ту ночь Богъ ему шубу новую да шапку даль...

— Богъ шапку и шубу даль?—встрепенулась бѣлокуренькая дѣвочка, подходя къ старику и глядя своими большими изумленными глазами въ его глаза.

— Даль, миленькая царевна, Софѣй-премудрость Божія!—ласково сказалъ старикъ, любуясь дѣвочкой.—У Бога все возможно... Вонъ, когда на утро и Никонишкѣ рассказали объ этомъ, такъ онъ, размѣявся, аки пьяница на кружечномъ дворѣ, сказалъ: „Знаю, су, я пустосвятотѣ тѣхъ!“—и шапку у него отнялъ, а шубу оставилъ прикрытія наготы ради.

— А въ Сибири, отецъ, тяжело было жить?—спросила Морозова.

— И тяжело, и сладко, миленькая моя... Исходилъ я всю ее, студеную-то сторонку сибирскую. Былъ и въ Tobольскѣ, и въ Енисейскѣ, и вездѣ-то за мной по пятамъ шла злоба Никонова. Мало ему было Енисейска, велѣлъ послать меня въ Даурію съ енисейскимъ воеводою Аванасемъ Пашковымъ. Ужъ и лютъ же былъ до меня оный Пашковъ, да Богъ ему, Аванасю, простить. Вышли мы изъ Енисейска съ полкомъ казаковъ, въ шести-стахъ, водою, на дощеникахъ. Ужъ и нагерпѣлись же мы тамъ: не одинъ ковшъ горя выпили и не одно ведро слезъ пролили. Однава ѣхали мы по большой Тунгускѣ-рѣкѣ, и въ ту пору встала буря, и погрузило бурю въ воду дощеникъ мой—совсѣмъ налилсѣ среди рѣки полонъ воды и парусъ изорвало; остались надъ водою однѣ палубы, а то все въ воду ушло. Жена моя на палубы изъ воды дѣтокъ-ребятотъ кое-какъ повытаскала, мечется простоволоса, а я, на небо глядя, кричу: „Господи, спаси! Господи, помози!“ А Богъ-отъ молитву людскую слышитъ и козявочку маленькую подъ листочкомъ видитъ и бережетъ,—и ухо Его святое вездѣ, и рука его благая повсюду... И волею Божіею прибило насъ къ берегу; Богъ берегъ меня, свою козявку бѣдную. Богъ берегъ, такъ Пашковъ, въ угоду Никону, души моей искалъ. Валутовался онъ на меня крѣпко, сталъ изъ дощеника выбивать: „для-де тебя дощеникъ худо идетъ, еретикъ-де ты, поди-де по горамъ, а съ нами не ходи“. Страхъ меня оковалъ тутъ: горы высоки до небесъ; дебри непроходимыя; утесъ каменный, яко стѣна стоять, а поглядѣть на него, заломя голову, такъ шапка валится... А въ горахъ тѣхъ змій великіе живутъ... И чего-то тамъ нѣтъ! А все не такъ, какъ у насъ на Руси: тамъ и гуси, и утицы—періе красное, и вороны сѣрыя и галки черныя; тамъ и орлы невиданные, и соколы див-

ные, и кречеты, и курята индѣйскія, и бабы, и лебеди, и инныя дикія, многое множество, птицы разныя. А звѣрей-то тамъ — и числа, и имени имѣ нѣту: козы дикія, и олени съ оленцами малыми бѣгають, и зубры велие, и лоси, и кабаны — клыкомъ зубра прошибають, и волки, и бараны дикіе воочію бродять, а взять нельзя. На тѣ-то горы выбиваль меня Ааванасій, со звѣрьми рыскать, да со птицами витать. Такъ я ему малое писаньице написалъ. „Человѣче! говорю: убойся Бога, сидящаго на херувимѣхъ и взирающаго на бездны, его же трепещуть небесныя силы и вся тварь со человѣки, — единъ ты презираешь Его...“ Послалъ къ нему. А и бѣгутъ человѣкъ съ пятьдесятъ казаковъ: взяли мой дощеникъ и помчали къ нему; а я казакамъ кашки наварилъ да кормлю ихъ; а они, бѣдные, и ѣдятъ, и дрожатъ, а иные, глядя на меня, плачутъ — жалко имѣ меня. Привели дощеникъ. Взяли меня палачи, привели предъ него. Онъ со шпагою стоитъ и дрожить весь отъ злобы. „Попъ ты или распотъ?“ кричить. — „Азъ есмь Аввакумъ, говорю, протопопъ“. Онъ же рыкнулъ, яко звѣрь дивій, и ударилъ меня по щекѣ, да по другой, да въ голову, и сбилъ меня съ ногъ, да, ухватя цѣпь, лежачаго по спинѣ, а потомъ, раздѣвши что липку, по той-же спинѣ семьдесятъ два раза. А я подъ кнутомъ-то молюсь: „Господи! помогай мнѣ“. А ему горько и досадно, что не говорю: „попадаи“. Стащили меня потомъ еле жива, въ казенный дощеникъ, сковали и руки и ноги и на бѣть кинули. Осень въ ту пору стояла глубокая; дождь на меня лилъ всю ночь, — подъ капелью лежалъ хуже пса... Какъ били кнутомъ-то, такъ не больно было съ молитвою-то; а тутъ, лежа подъ дождемъ, заплакалъ до Бога. Да и какъ было не плакать! Всѣ кости-тѣ щемью щемять; жилы-тѣ клещами тянуть; все сердце во мнѣ съ тѣломъ издрожалось, и я помирать сталъ... Увидали это казаки, плеснули мнѣ въ ротъ водицы — ожилъ, отошелъ... На утро кинули меня въ лодку и везли дальше. Привезли къ порогу Падуну — страшенъ тотъ порогъ, зѣло крутъ; гребень во всю рѣку, — только воротца малыя: что въ воротца не попало, ино въ щепы растрочить и размететь. Привезли меня подъ порогъ; со всего неба, кажись, дождь и снѣгъ собрался на меня, а у меня на плечахъ одинъ кафтанчикъ; льетъ вода и по спинѣ, и по брюху, — углебоша воды до души моей... О! таково нужно было... Привезли потомъ меня въ Братскій острогъ и въ тюрьму кинули, — благо соломки дали. Въ тѣ поры тамъ зима злая живеть, — а меня Богъ и безъ платя грѣлъ: что собачка на соломкѣ лежу, о далекой Москвѣ вспоминаю; коли накормятъ, коли нѣтъ, лежу да думаю... А тутъ эти мыши покою не даютъ, и я ихъ, бывало, скуфьею билъ — и батожка мнѣ дурачки не дали... Все на брюхѣ лежалъ; спина гнила, — да что о томъ вспоминать!

А молодыя боярыни, повидимому, все усердѣе и усердѣе работали надъ своими жемчугами, только подчасъ выступавшія на щекахъ пунцовыя пятна да дрогнувшая рука обнаруживали ихъ внутреннее волненіе. Маленькая царевна Софьюшка также вся превратилась въ слухъ.

— На весну паки поѣхали впередъ; все далѣ и далѣ, — къ самому,

кажись, концу свѣта,—продолжалъ, немного помолчавъ, гость.—Дорогой все испроѣли и совсѣмъ обносились,—мало душу не износили въ лохмотья. И вдругорядъ тонуть я на Байкаловѣ морѣ, только Богъ вынесъ изъ пучины морской. А море-то, миленькіе мои, у какое свирѣпое было! Словно звѣри сѣдые да косматые ходили по немъ да рыкали. А послѣ Байкалова моря по Шилкѣ шли; тутъ Пашковъ заставилъ меня лямку тянуть. Что-жъ! и тянулъ.—Чѣмъ я лучше другихъ? А зѣло трудно и нудно было—и ноѣсть было неколи, да и нечего, не то чтобы спать. Цѣлое лѣто мучились отъ водяныя тяготы; люди, что мухи, гибли, а у меня и животъ, и ноги сини были—какъ и вынесъ! Два лѣта такъ-то бродили на водахъ, мерли да синѣли, а зимами черезъ волоки волочились. И на той Шилкѣ я въ третій разъ тонуть, да все не утонулъ: оторвало мою барчонку отъ берега водою, ухватило да и понесло; жена и дѣти на берегу остались—плачутъ, руки къ небу возносятъ, хотять до неба докричать; а меня съ кормщикомъ помчало—словно щенку насъ буря подхватила... Переворачиваетъ, это, нашу барочку вверхъ и боками, и дномъ, треплетъ, а я по ней ползаю, что козявочка, да кричу: „Владычице, помози!“ Иное ноги въ водѣ, а иное выползу наверхъ! Гнало съ версту и больше, да люди у смерти отняли, —только все размыло до крохи. Да и крохъ-то этихъ было не густо. А что станешь дѣлать, коли Христосъ да Пречистая Богородица изволили такъ? Ихъ воля. Я-то, вышедъ изъ воды, смѣюсь — радъ, что живъ, а люди-тѣ плачутъ, платѣ мое по кустамъ развѣсивши. А Пашковъ опять меня же хочетъ бить — мало ему, благо зажила спина. „Ты-де, вопить волкомъ, самъ надъ собою дѣлаешь на посмѣхъ!“ Я-то самъ топлю себя! И я опять Богородицѣ-свѣту докучать: „Владычице! уймй дурака того!“ Такъ она, надежа, уняла—жалко меня стало. Потомъ доползли до Иргеза озера. Волокъ тутъ большой, стали зимою волочиться—волами подѣлались. Пашковъ отнял у меня работниковъ, такъ я одинъ уже и помаялся: дѣтишки маленьки, ѣдаковъ много, хотъ и малы рта, а работникъ одинъ я, горемыка-протопопъ; нарту самъ себѣ стюкалъ топорикомъ, уложилъ дѣтокъ да протопопицу—и волоку. А доволокъ, помогла Всепѣтая. А тамъ и весна тепленька гляннула: птички запѣли; травка зазеленѣла; рѣчушки прошли,—такъ мы по Ингодѣ рѣкѣ и поплыли на низъ—четвертое лѣто отъ Тобольска плаванію моему и плаканію—вслась наплакался. Тамъ лѣсъ гнали хоромной и городской—остроги ставили: Иркутскъ, Нерчинскъ, Албазинъ—много остроговъ нагородили. И стало ѣсть нечего: люди учили съ голоду пухнуть да помирать, да отъ работныя водяныя бродни погибать. О-и-хи-хи! Рѣка мелкая; плоты тяжелые; приставы немилостивые; палки большія; батоги суковатые; кнуты острые; пытки жестокиа—огонь да встряска, — люди голодные: лишь стануть мучить, ано и умереть... Ахъ, времени тому! не знаю, какъ и умъ отъ меня не отступился. А отъ Пашкова оня ушелъ—да и былъ ли, полно? На Нерчѣ рѣкѣ живучи, съ травою перебиваючися, голодомъ помирая, а оня все лютуетъ, все ему мало. Осталось насъ малое мѣсто, которые не перемерли, и мы, отай отъ него,

по полямъ да по степямъ скитающесе, что кроты коренья копали. А пришла зима—сосну грызли, аки зайцы, а иное и кобылятинки Богъ дастъ, либо кости находили звѣрей, что волки зарѣзали, и что волкъ не доѣсть, мы доѣдимъ; а то и самыхъ озяблыхъ волковъ да лисицъ ѣли и всякую скверну. Кобыла жеребенка родить, а голодные отай и жеребенка, и мѣсто скверное кобылье съѣдятъ. А Пашковъ свѣдалъ—и кнутомъ до смерти забить. И кобыла умерла—все изводъ взялъ, понеже не по чину жеребенка того вытащили: лишь голову появилъ, а они и выдернули да почали черовъ скверную ѣсть. Охъ, времени тому! И самъ я, грѣшный, волею и неволею причастникъ тѣмъ кобылымъ и мертвечьимъ сквернамъ и птичьимъ мясамъ. Увы, грѣшной душѣ моей, юже азъ погубилъ житейскими сластями! Охъ, времени тому страшному!

— О-охъ!—вырвался страстный стонъ изъ груди Морозовой.

Молодая боярыня бросилась передъ Аввакумомъ на колѣни и, схвативъ его руку, покрывала ее поцѣлуями.

— Батюшка! свѣтъ ты нашъ—мученикъ Христовъ!—шептала она страстно.

Аввакумъ всталъ въ сильномъ волненіи и силился приподнять молодую боярыню, которая цѣловала его рясу, а потомъ припала къ ногамъ.

— Господь съ тобой, дочушка моя во Христѣ, бедосьюшка милая, свѣтикъ мой!—бормоталъ онъ растерянно, радостно, сились приподнять молодую женщину.—Встань, дитя божье!

— О-охъ свѣтъ нашъ-учитель! Дай мнѣ, грѣшницѣ, ноги твои святые слезами омыть и косою моею мерзкою вытереть,—шептала боярыня, ломая свои пухлыя ручки.

Аввакумъ приподнялъ ее, бережно прижалъ ея голову къ своей груди и дрожащею рукою крестилъ плачущую женщину.

— Господь надъ тобой, дочушка! Ангелы осыни тебя чистые! Успокойся, дитятко!—ласково говорилъ онъ, усаживая ее.

Княгиня Урусова также вслипывала, припавъ головой къ столу. Маленькая царевна стояла вся красная, готовая заплакать.

Морозова сѣла. Грудь ея сильно поднималась подъ малиновой душегрѣею; губы дрожали. Аввакумъ съ трудомъ пришелъ въ себя.

— Разбередилъ я васъ, старый дуракъ, миленькія мои—простите!—говорилъ онъ въ волненіи.—И что жъ, свѣты мои, гляючи на васъ, скажу: ближе къ Богу жена стоитъ нежели мужъ. Ей-такъ! ей-ей, вонистину такъ! Не даромъ Господь жену создалъ изъ ребра мужчины, а мужа изъ персти земной, изъ грязи. Тѣмъ и выше жена мужа и чище его духомъ и тѣломъ. Не вы первыя, свѣтики мои, не вы послѣднія примѣръ тому: ужъ коли женщина вѣрить, такъ ея вѣра—адамантъ крѣпокъ и сила въ ней несокрушимая. Вотъ хоть бы обо мнѣ сказать: когда мы помирали голодною смертію въ даурской далекой сторонѣ и пытались скверною всякою, мертвечиною и сосною, насъ отъ смерти спасли жены воеводскія: жена онаго Асая Пашкова, Фекла Семеновна, болярыня, да болярыня воеводская

сноха, Авдотья Кирилловна, онъ намъ отъ смерти голодной тайно давали отраду: безъ вѣдома его, Аванасья, приплотъ иногда кусокъ мяса, иногда колобокъ, иногда мучки и овсеца, сколько сойдется—четверть пуда, и грибенку-другую, а иногда и полпудика накопить и передать, а иногда у куровъ корму изъ корыта нагребуть да намъ на обѣдъ либо на ужинъ приплотъ. А разъ и курочку живую дали. Черненькая была курочка, хохлатенькая и въ штанишкахъ, говорунья такая—все бывало каждое утречко „коко-коко! коко-коко!“ Анъ глядь—два яичка снесла, да такъ по два яичка на день и приносила робяти нашему на пищу, божіимъ повелѣніемъ нуждѣ нашей помогая: Богъ такъ строилъ. Да увы! на нартѣ везучи въ то нужное время, удавили ее по грѣхотъ нашимъ, не доглядели. И плакали по ней, гораздо поплакали. И нынѣ жалъ мнѣ курочки той, какъ на разумъ, голубушка, придеть. Не то курочка, не то чудо было отъ Бога: во весь годъ по два яичка давала—сто рублей при ней шиюново дѣло! Жалѣю... И та курочка, одушевленное божіе твореніе, насъ кормила, и сама съ нами кашку сосновую изъ котла тутъ же клевала, или и рыбка прилучится, и рыбку клевала и намъ противъ того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая! И не просто она намъ досталася. У боярыни той воеводиши куры всѣ переслѣдили и мереть стали, такъ она, собравши въ коробъ, ко мнѣ ихъ прислала: чтобъ-де батюшко пожаловалъ—помолился о курахъ. И я подумалъ: кормилица, то есть, наша, дѣтки у нея, надобны ей куры. Да молебень пѣлъ; воду святилъ, куровъ кропилъ и кадилъ; потомъ въ лѣсъ сбродилъ, корыто имъ одѣлалъ, изъ чего ѣсть, и водою покропилъ, да къ ней все и отослалъ. Курки божіимъ мановеніемъ исцѣлѣли и исправились по вѣрѣ ея, боярыни. Отъ того-то племени и наша курочка была. Да полно того говорить—у Христа не сегодня такъ повелось. Еще Косма и Даміанъ чело-вѣкомъ и скотомъ благодѣтели ствовали и цѣлили о Христѣ. Богу вся надобна: и скотинка, и птичка во славу Его пречистаго Владыки, еще и чело-вѣка ради. А все жалъ курочки той...

Вдругъ послышалось тихое, сдержанное всхлипыванье. Поглощенные разсказомъ Аввакума, мысленно бродившія съ нимъ по далекой, невѣдомой даурской землѣ и по Нерчѣ рѣкѣ, молодыя боярыни не замѣтили, какъ маленькая царевна, тоже жадно слушающая страннаго старичка и не спускавшая съ него своихъ большихъ изумленныхъ глазъ, припавъ своей бѣлокурой головкой къ колѣнямъ княгини Урусовой, тихо плакала.

— Что съ тобой, солнышко царевна? Объ чемъ ты изволишь плакать?—встревоженно спрашивала молодая княгиня, приподнимая съ своихъ колѣнъ заплаканное личико Софьюшки-царевны.

Дѣвочка не отвѣчала, только розовыя губки ея снова складывались, чтобы заплакать пуще прежняго.

— Христосъ надъ тобой, солнышко свѣтлое! Объ чемъ плакынькаешь?—допрашивали ее обѣ сестры боярыни.—А? повѣдай намъ—объ чемъ?

— Жалко, — отвѣчала дѣвочка, силясь сдержать слезы и какъ бы глотая ихъ.

— Кого жалко, золотая?

— Курочку жалко...

— А!.. курочку!..—все улынулись.—Что жъ теперь плакать объ ней? Вонъ мы не плачемъ...

— Нѣтъ, и вы плакали.

— Мы плакали о батюшкѣ, объ отцѣ Аввакумѣ, какія онъ тамъ муки терпѣлъ... А тебѣ батюшку жалко? а? Скажи, золото червонное.

Дѣвочка посмотрѣла на Аввакума. Тотъ ласково улыбался ей.

— Что меня, стараго-то ворона, жалѣть, осударыня царевна!—сказалъ, онъ, подходя къ ней и крестя ея головку.—Я войъ живъ—брожу, а курочка-то умерла. .

Въ это время въ комнату вошла, переваливаясь, какъ не въ мѣру накушавшаяся утка, полная, съ ожирѣвшимъ лицомъ и мѣшковатымъ подбородкомъ, пожилая женщина. Заплывшія жиромъ глазки чуть-чуть выглядывали изъ своихъ щелей, словно тараканы.

Женщина, увидавъ Аввакума, тотчасъ подошла къ нему подъ благословеніе. Тотъ осѣнилъ ее истово, двуперстно, изобразивъ изъ своихъ пальцевъ сорочій хвостъ.

— Я-то, старая, царевну ищу, а моя царевна вонъ гдѣ,—заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяикамъ въ поясъ.—Она, моя голубушка, знаетъ, гдѣ коломенской пастилой кормятъ.

— Нѣту, мамушка, я не ѣла пастилы,—отвѣчала дѣвочка.

— Ахъ мы, скверныя!—спохватилась Морозова,—заслушались слова Божія, а о пастилѣ-то и забыли... А намъ свѣженькой, двухсоюзной прислалъ милый княжичъ нашъ, Васенька Голицынъ. Сбѣгай, Дукоша, принеси... и батюшку попотчуетъ, какъ та курочка черненька, хохлатенька.

— Ахъ вы, курочки мои золотыя, балуете старика, — любовно говорилъ Аввакумъ, провожая глазами Урусову.

— А никакъ ты, царевнушка, плакынькала? — сказала толстая мамушка, вглядываясь въ глаза дѣвочки.—Объ чемъ слезки жемчужны?.. а?

— Объ курочкѣ, какъ курочку задавили...

— Это я, старый воронъ, каркалъ... раскивилилъ царевну, — вмѣшался Аввакумъ.—Курочка у меня въ Сибири была.

— Осударыня царевна!—послышался вдругъ молодой звонкій голосъ въ дверяхъ:—осударыня царица приказала тебя кликать—учитель пришелъ.

Это была молоденькая дворская сѣнная дѣвушка съ розовыми щеками.

— Какой учитель?—встрепенулся Аввакумъ, обращаясь къ маленькой царевнѣ.

— Симеонъ Ситіановичъ,—бойко отвѣчала дѣвочка.

— А! Симеонъ Полоцкій... хохоль... умникъ бѣлорусскій,—брезгливо замѣтилъ Аввакумъ.—Чему же это онъ учитъ тебя, государыня царевна?

— И письму, и цифири, и великимъ хитростямъ,—быстро заговорила

дѣвочка:—псалтырь виршами, и небо мнѣ показывасть, и планиды... есть планида Кронъ, есть планида Ермій, а звѣзды веществомъ чисты, образомъ круглы, количествомъ велики, явленіемъ малы, качествомъ свѣтлы, а земля черна и кругла—она есть кентръ всего міра...

Дѣвочка заклебывалась отъ торопливости, желая разомъ выложить всѣ свои знанія. Лицо ея разгорѣлось, глаза блестя. А Аввакумъ, слушая ее, только головой качалъ.

— Ну, научать добру эти хохлы, научать...

IV.

Стенька Разинъ у Никона.

Тяжелое, очень тяжелое было это время — шестидесятые годы XVII столѣтія, къ которымъ приурочивается наше повѣствованіе, — такое тяжелое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину святая Русь, хотя она уже и вынесла на себѣ и двухсотлѣтнее татарское ярмо, и лихолѣтье „смутнаго времени“, и великое моровое повѣтріе; въ эти тяжелые шестидесятые годы руская земля раскололась на-двое—разорвалось на-двое русское народное сердце, на-двое расщепилась, какъ вѣковое дерево, русская народная мысль, и самая русская жизнь съ этихъ несчастныхъ годовъ потекла по двумъ теченіямъ, одно другому враждебнымъ, одно другое отрицающимъ.

И раскололъ русскую землю и русскую жизнь на-двое не Никонъ, которому приписываютъ это расчлененіе великаго царства раскольники, и не Аввакумъ, котораго исторія считаетъ первымъ заводчикомъ такъ называемаго „раскола“ или „старообрядчества“, — нѣтъ, клиномъ, расколовшимъ русскую землю и русскую мысль на-двое, былъ просто типографскій станокъ—это величайшее измышленіе человѣческаго ума,—станокъ, привезенный въ Москву тѣми, которыхъ батюшка Аввакумъ называлъ „хохлами“, и о которыхъ онъ говорилъ маленькой царевнѣ Софьюшкѣ, что они „научать добру“...

Дѣло было такъ. Привезли „хохлы“ въ Москву этотъ пагубный станокъ, устали на печатномъ дворѣ, и началось въ Москвѣ печатанье церковныхъ, богослужебныхъ и иныхъ душевспасительныхъ книгъ. А до этой поры на Москвѣ и по всей русской землѣ были книги писанныя. Въ писанныхъ книгахъ, само собою разумѣется, было много описокъ, неточностей, разнорѣчій: по одному списку въ символѣ вѣры значилось—„его же царствія не будетъ конца“, а по другому—„нѣтъ конца“, въ одной книгѣ объ Иисусѣ Христѣ говорится—„рождена, несотворенна“, а въ другой — „рожденна, а не сотворенна“, и въ виду этого разнорѣчія одни принимали этотъ азъ, а другіе отменяли его. Было много и другихъ подобныхъ спорныхъ вопросовъ. Типографскій станокъ долженъ былъ примирить всѣ эти споры: печать намѣрена была держаться чего-либо од-

ного — и она нашла этот *азъ* излишнимъ. Люди, привыкшіе слышать отъ купели своей въ символѣ вѣры этотъ *азъ*, возстали за него.

— Намъ всѣмъ православнымъ христіанамъ, — говорили эти сторонники *аза*, — подобаетъ умирать за одинъ *азъ*, его же окаянные враги (это „хохлы“) извергли изъ символа тамъ, идѣ же глаголется о Сынѣ Божіемъ Іисусѣ Христѣ — „рожденна, а не сотворенна:“ велика зѣло сила въ семъ *азѣ* сокровена.

Къ сторонникамъ *аза* принадлежалъ и знакомый уже намъ благообразный старецъ, протопопъ Аввакумъ, вынесшій ужаснѣйшія семь лѣтъ ссылки въ Дауріи и рассказывавшій въ предыдущей главѣ нашего повѣствованія о своихъ страданіяхъ въ сибирской сторонѣ боярынямъ Морозовой и Урусовой и маленькой царевнѣ Софьюшкѣ.

Когда „хохлы“ привезли въ Москву типографскій станокъ, то въ чистѣ „сиравщиковъ“ къ нему былъ приставленъ и Аввакумъ, или, говоря современнымъ языкомъ, Аввакумъ назначенъ былъ однимъ изъ редакторовъ для печатанія на Гуттенберговскомъ станкѣ церковныхъ книгъ; но когда Никонъ, подѣ влияніемъ образованныхъ „хохловъ“, въ родѣ Епифанія Славинецкаго, и хитрыхъ грековъ, въ родѣ Арсенія, началъ коренное исправленіе въ печати богослужебныхъ книгъ, и когда благочестивый Аввакумъ съ товарищами объявили, что за *азъ* они скорѣе умрутъ, чѣмъ позволять выбросить его въ корректурѣ символа вѣры, и при этомъ не послушались рѣшенія цѣлаго совѣта, или собора святителей, то ихъ и подвергли разнымъ наказаніямъ и ссылкамъ.

Затѣмъ, когда упрямый и властолюбивый Никонъ, въ гнѣвѣ на царя, оставилъ патріаршій тронъ и удалился въ свой монастырь, сторонники *аза* въ большинствѣ случаевъ были возвращены изъ ссылки. Возвращенъ былъ изъ Сибири и Аввакумъ. И вотъ послѣ этого мы и видѣли его въ бесѣдѣ съ Морозовою и Урусовою въ вечеръ вторичнаго возвращенія Никона изъ Москвы въ свой монастырь.

Это и есть начало раскола въ русской землѣ, величайшее въ исторіи внутренняго развитія русскаго народа событіе совершилось такимъ образомъ изъ-за простой *корректурѣ*, вызванной все тѣмъ же пагубнымъ станкомъ Гуттенберга.

Такія мысли, какъ волны подѣ давленіемъ порывистаго вѣтра, обуревали посѣдѣвшую голову Никона, когда онъ, на другой день послѣ неудачной поѣздки въ Москву, стоялъ во время обѣдни въ своей Воскресенской церкви и прислушивался къ монотонному чтенію иподіакономъ апостола.

— „Литеры малыя, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложеніе — эку бурю подняли оныя литеры! — на весь міръ буря... А все сей станокъ печатный“...

Такъ безсвязно думалъ онъ, напрасно сился вслушаться въ чтеніе иподіакона. Какъ измѣнился онъ со вчерашняго дня! Словно бы выдержалъ необыкновенный постъ или тяжкую болѣзнь.

Но, какъ онъ ни былъ занятъ своими думами, онъ не могъ не замѣ-

тѣхъ какого-то неизвѣстнаго человѣка, который стоялъ у праваго клироса передъ изображеніемъ Спасителя, несущаго крестъ, и горько плакалъ. По виду онъ не казался москвичемъ, да и костюмъ его отличался отъ обыкновеннаго московскаго платья. Никону видѣлся нѣсколько его профиль съ характернымъ широкимъ носомъ, подстриженный довольно высоко, толстый, какъ у вола, затылокъ; такая же шея и широкія плечи; вся коренастая, невысокая фигура его казалась крѣпкою, точно выкованною молотомъ на наковальнѣ.

Всю обѣдню незнакомецъ молился и плакалъ: Никонъ видѣлъ, какъ онъ припадалъ головою къ полу, долго не поднимать ея, и какъ при этомъ вадрагивали отъ плача его могучія плечи.

— „А, должно, большое горе на душѣ у него“,—невольно думалось патриарху: ему самому, разбитому и поруганному, понятнѣе теперь становилось всякое человѣческое горе.

Послѣ обѣдни незнакомецъ подошелъ къ нему подъ благословеніе; необыкновенно добрые и, повидимому, робкіе, съ какою-то скрытою, неуловимую мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатлѣніе. Въ глазахъ этихъ было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, въ которой сказывалась сила.

— Ты не здѣшній? — спросилъ его Никонъ, поднимая правую руку для благословенія.

— Не здѣшній, великій государь владыко, — смѣло отвѣчалъ незнакомецъ.

— Не называй меня великимъ государемъ, — остановилъ его патриархъ:—прошло мое государствованіе.

Незнакомецъ смотрѣлъ на патриарха, повидимому, не вполне понимая его.

— Я токмо патриархъ, а не великій государь,—продолжалъ Никонъ съ дрожью въ голосъ:—великій государь у насъ одинъ — царь Алексѣй Михайловичъ... А ты откуда и кто таковъ родомъ?

— Я съ Дону казакъ, святой владыко, Степаномъ называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванію Разиннымъ... Былъ на Донѣ на атаманствѣ, а теперь иду молиться—душу спасти.

— Доброе дѣло,—сказалъ патриархъ, и благословилъ его.—Куда жъ ты идешь молиться?

— Кланялся я на Москвѣ московскимъ святителямъ, а теперь иду поклониться соловецкимъ, да къ тебѣ, великій патриархъ, зашелъ просить твоего благословенія всему тихому Донѣ.

— Благое твое намѣреніе,—ласково и задумчиво сказалъ Никонъ:—я радъ тебѣ, Степанъ, заходи ко мнѣ, я съ тобою поговорю.

Разину на видъ казалось лѣтъ около пятидесяти, а можетъ быть и меньше. Въ широкой, окладистой бородѣ его серебрилась рѣзкая просѣдь. Невысокій лобъ разрѣзывался надвое длинною характерною морщиною. Лобная кость казалась сильно выдавшеюся надъ глазами. Въ выраженіи лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое.

Патріархъ вышелъ изъ церкви, а Разинъ остался, чтобы приложиться къ иконамъ и отслужить панихиду по новопреставленной рабѣ божіей дѣвицѣ Дарѣ. За панихидой онъ плакалъ еще неутѣшнѣе, чѣмъ за обѣдней. Кто была эта новопреставленная Даря—это зналъ одинъ только Стенька.

Послѣ панихиды къ нему подошелъ посланный отъ патріарха — это былъ его неразлучный крестоносецъ, Иванушка Шущера—и позвалъ въ патріаршіи кельи.

Никонъ писалъ что-то, когда ввели къ нему Разина. Патріархъ указалъ ему мѣсто на скамьѣ, а самъ остался въ креслѣ съ высокою спинкою, на которой вышитъ былъ малиновый крестъ, какъ бы осѣнявшій голову патріарха.

— Я радъ тебя видѣть, Степанъ,—снова сказалъ патріархъ привѣтливо, вглядываясь въ красивые глаза гостя.—Что у васъ на Дону слышно?

— Слуховъ у насъ, владыко святой, ходитъ не мало, а все больше слухи московскіе,—отвѣчалъ Разинъ.

— Какіе же такіе московскіе слухи?

— О московскомъ нестроеніи ходятъ слухи — на тебя-де, великаго патріарха, гоненіе неправо отъ бояръ: таковы у насъ слухи.

— И то правда,—сказалъ Никонъ, сверкнувъ глазами: — боярамъ я поперекъ горла сталъ—не давалъ имъ воли, такъ они напели на меня великому государю многія сиплетни безтѣпично, и оттого у меня съ великимъ государемъ оступда учинилась на многіе годы. Я спелъ съ патріаршества, дабы великій государь гнѣвъ свой утолилъ, а они безъ меня пуще распалили сердце государево. Теперь меня, великаго патріарха, хотятъ судить попы да чернецы, да епископы — дѣти собираются судить отца... А у меня одинъ судья—Богъ!

Патріархъ чувствовалъ, какъ раскрывались въ его душѣ свѣжія раны, и голосъ его крѣпчалъ все болѣе и болѣе.

— Теперь я сталъ притчею во языцѣхъ: бояре надо мной издѣвки творятъ, мое имя ни во что ставятъ, изъ Москвы и изъ святыхъ московскихъ церквей меня, великаго своего патріарха, выгоняютъ, аки оглашеннаго; ни меня до царя не допускаютъ, ни царя до меня. Враги мои, не зная надъ собою страха, играютъ святостію, кощунствуютъ. Вонъ теперь Семенко Стрѣшневъ что чинитъ съ своею собакою — и сказать страшно. Онъ, воръ Семенко, научилъ своего пса сидѣть на заднихъ лапахъ, а передними—благославлять!

— Благославлять! Собаку научилъ благославлять!—невольно вскринулъ Разинъ и вскочилъ съ мѣста. Глаза его загорѣлись—онъ въ этотъ моментъ совсѣмъ не походилъ на прежняго, тихаго, съ кроткимъ выраженіемъ глазъ, Разина.—Это бояринъ научилъ собаку?

— Да, бояринъ Стрѣшневъ, на ушкѣ у царя онъ... И называетъ эту собаку Никономъ-патріархомъ—Никонкою... Когда соберутся у него гости, и онъ зоветъ тое собаку: „Никонко! Никонко-патріархъ! поди, благослови

бояръ "... И безсловесный пестъ кощунствуетъ, ругается надъ нами и надъ благословеніемъ божіимъ... Вотъ до чего мы дожили...

Никонъ всталъ и въ волненьи заходилъ по кельѣ, стуча посохомъ.

— Такъ мы трягнемъ Москвою за такое надругательство надъ вѣрою,—мрачно сказалъ Разинъ.

Онъ былъ неузнаваемъ. Прекрасные глаза его остоячились, нежная челюсть дрожала.

— Они хуже бусурманъ,—глухо продолжалъ онъ.—Мы съ нихъ сдеремъ боярскую шкуру на зипуны казакамъ, а то у насъ на Дону голытьба, худые казаки давно обносились.

Онъ какъ бы опомнился и снова моментально ушелъ въ себя, только глаза его вопросительно обратились на патріарха.

— Теперь хотятъ судить меня судомъ вселенскихъ патріарховъ,—продолжалъ Никонъ также нѣсколько болѣе спокойнымъ голосомъ.—Я суда вселенскихъ патріарховъ не отмечаю—ей! не отмечаю! Токмо, за что судить меня? Если за одинъ уходъ съ престола, такъ подобаешь и самого Христа извергнуть—онъ много разъ уходилъ страха ради іудейска... А я шель съ престола, бояся гнѣва царева и козней боярскихъ: они хотѣли многимъ чаровствомъ опонить меня, да и опонили было, только Богъ меня помиловалъ—безуемъ камнемъ да индроговымъ пескомъ отпился отъ того чаровства.

Онъ остановился. Разинъ стоялъ, глубоко опустивъ голову.

— Садись, Степанъ, что ты всталъ?—сказалъ патріархъ, какъ бы намѣреваясь перебить разговоръ.

Разинъ молча сѣлъ и продолжалъ о чемъ-то думать.

— Такъ какъ же, Степанъ, когда ты въ Соловки думаешь идти? —спросилъ Никонъ.

— Пойду нынѣ же, чтобъ къ веснѣ на Донъ воротиться,—отвѣчалъ Разинъ раздумчиво.

— А у насъ не поживешь?

— Поживу, помолюсь, коли милость твоя ко мнѣ будетъ.

— Живи, у насъ мѣсто найдется, и кормъ будетъ.

— Спасибо, святой патріархъ.

Потомъ, немного помолчавъ, Разинъ спросилъ:

— А твое великое благословеніе на Донъ будетъ?

— Я Донъ благословлю иконою,—отвѣчалъ патріархъ.

— А что мы казацкою думою надумаемъ—и то благословишь?

— Коли на добро православнымъ христіанамъ и во славу Божію, то будетъ и мое благословеніе. По тебѣ сужу, что донскіе казаки не суть рабы лѣнивіи у Господа—молятся нелѣнно.

— Плоха наша молитва,—отвѣчалъ Разинъ грустно:—не высоко подымается.

— Для чего не высоко?

— Должно, грѣхи не пушаютъ до неба—не доходитъ до Бога,—продолжалъ Разинъ какъ-то загадочно.

— Не дѣло говоришь, Степанъ, — строго замѣтилъ патріархъ: — Богъ и высоко, и низко живетъ — до него все доходить.

Разинъ молча покачалъ головой и вздохнулъ.

— У тебя, Степанъ, я вижу, горе есть на душѣ, — сказалъ Никонъ, зорко вглядываясь въ своего собесѣдника.

Разинъ молчалъ, только рука его, брошенная на колѣно, задрожала.

— А кто виною печали твоей? — съ участіемъ спросилъ патріархъ.

— Тѣ же, что и твоей, владыко святой, — еще загадочнѣе отвѣчалъ гость.

— Ноли бояре?

Дверь въ келью отворилась, и на порогѣ показался Иванъ Шушера, блѣдный, испуганный.

— Ты что, Иванушко? — тревожно спросилъ патріархъ. — Что случилось?

— Бояре со стрѣльцами пріѣхали.

— Спира воинская... взять меня хотятъ, яко Христа въ саду Геосиманскомъ, — сказалъ онъ, вставая во весь свой ростъ. — Слуги Анны и Каіафы идутъ за мною.

Разинъ также вытянулся и выхватилъ изъ-подъ полы кафтана огромный ножъ.

— Что это? — тревожно спросилъ Никонъ.

— На бояръ, — силно отвѣчалъ гость.

Никонъ вздрогнулъ.

— Нѣтъ, не буди Петромъ... вложи ножъ... Всякъ, иже ножъ изъмелетъ; отъ ножа погибнетъ, — торопливо говорилъ патріархъ.

Разинъ былъ страшенъ. Казалось, что волосы на головѣ у него ходили — такъ двигалась кожа на его плоскомъ, широкомъ черепѣ.

— Вложи ножъ, Степанъ, вложи! — повторилъ Никонъ, слыша шумъ въ сѣняхъ.

Разинъ спряталъ ножъ.

— Такъ къ намъ на Донъ — мы не выдадимъ, — сказалъ онъ угрожающимъ голосомъ: — мы ихъ разтакъ...

Въ дверяхъ показалось иконописное лицо Одоевскаго, а за нимъ харатейный ликъ дьяка Алмаза Иванова.

— Анна и Каіафа, — громко сказалъ патріархъ, откидывая назадъ голову: — кого ищите? Се азъ есмь...

— Комидіантъ! — проворчалъ про себя Алмазъ Ивановъ: — эки дѣйства выкидываетъ.

Но, увидавъ лицо Разина, замолчалъ и попятился назадъ, къ дверямъ, откуда высывались бородатые лица стрѣльцовъ.

— Иди съ Богомъ, сынъ мой, — сказалъ Никонъ, благословляя Разина. — Помолись обо мнѣ.

Разинъ вышелъ, косо поглядывая на стрѣльцовъ и мѣряя ихъ съ головы до ногъ своими большими глазами.

— Эки буркалы, — проворчалъ одинъ стрѣлецъ со шрамомъ черезъ всю щеку. — Н-ну глазокъ!

V.

Авванумъ у Морозовой.

Боярыня Морозова, которую мы видѣли въ бесѣдѣ съ Аввакумомъ и которую бесѣда эта такъ сильно потрясла, принадлежала къ самой знатной боярской семьѣ въ Москвѣ. Она была снохою знаменитаго боярина Бориса Морозова, того Морозова, котораго тишайшій царь считалъ не только своимъ „пріятелемъ“, но почиталъ „вмѣсто отца родного“. Съ своей стороны и Борисъ „сему царю былъ дядька и пѣстунъ, и кормилецъ, болѣлъ объ немъ и скорбѣлъ паче души своея, день и ночь не имѣя покоя“. А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазокъ во лбу у этого царскаго пѣстунѣ и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатомъ году замужъ за Глѣба, брата Борисова, недолго жила съ мужемъ, который умеръ въ молодыхъ лѣтахъ, оставивъ послѣ себя единственную отраду молодой вдовѣ—сынка Иванушку. На этомъ-то Иванушкѣ и на его молодой матери пѣстунъ царскій и сосредоточилъ всю свою нѣжность. Любили молодую боярыню и при дворѣ: и ласковый царь отличалъ ее передъ всѣми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла въ „лѣповидѣ и лѣпословѣ“ Прокопьевѣ—молодая боярыня дѣйствительно была „лѣповида“—существо необыкновенно миловидное, и „лѣпослова“—потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила „духовными словесы“.

Но нерадостна была въ то время жизнь молодой боярыни. Еще съ мужемъ она могла чувствовать нѣкоторую полноту жизни; при мужѣ она была менѣе отчуждена отъ міра, менѣе казалась затворницей. А вмѣстѣ со вдовствомъ для нея наступала какъ бы жизнь безъ жизни, безцѣльное прозябаніе и преждевременное старчество. Громыханье посуды отъ утра до вечера, звонъ ключей отъ зари до зари, плетенья да вязанья, бесѣды съ ключницами да мамушками и — какъ верхъ эстетическаго наслажденія — пѣнье пѣсенъ стѣнными дѣвушками—вотъ вся жизнь боярыни, каковъ бы ни былъ ея темпераментъ, каковы бы ни были годы и ея личные стремленія.

Но не для всѣхъ женскихъ характеровъ такая жизнь даетъ полное духовное удовлетвореніе... Морозова была изъ такихъ женщинъ, для которой громыханье золотой и серебряной посуды да звонъ ключей не составляли идеаль жизни—и она искала большаго, болѣе цѣннаго для ума и сердца, чѣмъ золото. Богатыя духовныя силы ея требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не къ одному сынку Иванушкѣ, который еще былъ такъ малъ,—искало борьбы, самопожертвованій, идеаловъ. А идеалы она знала только по книгамъ—идеалы святителей, мучениковъ, высокіе образцы христіанской любви. Кругомъ себя и во дворцѣ она видѣла только будничную сторону жизни, вѣншія дразни этой жизни, несмотря на ея блескъ и роскошь—и вездѣ она чувствовала пу-

стоту. Пустоту эту, какъ червоточину, она чувствовала и въ себѣ, въ своемъ сердцѣ. Чтобы заставить этого червяка въ душѣ, залить пустоту, въ которой чахло ея теплое, отзывчивое сердце,—она вся окунулась въ наслажденіе своимъ богатствомъ, своимъ высокимъ положеніемъ. Она окружила себя блескомъ и роскошью. Она поставила свой домъ, и безъ того пышный, гремѣвшій на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, ея прихотямъ услуживало въ домѣ до трехсотъ человекъ прислуги; одно мановеніе ея бѣленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило въ движеніе всю эту араву челядинцевъ, которые стремглавъ спѣшили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-свѣта. Когда она выѣзжала изъ дому въ своей богатой, „драгой и устроенной мусіею и серебромъ и съ аргамакми многими“ каретѣ, запряженной двѣнадцатью лошадьми, „съ гремѣющими чѣшми“, то за нею слѣдовало „слугъ, рабовъ и рабынь“ сто, двѣсти, а то и всѣ триста, „оберегая честь ея и здоровье“, а народъ бѣжалъ толпами, хватая на лету алтыны и копѣйки, которые выбрасывала въ окно кареты маленькая ручка боярыни. Самъ тишайшій царь, встрѣчаясь иногда съ блестящимъ поѣздомъ своей „пучеглазенькой Прокофьевны“, какъ онъ называлъ Морозову, привѣтливо ей кланялся, снимая свою шапку, „мурманку“. А бояре и князья такъ издали сымали шапки и кланялись ей въ поясъ, стараясь хоть мелькомъ взглянуть въ блестящіе изъ-подъ фаты глазки красавицы.

Но и это не удовлетворило ея, не наполнило ея души довольствомъ, не заняло пустоты, въ которой сохло ея, молодое сердце. Она искала идеала... Одно время ей думалось, что она нашла этотъ идеалъ человека: то былъ Никонъ. Въ своемъ гордомъ удаленіи отъ царскаго и святительскаго блеска, въ своемъ вольномъ изгнаніи онъ казался ей мученикомъ. Вся его прежняя жизнь—отъ босоножія, когда маленькимъ Никиткой онъ голодалъ и зябъ безъ лаптей на морозѣ, до святительскаго клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставшій патріархомъ Никономъ и „великимъ государемъ“, гремѣлъ съ амвона на истиннаго великаго государя,—вся эта жизнь представлялась ей въ ореолѣ и величіи апостольства. Но, когда, послѣ неоднократныхъ тайныхъ посѣщеній его въ Воскресенскомъ монастырѣ и послѣ продолжительныхъ бесѣдъ съ нимъ, она нашла въ немъ сухого эгоиста и самолюбиваго, властолюбиваго и мстительнаго черствца,—она горько оплакала этотъ миражъ своего идеала.

И вдругъ судьба столкнула ее съ Аввакумомъ. Этотъ мощный умъ, эта несокрушимая воля, хотя, повидимому, мягкая и тягучая, какъ золото, въ дѣлахъ добра и желѣзная въ другихъ случаяхъ, эта великая, страстная, но дѣтски наивная вѣра не только во всепроникаемость божественной любви и всепрощенія, но и въ обрядъ, въ букву, въ послѣднюю іоту вѣры—все это глубоко потрясло воспримчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицомъ къ лицу съ апостоломъ, мученикомъ, съ тѣмъ первообразомъ и идеаломъ истиннаго человека, который

она въ своей пылкой фантазіи видѣла въ еиваидскихъ пещерникахъ, въ столпникахъ, въ обличителяхъ нечестивыхъ римскихъ царей. Развѣ Сибирь—не та же страшная Эиваида, надъ которой она задумывалась при чтеніи житій святыхъ? Развѣ сибирскія земляныя тюрьмы—не тѣ же языческія узлища? А онъ, Аввакумъ, по всему этому прошелъ — прошелъ босыми ногами по льду и по горячимъ угольямъ. И онъ не очерствѣлъ, не застылъ въ своемъ высокомеріи, какъ Никонтъ: онъ молился и плакалъ и радовался своимъ страданіямъ,—да мало того—каждый день молился за другихъ, часы и заутреню служилъ, будь то въ земляной тюрьмѣ на соломѣ, въ обществѣ мышей и таракановъ, будь то въ снѣжныхъ сугробахъ, въ лѣсу, на водѣ, на работахъ..

— Охъ, батюшка-свѣтъ! святитель нашъ! Да какъ же ты службу-то служилъ при этихъ-то трудахъ да мученіяхъ? —невольнo воскликнула молодая боярыня, возвращаясь съ сестрой изъ дворца и захвативъ съ собою въ карету своего дорогого гостя.

— А все также, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту съ дѣтками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, звѣря промышляю, или въ лѣсу дровца сѣку, или ино что творю, а самъ правильцо въ тѣ поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себѣ, что прилучится въ тотъ часъ, и плачу, и веселюсь, что живъ, что голосъ мой во пустынь мертвой звучить, птички божьи мое моленіе слышутъ, и за птичекъ молюсь, и за деревцо — все, вѣдь, оно и божье, и наше... А буде въ людяхъ я, и бываетъ неизворотно, или на стану станемъ, а товарищи-то не по мнѣ, моленія моего не любятъ,—и я, отступя людей, либо подъ горку, либо въ лѣсокъ—коротенько сдѣлаю: побьюся головою о землю, либо объ ледъ поколочусь, объ снѣгъ, а то и заплачется—и все сладко станетъ, коли голова объ землю поколотится, либо слеза горячая снѣгъ прожжетъ. А буде по мнѣ люди — и я на сошкѣ складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, въ перси себѣ постучу, а иные со мною же молятся, плачутъ, а иные кашку варятъ—и тоже маленько молятся. И въ саяхъ ѣдучи, пою себѣ да веселюсь, и въ тюрьмѣ лежа, пою да кандалами позвякиваю; а кандалыный-то звонъ, тюремный, свѣтики мои, слаще Богу звону колокольного: звонокъ, голосистъ звонъ-отъ тюремный!.. Вездѣ, пташки мои, молюсь и пою, а хотя гдѣ и гораздо неизворотно, а такъ поворочу, что собачка передъ Господомъ, повою до неба праведнаго...

Аввакумъ еще болѣе очаровалъ сестеръ, когда вмѣстѣ съ нимъ онѣ изъ дворца пріѣхали въ домъ Морозовой. Цѣлые ряды челяди выстроились по лѣстницѣ и въ сѣняхъ и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другіе хватали и цѣловали ея руки, края одежды. Аввакумъ слѣдовалъ впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно въ церкви.

При входѣ во внутренніе покои, навстрѣчу боярынь вышла благообразная, бодрая старушка съ прелестнымъ бѣлокурымъ ребенкомъ на ру-

какъ. Ребенокъ радостно потянулся къ Морозовой, которая съ нѣжностью выхватила его изъ рукъ старушки и стала страстно цѣловать.

— Ванюшка! веселіе мое! цвѣтикъ лазоревый!

Затѣмъ, какъ бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка къ Аввакуму. Щеки ея горѣли, по всему лицу разлито было счастье.

— Батюшка! благослови мово сыночка—наслѣдіе мое.

Аввакумъ истово перекрестилъ ребенка, сунулъ легонько свою костлявую, загрубѣлую руку къ раскрытому ротуку мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, сталъ гладить курчавую его голову.

— Весь въ матушку-красавицу, токмо русенекъ — бѣлявъ волосками гораздо... А подь ко мнѣ на ручки...

И протопопъ протянулъ къ ребенку растопыренными ладони. Ребенокъ смотрѣлъ на него пристально, съ удивленіемъ, и, видя улыбку подь сѣдыми усами, самъ улыбался.

— Подь же къ дѣдѣ на ручки, подь, цвѣтикъ,—поощряла его мать, вся сіяющая внутреннимъ довольствомъ и любящая добрымъ, нѣжнымъ выраженіемъ лица суроваго учителя.

— Иди-иди, боярушко, иди, миленькій!—говорилъ этотъ послѣдній.

Ребенокъ пошелъ на руки къ Аввакуму. Мать вскрикнула отъ радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Всѣ жадно и восторженно смотрѣли, какъ ребенокъ, взглянувъ въ глаза Аввакума, потомъ обратясь къ матери и къ нянюшкѣ, сталъ играть сѣдою бородой протопопа.

— Ай-да умникъ! ай-да божій!—ласкалъ его протопопъ.—А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?

— Маму люблю,—отвѣчалъ ребенокъ, оборачиваясь къ матери.

Морозова только руками всплеснула и припала къ ребенку, цѣлуя его въ плечо и, вмѣстѣ съ тѣмъ, страстно припадая губами къ рукѣ Аввакума, лежавшей на этомъ плечѣ.

— А Бозю любишь?—настаивалъ Аввакумъ.

— Няню люблю,—снова невпопадъ отвѣчалъ ребенокъ.

— А Боженьку?—вмѣшалась мать, начиная уже краснѣть отъ стыда и волненія.—Боженьку...

— Дуню тетю.

— Ахъ, Господи! Ванюшка!

Аввакумъ поднесъ ребенка къ кіотѣ, которая такъ и горѣла дорогими оклада иконъ, залитыхъ золотомъ, жемчугами, самоцвѣтными камнями.

— Вотъ гдѣ Бозя!—сказалъ онъ:—глянь какой свѣтленькій!

Ребенокъ поднялъ ручку и сталъ махать ею около розоваго личика, прикладывая пальчики то къ маковкѣ, то къ плечу и глядя на няню: „смотри-де—какъ хорошо молюсь“.

Старушка няня, мать и „тети Дуня“ улыбались счастливо, радостно. Но Аввакумъ тотчасъ воззрился на пальчики ребенка: такъ-ли-де, истово ли, молъ, персточки складываетъ, не никоніанскою-ли-де еретическою щепотью?

— Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь персточки, какъ слагаешь крестное знаменіе...

— Ручку сложи,—подсказала мать.

Ребенокъ не сложилъ, а разжалъ лѣвую ручку, а правой сталъ тыкать въ лѣвую ладонь... „Сорока-сорока, кашку варила, на порогъ скакала“, лепеталъ онъ, весело глядя въ добрые глаза протопопа.

Мать вспыхнула и застыдившимся лицомъ уткнулась въ ладони. Даже суровый протопопъ не выдержалъ—разсмѣялся.

— Вотъ-тѣ и перстное сложеніе! Ахъ ты никоніанецъ, еретикъ ты эдакій! А? вонъ что выдумалъ—по-никоновски молиться: „сорока-сорока-кашку варила...“ Истинно по-никоновски!

— Матушки! срамъ какой! Владычица!—застыдились боярыни.

— Никоніанецъ... никоніанецъ,—добродушно говорилъ протопопъ:—поди, чу, и табачище уже нюхаетъ...

Старушка-няня готова была сквозь землю провалиться.

— Что-й-то ты, батюшка, грѣхъ какой непутемъ говоришь!—защищалась она:—у насъ и въ заводѣ-то этого проклятаго зелья не бывало... Вона, что сказали!

А Аввакумъ, между тѣмъ, старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребенка въ двуперстное знаменіе; но какъ ни силлся—не могъ: пухлая ладонка или разжималась совѣмъ, растопыривая пальчики какъ бы для „сороки“, или сжималась въ кулачокъ.

— Ну, малъ еще—глупешенекъ, мой свѣтъ, невинный младенецъ,—говорилъ протопопъ, передавая ребенка матери.—Подростетъ—научимъ перстному сложенію, и въ лошадки еще поиграемъ.

Аввакумъ окончательно покорилъ сердца молодыхъ женщинъ. Морозова отъ волненія не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далекая, студеная и мрачная Сибирь и какая-то страшная, невѣдомая, еще болѣе далекая Даурія, по которымъ бродилъ и мучился благообразный, святой и добрый старичекъ, страдалъ за перстное сложеніе... „Ахъ, какой онъ добрый да свѣтлый!.. Ванюшка-то какъ его полюбилъ—все брадою его святою игралъ, словно махонькій Христосикъ—свѣтъ игралъ брадою Симеона-бogosпримца... Ахъ, нашла я мой свѣтъ, нашла! Пойду я за нимъ, какъ блаженная Марія египетская... Охъ, Господи, сподоби меня, окаянную... Аввакумушко! свѣтикъ мой, батюшка.“

Такъ металась въ постели молодая женщина, охваченная волненіемъ и жаромъ: то страстно шептала молитвы, то съ такою же страстью сжимала свои нѣжныя пухлыя руки и била себя въ полныя перси. Она нѣсколько разъ вставала съ постели и босыми ногами пробиралась къ кіотѣ, бросалась на полъ и горячо, сама не зная о чемъ, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается передъ Христомъ простоволоса, въ одной сорочкѣ, сползающей съ плечъ, она стыдилась, вспыхивала сама передъ собой и закутывалась въ шелковое изъ лебяжьего пуха одѣяло; но вспомнивъ, что и Марію египетскую она видѣла на образахъ простоволо-

сою, даже безъ сорочки, прикрытую только своей косою, она успокоивалась и снова падала ницъ передъ иконами...

„Ахъ, какой онъ свѣтлый!.. И Ванюшку благословилъ... Ахъ, сыночекъ мой!.. А онъ сороку-то, сороку...“ бормотала она бессвязно.

Затѣмъ неслышными, босыми ногами прошла она въ сосѣднюю комнату, гдѣ, освѣщаемый тусклымъ свѣтомъ лампы, спалъ, разметавшись въ постелькѣ, ся Ванюшка. Въ комнатѣ было жарко, и ребенокъ весь выкарабкался изъ-подъ розоваго одѣяльца. Онъ улыбался во снѣ, а между тѣмъ и сонный выдѣлывалъ ручками что-то въ родѣ „ладушки“: молодая мать догадалась, что это онъ во снѣ продѣлывалъ „сороку“,—и, счастливая, восторженная, не вытерпѣла, чтобъ не поцѣловать его босые ножки...

— Что ты, сумасшедшая, дѣлаешь?—раздался за ней испуганный шопотъ.

Она вздрогнула и обернулась: за нею стояла старая няня и грозилась пальцемъ.

— Что ты, озорная!—накинулась няня на растерявшуюся боярыню:— испугать, что ли, робенка хочешь, калѣкой сдѣлать?

— Я тихонько, нянюшка,—оправдывалась пойманная на мѣстѣ преступленія молодая мать.

— То-то, тихонько! А чего Боже сохрани...

— Да онъ „сороку“, няня, во снѣ дѣлалъ! Ахъ, какой милый!

— А хуть бы и ворону, не то что „сороку“,—ворчала старушка:— это съ нимъ, съ младенцемъ чистымъ, сами анѣлы божіи играютъ— „сороку“ сказываютъ ему—вотъ что! А ты, дура матушка, будишь его.

— Не сердись, няня, не буду.

— То-то не буду... Вотъ такая же дура—царство ей небесное—была и матушка твоя, боярыня Анисья Петровна, не тѣмъ будь помянута... Я тебя махонькую тоже нянчила, выносила вонъ какую красавицу, а покойница боярыня Анисья Петровна такъ же вотъ, какъ ты, снова ночью и приходи въ твою спаленку, а ты лежишь въ кроваткѣ такой анѣлочекъ—она и накинься тебя цѣловать... А я-то, старая гримза, тады помоложе была, крѣпко заснула, такъ и не слыхала, что матушка-то твоя съ тобой продѣлываетъ... Ты какъ вскрикнешь—да такъ и закатилась... Ужъ насилу добрые люди тебя, голубушку, отшептали на другой день... Такъ-то, не хорошо дѣтей будить. Можетъ, онъ, свѣтикъ, съ анѣлами забавочки творить, а ты его пужаешь.

— Ну-ну, прости, нянюля, не буду никогда.

И молодая женщина бросилась цѣловать старушку.

— Ну, добро, добро! Пошла, спи! Ишь полунощница... въ одной рубашонкѣ бродитъ простоволоса... Срамница!—ворчала старушка.

Только къ утру Морозова утомилась и заснула.

Протопопъ Аввакумъ также безпокойно провелъ эту ночь. Воротясь отъ Морозовой къ себѣ домой, на подворье Новодѣвичьяго монастыря, что въ Кремлѣ, онъ засталъ у себя друга своего и сына духовнаго, Федора-

юродиваго. Даже такой желѣзный человѣкъ, какъ Аввакумъ, удивлялся суровому подвижничеству этого юродиваго. Онъ жилъ въ это время у Аввакума.

— Зѣло у Федора того крѣпокъ подвигъ былъ,—говорилъ о немъ впослѣдствіи Аввакумъ:—въ день юродствуетъ, а ночь всю на молитвѣ со слезами, да такъ плачетъ горько, что душу разрываетъ. Много добрыхъ подвижниковъ зналъ, а такого другаго и не видывалъ. Жилъ онъ со мной на Москвѣ—ужъ и надивился я его великимъ подвигамъ! Бывало ночью часть-другой полежить, повздыхаетъ, да встанетъ—тысячу поклоновъ отбрасаетъ—таково стучить лбомъ предъ Господомъ да колѣнками бьется, а тамъ сидеть на полу—и ну плакать. Воже ты мой! какъ ужъ плакалъ-то! Откуда и слезы берутся—не вѣмъ... Плачетъ-плачетъ, рыдаетъ-рыдаетъ, нарыдается гораздо, глаза попухнуть отъ слезъ, да тогда ко мнѣ приступить. А мнѣ немоглось тогда. Приступить: „долго ли тебѣ, протопопъ, лежать-тоса? Образуясь, вить ты попъ—какъ сорома нѣтъ!“ А мнѣ все неможется; такъ онъ подыметъ меня, говоритъ: „встань, миленькой батюшко!“ Ну, и стащить какъ-нибудь меня; мнѣ, въ немощи-то, велить спидя молитвы говорить, а самъ за меня поклоны бьетъ—и счету нѣтъ! То-то другъ мой сердечный былъ!.. Скорбенъ, миленькой, былъ съ перетуги великія: черевъ у него вышло въ одну пору три аршина, а въ другую пору пять аршинъ—такъ онъ же самъ и кишки себѣ перемѣряетъ—и смѣхъ съ нимъ, и горе! На Устюгѣ пять лѣтъ безпрестанно мерзъ на морозѣ босъ, въ одной рубахѣ—я самъ сему самовидецъ. Тутъ мнѣ онъ и учинился сынъ духовный: какъ я изъ Сибири ѣхалъ, у церкви въ палатку прибѣгалъ ко мнѣ молитвы ради и сказывалъ, „какъ-де отъ мороза въ теплѣ томъ станешь, батюшко, отходить, такъ зѣло-де въ тѣ поры тяжело бываетъ“. По кирпичю тому ногами тѣми стучаетъ, что каганьемъ, а на утро опять не болятъ. Псалтирь у него тогда былъ новыхъ печатей въ кельѣ—маленько еще зналъ о новизнахъ; и я ему подробно рассказалъ про новыя книги; такъ онъ, схвативъ книгу, тотчасъ въ печь кинулъ да и проклялъ всю новизну: зѣло у него во Христа вѣра горяча была! Не на басняхъ проходилъ подвигъ, не какъ я, окаянный!

Такія суровыя личности представляетъ этотъ вѣкъ раскола русской земли! Мрачная эпоха и породила мракъ, который и доселѣ не можетъ быть побѣжденъ свѣтомъ—слишкомъ мало этого свѣта...

Юродивый молился, когда Аввакумъ воротился домой отъ Морозовой. Онъ также помолился и легъ. Но сонъ его былъ безпокоенъ. Ему представилось во снѣ, что онъ все-еще въ селѣ Лопатицахъ, на Волгѣ, гдѣ онъ былъ когда-то молодымъ попомъ. Въ село приходятъ медвѣдятики съ двумя медвѣдями и „козами“ въ „харяхъ“, играютъ на бубнахъ и пляшутъ. И возгорается сердце Аввакумова ревностію по Христѣ, и налетаетъ онъ яростно на медвѣдятиковъ и на плясовыхъ медвѣдей, бьетъ и трощитъ ихъ бубны, „хари“ и домры, и отнимаетъ медвѣдей, бьетъ ихъ и гонитъ въ поле. А тутъ откуда ни возмись бояринъ

Шереметьевъ, Василій Петровичъ, воевода казанскій, плыветъ Волгою на суднѣ богатомъ и велитъ привести къ себѣ попа-бойца! „За что-де, сякой-такой попишка медвѣдей прогналъ и медвѣдятиковъ побилъ?“ — „За Христа-де ревновалъ“... Бояринъ хватъ попа-ревнителя въ ухо, въ другое! — „Ой! за что!“ — „Вотъ тебѣ въ третье ухо!“ — Бацъ! — „Благослови-де сына моего, Матвѣя боярича“. — „Не благословлю-де брадобрица, рыло скобленное: грѣхъ-де благословлять блудоносный образъ“... И бояринъ велитъ столкнуть попа въ Волгу—и, много томя, столкнули... Но не утопъ протопопъ... Богородица вынесла на берегъ... Съ бороды каплетъ вода, съ волосъ каплетъ... И вдругъ приходитъ дѣвица лѣпообразная исповѣдаться у попа, и онъ, трекоянный, распалился на красоту дѣвичью... И взялъ попъ три свѣщи, прилѣпилъ ихъ къ налою и возложилъ руку правую на пламя и держалъ, дондеже не угасло въ немъ злое плотское разженіе: и—оле окаинства мерзкаго!—то была не дѣвица, а лѣпообразная боярыня Морозова.

Аввакумъ въ ужасѣ проснулся и уже всю остальную ночь клалъ поклоны и плакалъ. Рядомъ съ нимъ молился и плакалъ юродивый. Когда уже разсвѣло, они оба упали въ изнеможеніи на полъ. Потъ съ нихъ лилъ ручьями...

— А все не до кроваваго поту... охъ!—стоналъ Аввакумъ и колотилъ себя въ грудь.

VI.

Изъ-за аллилуйи.

Морозова проснулась поздно, но пробужденіе это было какое-то радостное, свѣтлое, точно въ эту самую ночь она нашла, наконецъ, то, что такъ долго и напрасно искала. Она припоминала и переживала опять весь вчерашній день и въ особенности вечеръ, проведенный съ Аввакумомъ. Мысли ея уже не витали въ далекой Дауріи, но воротились къ Москвѣ, ко всему, что ее окружало до сихъ поръ, и во всемъ этомъ она нашла теперь смыслъ, котораго прежде понять не могла. Пустота, въ которой она томила, теперь казалась заполненною чѣмъ-то, чѣмъ — она сама не знала, но ей было свѣтло и радостно. Ей тотчасъ же захотѣлось видѣть людей, родныхъ и близкихъ. Ей казалось, что и съ ними ей теперь будетъ легче—они стали какъ бы еще ближе къ ней.

Сдѣлавъ всѣ распоряженія по дому, поигравъ съ своимъ Ванюшкой, который со вчерашняго вечера сталъ для нея еще милѣе и дороже, она велѣла заложить карету, чтобы ѣхать къ Ртищевымъ, съ которыми находилась въ родствѣ, и домъ которыхъ былъ оживленнѣе всѣхъ другихъ боярскихъ домовъ въ Москвѣ. У Ртищевыхъ сходились и никоніанцы, приверженцы западныхъ новшествъ, и сами западники—черкасскіе хохлы въ родѣ Симеона Полоцкаго и Елифанія Славинецкаго, и, наконецъ, приверженцы *аза*—сторонники Аввакума и его товарищей по двуперстному сло-

женію, а вмѣстѣ съ тѣмъ по гоненіямъ и по ссылкамъ. Ртищевы и имъ подобныя, которые какъ бы начали самозарождаться въ Москвѣ, конечно, не безъ вліянія Запада, были первые сѣятели, бросившіе въ русскую почву зерно, изъ котораго выросла гигантская личность Петра. Ртищевы вызвали въ Москву первую партію ученыхъ „хохловъ“, заводчиковъ всѣхъ будущихъ новшествъ. Но Ртищевы въ то же время любили и свою родную старину. Въ нихъ была какая-то мягкость, терпимость, которая старалась сблизить между собою людей двухъ враждебныхъ лагерей, и оттого и „хохлы“, и аввакумовцы, и иконовцы находили радужный пріемъ въ ихъ домѣ, а сами хозяева, и старый Ртищевъ, Михайло, и молодой, Федоръ—готовы были ночи просиживать въ бесѣдахъ и спорахъ съ людьми обѣихъ партій: сюда и Аввакумъ приходилъ „браниться съ отступниками“ и „кричать“ о сугубой аллилуіи, и Симеонъ Полоцкій — потолковать о „космографіонѣ“, о „комидійныхъ дѣйствахъ“ и о „планидахъ“.

Хотя весь обиходъ жизни въ домѣ Ртищевыхъ покоился на старинѣ, но новшества нѣтъ-нѣтъ да и проглядывали то въ томъ, то въ другомъ углу—въ одѣяніи хозяевъ, въ ихъ словахъ, въ ихъ обхожденіи съ людьми. Даже молодая Анна Ртищева не боялась разсуждать объ „опрѣсновахъ“ и о „кентрѣ“ вселенной.

Къ этимъ-то Ртищевымъ и собралась ѣхать Морозова. Когда карета была подана, сѣнныя дѣвушки надѣли на свою боярыню бархатную, опущенную горностаями шубку, а на голову ей, такую же горностаевую шапочку.—„Ужъ и что у насъ за красавица, боярынька наша—лазоревого цвѣтъ!“ ахали онѣ, когда боярынька ихъ, помолившись на иконы, проходила между двухъ рядовъ челяди—сѣнныхъ дѣвушекъ, разныхъ благочестивыхъ черничекъ и бѣличекъ приживалокъ, разныхъ странницъ, карлицъ, дуэрокъ и юродивыхъ. При этомъ старая няня повѣсила ей на руку шитую золотомъ калиту, наполненную мелочью для раздачи милостыни.

Когда она появилась на крыльцѣ, выходившемъ на обширный дворъ, то весь дворъ и вся улица передъ домомъ были уже наполнены народомъ: на дворѣ—это ея „слуги, рабы и рабыни“, которые дорогою должны были „оберегать честь и здоровье“ своей госпожи, а на улицѣ — нищіе, ждавшіе подачекъ, и любопытствующіе, желавшіе поглазѣть, какъ поѣдетъ пышная Морозиха. На запяткахъ кареты и на длинныхъ подножкахъ у окошекъ ея стояли уже разряженные холопы. Тутъ же у самой кареты, на послѣдней ступенькѣ крыльца сидѣлъ знакомый уже намъ Федоръ-юродивый и заливался горькими слезами. Обыкновенно оборванный, безъ шапки, часто босикомъ и въ одной рубахѣ, онъ теперь былъ одѣтъ въ новенькую однорядку и въ плисовые штаны; на ногахъ у него были новые козловые сапоги, на рукахъ—зеленые мѣховыя рукавички, а на головѣ лисья шапка съ краснымъ верхомъ. Это его приказала нарядить сама Морозова, когда утромъ онъ явился къ ней и держалъ что-то крѣпко зажатое обѣими руками, которая онъ, при трескучемъ морозѣ, не разжималъ во все время пути отъ подворья Новодѣвичья, гдѣ онъ ночевалъ, до дома Морозовой.

Оказалось, что это у него крѣпко зажато было въ рукахъ благословіе, посланное черезъ него Аввакумомъ молодой боярынь. Обыкновенно когда у юродиваго бывала шапка, то подходя подѣ благословіе къ какому-либо уважаемому имъ попу, въ родѣ Аввакума или Никиты Пустосвята, онъ снималъ шапку, принималъ въ эту шапку благословіе, зажималъ его въ шапкѣ, какъ нѣчто осязательное и носился такъ съ шапкою цѣлый день, и когда случайно, въ забывчивости или съ умысломъ надѣвалъ шапку, то начиналъ плакать, что „потерялъ благословіе“, что „бро-нилъ духа свята“, что „улетѣлъ-де духъ святъ“ и т. п.

— Ты что, Оедюшка, плачешь? — ласково обратилась къ нему Моро-зова, положивъ руку на плечо.

— О-о! какъ же мнѣ не плакать? Шапку на меня красну надѣли, что на дурака, — плакался юродивый, мотая своею нечесаною бородкою съ просьбою.

— Ничего, Оедюшка-свѣтъ, — какъ же безъ шапки-то? Морозно го-раздо.

— Лучше морозно здѣсь, чѣмъ жарко тамъ, въ аду.

— Ну-ну, добро, милый.

И Морозова, снявъ съ него шапку, бросила въ нее изъ своей калиты нѣсколько горстей денегъ.

— На, милый, раздавай бѣдненькимъ.

Затѣмъ взяла его за руку и вмѣстѣ съ собой посадила въ карету. И на дворѣ, и на улицѣ народъ привѣтствовалъ такой поступокъ боярыни громкимъ одобреніемъ. — „Ай свѣтъ наша матушка, Оедосся Прокопьевна! буди здорова на многія лѣта! — О-о“.

Сѣдобородый, въ высокой шапкѣ съ голубымъ верхомъ, кучеръ крик-нулъ „гисъ!“ Постромки всѣхъ шести паръ бѣлыхъ лошадей, запряжен-ныхъ цугомъ, быстро натянулись. Двѣнадцать молоденькихъ вершниковъ, въ шапкахъ съ голубыми же верхами, сидѣвшихъ на каждой упряжной лошади, пріосанились, тронули, прокричали тоже „гисъ!“ Загремѣли „чѣпи“ и дорогая упряжь, завизжала по снѣгу полозья — и карета двинулась. Она ѣхала шагомъ. По обѣимъ сторонамъ ея рядами шли „рабы и рабыни“, но такъ, что всякій изъ нищихъ, желавшій подойти къ окну кареты, могъ свободно пройти между рядами челяди. И впереди и по бокамъ валили толпы народа, тискаясь ближе къ каретѣ, къ окнамъ ея. А изъ этихъ оконъ постоянно высовывалась — то бѣлая, какъ комочекъ снѣгу, пухлая ручка боярыни и опускала въ протянутыя руки нищихъ либо алтынъ, либо денежку, то — изъ другого окна — корявая и жилистая, словно витая изъ ремней, рука юродиваго и тоже звякала мѣдью по протянутымъ ладонямъ нищихъ.

Шествіе было очень продолжительно. И бѣлая ручка, успѣвшая покрас-нѣть отъ мороза, и корявая рука, которую не бралъ никакой морозъ, про-должали мелькать то изъ одного, то изъ другого окна кареты и звякать мѣдью. Но, наконецъ, одно окно отворилось, и оттуда, бормоча что-то и

мотая головою, быстро вылезъ юродивый. Онъ остановился на боковомъ отводѣ кареты, продолжая мотать головою и комкать въ рукахъ шапку. Все ждали, что онъ намѣренъ дѣлать. А онъ, увидавъ стоявшаго въ сторонѣ у забора нищаго, у котораго за немѣнимъ шапки, сѣдая, почти безволосая голова была повязана трепицею, бросилъ ему свою шапку, закричавъ— „лови, дѣдушко!“ Нищій поймалъ шапку и началъ креститься. Народъ криками выразилъ свое одобреніе. Потомъ юродивый, распоясавшись и увидавъ бабу съ сумою, бросилъ ей поясъ. Затѣмъ онъ снялъ съ себя свою новую однорядку и также бросилъ въ толпу, говоря: „подумайте, братцы!“ Восторженнымъ крикамъ не было конца. Наконецъ, онъ снялъ съ себя и сапоги, и онучи — и остался босикомъ и въ одной рубахѣ... „Го-го-го! стонала толпа: Оедюшкѣ жарко! божій человекъ!“

Скоро карета Морозовой въѣхала на дворъ къ Ртищевымъ. Дворъ былъ обширный. За домомъ начинался садъ. Высокія, вѣковыя деревья были окутаны инеемъ. Звонъ „чѣпчей“, которыми особенно щеголяла упряжь Морозихи, былъ такъ пронзителенъ, что вороны, сидѣвшія на деревьяхъ, испуганно полетали съ нихъ и стряхнули дѣлая облака инею.

На крыльцо выбѣжали стаи холоповъ и холопокъ встрѣчать знатную, богатую боярыню. Оглянувшись, Морозова увидѣла, что юродивый уже роздалъ всю свою одежду и, въ одной рубахѣ и босикомъ, игралъ съ ртищевскими дворовыми собаками, съ которыми онъ былъ, повидимому, въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Она только покачала головой и, сопровождаемая своею и ртищевскою челядью, вошла въ домъ. Навстрѣчу ей вышла молодая Ртищева, боярыня Аннушка, та, что уже интересовалась новшествами и „кентромъ“ вселенной, и поцѣловалась съ гостьей.

— Ахъ, сестрица-голубушка, у насъ тутъ такая война идетъ, словно Литва Москву громить,—сказала она, улыбаясь.

— Какая война, сестрица миленькая?—спросила гостья.

— А протопопъ Аввакумъ ратоборствуетъ.

При словѣ Аввакумъ, Морозова зардѣлась.

— Съ кѣмъ это онъ, сестрица?

— А со всѣми: и съ Симеономъ Ситіановичемъ, и съ батюшкой, и съ братцемъ Оедоромъ.

Дѣйствительно, изъ другой комнаты доносились голоса спорщиковъ, и всѣхъ покрывалъ голосъ Аввакума. Морозова остановившись было въ нерѣшительности, какъ другъ на порогѣ той комнаты, гдѣ происходили споры, показалась сѣдая голова.

— Ба-ба-ба! слыхомъ не слыхано, видомъ не видано! матушка, Оедосья Прокопевна! — пріѣтливо заговорилъ высокій, съ орлинымъ носомъ старикъ.

Вшедшему было лѣтъ подъ семьдесятъ, но смотрѣлъ онъ еще довольно молодцовато. Лицо его, нѣсколько румяное, опущенное бѣлою бородою, которая спадала на грудь косицами, каріе, живые и смѣющіеся глаза и улыбка выражали пріѣтливость и добродушіе.

Это и былъ глава дома, бояринъ Михайло Алексѣевичъ Ртищевъ — москвичъ, одною ногою стоявшій въ древней Руси, а другую занесшій уже въ Русь новую.

— Добро пожаловать, дорогая гостыя, — говорилъ старикъ и взялъ Морозову за обѣ руки. — Что тебя давно не видать у насъ?

— Да недосужилось, дядюшка: на-Верху *), въ мастерскихъ палатахъ, дѣловъ было много, — отвѣчала молодая женщина.

— Знаю-знаю... Матушка-царица, поди, горы съ вами наготовила къ святкамъ всякаго одѣянія: всю нищую братію приодѣнете и приобуете.

— До, точно, дядюшка: государыня царица наготовила-таки милостыни не мало.

— О, подлинно! Она у насъ, матушка, великая радѣтельница... Пошли ей Господи... Что-жъ мы тутъ-то стоимъ? Иди, Прокопьевна, къ нашимъ гостямъ...

— Да, какъ же это дядюшка? — затруднилась было молодая боярыня.

— Ничего, все свои люди — не мужины, а попы... Иди-иди, посмотришь наши словесные кулачки, какъ Аввакумъ протопопъ съ Симеономъ Полоцкимъ на-кулачки дерутся изъ-за аллелуи.

Морозова вошла въ слѣдующую комнату. По срединѣ стоялъ Аввакумъ въ позѣ гладіатора и, поднявъ правую руку, запальчиво кричалъ:

— На, смотри! Когда Мелетій патріархъ антиохійскій, ругался съ проклятыми аріанами насчетъ перстнаго сложенія, то, подъя руку и показавъ три перста, щепотью, какъ вотъ вы, никоніанцы и табашники, показываете и креститесь, — и тогда не бысть ничто же. А какъ онъ святитель, сложилъ два перста, вотъ такъ (и Аввакумъ вытянулъ вверхъ сложенные вмѣстѣ указательный и средній пальцы), и сей перстъ пригнулъ вотъ такъ — и тогда бысть знаменіе: огнь изыде... На, смотри!

И Аввакумъ съ азартомъ подносилъ пальцы къ сухощавому, еще нестарому монаху, съ крючковатымъ носомъ, большими еврейскими губами и еврейски-умными, лукавыми глазами. Это былъ Симеонъ Полоцкій, недавно приглашенный царемъ изъ Малороссіи для книжнаго дѣла. Ему было не болѣе тридцати пяти лѣтъ, но онъ былъ худъ. Блѣдное, безцвѣтное лицо изобличало, что его больше освѣщала лампада, чѣмъ солнце, и что глаза его больше глядѣли на пергаментъ, да на бумагу, чѣмъ на зелень и на весь божій міръ.

— Ты, протопопъ, ложно толкуешь Мелетія, — мягко отвѣчалъ Полоцкій: — онъ сложилъ вотъ такъ два перста и къ *онымъ*, а не просто пригнулъ большой палецъ — и вышло знаменіе отъ троеперстія, а не двуперстія.

Аввакумъ даже подпрыгнулъ было, какъ ужаленный, но, увидавъ Морозову, такъ и остановился съ открытымъ ртомъ, собравшимся было энергически выругаться.

*) Т. е. во дворцѣ.

Низко наклонивъ голову, Морозова подошла къ нему подѣ благословіеніе. Аввакумъ съ чувствомъ благословилъ ее. Потомъ она въ поясѣ поклонилась Симеону Полоцкому и поцѣловалась съ молодымъ Ртищевымъ, съ Федоромъ.

— Вотъ, сестрица,—сказалъ улыбаясь Федоръ,—отецъ протопопъ поражаетъ насъ, словно Мамаѣ.

— Да вы злѣе Мамаѣ!—попрежнему горячо заговорилъ задѣтый Аввакумъ:—всѣ вы, *двуперстники!*.. А не въ вашихъ ли еретическихъ книгахъ (снова обратился онъ къ Полоцкому) написано, будто жиды пригвоздили Христа *до* креста? а?

— Что жъ, коли написано?—спокойно отвѣчалъ Полоцкій.

— Какъ что жъ! Али крестъ—живой человѣкъ! Вотъ ежели бы *до* тебя пригвоздили жиды разбойника, такъ оно было бы такъ; а то на: Христа—*до* креста!

— А не все ли равно *до* креста, или ко кресту?

— Это для васъ, хохловъ, все равно, а не для насъ... О! да я въ огонь пойду за наше *ко*—оно истинное, и за него я умру.

Аввакумъ говорилъ горячо, страстно. Присутствіе слушателей, и въ особенности Морозовой, подымало его еще болѣе, придавало ему крылья. Онъ былъ ораторъ и пропагандистъ по призванію. Онъ „кричалъ слово божіе“ вездѣ, гдѣ только были слушатели, и чѣмъ больше была его аудитория, его паства, тѣмъ онъ охотнѣе выкрикивалъ слово божіе. Въ Сибири ему не передъ кѣмъ было развернуться. А Москва—о! это великая аудитория для оратора. Въ Москвѣ Аввакумъ не сходилъ съ своего боевого коня.

— А не вы ли, новшики, разлучили Господа съ Иисусомъ!—напалъ онъ съ другой стороны на Полоцкаго.

— Какъ разлучили?—спросилъ тотъ, улыбаясь своими еврейскими глазами.

— Такъ и разлучили: разрѣзали Господа нашего Иисуса Христа надвое.

— Я не разумѣю тебя,—отвѣчалъ Полоцкій.

— Да не вы ли на литургіи возглашаете: „святъ, святъ, единъ Господь и Иисусъ Христосъ!“ Для чего вы прибавили *и, иже*? Это все едино, что „протопопъ и Аввакумъ“: точно протопопъ особо, а Аввакумъ особо.

— А!—нѣсколько злою улыбкою протянулъ Симеонъ:—мы не говоримъ—„Господь и Иисусъ Христосъ“, а возглашаемъ—„Господь Иисусъ Христосъ“.

— Для чего тутъ *и*? Новшество для чего?

— Это не новшество...

— Какъ не новшество!

— Не горячись, протопопъ, выслушай меня... Ты не знаешь по-еллински и оттого споришь...

— И знать не хочу! Витъ святители московскіе Петръ, Алексѣй, Іона и Филиппъ не по-еллински молились, и въ ихъ книгахъ значится—„Господь Иисусъ Христосъ“, а не „Господь и Иисусъ Христосъ“...

— Да постой, потерпи, протопопъ!—уговаривалъ его Полоцкій:—по-эллиниски не Иисусъ пишется, а Иисусъ.

— Знать ничего не хочу! Намъ эллины не указъ!

— Какъ не указъ?—вмѣшался было старикъ Ртищевъ.—Мы отъ эллиновъ вѣру взяли...

— А теперь ее хотимъ испортить,—огрызнулся Аввакумъ.

— Да какъ же это такъ!—удивился Ртищевъ.

— А вотъ какъ, миленькой,—ласково обратился онъ къ старому боярину:—мы изъ начала вѣку пѣли на Пасху: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію на смерть наступи“... А они какъ поютъ? Срамъ и говорить-то!

— Какъ срамъ?

— Да вотъ какъ: „смертію смерть *поправъ*“... А! не срамота ли сіе? Точно смерть порты али рубахи прала... „Поправъ“! Ишь выдумали! „Прать“—„прать“ и есть, сирѣчь „мыть“.

— А попирашь ногами?—вступился было Полоцкій.

— Да что ты смыслишь, съ своимъ хохлацкимъ языкомъ?—снова накиннулся на него неудержимый протопопъ. — Суйся съ своимъ эллинскимъ языкомъ, куда знаешь, а въ нашъ руссійскій языкъ съ хохлацкимъ не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сдѣлали прачкой, портомоей... „поправъ“... Эко словечко! Да вы разрѣжьте меня на кусочки, а я по-вашему пѣть не стану—срамота одна!

— Ну, и крѣпокъ же ты, протопопъ,—задумчиво сказалъ молодой Ртищевъ.

— Крѣпонецъ Божію помощію...

Морозова и Аннушка Ртищева сидѣли въ сторонѣ и слушали молча. Аввакумъ, чувствуя себя побѣдителемъ, съ торжествующимъ видомъ обратился къ нимъ.

— Такъ-то, Михайловна,—сказалъ онъ съ снисходительною улыбкою Аннушкѣ:—слушаете насъ, буеслововъ? Слушаете—хлѣбецъ словесный кушаете... Не о хлѣбѣ единомъ...

— А что, отецъ протопопъ, разнствуетъ хлѣбъ съ опрѣснокомъ?—перебила его Аннушка.

— Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки,—строго замѣтилъ протопопъ.

Аннушка покраснѣла и закрыла лицо рукавомъ. Морозова также вспыхнула—ей стыдно стало за свою пріятельницу: ей казалось, что та сдѣлала ужасный, непростительный еретическій промахъ.

— А еще царскихъ дѣтей учать, чу,—укоризненно обратился неугомонный протопопъ къ старику Ртищеву, намекая на Полоцкаго.

Полоцкій былъ задѣтъ за живое и поблѣднѣлъ. До сихъ поръ онъ говорилъ тихо, голоса не возвышалъ, а отвѣчалъ съ улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что съ нимъ состязается мужикъ, не знающій даже русской грамматики. Что же съ него и спрашивать! Но

последнія слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкій, дѣйствительно, училъ царскихъ дѣтей, и Алексѣй Михайловичъ былъ имъ доволенъ, даже самъ его разспрашивалъ о его „планидахъ“ да о разныхъ „комидійныхъ дѣйствахъ“.

— Такъ не тебѣ ли съ Никитою Пустосвятомъ да съ Лазаремъ поручить обученіе дѣтей пресвѣтлаго царскаго величества? — сказалъ онъ, сверкнувъ глазами.

— А хоть бы и намъ! Ересямъ бы не научили,—огрызнулся Аввакумъ.

— Да вы, невѣжды, запятой отъ кавыки не отличите, „ерокъ“ примете за „оксію“, „ису“ за „варію“...

— Зато смерть портомоей - прачкой не сдѣлаемъ, какъ вы, вѣжды, дѣлаете то! Сидѣли бы въ своей Хохлатчинѣ да вареники съ галушками ѣли!—снова оборвалъ протопопъ.—А то на! Лазарь, чу... Лазарь крѣпокъ въ вѣрѣ—онъ истинный учитель.

— Лазарь ругатель, а не учитель.

— Нѣтъ, учитель! Лазарь — истинный вертоградарь церковный, а не суется царскихъ дѣтей портить... Вотъ что!

Симеонъ Полоцкій не вытерпѣлъ. Какъ онъ ни былъ сдержанъ, но и его, наконецъ, взорвало. Онъ вскочилъ и, задыхаясь, сказалъ:

— Да какіе вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоградъ своими пяточками изрыли.

Оба Ртищева невольно засмѣялись. Старикъ такъ и покатился, даже за бока ухватился.

— Ха-ха-ха! Ну, отецъ протопопъ, наскочилъ же ты на тихоню!.. Ха-ха! пяточками весь вертоградъ изрыли... Н-ну сказалъ!—говорилъ онъ, не будучи въ состояніи удержаться отъ смѣху.

Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.

Аввакумъ не сразу нашелся что отвѣчать—такъ неожиданно было нападеніе со стороны „тихони“ Полоцкаго, и притомъ нападеніе въ духѣ самого Аввакума.

— Что жъ!—бормоталъ онъ, озадаченный нечаянностью:—ругатели-то не мы съ Лазаремъ, а онъ, песь лающій, ему же подобаеъ уста заградить жезломъ...

— Ну, и ты, отецъ протопопъ, скорѣ на отвѣтъ,—засмѣялся молодой Ртищевъ:—невѣсткѣ на отмѣстку...

— Не бойся, миленькой, въ карманъ за словомъ не полѣзу: въ карманѣ-то пусто, такъ на языкѣ густо,—самодовольно проговорилъ нѣсколько опомнившійся протопопъ.

— Я не съ вѣтру говорю, --- началъ, въ свою очередь, Симеонъ Полоцкій, подходя къ старику Ртищеву. — Вонъ его другъ, Лазарь, подалъ царю челобитную, и въ ней гниlostными словесы говорить, якобы въ церкви, на ектеніяхъ, поминаючи пресвѣтлое царское величество *тишайшимъ* и *кротчайшимъ*, симъ якобы ругаются ему, а „о всей палатѣ и воинствѣ“ онъ, Лазарь, въ челобитной своей гниlostловить, якобы здѣсь говорится не

о здравіи и спасеніи царя, его бояръ и воинства, а о нѣкихъ каменныхъ палатахъ...

— А какъ же! Палата — палата и есть! — снова накинудся на него Аввакумъ: — палата всегда и бываетъ каменная!

— О, невѣжда протопопъ! — невольно воскликнулъ Полоцкій: — „палата“ озачаетъ всѣхъ бояръ и близкихъ къ царскому величеству особъ: се есть образъ грамматическій и риторскій, именуемый *синекдохе*, еже различными образами бываетъ, егда едино изъ другаго конимъ либо обычаемъ познавается.

— Толкуй! Знаемъ мы ваши *синекдохи*...

И потомъ, неожиданно обратясь къ Морозовой, которая не спускала глазъ со спорящихъ и даже поблѣднѣла отъ волненія, Аввакумъ сказалъ:

— Видишь, Федосья Прокопьевна: они молятся какими-то *синекдохами*, а я молюсь моему Господу поклѣнами да кровавыми слезами, — и мнѣ съ ними кое общеніе? — яко свѣту со тьмою, Христу съ Велиаромъ!

Морозова потушилась, и краска вновь разлилась по ея нѣжному лицу.

— Ахъ, Дуношка милая! — говорила она потомъ вечеромъ своей сестрѣ, Урусовой: — какъ страшно они спорили! И разошлись яко пьяни...

VII.

Вѣздъ Брюховецнаго въ Моснву.

Послѣдняя неудачная попытка Никона воротить себѣ имъ же самимъ брошенный высокій постъ патріарха и утраченную любовь царя, а вмѣстѣ съ нею полную, почти автократическую власть надъ нимъ, надъ его боярами и надъ всею Россіею — шибко надломила этого гранитнаго человѣка, но однако не сломила окончательно. Какъ голодный тигръ, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей желѣзной клѣтки просунувъ лапу за добычей и получивъ по ней ударъ раскаленной желѣзной полосы, глухо рычитъ, забившись въ дальній уголъ своей тюрьмы, и силится расшатать ея связи, такъ и Никонъ, изгнанный изъ Успенскаго собора, какъ оглашенный, какъ простой попъ, затесавшійся не на свое мѣсто, лишенный даже посоха, чувствуя, что онъ получилъ ударъ отъ раскаленного царскаго скипетра прямо въ сердце, — силится не только расшатать основы имъ же самимъ созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею русскою землею.

— Я тряхну ими, тряхну этими бояришками такъ, что они розсыплются у меня, яко листь желтый съ осенняго древа, — часто бормоталъ онъ, ходя по пустымъ кельямъ своихъ монастырскихъ покоевъ.

По цѣлымъ днямъ иногда сидѣлъ онъ запершись въ своей молебнѣ, которая служила ему и бібліотекой, и, постоянно роаясь въ книгахъ, писалъ по цѣлымъ часамъ, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки изъ текстовъ священнаго писанія. Часто исписывалъ онъ цѣлыя кучи бумаги, откидывая въ сторону листь за листомъ: но потомъ на другой день, пе-

речитывая исписанные листы, сердито трясъ головою, рвалъ написанное и бросалъ въ печку.

— Не то, не то, — шепталъ онъ, глядя на чернѣющіеся и испепеляющіеся листы. — Кому озеро Лачъ, а мнѣ горькій плачъ... Али и я не сподобился острова Патмоса?... Нѣтъ, Не хочу! Не быть тому!

И онъ снова ходилъ по кельямъ, стуча посохомъ и поглядывая въ окна, словно бы онъ кого-то ждалъ. Иногда онъ останавливался передъ образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стономъ повергаясь на полъ и колотясь объ полъ головою. Но потомъ снова вскакивалъ и начиналъ писать до утомленія.

Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда онъ начиналъ оглядываться назадъ, то невольно шепталъ съ ужасомъ: „годы прошли, яко дни... жизнь прошла яко мигъ... о, Владыко Всемилостиве!“...

Ежедневно посѣщалъ онъ службу, почти не выѣшиваясь въ ходъ богослуженія, только иногда развѣ загремѣтъ съ своего возвышенія: „не торопись! — читай внятно!“ — и снова опирается на посохъ, и снова задумывается.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Прежде онъ наблюдалъ за всѣми работами какъ въ монастырѣ, такъ и внѣ его стѣнъ, а теперь, когда и весна пришла, зазеленѣлъ лѣсъ, покрылись зеленымъ бархатомъ молодыхъ всходовъ поля, загѣли птицы, зажужжали челы монастырскихъ бортей, безумно кричали грачи въ монастырской рощѣ, — онъ все оставался въ кельяхъ и, повидимому, не находилъ себѣ мѣста... Онъ ждалъ. Вся жизнь его, сонъ, бодрствованіе, молитва—все для него превратилось въ ожиданіе — ожиданіе острое, саднящее, горькое. Лицо его изъ блѣднаго стало блѣдно-восковымъ.

Часто въ городъ ѣздили его монахи и, по возвращеніи оттуда, непременно обязаны были заходить къ нему, чтобы доложить о томъ, что тамъ видѣли и слышали. А онъ, слушая эти доклады, молчалъ и только иногда переспрашивалъ или требовалъ поясненія того, что казалось ему неяснымъ.

Потомъ снова начиналъ рыться въ книгахъ, читалъ, дѣлалъ отмѣтки и писалъ по цѣлымъ часамъ. Въ это время онъ не впускалъ къ себѣ никого, и даже любимецъ его Иванушка Шушера, его крестonosитель, входилъ къ нему не иначе какъ по зову—когда слышалъ стукъ костыля въ стѣну сосѣдней кельи, въ которой Шушера помѣщался. Если съ наступленіемъ весны могло что-либо нарушить однообразіе его отшельнической жизни, такъ это ласточка, свившая гнѣздо въ одной изъ нишъ на вышнихъ переходахъ его келій. Разъ какъ-то, въ хорошій весенній день, сидѣлъ онъ на этихъ переходахъ, переносясь мыслью въ бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое дѣтство, когда, мальчикомъ, онъ жилъ въ монастырѣ Макарія Желтоводскаго и когда кудесникъ предсказалъ ему, что онъ будетъ „великимъ государемъ надъ царствомъ российскимъ“, припоминая и послѣдующее затѣмъ житіе его въ Анзерскомъ скитѣ, съ его суровою, почти могильною обстановкою, и пустынножителствомъ

свое въ Кожеозерскомъ скитѣ, и потомъ славную и свѣтлую жизнь въ Москвѣ, въ Новгородѣ, переносъ въ Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патріаршество... Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и въ углубленіи невысокой стѣны лѣпила свое маленькое гнѣздышко. Сначала онъ хотѣлъ-было костьюемъ своимъ уничтожить всю многодневную работу птички, но потомъ почему-то на мысль ему пришло сравненіе, что и онъ подобенъ этой жалкой ласточкѣ, что и у него всѣ его труды, всѣ начинанія его цѣлой жизни разметалъ по вѣтру чей-то костьюль—и онъ пощадилъ ласточкину работу. Когда, затѣмъ, гнѣздо было свито, онъ каждый день выходилъ на переходы, смотрѣлъ, какъ изъ гнѣздышка робко высовывалась блестящая, черная головка птички съ маленькими черными глазками, и ему какъ бы становилось легче. Въ глубинѣ души онъ чувствовалъ, что это было первое существо, которое онъ первый разъ въ жизни пощадилъ, не растопталъ ногами, не раздавилъ своимъ посохомъ... А онъ такъ много жертвъ раздавилъ на своемъ вѣку, такъ много проходило въ памяти его суроваго прошлаго растоптанныхъ, сосланныхъ, замученныхъ, такъ много слезъ людскихъ пролито по его непреклонной, безжалостной волѣ... Когда въ гнѣздѣ вывелись дѣти, онъ выходилъ смотрѣть, какъ мать кормила ихъ отъ зари до зари, таская то червячковъ, то мушекъ, и долго сидѣлъ неподвижно, наблюдая за этою страдою маленькой матери... И—странное, невиданное дѣло!—монахи иногда замѣчали издали съ глубокимъ удивленіемъ, какъ суровый патріархъ, въ отсутствіе ласточки, выносилъ изъ своей келіи мухъ въ горсти и кормилъ ими штенцовъ... Даже Иванушка Шупера замѣтилъ, что въ это время патріархъ сталъ какъ будто нѣсколько добрѣе, мягче, смотрѣлъ мевѣе мрачно. Затѣмъ, когда ласточки оперились и улетѣли изъ гнѣзда, Шупера видѣлъ, что патріархъ сталъ скучать, по цѣлымъ часамъ безмолвно сидѣлъ на переходахъ или забирался въ свою келью и шуршалъ бумагою.

Особенную озабоченность сталъ проявлять Никонъ въ концѣ лѣта, когда получилъ изъ Москвы какое-то извѣстіе. Онъ нѣсколько дней писалъ и уже не рвалъ и не жегъ написаннаго, а пряталъ за образъ Богородицы—„Утоли моя печали“, перенесенный имъ изъ церкви въ свою домашнюю божницу. Въ это время Шупера иногда слышалъ, какъ патріархъ разговаривалъ самъ съ собою:—„Одиннадцатое сентемврія... память преподобной Теодоры и Димитрія мученика... одиннадцатое... одиннадцатое... подожду одиннадцатаго“...

Что же такое могло быть 11-го сентября, и почему Никонъ рассчитывалъ на этотъ день?

А 11-го сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. Съ ранняго утра, отъ Серпуховскихъ воротъ вдоль земляного города до самой заставы и далѣе по серпуховской дорогѣ толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновеннаго. Сидѣльцы разныхъ торговыхъ рядовъ и линий, Охотный и Юхотный рядъ, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, рѣзники и свѣжерыбники, уличные разносчики и торговцы,

суконные фабричники и зипунники всевозможныхъ черныхъ работъ—все это валия валило за городъ, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, гдѣ валили сѣрыя волны двуногой Москвы, гулъ стоялъ невообразимый, особенно же, когда къ серпуховской заставѣ прослѣдовало нѣсколько сотенъ нарядныхъ стрѣльцовъ съ своими головами и полуголовами, а также нѣсколько взводовъ дѣтей боярскихъ, а за ними царскіе конюхи, которые вели подъ усты царскаго коня—сѣраго, нѣмецкаго, въ серебряномъ вызолоченномъ нарядѣ съ изумрудами и бирюзой, чепракъ турецкій, щитъ золотомъ волоченный по серебряной землѣ, сѣдло бархатъ золотный, — ушми прядеть по аеру. Скоро туда же прослѣдовали на нарядныхъ коняхъ царскій ясельничій Иванъ Желябужскій и дьякъ Григорій Богдановъ, а за ними дворовые люди и подъячіе изъ приказовъ, а также конюхи—нѣсколько сотъ человѣкъ.

Толпы москвичей особенно кучились за землянымъ городомъ на разстояніи перестрѣла. Тамъ, по обѣимъ сторонамъ дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрѣльцы, отливая на солнцѣ пурпуромъ своихъ кафтановъ и блестя вычищенными, какъ стекло, бердышами. Народъ напиралъ на это мѣсто колыхающею стѣною, но стѣна эта мѣстами прорывалась и какъ бы падала назадъ, когда, бодрясь на конѣ и покрикивая—„назадъ! осади назадъ, черти!“,—проѣзжалъ какой-либо окольный или сынъ боярскій, и колотилъ палкою по головамъ, по плечамъ и по лицу выдававшихся впередъ, или просто топталъ лошадью, бросая въ воздухъ крѣпкія, узловатыя московскія слова, словно бы у него за зубами былъ ихъ цѣлый складъ. Въ толпѣ при этомъ слышались крики и стоны, а рядомъ—взрывы хохота тѣхъ, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.

Когда къ этому мѣсту подъѣхали Желябужскій и Богдановъ съ подъячными, конюхами и наряднымъ царскимъ конемъ, вдали, по дорогѣ отъ Серпухова, показались двигающіяся толпы всадниковъ, огромный обозъ изъ каретъ и повозокъ, множество конныхъ и пѣшихъ, а въ хвостѣ, страшно поднимая пыль, медленно двигались кучи рослыхъ, красивыхъ воловъ, какихъ на Москвѣ и не видано.

Выждавъ сближеніе этой встрѣчной толпы, Желябужскій приосанился на сѣдлѣ и махнулъ шитой ширинкой. Толпа остановилась, а къ ней отъ Желябужскаго поскакалъ вершникъ съ бѣлою перевязью черезъ плечо. Здѣшняя толпа понAPERла такъ, что дрогнули было шпалеры стрѣльцовъ, но Желябужскій сыпанулъ на обѣ стороны, грузно поворачиваясь на сѣдлѣ, такіа крупныа, какъ кнутъ плетеный изъ междометій слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назадъ.

Встрѣчная толпа подъѣжала все ближе и ближе. Впереди, на ворономъ росломъ и широкогрудомъ аргамакѣ, гремя серебрянымъ уборомъ, ѣхалъ статный, дородный мужчина. уже немолодыхъ лѣтъ, съ черными висячими книзу усами и въ шапочкѣ съ перомъ, унизаннымъ каменьями, которые

горѣли какъ жаръ. Южный татарковатый типъ лица и лоснившаяся изъ подъ богатой шапочки гладко подбритая голова, кунтушъ съ расшитомъ золотомъ грудью и пурпуровыми отворотами, въ рукахъ серебряная палочка съ огромнымъ на концѣ золотымъ яблокомъ, утыканнымъ дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубьями огромной щуки,—вотъ что прежде всего бросилось въ глаза народу. За нимъ—три въ рядъ, потомъ два, далѣе четыре и нѣсколько другихъ рядовъ на коняхъ—въ такихъ же, какъ передній, но въ менѣе богатыхъ кунтушахъ, въ шапкахъ съ разноцвѣтными верхами, съ саблями и перначами въ рукахъ—все съ усами, а иные съ длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далѣе коляска съ попомъ и монахомъ. А тамъ—толпы пѣшихъ и конныхъ, на розахъ и при возахъ, и въ заключеніе—волы съ рогами, перевитыми разноцвѣтными лентами.

Народъ замеръ на мѣстѣ, дивуясь на невиданныхъ людей и на воловъ въ лентахъ.

Когда самый передній, что съ булавой въ рукѣ, приблизился къ Желябужскому, плотный и румяный съ русою бородою окольный медленно сошелъ съ своего коня, снялъ шапку и крикнулъ:

— Есть до тебя войска запорожскаго сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича съ старшиною рѣчь отъ великаго государя царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, и вы бы съ лошадей сѣли и шапки сняли,—произнесъ Желябужскій по наказу, медленно, громко, внятно, какъ на ектеньѣ въ церкви.

Все сошли съ лошадей и сняли шапки. Попъ и монахъ вышли изъ коляски и прошли впередъ. Народъ также обнажилъ головы.

— Божіею милостію,—продолжалъ Желябужскій тѣмъ же церковнымъ тономъ,—великій государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичъ и дѣтичъ, и наслѣдникъ, и государь, и облаадатель, жалую тебя, подданнаго своего, войска запорожскаго сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго съ старшиною, велѣлъ встрѣтить и о здоровьѣ спросить: здорово ли есте дорогою ѣхали? Бей челомъ о земь,—тихо подсказалъ онъ.

Брюховецкій поклонился до земли. За нимъ припала головою къ землѣ вся его огромная свита.

— Божіимъ произволеніемъ здоровы есмы, —отвѣчалъ Брюховецкій, подымаясь съ колѣнъ и встряхивая чубомъ, который перевѣсился было на лицо. Поднялись съ земли и встряхнули чубами все остальные.

— Кланяйся въ другорядъ и благодари!—подшепнулъ Желябужскій.

Брюховецкій поклонился вторично до земли. За нимъ поклонилась вся старшина; слышно было, какъ болѣе тучные изъ нихъ сопѣли: непривычно имъ было это московское кланянье—„вотъ земляка!“

— За спросъ о здоровьѣ благодаримъ премного его пресвѣтлое царское величество,—снова сказалъ Брюховецкій, вставая на ноги.

— Великій государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, — снова наладилъ Желябужскій, вѣдя окончательно въ роль, — вся Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣтичъ, и наслѣдникъ, и государь, и обладатель, его царское пресвѣтлое величество, жалую тебѣ, подданнаго своего, войска запорожскаго сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго, изволилъ къ тебѣ прислать съ своей царскаго величества конюшни коня, на коемъ тебѣ ѣхать на подворье.

По знаку дьяка стремлиной подвелъ сѣраго нѣмецкаго коня. Конь было заартачился, когда къ нему подступилъ Брюховецкій, фыркнулъ и поднялся на дыбы; но гетманъ сразу осадилъ его и очутился на сѣдлѣ, словно прикованный къ нему.

Совершивъ встрѣчную церемонію, поѣздъ Брюховецкаго двинулся въ городъ. По правую руку гетмана ѣхалъ Желябужскій, по лѣвую — Богдановъ, всѣ трое въ рядъ, только конь гетмана выступалъ впередъ на поголовы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь, иногда по трупамъ москвичей, окопничіе и дѣти боярскія со стрѣльцами. За гетманомъ слѣдовали, кромѣ переяславскаго протопопа и гетманскаго духовника, атаманъ гетманскаго куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральныхъ писаря, пять писарей канцелярскихъ, атаманъ писарскаго куреня, два генеральныхъ есаула и посланцы разныхъ полковъ, съ прислугою 313 человекъ. Подъ всѣми ими и подъ обозомъ было 670 лошадей — цѣлый огромный табунщикъ. Тутъ же особо везли въ даръ царю пушку полковую мѣдную, взятую у казаковъ измѣнниковъ, вели дорогаго арабскаго жеребца, покрытаго дорогого попоною, и гнали 40 воловъ чабанскихъ, красоты неописанной, съ развѣвающимися лентами на рогахъ. Толпы москвичей особенно тѣснились тамъ, гдѣ ѣхалъ самъ гетманъ, и въ хвостъ — гдѣ, поднимая облака пыли и меланхолически пережевывая жвачку, „ремегая“, шли красивые волы, словно „дѣвчата“ украшенные „стрѣчками“. Поѣздъ также замыкали стрѣльцы, дивуясь на воловъ и оттѣсняя толпы. Знакомый уже намъ стрѣлецъ со шрамомъ во всю щеку, только руками о полы бился, любуясь волами.

— Ужъ и волы же, братцы, знатные, степные, словно сами, хохлы, — говорилъ онъ товарищамъ.

— Что и говорить! И они, хохлы-те, какъ есть волами смотреть. Ишь увальни черномазые! Ну, народецъ! — подтверждали другіе.

Въ такомъ порядкѣ и сопутствуемый москвичами, толпы которыхъ прибывали какъ морскія волны въ бурю, поѣздъ прослѣдовалъ на посольскій дворъ, который и былъ оцѣпленъ стрѣleckими караулами. Несмотря на то, что любопытныхъ не только не впускали никого на дворъ, но даже гнали и колотили на улицѣ, москвичи, за неимѣніемъ въ то время другихъ общественныхъ зрѣлищъ, кромѣ крестныхъ ходовъ и кулачныхъ боевъ, не отходили отъ посольскаго двора, стараясь заглянуть въ ворота, въ окна

или просто глазѣя на крыши, а иногда — что удавалось не всѣмъ — на усающую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у котораго-либо изъ оконъ посольскаго дома.

А въ посольскомъ домѣ и на посольскомъ дворѣ шла необыкновенная возня съ размѣщеніемъ гостей, ихъ прислуги, пожитковъ, экипажей, лошадей и скота.

Не успѣли они разобраться, какъ Желябужскій, успѣвшій побывать во дворцѣ, явился оттуда съ цѣлою стаею дворской челяди, которая притащила изъ дворца отъ государева стола цѣлыя горы судковъ и блюды съ „ѣствою и питьемъ государевыми“. Войдя въ главную палату, куда вышелъ гетманъ съ старшиною, Желябужскій поклонился и началъ заученную рѣчь:

— Великій государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣтичь, и наслѣдникъ, и государь, и обладатель, тебя, подданнаго своего, войска запорожскаго сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго съ старшиною, жалую, прислать къ вамъ отъ своего государскаго стола ѣству и питье.

Гетманъ и старшина низко поклонились и благодарили, а дворская челядь тотчасъ же поставила столъ, накрыла его скатертью и стала ставить на столъ яствы и питья по росписи. Золото и серебро такъ и ломило огромный дубовый столъ.

Желябужскій, подойдя къ столу, налилъ большой серебряный ковшъ, какъ словно сосудъ съ дарами.

— Чаша великаго государя—царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и сѣверныхъ отчича и дѣдича, и наслѣдника, и государя, и обладателя! Дай, Господи, великій государь — царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ, и наслѣдникъ, и государь, и обладатель, здравъ былъ на многія лѣта!—провозгласилъ онъ и выпилъ ковшъ.

Гетманъ и старшина, повторивъ „многія лѣта“, также пили изъ рукъ Желябужскаго и потомъ сѣли за столъ. А Желябужскій, сѣвъ особо и вынувъ изъ-за пазухи бумагу, развернулъ ее и, подавъ стоявшему около него дяку, сказалъ: „Вычти вслухъ!“

— Великій государь—царь и великій князь Алексѣй Михайловичъ,— началъ дыкъ все съ того же утомительнаго титула,— всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ, и наслѣдникъ, и государь, и обладатель, жалую подданнаго своего, сее стороны Днѣпра войска запорожскаго гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго съ стар-

щиною, изволилъ указать поденнаго корму и питья къ выдачѣ, противъ посольскаго, съ надбавкою: гетману по хлѣбу грошевому да по два калача грошевыхъ на день. А старшинѣ по хлѣбу грошевому да по три калача двухденежныхъ. А людямъ ихъ по хлѣбу грошевому да по калачу трехденежному человѣку на день. Да гетману жъ и старшинѣ — по три гуся живыхъ, по семи гусей битыхъ, по трое утятъ живыхъ, по семи утятъ же битыхъ, по десяти зайцевъ, по десяти тетеревей, по пятидесяти куровъ живыхъ на день.

Гетманъ и старшины ѣли, молча переглядывались и серьезно слушали. Только нѣтъ-нѣтъ да и дернется у иного усъ отъ сдержанной улыбки.

— Да имъ же съ людьми,—продолжалъ дякъ,—по яловицѣ живой, по пяти яловицъ да по четыре стяга битыхъ, по пяти барановъ живыхъ, да по двадцати-пяти барановъ тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра безъ полутрети сметаны, по триста-пятьдесятъ штукъ яицъ, по пуду безъ полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети крупъ гречневыхъ, по чети гороху, по осминѣ муки пшеничной, а буде мало—давать по чети; по три ведра молока прѣснаго; на всякую мелочь по четыре гривны на день, а буде мало — ино давать по полтинѣ. А питья давать имъ указано...

При словѣ питья генеральный судья Петръ Забѣла, черный коренастый мужчина, многознаменательно переглянулся съ сидѣвшимъ противъ него переяславскимъ протопопомъ Григоріемъ Бутовичемъ и моргнулъ усомъ и лѣвымъ глазомъ по направленію къ генеральному писарю Захару Шійкевичу, красномордому, съ выпуклыми красными же глазами субъекту. Протопопъ лукаво улыбнулся. Шійкевичъ замѣтилъ эту улыбку и насупился.

— А питья давать имъ указано,—продолжалъ дякъ:—по шести чарокъ вина двойнаго на день, да гетману же вопче: по десяти кружекъ меду паточнаго, да по ведру пива сладкаго, да по ведру меду крѣпкаго, да по ведру пива добраго на день. А старшинѣ: по пяти чарокъ пива добраго, по двѣ кружки меду сладкаго, по двѣ кружки меду крѣпкаго, по четыре кружки пива добраго человѣку на день. А людямъ ихъ — по три чарки вина человѣку, а лучшимъ людямъ — по двѣ кружки меду да по двѣ кружки пива человѣку, а достальнымъ по двѣ кружки пива человѣку на день.

Дякъ остановился. Всѣ думали что онъ уже кончилъ, а онъ только передохнулъ, высморкался и продолжалъ:

— А въ постные дни рыбные ѣствы указано: гетману вопче—по шукѣ жпвой на парь, по одному лещу, по одному язю на парь, по одной шукѣ колодокѣ, по шукѣ ушной спячей, по полузвену осетрины, по полузвену бѣлужины, по шти гривенокъ икры на день и съ старщиною. Старшинѣ же—по лещику, по невеликому, по двѣ щуки въ уши, по два звена осетрины, по два звена бѣлужины человѣку на день. Людямъ же ихъ: на триста блюдъ рыбы всякія свѣжія, шукъ, окуней, язей, плотницъ, по два человѣка на блюдо...

Въ это время въ палату, гдѣ кушали гетманъ съ старшиною, вошелъ съдой высокой бояринъ, а за нимъ степенные ключники внесли что-то на огромномъ серебряномъ подносі, покрытое тафтою.

— Есть до тебя, войска запорожскаго. сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго съ старшиною, рѣчь отъ великой государыни—царицы и великой княгини Марьи Ильишны, и вы бѣ съ мѣстовъ встали,—провозгласилъ сѣдой бояринъ.

Всѣ встали. Всѣ невольно съ любопытствомъ косились на это что-то, покрытое тафтою.

— Великая государыня—царица и великая княгиня Марья Ильишна, ея царское пресвѣтлое величество,—продолжалъ сѣдой бояринъ, возвышая голосъ и поднимая голову,—жалую тебя, войска запорожскаго сее стороны Днѣпра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкаго съ старшиною, изволила прислать вамъ отъ своего государскаго стола сладкаго—лебедя сахаръ леденецъ, и вы бѣ того лебедя рушили и на здоровье кушали.

И по мановенію его ключички сняли тафу съ подноса. На подносѣ оказался бѣлый сахарный лебедь, граціозно изогнувшій свою длинную шею. Лебедя поставили передъ гетманомъ.

Церемонія съ обѣдомъ тянувшись очень долго, потому что кушанье въ было необыкновенное количество. Когда, наконецъ, украинцы встали изъ-за стола, генеральный судья Забѣла, вообще большой охотникъ до „жартъ“, показывая перяславскому протопопу на свой почтенный животъ, сдѣлать такой жестъ руками, что дескать теперь у меня послѣ московскаго угощенія хоть желѣзо на брюхѣ куй.

На это протопопъ отвѣчалъ изъ писанія: „не о хлѣбѣ единомъ живѣ
будетъ человѣкъ“—и перекрестилъ свой ротъ, памятуя другое писаніе, что
„не сквернить во уста, сквернить изъ устъ“.

VIII.

Сватовство гетмана.

Черезъ день послѣ прїѣзда гетмана съ старшиною въ Москву, былъ назначенъ прїемъ ихъ у великаго государя. Прїемъ былъ большой, почетный—посольскій: это—небывалая честь для подданныхъ.

Когда украинцы шли отъ благовѣщенской паперти къ Грановитой палатѣ, то передъ сѣнями Грановитой, по красному крыльцу, уступами по обѣ стороны, стояли жильцы въ терликахъ бархатныхъ и обтеринныхъ, чело-
 вѣкъ съ шестьдесятъ. А когда они подошли къ самымъ сѣнямъ Грановитой палаты, подъ шатеръ, то въ сѣнныхъ дверяхъ ихъ встрѣтили наря-
 женные къ тому столыиикъ и дякъ.

Государь принимал своих чубатых гостей въ Грановитой палатѣ, сидя на своемъ „царскомъ большомъ мѣстѣ“, на возвышеніи. Алексѣй Михайловичъ былъ въ царскомъ вѣнцѣ, въ діадемѣ и со скипетромъ въ рукѣ.

По бокамъ его стояли рынды, юныя, свѣжія лица которыхъ не затемненныя даже юношескимъ пушкомъ на подбородкахъ и надъ верхними губами, представляли что-то смягчающее, привѣтливое среди собранія съдобородыхъ и просто бородатыхъ бояръ, окольныхихъ и думныхъ людей, сидѣвшихъ на длинныхъ скамьяхъ неподвижно, угрюмо, словно истуканы, въ своихъ золотыхъ ферезяхъ.

Гости были спрошены про здоровье съ тѣми же церемоніями, какъ и при встрѣчѣ, но еще съ большею торжественностью.

— Здорово ли есте живете?—прогремѣло послѣ царскаго титула, такъ, что нѣкоторые изъ украинцевъ вздрогнули, а веселый и жартливый Забѣла, если бы его лично спросили, здоровъ ли онъ въ этотъ моментъ, едва ли бы не сказалъ, что онъ нездоровъ—такъ что-то стало ему не-по-себѣ отъ этой пышной, подавляющей обстановки.

Затѣмъ повели ихъ къ цѣлованію руки. Неровно, неувѣренно двигались по ковру, словно бы ступали по горячимъ угольямъ, казацкія ноги въ красныхъ, голубыхъ и желтыхъ „сальянцахъ“, подходя къ „большому мѣсту“, одна за другой, припадая на колѣно, нагибались бритыя, отливавшія синевой и сивизной, головы съ хохлами и робко, пересохшими губами, прикладывались къ лежавшей на бархатной подушкѣ бѣлой, мягкой и пухлой рукѣ, на которой незамѣтно было даже жилъ. Забѣла, прикладываясь и боясь уколоть эту нѣжную руку своими шетинистыми усами, которыми онъ когда-то безжалостно кололъ розовыя губки своей Гали, одно замѣтилъ на этой нѣжной рукѣ—чернильное пятнышко сбоку перваго сустава средняго пальца... „Это слѣды новаго закона, либо смертнаго приговора“, промелькнуло въ бритой головѣ генеральнаго судьи.

Потомъ являли гетманскіе поминки — представляли привезенные царю подарки: пушку полковую мѣдную, отбитую у измѣнниковъ казаковъ, булаву серебряную измѣнника наказаннаго гетмана Ясенка, жеребца арабскаго и сорокъ воловъ чабанскихъ въ лентахъ.

А потомъ откланивались, проходили по рядамъ новыхъ бородачей, спускались съ лѣстницъ среди какихъ-то живыхъ статуй, и только тогда опомнились, когда на площади ярко блеснуло солнце, и показалась синія даль, тянувшаяся на югъ, туда, гдѣ цвѣтетъ красная Украина...

Въ это время мимо нихъ проѣзжала богатая карета, запряженная шестеркою цугомъ. Окна кареты были завѣшаны пунцовой тафтой. Когда карета поровнялась съ гетманомъ, тафта немножко отодвинулась съ краю, и изъ-за нея выглянуло женское личико съ розовыми щеками и вздернутымъ носикомъ. Черные глаза гетмана встрѣтились съ глазами—не то сѣрыми, не то черными, смотрѣвшими изъ-за тафты, но такими глазами, что гетманъ невольно попятился...

— Ахъ, матыньки!—ахнуло это что-то за тафтой—и спряталось.

Гетману весь день потомъ мерещились эти глаза и слышалось это „ахъ, матыньки“. Мерещилось и на другой день, и на третій, несмотря на то, что дѣла у него было по горло, такъ что, наконецъ, Желябужскій, со-

стоявшій въ приставахъ при украинскихъ гостяхъ, замѣтилъ задумчивость гетмана и спросилъ о ея причинахъ. Они были наединѣ.

— Надумалъ я бить челомъ великому государю, — только бѣ кто мое челобитье государю донесетъ? — нерѣшительно отвѣчалъ Брюховецкій, не глядя въ глаза своему собесѣднику.

— А о чемъ твое челобитье? — спросилъ Желябужскій.

— Пожаловалъ бы меня великій государь — велѣлъ жениться на московской дѣвкѣ... пожаловалъ бы государь — не отпускалъ меня не жена, — отвѣчалъ гетманъ потупясь.

У Желябужскаго дрогнули углы губъ, и голубые глаза его прищурились, чтобы скрыть ненужный и излишній блескъ.

— А есть ли у тебя на примѣтѣ невѣста? — спросилъ онъ.

Гетманъ вскинулъ на него глазами, хотѣлъ было отвѣчать, но какъ бы не рѣшался, потому что въ это время у него такъ и пропѣло въ ушахъ: „ахъ, матыньки!“

— Такъ нѣтъ на примѣтѣ? — переспросилъ приставъ.

— На примѣтѣ у меня невѣсты нѣтъ, — отвѣчалъ, наконецъ, застѣнчивый женихъ, глядя въ окно.

— А какую невѣсту тебѣ надобно: дѣвку или вдову?

— На вдовѣ у меня мысли нѣтъ жениться... Пожаловалъ бы меня великій государь — указалъ, гдѣ жениться на дѣвкѣ.

Гетманъ замолчалъ. Ему, повидимому, хотѣлось что-то высказать, но не хватило рѣшительности, а Желябужскій упорно молчалъ.

— Видѣлъ я одну — не знаю дѣвка, не знаю мужняя жена — когда выходилъ наемднн изъ дворца, — началъ, наконецъ, Брюховецкій. — Изъ кареты глядѣла...

— А! Занавѣсъ лазоревая тафта? — спросилъ приставъ.

— Лазоревая.

— Знаю. То ѣхала сѣнная царицына дѣвка, князя Димитрія Алексѣича Долгорукова дочка... Глазаста гораздо?

— Точно, глазаста.

— Такъ она. Что жъ! Дѣвка хорошая и роду честнаго. Али приглянулась? — улыбнулся хитрый москаль.

— Приглянулась... лицомъ бѣла и румяна, — говорилъ гетманъ застѣнчиво.

— Что жъ, доложусь великому государю: попытка не пытка, а спросъ не кнутъ.

„Эка!“ — подумалъ гетманъ: — „и пословицы-то у нихъ, москалей, страшныя какія — кнутъ да пытка“.

— А женась, — продолжалъ онъ вслухъ, — стану я бить челомъ великому государю, чтобы пожаловалъ меня на прокормленіе вѣчными вотчинами поближе къ московскому государству, чтобы тутъ женѣ моей жить. И по смерти бы моей эти вотчины женѣ и дѣтямъ моимъ были прочны.

Желябужскій обѣщалъ доложить.

— А ты почему знаешь, что то была Долгорукова дочка?—спросилъ гетманъ.

— А наверху у царицы сказывали: испужалась, говорить.

— А чего насъ пужаться? (Брюховецкій старался подлаживаться подъ московскую рѣчь).

— Ужъ такое ищее дѣвичье дѣло: коли дѣвка испужалась добра молодца, ахнула—это знакъ, что онъ ей приглянулся: вотъ схватить-де да унести, — улыбался приставъ.

Гетману, видимо, нравились эти слова, и онъ съ удовольствіемъ крутилъ свой черный усъ, сожальтя только, что въ немъ пробивалась проклятая сѣдина.

Но у Желябужскаго въ умѣ было еще и другое. Онъ не зналъ только, какъ приступить къ тому, зачѣмъ пришелъ и о чемъ хотѣлъ выпытать у Брюховецкаго. Дѣло въ томъ, что сегодня утромъ въ малороссійскій приказъ привели одного человѣка, взятаго караульными стрѣльцами въ то самое время, когда онъ старался тайкомъ уйти изъ посольскаго двора, гдѣ помѣщался гетманъ съ своею огромною свитою. Въ то время въ Москвѣ изъ политической предосторожности наистрожайше было соблюдаемо, чтобы въ бытность пословъ или другихъ иноземныхъ гостей на Москвѣ никто изъ москвичей не ходилъ на посольскій дворъ, кромѣ приставленныхъ къ тому приставовъ. Это дѣлалось, конечно, изъ ложнаго страха, что эти посѣтителы могутъ выболтать иноземцамъ какія-нибудь государственныя тайны или же, скорѣе, нагородить всякаго вздору, или, въ свою очередь, могутъ наслушаться отъ иноземцевъ какого-нибудь „дурна“, а то и будутъ подкуплены ими для какихъ-либо интригъ и всякой „неподобной вещи“. Для этого въ наказахъ приставамъ весьма пространно объяснялось, какъ они должны были вести себя съ иноземцами, что дѣлать, что отвѣчать на всѣ ихъ вопросы. И Желябужскому вмѣнено было, между прочимъ, въ обязанность:

„А буде гетманъ и старшина учнутъ тебя, Ивана, спрашивать: какъ-де нынѣ великій государь съ цесаремъ римскимъ и съ турецкимъ салтаномъ, и съ шахомъ персикимъ, и съ крымскимъ ханомъ, и съ аглицкимъ, и со французскимъ, и съ дацкимъ, и со свейскимъ королемъ, и съ галанскими владѣтели? И тебѣ, Ивану, говорить: цесарь-де римской, и турецкой салтанъ, и персикой шахъ съ царскимъ величествомъ въ ссылкѣ, послы-де и посланники межъ ими великими государями ходятъ. А съ крымскимъ-де ханомъ нынѣ царское величество въ миру жъ и въ ссылкѣ; только бусурмане-де николи въ своей правдѣ не стоятъ.

„А буде спросятъ: есть-ли-де у царскаго величества ссылка съ папою римскимъ? И тебѣ, Ивану, говорить: съ папою-де римскимъ у царскаго величества ссылки не бывало и сылатца-де съ нимъ не о чемъ.

„А буде учнутъ спрашивать о иныхъ какихъ дѣлахъ, чего въ наказѣ не написано, и тебѣ, Ивану, отвѣтъ держати, смотря по дѣлу, и говорить острегательно, чтобъ государеву имени было къ чести и къ повышенью, а въ большія рѣчи съ ними не входить“.

О всѣхъ приходящихъ на посольскій дворъ Желябужскому было наказано: „А того бережь тебѣ, Ивану, накрѣпко, съ большимъ остерегаемъ: буде которые боярскіе люди или чьи-нибудь, русскіе или полоненники, или нѣмцы, или кто изъ русскихъ людей придутъ къ посольскому двору и похотятъ итти на посольскій дворъ, или кто съ гетманомъ или его людьми тайно учнетъ о чемъ говорить, и тебѣ, тѣхъ людей пождавъ, какъ отъ двора пойдутъ, велѣтъ поймать тайно и присылать въ малороссійской приказъ“.

На этомъ основаніи утромъ и взять былъ одинъ человѣкъ, который приходилъ зачѣмъ-то на посольскій дворъ, и отведенъ въ малороссійскій приказъ для допроса. Въ приказѣ онъ, повидимому, показалъ не все, а говорилъ, что просился у гетмана, чтобъ гетманъ взялъ его съ собою въ Малороссію, что оттуда онъ хочетъ пройти къ святымъ мѣстамъ, но что гетманъ безъ царскаго указа взять его съ собою не рѣшается. Задержанный тѣмъ болѣе казался подозрительною личностью, что называлъ себя патріаршимъ человѣкомъ и, въ качествѣ родственника Никона, жилъ у него въ монастырѣ въ числѣ другихъ дѣтей боярскихъ. Вообще дѣло это казалось слишкомъ серьезнымъ—дѣломъ большой государственной важности, чтобъ не обратить на него вниманія.

Вотъ это-то обстоятельство и нужно было выяснять Желябужскому. Своимъ полицейскимъ нюхомъ онъ угадывалъ, что тутъ крылся подвохъ, тайна, что тутъ была подсылка со стороны страшнаго Никона, а для чего-этого отъ задержаннаго человѣка не могли добиться. Въ руки властей попалась ниточка отъ какого-то большого клубка, и всѣ убѣждены были, что клубокъ этотъ—тамъ, за стѣнами Воскресенскаго монастыря, и прикрытъ патріаршимъ клубкомъ; но ниточка обрывалась въ самомъ началѣ и до клубка по ней никакъ нельзя было добраться: обрывалась эта ниточка на посольскомъ дворѣ, въ палатѣ самого гетмана.

И вотъ Желябужскій пришелъ ловить у гетмана кончикъ проклятой нитки.

— А не докучаютъ ли тебѣ, Иванъ Мартыновичъ, московскіе люди?—заговорилъ онъ издалека.

— Чѣмъ они мнѣ докучать могутъ?—съ удивленіемъ посмотрѣлъ гетманъ.

— А вонъ все глазѣютъ на васъ, черкаскихъ людей.

— А нехай ихъ глазѣютъ,—равнодушно отвѣчалъ Брюховецкій, глядя въ окно на улицу, на которой дѣйствительно толкались москвичи, и не смотря на то, что стрѣльцы колотили ихъ то кулаками, то прямо алебардами, палили глаза на посольскія окна.

— А то и къ вамъ на дворъ лѣзутъ,—дальше закидывалъ приставъ.

— Нехай лѣзутъ.

— А коли что своруютъ?

— Нѣтъ, мои хлопцы не дадутъ.

— Гдѣ не дать! Вонъ нонѣ взяли одного: сказываетъ, патріаршій

человѣкъ... къ тебѣ-де, гетману, приходилъ... А кто его вѣдаетъ, съ чѣмъ онъ приходилъ.

— Это точно—приходилъ одинъ: сказывалъ, что у святѣйшаго патріарха живеть, и просился со мною; а я ему сказалъ, что безъ указу великаго государя того мнѣ сдѣлать немочно.

— И то ты, гетманъ, Иванъ Мартыновичъ, учинилъ хорошо, остерегательно, и за то тебя великій государь похвалить,—сказалъ Желябужскій одобрительно.—А за какимъ дѣломъ онъ просился съ тобой?

— Сказывалъ—на Аеоны горы похотѣлъ идти молиться да въ Царьградъ, да къ гробу Господню.

— А не сказывалъ что отъ патріарха?

— Не сказывалъ.

— Воровское онъ затѣялъ дѣло,—сказалъ, помолчавъ, Желябужскій:— не своей онъ волей пришелъ, а патріархъ его подослалъ подъ тебя.

— А для чего? На что я ему?

— Богъ его вѣдаетъ: у великаго государя съ патріархомъ остуда учинилась, патріархъ съ Москвы шелъ самовольно, и того дѣлать ему не довелось.

Гетманъ задумался. Онъ тоже сообразилъ, что Никонъ подсылалъ къ нему своего родственника не даромъ; но съ какою цѣлью — онъ рѣшительно не могъ понять. Желябужскій понималъ болѣе: онъ видѣлъ, что не въ гетманѣ нуждался Никонъ, что главная цѣль патріархова посланца — выбраться подъ покровомъ гетмана изъ Москвы; слѣдовательно, у патріарха составилась какой-то планъ, осуществленіе котораго возможно было въ предѣлахъ московскаго государства. Желябужскій, такимъ образомъ, напалъ на слѣдъ, и по этому слѣду онъ надѣялся, рано ли, поздно ли, найти то, чего онъ искалъ: это-то и должно было совершиться посредствомъ разматыванія клубка, который всѣхъ беспокоилъ.

— Такъ испужалъ дѣвку? — улыбаясь спросилъ онъ, докончивъ нить своихъ размышленій.

— Испужалась, точно, такъ и ахнула, — отвѣчалъ гетманъ, тоже улыбаясь.

Въ тотъ же вечеръ во дворцѣ, на царицыной половинѣ, говорили, что гетманъ сватается за Оленушку, княжну Долгорукую, дочь князя Дмитрія Алексѣича. Сватовство это произвело необыкновенный переполохъ на женской половинѣ. Видано ли, чтобы московская боярышня выходила замужъ за черкашенина! Да этого не бывало, какъ и свѣтъ стоитъ. Между тѣмъ, слышно, что самъ царь былъ сватомъ, и что отецъ невѣсты далъ свое согласіе.

— А что она, голубушка?—спрашивала Морозова, ученица и поклонница Аввакума, находившаяся въ то время въ своей мастерской палатѣ вмѣстѣ съ неразлучною своею сестрою, княгинею Урусовою.—Что Оленушка? — волновалась хорошенькая боярыня, обращаясь къ утконодой Авдѣиѣ, мамушкѣ царевны Софьи.

— Поплакала маленько, родная,—нельзя же,—отвѣчала мамушка.

Въ это время вошла въ палату, гдѣ работала Морозова съ сестрой, та самая хорошенькая рожца, что во время шествія гетмана съ старшиною изъ дворца выглядывала въ окно кареты изъ-за пунцовой тафты. Рожца казалась заплаканною. Большіе, свѣтлые, не то совсѣмъ черные, не то сѣрые глаза нѣсколько поприпухли. Морозова бросилась къ ней и обняла ее.

— Здравствуй, моя глазунья дорогая!—нѣжно сказала она.—Что-й-то они у тебя, камни-то самоцвѣты, кажись, заплаканы?—спрашивала она, цѣлуя въ глаза пришедшую.—Асиньки?

Пришедшая снова заплакала, уткнувшись носомъ въ плечо Морозовой.

— Ну, полно же, полно, свѣтикъ!—утѣшала она.—Мы слышали судьбу твою... Что жъ—суженой! А ты только, Оленушка, Богу молись...

— Стерпится—слюбится... На то хмель, чтобъ по дубу виться,—философствовала мамушка,—на то дубъ, чтобъ хмелинушку держать.

Заплаканная дѣвушка, утеревъ рукавомъ бѣлой сорочки слезы, улыбнулась.

— Да ты-то его, Оленушка, видѣла? — спросила Урусова подходя къ ней.

— Видѣла, сестрица,—отвѣчала та.

— Ой-ли! гдѣ? когда?

— Онамедни... ѣхала я отъ батюшки сюда,—начала-было дѣвушка и остановилась, потому что на глазахъ ея опять показались слезы.

— Ну, ѣхала?—подсказывала ей Морозова.

— Ѣхала это я... а они идутъ... отъ великаго государя шли... руку цѣловали... А я ѣхала.

Оленушка опять остановилась.

— Да сказывай же, глазунья!—наставала Морозова:—ѣхала да ѣхала!

— Ѣхала я, а они идутъ...

— Слыхали ужъ это!

— А я выглянула... а онъ на меня...

— Охъ, батюшки!—испуганно шептала Урусова.

— Ну-ну! Не мѣшай ты, Дуня,—волновалась Морозова.

— Онъ и увидалъ меня.

— А ты ево?

— И я ево.

— Ну, какой же онъ изъ себя?

— Я со страху и не разглядѣла... черный... бритый... глаза...

— А сказываютъ, онъ своей землѣ, у черкасъ, все одно, что царь,—замѣтила Урусова.

— И батюшка сказывалъ,—подтвердила Оленушка.

— А какимъ крестомъ онъ крестится, милая? — спросила серьезно Морозова.

Батюшка сказывалъ, что по нашему,—отвѣчала невѣста.

— Ой-ли, свѣтнкѣ!—усомнилась Морозова.—Вонъ протопопъ Аввакумъ сказывалъ, что они, черкасы-то, щепотью крестятся.

— А какъ же у нихъ, въ Кеивѣ, угодничи-то печерскіе почиваютъ?—усомнилась съ своей стороны Урсова.—Коли бы они были не нашей вѣры, у нихъ бы угоднички не почивали.

— Такъ и батюшка сказывалъ,—подтвердила Оленушка.

Видно, что „батюшка“ для нея былъ авторитетъ неоспоримый: что сказалъ отецъ—то свято и вѣрно. Притомъ же и само сердце подсказывало ей, что не въ щепоти дѣло. Оно билось и страхомъ чего-то невѣдомаго, и какою-то тайною радостью. Да и то сказать: гетманъ былъ и не страшень, какъ сразу ей показалось; она ахнула отъ нечаянности и стыда: шутка ли, мужчина, да еще черкашенинъ, увидалъ дѣвку на улицѣ! и дѣвка глядѣла на него—срамъ да и только! А она успѣла замѣтить, что этотъ черкашенинъ молодцомъ смотреть—такіе усы, да и бороды нѣтъ; а то всѣ бояре, которыхъ она видѣла—всѣ бородатые, и всѣ на батюшку похожи... Только одно страшно—сторона далекая, незнакомая...

И въ головѣ Оленушки сама собой заняла горькая мелодія свадебнаго причитанья по русской кося:

Ужъ вставайте-ко, мои подруженьки,
Ужъ вставайте-ко, мои лебедушки,
Заплетите-ко мнѣ русу косыньку,
Русу косыньку, мелку-трубчату,
Не во сто мнѣ прядей и не въ тысячу,
Заплетите мелку-трубчату,
Ужъ впервые ли и въ остаточки...

И Оленушка снова заплакала, закрывъ лицо бѣлымъ рукавомъ.

Въ комнату вбѣжала маленькая царевна и бросилась къ Морозовой.

— А я всѣ урки выучила, и больше выучила, какъ Симеонъ Ситиановичъ мнѣ задалъ,—радостно говорила она.—Завтрѣ онъ меня похвалить.

— Вотъ и хорошо, государыня царевна,—отвѣчала Морозова, лаская бойкую дѣвочку.

— Ну, такъ теперь и пастилы можно дать?

— Можно, можно.

Увидавъ заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась къ ней.

— Ты объ чемъ, Оленушка, плакала?—спросила дѣвочка.

Оленушка не отвѣчала, а только смущенно опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрѣла на свою мамушку.

— Это ты ее?—спросила она.

— Что-й-то, царевнушка! все я, да я!—защищалась толстуха.—Оленушку замужъ отдають.

— Замужъ! за кого?

— Вонъ за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку цѣловалъ.

— А! я его видала съ переходовъ—точно ляхъ.

И дѣвочка съ участіемъ подошла къ Оленушкѣ...
— Не плачь, Оленушка,—сказала она,—вонъ Симеонъ Ситіановичъ
сказываетъ—у нихъ, у черкасовъ, говорить, лучше жпть—веселѣе...
Въ это время кто-то торопливо говорилъ у дверей:
— Государыня-царица, государыня царица идетъ...

IX.

Смута въ Соловкахъ.

Такимъ образомъ, ни 11-е сентября, ни послѣдующіе затѣмъ дни, на которые Никонъ возлагалъ тайныя надежды, не оправдали этихъ надеждъ. Подосланный имъ къ гетману вѣрный человѣкъ, Ѳедотка Марисовъ, двоюродный племянникъ патріарха, воротился ни съ чѣмъ. Ѳедотка не только не убѣдилъ гетмана взять его съ собою, но своимъ появленіемъ на посольскомъ дворѣ возбудилъ серьезныя подозрѣнія властей, и хотя ничего лишняго не сказалъ на допросѣ въ малороссійскомъ приказѣ, однако, накиннулъ сильную тѣнь на самое поведение патріарха. При всемъ томъ Никонъ не падалъ духомъ и не терялъ надежды. Природа надѣлила его слишкомъ большою живучестью—живучестью мощнаго духа, а желѣзная воля закалилась съ дѣтства, крѣпчая годъ-отъ-году съ того самаго момента, когда его, голоднаго, холоднаго и босого ребенка, злая мачиха столкнула въ погребъ, и когда онъ, наэлектризованный фанатическою проповѣдью желтоводскаго старца, наложилъ на себя обѣтъ суроваго подвижничества. Дойдя потомъ на своихъ собственныхъ ногахъ до высочайшей ступени человѣческой власти, онъ самъ увѣровалъ въ провиденціальность своей судьбы надъ русскою землею и глубоко вѣровалъ, что не люди, а только Богъ, возведшій его на эту превысочайшую степень, и можетъ свести его оттуда своею десницею, или возвести еще выше. Онъ ждалъ только указанія свыше—и указаніемъ этимъ онъ считалъ перстъ Божій, который прошлую зиму въ видѣ звѣзды хвостатой грозился на кого-то съ неба. Но на кого? Никонъ глубоко вѣрилъ, что не на него, а на его враговъ.

Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Онъ понималъ только, что провидѣніе повелѣваетъ ему ждать. И онъ ждалъ, но ждалъ не пассивно, что было не въ его натурѣ. День-за-днемъ, при посредствѣ своихъ монаховъ и тайныхъ друзей, онъ слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось въ Москвѣ. Онъ видѣлъ, что тамъ ждали чего-то и въ ожиданіи занимались текущими дѣлами. Гетманъ все оставался въ Москвѣ, сватался, а потомъ собирався жениться. Слѣдовательно, раньше слѣдующаго года или раньше святокъ нельзя было и думать о его выѣздѣ въ Малороссію.

Дни тянулись за днями, какъ тѣ тяжелыя, свинцовыя и холодныя тучи, которыя ползли на востокъ и которыя созерцалъ патріархъ, хотя по переходамъ своихъ келій и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнѣздо.

„Придетъ снова весна, и оно будетъ не пустое“, думалось ему, и при этомъ само собой это чернильное птичье гнѣздышко сопоставлялось съ покинутымъ въ Москвѣ патриаршимъ престоломъ, который теперь тоже пустъ, но для котораго, какъ и для гнѣзда ласточки, снова наступитъ весна, и онъ не будетъ сиротствовать.

Непріятно волновали его другія вѣсти, приходившія изъ Москвы. По этимъ вѣстямъ можно было думать, что тамъ опять начинаютъ поднимать голову тѣ силы, которыя Никонъ считалъ давно сломанными его мощною рукою, далеко разсыянными и присыпанными морозною пылью далекой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды цѣлой жизни Никона, отрепеніями старины забрасывали работу рукъ его, кричали на всю Москву о возвратѣ къ старому. И Москва, повидимому, возвращалась къ старому, отворачиваясь отъ дѣла Никона и отъ него самого. За Аввакумомъ уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голосъ Аввакума доходилъ до палатъ боярскихъ. Боярскія и княжескія жены шли за Аввакумомъ, какъ за пророкомъ. Морозова и Урусова—царицны любимицы—стали духовными дочерьми Аввакума. А Никонъ забывается.

И не одна Москва съ голоса Аввакума лаетъ на Никона и на его работу: по всей русской землѣ завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и въ Соловки: и тамъ не хотятъ принимать новыхъ книгъ, напечатанныхъ Никономъ. А Соловки—это вѣчевой колоколъ всей старой Руси.

Возвращавшіеся изъ Соловокъ богомольцы сказывали, что соловецкіе старцы въ одинъ голосъ кричатъ:

— По святой Руси ходить ересь пестровѣриная: опестрилъ тою ересью Никона Арсентій грекъ, а Никонъ опестрилъ ересью всѣ книги, всю русскую землю. Онъ-де самъ въ Успенскомъ соборѣ каялся народу: окоростовѣлъ-де я коростою ереси, и та короста отъ меня паде на васъ, и вы всѣ окоростовѣли отъ меня.

Дѣйствительно, въ Соловкахъ было далеко не спокойно. Волненія начались тамъ еще въ 1657 году, когда Никонъ былъ на патриаршествѣ. Въ Соловки присланы были новыя богослужебныя книги никоновскаго изданія. Слухи о присылкѣ „новыхъ“ книгъ произвели такое смятеніе въ стѣнахъ монастыря и по всѣмъ его усольямъ, какъ будто бы на святую обитель напала орда и хочетъ монастырь разрушить до камня, а братію истребить до послѣдней ноги. Въ виду такого страшнаго дѣла, архимандритъ созвалъ „черный соборъ“. У всѣхъ на лицахъ выражались ожиданіе и страхъ.

Вынесли книги, положили на столъ.

— Смотрите, отцы и братія, каковы книги,—взывать архимандритъ,—а я уже старъ и слѣпъ: можетъ, чего не догляжу.

Заскрипѣли и защелкали мѣдныя застѣжки книгъ подъ грубыми ладонями янковокъ, болѣе привыкшихъ рыбу солить да дрова рубить, чѣмъ книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага подъ непривыч-

ными пальцами. Рокуют старцы, усердно, до поту роются — и литеры-то новыя, безъ загогулинъ и завитковъ, и титлы-то кривобоки, и заставки-то съ киноварью не тѣ, и все не на своемъ какъ будто мѣстѣ — не знаешь, гдѣ его искать, какъ и читать: то „Отче нашъ“ не на своемъ мѣстѣ, то въ „Богородицѣ“ *буки* не съ такою заставкою, то „Помилуй мя Боже“ не отыщешь — застряло гдѣ-то. Вѣда да и только! Въ старыхъ книгахъ знаешь, гдѣ что искать — листы сами открываются тамъ, гдѣ захочешь: нужно тебѣ „Блаженъ-мужа“ — онъ тутъ какъ тутъ, понадобилось „Вскую шаташася“ — и оно подъ рукой. А тутъ нищи его, а коли найдешь, такъ не прочтешь — литеры не тѣ, новыя, и *ижица* не та, и *омита* съ какими-то лапками...

— Отцы и братія! — кричитъ одинъ инокъ: — въ символѣ вѣры, чу, *азъ* выкинули!

— Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынскія онѣ! — кричитъ другой.

Черный соборъ заволновался. Выступили ученые старцы, попы и дьякона.

— Отцы и братія! стойте на старыхъ книгахъ. По нимъ мы учены и къ нимъ привыкли, а къ новымъ поздно привыкать.

— Поздно! поздно! Мы, старики слѣпые, и по старымъ книгамъ очердею своихъ недѣльныхъ держать не сможемъ, а по новымъ-то на старости лѣтъ учиться не можемъ да и некогда: что учено было, и того мало видимъ, а по новымъ книгамъ намъ, чернецамъ коснымъ, неперемчивымъ и грамотѣ ненавичнымъ, сколько ни учиться, не навикнуть.

— Долой новыя книги! — кричала братія.

— Въ огонь ихъ, въ море!

— Помолчите, отцы и братія! — завопилъ новый ораторъ, выступая изъ толпы: — дайте слово сказать. Послушайте вы меня, стараго: коли попы станутъ читать и пѣть по новымъ книгамъ, и мы отъ нихъ причащаются не будемъ — померемъ и такъ, а вѣрѣ не измѣнимъ. А коли на отца нашего, на архимандрита, придетъ какая кручина, либо жестокое повелѣніе, и намъ всюю братьею бить за него челомя своими головами, стоять всѣмъ за одно до смерти.

— Ладно! Стоять до смерти! — заревѣлъ черный соборъ. — Не выдавать архимандрита!

Архимандритъ стоялъ у стола, положивъ дрожащую руку на книгу новой печати. По впалымъ и сморщеннымъ щекамъ его катились слезы.

— Братія и всѣ православные христіане! — говорилъ онъ дрожащимъ голосомъ. — Видите, братія, послѣднее время: встали новые учителя и отъ вѣры православной, и отъ отеческаго преданія насъ отвращаютъ и велѣтъ намъ служить на лѣцкихъ крыжахъ по новымъ служебникамъ. Помолитесь, братія, чтобъ насъ Богъ сподобилъ въ православной вѣрѣ умереть, какъ и отцы наши! А я на то пошелъ — умру за святой *азъ*.

Черный соборъ заревѣлъ почти въ одинъ голосъ:

— Намъ латынской службы и еретицкаго чина не надо! Не приня-

маемъ! Причащаться отъ еретичкой службы не хотимъ и тебя, отца нашего, не выдадимъ!

Два-три голоса возвысились было въ пользу новыхъ книгъ.

— А!—застоналъ черный соборъ:—хотите латынскую еретичскую службу служить! Живыхъ изъ трапезы не выпустимъ!

Новыя книги такъ и не были приняты. Въ 1666 году, когда Никонъ, сидя въ Воскресенскомъ монастырѣ, томился ожиданіемъ и неизвѣстностью, изъ Москвы посланъ былъ въ Соловки спасскаго ярославскаго монастыря архимандритъ Сергій съ царскимъ указомъ, грамотами и наказомъ архіерейскаго собора—привести соловецкую братію къ повиновенію. Сергій собралъ черный соборъ, предъявилъ указъ и грамоты. Невобразимый шумъ и крики заглушили его слабый голосъ.

— Указу великаго государя мы послушны и во всемъ ему повинуемся!—выдѣлились отдѣльные голоса изъ толпы:—а повелѣнія о символѣ вѣры, о сложеніи перстовъ, о аллилуіи и нововведенныхъ печатныхъ книгъ не приедемъ.

На скамью встаетъ самъ архимандритъ соловецкій, старый Никаноръ. Его поддерживаютъ чернецы, чтобы онъ не упалъ. Никаноръ поднимаетъ руку высоко надъ своею головою, складываетъ три первые пальца и кричить неистово:

— Смотрите! это ученіе и преданіе латынское, преданіе антихристово! За два перста я готовъ пострадать! Ведите меня на муку! Да у васъ теперь и главы вѣтъ—патріарха, и безъ него вы не крѣпки! Горе вамъ! Последнія времена пришли!

Голосъ его оборвался. Онъ задрожалъ и съ трудомъ былъ снятъ со скамьи. Онъ дико озирался по сторонамъ, какъ пьяный, бормоча: „умру за два перста... умру за святой азъ“...

Сергій, ошеломленный воплемъ стараго фанатика, обращается къ собору и проситъ выбрать кого-нибудь одного.

— Со всѣми разомъ говорить нельзя: меня закричать.

— Геронтій! Геронтій!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Выступилъ Геронтій, высокій, сухой чернецъ. Глаза его искрились, въ широкихъ скулахъ и въ прикушенной бородѣ видѣлось что-то упрямое, задорное. Выступилъ онъ съ такимъ угрожающимъ лицомъ и съ такими жестами, словно бы шелъ на кулачки.

— Зачѣмъ вы у насъ Сына Божія отняли?—сразу накинулся онъ на Сергія.

Сергій испуганно отступилъ назадъ, не понимая, о чемъ его спрашиваютъ.

— Зачѣмъ вы въ молитвѣ „Господи Иисусе“ отъемлете „Сына Божія?“—продолжалъ ораторъ, наступая на оторопѣвшаго посланца царскаго.—Зачѣмъ вы...

Но толпа не дала оратору продолжать: она одно поняла—что съ ними дѣлаютъ что-то страшное, „Сына Божія“ отнимаютъ.

— Охъ! охъ! горе намъ! — послышался страшный вопль дикарей: —

охъ, горе! отымають у насъ „Сына Божія!“... Гдѣ вы дѣвали „Сына Божія?“

Когда крики нѣсколько утихли, Сергій хотѣлъ было подойти къ Геронтію, но тотъ неистово закричалъ:

— Не подходи!.. покажи прежде, какимъ крестомъ крестисься, и тогда ужъ и учи насъ!.. Допрежъ сего отъ соловецкой обители вся русская земля всякимъ благочестіемъ свѣтилась, и ни подъ какимъ зазоромъ Соловецкій монастырь допрежъ сего не бывавалъ, но яко столпъ и утверждение и свѣтило сіялъ. А вы теперь отъ грековъ новой вѣрѣ учитесь, а греческихъ архіереевъ самихъ къ намъ въ монастырь 'подъ началъ присылають: они и креститься-то не умѣють, — мы ихъ самихъ учимъ, какъ креститься.

По собору пронесся гулъ одобренія. Сергій видѣлъ, что почва подъ нимъ колеблется, что не сломить ему суроваго противника—и онъ прибѣгъ къ страшному средству, послѣ котораго должны уже были заговорить пушки, а не люди.

— Великій государь царь Алексѣй Михайловичъ благовѣренъ ли, благочестивъ ли, и православенъ ли, и христіанскій ли царь?—спросилъ онъ.

Въ свою очередь Геронтій передъ этими страшными словами отшатнулся было назадъ, но, увидѣвъ устремленный на него взглядъ стараго Никанора, выпрямился и тряхнулъ волосами.

— Великій государь царь Алексѣй Михайловичъ благовѣренъ, благочестивъ и православенъ,—отвѣчалъ онъ, обводя собраніе глазами.

— А повелѣнія его, которыя къ вамъ присланы, православны ли?—настаивалъ неумолимый посланецъ.

Даже Геронтій на эти страшныя слова не зналъ, что отвѣчать: какъ волкъ, прижатый къ стѣнѣ, онъ растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора. Но Никаноръ смотрѣлъ въ землю и упрямо моталъ головою.

— Освященный соборъ православенъ ли?—продолжалъ пытаться Сергій.

— Допрежъ сего патріархи были православны, а нынѣ, Богъ вѣсть—потому живутъ въ неволѣ, а російскіе архіереи православны,—съ трудомъ отвѣчалъ Геронтій.

— А которое къ вамъ прислано соборное повелѣніе — и оно православно ли?

— Повелѣнія соборнаго не хулимъ, а новой вѣры и ученія не приедемъ, держимся преданія святыхъ чудотворцевъ и за ихъ преданія хотимъ всѣ умереть,—былъ послѣдній отвѣтъ старцевъ.

Сергій вышелъ изъ собора, окруженный монастырскимъ карауломъ, словно арестантъ. Ему не позволяли даже въ монастырѣ ночевать, а вмѣстѣ съ прибывшими съ нимъ изъ Москвы посланцами вывели на островъ и посадили подъ стражу. Когда его выводили изъ монастырскихъ воротъ, то собравшіеся тамъ изъ окрестныхъ усольевъ и поселковъ мужики громко говорили:

— Которые московскіе стрѣльцы теперь здѣсь въ монастырѣ, и тѣмъ

мы свой указъ учинимъ: перебьемъ и перетопимъ, и которые за монастыремъ въ ладьяхъ, и тѣхъ перетопимъ, будто мореъ разбило... Всѣхъ побьемъ каменьемъ, потому посланы они отъ антихриста прельщать насъ.

На соборѣ, между тѣмъ, въ трапезѣ, готовилось челобитье къ царю. Когда оно было кончено, Геронтій всталъ на скамью и началъ громко читать.

— Бють челомъ богомольцы твои государевы: соловецкаго монастыря келарь Азарій, бывшій Саввина монастыря архимаритъ Никаноръ, казначей Ворсонофей, священники, дьяконы, всѣ соборные чернецы и вся братія рядовая и больничная, и служки и трудники всѣ. Присланъ съ Москвы къ намъ архимаритъ Сергій съ товарищи учить насъ церковному преданію по новымъ книгамъ, и во всемъ велятъ послѣдовать и творить по новому преданію, и преданіе великихъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ седми вселенскихъ соборовъ, въ коемъ прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватей и Германъ, и преосвященный Филиппъ митрополитъ пребывали, нынѣ намъ держаться и послѣдовать возбраняють. И мы, худые богомольцы твои и холопишки, чрезъ преданія святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ священные уставы и церковные чины премѣнять не смѣемъ, понеже въ новыхъ книгахъ выходу Никона патріарха, по которымъ насъ учать новому преданію, выѣсто Ісуса нашего съ приложеніемъ лишней литеры Іисусъ, чего страшно намъ грѣшнымъ неточію приложити, но и помыслити...

— Охъ!—послышалось въ толпѣ: — *иже* приложили ко Ісусу... Охъ, страшно!...

— Охъ! *иже*мъ Христа прободали въ ребра: *иже* есть копіе!—провозгласилъ Никаноръ.

— Милостивый государь!—продолжалъ, воодушевляясь и потрясая въ воздухѣ челобитною, Геронтій:—помилуй насъ нищихъ своихъ богомольцевъ и холопишекъ, не вели архимариту Сергію прародителей твоихъ и начальниковъ нашихъ, преподобныхъ Зосимы, Савватея, Германа и Филиппа преданія нарушать, и вели, государь, намъ въ томъ же преданіи быть, чтобъ намъ врозь не разбрестись и твоему богомолю украинному и порубежному мѣсту отъ безлюдства не запустѣть.

— Припиши,—кричалъ Никаноръ:—за преданіе-де великихъ чудотворцевъ готовы мы съ радостію наглую смерть принять, и многіе-де старцы, готовясь на тотъ вѣчный путь, посихмились...

— Припиши! припиши!—подтвердили десятки голосовъ.

— Еще припиши,—настаивалъ упрямый Никаноръ:—вели-де, государь, на насъ свой царскій мечъ прислать и отъ сего мятежнаго житія преселити насъ на оное безмятежное и вѣчное житіе!

Въ такомъ положеніи стояли дѣла на далекомъ сѣверѣ, когда Никонъ, котораго считали виновникомъ всѣхъ этихъ небывалыхъ и неслыханныхъ дотолѣ церковныхъ смутъ, охватившихъ не только соловецкое поморье, но и Москву, гдѣ народъ, торговые люди и бояре почти всѣ отшатнулись отъ духовныхъ властей своихъ, а Аввакумъ до ослѣпленія разжигалъ народ-

ныя страсти своею жгучею проповѣдью, — когда Никонъ вдругъ узналъ, что въ Москву прибыли гости, которыхъ онъ всего болѣе боялся. Это были вселенскіе патріархи — Макарій антиохійскій и Паисій александрійскій, онъ же и „судія вселенной“.

Наступилъ судъ надъ Никономъ.

X.

Судъ надъ Никономъ.

Перваго декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу освѣтило островерхія крыши кремлевскаго дворца и брызнуло золотомъ по маковкамъ церквей и по разрисованномъ морозомъ стеклу дворцовыхъ оконъ и стеклянныхъ переходовъ, какъ ужъ во дворцѣ, въ столовой избѣ, собрался небывалый дотошъ и послѣ того въ Россіи вселенскій соборъ — царь, два патріарха, митрополиты, архіерей и весь синклитъ духовныхъ и свѣтскихъ властей. Алексѣй Михайловичъ сидѣлъ на своемъ государевомъ мѣстѣ, на небольшомъ возвышеніи, подлѣ стѣны золотого двуглаваго орла, на крыльяхъ котораго играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золоты въ то же время лѣвый, уже посеребренный рѣдкою сѣдью високъ и часть заиндевѣвшей тою же назойливою сѣдью русой, мягкой, какъ темахинскій шелкъ бороды. Тишайшій царь сидѣлъ задумчиво, глубоко сосредоточенно и такъ неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображеніе, если бы тихое, равномерное поднятіе и опусканіе висѣвшаго на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышетъ. Подлѣ него, по лѣвую руку, въ глубокихъ съ высокими рѣзными спинками креслахъ сидѣли патріархи. У ближайшаго къ царю, высокаго, худого и согбеннаго годами, темно-пергаментное лицо смотрѣло изъ-подъ надвинутаго до бровей клобука не какъ лицо, а какъ ликъ на старомъ полотнѣ, выпѣтшій отъ времени, тронутый непогодью и копотью отъ свѣчей и ладона. Неровныя пряди волосъ желтоватой сѣдины и бѣлая борода, освѣщенныя косями лучами солнца, нѣсколько дрожали на черномъ фонѣ клобука и панатіи, производя странное впечатлѣніе — какъ будто бы волосы эти дрожали на мертвомъ тѣлѣ отъ посторонняго дыханія, тѣмъ болѣе, что и глаза сидящаго, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкою, синеватою кожею вѣкъ, съ которыхъ, казалось, только-что сняты были мѣдные гроши — принадлежность новопреставленнаго. Это былъ Паисій, патріархъ Александріи и всего Египта — нѣкогда земли фараоновъ. Рядомъ съ нимъ въ такомъ же креслѣ возсѣдалъ антиохійскій патріархъ Макарій. Черные, курчавые, перевитые сѣдыми прорѣзьями, какъ серебрянною тонкою нитью, волосы, черная, курчавая, какъ давно нестриженная баранья шерсть, съ просѣдью борода, большіе синеватые бѣлки черныхъ, подвижныхъ глазъ съ длиннѣйшими рѣсницами, темно-оливковой цвѣтъ лица — все изобличало въ

немъ восточнаго человѣка, котораго какъ-то странно было видѣть не на берегу Иордана гдѣ-нибудь или Мертваго моря; а на берегахъ Яузы, среди чисто-московскихъ лицъ и въ этой типичной обстановкѣ.

Съ правой стороны царя, на застланныхъ сукнами скамьяхъ сидѣли митрополиты, архіереи и весь освященный соборъ. Черные клобуки, надвинутые на худыя и строгія лица, черныя рясы, кресты и четки — все это смотрѣло мрачно и внушительно, какъ картина страшнаго суда. Тутъ и Сергій спасо-ярославскій, котораго мы недавно видѣли на черномъ соборѣ въ Соловкахъ, и Павелъ суздальскій, и Павелъ сарскій, и Питиримъ новгородскій.

По лѣвую сторону отъ царя, на скамьяхъ же, бояре, окольникіе и думные люди — все, что заправляло московскою землею отъ Пскова до Албазина на Амурѣ, отъ Соловковъ до южнаго рубежа русской, все шире и шире разлетавшейся территоріи. Тутъ были лица, большею частью, хорошо унитанные, гладкія, бородааты.

За особымъ столомъ — дьякъ Алмазь Ивановъ. Горы бумагъ, книгъ и лотемѣвшихъ отъ времени свитковъ почти всего его закрываютъ собой. И лицо его, такое же желтое, какъ эти свитки — смотреть спокойно, только изрѣдка щурятся его усталые глаза, перечитавшіе всѣ эти горы бумаги и перенесшіе въ его глубокую, какъ бездонная пропасть, память тысячи мельчайшихъ подробностей дѣлъ, статей разныхъ, уложеній, указовъ, отписокъ, справокъ, памятей. Худыми, привычными пальцами онъ держитъ бѣлое, какъ снѣгъ, гусиное перо и неслышно водить имъ по бумагѣ.

Тихо въ избѣ. Соборъ ждетъ кого-то. Кого же больше ждать, какъ не того, кого собрались судить вселенне! Въ полночь онъ вѣхалъ въ Москву и прослѣдовалъ въ Кремль Никольскими воротами, которыя тотчасъ же за нимъ и заперли, поставивъ сильную стражу и разобравъ даже мостъ, соединявшій эти ворота съ городомъ. Такъ вотъ, какого страшнаго людсудимаго ждетъ вселенскій соборъ!

Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрѣльцовъ, стоявшихъ у входа. Какое-то невольное движеніе, словно дрожь, прошло по собору, какъ будто бы въ тихій ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бѣгущую тѣнь по высокой травѣ. Глаза всего собора обратились къ входнымъ дверямъ — обратились съ какимъ-то страхомъ, полные ожиданія. И глаза царя блеснули неуволнимымъ свѣтомъ, и закрытые вѣками глаза Паисія патріарха открылись, словно бы икона глянула съ темнаго полотна чело-вѣческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись отъ бумаги.

Двери распахнулись широко, на обѣ половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятіе, несомое передъ патріархомъ. За распятіемъ вошелъ и тотъ, кого звали на судъ. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидали того, кто вошелъ. Это все былъ тотъ же прямой, суровый на видъ, массивный человѣкъ, котораго такъ часто когда-то, около десяти лѣтъ назадъ, видѣла Москва на всѣхъ торжественныхъ служеніяхъ,

въ церковныхъ ходахъ и въ царской думѣ, и передъ взоромъ котораго все склонялось и трепетало; тотъ же повелительный видъ, тѣ же повелѣвающіе глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, притигающее къ землѣ, вытравливающее живой цвѣтъ лица, задувающее огонь глазъ, обезцвѣтившее до сѣдины вороненный волосъ головы и бороды.

Въ добрыхъ глазахъ царя блеснула жалость—вѣки задрожали... Это ли его бывшій „собинный“ другъ, его любовь и гордость!..

При видѣ распятія и вошедшаго за нимъ подсудимаго, весь соборъ сталъ на ноги.

— Владыко Господи Боже нашъ! благослови входъ раба твоего и отверзи уста его, да возвѣстятъ хвалу твою—всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ!—громко возгласилъ вошедшій.

Потомъ обратясь лицомъ къ царю, онъ поклонился ему до земли. Царь испустилъ глубокій вздохъ, увидавъ, какъ у поклонившагося ему разметались по полу послѣдніе волосы. Поклонившійся всталъ, и, откинувъ назадъ упавшіе ему на лицо волосы, вторично припалъ кlobукомъ къ царскому подножію. Царь крѣпко стиснулъ челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившійся, приподнявшись вторично отъ полу, въ третій разъ поклонился.

Сдѣлавъ полуоборотъ къ патріархамъ, онъ и имъ поклонился до земли дважды. За всѣми его движеніями жадно слѣдили глаза всего собора, а узкіе сѣрые глазки Питирима, митрополита новгородскаго, каждый поклонъ Никона сопровождали злораднымъ блескомъ.

Когда Никонъ поднялся, наконецъ, отъ полу, расправляя волосы, на лицо его, блѣдное и безцвѣтное, какъ у арестанта, набѣжала краска. Патріархи, въ свою очередь, глубоко нагнули головы, а потомъ глазами указали на лавку, по правую сторону государева мѣста.

Глянувъ въ ту сторону, Никонъ сразу понялъ, что его приравниваютъ къ простымъ архіереямъ, что особаго мѣста для него не приготовили. Зловѣщая искра блеснула въ его глазахъ.

— Я мѣста себѣ, гдѣ сѣсть, съ собою не принесъ... Развѣ сѣсть мнѣ тутъ, гдѣ я стою,—сказалъ онъ хрипло, съ дрожью въ голосѣ, и оперся на свой посохъ, глядя прямо въ глаза государю.

И добрые глаза послѣдняго блеснули: та искра, что зажглась въ глазахъ у Никона, зажглась и у царя. Питиримъ незамѣтно толкнулъ локтемъ сосѣда своего, Павла, митрополита сарскаго, и указалъ глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова заскрипѣло по бумагѣ, сѣмъ запечатлѣть чернилами навѣки этотъ историческій моментъ.

— Пришелъ я узнать, для чего вселенскіе патріархи меня звали?—продолжалъ подсудимый, тономъ допрашивающаго, тономъ судьи, и снова вопрошающе посмотрѣлъ на государя.

Алексѣй Михайловичъ порывисто сошелъ съ своего мѣста, пугаясь ногами въ своемъ длинномъ одѣяніи, и сталъ передъ патріархами, какъ бы ища укрыться подъ ихъ святынею.

— Святая и пречестная двоице! великіе вселенстіи патріарси!—заго-

ворилъ царь дрожащимъ голосомъ, неровно, торопливо.—Отъ начала московскаго государства соборной и апостольской церкви такого безчестья не бывало, какъ учинилъ сей *бывшій* патріархъ Никонъ: для своихъ прихотей, самовольно, безъ нашего повелѣнія и безъ соборнаго совѣта церковь оставилъ, патріаршества отрেকся, никѣмъ не гонимъ, и отъ этого его ухода многіе смуты и мятежи учинились, церковь вдовствуетъ безъ пастыря девятый годъ... Допросите бывшего патріарха Никона: для чего онъ престолъ оставилъ и ушелъ въ воскресенскій монастырь?

Царь стоялъ, какъ подсудимый, и ждалъ отвѣта. Пока патріархи черезъ переводчика хотѣли только было обратиться къ Никону за этимъ отвѣтомъ, какъ онъ оборвалъ ихъ:

— А есть ли у васъ совѣтъ и согласіе съ константинопольскимъ и ерусалимскимъ патріархами, что меня судить? А безъ ихъ совѣта я вамъ отвѣчать не буду, потому—хиротонисанъ я отъ константинопольскаго патріарха.

Изъ-за труды бумагъ выдвинулась тощая фигура дьяка Алмаза Иванова и неслышными шагами приблизилась къ патріархамъ. Въ рукахъ у Алмаза было два свитка, перевитые черными лентами, какъ двѣ погребальныя свѣчи.

— Вотъ полномочіе остальныхъ вселенскихъ патріарховъ, — сказалъ Макарій, дотронувшись до одного изъ свитковъ.

Тогда Никонъ понятился назадъ и въ первый разъ оглянулъ судилище, подобно тому, какъ застигнутый врасплохъ ищетъ, куда ему скрыться. Глаза его остановились на Питиримѣ новгородскомъ и на его сосѣдѣ, Павлѣ сарекѣ; глаза послѣднихъ смотрѣли съ вызывающимъ торжествомъ... Никонъ задрожалъ...

— Великій государь и святѣйшіе патріархи!—быстро повернулся онъ:—бю челомъ... пожалуйста меня, и вышлите изъ собора недруговъ моихъ Питирима и Павла; они мыслили зло на меня, хотѣли меня отравить либо удавить и для того съ чаровствомъ прислали чернеца Федоса.

— И то онъ говорить ложь безлѣпично,—возразилъ Питиримъ, вставая разомъ съ Павломъ:—у великаго государя о чернецѣ Фодосѣ есть дѣло.

И опять изъ-за бумагъ выдѣляется фигура дьяка Алмаза Иванова. Онъ подноситъ къ государю дѣло и съ глубокимъ поклономъ подаетъ его. Царь показываетъ это дѣло патріархамъ.

— Отвѣтствуй,—повторили патріархи:—для чего ты отрেকся отъ патріаршества?

— Я не отрекался, а сшелъ съ престола своею волею, не стерпя обидъ: царевъ слуга, Хитрово, билъ моего человѣка безъ вины, и того ему, Хитрово, дѣлать не довелось—то мнѣ безчестье, потому—человѣка своего я послалъ по дѣлу, для строенія церковныхъ вещей. А когда я просилъ у великаго государя обороны, и великій государь обороны мнѣ не далъ,—защищался подсудимый, все болѣе и болѣе возвышая голосъ.

— Никонъ писалъ ко мнѣ и просилъ обороны отъ Хитрово не во-

время: въ ту пору обѣдалъ у меня грузинскій царь, и въ ту пору размысливать и оборону давать было некогда,—былъ отвѣтъ царя.

Странный, небывалый видъ представляли эти судебныя пренія. Высшая власть въ государствѣ, царь и патріархъ, стояли среди многочисленнаго собора, раздѣляемые распятіемъ и крестоносителемъ, а весь соборъ сидѣлъ, безмолвно слѣдя за словами и движеніями царя и подсудимаго: послѣдній былъ блѣденъ, какъ полотно, у перваго—краска не то стыда, не то негодованія заливала щеки.

Царь чувствовалъ, что отвѣтъ его слабъ.

— Никонъ патріархъ говоритъ,—поспѣшилъ онъ поправиться,—будто челоуѣка своего прислалъ для строенія церковныхъ вещей, ино въ ту пору на красномъ крыльцѣ церковныхъ вещей строить было нечего, и Хитрово зашибъ его челоуѣка за невѣжество, что пришелъ не во-время и учинилъ смятеніе, и то безчестье къ Никону патріарху не относится и та обида ему не въ обиду. А что не было моего выхода въ праздники, и то учинилось такъ за многими государственными дѣлами. А когда онъ сшелъ съ престола, и я посылалъ къ нему боярина князя Трубенцаго и Родіона Стрѣшнева, чтобъ онъ на свой патріаршій столъ возвратился, ино онъ отъ патріаршества отрекся—сказывалъ: какъ-де его на патріаршество обирали, и онъ-де на себя клятву положилъ—быть-де на патріаршествѣ токмо три года. А что посылалъ я князя Юрія Ромодановскаго, чтобъ онъ напредки великимъ государемъ не писался, и то я учинилъ для того, что прежніе патріархи такъ не писывались, ино того къ нему не приказывалъ, что на него гнѣвенъ.

Услыхавъ свое имя, Ромодановскій, тучный и красный какъ кумачъ, бояринъ, торопливо поднялся съ лавки и, не спуская глазъ съ царя, быстро выпалилъ: „Это точно... о государевымъ гнѣвѣ я не говаривалъ“.

Никонъ въ полуоборотъ глянулъ на него, но ничего не сказалъ.

— Говорилъ ты про обиды; какія обиды тебѣ отъ великаго государя были?—продолжалъ допрашивать Макарій, тогда какъ Паисій безмолвно перебиралъ свои четки.—Какія обиды?

— Никакихъ обидъ не бывало; но когда онъ (и Никонъ спохватился и тотчасъ же поправился)—когда великій государь началъ гнѣваться и въ церковь ходить пересталъ, въ ту пору я патріаршество и оставилъ.

Царь нетерпѣливо пожалъ плечами, не глядя на подсудимаго.

— Онъ писалъ ко мнѣ по уходѣ,—началъ онъ снова:—„будешь-де ты, великій государь, одинъ, а я-де, Никонъ, какъ одинъ отъ простыхъ“.

— Я такъ не писывалъ,—былъ отрывистый отвѣтъ.

Тогда Макарій, обратясь къ архіереямъ, спросилъ:

— Какія обиды были Никону отъ великаго государя?

— Никакихъ обидъ не было,—отвѣчалъ Питиримъ за всѣхъ.

— Я не объ обидахъ говорю!—огрызнулся на него Никонъ, медленно, какъ волкъ, полуоборачивая свою негнущуюся, какъ у волка же, шею.—

Я говорю о государевомъ гнѣвѣ. И прежніе патріархи отъ гнѣва царскаго бѣжали—Авонасей Александрійской и Григорей-Богословъ...

— Другіе патріархи,—перебилъ его Макарій,—оставляли престолъ, но не такъ, какъ ты отрекся, что впредь не быть тебѣ патріархомъ: если-де будешь патріархомъ, то анаѡема будешь.

— Я такъ не говариваль,—защищался подсудимый:—а говорилъ я, что за недостойнство свое иду; а коли бъ я отрекся отъ патріаршества съ клятвою, и я не взялъ бы съ собою святительской одежды.

— Когда ставить въ священннй чинъ, то говорятъ „достойнъ“. А ты, какъ святительскую одежду снималь, то говорилъ: „недостойнъ“,—наставаль Макарій.

— Это на меня выдумали,—былъ отвѣтъ.

— Никонъ писалъ въ грамотахъ своихъ къ святѣйшимъ патріархамъ на меня многія безчестья и укоризны, а я на него ни малаго безчестья и укоризны, не писываль,—продолжалъ царь:—допросите его: все ли онъ истину, безо всякаго прилога, писалъ? За церковныя ли догматы онъ стоялъ? Іосифа патріарха, святѣйшимъ и братомъ себѣ почитаетъ ли, и церковныя движимыя и недвижимыя вещи продавалъ ли?

— Что я въ грамотахъ писалъ—то писалъ!—нетерпѣливо отвѣчалъ подсудимый:—а стоялъ я за церковныя догматы... Іосифа патріарха почитаю за патріарха, а святъ ли онъ—того не вѣдаю; а церковныя вещи продавалъ я по государеву указу...

Царь обвелъ взоромъ все собраніе и остановился на Алмазѣ Ивановѣ.

— Поставь предъ соборъ колодника,—сказалъ онъ тихо, но такъ, что весь соборъ слышалъ его слова.

Алмазъ Ивановъ поднялся и неслышными шагами вышелъ въ сѣни. Всѣ смотрѣли ему вслѣдъ въ нѣмомъ ожиданіи и страхѣ. Никонъ ближе подвинулся къ распятію и поднялъ на него глаза. Питиримъ что-то шепталъ своему сосѣду, показывая глазами на подсудимаго.

Въ сѣняхъ слышались шаги, сопровождаемые глухимъ звяканьемъ кандаловъ. Всѣ въ недоумѣніи переглядывались.

Скоро дверь растворилась, и въ соборную избу вошелъ кто-то, закованный въ желѣза по рукамъ и по ногамъ. Лицо его носило слѣды тяжкаго изнуренія. Увидавъ Никона и распятіе, онъ упалъ ницъ, зазвенѣвъ кандалами. Никонъ вздрогнулъ и пошатнулся: онъ узналъ колодника.

То былъ племянникъ его—Федотъ Марисовъ.

XI.

„Мамай въ рясѣ“.

Когда гетманъ Брюховецкій отказался взять Марисова съ собою въ Малороссію, откуда этотъ тайный посланецъ Никона долженъ былъ пробраться въ Константинополь къ тамошнему патріарху Діонисію, съ грамо-

тою Никона и съ воззваніемъ къ всѣмъ патріархамъ о разборѣ его распри съ царемъ, любимецъ Никоновъ и его ставрофоръ, Ивашко Шупера, подкупилъ одного казака за 50 рублей и за пятьдесятъ золотыхъ—взять съ собою Марисова въ число прочей свиты гетмана, якобы своего родственника, взятого москалями въ плѣнъ во-время похода воеводы Бутурлина на Львовъ. Марисовъ, никѣмъ не узнаанный, въ январѣ 1666 года, выѣхалъ изъ Москвы вмѣстѣ съ Брюховецкимъ, и благополучно достигъ Малороссіи; но въ Москвѣ скоро провѣдали объ этомъ тайномъ агентѣ Никона, и къ Брюховецкому посланъ былъ гонецъ съ наказомъ—схватить Марисова. Марисовъ былъ схваченъ и пересланъ подъ карауломъ въ Москву, вмѣстѣ съ грамотами Никона.

Все это сдѣлано было въ глубочайшей тайнѣ, и Никонъ ничего не зналъ, какая судьба постигла его посланца и его грамоты. А въ грамотахъ этихъ онъ не поскупился на сильныя выраженія, на серьезныя обвиненія, падавшія лично на царя и на его управленіе.

Вотъ почему, появленіе Марисова въ соборной избѣ такъ поразило Никона. Ему казалось, что онъ видитъ передъ собою призракъ. Да, Марисовъ, изнуренный заключеніемъ, пытками и душевными страданіями, и смотрѣлъ призракомъ.

Царь сдѣлалъ знакъ Алмазу Иванову. Тотъ подошелъ и подалъ какія-то бумаги.

— Твои это грамоты?—спросилъ царь, показывая ихъ Никону.

— Мои,—мрачно отвѣчалъ тотъ.

Марисовъ поднялся съ полу и, снова припавъ къ землѣ, поцѣловалъ край одежды Никона.

— Грамоты эти ты отъ Никона получилъ?—спросилъ царь Марисова. Тотъ молчалъ.—Говори!—повторилъ царь.

— Прикажи меня казнить, великій государь, а на святѣйшаго патріарха я свидѣтельствовать не стану,—сказалъ Марисовъ съ силой.—Отсохни мой языкъ!

— Скажи одно: кто тебѣ далъ эти грамоты? — настаивалъ царь.— Скажи—я тебя помилую.

— Не скажу! Загради, Господи, уста моя!—какъ-то выкрикнулъ упрямецъ:—сокруши гортань мою!

Никонъ широко перекрестилъ его и снова оперся на посохъ. Царь сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Уведите его!—сказалъ онъ, ни на кого не глядя.

Марисова увели. Царь передалъ бумаги Алмазу Иванову, который, сѣвъ на свое мѣсто, снова закрипѣлъ перомъ.

— Чти Никоновы писанія!—громко сказалъ Алексѣй Михайловичъ.

Алмазъ Ивановъ, заткнувъ перо за ухо, сталъ читать. Трудно было ожидать, чтобы въ такомъ тѣдешномъ тѣлѣ сидѣлъ такой здоровый голосъ. Онъ читалъ грамоту Никона къ константинопольскому патріарху. Въ грамотѣ подробно описывалось, какъ его, Никона, силою избрали, на па-

тріаршество, какъ насильно привели въ соборъ, какъ царь, вмѣстѣ со всѣмъ московскимъ народомъ, кланяясь до земли и слезно плача, умолялъ его, Никона, принять патріаршество, какъ онъ, наконецъ, рѣшился принять посохъ Петра митрополита съ условіемъ, чтобы всѣ его слушались, какъ начальника и пастыря, какъ царь сначала былъ благоговѣнъ и милостивъ и во всемъ заповѣдей божьихъ искатель, а потомъ началъ гордиться и выситься.

Соборъ безмолвствовалъ. Гремѣлъ только ровный, звучный голосъ Алмаза Иванова. Царь стоялъ потупившись, а Никонъ держалъ голову прямо, не спуская глазъ съ распятія. По лицу Пятирима, какъ змѣйка, пробѣгала злая усмѣшка.

— „Посланъ я, — звучалъ голосъ Алмаза Иванова, — въ Соловецкій монастырь за мощами Филиппа митрополита, котораго мучилъ царь Иванъ несправедливо...

— Постой! — перебилъ чтеніе государь.

Алмазъ Ивановъ умолкъ. Всѣ взоры обратились на царя.

— Для чего онъ, — обратился послѣдній къ патріархамъ, — для чего онъ, такое безчестіе и укоризну царю Ивану Васильевичу написалъ, а о себѣ утаилъ, какъ онъ низвергъ безъ собора Павла, епископа коломенскаго, ободралъ съ него святительскія одежды и сослалъ въ Хутынской монастырь, гдѣ его не стало безвѣстно... Допросите его, по какимъ правиламъ онъ это сдѣлалъ?

— По какимъ правиламъ я его низвергъ и сослалъ — того не помню, и гдѣ онъ пропалъ — того не вѣдаю... Есть о немъ на патріаршемъ дворѣ дѣло, — поторопился подсудимый.

— На патріаршемъ дворѣ дѣла нѣтъ и не бывало. Отлученъ епископъ Павелъ безъ собора, — съ своей стороны поторопился Павелъ, митрополитъ сарскій.

Никонъ ничего не возражалъ. Онъ только сильнѣе налегъ на посохъ, какъ бы желая имъ провзвить помость соборной избы.

А Алмазъ Ивановъ продолжалъ вычитывать, какъ по покойникѣ: „и учалъ царь вступаться въ архіерейскія дѣла“...

— Допросите: въ какія архіерейскія дѣла я вступался? — снова прервалъ чтеніе Алексѣй Михайловичъ, обращаясь къ патріархамъ.

— Что я писалъ — того не помню, — отвѣчалъ Никонъ.

— „Оставилъ патріаршество, не стерпя гнѣва и обиды“, вычитывалъ дьякъ Алмазъ.

— Допросите: какой гнѣвъ и обида? — прервалъ царь.

— На Хитрово не далъ обороны, въ церковь ходить пересталъ... Государевъ гнѣвъ объявленъ небу и землѣ, — уже начиналъ кричать подсудимый.

Патріархи остановили его движеніемъ.

— Хотя-бъ Хитрово человѣка твоего и зашибъ, и тебѣ то терпѣть бы и послѣдовать Іоанну Милостивому, какъ онъ отъ раба терпѣлъ, — настаивательно сказалъ Макарій (Пансій все молчалъ и изрѣдка взглядывалъ то

на царя, то на Никона).—А если-бъ государевъ гнѣвъ на тебя и былъ, и тебѣ бы о томъ съ архіереями посовѣтоваться слѣдовало, и къ великому государю посылать—бить челомъ о прощеніи, а не сердиться.

Раздался чей-то голосъ съ дальней скамьи. Всѣ оглянулись, и увидѣли рыжую голову, которая усиленно моргала.

— Въ ту пору я царскій чинъ исполнялъ,—говорила, заикаясь, рыжая голова (это былъ Хитрово), и въ ту пору пришелъ патріарховъ человекъ и учинилъ мятежъ, и я его зашибъ не знаячи, а въ томъ у Никона патріарха просилъ прощенія, и онъ меня простилъ.

За Хитрово осмѣлились и другіе. Разомъ послышалось нѣсколько голосовъ со всѣхъ сторонъ.

— Отъ великаго государя Никону патріарху обиды никакой не бывало, пошелъ онъ не отъ обиды — съ сердца! — кричали съ боярской стороны.

— Когда онъ снималъ панагію и ризы, то говорилъ: „ащепомысли въ патріархи, азнаема да буду!“ Панагію и посохъ оставилъ, взялъ клюку, а про государевъ гнѣвъ ничего не говорилъ!—кричала архіерейская сторона.

Всѣ кричали, всѣ усердствовали. Никонъ, какъ затравленный волкъ, только озирался. Но не въ его характеръ было молчать, когда кричали другіе.

— Я васъ перекричу! — раздался вдругъ его рѣзкій, какъ ударъ хлыста, голосъ.

Паисій, сидѣвшій съ опущенными глазами, быстро вскинулъ ими на подсудимаго и тихо сказалъ:

— Никонъ!

— Никонъ вспомнилъ.

— „Написана книга уложеніе, — продолжалъ вычитывать Алмазь Ивановъ изъ письма Никона къ константинопольскому патріарху, — книга, святому евангелію, правиламъ святыхъ апостолъ, святыхъ отецъ и законамъ греческихъ царей во всемъ противная... всѣхъ беззаконій, написанной въ этой книгѣ, не могу описать — такъ ихъ много! Много разъ говорилъ я царскому величеству объ этой проклятой книгѣ, чтобъ ее искоренить, но, окромѣ уничтоженія, ничего не получилъ, и меня же хотѣли убить“.

— Постой! — остановилъ чтеца Алексѣй Михайловичъ. — Къ сей книгѣ,—обратился онъ потомъ къ Никону, — приложили руки патріархъ Іосифъ и весь священный соборъ, и твоя рука приложена...

— Я руку приложилъ по неволѣ,—огрызнулся подсудимый.

— „Бояринъ Семень Лукьяновичъ Стрѣшневъ,—читалъ Алмазь,—научилъ собаку сидѣть и передними лапами благословлять, ругаясь благословенію Божію, и называлъ собаку Никономъ патріархомъ: мы, услыхавъ о такомъ безчиніи, клятвъ Семена предали...“

Тонкая улыбка скользнула по губамъ Макарія.

— И того тебѣ, Никонъ, дѣлать не довелось, — сказалъ онъ. — Если-бъ мышь сгрызла освященный хлѣбъ, нельзя сказать, что она причастилась: такъ и благословеніе собаки не есть благословеніе... Шутить

святыми дѣлами не подобаетъ, но въ малыхъ дѣлахъ недостойно проклятіе, понеже считаютъ его за ничто.

Когда Алмазъ Ивановъ дочелъ до того мѣста письма, гдѣ говорилось о прїѣздѣ къ Никону князя Одоевскаго и Паисія Лигарида, царь остановилъ чтеніе.

— Митрополитъ и князь, — сказалъ онъ, — посланы были выговаривать ему его неправды, что писалъ ко мнѣ со многими безчестіемъ и съ клятвою, мои грамоты клалъ подъ евангеліе, позорилъ газскаго митрополита, а тотъ свидѣтельствованъ отцемъ духовнымъ, и ставленная грамота у него есть.

— Я за обидящаго молился, а не клалъ, — отвѣчалъ Никонъ. — Газскому митрополиту, по правиламъ, служить не слѣдуетъ, потому — онъ епархію свою оставилъ и живетъ въ Москвѣ долгое время... Слышалъ я, что онъ ерусалимскимъ патріархомъ отлученъ и проклятъ. У меня много такихъ мужиковъ шляется... Мнѣ говорилъ бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевскій государевымъ словомъ, что меня зарѣжутъ...

При этихъ словахъ Одоевскій вскочилъ съ мѣста.

— Такихъ рѣчей я не говаривалъ! — протестовалъ онъ. — А Никонъ мнѣ говорилъ: „коле-де хотите меня зарѣзать, то рѣжьте“ — и грудь обнажалъ. Выѣхался въ споръ и Алмазъ Ивановъ, но осторожно.

— Когда Никонъ, по вѣстямъ о непріятелѣ, прїѣзжалъ въ Москву, то мнѣ говорилъ, что отъ престола своего отрекся.

— Никогда не говорилъ! — огрызнулся на него Никонъ.

Алмазъ Ивановъ опять уткнулся въ бумагу и читалъ изъ письма Никона, будто царь посылалъ къ патріархамъ многіе дары.

— Я никакихъ даровъ не посылывалъ, — прервалъ его царь: — писалъ, чтобъ пришли въ Москву для усмиренія церкви; а ты (это къ Никону) посылалъ къ нимъ съ грамотами племянника своего и далъ черкашенину много золотыхъ.

— Я черкашенину не давалъ, а далъ племяннику на дорогу.

По знаку царя Алмазъ Ивановъ опять началъ читать. Дочелъ до того мѣста, гдѣ Никонъ говорилъ о своемъ неудачномъ ночномъ прїѣздѣ въ Москву и о высылкѣ его изъ Успенскаго собора.

— Никонъ приходилъ въ Москву никѣмъ незванный, — пояснилъ царь, — и изъ соборной церкви увезъ-было Петра митрополита посохъ, а ребята его отрясали прахъ отъ ногъ своихъ. И то онъ какое добро учинилъ? И ребята его какіе учителя, что такъ учинили?

— Ребята прахъ отъ ногъ своихъ какъ отрясали — того я не видалъ; а какъ прїѣзжали за посохомъ въ Чернево, то меня томили, а иныхъ хотѣли побить до смерти.

— До смерти побивать никого не было велѣно и не биты, — защищался царь.

И снова возобновлялось утомительное чтеніе Алмаза Иванова. А царь и Никонъ все стояли; царь, видимо, былъ утомленъ. Патріархъ Паисій, по-

временамъ, какъ бы задремывалъ, и только сухіе пальцы его, тихо водившіе по чоткамъ, изобличали, что онъ не спитъ.

— „Которые люди за меня доброе слово молвятъ или какія письма объявятъ,—читалъ Алмазъ,—и тѣ въ заточеніе посланы и мукамъ преданы: подьяконъ Никита умеръ въ оковахъ, попъ Сысой погубленъ, строитель Ааронъ сосланъ въ Соловецкій монастырь“...

— Никита, — оправдывался царь, — ѣздилъ отъ Никона къ Зюзину съ ссорными письмами, сидѣлъ за карауломъ и умеръ своею смертію отъ болѣзни. Сысой, вѣдомый воръ и ссорщикъ, и сосланъ за многія плутовства... Ааронъ говорилъ про меня непристойныя слова и за то сосланъ... Допросите: кто былъ мученъ?

— Мнѣ о томъ сказывали...

— Ссорнымъ рѣчамъ вѣрить было ненужно и ко вселенскимъ патріархамъ ложно не писать.

Никонъ смолчалъ. Дьякъ Алмазъ продолжалъ:

— „Архіереи по епархіямъ поставлены мимо правилъ святыхъ отцевъ, воспрещающихъ переводить изъ епархій въ епархію...“

— Когда Никонъ былъ на патріаршествѣ,—опять прервалъ царь,—то перевелъ изъ Твери архіепископа Лаврентія въ Казань и другихъ многихъ отъ мѣста къ мѣсту переводилъ.

— Я то дѣлалъ не по правиламъ—по невѣдѣнію.

— Ты и самъ на новгородскую митрополию возведенъ на мѣсто живого митрополита Авфонія,—не кстати вмѣшался Питиримъ.

— Авфоній былъ безъ ума... Чтобъ и тебѣ также обезумѣть! — громыхнулъ его Никонъ, какъ бы наотмашъ.

Многіе такъ и подпрыгнули на скамьяхъ отъ этого окрика. Паисій глянулъ строго и зачистилъ чотками. Питиримъ, какъ ошпаренный, не нашелся, что отвѣчать и только бормоталъ: „это кабанъ бѣшеный... Мамай въ рясѣ... Господи!..“ Царь покраснѣлъ, и краска все болѣе и болѣе заливала его щеки, по мѣрѣ того, какъ Алмазъ Ивановъ читалъ далѣе. А онъ читалъ:

— „Отъ сего незаконнаго собора престало на Руси соединеніе съ восточными церквами, и отъ благословенія вашего отлучились, отъ римскихъ костеловъ начатокъ пріяли волями своими...“

— Стой! стой! погоди!—порывисто заговорилъ царь, повелительно поднимая руку. — Никонъ насъ отъ благочестивой вѣры и отъ благословенія святѣйшихъ патріарховъ отчелъ, и къ католицкой вѣрѣ причелъ, и назвалъ всѣхъ еретиками! Что жъ это такое?!... Только бы его, Никоново письмо, до святѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ дошло, и намъ бы всѣмъ, православнымъ христіанамъ, быть подъ клятвою, и за то его ложное и и затѣйливое письмо надобно всѣмъ стоять и умирать, и отъ того очиститься.

Голосъ царя сорвался. Самъ онъ дрожалъ. Весь соборъ заколыхался сдержаннымъ, глухимъ ропотомъ. Многіе испуганно крестились словно бы

передъ ударомъ страшнаго грома послѣ молніи. Даже у Пансія, все время сидѣвшаго неподвижно, статуино, ходенемъ заходила съдая голова подъ высокимъ клубукомъ.

— Чѣмъ Русь отъ соборной церкви отлучилась? — спросилъ онъ строго.

— Тѣмъ, — закричалъ подсудимый запальчиво, — что Пансій газскій перевелъ Пятирима изъ одной митрополіи въ другую и на его мѣсто поставилъ другого митрополита и другихъ архіереевъ съ мѣста на мѣсто переводилъ же! А ему то дѣлать не довелось, понеже онъ отъ ерусалимскаго патріарха отлученъ и проклятъ... Да хотя бъ онъ и не еретикъ былъ, а ему на Москвѣ долго быть и не для чего: я его митрополитомъ не почитаю, у него и ставленной грамоты нѣтъ... Всякій мужикъ надѣнетъ на себя монахью — такъ онъ и митрополитъ! Я писалъ все объ немъ, а не о православныхъ христіанахъ.

Онъ самъ чувствовалъ, что слишкомъ далеко зашелъ—это былъ конь, закусившій удила... Онъ спохватился-было, хотѣлъ увильнуть, но было уже поздно: вырвавшіяся изъ устъ сильныя выраженія — обвиненіе въ еретичествѣ всей страны — нельзя было поймать и воротить назадъ: они потрясли весь соборъ и погубили неосторожнаго.

Послѣдовалъ всеобщій взрывъ негодованія. Москвичи точно забыли о присутствіи царя и патріарховъ; они одно помнили, — что всѣ они оскорблены и опозорены, что имъ, самому православному подъ солнцемъ народу, бросили въ глаза укоръ въ неправославіи, въ еретичествѣ, въ латынствѣ!.. Это ли не обиды?! Да за одинъ намекъ на похлѣбство и на потачку со стороны Лжедимитрія ляцкой вѣры, латынству—Москва сама себя вверхъ дномъ опрокинула, въ золу обратила этого Лжедимитрія и золою выстрѣлила на вѣтеръ, перетрясла потомъ, какъ запыленные онучи, всю русскую землю—и изъ-за одного только слова „латынство“... А тутъ вся земля и церковь якобы облаынились! Да послѣ этого жить нельзя! Москву осрамили передъ всѣмъ свѣтомъ!..

Всѣ повскакали съ своихъ мѣстъ, замахали руками. Послышались крики:

— Онъ отчелъ всю Россю! всѣхъ насъ! Этого нельзя!

— Онъ назвалъ еретиками всѣхъ насъ, православные! Что жъ это будетъ?

— Указъ учинить! Али мы собаки латынскія!

Никонъ стоялъ, ошеломленный общимъ взрывомъ, и только оглядывался по сторонамъ. Царь молчалъ — онъ едва держался на ногахъ отъ усталости и волненія.

Съ трудомъ патріархамъ удалось утишить бурю; но дальнѣйшее чтеніе грамоты Никона—этого поличнаго—шло уже вяло. Всѣ утомились. Даже у привычнаго Алмаза Иванова пересохло въ горлѣ.

Наконецъ, грамота кончена. Алмазъ Ивановъ умолокъ и поклонился. Наступила тишина.

— Богъ тебя судить!—горько сказалъ Никонъ, обращаясь къ царю:—

я узналъ еще на избраніи своемъ, что ты будешь ко мнѣ добръ шесть лѣтъ, а потомъ буду я возненавидѣнъ и мученъ.

Слова эти передернули царя.

— Святые отцы! допросите его, какъ онъ узналъ это на избраніи своемъ?

Никонъ не отвѣчалъ, а только вздыхалъ, глядя на распятіе.

— Онъ же, Никонъ, сказывалъ, что видѣлъ метлу звѣздой, и отъ того будетъ московскому государству погибель; пусть скажетъ, отъ какого духа онъ то увѣдалъ?—заговорилъ одинъ архіерей.

— И въ прежнемъ законѣ такіа знаменія бывали—на Москвѣ это и сбудется, — мрачно отвѣчалъ подсудимый: — Господь пророчествовалъ на горѣ Елеонской о разореніи Ерусалима за четыреста лѣтъ.

Паисій всталъ: онъ видѣлъ, что царь не въ силахъ больше стоять, и потому, благословивъ его, указалъ рукою на его мѣсто. Никону же показалъ знакомъ, чтобъ онъ уходилъ.

Поклонившись до земли и проговоривъ глухимъ упавшимъ голосомъ: „простите меня, православные!“ подсудимый вышелъ вслѣдъ за распятіемъ, глубоко поникнувъ головою.

XII.

Морозова у Аввакума.

Въ то утро, когда въ Москвѣ начался судъ надъ Никономъ, врагъ его, непримиримѣйшій изъ всѣхъ враговъ, Аввакумъ, сидѣлъ на охапкѣ соломѣ, брошенной на земляномъ полу въ углу арестантской келейки подмосковнаго монастыря Николы на Угрѣшѣ и, положивъ на правое колѣно измятый клочекъ сѣней бумаги, писалъ что-то деревянною палочкою, мокая въ стоявшій на полу глиняный черепочекъ.

И Аввакумъ многое пережилъ въ эти послѣдніе два года. Онъ сидѣлъ въ заточеніи то въ томъ, то въ другомъ монастырѣ, мужественно отгрызаясь отъ всѣхъ своихъ враговъ; вымучился полтора года въ тягчайшей ссылкѣ на Мезени, терпя холодъ, голодъ и побои, былъ разстриженъ и теперь привезенъ въ Москву тоже на судъ вселенскихъ патріарховъ.

Тюрьма, въ которой онъ теперь томился, представляла кубическую каменную коробку въ сажень длины и ширины, съ узенькимъ оковцемъ за желѣзною рѣшеткою съ острыми зубьями. Въ этой каменной коробкѣ ничего не было — ни стола, ни скамьи, ни кровати; вмѣсто всего этого въ уголь брошена была охапка соломѣ, на которой и сидѣлъ расколоучитель. По сырымъ стѣнамъ виднѣлась позеленѣвшая плѣсень, мѣстами прохваченная морозомъ и заиндевелѣвшая; оконце тоже промерзло такъ, что если бъ въ него солнце и заглянуло, то оно не въ силахъ было бы пробить своими лучами эту сплошную льдину, въ которую превратилось стекло. На одной изъ стѣнъ каменной коробки, въ переднемъ углу, виднѣлось подобіе большого осьмиконечнаго креста и грубое изображеніе руки съ двуперстнымъ

сложеніемъ: эти символы Аввакумъ выпарапалъ въ каменной стѣнѣ своими когтями, которые отросли у него, какъ у собаки.

Аввакумъ много, почти неузнаваемо, измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли его у Морозовой, а потомъ у Ртищевыхъ вмѣстѣ съ Симеономъ Полоцкимъ. Сѣдые, длинные и курчавые волосы его были острижены, какъ у арестанта: это была уже не поповская, не иконная голова, а простая колодницкая. Но тѣмъ рельефнѣе теперь выступала ея угловатость и ширококостность; въ этой ширококостности темени и затылка и въ этой сдавленности и вогнутости лобной кости сказывалось желѣзное упрямство мономана, фанатически преданнаго мрачному, суровому идеалу непоколебимой выносливости. Онъ былъ одѣтъ въ дырявый нагольный тулупъ, изъ-подъ котораго виднѣлись ноги, обутыя въ лапти и пестрые онучи, перевитыя мочалками. По временамъ онъ задумывался, клалъ палочку, замѣнявшую ему перо, на черепокъ и согрѣвалъ дыханіемъ закоренѣвшіе отъ мороза пальцы. Но это, повидимому, не помогало: по холодной тюрьмѣ распространялся только паръ отъ дыханія, но теплѣе не дѣлалось.

— Господи! дунь на рудѣ мои дыханіемъ Твоимъ! — страстно обращался онъ къ кресту, выпарапанному имъ на стѣнѣ. — Ты печь огненную охладилъ нѣкогда въ Вавилонѣ дуновеніемъ Твоимъ: согрѣй нынѣ дыханіемъ Твоимъ божественнымъ персты моя, да прославлю имя Твое, многомилостиве!

И онъ снова нагибался и чертилъ палочкой по бумагѣ, разложенной на правомъ колѣнѣ. А потомъ началъ бормотать про себя вслухъ написанное:

„Анисьюшка! чадо мое духовное! азъ есмь измождаль отъ грѣхъ моихъ и отъ холоду въ темницѣ моей и не могу о себѣ молитвы чпсты съ благоговѣнствомъ приносить. Ей! не притворяясь говорю, чадо! Не молюся, а кричу ко Господу, скучу, что собачка-песикъ на морозѣ. Пальцы мои въ льдины обращаются, все развалилося во мнѣ, душа перемерзла моя, на сердцѣ снѣгъ, на устахъ иней. Поддержи мою дряхлость ты, младая отроковица, стягни плетью духовною душу мою, любезная моя! Утверди малодушіе мое, Богомъ избранная, вздохни и прослезися о мнѣ!“

Онъ помолчалъ и снова сталъ дышать въ застывшія ладони. По щекамъ его текли слезы...

— Дунь, Господи! согрѣй меня! Вить солнце и огонь пекельный въ Твоихъ рукахъ! — опять закричалъ онъ страстно, глядя на крестъ.

Потомъ опять нагнулся къ бумагѣ и сталъ читать:

„Слушай-ка, Анисья! о племени своемъ не болью пекись: комуждо и безъ тебя промышленникъ Богъ, и мнѣ, мерзкой псицѣ. Забудь, что ты боярышня, знатнаго роду; а умѣешь ли ты молоть муку? Мели рожь въ жерновахъ, да на сестеръ хлѣбы пеки или въ пекарни шти вари, да сестрамъ и больнымъ разноси. Да имѣй послушаніе къ матери Меланіи, не разсуждай о величествѣ сана своего, яко боярышня, богачка и сановница — отрицайся мысли сея и оплюй ее! Плюй на все, что не отъ Бога!“...

Онъ положилъ бумагу въ сторону, поднялся съ соломы и упалъ на колѣни.

— Вергни ко мнѣ солнце сюда. Тебѣ все возможно! Дуни лѣтомъ въ темницу мою!—молился онъ.

За окошкомъ тюрьмы послышался скрипъ саней, бубенчики и звяканье упряжи...

— Охъ! ужли это она?—вскочилъ онъ въ волненіи. — Она! ея тѣпи гремѣть...

Сани проѣхали на монастырскій дворъ. Аввакумъ всталъ и шагаль изъ угла въ уголъ по своей каменной коробкѣ, то и дѣло поднимая глаза къ выпарапанному въ углу кресту.

Черезъ нѣсколько минутъ за дверь послышался шорохъ и скрипъ отмыкаемаго ржаваго замка. Аввакумъ лихорадочно прислушивался къ этимъ звукамъ и крестился. Скоро дверь завизжала на петляхъ и тяжело раскрылась.

— Входите, матушка-благодѣтельница, — послышался голосъ за дверью.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божій помилуй насъ! — зазвучалъ серебряный голосокъ, отъ котораго Аввакумъ вздрогнулъ.

— Аминь! аминь! трикраты аминь!—крикнулъ онъ восторженно.

Въ дверяхъ показалось бѣлое, зарумянившееся отъ мороза личико. Оно выглядывало изъ-подъ чернаго платка, которымъ повязана была голова, и казалось личикомъ молоденькой чернички. Боярыня Морозова—это была она—робко, со страхомъ и съ какимъ-то благоговѣніемъ переступила черезъ порогъ и, стремительно подвинувшись впередъ, съ тихимъ стономъ упала ницъ передъ Аввакумомъ и, всплеснувъ руками, припала лицомъ къ ладнямъ, прикрывавшимъ его ноги.

— Охъ, свѣтъ мой! охъ, батюшка! мученикъ Христовъ!—страстно лепетала она, обнимая онучи своего учителя.

А онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, силился приподнять ее, тоже бормоча безсвязно:

— Встань, подымись, мой свѣтикъ, дочушка моя! Дай взглянуть на тебя, благословить тебя, чадо мое богоданное! Самъ Богъ послалъ тебя... Вонъ я, смрадный пѣсъ, молился Ему, Свѣту, выль до него: „вергни-де въ темницу мою солнце, дуни на мя, оконченъ-благъ“—и онъ послалъ ко мнѣ солнушко теплое—тебя, свѣтикъ мой! Встань же, прогляни, солнушко Божье!—и, приподнявъ ее, онъ крестилъ ея лицо, глаза, голову, плечи, повторяя восторженно: буди благословенна буди благословенно лице твое, очи твои, глава твоя буди вся благословенна и преблагословенна!

— А она ловила его обѣ руки, цѣловала ихъ, цѣловала его плечи, овчину, которою онъ былъ прикрытъ, и страстно шептала:

— Батюшка, батюшка! святой, не чаяла я тебя видѣть! касатикъ мой!

За Морозовой, медленно, осторожно переступая черезъ порогъ, какъ бы ошупывая ногами землю и пыливо высматривая изъ-подъ чернаго клобука, нагнутого до бровей, маленькими рысьими глазками, вошла въ келью старая монашенка съ большимъ узломъ на лѣвой рукѣ. Она, гремя чотками,

сдѣлала нѣсколько широкихъ крестовъ въ уголъ и, низко поклонившись Аввакуму, коснувшись двумя пальцами земли, протянула руку подѣ благословеніе. Аввакумъ перекрестилъ ее, положилъ свою горсть на ея горсть, какъ бы вкладывая въ эту горсть нѣчто очень цѣнное, а монашенка поцѣловала его руку.

— Здравствуй, матушка Меланія! здравствуй, звѣзда незаходимая благочестія,—все также восторженно проговорилъ Аввакумъ.

Старица Меланія—эта „звѣзда незаходимая благочестія“—была дѣйствительно самымъ крупнымъ свѣтиломъ своего вѣка и своего общества: умная, энергическая, съ необыкновеннымъ запасомъ воли и самообладанія, неутомимая въ преслѣдованіи своихъ идеаловъ, но въ то же время осторожная, замкнутая въ себѣ, когда того требовали обстоятельства, сильная словомъ, когда она, такъ сказать, обнажала свой языкъ, острый, какъ бритва, и ядовитый, какъ зубы мѣдянки, смѣлая и рѣшительная, когда требовался натискъ, чтобы сломить препятствія, знавшая все, что дѣлалось въ Москвѣ, проникавшая всюду, какъ воздухъ, и, какъ воздухъ, неуловимая,—старица Меланія была всесильнымъ и невидимымъ центромъ „древляго благочестія“: это былъ воевода въ юбкѣ, воевода невидимыхъ ратей, которыя, однако, держали въ рукахъ, хотя тайно, всю Москву и далекія окраины. Старица Меланія была сильнѣе Никона, которому у нея слѣдовало поучиться борьбѣ съ сильными противниками и умѣнью побѣждать и держать ихъ въ повиновеніи. Она была могущественнѣе самого Алексѣя Михайловича, который, сломивъ Никона, не могъ сломить стараго дерева—„древляго благочестія“, главою котораго и игеомомъ была матушка Меланія. Всѣ тайные приверженцы старины,—а такими почти поголовно были всѣ московскіе люди, начиная отъ стоявшихъ у престола и кончая стоявшими у корыта монастырской пекарни, всѣ московскія женщины, начиная отъ царицы Марьи Ильишны и ея ближнихъ боярынь и боярышень и кончая молоденькими черничками,—всѣ находились въ негласномъ „подслушаніи“ у матушки Меланіи, были ея слѣпыми орудіями, которыя „свою грѣшную волю въ конецъ отсѣкли, какъ червивый хвостъ у собаки“. Строгая, фанатичная до изуверства, руководившая всѣми, помыкавшая даже такими личностями, какъ Аввакумъ, она, однако, не пошла бы съ ними проповѣдывать на площадь, а, какъ полководецъ, посылала ихъ въ огонь, на висѣлицы, на костры, а сама оставалась въ сторонѣ. И они же, эти безумцы, умирая въ страшныхъ мученіяхъ, благословляли матушку Меланію; они же просили палачей или кого-либо изъ присутствовавшихъ при истязаніи ихъ и при казни такъ или иначе довести до свѣдѣнія „матушки“, что они умерли твердо, мученически, не поступившись ни однимъ перстомъ, ни одною „аллилуіею“, ни священнымъ *азомъ*.

Матушка Меланія была уже очень стара; но живучесть и энергія свѣтились, какъ фосфоръ, въ ея рысѣхъ глазкахъ, которые ни на кого прямо не смотрѣли, хотя видѣли cadaго насквозь, будучи, повидимому, обращены молитвенно горѣ или сокрушенно долу. Лба ея также никто не ви-

далъ за клобукомъ, а брови смотрѣли какимъ-то навѣсомъ надъ глазами, подъ которыми эти послѣдніе прятались отъ посторонняго взора, какъ воробы подъ крышей отъ дождя.

Послѣ первыхъ привѣтствій Аввакумъ усадилъ своихъ гостей на солому, а самъ опутился противъ нихъ на колѣни. Морозова съ ужасомъ и дрожью осматривала страшное помѣщеніе. Матушка же Меланія одобрительно оглядывала промерзшія стѣны, шепча какъ бы про себя: „радуюсь, радуюсь за Аввакумушко—экой благодати сподобился, счастливчикъ“.

— Ну, что у васъ городъ слышно, миленькія?—спросилъ Аввакумъ.

— Патриархи вселенскіе пріѣхали; новѣ Никона судятъ, — сказала Морозова.

— Греческіе волки пріѣхали нашего медвѣдя судить, — пояснила матушка Меланія.

— Добро! А какъ они сами, судьи-то, крестятся?—спросилъ Аввакумъ.

— Щепотью, сама видѣла,—отвѣчала матушка Меланія.

— Еретики! звѣри пестрообразные!—Аввакумъ такъ и вскочилъ.

— А у царицы государыни сказывали, — робко начала Морозова, — что и тебя, свѣта, патриархи судить будутъ.

— Добро! Я ихъ научу креститься! — восторженно произнесъ фанатикъ, сверкая глазами. — Для того и съ Мезени меня привезли сюда—травить греческими собаками. Мало того, что бороду у меня отрѣзали и власы остригли, какъ у непотребной дѣвки... вонъ всего обворовали, что собаки—одинъ хохолъ оставили какъ у поляка на лбу... Да добро! мнѣ же на руку: меня возятъ по градамъ и селамъ, а я кричу вездѣ, обличаю ихъ, пестрообразныхъ звѣрей, а люди божіи слушаютъ меня да поучаются, да плачутъ... Еще не то будетъ, когда удавить меня повелятъ, либо сжечи тѣло мое похотятъ: крикну я тогда на весь свѣтъ и голосъ до трубы архангела не умолкнетъ. Я что! — земля, грязь; пушай ихъ тѣло мое жгутъ, жилы вытягиваютъ—больненько-таки, да за то вѣнецъ мученическій получу, а дѣткамъ своимъ православнымъ крикну: „смотрите-де, дѣтушки, вонъ съ какимъ крестомъ до Бога иду! и вы-де за мной, не лѣнитесь!“ Что-жъ они думаютъ меня морозомъ напужать—вонъ въ какую баньку посадили, мало не скостенѣлъ; а какъ взвылъ къ Батюшкѣ-Свѣту: „дунь на меня тепломъ, пошли солнышко“, — Онъ, Милосердый, и послалъ, да не одно, а два солнышка — это васъ-то миленькія мои... И тепло мнѣ стало, охъ, какъ тепло!

Фанатикъ дѣйствительно разгорѣлся внутреннимъ огнемъ и забылъ холодъ, отъ котораго онъ за нѣсколько минутъ передъ этимъ буквально костенѣлъ.

— А мы тебѣ, Аввакумушко, и въ самъ-дѣлѣ тепленькаго привезли, — сказала мать Меланія, указывая на узелъ: — государыня царица, да вотъ дочушка твоя духовная, Ѳеодосіюшка (она указала на Морозову), наготовили тебѣ приданнаго что невѣстѣ: и сапожки тепленьки, и чулочки, рукавички съ варежками изъ козья пуху, да и шубечку лисью мяконьку.

— Спасибо матушкѣ царикѣ, добра она миленькая, добра, что ангелъ божій! Да и тебѣ исполать, дочушка моя!—кланялся онъ Морозовой.—А я на соборъ хочу вотъ такъ пойти, да и ко Господу въ свѣтлу горенку постучусь въ семь же одѣяніи: онъ, Батюшка-Свѣтъ, и нищихъ принимаетъ.

Морозова благоговѣнно смотрѣла на него. Вліяніе этого человѣка окончательно преобразило ее: она стала вся самоотверженіе. Богатый домъ свой она обратила въ общественную богадѣльню: странники, нищіе, юродивые, больные не выходили изъ ея дому. Она ухаживала за больными и гвонными, сама своими нѣжными руками обмывала ихъ ужасныя язвы, сама кормила ихъ. Нѣжное, пухлое боярское тѣло она облекла власяницею, до того колючею, что тѣло ея горѣло и болѣло, какъ отъ огня.

— Нѣту, Аввакумшко, еще раненько тебѣ ко Господу идти,—замѣтила мать Меланія:—поживи еще съ дѣтками своими, поучи ихъ да порадуйся ими. Вонъ и Ѳедосѣюшка наша надѣла на себя брачныя одежды,—она взглянула на Морозову.

Молодая боярыня вспыхнула.

— Что ты говоришь, матушка?—удивленно спросилъ Аввакумъ.

— Говору: Ѳедосѣюшка боярыня къ вѣнцу нарядилась,—повторила старуха.

Аввакумъ оглянулъ Морозову, которая сидѣла вся пунцовая, готовая расплакаться отъ стыда.

— Что ты, матушка!—защищалась она.—Къ чему это?

— Къ тому, что твой батюшка духовный все долженъ знать... Ѳедосѣюшка-боярыня власяницу надѣла,—обратилась старуха къ Аввакуму:—да думаетъ и ангельскій образъ пріяти.

Глаза Аввакума засвѣтились радостью.

— Слава тебѣ Господи, Создателю нашъ!—говорилъ онъ восторженно:—не одна Анисѣюшка-боярышня на боярство свое наплевала, къ нищей братіи пристала и ангельскому чину пріобщилась.... Что боярство передъ ангелы! А вотъ и дочушка моя Ѳедосѣюшка туда-жъ возревновала, золотая моя! Иди, иди ко ангеламъ—благо ти будетъ въ томъ вѣцѣ... А я Анисѣ тутъ многонько-таки настрочилъ: снеси ей, матушка,—пускай не забываетъ меня.

И Аввакумъ, доставъ изъ-подъ соломы неписанный листокъ, подаль его матери Меланіи.

Дверь келіи неожиданно отворилась, и на порогѣ показалась рослая фигура мужчины въ собольей шубѣ и высокой шапкѣ. Открытое лицо съ русою бородою и сѣрыми глазами смотрѣло привѣтливо. При видѣ его и молодая боярыня, и старая черница встали съ своихъ соломенныхъ сидѣній.

— Здравствуй, Аввакумъ!—сказалъ вошедшій.—Здравствуй, матушка боярыня Ѳедосѣя Прокопьевна! Здравствуй, мать Меланья!

Всѣ отвѣчали поклонами на привѣтствіе пришедшаго, который былъ никто иной, какъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, входившій въ то время въ силу и извѣстный своимъ пристрастіемъ ко всему новому и иноземному.

— Я къ тебѣ отъ великаго государя,—обратился Матвѣевъ къ Аввакуму.—Великій государь указалъ сказать тебѣ, Аввакуму, что нонѣ у насъ на Москвѣ вселенскіе патріархи: святители-де прибыли къ намъ ради Никонова неистовства и установленія церкви—и ты бы-де, Аввакумъ, соединился съ святителями во всемъ.

— Не соединюсь я съ ними ни въ чемъ!—рѣзко отвѣчалъ фанатикъ:—ни въ перстномъ сложеніи, ни въ азѣ. Умру, а не соединюсь съ отступниками.

— Да какіе же они отступники? Въ чемъ и отъ кого отступились?—спросилъ Матвѣевъ.

— Ахъ, Артемонъ, Артемонъ!—по обыкновенію страстно заговорилъ фанатикъ.—Знаю я, тебѣ все равно, какъ ни молись: ты и въ костель пойдешь, и крыжъ лицой поцѣлуешь...

— Для чего его не поцѣловать? Не его цѣлую, а Христа.

— Добро! Тебѣ все едино: что святая біблія, что твой „Василіологіонъ“, что евангеліе, что „Мусы“ эллинскія. Ишь напечатали на соблазнъ людямъ! А люди оттого гибнутъ: вонъ сколько ужъ замучили нашихъ-то! Али такъ ко Христу приводятъ, какъ вы приводите—кнутомъ да висѣлицей, да огнемъ! Чудно мнѣ! Какъ въ познаніе не хотятъ прійти: огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицей вѣру утвердить хотятъ! Гдѣ это видано? Токмо у язычниковъ. А апостолы развѣ такъ учили? Мой Христосъ не приказалъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею въ вѣру приводить. Господь сказалъ ученикамъ: „шедше проповѣдите языкомъ—иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ“. Видишь? Волею зоветъ Христосъ, а не приказалъ огнемъ жечь да на висѣлицѣ вѣшать. Чудно право! Ослѣпили что ли всѣ, что ничего не видятъ. Эки Діоклетіаны новыя явились, словно мы въ Римѣ при Неронѣ живемъ, либо въ Персидѣ. Да что много говорить! Значить, такъ надо у Господа: еще бы не были борцы, не бы даны были вѣнцы. Ну, давайте намъ вѣнцы, вѣнчайте насъ. Кому охота вѣнчаться мученическимъ вѣнцомъ, не почто ходить далеко, въ Персиду либо въ Римъ къ Неронамъ да Діоклетіанамъ: у насъ и дома, на Срѣтенкѣ, свой Римъ, свой Вавилонъ. А! нутко, правовѣрне! стань на Красной площади, либо въ Кремлѣ, нарцы имя Христова, подыми руку да перекрестись знаменіемъ Спасителя нашего двумя персты, яко же пріяхомъ отъ святыхъ отецъ—вотъ тебѣ и мученичскій вѣнецъ, царство небесное дома родилось—не почто за нимъ ходить въ Персиду къ Діоклетіану мучителю. Ишь умники! ученые-ста! Христу палачей въ ученики дали, да приставовъ немилостивыхъ, да стрѣльцовъ: учите-де кнутомъ да тюрьмой! Эхъ, не глядѣлъ бы! Такъ ужъ вы и евангеліе перемѣните, благо крестъ перемѣнили: „иже-де вѣру имать и крестится щепотью—спасенъ будетъ, а не крестится никоніанскою щепотью—ино того засѣку, повѣшу, изжарю“... Такъ бы слѣдовало Христу сказать. Эхъ!.. А я вотъ неученъ человѣкъ, гораздо несмысленъ, да то знаю, что все, что церкви отъ святыхъ отецъ

предано есть, свято есть и неприкосновенно: не тронь и *аза*, а тронешь *азъ*, за нимъ и все трогать стануть: на то люди—люди. И вотъ я, яко же пряхъ, держу до смерти и *азъ* удержу, хоть меня повѣсьте. До насъ оно положено, такъ и лежи оно такъ вѣчно, во вѣки вѣкомъ! А то на—переучивать кнумомъ стали—эки апостолы! А люди погибають, а кровь неповинная лется, а церкви пустуютъ, христiяне прячутся по вертепомъ, да по пропадемъ земнымъ, какъ въ оно время, при мучителяхъ римскихъ... Эко времячко, Господи Боже!

Аввакумъ даже всплеснулъ руками. Морозова стояла блѣдная, не спускавшая глазъ съ своего учителя и съ ужасомъ иногда взглядывая на Матвѣева. Мать Меланiя, съ потупленными глазами и съ наклоненною головою, казалось, застыла отъ страху. И Матвѣевъ стоялъ изумленный, будучи не въ силахъ остановить страстной рѣчи фанатика.

— Такъ что жъ мнѣ доложить великому государю?—удалось ему, наконецъ, вставить свое слово.—Соединишься съ вселенскими патріархами?

— Не соединюсь во вѣки!—отвѣчалъ изувѣрь.—Доложи великому государю, что мы сами за него, батюшку, умолимъ Господа, и за него, свѣта, и за царицу, и за его царство. А имъ, грекамъ, какое до насъ и до него дѣло? Своего царя проторговали туркамъ и нашего проглотить суды приволоклися! Такъ и доложи великому государю: я, протопопъ Аввакумъ, не сведу съ высоты небесныя рукъ, дондеже Богъ не отдастъ намъ нашего царя, благочестивѣйшаго и тишайшаго Алексѣя Михайловича всея Руси.

— Напрасно упрямствуешь,—сказалъ Матвѣевъ.

Аввакумъ вспыллъ.

— Упрямствую и буду упрямствовать! Слышишь, я хочу вѣнца! я соскучился объ вѣнцѣ! Вотъ уже сколько лѣтъ ищу его, а вы мнѣ не даете. Дайте скорѣй! Рубите голову, надѣвайте на нее вѣнецъ нетлѣнный, а грѣховное и мерзкое туловище долой! Будеть—потаскалъ я его: хочу одинъ вѣнецъ носить безъ туловища... А вы оставайтесь съ туловищами да въ шапкахъ изъ звѣриной шкуры... Такъ и доложи—ни слова не выкидай, ни аза!

Матвѣевъ безнадежно махнулъ рукою и вышелъ, бормоча:

— Пустосвяты!

ХІІІ.

„Глаза ангела“.

Черезъ день было второе засѣданіе вселенскаго собора.

Никонъ вошелъ въ столовую избу медленно, едва передвигая ноги и тяжело опираясь на посохъ. Онъ казался угнетеннымъ, подавленнымъ. За день голова его посеребрилась еще болѣе, и ему, видимо, тяжело было держать ее на плечахъ.

Когда онъ кланялся царю и патриархамъ, то съ трудомъ поднимался отъ полу.

Царь снова всталъ съ своего мѣста и остановился противъ патриарховъ. Онъ былъ блѣденъ.

— Святая и пречестная двойце! вселенстїи патриарси!—началь онъ дрожащимъ голосомъ.—Бравясь съ митрополитомъ газскимъ, писалъ Никонъ въ грамотѣ къ константинопольскому патриарху, якобы все православное христіанство отъ восточной церкви отложилось къ западному костелу,—и то онъ писалъ ложно: святая соборная восточная церковь имѣетъ Спасителя нашего Бога многоцѣлебную ризу и многихъ святыхъ московскихъ чудотворцевъ мощи, и никакого отлученія не бывало: держимъ и вѣруемъ по преданію святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ истинно.

Онъ остановился и оглянулъ весь соборъ. Затѣмъ, возвыся голосъ, съ особенною силою выкрикнулъ:

— Бьемъ челомя, чтобъ патриархи отъ такого поношенія православныхъ христіанъ очистили!

И царь поклонился до земли. Буря пронеслась по собору, застонала столовая изба. Всѣ упали ницъ со стономъ: „смилуйтесь! очистите, святѣйшіе патриархи! снимите позоръ со своей російской православной земли!“

Сотни головъ лежали на землѣ и молились, какъ въ церкви, громко, со стономъ, съ крикомъ. Это была потрясающая картина—и Никонъ не выдержалъ, зашатался: это все стонало противъ него, искало его погибели.

И въ этотъ самый моментъ капризная память его словно волшебствомъ нарисовала передъ нимъ другую картину. На полу, при слабомъ освѣщеніи лампы, бьется молодая женщина, хватая и цѣлуя его ноги. Она умоляетъ его остаться съ нею, не бросать ея, не уходить въ невѣдомый путь, гдѣ ждетъ его невѣдомая доля. А онъ не внимаетъ мольбамъ и рыданіямъ женщины: его манитъ этотъ невѣдомый путь, эта невѣдомая доля—и онъ уходитъ, оставивъ на полу плачущую женщину. Это была его жена... Теперь онъ извѣдалъ эту невѣдомую долю: высоко, охъ, какъ высоко она поставила его и вонъ до чего довела... А не лучше ли бы было въ той, прежней, скромной долѣ?.. Да ужъ теперь не воротить ея: между тою долею и этою стоять тридцать лѣтъ и три года...

— Это дѣло великое,—громко произнесъ чей-то голосъ, и Никонъ очнулся: это говорилъ Макарій, патриархъ антиохійскій.—Это дѣло великое; за него надобно стоять крѣпко. Когда Никонъ всѣхъ православныхъ христіанъ еретиками называлъ, то онъ и насъ также называлъ еретиками, будто мы пришли еретиковъ разсуждать... А мы въ московскомъ государствѣ видимъ православныхъ христіанъ. Мы станемъ за это Никона патриарха судить и православныхъ христіанъ оборонять по правиламъ.

Алексѣй Михайловичъ взглянулъ на дьяка Алмаза, и тотъ на цыпочкахъ преподнесъ царю какія-то бумаги.

— Вотъ три письма,—сказалъ царь:—въ нихъ Никонъ самъ отрекся отъ патриаршества, называетъ себя *бывшимъ* патриархомъ.

Патріархи взяли письма. Никонъ молчалъ, не поднимая головы.

— Въ законахъ написано,—громко произнесъ Макарій:—кто уличится во лжи трижды, тому впредь вѣрить ни въ чемъ не должно. Никонъ патріархъ объявился во многихъ лжахъ, и ему ни въ чемъ вѣрить не подобаетъ. Кто кого оклеветалъ, подвергается той же казни, какая присуждена обвиненному имъ неправедно. Кто на кого возведетъ еретичество и не докажетъ, тотъ достоинъ—священникъ низверженія, а мірской человѣкъ проклятій.

А Никонъ все молчалъ. Передъ нимъ все валялась отвергнутая имъ женщина, ломая руки: „Микитушка! лучше ли тебѣ будетъ тамъ, безъ меня? Найдешь ли ты тамъ свое счастье и спасенье?“—„Охъ, нашель... нашель больше чѣмъ искалъ, нашель цѣлое царство... и потерялъ его, а теперь не найду и того, что было тогда, давно“...

Царь тихо подошелъ къ Макарію антиохійскому и подалъ развернутый листъ и другой—переводъ его на греческій языкъ.

— Письмо Никона о поставленіи новаго патріарха на его мѣсто,—сказалъ онъ, кланаясь.

Макарій взглянулъ на листъ—онъ раньше читалъ его и хорошо помнилъ—и передалъ Паисію александрійскому. Тотъ взялъ, подыалъ свои мертвые, синеваыя вѣки на листъ, потомъ на Никона и снова опустилъ глаза.

Никонъ стоялъ попрежнему безмолвно, ни на кого не глядя, и тихо качалъ головой, какъ бы отрицая все, что вокругъ него происходило, или какъ бы созерцая никому невидимые образы.

— Когда Теймуразъ царевичъ былъ у царскаго стола,—снова началъ неугомонный Макарій,—то Никонъ прислалъ человека своего, чтобъ смуту учинить. А въ законахъ написано: „а кто между царемъ учинить смуту, и тотъ достоинъ смерти“.

— Смерти, глухо раздалось по собору.

А Никонъ все качалъ головою, какъ бы ничего не слыша; да онъ и не слышалъ: онъ былъ не здѣсь—его смущенная мысль бродила въ прошломъ, среди дорогихъ видѣній молодости.

— А кто Пиконова человека ударилъ, и того Богъ проститъ, потому что подобаетъ такъ быть.

Это все говорилъ Макарій. При послѣднихъ словахъ онъ повелъ своими восточными, молочно-синеваыми бѣлками по собору и остановилъ ихъ на полномъ лицѣ Хитрово. Хитрово вспыхнулъ. Макарій всталъ и осыпалъ его крестомъ, а потомъ снова перенесъ свои бѣлки на царя, стоявшаго рядомъ съ Никононъ въ положеніи подсудимаго.

— Архіепископа сербскаго Гавріила били Никоновы крестьяне въ селѣ Пушкинѣ, и Никонъ обороны не далъ,—продолжалъ свое обвиненіе Макарій.—Да онъ же, Никонъ, въ соборной церкви, въ алтарѣ, во время литургіи, съ нѣкотораго архіерея снялъ шапку и бранилъ всячески за то, что не такъ кадило держалъ. Да онъ же, Никонъ, на ерданъ ходилъ въ

навечеріи Богоявленія, а не въ самый праздникъ — и то ему, Никону, вина!

Никонъ не слушалъ падавшихъ на его голову обвиненій. Онъ прислушивался къ чему то другому... „Микитушка!.. охъ!.. суженый мой, не покидай меня, младешеньку, горькою вдовицей... Микитушка! вспомни, какъ спознались мы съ тобой, вспомни совыканье наше, какъ ты рѣзвы ноженьки мои цѣловалъ... не покидай меня, соколъ ясный — у насъ еще будутъ дѣтушки“... И бѣлокурая голова колотится объ полъ, хрустятъ тонкіе пальцы на ломаемыхъ рукахъ... „Будутъ дѣти“... А ему мало этихъ дѣтей, ему нужны миллионы дѣтей — и бояръ, и князей, и царей — чтобы всѣ были его дѣтьми... И они были... всею Русью верховодилъ онъ... И вдругъ сорвался.

Онъ зашатался и упалъ бы, если бъ не поддержалъ его оторопѣвшій царь вмѣстѣ съ крестоносителемъ.

— Охъ, Господи! помилуй насъ!

— Божій судъ... Господь дунулъ на него гнѣвомъ своимъ, — прошепсая ропотъ по собору.

Блѣднаго, шатающагося Никона вывели... Соборъ былъ прерванъ.

По Москвѣ пошли зловѣщіе слухи. Говорили, что во время собора, въ трескучій морозный день, слышенъ былъ громъ съ небеси и земля зашаталась. Бояре видѣли, какъ Господь Богъ дунулъ на Никона, и Никонъ упалъ замертво. Разгнѣванный Господь продолжалъ дуть на Москву, и оттого сталъ такой морозъ, какого не бывало, какъ и Русь стоитъ: птицы не могли летать по аеру, падали и замерзали; съ колокольни Ивана Великаго метлами сметали замерзшихъ воробьевъ, голубей и галокъ; изъ лѣсу въ Москву забѣгали волки и забирались отъ морозу въ сѣни, въ дома, въ церковныя сторожки. На небѣ стояло три багровыхъ солнца и ни одно не грѣло отъ холоднаго дуновенія божія — задулъ Господь теплоту ихъ. Москва-рѣка треснула поперекъ и въ трещину изъ-подо льда выплывала мертвая, убитая морозомъ рыба. Когда люди выходили изъ Успенскаго собора, то видѣли, какъ на паперти стоялъ босякомъ юродивый и плакалъ, и слезы тотчасъ же замерзали и падали на помость, стуча какъ горохъ либо крупный жемчугъ. Все это не къ добру, все это за грѣхи... Стрѣльцкому сотнику, что съ прочими стрѣльцами поставленъ былъ у Никольскихъ воротъ къ помѣщенію Никона, упалъ на шапку мертвый бѣлый волохатый голубь... Говорили, что и Никонъ, послѣ того какъ на него божьимъ гнѣвомъ дунуло, лежитъ при смерти — безъ языка...

Но слухи были невѣрны, какъ въ томъ скоро и убѣдились бояре и архіереи: не отнялся еще языкъ у Никона, не задуло гнѣвомъ божьимъ его мощнаго духа: онъ прислалъ къ царю сказать, что готовъ вновь стать съ нимъ рядомъ на судъ не только патріарховъ, но и самого Всемогущаго Бога, у котораго въ рукахъ тысящи лѣтъ яко день одинъ, а престолы и царства — яко прахъ и паутина.

Царь опять созвалъ соборъ. По собору мгновенно прошелъ гулъ и

ропотъ: бояре и архіереи шопотомъ передавали другъ другу, что „чадушко“ то еще „неистовѣ“ сталъ: такъ и рветъ, и мечетъ.

Дѣйствительно, патріархъ явился на соборъ еще болѣе заряженнымъ.— „Такъ отъ него и пышетъ полымя“, рассказывали стрѣльцы, стоявшіе у него у воротъ на караулѣ. Проходя мимо стрѣleckаго сотника, того, что былъ уже напуганъ паденіемъ на шапку мертвого голубя, онъ такъ на него глянулъ, что сотникъ, и безъ того ожидавшій худа, задрожалъ и упалъ ницъ передъ крестомъ, головою на мерзлую землю, а стрѣльцы со страху шептали — кто: „святъ-святъ“, а кто: „чуръ-чуръ меня!.. сгинь, исчезни!“

И царь, видимо, съ тревогою ожидалъ послѣдняго отчаяннаго боя. Онъ обводилъ смущеннымъ взоромъ то правыя, то лѣвыя скамьи собранія, то останавливалъ его на патріархахъ, и особенно на Паисіи: „Мертвецъ мертвецомъ“, думали, казалось, выразительные глаза царя: — „мощи сущія, — а судія вселенной“. Когда по звяканью на дворѣ прикладовъ стрѣleckихъ ружей и сабель можно было догадаться, что ведутъ Никона, царь тревожно обратился къ патріархамъ.

— Никонъ пріѣхалъ въ Москву, — торопливо заговорилъ онъ, — и на меня налагаетъ судьбы божіи за то, что соборъ приговорилъ и велѣлъ ему въ Москву пріѣхать не съ большими людьми. Когда онъ ѣхалъ въ Москву, то по моему указу у него взять малый, Ивашка Шушера, за то, что онъ въ девятилѣтнее время къ Никону носилъ всякія вѣсти и чинилъ многую ссору. Никонъ за этого малаго меня поноситъ и безчеститъ, говоритъ: „царь-де и меня мучитъ, велѣлъ-де и отнять малаго изъ-подъ креста...“ Если Никонъ на соборъ станетъ объ этомъ говорить, то вы, святѣйшіе патріархи, вѣдайте; да и про то вѣдайте, что Никонъ передъ поѣздкою нынѣ въ Москву исповѣдовался, пріобщался и масломъ освящался.

„Патріархи подивились гораздо“, — говорить объ этомъ Алмазь Ивановъ, который велъ протоколъ соборный; но въ этотъ моментъ за дверью послышался шумъ и гнѣвный голосъ Никона.

— А ты крестъ-отъ неси высоко, чинно, истово! Это тебѣ не лопата! кричалъ онъ на ставрофоръ, которымъ былъ не любимецъ его Иванушка Шушера, сидѣвшій подъ карауломъ, за приставы, а новый, приставленный царскими слугами согладатой. — На немъ Христа распяли, и меня ищутъ распяті!

Многіе вздрогнули отъ этого голоса... „Неистовъ, буенъ, аки мескъ“, шептались на скамьяхъ.

Никонъ вступилъ въ столовую избу шумно, высоко поднявъ голову и шибко стуча посохомъ, словно старшина на сходкѣ передъ заартачившимися мужиками. Онъ не глянулъ, а сыпанулъ искрами по собору, не поклонился, а метнулъ поклоны, не крикнулъ, а рыкнулъ, встряхнувъ гривой по лвиному. Всѣ ждали бури.

Паисій медленно приподнялъ свои мертвыя вѣки, и губы его зажевали беззвучно. Макарій повелъ по собору огромными бѣлками, какъ-бы успокоивая робкихъ.

— Никонъ!—послышался тихій, дрожащій голосъ Паисія:—ты отрекся отъ патріарша престола съ клятвою и ушелъ безъ законной причины.

Голова и руки говорившаго дрожали. Никонъ посмотрѣлъ на него, какъ смотрять на маленькаго ребенка.

— Я не отрекался съ клятвою,—сказалъ онъ отрывисто:—я засвидѣтельствовался небомъ и землею и ушелъ отъ государева гнѣва... И теперь иду куда великій государь изволить: благое по нуждѣ не бываетъ.

— Многіе слышали, какъ ты отрекся отъ патріаршества съ клятвою,—настаивалъ Паисій, между тѣмъ какъ Макарій молчалъ, уставившись своими большими глазами на подсудимаго.

— Это на меня затѣяли,—отрицалъ подсудимый.—А коли я негоденъ, то куда царское величество изволить, туда и пойду.

— Кто тебѣ велѣлъ писаться патріархомъ Новаго Іерусалима?—ввязался Макарій.

— Не писывалъ и не говаривалъ! — обрѣзалъ Никонъ, метнувъ въ полоборотъ глазами на вопрошавшаго.

Сидѣвшій недалеко одинъ архіерей заторопился, покраснѣлъ и зашуршалъ бумагой, вынимая ее изъ-подъ мантии.

— Вотъ тутъ написано... твоя рука,—робко заговорилъ архіерей, поднося Никону бумагу.

— Моя рука... развѣ описался, — нѣсколько смущенно отвѣчалъ послѣдній.

Но тутъ же, чувствуя себя какъ бы пойманнымъ нѣсколько, уличеннымъ, онъ зауямился еще болѣе, и, стукнувъ посохомъ, полуоборотился къ царю.

— Слышалъ я отъ грековъ, что на александрійскомъ и антiохійскомъ престолахъ иные патріархи сидятъ,—сказалъ онъ раздраженно:—чтобъ государь приказалъ свидѣтельствовать—пусть патріархи положить евангеліе.

Восточные глаза Макарія метнули искры, и, онъ выпрямился на мѣстѣ.

— Мы патріархи истинные, не изверженные, и не отрекались отъ престоловъ своихъ!—сказалъ онъ рѣзко. — Развѣ турки безъ насъ что сдѣлали... Но если кто дерзнулъ на наши престолы незаконно, по принужденію султана, тотъ не патріархъ—прелюбодѣй! А святому евангелію быть не для чего: архіерею не подобаетъ евангеліемъ клясться.

И Никонъ вспылилъ, подзадоренный словами Макарія и въ особенности его невыносимыми глазами.

— Отъ сего часа свидѣтельствуюсь Богомъ, что не буду передъ патріархами говорить, пока константинопольскій и іерусалимскій сюда не будутъ!—закричалъ онъ, отступая назадъ.

— Какъ ты не боишься суда Божія? — невольно воскликнулъ тотъ архіерей, что сейчасъ уличилъ его подписью—это былъ Илларионъ рязанскій.—И вселенскихъ-то патріарховъ безчестить!

Заволновался и весь соборъ. Лица казались возбужденнѣе, гнѣвные

взгляды и возгласы учащались. Поднялся Макарий и окинул весь соборъ блестящимъ взоромъ.

— Скажите правду про отрицаніе Никоново съ клятвою! — воскликнулъ онъ.

— Никонъ клялся—говорилъ: „коли-де буду патріархъ, то анаема-де буду!“ Клялся истинно!—закричало нѣсколько голосовъ.

Но упрямецъ все-еще не корился: онъ, повидимому, вызывалъ всѣхъ на бой.

— Я назадъ не поворачиваюсь и не говорю, что мнѣ быть на престолѣ патріаршескомъ,—настаивалъ онъ:—а кто по мнѣ будетъ патріархъ, тотъ будетъ анаема! Такъ я и писалъ къ государю, что безъ моего совѣта не поставлять другого патріарха. Я теперь о престолѣ ничего не говорю: какъ изволитъ великій государь и вселенскіе патріархи.

А великій государь все стоялъ неподвижно. Лицо его поминутно то вспыхивало, то блѣднѣло, отражая на себѣ и въ глазахъ всѣ перипетіи борьбы, которая велась на его глазахъ и въ которой принимало участіе все его существо, вся душа, взволнованная и потрясенная. Онъ чувствовалъ, что бой на исходѣ, но тѣмъ больше сжималось его сердце, въ предчувствіи, что послѣдуетъ что-то недоброе, слишкомъ тягостное... Но надо стоять до конца на этой угнетающей душу вселенской литургіи, на которой отпѣвалась его сокрушенная обстоятельствами горькая дружба съ его нѣкогда „собиннымъ“ другомъ.

Да, исходъ борьбы... Патріархи велѣтъ читать правила помѣстныхъ соборовъ.

„Кто покинетъ престолъ волею, безъ навѣтовъ“, возглашалъ Илларионъ рязанскій,—„тому впредь не быть на престолѣ“.

— Эти правила не апостольскія!—прерываетъ его Никонъ,—онъ не утомимъ въ борьбѣ: — эти правила и не вселенскихъ соборовъ и не помѣстныхъ; я этихъ правилъ не принимаю и не внимаю!

— Эти правила приняла церковь,—возражаютъ ему.

— Ихъ въ русской корчмѣ нѣтъ!—кричитъ Никонъ.—А греческія правила не прямые, ихъ патріархи отъ себя написали, а печатали ихъ еретики... А я не отрекался отъ престола: это на меня затѣяли!

— Наши греческія правила прямые!—не выдержали оба патріарха.

— Когда онъ отрекался съ клятвою отъ патріарша престола, то мы его молили, чтобъ не покидалъ престола,—вмѣшался еще одинъ архіерей, тверской: — но онъ говорилъ, что разъ отрекся и больше не будетъ патріархомъ, а коли-де ворочусь, то буду анаема.

— Неправда! затѣя!

— Никонъ говорилъ, что обѣщалъ быть на патріаршествѣ только три года,—возвысилъ голосъ Родіонъ Стрѣшневъ, вставая и встряхивая молодцы русыми кудрями.

— Затѣя! ложь!

— Не затѣя!

— Затѣя!.. Я не возвращаюсь на престолъ... Волею великій государь.

— Никонъ писалъ великому государю, что ему не подобаетъ возвращаться на престолъ, яко псу на своя блевотины! — долбанулъ тщедушный дьякъ Алмазъ своимъ здоровымъ голосомъ, подымаясь надъ кипами бумагъ и харатейныхъ свитковъ.

— Затѣю говорить дьякъ! — огрызнулся подсудимый въ сторону Алмаза Иванова. — Не токма меня, и Златоуста изгнали несправедливо!

— Эко-ста Златоустъ! — слышалось среди бояръ. — Не Златоустъ, а буюустъ!

Никона это окончательно взорвало. Онъ, казалось, позеленѣлъ.

— Ты, царское величество, — грубо обратился онъ влѣво: — ты девять лѣтъ вразумлялъ и училъ предстоящихъ тебѣ въ семь сонмищѣ, а они все-таки не умѣютъ ничего сказать. Вели имъ лучше бросить на меня камни — это они сумѣютъ! А учить ихъ будешь хоть еще девять лѣтъ — ничего отъ нихъ не добьешься!.. Когда на Москвѣ учинился бунтъ, то и ты, царское величество, самъ неправду свидѣтельствовалъ, а я, испугавшись, пошелъ отъ твоего гнѣва.

Эти рѣчи и тишайшаго взорвали. Онъ вспыхнулъ.

— Непристойныя рѣчи, безчестя меня, говоришь! На меня бунтомъ никто не прихаживалъ, а что приходили земскіе люди, и то не на меня: приходили бить челомъ мнѣ объ обидахъ.

Голосъ царя сорвался. Соборъ превратился въ бурю, когда Алексѣй Михайловичъ, тяжело дыша, какъ бы просилъ защиты у собора. Со всѣхъ сторонъ заревѣли голоса и застучали посохи.

— Какъ ты не боишься Бога! Непристойныя рѣчи говоришь и великаго государя безчестишь!

— Въ срубъ его, злодѣя!

— Медвѣжиной обшить его, да псами затравить!

— Вотъ я его, долгогриваго!

Макарій повелъ по взволнованному собранію своими огромными бѣлками, и крики смолкли.

— Для чего ты клубукъ черный съ херувимами носишь и двѣ панагии? — спросилъ онъ подсудимаго.

— Ношу черный клубукъ по примѣру греческихъ патріарховъ... Херувимовъ ношу по примѣру московскихъ патріарховъ, которые носили ихъ на бѣломъ клубукѣ... Съ одною панагією съ патріаршества спелъ, а другая — крестъ — въ помощь себѣ ношу.

Онъ говорилъ задыхаясь. Онъ чувствовалъ, что для него все кончается, почва уходитъ изъ-подъ ногъ и потолокъ, и небо рушатся на него. Архіереи что-то разомъ говорили, но онъ ихъ не слушалъ, а махалъ головою, какъ бы отмахиваясь отъ мухъ.

— Знаешь ли ты, что александрійскій патріархъ есть судія вселенной? — снова обратился къ нему Макарій.

— Тамъ себѣ и суди! — съ досадою, небрежно отвѣчалъ подсудимый;

ему, повидимому, все надоѣло, онъ усталъ, скорѣй бы лишь все кончилось...— Въ Александріи и Антиохіи нынѣ нѣтъ патріарховъ: александрійскій живетъ въ Египтѣ, антиохійскій въ Дамаскѣ.

— А когда благословили вселенскіе патріархи Іова митрополита московскаго на патріаршество, въ то время гдѣ они жили?

— Я въ то время не великъ былъ, — неохотно отвѣчалъ подсудимый.

— Слушай правила святыхъ.

— Греческія правила непрямыя: печатали ихъ еретики!

— Хотя я и судія вселенной, но буду судить по Номоканону... Подайте Номоканонъ! — неожиданно сказалъ Пансій, но такъ громко, что всѣ посмотрѣли на него съ удивленіемъ.

Макарій взялъ со стола книгу и высоко поднялъ ее надъ головою какъ въ церкви.

— Вотъ греческій Номоканонъ.

Потомъ, поцѣловавъ ее, передалъ Пансію, который также поцѣловалъ ее и обратился къ собору съ вопросомъ:

— Принимаете ли вы эту книгу яко праведную и нелестную?

— Принимаемъ! принимаемъ! — раздались голоса.

— Приложи руку, что нашъ Номоканонъ еретическій, и скажи именно, какія въ немъ ереси? — настаивалъ Макарій.

— Не хочу!

— Подайте російскій Номоканонъ! — продолжалъ Макарій своимъ сильнымъ, звучнымъ голосомъ.

Алмазъ Ивановъ, торопливо шагая, принесъ требуемую книгу.

— Онъ неисправно изданъ при патріархѣ Іосифѣ! — огрызнулся Никонъ, жестомъ отстраняя книгу.

— Скажи, сколько епископовъ судятъ епископа и сколько патріарха? — добивалъ его Макарій.

— Епископа судятъ дванадцать епископовъ, а патріарха вся вселенная!

— Ты одинъ Павла епископа извергъ не по правиламъ.

Тутъ вступился царь, желая скорѣе кончить этотъ томительный споръ.

— Вѣришь ли ты всѣмъ вселенскимъ патріархамъ? — спросилъ онъ кротко. — Они подписались своими руками, что антиохійскій и александрійскій пришли по ихъ согласію въ Москву.

Никонъ сурово посмотрѣлъ на бумагу поданную ему царемъ, заглянулъ на подписи.

— Руки ихъ не знаю, — пробурчалъ онъ.

— Истинныя то руки патріаршескія! — окатилъ его Макарій своимъ поглядомъ, котораго Никонъ не могъ выносить.

— Широку ты здѣсь! — зарычалъ онъ: — какъ-то ты отвѣтъ дашь предъ константинопольскимъ патріархомъ! Широку-ста!

Опять сорвались голоса со всѣхъ сторонъ. „Какъ ты Бога не боишься!.. великаго государя безчестишь и вселенскихъ патріарховъ и всю истину во лжу ставишь!.. Повѣсить тебя мало!“...

Развязка близилаь.

— Возмите отъ него крестъ!—обратился Макарій къ архіереямъ.

Никонъ бросился-было за крестомъ, который всегда передъ нимъ носили, схватилъ за руку ставрофора; но въ это время порывисто встало нѣсколько бояръ съ видомъ угрозы, и крестъ очутился въ рукахъ Иллариона рязанскаго. У Никона опустились руки. Снова выступилъ Макарій.

— Писано бо есть: „по нуждѣ и діаволъ исповѣдуетъ истину,“ а Никонъ истины не исповѣдуетъ.

— Аминь! аминь!—послышалось въ рядахъ.

Никонъ етоялъ, опустивъ голову. Голова эта тряслась. Для него все кончилось.

— Чего достоинъ Никонъ?—раздался среди наставшей тишины голосъ Паисія.

— Да будетъ отлученъ и лишенъ священнодѣйствія,—отвѣчали въ одинъ голосъ греческіе архіереи.

— Чего достоинъ Никонъ?—повторили вопросъ русскимъ архіереямъ.

— Да будетъ отлученъ и лишенъ священнодѣйствія,—отвѣчали и русскіе.

Встали оба патріарха. Всталъ и весь соборъ. Настала тишина—слышно было только, какъ за окнами ворковали голуби. Потухшіе глаза Паисія блеснули и упали на Никона.

— Отсели, Никонъ, не будешь патріархъ, и священная да не дѣйствуешь, но будешь яко простой монахъ, — возгласилъ онъ громко, отчетливо.

— Аминь!—загудѣло по собору.

Черезъ нѣсколько минутъ Никонъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ монаховъ Воскресенскаго монастыря, проходилъ соборной площадью, направляясь къ Архангельскому подворью. Сзади шелъ взводъ стрѣльцовъ. На отлученномъ патріархѣ все-еще было патріаршее одѣяніе, но впереди уже не было ставрофора съ крестомъ. Никонъ ступалъ медленно, тяжело опираясь на посохъ и опустивъ голову. Казалось, что въ нѣсколько часовъ онъ одряхлѣлъ и осунулся. Голова продолжала трястись: въ этой трясучей головѣ, казалось, постоянно гвоздила мозгъ неотвязчивая, какъ муха, мысль—„нѣтъ, нѣтъ, не патріархъ!“

Толпившійся на площади народъ сталъ было подходить къ нему подѣ благословеніе; но Никоновы монахи знаками показывали, чтобы не подходили, а самъ онъ подтверждалъ то же страшною головою, которая продолжала, казалось, говорить: „нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“!..

Въ ближайшей группѣ послышался слабый стонъ: то плакала какая-то женщина. Никонъ взглянулъ въ ту сторону и его глаза встрѣтились съ плачущими глазами женщины. Глаза эти, большіе и сѣрые, съ поволокой

отъ слезъ, отъѣнные монашескимъ клобукомъ, смотрѣли на Никона съ молитвенной любовью и благоговѣнiемъ, смотрѣли съ такой нѣжностью и скорбью, что Никонъ затрепеталъ: склонный вѣрить въ чудесное и непостижимое, посѣщенный неоднократно въ сонiяхъ, какъ ему вѣрилось, видѣнiями и знаменiями, онъ принялъ и эти глаза за видѣнiе... Это были глаза ангела, представшаго ему въ образѣ своего же чина—ангельскаго, мнишескаго, и посланнаго ему милосерднымъ небомъ въ подкрѣпленiе и утѣшенiе. Но гдѣ онъ прежде видѣлъ эти глаза? А онъ ихъ видѣлъ — это несомнѣнно; онъ ихъ знаетъ давно... Въ моменты величайшаго торжества его жизни, во время торжественныхъ служенiй въ Архангельскомъ и Успенскомъ соборахъ, на большихъ царскихъ выходахъ, во время крестныхъ ходовъ, во время iорданскаго водосвятiя, наконецъ, въ недѣлю вай, когда онъ, бывало, сопровождаемый всею Москвою, шествовалъ на жребити ослѣ, вѣдомомъ царскою рукою, — *эти* глаза — онъ помнитъ это — постоянно смотрѣли на него изъ толпы, и если даже онъ не видѣлъ ихъ, не смотрѣлъ въ ту сторону, то все-таки невольно чувствовалъ, что *эти* глаза смотрѣли на него, слѣдили за нимъ. Чьи это были глаза—онъ не зналъ и не могъ узнать, потому что они такъ же неожиданно исчезали въ толпѣ, какъ неожиданно и появлялись среди тысячъ другихъ глазъ и головъ, обращенныхъ къ нему... Онъ и тогда, въ годы своего могущества и славы, думалъ, что это—глаза его ангела-хранителя, и подчасъ трепеталъ ихъ и любилъ въ то же время... Потомъ онъ долго, очень долго не видалъ этихъ глазъ: лѣтъ девять они ему не показывались, съ того самаго момента, какъ онъ сошелъ съ патрiаршества и удалился въ Воскресенскiй монастырь. И онъ думалъ уже, что ангелъ-хранитель покинулъ его, отошелъ, и онъ все ждалъ, что вотъ-вотъ какъ его опять призовутъ всею Москвою на патрiаршiй престолъ, умолятъ его слезами и колѣнопреклоненiемъ, когда и царь всенародно покается предъ нимъ въ обидѣ и огорченiи,—эти глаза опять явятся ему... И вдругъ они явились теперь! Они явились въ моментъ самаго глубокаго его униженiя, въ моментъ позорнаго изверженiя его изъ сонма святителей церкви, они явились ему, поруганному и оплеванному, ему, выведенному изъ преторiи Пилата на всенародное позорище!.. Они явились подкрѣпить его... Онъ снова глянулъ туда, гдѣ явились плачущiе глаза ангела; но плачущихъ глазъ уже не было тамъ: онъ увидѣлъ только спину высокой черницы, которая припала лицомъ къ ладонямъ и плакала... видно было какъ отъ рыданiй тряслась ея плечи...

И его голова еще болѣе заходила ходенемъ: „нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“, тряслась она—„нѣтъ, нѣтъ“...

Въ этотъ моментъ онъ увидѣлъ нѣсколькихъ вооруженныхъ стрѣльцовъ, которые вели въ Кремль какого-то человѣка. По наружности и одѣянiю его сразу можно было признать за грека. Онъ былъ мертвенно блѣденъ и съ ужасомъ оглядывался по сторонамъ. Увидавъ Никона, онъ невольно остановился и растерянно взглянулъ ему въ глаза... „Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“, казалось отвѣчала на это трясущаяся голова Никона... Грекъ мо-

ментально вынулъ что-то изъ подъ полы. Блеснулъ длинный ножъ въ воздухъ.

— За тебя умираю, великій патріархъ!—застоналъ онъ, и не успѣли стрѣльцы кинутся къ нему, какъ онъ всадилъ ножъ себѣ въ сердце по самую рукоятку, захрипѣлъ и упалъ навзничъ съ торчащею изъ бока рукояткою ножа, раскинувъ широко руки, на которыхъ трепетали корчившіеся въ судорогахъ пальцы.

— Батюшки!—послышалось въ толпѣ:—зарѣзался! за Никона зарѣзался грекъ!

„Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ“, съ ужасомъ тряслась голова Никона, какъ-бы отрицающая обвиненіе толпы!—„нѣтъ!.. нѣтъ“!

XIV.

Аванумъ передъ вселенскими патріархами.

На слѣдующій день Москвѣ опять предстояло тѣшиться зрѣлищемъ. Зрѣлища идутъ непрерывно одно за другимъ съ самаго лѣта. Въ сентябрѣ прошлаго года Москва встрѣчала гетмана Брюховецкаго, глазѣла на невиданныхъ хохлатыхъ черкасъ, на ихъ рогатыхъ воловъ, украшенныхъ лентами, и потомъ, до самой весны почти, москвичи видѣли этихъ усатыхъ хохловъ почти каждый день, бѣгали глядѣть на нихъ какъ на медвѣдей, иногда укали на нихъ, какъ на звѣрей, не со злости, а добродушно, любя и тѣшась по-московски. А тамъ встрѣчали вселенскихъ патріарховъ, что пріѣхали изъ самой турецкой земли, народъ все черномазъ, волосать и зѣло свирѣпъ, съ вотъ этакими глазищами и вотъ этакими бѣлыми бѣльмами:—все греки да арапы изъ самой Арапіи,—и молодцы изъ Охотнаго да Обжорнаго рядовъ опять бѣгали за ними словно весной за Ярилой, да улюлюкали отъ радости словно на волковъ. А тутъ привезли Никона—и за нимъ бѣгали, несмотря даже на то, что бояре велѣли сломать мостъ у Никольскихъ воротъ, гдѣ остановился Никонъ, потому что у Никольскихъ воротъ не было ни проходу, ни проѣзду отъ сѣрыхъ чапановъ, нагольных тулуповъ, да одnorядокъ.

А тутъ новыя зрѣлища: „двуперстниковъ“ да „сугубоаллилуйцевъ“ стали возить въ Чудовъ изъ разныхъ монастырей, да остроговъ. Есть на что поглядѣть! Одни юродивые какихъ колѣнъ не выкидываютъ Христа-ради во время этихъ процессій! Одинъ Ѳеодъ Божій человекъ чего стоитъ! А Аванасьюшко слезоточивый и слезонеизсякаемый кладезъ божественный!

Сегодня прошелъ слухъ, что Аввакума протопопы, великаго учителя вѣры, повезутъ на соборъ вселенскихъ патріарховъ. Москва заволновалась. Съ утра народъ валилъ къ Кремлю: и молодцы рядскіе, и черная сошка, и посадскіе малые людишки, и почтенные бородачи гостининой статьи, любившіе цѣлоковать о двуперстномъ и иномъ, богомерзкомъ, сложеніи, и о треклятой „трегубой аллилуйи“ и о „хожденіи посолонъ“, и о „метаніи

поклоновъ“, именно все о такихъ высокихъ предметахъ, на которыхъ міръ стоитъ, — все это толкалось и гудѣло по Красной да по Соборной кремлевской площадямъ. — „Осрамить ихъ Аввакумушко-свѣтъ — осрамить всѣхъ!“ слышались голоса. — „Гдѣ не осрамить! — осрамить! — Куда имъ, арапамъ, такую святость-то понять — алидую-ту нашу матушку, либо персты-тѣ! — Въ единомъ, чу, перстѣ спасенье, въ двухъ перстахъ, чу, этому спасенью и смѣты нѣту, а въ трехъ, чу, перстахъ — пагуба, адъ кромѣшной“. — „Что и говорить!.. а хуть бы насчетъ этого самаго *азъ*, что они еретики, у Христа отняли! И какъ ихъ громомъ не убило! Шутка ли! сказано: „Сына Божія, рожденна, *а* не сотворенна“; а они, злодѣи, этотъ *азъ* — отъ у Христа украли: говорятъ, рожденна, не сотворенна“... А? не злодѣй ли! — „Братцы!“ слышится межъ молодцами изъ рядовъ: — „Христа обокрали!“ — „Что ты!“ — „Пра! *азъ* у ево украли!“ — „Батюшки! гдѣ украли? али церковь подломали?“ — „Подломали — у Спаса на Куличкахъ“... — Везуть! везуть! — закричали дальнѣйшія группы.

Рядскіе молодцы, забывъ свой испугъ насчетъ того, что, какъ вотъ сейчасъ сказывали сами хозяева, старые купцы — что Христа-де обокрали кто-то, *азъ* у ево, Батюшки, злодѣи уворовали, а что это за *азъ* такой, молодцы не знали — не то риза золота, не то вѣнчикъ съ камнями самоцвѣтными, какъ вонъ на Иверской Матушкѣ, — молодцы, забывъ про этотъ невѣдомый *азъ*, со всѣхъ ногъ метнулись туда, гдѣ кричали: „везуть! везуть!“

Дѣйствительно, изъ-за головъ толпы показалась дуга, перевитая кумачнымъ поясомъ, а въ просвѣтѣ подъ дугой, выше лошадиной головы, проглядывала сѣдая черовѣческая голова, не покрытая шапкой, постоянно кланявшаяся направо и налево. Это везли Аввакума. Онъ ѣхалъ стоя въ саняхъ, опираясь лѣвою рукою на плечо стрѣльца, сидѣвшаго за кучера, а правую поднимавъ высоко надъ головою съ вытянутыми указательнымъ и среднимъ пальцами. Вокругъ саней, запряженныхъ въ одну лошадь, шли стрѣльцы съ ружьями и съ испугомъ и благоговѣніемъ смотрѣли на конвоируемаго ими арестанта. Лицо Аввакума дышало фанатическою энергіею. Сѣдые, остриженные подъ чубъ волосы, стоявшіе стойма, казалось, кричали вмѣстѣ съ широко-раскрытымъ ртомъ, изъ котораго въ морозный воздухъ вмѣстѣ съ выкрикиваньями вылеталъ паръ клубами. Неровно выстриженная сѣдая борода дѣлала это странное лицо еще болѣе изувѣрскимъ.

— Православные! — слышалась издали неистовая проповѣдь фанатика: — не покоряйтесь троеперстному сложенію!.. троеперстное сложеніе — еретическое: его выдумали хохлы съ турецкими наемниками, да арапами!.. Троеперстное сложеніе — антихристова печать, геенна огненная, огонь неугасимый, плачь и скрежетъ зубомъ!.. Креститесь вотъ какъ, православные! вотъ какъ — истово.

И рука съ двумя вытянутыми пальцами поднималась еще выше и торчала въ воздухъ, какъ знамя. Въ толгѣ также поднимались и размахи-

вались руки съ протянутыми двумя пальцами и ожесточенно колотили по лбамъ, животамъ и по плечамъ гостинныхъ людей и рядскихъ молодцовъ. Головы также неистово встряхивались, и ропотъ одобренія и благоговѣнія все болѣе и болѣе усиливался. Всѣ толпились взглянуть на великое свѣтило старой, истинной вѣры.

Когда толпа нѣсколько пораздвинулась по мѣрѣ движенія саней, то впереди показалась фигура пляшущаго мужика. Безъ шапки съ полусѣдою включенною головой, съ растрепанною бородой съ просѣдью, въ одной, длинной, какъ у татарина, синей канифасной рубахѣ, безъ пояса, безъ штановъ—мужикъ босыми ногами мять снѣгъ, выплясывая по замерзлой землѣ. Несмотря на морозъ и на не по сезону легкій костюмъ пляшущаго, съ лица его катился потъ градомъ. Лицо это выражало смѣсь дикости и наивнаго добродушія.

— Веселыми ногами... скакаша, играша... людіи Божіи святіи!—приговариваль пляшущій.—Веселись, православные! нонѣ у насъ праздникъ—свадьба—веселіе! Аввакумушко, свѣтиль нашъ, нонѣ вѣнчается! Береть онъ себѣ невѣсту прекрасную, жену богатую, свѣтъ-матушку Аллилуію Сугубую... А вѣнецъ—отъ онъ беретъ краше вѣнца царскаго—вѣнецъ мученической... Веселись, православные!.. Веселыми ногами скакаша, играша... Эхъ, ну!

— Господи! ишь его, какъ веселится Ѳеда-божій человѣкъ...

— Святая душа—и морозъ его не беретъ: безъ портовъ и босикомъ радуется.

— Ѳеда-божій человѣкъ! а Ѳеда, обращается къ пляшущему купчина:—ты что безъ портокъ?

— Такъ надоть!—отвѣчалъ юродивый, дико глядя на купчину:—Христось безъ портокъ ходилъ...

— Ай-ай-ай! ну, и отрѣзалъ же!—дивились гостинные люди:—оно и точно: Христось штановъ не носилъ, какъ малыя дѣти, ангелы невинные, такъ и они, святые люди... Ну!

А Аввакумъ, медленно двигаясь на своихъ дровняхъ, какъ на триумфаторской колесницѣ продолжалъ выкрикивать благимъ матомъ: „Вотъ такъ крестись, православный народъ, вотъ такъ. А еретикамъ не покоряйся, аллилуію не трегубь! Деонисій Ареопагитъ говоритъ: со ангелы славословимъ тако: „аллилуія, аллилуй, слава тебѣ, Боже!“ А не трегубо лаемъ, что псы по римскому распутству... Не покоряйся еретикамъ!“

Народъ и испуганно, и благоговѣнно смотрѣлъ на фанатика. А юродивый продолжалъ отплясывать, отъ скоковъ и круженія переходя въ присядку.

— Што ты, гдѣ ты! што ты, гдѣ ты! Не обуты, не одѣты!

Вдругъ онъ остановился, закрылъ лицо руками и заплакалъ.

— О-о-о! спаси и помилуй, Господи, великаго государя царя и великаго князя Лексѣй Михайлыча всея Руссіи! О! спаси его отъ троеперетнаго сложенія, помилуй его отъ трегубой аллилуйи! о-о!—причиталь онъ жалобно.

— Спаси, Господи, раба своего, великаго государя, и отврати лице его отъ погубительной пестрозвѣрливной ереси Никонишки окаяннаго, сатанина внука!—возглашалъ съ своей стороны и Аввакумъ.—Молитесь, православные, за великаго государя!

Въ это время впереди послышался звонъ цѣпей визгъ по снѣгу полозьевъ. Показались вершники на коняхъ и въ высокихъ шапкахъ. На морозномъ солнцѣ блеснулъ высокій, чистый какъ зеркало кузовъ кареты. Солнце заиграло на позолотѣ кареты, на стеклахъ и на серебрѣ лошадиной сбруи.

— Боярыня Морозова ѣдетъ во дворецъ,—послышалось въ толпѣ.

Морозова ѣхала съ обыкновенною своею пышностью, шестеркою богатыхъ коней, окруженная сотнею челяди. У оконъ кареты, на боковыхъ крыльяхъ, стояло по юродивому. Въ рукахъ у нихъ были мѣшки съ деньгами, которые они тутъ же и раздавали народу.

Поровнявшись съ саними Аввакума, карета Морозовой остановилась, шибко зазвенѣвъ цѣпами, которыми украшена была богатая наборная упряжь изъ кованаго серебра. Остановились и сани. Изъ окна кареты, изъ-за уголка приподнятой зеленой тафты, выглянуло хорошенькое личико боярыни.

— Здравствуй, матушка Ѳедосья Прокопьевна, дочушка моя духовная!—закричалъ протопопъ. — Вѣнчаться ѣду во дворецъ, благослови жениха, свѣтиль мой, будь посаженной матерью.

Онъ хотѣлъ было вылѣзть изъ саней, чтобы подойти къ окну кареты, но стрѣльцы не пустили его.

— Нельзя, святой отецъ, не приказано,—почтительно останавливали его.

— Ну, ладно, дѣтушки, Богъ съ вами: вы подъ началомъ ходите, творите волю пославшаго васъ,—сказалъ Аввакумъ покорно.—Эй, Ѳедюшка, подъ сюда!—крикнулъ онъ юродивому.

Юродивый подбѣжалъ къ санямъ.

— Давай пригоршню.

Юродивый подставилъ пригоршню. Аввакумъ перекрестилъ ее: „во имя Отца и Сына... неси боярынь“...

Юродивый крѣпко сжалъ пригоршню, какъ бы боясь упустить что-либо, точно тамъ у него сидѣлъ воробей.

— Не просыплю, не просыплю благодать Божию,—бормоталъ онъ, и понесъ скатую пригоршню къ каретѣ Морозовой.

Та подвѣла окно. Пригоршню юродиваго всунулась въ карету, разжалась тамъ, и жаркія, влажныя губы молоденькой боярышни поцѣловали карявыя ладони юродиваго, отъ которыхъ несло навозомъ.

Народъ, рядскіе молодцы и почтенное купечество дивовались и умилялись, разинувъ рты и помавая головами, созерцая такое святое дѣло.

Сани двинулись дальше, къ Кремлю. Карета послѣдовала за ними.

Въ Кремлѣ у дворцовыхъ воротъ, сани остановились. Навстрѣчу имъ вышелъ стрѣлецкій полуголова и принялъ Аввакума изъ саней. Онъ былъ

въ томъ же одѣяніи; въ какомъ мы въ послѣдній разъ видали его въ монастырской кельѣ, въ заточеніи. На прощанье юродивый поцѣловалъ его въ руку и какъ-то пылливо глянулъ ему въ глаза, которые попрежнему свѣтились энергіею.

— Мотри же, женишокъ! крѣпко люби свою невѣсту. Аллилуйю-свѣтъ Сугубовну... А вѣнецъ-отъ будетъ у-у какой! Лучше царсково...

— Добро... только покажи мнѣ вѣнецъ-отъ, я за нимъ на край свѣта потопчусь!

Полуголова и стрѣльцы повели его къ столовой избѣ. Соборъ былъ уже на мѣстѣ. Патріархи возсѣдали на своихъ сидѣньяхъ рядомъ съ царемъ, а царь высился и блисталъ золотомъ, камнями и золотнымъ платьемъ на своемъ государевомъ мѣстѣ. Въ ласковыхъ глазахъ его блеснуло что-то въ родѣ слезы и жалости, когда онъ увидѣлъ худого, оборваннаго и обезображеннаго стрижкой Аввакума, смѣло переступившаго порогъ избы, гдѣ собрался соборъ. На лицахъ патріарховъ и прочихъ грековъ выразилось глубокое изумленіе. Бояре также смотрѣли ласково и жалостливо; только архіереи глядѣли хмуро и непривѣтливо.

Вступивъ въ палату, Аввакумъ прежде всего глянулъ въ передній уголъ. Увидавъ тамъ нѣсколько образовъ новаго письма и шестиконечный крестъ, онъ сурово отвернулся и, глядя на потолокъ, трижды перекрестился истово, двуперстно, широко, отъ упрямаго дба до самаго подбрюшія. Потомъ, повернувшись къ царю, три раза поклонился ему до земли. Ни патріарховъ, ни весь остальной соборъ онъ не удостоилъ даже кивкомъ.

— Аввакумъ! поклонись святѣйшимъ вселенскимъ патріархамъ!— ласково сказалъ царь.

Аввакумъ глянулъ на царя и, замѣтивъ доброе выраженіе его глазъ, отвѣчалъ:

— По слову и указу великаго государя земно кланяюсь,—и поклонился до земли.

— Поклонись и всему освященному вселенскому собору,—снова сказалъ царь.

— По указу великаго государя кланяюсь,—опять отвѣчалъ упрямецъ, и поклонился на обѣ стороны въ поясъ.

Настала тишина. Дьякъ Алмазь Ивановъ, по обыкновенію, шуриалъ бумагою, нагибая свое пергаментное лицо то къ той, то къ другой харатьѣ. Макарій антиохійскій перенесъ свои бѣлки на Аввакума.

— Аввакумъ! — громко сказалъ онъ:—покоряешься ли послѣднему помѣстному московскому соборному рѣшенію о новонаправленныхъ кивкахъ?

— Не покоряюсь!—рѣзко отвѣчалъ Аввакумъ.

— А тѣ исправленія истинныя: для чего не покоряешься?

— Истинныя! — крикнулъ фанатикъ, и глаза его метнули искры.— Въ томъ ли истина, что Никонъ все перемѣнилъ? И крестъ на церкви и

на просфорахъ перемѣнилъ—въ латынскій крыжъ обратилъ... И внутри алтаря молитвы іерусалимскія откинули, и ектеніи перемѣнили, въ ектеніи ни вѣсть чего напихали, и въ крещеніи духу лукавому молиться велятъ: „да не снидеть-де со крещающимся, молимся тебѣ, Господи, духъ лукавый“... А я духу лукавому въ глаза плюю... И около купели противъ солнца, а не посолонь лукавый ихъ водить, и церкви ставятъ противъ солнца и при вѣнчаніи противъ солнца же водятъ—это ли истина?! А въ крещеніи не отрицаются сатаны: дѣти они его, что ли, коли сатаны не отрицаются? Али это истина!

— Да этого въ новыхъ книгахъ нѣтъ, что ты плетешь,—вмѣшался Питиримъ, тотъ, что и Никона злилъ.

— Плетешь ты, а не я!—пуще прежнего крикнулъ фанатикъ:—Никонишко, адовъ пещъ, наблѣвалъ, а вы блевотину его ѣдите... шепотью креститесь...

Макарій остановилъ его горячность.

— Постой, Аввакумъ,—сказалъ онъ:—ты это не истинно говоришь: вся наша Палестина, и сербы, и албансы, и волохи, и римляне, и ляхи—все три персты крестятся; одинъ ты стоишь на своемъ упорствѣ и креститься двѣма персты. Такъ не подобаетъ.

Аввакумъ услыхавъ, что патриархъ его не задираетъ, какъ задралъ было, Питиримъ, нѣсколько успокоился. Взглянувъ на царя, онъ увидалъ, что тотъ смотритъ на него ласково попрежнему. Паисій тоже поглядывалъ на него съ старческимъ добродушіемъ—это охладило фанатика.

— Вселенскіи учителя!—началъ онъ спокойно:—Римъ давно упалъ и лежитъ невосклонно и ляхи съ нимъ же погибли. До конца враги быша христіаномъ, на черкесахъ-казакахъ что на волахъ ѣздили, церкви Божіи жидамъ на аренду отдали—оле проклятаго людскаго безумія!... И у васъ, въ Турской землѣ и въ Палестинѣ и въ Египтѣ—православіе пестро: отъ насилія турецкаго Магмета немощни есте стали... А вы сами впередъ пріѣзжайте-ка къ намъ на Москву учиться: у насъ Божіею благодатіею самодержавство (и онъ взглянулъ на Алексѣя Михайловича—тотъ ему милостиво улыбнулся)—никакого Магметки мы не боимся—плевать на него и на римскаго папежа!... У насъ на Руси, до Никона отступника, у благочестивыхъ князей и царей православіе было чисто и непорочно, аки дѣвство, и церковь не мятежна и не растлена. Никонъ, волкъ, съ братомъ своимъ Фармагѣемъ бѣсомъ и съ отцомъ своимъ, Люциферомъ и съ дѣдомъ сатаномъ велѣли тремя персты креститься, а первые наши пастыри крестились двѣма персты, московскіе святители такъ-же, и казанскіе Гуріе и Варсонофіе—все молились двѣма персты.

Онъ остановился, чтобы перевести духъ. На нѣкоторыхъ изъ старыхъ бояръ, видимо, подѣйствовали его слова: вѣдь все они воспитались на двуперстіи, все ихъ манила старина, и Аввакумъ чувствовалъ, что за плечами его стоятъ миллионныя рати, начиная отъ князей и бояръ и кончая послѣднимъ смердомъ, у котораго и вѣра-то вся въ двухъ пальцахъ.

Этимъ перерывомъ воспользовался Питиримъ.

— Что ты о святителяхъ плетешь?—сказаль онъ презрительно:—они и съ двуперстіемъ, и съ троеперстіемъ были бы святы... Только они были люди не ученые, грамотѣ не умѣли...

Аввакума опять взорвало.

— Ты вотъ ученъ—грамотникъ!—огрызнулся онъ.—Кочергой тебя бабы учили...

— Они греческаго языка не разумѣли, какъ и ты, мужикъ...

— Ты, баба, много разумѣешь по-эллински; развѣ сморкаться только тремя персты... Мнѣ съ тобой и говорить-то зазорно.

Онъ было - повернулся, чтобы уйти, но остановился, замѣтивъ, что архіереи смотрѣли на него съ нескрываемымъ презрѣніемъ.

— Чистъ азъ есмь! — крикнулъ все болѣе и болѣе раздражавшійся фанатикъ, котораго самолюбіе шибко было задѣто:—и чистымъ ухожу, и прахъ отъ ногъ своихъ отрясаю, по писанному: „лучше единъ творяй волю Божію, нежели тмы беззаконныхъ“... А вы всѣ беззаконники!

Архіереи возмущались этими послѣдними словами. Многіе вскочили съ мѣстъ. Приставъ подвинулся къ упрямцу, чтобъ остановить его.

— Возьми! возьми его!—забывшись, закричали нѣкоторые:—онъ всѣхъ насъ обезчестилъ.

Приставъ схватилъ его за руку. Питиримъ и Илларионъ приблизились къ нему съ угрожающими жестами.

— Пойдите! не бейте!—закричалъ фанатикъ:—апостолъ Павелъ пишетъ: „таковъ намъ подобаше архіерей—преподобенъ, незлобивъ“... А вы, убивше человѣка, какъ литургисать станете?

Это напоминаніе заставило опомниться взволнованныхъ архіереевъ. Они сѣли. Аввакумъ стоялъ посреди собора и тяжело дышалъ. Капли пота катились по его лицу. Ноги его, видимо, дрожали: тутъ сказывалось и душевное волненіе, и слѣды многолѣтнихъ ссылокъ, тюремной истомы и голода, надломившихъ эту желѣзную натуру.

Оглянувшись затѣмъ кругомъ и не видя на чемъ бы ему можно было сѣсть, онъ попятился къ дверямъ и повалился на бокъ.

— Посидите вы, а я полежу—по апостольски,—сказаль онъ задорно. Бояре засмѣялись.

— Дуракъ, мужланъ—и святѣйшихъ патріарховъ не почитаетъ, и великаго государя срамить,—замѣтилъ Питиримъ.

— Вы великаго государя срамите на весь міръ, а не мы,—огрызнулся, лежа, упрямецъ:—мы уроди Христа-ради, а вы славни яко солнце въ лужѣ: вы въ чести и виссонѣ, мы же безчестни и въ сермягѣ; вы сильни стрѣльцами, мы же немощны со Христомъ, да сугубою аллилуею.

— Для чего сугубая, а не тригубая, яко подобаетъ святой Троицѣ?—спросилъ Макарій.

— Для чего? Али вы забыли Діонисія Ареопагита? У него прямо сказано, какъ славословять Господа небесныя силы: по алфавиту, глаголетъ—

едино *аль* Отцу, другое *аль* Сыну, третье *аль* Духу Святому... До Василия Великаго въ церкви пѣли тако ангельское славословіе: „аллилуія, аллилуія, аллилуія!“ А Василий велѣлъ пѣть двѣ ангельскія славы, а третью человѣческую, сиче: „аллилуія, аллилуія, слава тебѣ Боже!“ Мерзко Богу трегубое аллилуія...

Со скамьи среди монаховъ и архіереевъ поднялся высокій черныи клобукъ съ нѣскольکو семитическимъ типомъ лица и приблизился къ Аввакуму. Въ рукахъ онъ держалъ книгу въ бѣломъ, пожелтѣвшемъ отъ времени переплетѣ. Это былъ знакомый уже намъ ученый украинецъ, Симеонъ Полоцкій, учитель маленькой царевны Софьи Алексѣевны.

— Вотъ древній харатейный служебникъ, — сказалъ онъ, раскрывая книгу и поднося ее къ лицу Аввакума: — тутъ аллилуія поется трижды.

— Что ты мнѣ тычешь въ глаза свою хохлацкую книгу! — вскинулся на него фанатикъ: — мало ли какъ у васъ, у хохловъ, поють, да намъ, московскимъ людямъ, ваше хохлацкое пѣнье не указъ... Охочи вы, хохлы, соваться не въ свое дѣло: сидѣли бы у себя дома, а у насъ бы не мучили вѣрой... Отъ васъ, отъ каждаго, крыжомъ папешскимъ воняетъ...

— Не говори такъ, Аввакумъ, — спокойно замѣтилъ Полоцкій. — А наши кіевскіе печерскіе угодники?

— То не ваши, а наши...

Симеонъ Полоцкій пожалъ плечами и возвратился на свое мѣсто.

— То-то ловки вы! — продолжалъ Аввакумъ. — И какъ васъ великій государь терпитъ? Послѣ самъ увидить царское величество, что пустил козловъ въ російскій вертоградъ, да будетъ ужъ позно... Вонъ и нонѣ пресвѣтлую царевну Софью Алексѣевну разнымъ планидамъ „да кентрамъ“ научаютъ замѣстъ перстнаго сложенія, и Богъ вѣсть, что изъ царевны выйдетъ...

Въ столовую избу, тихо, чуть слышно ступая мягкими козловыми сапогами, вошелъ низенькій, лысый, съ большою сѣдою бородою бояринъ. Онъ прежде всего перекрестился въ передній уголъ, и Аввакумъ, зорко слѣдившій за его рукою, замѣтилъ, что пришедшій бояринъ крестился двуперстно — глаза у Аввакума блеснули, — потомъ бояринъ низко поклонился царю, патриархамъ и всему собору.

— Ты что, Проконій? — тревожно спросилъ его царь.

— Отъ великой государыни царицы и великой княгини Марьи Ильинишны съ грамотой къ вашему царскому пресвѣтлому величеству, — почтительно отвѣчалъ съ присвиствомъ беззубый бояринъ.

— Подай.

Бояринъ прошуршалъ козловыми сапогами, снова поклонился и подалъ царю свиточекъ, перевязанный голубою ленточкой. Царь развернулъ свиточекъ, пробѣжалъ его, щурясь и улыбаясь, раза два, поглядѣлъ на Аввакума, снова улыбнулся и спряталъ свиточекъ въ карманъ.

— Охъ, ужъ эти бабы, — тихо, продолжая улыбаться, прощенталъ онъ про себя, а потомъ, обращаясь къ старому боярину, громко сказалъ: —

хорошо, Прокопій, ступай: доложи царицѣ, что великій-де государь милостивъ...

Бояринъ, шурша мягкимъ козломъ, вышелъ. Царь, окинувъ собраніе привѣтливымъ взоромъ, остановился на Аввакумѣ.

— Аввакумъ!—сказалъ онъ съ едва замѣтною улыбкой.

Аввакумъ вскочилъ съ полу и быстро приблизился къ царю.

— Что изволить приказать великій государь рабу своему?

— Вотъ что, Аввакумъ: ты нонѣ недомогаешь, я вижу... Поди отдохни, да подумай о томъ, что тебѣ нонѣ святѣйшіе патріархи сказывали, а послѣ поговоримъ... А то и мнѣ нонѣ недосугъ за государскими дѣлами...

— Что мнѣ, великій государь, думать?—смирненно отвѣчалъ онъ: — шестьдесятъ лѣтъ думаю объ одномъ: о вѣнцѣ мученическомъ... За нимъ пришелъ сюда и безъ него не уйду.

По лицу царя пробѣжала тѣнь. Онъ строго посмотрѣлъ на упряма.

— Я не Діоклетіанъ,—сказалъ онъ недовольнымъ голосомъ.

— И я не Юліанъ отступникъ: не отступлюсь отъ двуперстія,—отвѣчалъ фанатикъ.

— Добро... Ино ступай пока...

— Не уйду, пока вѣнца не дашь!

Добрые глаза царя сверкнули. Онъ глянулъ на бояръ.

— Уведите его!

Бояре кинулись къ Аввакуму. Тотъ не давался. Его взяли подъ руки и увели силою.

— Вѣнца хочу! вѣнецъ дайте!—доносился изъ сѣней голосъ фанатика.

Конецъ первой части.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

JOHN D. COLEMAN

1950

CHICAGO, ILL.

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1950

CHICAGO, ILL.

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1950

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ НА

XV-ый годъ
изданія.

„СЪВЕРЪ“

XV-ый годъ
изданія.

ежегодный иллюстрированный литературно-художественный журнал.

Въ 1902 году гг. подписчики «Съвера» получаютъ: 52 №№ журнала; 52 №№ газеты; 12 №№ журнала «Парижскія моды, Хозяйство и Домоводство», 12 №№ выкроекъ. Кроме того, на основаніи приобретеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакція даетъ въ теченіе 1902 года, въ книгахъ «Библіотеки Съвера»,

24 тома

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

24 тома

• Д. Л. Мордовцева, •

ВЪ КОТОРЫХЪ ВУДУТЬ ДАНЫ:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1—„Идеалисты и реалисты“, ист. ром. | 11—„Мамзеве побоище“, ист. п. | 35—„Грустное воспоминаніе“, разск. |
| 2—„Гайдамачина“, ист. моног. | 12—„Архимандритъ-Генгиль“, ист. пов. | 26—„Плани пирамиды“, разск. |
| 3—„Вспышки пониженной волины въ 1812 г.“, истор. мат. | 13—„Лжедмитрій“, ист. ром. | 27—„Два призрака“, былль-фантазія. |
| 4—„Блглый король“, ист. пов. | 14—„Свѣту большаго“, ист. ром. | 28—„Кто онъ?—«еванг. былль. |
| 5—„Новые люди“, повѣсть. | 15—„Воспоминанія о Шевченкѣ“, пер. съ малор. | 29—„Тысяча лѣтъ назадъ“, ист. пов. |
| 6—„Царь безъ царства“, ист. р. | 16—„Соціалистъ прошл. вѣка“, ист. пов. | 30—„Поиманы есте Богомъ“, истор. пов. |
| 7—„Русскія историческія женщины“ (допетровской Руси), ист. раз. | 17—„Тульскій кречетъ“, ист. п. | 31—„Державная сваха“, былль. |
| 8—„Русскія женщины новаго времени“ (первой половины XVIII вѣка), истор. очер. | 18—„Видѣніе въ публичной библіотекѣ“, истор. повѣсть. | 32—„Любовь снасла“, ист. былль. |
| 9—„Русскія женщины новаго времени“ (второй половины XVIII вѣка), истор. очерки. | 19—„Крымская неволя“, ист. п. | 33—„Жертовъ вулкана“, истор. ром. |
| 10—„Русскія женщины новаго времени“ (XIX-го в.), ист. оч. | 20—„Говоръ камней“, 14 разск. | 34—„Иродъ“, истор. романъ. |
| | 21—„Тылоны“, истор. повѣсть. | 35—„Прометеево потомство“, ист. ром. |
| | 22—„Русскіе пономанники въ Турчинъ“, ист. пов. | 36—„Желаніе и кровью“, ист. романъ. |
| | 23—„Фанатикъ“, ист. повѣсть. | |
| | 24—„Кавказскій герой“, ист. былль. | |

Кромѣ этого, годовые подписчики получаютъ **БЕЗПЛАТНО** большой романъ того же автора

„ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНИ“

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 28 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ безъ до- ставки въ СПБ.	6 р.	Безъ дост. въ Москвѣ: 1) у Метцль и К. 2) у В. Альшвангъ и Л. Гер- лаха (противъ Мал. театра)	6 р. 25 к.	Безъ дост. въ Одессѣ въ кон- торѣ кіосковъ Г. В. Свисту- нова	6 р. 50 к.	Съ пер- ес. въ всѣ го- рода и мѣстн.	7 р.
---------------------------------------	------	---	------------	---	------------	--	------

На 1/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—1 р. 75 к., на 1 м.—60 к. За границу 11 р. Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Поручительства гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе не позднѣе 1-го декабря 1902 года подписную плату сполна, полу-
чаютъ премію наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Кромѣ всего вышеуказаннаго, гг. подписчики „Съвера“ могутъ получить, въ видѣ особой преміи, полное собраніе сочиненій

Е. П. ГРЕБЕНКИ,

въ 10 томахъ, съ приложеніемъ портрета автора, его автографа и биографіи.

Указывая на Гребенку, безсмертный Бѣлинскій говоритъ: „Въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ малороссійскими пѣснями. Онъ дома, когда говоритъ о роднѣ, рассказываетъ о бытѣ минувшихъ племенъ, приводитъ преданія старины о запорожцахъ. Въ романахъ Гребенки много неподдѣльной теплоты. Стародавній бытъ Украины прекрасно отразился въ романѣ „Чайковский“. Авторъ возвышается до паоса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ бы раздѣляя казачью удалъ и принимая горячо къ сердцу страданія южной Руси“. Отзывъ Бѣлинскаго можетъ служить лучшей рекомендаціей и вѣрнымъ указаніемъ на большія литературныя достоинства произведеній Е. П. Гребенки.

Гг. подписчики „Съвера“ желая пріобрѣсти таковыя, дополняютъ за всѣ 10 томовъ только 3 р. безъ перес. и 3 р. 50 к. съ перес. (безъ разсрочки). Для книгъ, магаз. и постороннихъ лицъ цѣна 6 р. безъ перес. и 6 р. 50 к. съ перес. Съ наложен. платежомъ высылаются по полученіи 1 р.

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала „Съверъ“ (СПБ., Невскій, 170)

на имя редактора-издателя Ник. Фед. Митина.

1

2

3

4

Stanford University Libraries
3 6105 015 016 574

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

